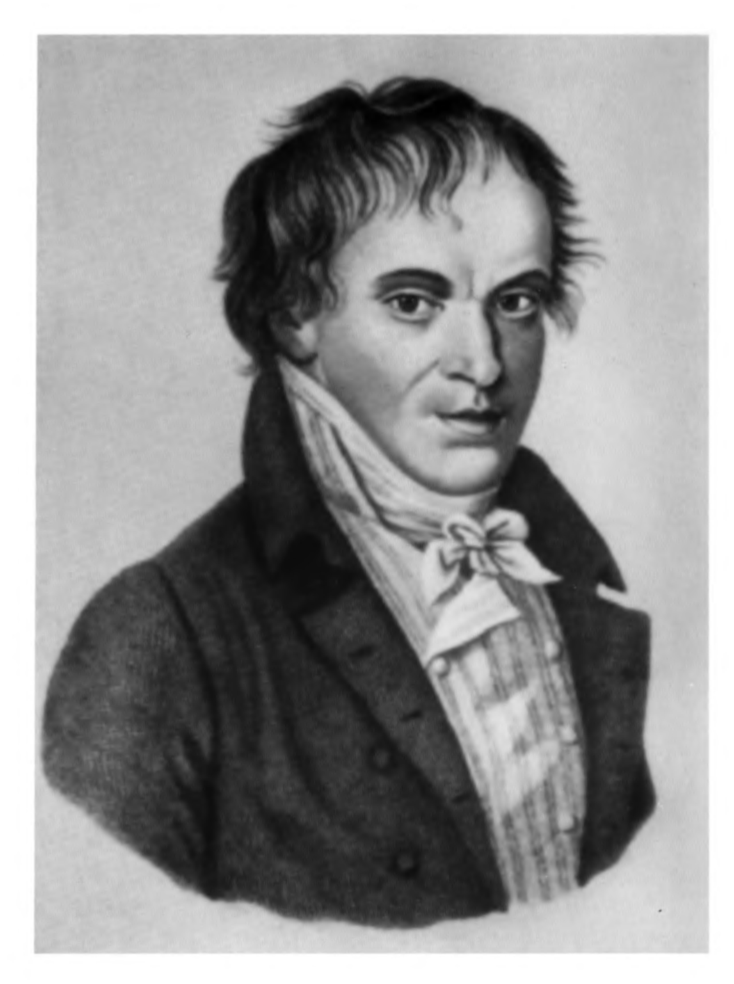


Князь Иван Михайлович Долгоруков.
Гравюра работы А. А. Флорова. 1817.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Князь И. М. ДОЛГОРУКОВ



ПОВЕСТЬ
О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ, ПИСАННАЯ МНОЙ САМИМ И НАЧАТАЯ В МОСКВЕ 1788-го ГОДА В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ, НА 25-ом ГОДУ ОТ РОЖДЕНИЯ МОЕГО. В КНИГУ СИЮ ВКЛЮЧЕНЫ БУДУТ ВСЕ ДОСТОПАМЯТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, СЛУЧИВШИЕСЯ УЖЕ СО МНОЮ ДО СЕГО ГОДА И ВПРЕДЬ ИМЕЮЩИЕ СЛУЧИТЬСЯ. ЗДЕСЬ ЖЕ ВПИШУТСЯ КОПИИ С ПРИМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИХ БУМАГ, КОИ БУДУТ ИМЕТЬ ЛИЧНУЮ СО МНОЮ СВЯЗЬ И К СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ МОЕЙ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ.

Том 2

Издание подготовили
Н. В. КУЗНЕЦОВА, М. О. МЕЛЬЦИН



Санкт-Петербург
«НАУКА»
2005

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)1
Д 64

Ответственный редактор

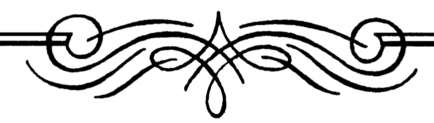
В. П. СТЕПАНОВ

*Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)*

*Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации Санкт-Петербурга*

ТП-2004-II-248

ISBN 5-02-027150-0 (т. 2)
ISBN 5-02-027151-9



1807

С новым годом судьба все новое мне посылает. Я оставляю дом гимназии и переезжаю в Безобразовский. Там прошедшее дает причину слезам, здесь настоящее обещает радости. Дом был тесен, но на первый случай как-нибудь все поместились. Еще несколько времени дочь моя старшая пожила в старом доме, и я, навещая ее в нем, понемножку и не вдруг отставал от привычки жить под старой его крышкой. 13-го числа генваря я принял новые узы. Пожарская сделалась княгиня Долгорукая. Свадьба отправлена ввечеру в Инвалидном доме в тамошней церкве[1], в присутствии нескольких посетителей и родных жениных, кои для сего случая приехали нарочно и между коими заметить должно особенно сестру ее Авдотью Алексеевну Владыкину, с которой она по общему воспитанию в Смольном была всех прочих свычнее. Назавтра и в последующий день весь город отправил обычные при подобных случаях поздравлении. Ничего не было лишнего, но все приличное соблюдено. При самом венчании присутствовали все старшие наши и отныне общие дети. Архиерей со всем своим клиром расточил пред нами свои приветствии и в особо назначенный день привез к нам образ, хлеб и соль. Семинаристы читали стихи, в которых, как водится, уподобляли меня солнцу, жену луне, детей звездам. Все это стоило денег, но жалеть об них было не время. Люди, ко всему привязывающие особый смысл, выводили из самого дня нашей свадьбы невыгодную для меня примету, говоря, что на первой жене я женился 31 генваря, а на второй 13-го, следовательно, выворот чисел, по их мнению, должен был и счастье выворотить наизнанку. Но я никаких примет не боялся и ни одной не верил. Бог избавил меня

этих мелких тиранов, кои так мучат иные воображении. Родственники жены моей покойной, шурин и зять его[2], оказали мне убедительный знак дружества их, лично ко мне относящийся независимо от всех прочих расчетов, и приезжали к свадьбе моей из Нижнего, погостили у нас, и опытом сим, утвердившим нашу приязнь, как они, так и я остались довольны. Надобно было и бал дать всему городу. Он состоялся в гимназическом доме, там, откуда я переехал, потому что генеральный зов гостей не позволял такой затеи нигде в другом месте отправить. Съехалось множество, теснота была страшная, угощение роскошное, везде трубили, все плясали, всюду огни кидали свет огромный. Владимир тешился непринужденно и с очевидным удовольствием.

Время вдовства моего страшило многих и вместе наводило скуку на весь город. Всякий из благородных высшего разряда боялся, чтоб я не женился на Вебер. Ничья жена не хотела быть в принужденной обязанности ездить, скажем просто, на поклон к такой губернаторше, у которой отец и мать были рода не равного с ними и которая сама по себе не в числе первых девушек в собраниях считалась. Извиним такое малодушие. Кому ж оно не естественно? Кому не сродно? Настоящая моя жена ни рождением своим, ни воспитанием, по разуму, принятому в свете, не уступающая никому в своем поле из живущих в городе, делала обязанность ездить к себе легкою и совместною для всякой дамы. Итак, скоро все применились к ней, все ознакомились, и дом наш принял по-прежнему, исключая тесноты покоев, вид весьма приятный. Снова начались свободные ежедневные съезды и частые вечеринки. Не потаю, однако, что во время свадебного бала в том доме, где с Евгенией я прежде танцовывал, вкрадывались минутные чувствовании в мое сердце такие, кои смущали его удовольствие и заставляли его биться не от одной чистой радости. Мне было весело, но Евгения не забывалась. Я был доволен совершенно, счастлив в настоящем, влюблен и окружен наслаждениями, кои природа чрез меру лет моих богатою рукою мне дарила, но со всем тем мысль о Евгении была мне мила, нова, любезна. Я думал об ней много, часто, и когда находил в новой моей подруге малейшую черту сходства с предместницею ее, то восторги мои были выше всякого об них выражения. Так любил я умершего моего друга, так любить его буду вечно. Мне всегда будет ее жаль, и я до последней капли слез в глазах моих буду, вспоминая ее, о смерти ее плакать. Жена моя никогда не огорчалась постоянною моею любовию к Евгении; ревнуя с осторожностию и мерою меня ко всем живым, не препятствовала питать к умершей

всех тех чувств, коих она была достойна, и не огорчалась, толкуя предосудительно для себя, как бы сделали иные женщины на ее месте, те минуты, в кои я излишним образом являл наружу, что подлинник Евгении не имеет в свете своего подобия. Такая справедливость и разборчивое ко мне внимание жены моей удвоивало мою к ней любовь и уважение.

По окончании всех свадебных пиров и обрядов, коими управлял г. Дуров, я попросился на пятнадцать дней в отпуск в Москву, единственно с тем, чтоб ознакомить жену мою с моими родными и самому ознакомиться с тещей и новой своей родней. Обстоятельства службы не позволяли мне отлучиться надолго от своего места, и я никогда не смел в службе лишнего запрашивать, чтоб не иметь стыда в отказе. Молвим здесь кстати слова два-три о Дурове. Я уже читателя с ним познакомил при вступлении моем в историю владимирских похождений. Теперь о свадьбе нашей любопытный помещу анекдот. Дуров любил всякие церемонии. Гроб и венец для него было все равно, только бы заправлять, суетиться и думать, что он необходим. В то же время как я женился, скончалась в городе госпожа Языкова, дама первого разбора в провинции и генеральша. Чего же больше? Дуров и тут. Но как быть: жена, не совсем равнодушная к некоторым приметам, не хотела, чтоб одно и то же лицо распоряжало свадебные пиры и похоронные церемонии. Дурову хотелось угодить жене, но также хотелось посуетиться у Языковых. Что ж? Он потихоньку от нас давал и там свои советы, наряжал духовных людей, распределял им плату и совокупно жарил трубу миндальную на свадьбу и кроил покров на усопшую. Редкое снисхождение! Кто бы, не знав его, не подумал, что он прямой друг человечества и из одного чистого усердия к ближнему смеется в одном месте, плачет в другом. Ничего не бывало. Все из того, чтоб значить и похвастаться: «Кабы не я, не то бы и было». Редкий оригинал в своем роде. О люди! Если со всех наших деяний разбить скорлупу, то сколько явится в мире Дуровых!

Вспомнить здесь должно, что инструкция, данная губернаторам на состав милиции, имела в себе черты отменно резкие, а областные начальники могли даже и лишить живота в случаях неопределенных и одним общим словом непослушания названных. Правительство, отдохнувши несколько от первых тревог, имело время одумать все свои бумаги и, увидя отчаянную в них решимость, приняло, хоть поздно, оберегательные меры противу властолюбия вождей ополчения, кои, по счастью, с помощию их собственного благоразумия не употребили во зло тех сильных средств поработить себе народ, какие даны им были без довольного

рассмотрения. Вследствие сего государь нарядил сенаторов по всем областям для обревизования того, как собиралась милиция и как с нею обходились на местах приема. Сенаторы сии облечены были в пристойную мочь, сильную удержать всякое зло и умерить власть частных начальников. В Владимир прибыл г. Лопухин И. В. Я его знал и прежде, но не так коротко, как имел случай узнать ныне. Он был долгое время бригадиром в отставке и, не служив нигде при Екатерине, сделался Павловым статс-секретарем[3] и им возведен в высшие чины постепенно до сенаторского звания. Человек он был уже немолодой, умен, скромен, трудолюбив, деятелен и охотник до словесности. Вступя в исполнение своего дела, он оказал мне особенное доброхотство, и я должен признаться, что я ему приятными услугами обязан. Если не всякий легкий знак внимания почитать нам должно благодеянием, ибо сие слово, по мнению моему, силу имеет самую высокую, то нельзя, однако, не считать себя должным признательностию всякому тому, кто нам хочет сделать и делает добро по мере своей к тому возможности. Так и Лопухин, начав ревизию дела так называемого «О образовании земского войска», соблюл в отношениях своих ко мне и к прочим лицам всю желаемую нежность обращения. Этот первый шаг не безделица. Я много знал больших господ, кои при одном названии их ревизорами думали уже, что могут с чинами, подверженными их осмотру, просто сказать, браниться, как с холопами. Лопухин был не таков; он со всеми обошелся очень учтиво, взыскивал без сердца, рассудительно, выговаривал за худое не запальчиво, хвалил хорошее без восторгов, словом, я был осмотром его очень доволен. Он прожил с нами с месяц и входил во все подробности дела. Другой завел бы пустые хлопоты, дал бы повод доносам, ябедам, зажег бы личные страсти каждого и устройство превратил в хаос, но он не любил ни выискивать зла, ни мириться с ним, когда оно встречалось. Он делал свое дело, не выходил из его центра и за окружную черту не выступал ни в каком случае; все, что не относилось точно к милиции, было для него делом сторонним. Представляемые мною ему бумаги, удовлетворяя его любопытству, привлекали ко мне благосклонность. Он казался быть доволен моими трудами и похвалы, мне приписываемые, сообщал далее. Переписка его с самим государем была отменно занимательна. Он отдавал ему отчет во всем самым простым русским слогом и не таил правды, напротив, выпускал ее даже иногда и без осторожности. Я читал многие его донесении начерно, видел и при отсылке на почту, — всегда одним пером писаны, без лести и вымыслов. Он сколько мог умерял все стесне-

нии, кои поселяне терпели от милиции не по злоупотреблениям, но по натуре вещей. Земское войско собрано было у нас в две недели, как приказано. Строгая в этом точность произвела при самом наборе людей на местах разные поселянам оскорблении, но они были неизбежны. Никому не было времени осмотреться. Всякий спешил в две недели набрать людей, и настоянии правительства не позволяли брать в уважение ничего такого, что удаляло за предположенный срок набор ратников. Так назывались сии новые воины. Лопухин умел отделять в поступках чиновников необходимость от произвольного насилия и говорил, что, если владимирские крестьяне потерпели какие-либо притеснении, они произошли от общей ревности привести дело сие к концу точно в определенное для него высочайшим указом время. Милиция была общая беда сама по себе, а где все тело страждет, там как не бедствовать и каждому члену его в своей сфере. Иван Владимирович, желая лично мне быть полезным и видя, что я еще не имел никакого знака отличия, готов был уже о том представить, но я просил его обратить милости монаршие ко мне в лице моего старшего сына и доставить ему чин титулярного советника, что господином Лопухиным принято было весьма охотно. Представление о сем было мне прочтено и послано. Скромность не дозволяет ничего сказать о его содержании. Таким образом я сблизился знакомством с г. Лопухиным, и оно сохранилось прочным в годах последующих. Он всегда меня любил и старался быть мне полезным. Окончив свое поручение, он осмотрел слегка все присутственные места и при этом случае был столько ко мне благорасположен, что, зная мою нужду быть в Москве, тотчас по получении мною отпуска на пятнадцать дней позволил мне им воспользоваться и уже по судам ходил без меня, нимало не стесня моей свободы. Я с ним виделся в Москве, и он там с особенным удовольствием отзывался мне о всем том, что встретилось ему в наших трибуналах. Похвала достойных людей всегда для меня была ценою достойнейшей трудов гражданских. Отлагая к стороне все то, чем я лично обязан Лопухину, справедливость требует признания, что он из сенаторов был более всех к службе способен и прямо сын своего отечества, но, по несчастию, имел страсть к мистическим размышлениям и, попавши в секту так называемых мартинистов[4], предался с непомерным энтузиазмом нового сего рода фанатизму, писал много книг в разуме духовном и метафизическом, а поелику мартинисты и иллюминаты[5] казались людьми в государстве опасными, то и Лопухин считался человеком не совсем надежным. Многие почитали его иезуитом, то есть человеком коварным, другие думали,

что он из числа тех сладких человеков, кои мягко стелят, а жестко спать; всякий думал о нем по-своему, как то обыкновенно водится. Но я, не приметив из опытов, чтоб молва о нем сходствовала с истиной, верил по тем его делам и поступкам, кои я видел, что он о ближнем искренно радеет. Но и с ближним иногда нельзя без осторожности предаваться чувствам, а потому многие, не будучи к нему расположены искренно, не вправе были требовать и его к себе доброхотства. Впрочем, кто же на всех и угождает?

Получив отпуск на пятнадцать дней, отправился я с женой в Москву и провел там все это время в карете. Беспрестанные визиты к новым родственникам и их взаимные посещении делали из меня подобие молодого жениха, который всю жизнь свою проводит в суете и рассеянии. Утро, однако, у меня и тут уходило более на упражнения звания моего, нежели на увеселении личные. Я с отличною благосклонностию принят был Тутолминым и часто у него трапезничал. Он до тех пор простер учтивость и долг общежития со мною, что даже сам был у нас с визитом, не удовольствуясь присылкой карточки по обряду многих, кои или вовсе не отдают посещений, или с холопом присылают записочку об имени их, отчестве и прозвании. Эти карточки лежат на столах, и по вечерам, когда делать нечего, они праздным людям доставляют занятии. Читая их, напоминались жилище посетителей, свойства, истории, обычаи и проказы их. Самая моральная наука! Визитные карточки скоро будут у нас более места в домах занимать, чем лексиконы, календари, журналы и даже сама энциклопедия. Генерал Тутолмин был человек умный, хитрый, тонкий и до чрезвычайности вежлив. Полячки сделали из него такого постоянного волокиту, что он и в семьдесят лет щеголем казался. Я не имею причины ничего о нем иного сказать, как хорошее, потому что узнал его с выгодной стороны.

Дома у себя в собственном моем семействе я наслаждался родственною откровенностию и приязнью. Дом наш был не из числа шумных. Старость матери моей и отвычка от света облекли его в вид пустынный, но для нас все было веселее тут, нежели в гостях, и как бы к умножению нашего удовольствия в самые дни нашего приезда в Москву получено было известие от сестры Селецкой, что она родила сына Михайлу[6] и благополучно оправляется от такой новой болезни для нее в годах уже немолодых. Эта весть всех нас обрадовала, и первая почта понесла туда кучу наших поздравлений. В Москве когда не суетно? Когда скука смеет водворяться под кровы людей, чем-либо не огорченных? Мы простран-

ный круг встретили забав публичных, несмотря на то, что две недели, проведенные нами в Москве, были вырваны из Великой четыредесятницы, как две хорошие странички из плачевной книги. Не было ни балов, ни маскарадов, ниже театров домашних, но заменяли их сто раз приятнейшие съезды в обществах простых и непринужденных. Всякий почти день, начиная с дома тещи моей, которая меня полюбила, несмотря на мою плешивую голову и старое чело, до последнего из родственников жены моей и моих, были для нас семейные обеды, пиры не пышные, но многолюдством лиц похожие на торжественные празднества. Три поколения съезжались вместе пить наше здоровье и приветствовать нас за столами, покрытыми осетрами и хорошими яствами русских хлебосолов. Часто мы, забывая все заботы сторонние, певали с женою в окончании дня старинную песенку: «Где лучше жить, как на родине?» По вечерам после сытых обедов и лакомых полдников забавлял нас в театре Робертсон, славный художник, испытатель оптических очарований и мастер соблазнять взоры тех, кто любят призраки. У него видали мы при свечах восход солнца, столь же живо на картине холщовой изображенный, как и на небесном огромном круге. Зрелища, им представляемые под именем кинетозографии[7], привлекали всю Москву, да и, скажу чистосердечно, я редко видел что-либо приятнее его физических игрушек. Он приводил в эстампах все предметы в движение. У него нарисованные люди ходили, птицы пели, пушки палили, стрелки поражали рябчиков, кои в глазах наших падали как бы вправду. Рыболовы удили рыбу, и невольно мы, сидя в креслах на полу, радовались и вскрикивали вместе с ними, когда попадалась на червя[ка] живая рыба. Море воздвизалось, корабли сокрушались в бурях, крепости падали, и победоносцы в них трубили свои военные клики. Солнце заходило в заревах, и томная луна из-за рощ поднималась на верхнюю точку своего сияния. Все стихии слушали Робертсонова гласа, и по свисту его вся природа принимала для зрителей тот вид, какой он за день и за два сулил нам в печатных афишах и казал не за очень дешевую цену, но человек, который не умеет веселиться восхождением светила дневного даром, не жалел никаких издержек на то, чтоб доехать в покойной карете и радоваться лучам Феба в закупоренной комнате, где он находил его в одних мечтах.

Нет полных наслаждений в мире. Служба и тут меня находила со всеми угрюмыми ее заботами. Начальник владимирских сил князь Голицын жил в Москве и беспрестанно со мною сносился о разных отношениях, до дела принадлежащих. Не имел я от них свободы даже в Москве

и, будучи в отпуску, являлся почти каждый день к Тутолмину, чтоб изустно слышать его распоряжении, мысли и намерении для будущего лета. Он, говоря со мною о милиции, сказал: «Это с Богом думано». Изречение мне показалось ново, необыкновенно, и я его затвердил. Случилось однажды мне ввечеру до того быть заняту земским войском, что я принужден был отправить нарочного с предписаниями во Владимир, дабы не потерять времени, нужного к исполнению некоторых приказаний областного начальника. При всем том я старался разнообразными недосугами удвоить время моего пребывания в столице и в две недели торопился сделать то, на что бы с роздыхом и месяца было мало.

Я занимался вторым изданием всех моих сочинений. Университет, вследствие моего завещания, отдал печатание их с торгу Пономареву за изрядную цену в пользу владимирской гимназии, и мне нужно было принять участие в некоторых предварительных условиях с ним насчет формата букв и прочих подробностей. Основав и сие дело в Москве, готовился я к возврату домой. В полном бы удовольствии я оставил родительское гнездо, если б не потревожило меня то, что, от сыновей моих не имея писем, знал, что Ланская их имеет от своих. Все они жили в одном месте, одна и та же почта уведомляла и ее, и меня о всех их приключениях, но она имела письма, а я ни строчки. Сколько ни рассуждал я о том с выгодой для себя, все тревожился внутренно, и это наводило тень мрачную на мое воображение и сердце: первое вымышляло страхи, а последнее, казалось, ощущало уже самые печальные событии. К счастию моему, не долго такое состояние меня мучило, и письма их от 12 февраля, кои должны были быть в руках моих в Москве, по какой-то ошибке попали в них в Владимире в апреле, и я, узнав, что они здоровы, поблагодарил Бога, перевел к ним новую сумму денег, соразмерную назначению на месте при их отъезде, и опять насчет их успокоился.

25 марта бывает праздник в доме у тещи, день ее рождения. Я не мог остаться до тех пор: и срок отпуска, и дела времени настоящего требовали поспешности в явке к своему месту. Жене по свычке с родными хотелось остаться в Москве, ибо этот день она очень много чтила. Я не хотел быть виной неудовольствия общего при вступлении моем в их семейство, и, чтоб согласить все мысли, я оставил жену на несколько дней в матушкином доме, и она два дни спустя после Благовещения[8] приехала в Владимир, а сам, предваря ее, воротился в самый день срока к своей должности и принялся за нее по-прежнему. В один день исчезла память московских забав, потому что завалили меня бумагами, и так, как у пья-

ного от какой-нибудь нечаянной встречи пропадает тотчас самый неугомонный хмель, так и в моей голове куча гражданских пакетов вышибла все приятные замыслы, попавшие в нее в Москве. Кончим историю сих двух недель тем, что, бывши два раза в Донском монастыре, хотя я уже не кидался с воплем на гроб Евгении, как то случилось со мной прежде, при первом на него взоре, однако и ныне, в новом союзе, с новыми надеждами, я, лобзая надгробный камень моего драгоценнейшего друга, чувствовал, что душа моя никогда, никогда от Евгении не отвыкнет.

Отдохнувши мгновенно, но не лежа на боку, не в неге и покое, а в сильном рассеянии, я снова принялся за свое дело. Ни один год не представлял мне столь много трудов различных. Я сберу вдруг все поручении правительства и о каждом побеседую с кратким примечанием, дабы, вводя их одно за другим по времени как они до меня доходили, не разрывать общей цепи внешних и домашних происшествий.

Милиция была главный предмет забот на месте. Сбор народа в самое короткое время, одежда людей, хотя из русского крестьянского сукна, но по данным образцам, и вооружение каждого — все это требовало беспрестанного занятия. Ход политических обстоятельств дозволил убавить число ратников. Оставлена из них третья часть в действительной службе, которая и зачтена после, а две части распущены по домам. Итак, по Владимирской губернии готовились к походу до девяти тысяч человек, вооруженных пиками, ничему не выученных, никем не образованных, под начальством таких же рекрут из дворянского звания, рекрут, говорю я, потому что штат офицерский составлен был от шефа до последнего прапорщика из отставных дворян, служивших некогда, но так давно уже занимающихся собаками на псарне или флягами на досуге, что малое из них число подавало надежду в обороне отечества. При роспуске осмнадцати тысяч ратников в свои домы многие и офицеры стали излишние. Всякому почти хотелось домой. Споры открывались ежеминутно, иные откупались деньгами, другие растравляли себе члены, словом, ничего я не видал постыднее поступков многих дворян в тогдашнее время. И после мы станем себя ставить на ходули, любим, чтоб нас превозносили, называли подпорой государства в мирное и военное время. Слово любовь к отечеству сделалось набатным колоколом: шуму много, а толку нет. Я не смею распространять сих мыслей на времена, от нас отдаленные, и судить о свойстве дворян, живших до нас, но, быв свидетелем нынешним деяниям благородных людей, смею сказать, что российское дворянство померкло и пало навсегда. Приложить дозвольте мне сюда пример са-

мый простой. Налейте в бутылку спирту две части или более воды. Загорится ли на огне? Нет! Точно так и дворянство. Все состоянии в него ворвались: и церковники, и купцы, и холопе. Чему ж быть хорошему? Чему гореть?

В армии Наполеона были особенные войска, именуемые tirailleurs*. Они приучены были, как изъяснялся Тутолмин, и мне его слово полюбилось, *ловить человека на пулю*. В самом деле, спрятавшийся в кустарнике солдат с этой выучкой стрелял в генерала и, валя его с ног, приводил потерей одного человека целый корпус рядовых людей в беспорядок, а тут в суете хитрый полководец и побеждает тысячи одним взводом отважных солдат. Захотелось и нам это перенять. Тотчас велено до шестисот стрелков набрать из кучи ратников и приучить их попадать пулею в цель. В стрелки записывали крестьян таких, кои на зайца и на птиц хаживали с мушкатанами. Многие думали, к чести ума своего и рассудка, что попасть в рябчика, уснувшего на березе, и в человека, движущегося поминутно во фрунте, одно и то же. Нахватали стрелков, одели, дали им разнокалиберные ружья, не выуча стрелять, послали в поход, велели ловить на пулю Макдональдов, Давуетов и прочих их товарищей. Успех, говорят, венчает дело. И подлинно, стрелки наши все мученическим венцом обвенчались, ни один домой не воротился, и несчастный опыт заставил верить старой русской пословице, что всякое дело мастера боится, и что, не учась стрелять в людей, попасть прямо в череп фельдмаршала невозможно.

Назначено было взять рекрут и из духовного состояния. Явились под ружьем здоровые пономари, резвые семинаристы, жирные монахи, удалые послушники и даже ленивые пресвитеры с пьяными причетниками; все шло воевать, и всем брили бороды. Сношении по сему предмету с духовной властию не всегда были гладки. Архиереи щадили паству, губернаторы отнимали овец — всякий тянул к себе. И двинулась толпа церковников в нестройных колоннах искать смерти неизбежной на полях чужеземных. Все черезвычайности соглашаемы были словом «война», и кутья выходила на поединки с питомцами Волтеров[9].

Для навыка в механизме военного ремесла потребны были при таких разнородных массах обитателей русских учители. Их набрали из отставных старых солдат. Опасность нарушала все права. Не было отставных. Никто не имел свободы, всех брали на службу, и прослуживший уже

* стрелки (фр.).

свой срок инвалид принужден был снова брать ружье в руки, оставляя дома свой родимый *жезл и одр*. Без разбора гнали под неприятеля сухоруких, хромых, изувеченных солдат. Страдало человечество, но губернатор обязан был отражать от себя милосердие. Я болел, мучился, писал о сем, но тщетно: всякое представление, противное принятым о пользе общей, хотя и несправедливым понятиям, казалось дерзновенным ослушанием властей.

Наряды повинностей и заготовлении были бесконечны. С губернии Владимирской затребовали определенное число повозок в армию для возки сухарей вслед за нею. Всякий подряд вовремя и сходно, и с пользой можно сделать, но вдруг и тотчас, без уважения времени года, что может быть совершено с благонадежностию? Я должен был в распутицу заказывать телеги, дорогою ценою платить за них и посылать в Смоленск. Провоз выходил из всякой соразмерности. Цены зависели не от меня. Правительство ни за что не стояло, лишь бы все было, и скоропостижно. Мне, сверх того, приказано было послать под артиллерию лошадей до некоторого известного числа. Покупка их и годность возложена была на полный отчет губернатора. Я нарядил некоторых дворян по ярмонкам сельским добывать лошадей, давать задатки и на уговоре приводить ко мне. Уговоры были трудны. Никто не соглашался на неверное, всякий, продавая лошадь, просил тотчас денег, а осмотр зависел от покупщика, оплошность в этом случае страшнее была убытков. Помещики начали в город сгонять купленные ими табуны. Надобно было смотреть лошадям в зубы, разуметь их сложение и стати. Я к этому совсем непривычен и, в своих лошадях не зная толку, никогда не думал, чтоб гражданский чиновник обязан был разуметь коновальное мастерство, и не готовился отличаться в этом роде. Всуе писал мои возражении, силлогизмы были не у места. Я отправлял бумаги, а под окном у меня клеймили лошадей, и я посылал их в армию. Рассудилось мне просить, чтоб позволено было этих лошадей, поелику они шли в один путь с телегами, впрячь в них и вместе доставить. Отказано за тем, что трудно будет узнать годность повозок. Какое жалкое сомнение и недостаток доверия к начальнику! Итак, я должен был, согласно требованию военных чинов, которые погоняли нас своими сообщениями, как прутьями, разбирать повозки и, поштучно положа на возы, нанять под своз их охотников, кои нашлись за плату чрезвычайную, но в моей ли воле было щадить казну, когда она сама себя беречь или не могла, или не умела. Телеги пошли на возах с извозчиками, а лошади сами по себе. Сия последняя комиссия

меня более всех прочих беспокоила, потому что брак падал на мой страх и ответственность, а мне и за своих лошадей тяжело было платить деньги, когда они попадались нехороши, еще менее приятно было бы попасть в долги и расчет с казной за артиллерийскую конюшню. Но, к счастию моему, она сошла с рук удачно и без хлопот.

Желая пугать французов всем тем, что в России страшно, начальники военных департаментов рассудили выпустить против них башкир, как шавок на медведей. Пошли калмыцкие орды из всех оренбургских улусов на цесарские и прусские границы. Дикие эти народы огромную поставили конницу, и все это нестройное войско проходило в самое разлитие вод через Володимир. Каждый день похода был так учтен, с такою точностию назначен, как бы в хорошую погоду. Ни метели, ни разливы рек, ни топкие дороги, ничто не удерживало, и за самые даже естественные препятствии губернатор мог опасаться негодования. Паромов было довольно везде, но для обыкновенного употребления, для почты и проезжих. На такую тьму народа потребно было бы заготовить их больше, на это надобно время, а недосуги петербургские мешали там все одумать заранее. Как легче того, что все взвалить на отчет губернатора, назвав его хозяином? Отговорки не принимались. Десять тысяч башкир и вдвое больше лошадей опустошили все наши пажити и открывшиеся после снега поля. Явилось повсеместное хищение. Башкир отнимал и грабил, я получал жалобы и принужден был бросать их в камин потому, что не было в те дни уже ни суда, ни расправы, и военные чины делали, что хотели. Сам я нередко в бурю и непогодь принужден был переправляться с толпой башкир с берега на другой и обратно, чтоб усилить действие полиции, которой они не слушались, моим присутствием и оберегать жителя городского от их наглости. Прекрасное войско! Отнимет и уйдет. Одной нагайки не боится, она самое лучшее его орудие, а от огня бежит, как чорт от ладана. Иные бросают стрелы и щеголяют тетивой, но что могут они против хорошей медной пушки, когда она ядром туза пошлет? Слонялись они долго, обременили военную кассу, разорили все на путях своих и воротились домой, не принеся ни врагам страха, ни друзьям прибыли.

Более всего наносил мне неудовольствий и хлопот ремонт[10] лошадей в кавалерийские полки. Выбирать и отводить их поручено было полковнику гвардии г. Давыдову, который не замешкался приехать и на первых порах сошелся со мною довольно хорошо. Я не имел чести быть с ним прежде знаком, итак, все отношении между нами не могли иметь той

взаимной друг в друге доверенности, какая в делах службы необходима и которую основывает или свычка, или личное удостоверительное сведение о человеке, с коим вступаешь в дело. Как то ни было, но оба мы обязанными находились исполнить волю монаршую в том, он, чтоб набрать добрых лошадей, а я, чтоб их скорее выставили на смотр. Дело сие расположено следующим образом. Казна хотя не покупала лошадей в строгом смысле слова, а вызывала к сему пожертвованию дворянство, однако назначила платить по сту рублей за кирасирскую лошадь и по восьмидесяти за драгунскую[11]. По ценам тогдашним и по строгой браковке не было средства за такую цену дать лошадей, и к деньгам казенным оставалось дворянам приплачивать еще своих. Чтоб уравнять предлежащую тягость, надлежало расчислить, со сколько душ помещик обязан вывести коня и какого разбора. Предводители, которые во все это время почти безвыездно жили в губернском городе, ибо беспрестанные наряды и требовании военного начальства падали большею частию на помещиков, составили думу свою и расположили все определенное число лошадей с дворянских имений. Мне, имеющему исполнительную власть, оставалось выгонять ремонт к полковнику и наблюдать, чтоб не было дворянству каких сторонних утеснений. Г. полковник хотел, с одной стороны, щегольнуть красотой ремонта, а с другой — не потерять и своих выгод. На сей конец он подверг представляемых лошадей строжайшему осмотру, и затруднении, от браковки происшедшие, в выставке сей повинности дошли до того, что нередко в триста рублей лошади не принимались и доходило до четырехсот, но и тут не с благонадежностию в приеме; все зависело от произвола г. полковника, и никто не смел ему противуречить. Иногда принималась лошадь в полтораста рублей, когда дороже трехсот сгоняли с станка. Мне известно было, что из Москвы допущены были барышники к осмотру лошадей, кои, покупая от себя на стороне и имея свой счет с ремонтером, браковали вообще с ним, как искусные будто коновалы, всех тех, кои куплены были мимо их и не с их опробации, какой бы, впрочем, животное цены ни стоило. Вот как шло это дело! Спрашивается, покупала ли казна лошадей? Конечно, нет, а с убытками собственными разоряла обывателя, который вчетверо лучше ставил лошадь против назначенной цены, и могло ли это происходить без насилий и домогательств? Многие стали роптать и на ухо мне жаловаться. Убегая ссор, ибо я знал, что военный чиновник, какого бы в прочем он свойства ни был, но по духу времени возьмет верх у всякого гражданского, старался я миролюбивыми средствами уклоняться от гласных неудовольст-

вий. Однако не стало сил терпеть браковки многим чиновным помещикам. Начали поступать ко мне жалобы письменные, и я обязан был их удовлетворять. Но как? Разумеется, сперва я вошел в переписку с полковником и, изъяснив ему доходящие до меня жалобы, просил принять к выбору ремонта меры полегче. Давыдов отвечал мне сухо. Я снесся с ним словесно и с приязнью осторожной. Он стал холодно принимать мои примечании. Наконец, князь Голицын, начальник ополчения, служивший сам в кавалерии, осердясь, что из шести лошадей, им поставленных, г. Давыдов, который некогда и в команде у него был в Конной гвардии, обраковал пять, отнесся ко мне на письме и требовал, чтоб я, будучи хозяин в губернии, защитил его как владельческое лицо от чинимых ему притязаний г. полковником. Тут уже нечего было делать и мне. Отказать Голицыну в застое[12] под предлогами мелкими и пустыми я не смел. Он мог пожаловаться, и мне бы написали выговор, поставя в заглавье крупными литерами, что я хозяин и обязан защищать дворянство против притеснений. Взять сторону последнего и жаловаться в виде хозяина на ремонтера было также средство неблагоприятное. Надобность настояла решиться на то или другое, и я, находя жалобы помещика справедливыми, зная, что они подкрепляются глухим ропотом многих маломощных владельцев, представил о том, как идет ремонт, к министру, прося его исходатайствовать г. полковнику приказания или облегчить браковку, или принять от дворян определенную правительством цену, на что они все чрезвычайно согласны, потому что ассигнации не лошадь, ни браковать их, ни за сто трехсот рублей требовать нельзя, а на полученные деньги г. полковник мог по приближении Макарьевской ярмонки купить там недобранное число лошадей с сбережением всех выгод, и казенных, и частных. Сколь ни был слог моего представления умерен, ибо я всячески уклонялся личности и не поместил ничего, для Давыдова предосудительного, но бумага моя ему не полюбилась. Он явно начал со мной ссориться, перестал меня посещать, завязался в переписку, в которой он ничего выиграть у меня не мог, потому что если он мастер был рассуждать о свойстве лошадей, я не уступал ему в употреблении пера, итак, началась у нас война, которая загорелась еще сильнее, когда граф Кочубей, снесясь по рапортам моим с министром военным и приняв мою сторону, истребовал у него данное полковнику Давыдову предписание по его команде, которым он не мог остаться довольным. Ему притом велено было, как я представлял, за недобранных лошадей взять с помещиков деньги по положенной таксе и самому купить в исполнение владимирского ремонта нужное количество лошадей, где и как

он за выгодное признает. Кончились наши сношении с ним, но г. Давыдов поехал из Владимира моим недоброхотом и, приехавши с отчетом в своем поручении к государю, так много мне, как говорится, насолил, что приготовленная мне по ходатайству моего министра лента остановилась на ходу и до меня в то время не дошла. Не жаль было мне ленты, но тяжело было страдать от поклепа, да и такого, которого мне существо совсем было неизвестно, следовательно, чего не знаешь, в том и оправдываться нельзя. Бог знает, что г. Давыдову рассудилось глаз на глаз с государем внушить ему на мой счет. Неизвестность такая не могла для меня быть приятною. Утешении чистой совести хороши для неба, но между людьми потребны добрые чужие речи, выгодные отзывы знатных, хорошая молва общественная, а это все, к несчастью, более основывается на заключениях двора, на улыбках фортуны, нежели на правости дела и чистоте намерений наших. Истину эту, от Адама существовавшую и которую ничто не переменит, я узнал из собственных опытов слишком поздно. Так, например, при настоящем случае, как я принес себя совершенно в жертву дворянству, жарко вступясь за выгоды его, никто из целого сословия не удостоил меня своей признательности. Кто знает мои коренные правила, тот поймет, что я разумею под словом признательности. Не подарки их, табакерки, с восклицанием подносимые, меня пленять могли, одно простое слово русское *спасибо*, сказанное от души в собрании дворян, было бы для меня торжественнейшим трофеем, но дворянство любило чужими руками жар загребать и потом выдавать своих подвижников. И после этого хотят некоторые энтузиасты, чтоб люди жертвовали собой общей пользе. Трудно готовиться к этому, хотеть этого и делать. Нет человека, который бы равнодушен был к неблагодарности. Она волнует каждого, и самый хищный злодей хочет, чтоб тот, кому он делает добро, независимо от общих его злодеяний был ему благодарен, а благодетелем быть неблагодарных один мог Богочеловек. Он был Христос, сын Божий! Мы только люди, но еще и бедные люди! Вот чем кончилась пря моя с Давыдовым. Я умолчу о мелочной его досаде на меня, которую он изъявил, ехавши из Владимира, тем, что лучшего моего экспедитора подманил к себе в штат и увез с собою. Это не стоило моего внимания. Ему надобен был секретарь, и я рад, что мальчишка из моей канцелярии мог годиться к его высокоблагородию в письмоводители, а у меня мой секретарь был я сам. Многие, видя владимирские ремонты, писали ко мне, что ниоткуда почти таких хороших лошадей не приводили, как из Владимира. Это бы принесло чести много не мне, а ремонтеру,

если б средства, к тому употребленные, были сносны и похвальны, но на чужой счет выслуживаться немудрено и я не любил. Чего не сделаешь насильно? Дворянская шея толста. Прижми, так мало ли что будет превосходно, — и не лошадей криком отнимешь!

Все вышеозначенные послуги отправлялись с необычайной скоростью. Она отличительной чертой была всякого одобрения и похвалы. Начальство требовало, чтоб все спело в один миг, и оттого работы письменной было много, забот вдвое. Дворяне употреблялись всюду, без всякого уважения к их достоинству и преимуществам наружным. Они покупали лошадей, смотрели за повозками под артиллерию, провожали партии рекрут, и, словом, не было поручения, в котором помещик избегал бы лично сам по себе тесного участия. Иные досадовали, другие сказывались больными и явно не слушались. Земская полиция по требованиям моим их высылала. Вместо явки доходили до меня отзывы на письме. Лекаря мыкались из поместья в другое свидетельствовать мнимых недужных. Дворяне их подкупали, а те наклепывали на них водяные, чахотные и параличи. Я сердился, а делать было нечего; запряжен и сам, как лошадь, под тяжкий воз градоправительства, часто при всех моих усилиях не мог сдвинуть его с места. Всего требуют, ни на что нет достаточных средств, а ответственность непомерная. Везде ли так служат, как в России, не знаю, но признаться должно, что служить у нас настоящая мука. Зато посмотрите, кто ж и служит по губерниям: или скаред, или наш брат нищий, который по завету праотца Адама потом достает насущный кусок хлеба.

Между тягостными поручениями были и приятные. Государю угодно было приказать, чтоб пленные офицеры из Вильны отсылались прямо в Владимир на Смоленск и Калугу, миновав Москву, а я имел повеление, разделяя их на две партии, рассылать в Вологду и Кострому, а иных в Симбирск. Хотя не много привозили ко мне штаб- и обер-офицеров, однако человек до пятидесяти мне случилось видеть, и из них я с некоторыми, как например Сегюр, la Grange, Deschamps, Martin и Chabannes, познакомился с приятностью. Правила мои из Истории моей уже известны. Я люблю и не люблю по воле сердца, а не по предрассудку, и никогда не постыжусь сказать, что я гораздо охотнее разделю время с умным и ученым французом, хоть пленным или свободным, нежели с пьяным помещиком, не знающим грамоте, потому только, что он русский, а не иноземец. Что мне до цвета волос и до наречия? Добрый человек везде мой земляк.

Весь мир одна семья, с начала до конца:
Мы слабые птенцы всесильного отца.

От этого, однако, что я так думаю, прошу не заключать, чтоб я был Мазепа. Нет, конечно! Изменить родине я не могу ни в каком случае, но любить буду вечно то, что мне понравится. Между приверженностью к своему краю и ненависти к чужому по предрассудку должно определить границу. Но не о том здесь дело. Воротимся к пленным.

Они препровождаемы были всегда достаточным конвоем, и когда являлись ко мне, я сменял оный здешней командой, разумеется штатной, другой не было в моей подчиненности, и назначал им места пребываний. При сем случае я старался всегда соображаться с их желанием, оно основывалось не на изве́стности наших городов, о коих они и понятия не имели, а на выгодах артельных. Итак, я по артелям их и распределял. Это должно было казаться им благодеянием, за которое лучшие из них умели быть признательны.

Кроме маленькой шалости, происшедшей от простых солдат, и то по поводу слабого офицера нашего, их препровождавшего, я не мог пожаловаться ни на солдат, ни на офицера. Все проходили довольно скромно. Только тогда офицер наш, оставшись в городе, пустил толпу рядовых до ближайшей деревни с пьяным урядником и малым числом своих проводников. Они, пришед в село, стали брать квартеры сами, драться и бесчинствовать. Ударили в набат. Я, услышав тревогу, поскакал на место и привел все в минуту в порядок; в прочем никаких обид от пленных нигде и никому не было. Офицеры вели себя весьма благопристойно. Иные слишком много пили, но не забывались, и одним громким словом можно было их угомонить. Удивлялся я всегда, видя, что солдаты в одной комнате с своими офицерами сидели, когда те стояли и курили табак, как в казарме с своей братьей, расспрашивал, отчего такое бесстыдство и дерзость. Офицеры сказывали, что это еще остаток революции и дух прежнего безначалия. Солдат в плену считал себя равным офицеру высшего чина, говоря: «Он без шпаги, и я без оружия, мы оба без команды, не при войске, следовательно, товарищи и не обязаны покорностью, а при фронте, о, там иное дело — меня расстреляют за малейшую грубость, а теперь некому и негде». Вот как солдаты сами со мной о сем рассуждали, и даже иногда встречались такие случаи, что пленные офицеры прашивали меня заставить солдат перед ними молчать и не грубить им. Довольно было погрозить. Они русских ужасно боятся, а сказать ли прав-

ду, им наша нагайка страшнее всякого ружья. Оттого забияка казак, башкир, калмык пугнет скорее кучу французов, чем рота регулярного войска. Тяжело было обходиться с больными, они прихотливы и все требовали белого хлеба. На вопрос мой, всегда ли их в армии кормят крупитчатыми калачами, отвечали: «Когда мы в поле, мы все терпим, все проглотим, иногда можем и не есть долго, но когда мы дома отдыхаем, не деремся или лежим в лазаретах, мы любим есть свежее и доброе, а худого нам не давай». Я говорю, что от самих слышал и, право, из пристрастия не хвастаю. Со всем тем они принуждены были у меня есть черный хлеб и пить сивуху. Часто я смеялся, когда они, опорожнив крючок[13] простого вина, морщились и говорили: «Ah mon General! qu'est ce que c'est que'ça? Parlez moi du viu de Bordeaux, diable c'est bieu autre chose»*. Наглое хвастовство! Конечно, солдат и дома не садится sous la treille** и не пьет того вина qui sent***, как они говорят le bonquet****. Множество анекдотов об них выпустить можно, но я, умалчивая о сем, как не о принадлежащем до моей биографии, помещу, однако, здесь еще один. С офицерами пленными прихаживали и сдавали мне их молодые люди без опытов из гарнизонных команд. Не имея догадки, они сопровождали их так, как водится гонять рекрутские партии или колодников. Знали французы, что их возят не через Москву по повелению, а по Калужской губернии. Но у всех были карманные карты, они видели на них, где лежит кратчайший путь, и вместе с тем примечали, что господин офицер с умыслу дает обводы, направляя тракт свой на богатые селении, и знали или смыслили довольно по-русски, чтоб понимать, что офицер, стращая крестьян требованием множества проводников и после распуская их, лакомится около вотчины. Раздраженный подполковник, вошед ко мне в кабинет, стал жаловаться на офицера, и, когда на очной ставке этот хотел уверить меня, что он врет и дорог не знает, тот вынул свою карту, и я принужден был согласиться, что наш молодец плут и грабит свои вотчины. Я готов был отмстить такой стыд всему народу русскому примерной строгостью в поступках моих с офицером, но сам пленник выпросил у меня его пощаду, прибавя: «Зачем таких молодых людей подвергают портиться напрасно? Нас бы, — говорил он, — могли провожать ста-

---

* Ах, генерал! Ну что это такое? Поговорим лучше о бордо, ведь это ж, черт возьми, совсем другое дело (фр.).

** в беседку из виноградных лоз (фр.).

*** которое испускает (фр.).

**** букет (фр.).

рые заслуженные офицеры, а эдакой молокосос для чего не стоит против пушки и не дерется с нами? Там бы настоящее его место». Примечание справедливое и на которое сказать, кажется, нечего. Вообще, из многих случаев заметил я, что французские природные офицеры готовятся к своему званию, учатся чему-нибудь и знают те места, куда воевать ходят. Много ли у нас таких офицеров, не только в полевых, но даже и в отборных полках, кои, зайдя во Францию, умели бы указать тамошнему префекту, что его не тут везли, где следовало. Наш офицер, что называется, напольный, стоит, как столб, против пушки, лезет напролом, режется, как вол бодает рогами на мах, а попался ли в плен или пришел здоров домой — пьет да буянит. Кажется, это не выдумка.

Пусть укорят меня слабостью к французам, но я не могу здесь не упомянуть о поступках двух офицеров пленных, лично мне оказанных, кои общих похвал достойны.

Segur и Lagrange, благородные люди, проезжая в Вологду через Владимир по особенному о них назначению, ибо они чинами, именем и званием отличались от толпы прочих пленных, прожили у меня двое суток, и находившийся при них гусарский унтер-офицер лет двадцати по имени Шабан, сын генеральский, старого дворянского происхождения, занемог горячкой. Им нельзя было его с собой вести, не подвергая опасности, они его оставили в лазарете при Общественном призрении и убедительно меня просили приказать за ним ходить хорошему лекарю и сберечь его сколько возможно. Они уехали, а мальчик остался на моих руках. Долго он хворал, но натура превозмогла болезнь, и он вошел в силы. Я дал ему квартеру у себя в доме и признаюсь, что лелеял его, как сына, потому что он был умен, благонравен и хорошо воспитан. Выздоравливал он медленно, и, чтоб не подвергнуть его новой горячке, тем более что, не будучи офицером, он не имел права на подводу и должен был бы идти на Вологду пешком, иначе патриоты, увидя его в повозке, закричали бы: «Измена!», я додержал его до замирения, которое, к счастию его, последовало летом[14]. Шабан должен был ехать. Что превозможет любовь к родине? Я его отпустил, и когда он прощался с нами, он плакал, как дитя, которого отнимают у кормилицы. Наконец, уехал Шабан, и след простыл, но нас он не забыл. Приехавши на границу, писал ко мне с тем офицером, который отвозил его, благодарил каждое лицо моего семейства за хорошие с ним поступки. Мало этого. С удивлением чрезвычайным получил я по некотором времени письма от всех его родных, отца, матери, сестер из Парижа, в которых они в трогательнейших выражениях

благодарили меня за милости, оказанные их детищу. Много ли мы видим на Руси таких благодарных людей? Вспомня Шабана теперь, когда я это пишу и когда вижу во многих облагодетельствованных мною людях настоящих себе злодеев, ничто не затворит уст моих, и я смело скажу, что Шабанов мало, очень мало в моем холодном отечестве.

Другой француз, полковник егерский Deschamps, проезжая также в числе пленных мимо нас, отобедал у меня и в общем разговоре о молодых людях узнал, что дети мои воспитываются в Геттингене. Расспрося о них и об учителе, расстался с нами и один из всех своих сотоварищей не приписал мне ни слова с границы, что меня было и заставило сделать о нем невыгодное заключение. Но что ж? Несколько времени спустя получаю я от детей письмо, в котором добрый наставник их Венц уведомляет меня, что такой-то, называя его по имени, полковник Deschamps, приезжал прямо к ним на квартеру, сказывал, что видел нас, говорил много с ним о семействе моем, и, полагая, что перевод денег от меня должен был быть в настоящую пору затруднителен, он предлагал свой кошелек к услугам детей моих до того времени, как они получат свои деньги, в знак благодарности его за наше хорошее с ним обращение. Рассудительный мой Венц отказал учтивым образом все пособие и написал ко мне о том. Опять спрашиваю, много ли подобных поступков мы находим дома? И должен ли я, потому что Deschamps не великороссийский уроженец, бранить его, как злодея, и оставить дело доброе без внимания? Нет! Я написал тогда же ему благодарность на его языке и послал по заключении мира, не страшась никакой огласки, в иностранные ведомости для напечатания, потому что письма я адресовать к нему не знал куда, но нигде не читал моей признательности и признаюсь, что жаль до сих пор, если он не знает, что и я за благородные поступки, даром, что русский, благодарен быть умею.

Означив здесь особенные сии два случая, в заключение повести о пленных скажу, что все они, доехав до границы, писали ко мне общее письмо за рукоприкладством каждого лица, в котором, благодаря меня, почитали себя навсегда обязанными за мое доброхотство и ласковость. Я поступил с ними хорошо и сострадательно по моей и, думаю, общей ума здравого логике. Пленный обезоружен. Он не дерется. Он не злодей и мой ближний. Жалеть о нем, помогать ему, быть милосерду с ним — долг христианский. Вот простая моя философия, я другой не знаю и, благодаря Бога, не раскаивался. Сегюр певал у меня песни, La Grange толковал о политике, с Мартенем мы рассуждали о математике, с Achille

Desrivaux восхищались романическими замыслами. Deschamps пленял меня простым сердцем, а Chabanes занимал все мои родительские чувства попечениями о себе и его благосостоянии. Таким образом употребляя каждого из них себе в пользу, я приятно проводил многие вечера летом и облегчал тягость их неволи, а дворяне мои между тем глядели на меня, выпуча глаза, и всякое им приветствие почитали самым ужасным клятвопреступлением, навлекающим на меня и весь дом мой непосредственный гнев Божий. Народ толпился к их квартере, глядел в окошки на них, как у Пашкова в Москве глядят сквозь решетку на заморских птиц, и, нахохотавшись, расходились.

Святая неделя в этот год[15] была самая суетливая и смутная. Двинулись паромы, и поплыли башкиры. Из Польши пленные, съезжаясь в одно время в губернский наш город, забавляли чернь больше качель и всякой комедии. В то же время отделялась третья часть милиции. Ратник, башкир, француз, напиваясь в одном кабаке, выходили на посмешище народное, и полиция поминутно их разнимала. Друг друга не разумея, все они трое изъяснялись кулачным боем, и башкир всегда выигрывал поле сражения. Для предупреждения домашних стычек я часто сам выходил на площадные сборища, и никакого приключения замечательного не происходило. Зашевелилась наконец милиция, стала выходить в поход, и город помаленьку отдохнул от разнородных суматох, коими он всю зиму был занят.

Летом, по обыкновению, путешествовал я по городам и заезжал в женину деревню уже не так, как гость, но как полухозяин. Там несколько дней проведя в приятной неге и тишине, я с новыми силами возвратился в город, в котором меня ожидали домашние хлопотные занятии. Квартера моя у Безобразова была тесна для всего нашего семейства, надлежало ее распространить. Я построил несколько флигелей и старался спокоить каждого из детей наших по приличию возрастов их и пола. Строение шло не скоро, а я от природы нетерпелив, итак, меня не менее войны это мучило. Сверх денег, на три года мне данных казною для найма квартеры, кои составляли полторы тысячи рублей, я в дом и флигели прибавил до двух своих и насилу исправился ими. К осени все перешли в новые покои и по возможности нашли в них довольное помещение.

Такая же забота приглашала меня в Муром. Там закладывался корпус каменный для присутственных мест и готовились по отстройке к обновлению казармы для инвалидов гвардейских. Я поскакал туда и, созвав духовенство, с благословением Господним совершил то и другое

дело. Ученый протопоп говорил проповедь, выхвалял мои труды, как водится, обращал взоры свои то к реке, то к народу и, увлекаем в восторги, изображал нам в Муроме золотой век оттого, что судьи будут вздор делать не в деревянных хоромах, а в больших каменных палатах. Но еще до них было далеко. Первый только в основании полагался камень, и корпус должен был отделаться в три года. А в казармах свои происходили приключении. Там солдатские жены, обновляя свое новоселье и вспомня, что их величали в старину прапорщицами, плясали передо мной вприсядку и, шевеля ребрами, во все смыслы думали, что они для новых своих горниц помолодели. Дни три погостив у них, я воротился в Владимир и по приезде дал большой бал в воксале в день именин жены моей[16], на котором наши барышни затмили совершенно гвардейских прапорщиц.

Между сими забавами выскакивали интересные минуты. Какой-то г. Чичагов, предводитель Бугульминского уезда и, по-видимому, грамотей, рассудил мне написать письмо похвальное насчет моей оды князю Пожарскому. Он не подписал имени своего, я о нем узнал после. Грамотка его слишком льстивая заставила меня сперва задуматься. Долго не знал я, что с нею делать: куда отвечать, Бог знает, к кому писать, не ведаю. Учтивость требовала отголоска, но я опасался попасть в предмет насмешки, если откроется, что написал мне сие приветствие кто-нибудь из шалости. Наконец, решился я поблагодарить неизвестного в газетах, и он, увидя взаимные похвалы, восписуемые ему от меня, не утерпел маски, снял ее и явился в новом ко мне послании наружу — сочинитель первого, г. Чичагов. Благодарю его вновь, напоминая здесь о сем случае, за его панегирик; и как тогда, так и теперь признательно исповедую, что получил я его туне, без всякого права на чрезвычайные похвалы, какими угодно было ему, не знав меня в лицо, удостоить мое перо. Оно только в этот раз к нему писало, но потом я уже не знал, ни куда он делся, ни что с ним случилось, и, видно, одна ода Пожарскому его, как патриота, воспламенила в мою пользу.

Судьба готовила в нынешнем лете нового жениха для Анны Михайловны, но она не решилась за него выйти. Некто Константинов, небогатый, но изрядный человек, и молод еще, служащий в Приказе общественного призрения заседателем от дворян, чином титулярный советник, ознакомясь с нею в нашем доме, решился искать ее руки. В Анну влюбиться было нетрудно. Начитавшись романов, она пленять умела каждого. Воображение ее пылкими красками представляло всякому в беседе

счастие иметь милую, владеть ею и жить с нею. Этого счастья с жадностию хотел насладиться Константинов. Анна, говоря с ним сегодня и завтра о любви, о ее очарованиях, нечувствительно его к себе приковывала. Он, начитавшись сам книг чувствительных, не мог обойтись без разговора с нею, и кончилось открытым сватаньем. Анна, увидя, что обольщение зашло слишком далеко, и не имея пристрастия к своему обожателю, отказала ему в участи общей с ним, не решилась идти замуж, и роман этот, начавшись без цели, кончился без обыкновенной развязки. Она осталась и теперь еще в девках, а он спустя с год потом женился на другой и, не дожив до рождения первого своего ребенка, умер. Итак, для нас осталось навсегда загадкой, отчего не Анна, а вместо ее другая сделалась скоропостижной вдовою. Случаи как кости, все мы в них играем, и никто не знает, что из трубки выскочит.

Обстоятельства войны шли не хорошо. До нас доходили только слухи, но мало приятных. Скоро последовал мир, который унизил Россию, и в первый раз она почувствовала над собой влияние чужого деспота. Известие о сем доставлено к нам с нарочным от Тутолмина из Москвы. Оно меня нашло в Черкутине, графа Салтыкова деревне, в самый Петров день, и я тотчас приехал в Владимир дать вид празднества сему печальному событию. Слишком ощутительно было, что на престоле российском сидела не Екатерина и что Франция для нашей земли превратится скоро в старинных татар. Однако надобно было казать вид веселый и угощать наших злодеев. Пленные, возвращаясь из разных губерний, достигали границы чрез Владимир. Все были мне знакомы, и 10-го числа июля при освящении нового храма в городе до двадцати человек французских офицеров любопытствовали видеть эту церемонию в Восточной церкве. Я их пригласил оттуда к себе обедать, они все шайкой за столом пили здоровье нашего государя, а я взаимно с приветствием к ним таким же, каким они потчевали меня, пил здоровье их самозванца, которому совсем другого желал на уме. Пир был в летней маскарадной зале. Хорошая погода придавала ему прелести, и французы, по-видимому, довольны мной разъехались, кому куда следовало. В это же самое время и упомянутый Шабан с нами расстался. Повторю, что мне этого молодого человека очень было жаль.

Прошу читателя на минуту вспомнить Муромский пожар. Там я обещал, описывая его, рассказать в своем месте о случившемся от того пожара забавном приключении. Теперь об нем начнется речь потому, что он в связи с построением церкви, о которой говорено выше.

Между пожитками и дорогими вещами, потерянными тогда во время почти всеобщего в городе пожара, ибо везде с тревогой от огня соединяется грабеж, одна купчиха потеряла жемчуг значущей цены, другая, найдя его, закрывала у себя дни с три, и когда полиция, узнав, у кого покража, стала ее домогаться, то похитительница, предваряя шум и огласку, выдала жемчуг и возвратила прямой хозяйке. Случай простой, обыкновенный и ничего бы не значущий, но молва все превращает, а любопытство ищет приключений. Нельзя было и в Муроме какому-то праздному сочинителю анекдотов не выдумать на сей счет целой истории, и скоро разнесся слух, что какая-то мещанка, найдя чужие драгоценности и в то же время лишась своих подобных, признала, однако, что найденное принадлежит не ей, и, не заменяя тем собственной своей потери, отыскала ту, чей был жемчуг, и ей возвратила, не приняв за то даже награды. Везде кричат о великодушии мещанки, доходит басня и до меня, но как долг мой требовал пещись о общем всему городу вспоможении, а не о награждении частно хорошего поступка, который должен был довольствоваться без мзды одною своею славою и признательностию граждан, то я, испрося городу ссуду денег из казны на исправлении домов и фабрик, не упоминал о мещанке ни в какой деловой бумаге, не почитая даже сего в связи с настоящею моею должностию. Если бы было мне досуг, я бы пустил такой случай в журнал, но мне было тогда совсем не до них. Прокурор наш, о котором я дал уже прежде понятие, г. Зузин, сведавши о сем приключении, по торопости своей не справясь, как и где что происходило, представил к своему начальнику генерал-прокурору князю Лопухину. Этот, набивая кису свою, которую тогда называли по моде портфёлем, разными пустыми докладами, лишь бы провести свои часы у государя без дальных словопрений, с поспешностью велел в нее положить записку и о муромской великодушной мещанке. Доложено императору. Пожаловано ей тысячу рублей. Тогда в обряде было за доброе дело платить деньгами, ибо нравственность так очевидно портилась, что уже никто не хотел быть похвалы одной достоин, а всякий искал в самом простом поступке мзды корыстной. Даром не было благодетеля, и всякий шаг ближнего назывался пышным словом подвига. Я ничего о переписке прокурора не знал. Она мне не входила в ум, как вдруг, к особенному моему удивлению, получил я от князя Лопухина деньги для отдачи великодушной мещанке от имени государя. Какой, за что? Не понимаю. И письмо княжое оканчивается тем, чтоб я о ней взял сведение от прокурора. Догадался я, что он пустил ему ракетку в Питер, и, дабы охранить себя от

стыда попасть в глупую сплетню с прокурором и его начальником, я требовал от Зузина формального сведения, кому принадлежат царские деньги? Ответ был пустой, чего я и ожидал, ибо анекдот поднят на площади. Началось дело. Пошли переписки с Муромом. Оттуда — ничего ясного. Чем больше собирал я справок, тем темнее становилось дело. Между тем уже явилось до трех мещанок, кои все требовали денег. Безделица такая начала меня затруднять вправду. Я боялся деньги отдать кому-нибудь из них. Другая, третья стали бы жаловаться, и следствиям не было бы конца, а я, со всею осторожностью возможной, не избежал бы неприятности остаться без вины виноват. Что делать? Я все представил князю. Прокурор, боясь выговоров, и поделом, писал также и представлял, что я стесняю мещанку и не отдаю ей денег потому будто, что не от меня выведено обстоятельство сие в огласку. Генерал-прокурор сердится, шлет ко мне двусмысленные бумаги, пеняет и умножает мое недоумение, возлагая на мой собственный отчет отдачу государевых денег той точно, кому правильно следуют. Натурально, что князю не очень хотелось входить в новый доклад к государю по моим рапортам и объяснить, что прокурор его и сам он изволили наделать вздору. Деньги все у меня лежат, а тем временем журналисты по всей России трубили о муромской мещанке. Смерть всех развязала. Та, которая по настоянию прокурора и всех его стряпчих почитаема была имеющей истинное право на получение денег, умерла. Это представило мне случай поправить общее дурачество, и я, донося князю Лопухину о кончине бесподобной мещанки, просил исходатайствовать у государя пожалованную ей тысячу рублей на возобновление исторического храма, который еще при княжениях был создан над золотыми воротами, но двумя пожарами двукратно истреблялся, и тогда одно место пустое оставалось. Город не в состоянии был сделать по-прежнему церкви, да и не пекся о том. Я вздумал возобновить древнюю руину и снова на месте святе воскурить пред Владыкой твари благовонный фимиам. Доклад мой принят милостиво. Государь пожаловал деньги сии в мое распоряжение, а к тому подписки доставили почти столько же. Многие снабдили утварьми и одеждами церковь, и, помощью Божией, освятилась 10 июля на золотых воротах старинная церковь[17], памятник многих исторических событий. Архиерей освящал ее. Она имя носит прежнее, Ризположенская, и потому в самый сей день первая в ней отправлена была литургия. Празднуемый тогда же мир новый с французами и воспоминаемый старинный с турками под Кайнарджи[18] сближал в помышлениях две эпохи, весьма различные между собою и

кои много давали пищи философии[19]. Освящение храма было великолепно. Французы с удовольствием смотрели на наши обряды.

Таким образом вседержитель мира, из зла производя добро и из уничижения рождая славу, благоволил древнему опустошенному храму в славу его возобновиться и от мелкой причины возродил действие святое, преподобное. Ложь явилась спасительна и вздор полезен. Так движет Бог, по премудрости своей, вся к цели доброй и превосходной. Благодарю его во храме сердца моего, что привел меня быть орудием воли своей в создании и обновлении святыни своея. Сей Бог наш да творит волю свою над нами и вовеки, ибо она выше и лучше всякого нашего мудрования устрояет жребий человечества.

Обратимся в заключение сего происшествия к своей братьи и пожалеем, что наши господа министры, такими пустяками занимаясь, каковым представляется повесть мещанки, отнимают у государя драгоценные минуты его трудов и сами вместо полезных упражнений собирают со всего света сказки, басни, возят их ко двору, из вздоров затевают приказные дела и озабочивают начальников губерний пустою перепискою. Посмотрите в архив владимирский, вы там найдете стопу измаранных листов, связанных бечевкой с ярлыком и надписью: «Дело о муромской мещанке». Иной подумает, что тут кроются презанимательные обстоятельства. Если б в архивах позволялись шутки, я бы велел на той цидулке написать: «Сплетня прокурорская». Читателю покажется, может быть, скучно и две страницы здесь об этом прочесть. Каково же было мне до развязки близко года марать об этом бумагу и несколько дюжин представлений свалить на почту.

Лето до осени глубокой или до зимы бывает всегда почти праздно в провинциях. В Москве все уезжают в подмосковные гулять. Здесь помещиков мало и ездить некуды, но и дел почти нет, итак, служба обращается в ваканции. Некоторые суды по примеру Сената пользовались формальными роспусками на месяц, но казенные места и исполнительные иметь сей выгоды не могли. Итак, после празднества мира до октября жил я без всякого особенного и чрезвычайного дела и в это время оставлю на память здесь следующие домашние происшествии, более или менее до самого меня коснувшиеся, как например известие о смерти Надежды Сергеевны, свояченицы моей, которая, в Пензе препроводя остаток дней своих тягостнее всей своей замужней жизни, наконец перестала страдальчествовать. Кончина ее привела мне на мысль много событий таких, кои, по связи с жизнию покойной жены моей, тронули меня снова и вы-

рвали чувствительные слезы о прошедшем. Напамятовании молодости всегда располагают нашим сердцем в настоящем и много действуют на будущее. Жаль мне было Надежды Сергеевны, тем более что хотя мы и верим, что на все есть определение небесное, однако кажется, и казалось мне тогда, что если б судьба ее получила с начала другой вид, то бы, может быть, и конец ее был инаков. Рок заранее учреждает, видно, наши обстоятельства так, чтоб при всех усилиях человеческих жили мы и умирали не по нашим планам, а по начертаниям Бога вышнего. Скажем и Надежде Сергеевне вечную память!

Носилась по городу молва, что Тутолмин всех области своей начальников губерний рекомендовал государю, кроме меня. Это не могло быть приятно. Я к обидам чести не был никогда холоден. Описался с ним довольно жарким пером, упрекал его в пренебрежении моих трудов — весь проигрыш остался на моей стороне. Тутолмин, отвечая самым кротким и благосклонным образом на мое жесткое письмо, препровождал мне, во свидетельство противного дошедшего до меня слуха, копию с посланного им уже давно к государю представления в мою пользу, которым он испрашивал мне ленты. Безуспешность представления укоренила догадки публики насчет собственного его ко мне неблагорасположения. Очень совестно стало мне, прочтя его бумаги, видеть, что я с заслуженным стариком забылся и позволил себе лишние выражения от запальчивости, которая часто отнимала у меня рассудок, особливо когда встречались щекотливые случаи для чести. Но Тутолмин не попустил желчи своей противу меня и по-прежнему всегда хорошо со мною обходился. Я должен с моей стороны сказать о нем, окончив с войною вместе все отношении моей к нему подчиненности, что он был человек умный, сметливый, осторожный и редкого обращения со всеми, имеющими до него какое-либо дело. Он умел, чего многие наши знатные бояра не разумеют, быть взыскателен по службе и учтив в обхождении, давать ордер поутру и платить визит днем, заниматься деловыми бумагами и отвечать на партикулярные письма. Все это я собственными опытами дознал и с удовольствием ныне, когда уже нет его на свете и он ничего для меня сделать не может, отдаю ему надлежащую, по мнению моему, справедливость.

После жатвы поехал я по городам и завернул сперва к Варваре Алексеевне в Митино, а потом и в женину деревню. Там провели мы несколько дней в обыкновенных забавах: бегали по саду, резвились на лугу, плясали в покоях и купались в прекрасной ванне на Пекше, а тут, в Александрове, подделываясь к помещикам, кои деревень своих ни летом, ни

зимою не оставляют, я ездил с собаками на дрожках и насильно приучался к этой забаве, которая для меня ничего забавного не представляла. Некогда в Гатчине при свите графа Пушкина я видел, что такое езда на поле с собаками, да еще и с придворной охотой. Не полюбилось мне это упражнение и в молодости, когда еще я мог сам догонять зайца верхом и торачить[20] свою добычу, а теперь, на дрожках стоя у опушки, мало было удовольствия слышать визг собак, видеть суету псарей и дожидаться приколотого зверка в слякоть под дождем и мокрым снегом. Осень не всегда красна бывает, но охотникам что до того за дело? Он скачет, атукает, травит, и фляга под седлом красит всякую погоду. В деревне жениной у нас был сосед, зажиточный дворянин и на псовое дело хват. По утрам читывал «Римскую историю», днем кормил собак, а к вечеру провозглашал в беседе, что патриоты перевелись, что в Риме было все не так, как у нас, что Аннибал молодец, а Наполеон *дурандасина*, собственное его слово. Он страстный был охотник до собак и держал их до четырехсот. Судите, какая стая! С нею-то я приохочивался и, конечно, если тут не сделался сам ловчим или псарем, то вовеки, думаю, не буду. Я притворялся влюбленным в эту забаву. Это радовало многих деревенских дворян, кои думают, что нельзя быть ни добрым соседом, ни хорошим приятелем, если не травишь осенью вместе зайцев. Приезжая домой с поля, начиналось хвастовство, спор, шум, кто сколько одолел зайцев, и наконец, подойдя к нашему сходбищу, можно было бы подумать, если б не различали нас голоса и речь от животных, что и в зале стая собак преследует зверя. Поелику я тут гостил не более пяти-шести дней, то я терпеливо выдерживал такой вкус, совершенно противный моему.

Пока я, как новый Санхопанса, обозревал временное свое владение[21] и скакал из края в край по губернии, матушка моя при старости лет также путешествовала. Поднялась из привычных своих комнат в Москве и ездила погостить верст за сто с лишком к родственникам нашим, людям добрым, Яньковым[22]. Совершив благополучно сей трудный для нее, но дружеский подвиг, а потому и приятный, возвратилась она скоро в Москву, а я в Владимир, где, следуя своему давнишнему и чаятельно постоянному вкусу, завел в доме своем спектакль, и дети принялись за роли. Общество наше семейное умножилось молодым человеком благородным, обучавшимся в Университете и одаренным от природы хорошими способностями. Он прозывался Поспелов. Сестра его родная известна по книжке ее сочинения под титлом: «Лучшие часы жизни». Образование ума получил он прекрасное, много читал, рассуждал основательно, а о сердце его

ничего не скажу. Я никогда не рассуждаю о сей нежной части человека. Сердце наше глубина. Кто ее испытает? Секретарь мой Шумилов, пожилой ипохондрик, становился слаб и не мог поспевать за мною в трудах гражданских. Мне нужно было приискать ему сотрудника такого, который бы, готовясь его заместить, приучился заранее к моим обычаям и перу. Где людей искать годных на письменное дело, как не в старинном нашем рассаднике Университете? Оттуда попался мне Поспелов и прибавил собой прекрасного актера в домашнюю нашу труппу. Вот как готовился я проводить зиму, но между тем над главой моей собирались разные тучи.

В каждой губернии леса имели свое управление, непосредственно подчиненное министру финансов. Он был главным директором лесного департамента, под которым обер-форштмейстеры и форштмейстеры[23] на местах распоряжались лесами по своим инструкциям и во всем давали отчет своему прямому начальству. Губернатор, нося во всех бумагах имя хозяина, но будучи в самом деле только сторож, имел самое слабое влияние на сию часть и служителей ее. Он получал от лесного чиновника мемории, видел, что он делает, и мог протестовать, когда находил что-нибудь незако́нное. Но кто не знает, что злоупотреблении делаются в натуре вещей, а на бумаге их вовсе не видать? Дабы открывать их, потребны два средства: или честь самого чиновника, имеющего дело на руках, или присмотр потаенный за ним. Первое не зависело от губернатора, потому что обер-форштмейстеры определялись лесным департаментом. Губернатор об них не имел никакого сведения. Натекали люди с разных сторон с своими правилами, и губернатор страдательно обязан был отвечать за человека, ему совсем неизвестного. Второе средство, то есть шпионство, признаюсь, никогда не было моей наукой. Я всегда любил верить совести и чести или не служить с теми, кои ни того, ни другого не имели. Я всегда думал, что подсматривать за человеком совестным огорчительно для него, этим теряются люди наилучшие, а на бессовестного это не узда. Он подкупит и шпиона и нередко обольстит того, кто его нарядит. Итак, я, удерживая за собой право протеста токмо в случаях весьма важных, смотрел в прочем очень слегка за своим обер-форштмейстером, зная, что все его дела столько же в виду у лесного департамента, сколько у меня, и, следовательно, упущении или уважительные беспорядки не сошли бы ему с рук и без моего беспокойного крику, а если бы закрылись вверху, то вотще стал бы я лаять из губернии.

В таком положении доныне шло лесное дело, не обещая никаких хлопот, и тем более успокоивался я насчет сей отдельной от меня части, что

2 Зак. № 3975

лесной департамент имел инспекторов генеральских чинов, кои, по обязанности их объезжать ежегодно по несколько губерний, и, сверх того, на местах своего пребывания надзирая за обер-форштмейстерами, по бумагам всегда свидетелями были и дел их, и поползновений.

По узаконениям лесной части постановлено было, чтоб Казенная палата, когда присуждают казенным крестьянам в пополнение недостающей у них пропорции земли нарезку лесных дач и когда окончательно такая нарезка утверждается самим губернатором с назначением ее на плане, то бы, при отводе дач в натуре, обер-форштмейстер вместе с особым наряжаемым для того морским офицером осматривал, нет ли в том участке корабельных лесов и, заклеймя их, предоставлял морскому правительству. Из сего всякий тотчас видит, что морская коллегия в тесной связи была с лесным департаментом, но поелику он зависел от своего министра, а не от морского, то в лесные дела всегда вмешивались оба, и от их ссор происходили междоусобии у нижних чиновников, а от ссор их разные неустройства. Недаром пословица ведется: «У семи нянюшек дитя без глазу». Когда один министр доносил или внушал государю, что леса истребляются, дабы тем подрыться под товарища своего и лишить его этого управления, тогда сей, во оправдание свое, выводил на того, что это выдумывается на тот конец, чтоб, уверя в недостатке лесов дома, иметь дозволение входить в торги с чужими державами на приобретение корабельных лесов высокими ценами. И так один другого всегда клепал, и вечные выходили сплетни, а в последующем времени, когда по смерти графа Васильева вступил в министерство финансов г. Голубцов[24], человек самого низкого разряда и поведения площадного, подобные, как я изъяснился, сплетни производили много шуму, что ниже и откроется. Для помянутых нарезок лесных дач командирован был сюда из флота некто Епанчин, бешеный и необразованный матрос, дослужившийся наглостью до темляка[25], а ударивши однажды в щеку Бобринского[26], он за буйство был опять разжалован в матросы и прикован к шпилю на основании морских регламентов; после прощен и опять стал офицер по-прежнему. Вот его биография[27]! Все это его не поправило. При отправлении сюда привез он ко мне формулярный список о себе, из которого видно было, что он поведения посредственного, а поговоря с ним, я тотчас заметил, что он дурак и забияка. Что может быть опаснее для службы во всяком отношении? Я пожал плечами и решился как можно менее входить с ним в дело, но случай готовил мне через него большие досады. Он небом предназначен был быть для меня орудием сильных искушений.

Обыкновенно, зависть и корысть всем ябедам мать. Епанчин вздумал, что обер-форштмейстер непременно вор, и на сей догадке, ничем еще не удостоверенной, основал требовании с него некоторых подарков. Тот ничего не дал, в надежде ли на свою правость, или в догадке также не очень верной, будто Епанчин слишком глуп для того, чтоб наделать хлопот, забыв пословицу, что дурак кинет камень, а десять умных не вытащут. Словом, один просил, другой не дал. Епанчин рассердился и как бешеный начал искать случая заварить кашу. Появились отлучки от него самовластные в уезды. Возмущая поселян, начал он расстроивать всех и каждого в земских судах и плодить бумаги. Стали доходить до меня жалобы от тех, а от Епанчина доносы. Рассматривая тех и других рапорты, видел я, что Епанчин вступает в дела, до него не принадлежащие, наряжает сам собой заседателей, забирает без права на то понятых, баламутит спокойный народ и удаляется от настоящего своего предмета. На первых порах я почел обязанностию воздержать его дома моими одними предписаниями. Это на него не подействовало. Он начал писать мимо меня. Я, охраняя себя, посылал его бумаги и мои ответы на уважение лесного департамента. Тот, сколько ни унимал его, все было безуспешно. Напоследок нарядил департамент инспектора своего г. Пиллисиера. Этот швейцарец, дослужившийся в морском флоте до контр-адмиральского чина[28], человек пожилой, кроткий и совершенный неприятель ябеды, принужден был притащиться зимой из Козельска в Владимир объезжать леса, сводить Епанчина с доносителями, им подставленными, делать следствии, и все кончилось донесением от него, что Епанчин пишет небылицы, заводит свары, и сам лесной департамент просил Адмиралтейств-коллегию, чтоб на место Епанчина, как человека, ни к какому порядочному делу не способного, нарядить другого. Но, несмотря на все это, Епанчин в губернии жил, никого не слушался и готовил поминутно тот пожар, который разгораться стал в следующем годе. Теперь покамест остановимся на сих первых искрах оного.

Когда начнутся досады, то одною дело не кончится. Пустое обстоятельство, не стоющее даже внимания, было поводом тяжких для меня беспокойств. Уланский офицер по имени Бут и называвший себя бароном[29], вышед из полку великого князя майором в отставку, предстательством его высочества получил место городническое в Гороховец. За год или два пред сим он явился ко мне в мундире своем с кисточками и, рекомендуясь, просил избавить от Гороховца. Указ уже был наслан, но я, видя, что этот молодой человек, знакомый с лошадьми более, нежели с

бумагой, и выучась вальсировать, менее способен дело делать, нежели щеголять на балах мундиром, остановил его поездку и через короткое время, по полюбовному желанию между им и владимирским городничим[30], перевел этого в Гороховец, а того оставил в губернском городе. Под глазами моими Бут менее мог запутаться и наделать вздору. Вот первая моя ему услуга. Она его нечувствительно вела к счастью. Мнимый барон, будучи молод и ловкий детина, скоро нашел добычу. Недалеко от губернского города жил брат родной князя Лопухина, отставной полковник, упрямый и глупый дворянин, который, женясь на бедной дворяночке, приживши с нею прежде человек шесть детей и по своей, и по чужой милости, дал ей наконец неограниченную волю в доме и боялся ее крику, как дети боятся лозы. Она, будучи его моложе и недурна собой, раздавала свои прелести даром, кому было угодно. Попался ей Бут на глаза, и госпожа Лопухина с ним слюбилась. Пусть бы так; кто бабе не внук? Но надобно было обмануть похитрее бешеного супруга. Она вздумала помолвить за Бута дочь свою, еще одиннадцати лет девочку, и тогда, принимая его как нареченного зятя вседневно в доме, а он, живучи по неделе и более в их деревне, так хорошо и плотно с ней сошелся, что до женитьбы еще на дочери, которая за малолетством ее отсрочена была на два года, подарил он матушке своей работы сынка, которого я под именем Лопухина ребенка и крестил. Союз сей заставил Бута выбиваться из городничих. Уже не хотелось ему всякое утро являться ко мне с рапортом. Племянник вельможи стыдился моей прихожей. Долго ли до случая, когда везет[31]? Бут сделан вдруг прокурором и за день перед тем, принимая мои приказании, начал мне подавать советы, как управлять губернией, — он, который, кроме лошади своей и госпожи Лопухиной, ни о чем не имел понятия. Но, служа уже давно, я отерпелся и привык к подобным оборотам счастия. Еще не попавши в прокуроры, Бут на масленице поссорился с майором же губернской роты, который так же мастерски седлал лошадь, как и лифляндец, но меньше его прыгал и душился, и в размолвку, будучи оба пьяны, Бут ударил в личико г. майора. Началась ссора, дошло до меня. Надобно было вступиться и приняться не шутя за г. Бута, но он уже был родня князя Лопухина. Потребовалась осторожность. Я лучшим средством придумал, позвав их в кабинет, келейно пожурить и кончить ссору мировой. Кажется, и всякий на моем месте то же бы сделал. В кабинете дело пошло на лад, но на улице приняло другой вид. Пощечина шумела в городе. Губернского майора подбили (везде не без добрых людей) подать жалобу и требовать суда:

«Ты-де человек бедный, а за Бута, чтоб уйти сраму, Лопухина не пожалеет больших денег, пользуйся случаем». Дурак последовал совету, и началась приказная тяжба в увечье. Бут, ставши прокурором, начал употреблять свое влияние на суды в свою пользу. Соперник, не робея, душил меня бумагами, и Бут требовал от уездного суда, чтоб он, так как мировая между ими была у меня в кабинете, после которой закон не дает уже права искать обиды снова, спросил меня под присягою, простил ли его соперник или нет. Обстоятельство сие необходимо было к развязке дела суду, но как меня, губернатора, вести к присяге? Бут стал жаловаться князю, своему дядюшке, а я принужден был к нему писать как к министру о шалостях его подчиненного и своего министра графа Кочубея просил употребить себя у князя на расторжение этого скверного узла, который затянулся от искреннего моего доброхотства к Буту и уважения тесной связи его с князем. Пока переписка шла с обоих сторон и сопровождалась многими неприятностями для меня на месте, прокурор мало-помалу в отплату за все мои к нему снихождении сделался мне открытым врагом и стал искать случая нанести мне по службе чувствительное оскорбление. Лесное дело скоро и ему открыло на то широкую дорогу. Трагедия готовилась к зиме текущего года, актеры твердили свою ролю кто вслух, кто исподтишка, а в будущем годе поднялась завеса, и начали мы все разыгрывать пиесу под названием «Лесные злоупотреблении», о которой до времени еще помолчим.

В Астрахани открылась чума, и сенатор Неплюев послан был из Петербурга туда для учреждения карантинов. Отдаленность не угрожала Владимиру, но как торговля сближает людей всех вер и областей, то и я приступил к некоторым предварительным мерам спасения в селе Иванове, зная, что тамошние обыватели ездят в Астрахань и большие имеют с тем краем торговые связи, а потому отрядил чиновника, учредил оберегательный карантин для ввоза товаров, из Астрахани к нам идущих, и сим ограничил мои попечении, кои с успехом предмету моему соответствовали.

Домашняя чума, или мор на собак, меня более астраханской обеспокоила, потому что я лишился верной моей моськи, которую на Рпени и похоронили в том самом кустарнике, где она передо мною бегала, резвилась, пугала приходящих ко мне и лучше всякого швейцара давала мне весть о гостях моих. Бедная Дулера! Жаль мне было тебя, жаль и теперь, когда вспоминаю время твоей фортуны, когда ты при мне была в случае, и никто не смел тебя тронуть. Кто читал «Хижину мою на Рпени», в «Сумерках жизни» напечатанную[32], тот знает, какие она мне ус-

луги оказывала. Напоминая именем своим мои печали*, она верностью к услугам достигла полной моей признательности так, что я без нее обойтиться не мог. Странно, может быть, покажется, что я столь долго говорю о собаке, но тем только, кои животного этого около себя не поваживали. Впрочем же я уверен, что один тот, кто имел привычную собаку, терял ее не без сожаления. Итак, повторю, что мне Дулера было очень жаль.

В течение зимы наехали к нам неожиданные гости, кои наполнили город и придали цены публичным забавам. Из черноморского адмиралтейства прислан был флота капитан-лейтенант г. Томиловский и с ним человек до десяти флотских офицеров принять во флот определенное число рекрут, набранных в здешней губернии и ожидавших своего назначения. Г. Томиловский был человек учтивый, благонравный и весьма обходительный, разумеется, что с таким начальником собрались на одно дело и достойные офицеры. Вся партия была любезна. Они живали в хороших обществах, знали обычаи лучшего света, хорошо танцовали, умно шутили, а что всего лучше, боязливо влюблялись и осторожно о том внушали. Барышни городские, привыкнувшие к регистраторам, от которых воняет кислыми чернилами, или к заседателям, у коих нагайка из рук не выходила (худые товарищи на балах), думали, что морские офицеры другого света выходцы и необыкновенные люди. Сравнивая мужчину городского, который, вальсируя в шпорах, дерет у девушки все бахромки на платье и марает ее ваксой, с офицером черноморским, который в башмачках прыгает, как зефир, и, наступя нечаянно на кончик дамского платья, просит раз десять извинения, наши девушки думали, что они попали из Владимира волшебным образом в какую-нибудь гавань иностранных народов. В самом деле, и я разделю их мнение, оно ничуть не предрассудок. Морские офицеры гораздо вежливее всех прочих по большей части, а уже от приказных ребятишек и очень много отличаются. Кто в этом поспорит? Я нахожу сему натуральную причину. Мореплавание знакомит их со всей Европой. Везде бывая, они видят различие обычаев и нравов. Хорошее всегда кинется в глаза, где б оно ни нашлось. Они сравнивают то и другое и сами себя воспитывают в обращении чужеземных народов. Отсюда их вежливость, тонкая разборчивость в поступках с нежным полом. Ужли и это назовут предрассуждением, чтоб сказать откровенно, что в Ливурне, в Марсельи, в Венеции лучше по наружности обходятся оба пола между

* Douleur по-французски скорбь.

собою (я здесь говорю не о черни), нежели в Владимире, а еще более разности между ими и Вяткой или Вологдой. Взглянем даже на своих крестьян. Мужик промышленный уже не так говорит, не так двигается, как пахотный поселянин, который из копченой своей избы ездит только в ближний лес за дровами. Вот естественная причина, от которой морские офицеры в эту зиму наполнили город наш новыми удовольствиями, и без всякого оскорбления чести или невинности; наши барышни очень сожалели, когда они весной разъехались.

Я с своей стороны не совсем участвовал в общем удовольствии. Угодно было Богу, насылающему на нас недуги телесные, посетить меня неизвестной доселе болезнию в моем составе. На мне показалась сыпь. Сперва занемогла ею падчерица. От нее пристала ко мне, и мы только двое во всем доме страдали. Она освободилась очень скоро, и, может быть, это возродило в ней болезнь, ее разрушившую, но я, как Иов на гноище, провалялся близ двух месяцев. Иногда мог день-два выехать, а потом опять на несколько дней кутался в свой тулуп и не выходил из кабинета. Искусный Буркарт, владимирский доктор, и Шених, врач старинный, мне давно знакомый, во все это время не покидали меня, и я каждый почти вечер, когда все плясали в доме, сиживал в отрубях в теплой ванне. Одно это много помогло мне. Не будучи так хвор, чтоб лежать или угрожать домашним опасностью, я не препятствовал забавам. Они шли своим порядком. Всякий вечер у нас были люди, а часто и нечаянные балы. Молодежь резвилась, жена играла в карты, а я беседовал с Томиловским и Пиллисиером, который в конце года для следствия лесного прожил у нас недели с две. Оба они рассуждали приятно, а паче первый; последний от природы был более задумчив и не так охотно вел разговор. Жаркие были у нас споры с Томиловским, но без желчи. О чем мы не перетолковали, чего не переделали в мире? Приятная беседа — находка для человека разумных лет и заменяет многие увеселении молодого возраста. Так я провел всю зиму настоящего года, и когда болезнь моя давала мне ослабу, то я наслаждался минутами очень приятными.

Неожиданная смена графа Кочубея[33] меня поразила. Хотя в Петербурге все видели, что уже ему не везло, что он, просто сказать, наскучил, и хотя о том доходили слухи и до нас, но так часто погода меняется у двора, так часто находят тучи и без грома расходятся, что и теперь я никак не ожидал действительной перемены в министерстве. Однако же она последовала, и кто же заменил графа Кочубея? Не новый человек, но очень двору известный, князь Алексей Борисович Куракин. Большие го-

сударственные чины не иначе, думаю, оставляют свои места, когда без доброй воли побуждаемы бывают посторонними обстоятельствами, как оттого, что не понравились или оказались неспособны к своему назначению. В том и другом случае не понятно мне, как такие большие господа по два и по три раза сплошь выгоняются и берутся в службу. Мудрено в государях — мудрено в подданных! Положим, что чины, отдаленные от монарших глаз, могут подвергаться различным клеветам и лишаяся мест своих, потому что на них наговорили, а сам государь, не знав их лично, отрешал от дел и после, узнав свою ошибку, возвращал к трудам гражданским для общей пользы, но чины, окружающие престол, не могут, по мнению моему, никогда найтиться в таком положении. Так, например, князь Куракин сколько раз был брошен и опять приглашен ко двору. Если вельможа у своего дела оказался негоден, он не может под старость получить лучших правил, следовательно, остается навсегда неспособен. Если не нравится, также нет причины полюбиться тогда, как все свойства моральные, составляющие нашу честь и славу в людях, от лет и старости изнашиваются и менее имеют силы, деятельности и красоты. Не меньше странны для меня и те большие бояра, кои, быв удалены от дел совсем без вины, а по одному капризу, довольно низки духом, чтоб снова принимать на себя должности тягчайшие от той самой руки, которая поражала их накануне. У всякого свои свойства. Князь Куракин был многотерпелив, и если он из христианского смирения поступал таким образом, то велия была вера его.

До приезда его ко двору граф Кочубей без доверенности уже правил министерством внутренним для одной формы. Прибыл князь Куракин, и вышли о сей перемене указы, в силу коих граф Кочубей приступил к сдаче своей должности, а князь Куракин вступил в отправление оной. Совсем новый явился распорядок во всех отношениях. Граф Кочубей был с губернаторами до крайности вежлив в переписке, я по себе сужу и о прочих. Ни одной строки за его рукой не доходило ко мне язвительной или с горькой укоризной. Исправлял ошибки с кротостью и без дерзости в выражениях. Канцелярия его, составленная из лучших талантов в Петербурге, по примеру его сообщала к нам в приличных случаях приказании со всевозможным сбережением самолюбия каждого. Ни сам министр, а еще меньше кто-либо другой под ним, не смел с губернаторами обходиться, как с фельдфебелями. Князь Куракин, напротив, был всегда деспот во всяком звании. Он любил самовластное управление. Ничто не стирало в нем этой характерной черты: ни обиды придворные, ни на-

смешки, ниже гонении различные. Он всегда с тою же пышною надменностью возвращался к рулю государственному, с какой отходил от оного. Любить его нельзя, ибо он в службе не умеет быть любезен. В самых даже наградах, кои он выпрашивал своим подчиненным, когда случай ему благоприятствовал, всякий видеть мог, что он ими тщеславится пред публикою, что он их достает, дабы похвастаться благодеяниями своими и приковать к себе подчиненных, как слуг порабощенных, узами тягостной благодарности. Чужие мысли ему не нравились, противоречии раздражали. Любя новизны, он все спешил переиначить по-своему и бумагу переводить был охотник. Вот главные черты того начальника, под которым я приготовлялся служить. Я не один раз сходился в моей жизни в разных случаях с князем Куракиным и откровенно скажу, что доколе он не был еще, что мы называем большой барин, он был приятен, добр, одолжителен, но внезапная фортуна избаловала его, сердце стало портиться, разум надыматься, и князь Куракин вышел наконец неприступный вельможа, с которым трудно было и жить, и дело делать. Рассуждая о нем теперь, я привожу на память и добрые его, и худые против меня поступки, и перевес последних так велик, что я не могу не сложить с себя ига благодарности, под которым многие подобные его сиятельству давят своих тварей. И земля, растворенная маленьким весенним дождем после снегу и морозов, скоро становится жестка, если после благотворной влаги холодные засухи убивают на ней всякое растение травное до самого корня! Мне доведется часто ссылаться на сии самые строки, говоря о князе Куракине. Поведем снова историческую нитку происшествий.

Не быв никем предупрежден, как выше я сказал, о смене министров, получил я вдруг на одной почте партикулярное письмо от графа Кочубея, но циркулярно ко всем губернаторам от него посланное, и официальное предписание от князя Куракина. Первый, прощаясь с нами, благодарил за труды наши и вспомоществовании ему каждого из нас по своей губернии в отправлении важной его должности. Последний грозным образом сулил нам уже предварительно, как преступникам, обличенным в каком-либо злодеянии, наказании, взыскании и самый гнев монарший, буде мы не станем дела своего делать порядочно. Тот писал пером золотым, этот — чугунным. Кочубей оставлял друзей, — Куракин собирал под знамя свое рабов. Пусть всякий судит, как изумился я, читая то и другое послании. Нечаянность меня сразила, а письмо графа Кочубея растворило сердце к слезам, и я заплакал, как дитя малодушное. Прочтя повеление князя Куракина, первое мое движение было тотчас принести графу Кочубею в

жертву мою службу, показать из всех губернаторов одному сильный знак преданности и просить отставки, и, если б не проклятая бедность, я верно бы ни одного рапорта не подписал на имя князя Куракина. Но рассудок, медленно грядущий за сердцем, как дядька за младенцем, остановил мои порывы. Бедность, предложив свою сухую трапезу, заставила отступиться от намерения благородного, а надежда, очаровательница мира, учила стерпеть неприятную встречу. «Так и быть!» — сказал я, вздохнувши весьма тяжело, и, пролив всю душу мою в ответе на письмо к графу Кочубею, я ни строчки не написал к преемнику его, кроме необходимого рапорта о получении его грозной бумаги. Это последовало в самых последних днях года. Итак, я начну будущий описанием его новой канцелярии, а теперь, в заключение сей повести, скажу только, что кроме первой бумаги, особым слогом писанной и совсем противуположной тем, какие подписывал Кочубей, князь Куракин ни одной подобной уже не насылал к нам, и все его предписании, не теряя духа деспотического, по крайней мере во всей прочей форме уподоблялись наружностью своею предписаниям графа Кочубея, и мало-помалу бумаги стали сбиваться на старый лад. Отчего же рассудил князь Куракин первое свое вступление в должность ознаменовать так круто и без всякой на то причины, об этом он один только, я думаю, и знает. Я никогда не достиг до смысла этой черствой загадки.

Итак, я перестал служить под графом Кочубеем, но не перестал его чтить и помнить. Он меня уважал, я в этом был уверен; он меня отличал от многих моих собратий, я это знаю; он мне хотел добра, я в этом имею опыты, а всего того больше — он ценил мои труды. Довольно, чтобы я вечно был ему благодарен. Что мне в наградах и в орденах от такого начальника, который меня наряжает, как куклу, не для моей чести, а для украшения своей прихожей, в которой и я по общей симметрии, наблюдаемой при поставке в комнату мебелей, должен в таком-то углу безмолвно трепетать целое утро и стоять, как столб неодушевленный. Что за радость в таких почестях непочтенных и презираемых всеми? Поступки Кочубея были прямая награда дарованиям личным. Я ими мог во все время его начальства хвалиться и службу государскую тогда только почитать буду прямым удовольствием для истинного дворянина, когда судьба приводит его к счастью служить под таким умным, просвещенным и благородным вельможей, каким останется навсегда в глазах моих граф Виктор Павлович Кочубей.

Одна знатная барыня и пожилая, которая по роду своему и по имени любила хвалить меня и брала во мне участие, на восхитительные мои с

нею разговоры о Кочубее сказала мне некогда: «Я тебя знаю давно, ты все любишь пустое молоко». Молоком она называла хорошие поступки, не сопровождаемые чем-либо вещественным, как то лентой, чином или паче всего деньгами — общий талисман в нашем мире. Я имел честь ей ответствовать: «Так, ваше сиятельство, я люблю пустое молоко, потому что оно здорово и не портит желудка, а густые сливки часто свертываются и производят индижестии»[34]. Впрочем, и в смысле материальном говоря, граф Кочубей оказал мне два значущие благодеянии: выпросил мне чин тайного советника, которого мне так долго не давали, и столовые деньги при самом лестном рескрипте. Чего же больше в пять лет его министерства? Дары монаршие должны быть редки, чтоб не превратиться в пыль. Теплая и тонкая роса дает жизнь прозябениям натуры, а проливные дожди делают большие лужи, в коих заводятся лягушки и всякая нечистота.

Сим кончился год хлопотливый и наполненный заботами разного рода, но, слава Богу, не бедами. Мы жили покойно, довольно согласно между собой, и хотя второй брак мой соединил с детьми моими детей чужих, однако же, кроме самых мелких между ими по ребячеству сшибок, которые не производили между мной и женой никаких чувствительных неприятностей, все шло в тишине, и они между собою по возможности свыкались. Дочь свою жена воспитывала сама и не спускала ее с глаз, любя страстно. Мальчиков обучал иноземец, давно при них живущий, человек веселый и спокойного нрава, а притом и для дома не бесполезный, потому что он был медик и лечил иногда людей. Каприз заставил его оставить дом наш почти в истечении года. Он слюбился с одной вольной девкой и, не имея возможности, доколе пробудет у нас, жениться на ней, решился отойти. При моих дочерях жила все та же мамзель Шатофор, которой я не переставал быть совершенно доволен, а при меньших добрая старушка госпожа Варч обеспечивала меня со всех сторон в их здоровье и благонравии. Итак, все шло, по милости Божией, изрядно.

Мальчики мои с Венцом жили в Геттингене и продолжали там свои науки. По временам недостаток известий об них наводил мне заботы, но по заключении мира начал я получать их гораздо исправнее. Раза три с тех пор имел я от них письма, и перевод денег с ним шел свободнее. Они менее терпели нужды и страхов от близости к ним театра войны и от разных волнений внутренних в областях германских. Им известно было, что я женился. Они уже меня поздравляли, и взаимно я с тем же, писавши к ним, поздравлял их учителя Венца, который, проезжая свою родину

Кассель и не заставши в живых отца своего, собрал после него маленькое наследие, на счет которого делал иногда вспоможении детям моим и товарищам их Лачиновым, когда от нас деньги не могли ради войны доходить в свое время. Сделавшись хозяином собственности, Венц рассудил разделить ее с подругою и, влюбясь там в одноземку свою, какую-то Лауру, женился и о свадьбе своей меня уведомлял с восторгом. Это ничего не переменило в положении детей, их содержании и воспитании. План мой по сему предмету шел своим порядком, и ничто его не расстроивало, а из сего я и заключаю, что Бог благословил намерение мое. Всякое бо дело человеческое, на которое нет соизволения Божия, не имеет желаемого успеха, а там, где начинании наши идут к цели своей путем добрым и им предназначенным, там смело можно надеяться, что рука Господня нас водит и не попустит упасть в ров бед и злоключений. О, дай Бог! Стократно молю его о сем, да во всякое время жизни моей, во всяком деле моем его всещедрый промысл назидает меня и, утверждая в вере, венчает намерения мои желаемым и полным успехом.

1808

Год начался двумя случаями, из которых один меня чувствительно порадовал, другой несколько огорчил. Старший сын мой Павел пожалован именным указом в титулярные советники. Долго лежало у двора представление сенатора Лопухина об нем и, может быть, осталось [бы] навсегда без успеху, но благодаря статс-секретарю Новосильцеву, который мне с молодости был знаком и которому у государя было хорошо, я к нему лишь написал просительное письмо — для детей чего не сделаешь? — он отыскал Лопухина рапорт, доложил государю, слова два-три примолвил и приятным ответом уведомил меня тотчас о монаршей милости. Весь дом принял в этом участие, а особливо мамушка. Я несказанно был рад, что сын выбился в порядочный чин и попал на прямой гражданский след.

Отошла от нас мамзель Шатофор, и мне ее очень было жаль. Никакие убеждении не могли ее удержать в нашем доме. Война с ее отчизной, присяга не писать на родину, в которой она оставила старую мать, жалкое состояние многих проходивших через город ее соотчичей сильно действовали на ее разум. Она была чувствительна, горяча и пылкого воображения. Мораль расстроила физику. Утомление сердечных чувств произвело

ипохондрию и уныние, которое требовало рассеяния, а паче надежного врачевания. Для иностранки не было первого в русской провинции, а последнего вотще бы искал и природный земляк. Лекаря в болезнях важных теряли все свое бедное искусство. Мамзель Шатофор должна была принести в жертву здоровью привязанность ее к моим дочерям, итак, мы с ней расстались, и она поехала лечиться в Москву. Там она находила старых друзей, хороших медиков и утешении веры при католицкой церкве. Сколько побудительных причин переменить место пребывания! Чтоб видел читатель, что эта француженка имела сильное право на полную мою признательность, упомяну здесь, что, когда прекратились сношении с ее землей, она из получаемых от меня тысячи рублей соглашалась остаться на шестьсот в год для того, что лишилась возможности переводить остальные к матери своей, а зная мои собственные недостатки, не хотела получать лишних денег, которые, по прекращении перевода их во Францию, ей самой в России были не нужны. Как не умилиться при таком благородном поступке? Ужели дозволено не дать ему цены достойной для того только, что он происходит от человека, не под одним со мной небом родившегося?

Сказав в прошедшем годе о перемене министра, я отложил до нынешнего все, что относилось до канцелярии. За некоторое еще время Сперанский уже отошел от графа Кочубея и принял новую должность[1]. Место его оставалось праздно. Магницкий и Лубяновский одни управляли по-прежнему министерскими делами. Серебряков выбыл в другое назначение. Князь Куракин собирал вокруг себя людей по своему сердцу. В стате его появились многие малороссияне, служившие при нем в тамошнем краю. Мало-помалу стал переменяться дух управления, и Лубяновский с Магницким не долго при нем служили[2]. Из лучшей канцелярии в столице сделалась самая последняя. Туги начались упражнении, а с ними и умы отошли высокие. Дарованин, не имея достойной награды, исчезали в лабиринтах завязчивой и обширной переписки. Терялась доверенность ко всем чинам, и отсюда возникла страсть к повсеместному шпионству. Доносы стали нравиться. Начали подыскиваться, рассылать фискалов по губерниям, словом, губернаторская должность из прекраснейшей сделалась самою скаредною. Старый подьячий Пшеничный принял руль всей канцелярии княжой в руки и захотел ввести во всем старинный приказной порядок. Сильное стремление бумаг сбивало его с пути, и он часто не знал сам, за что наперед приняться. Хотя по прежней службе князя Куракина он же казался ему выродком в своем роде, но

ныне, после графа Кочубея, при новой методе, по которой дела текли, он был столько же нов, сколько всякий студент, выходящий за красное сукно из школы, но князю хотелось переменить все, что сделано его предместником. Кто в слабостях своих признается? Куракин мечтал быть всех умнее и не хотел видеть, что его на министерский стул посадили не достоинства, превосходные пред теми, коими отличался его предместник, а дворские интриги, кои, к несчастию, всегда правили и править будут всеми делами государственными. Вот в каком виде открылось новое министерство, и едва не первый ли я резкую почувствовал разницу между им и старым в нижеследующем обстоятельстве.

Мещанин без промысла, без дома, распутного поведения вздумал понравиться доносами и отправил извет к государю прямо, что в Муроме делаются фальшивые ассигнации. Извет написан в выражениях, наводящих подозрение на местное начальство, и прикрыт обыкновенною личиною плута — любовью к пользам казенным. В Петербурге тому и ради. Велено нарядить чиновника исследовать без огласки на месте. Министр, угождая господину своему, тотчас посылает туда алгвазилу полицейского губернского секретаря Маковецкого, который, схвачен в передней у обер-полицеймейстера Эртеля, забирает бумаги в министерстве, вооружается хорошею плетью и скачет опрометью в Муром. Проезжая через Володимир, называется на заставе провиантским офицером и является у муромского городничего[3] со всеми своими инструкциями. Между бумагами, ему данными, находилось открытое на мое имя от министра предписание, которое велено было ему подать мне только тогда, как он откроет злоупотребление, означенное в доносе. Доносчик с ним действует вместе. Не зная ничего о сем, спокоен в совести моей, беспокоился только о болезни телесной, от которой вылечивали меня доктора наши не очень скоро. Маковецкий начал допрашивать подозрительные лица с домогательством и побоями и вымучил у одного попа нагайкой признание в злодеянии. Подлинно, нашлись у него инструменты, способные к деланию ассигнаций. На сем поличном основав заключение, Маковецкий стал доискиваться сообщников, и кого поп ни оговорил, все были биты и с истязаниями допрашиваемы. Всех оговоренных посадили в тюрьму человек до сорока. Между тем городничий с нарочным донес мне, что чиновник такой-то прислан за тем-то и что он при нем делает пристрастные вопросы. Подобные следствии запрещаются коренными узаконениями. Мудрые законодатели российские Петр и Екатерина знали, что побои часто дадут и поклепам вид правды, и на сей-то прямо человеколюбивой

мысли основана аксиома, что лучше десять винных освободить, нежели одного невинного истязать. Тем же временем прискакал ко мне и Маковецкий, отдал следующую мне бумагу и показал данную ему инструкцию. В ней не было упомянуто о побоях, да и дать сего позволения на бумаге министр не отважился, а как обыкновенно водится, шепнули ему на ухо, что если будут запираться те, до кого коснется дело, то может он и плетьми потешиться. Опасаясь ответа в случае какой-нибудь гласной жалобы, я решился, узнав все обстоятельства следствия, представить министру, что чиновник командированный прибыл, начал следствие и дерется, а как это противно закону, то должен ли я остановить его или подобные поступки дозволить. Пока представление мое шло, Маковецкий продолжал свои легенькие пытки и ковал целые семейства, а как в отношении министра ко мне между прочим велено было ему содействовать и нарядить двух чиновников здешних к производству дела вместе с ним, то я и препоручил это муромскому городничему и исправнику[4], с коими вместе Маковецкий помахивал плетью, как саблею. Министр представил мой рапорт к государю, и, к удивлению, сделан мне вопрос, для чего я допустил Маковецкого к пристрастным допросам и в чем они состояли? Послан чиновник без ведома моего, действует за сто двадцать верст от меня, и меня спрашивают, чего я смотрю, что он вздор делает? Странно! Но надлежало отвечать. Переписка шла, а тот продолжал свое следствие и, в силу данных ему на месте предписаний, приготовился со всем сборищем названных им преступников отправиться в Питер. Мне приказано было отпустить на это нужные деньги и почтовые подводы. Что Маковецкий потребовал, то я и отпустил. Он поехал, потаща за собой человек пятьдесят попов, дьячков и крестьян, а я на просторе начал марать бумагу.

В ответе министру на заданный мне вопрос упоминал то же, что писал прежде, и еще не отправлен был мой рапорт, как получил я новое предписание: чтоб всех открытых преступников Маковецким отдать под суд и дать делу законное течение. Тогда, связывая сие последнее предписание с предыдущим, я в ответе моем дополнил, что преступники вообще жалуются на истязании, следовательно, нет сомнения, что они то же покажут и в уездном суде, и, наконец, в Уголовной палате. Закон установлен при Александре Первом такой, чтоб во время приговоров решительных преступникам спрашиваемы они были, не чинил ли им кто пристрастных допросов, и показании сии когда по форме соберутся в Уголовной палате, она затруднится, конечно, постановить свой приговор

и спросится меня. Что ж мне тогда ей отвечать? Поверять следствие, по именному[5] произведенное, не входит в право ни мое, ни Палаты. Не удостоверясь в истине показаний обвиняемых лиц, нельзя их ни к чему приговаривать. Вот на что я просил от министра разрешения на то время, когда дело дойдет до последней степени, дабы тогда, не продолжая за сим вопросом время заточения сих несчастных, тотчас постановить Уголовной палате правило к руководству ее.

Пока рапорт мой шел, бумаги одна другую встречали, и министр, рассмотрев следствие, Маковецким произведенное, доложил государю. Алгвазиле дан крест Владимирский за то, что он дюж и хорошо дерется, а привезенная им сволочь возвращена вся ко мне для суда на месте и снова заперта в Муромский острог года на два. Скоро потом доставлено ко мне предписание и на последнее мое донесение, такого содержания, что от обличенных уже преступников, каковы сии, не следует принимать никаких показаний. Бумагу сию, содержащую в себе соизволение государево, я приобщил к делу до случая. Изложив исторический ход этого происшествия, остановимся на этом до времени совершенного окончания дела, а теперь войдем в некоторое о нем рассуждение.

Во-первых, что такое губернатор? Верховный начальник над чинами и народом в губернии, следовательно, должен облечен быть в мочь, званию его соразмерную, а паче пользоваться полною доверенностию своего государя, иначе, как сказано уже не один раз, унижается публичное его достоинство, а с тем теряется и служба. Если (что весьма, впрочем, и возможно, ибо все люди) на такого начальника доходят жалобы, доносы или протесты, которые наводят подозрение на его поступки, пусть пошлется чиновник обревизовать его, но если не выше его, по крайней мере равный чином и с которым взаимные сношении не подвергали звания его наружному пред всей губернией оскорблению. Пусть велят ему исследовать деянии начальника, но по узаконенной форме, коренным правилом, публично, а не тайком, не через слуг или наложниц, или тому подобных тварей, кои не истину открывают, а помогают только давить тех, на кого нападут большие бояра. Какое приличие послать губернского секретаря, человека ничтожного, ревизовать поступки тайного советника и губернатора? Тут исчезает монаршая доверенность, а без нее подчиненность до последней черты изглаживается в народе. Если что-нибудь удостоверило прежде, что губернатор не заслуживает своего места, — смени его, но если он не подал на то права, какой закон дает его оскорблять неповинно служителя верховного разряда?

Во-вторых, положим, что самый низший чиновник может иметь больше благородства в духе и самого наперсника царева, но, чтоб определить сию жалкую и оскорбительную для последнего разницу, надобно и тому, и другому дать одни и те же средства, поставить обеих в одинакие права и удобности. Здесь, например, скажет иной: однако Маковецкий открыл ассигнации фальшивые, а губернатор нет. Возражение мое оправдательное готово и ясно. Одними ли тот и другой средствами пользуется к открытию зла? Маковецкий допрашивает с наказанием — губернатор не смеет и лозой постращать; Маковецкий производит следствие своим вымыслом, как хочет — губернатор имеет правила и отступать от них не смеет; Маковецкий подозревает попа, ломится к нему в избу, бьет его, вымучивает признание и нападает на него врасплох — губернатор сам ко всякому подозрительному лицу быть не может, он наряжает чиновника, и положим, что самого честнейшего, незазорного поведения, но губернатор ему того позволить не может, что министр на ухо шепнул своему алгвазилу. Исправник, прежде допроса попу, должен позвать депутата с духовной стороны и идти с ним вместе в дом церковного причетника, а между тем все спрятано, все убрано, и никакой искусный ревизор ничего не откроет даже и в таких случаях, где ничего скаредного в поступках его предполагать невозможно. Наконец, Маковецкий послан лицом, отвечает лицу, которое может загладить, извинить его отступлении по чрезвычайной своей мочи, а губернатор определяется хотя лицом же, но правит по закону, отвечает в делах по закону и, отступая от него, приводится на суд не к лицу, а в трибунал, который, равномерно руководствуясь законом, не может тех отступлений прощать, какие извиняет министр, а из сего выходит, что Маковецкий мог открыть преступников, а губернатор не мог.

Третье. Если правительство, министр или сам государь по роду представившегося дела находил, что скрытое злодейство требует к обличению его и чрезвычайных мер, таких, кои выступают из круга средств узаконенных, для чего той же мочи не дать вместо губернского секретаря самому губернатору или, в случае падающих на него подозрений, чиновнику, ему равному? Тогда только, я повторяю, можно в двух лицах одного хвалить, другого винить за успех или оплошность в исполнении какого-либо поручения, когда оба они имели к тому равновесные способы, иначе всегда можно впасть в пагубные ошибки и огорчать самых честных людей напрасно. Это значило бы нарядить двух работников в лес: одного с топором, другого с перочинным ножичком и требовать, чтоб и тот, и другой рубили лесу поровну и в одну долготу времени.

Итак, я нимало не стыдился тем, что губернский секретарь открыл злодеев, о которых я не знал, ибо власть его на этот раз в губернии была выше губернаторского права и могла сделать много. Но поелику, отлагая звание публичное, я неравнодушно переносил такую обиду, лично мне без причины сделанную, то и давал в моих донесениях чувствовать г. министру, что я им оскорблен, а дабы укоризнам моим более дать весу и справедливости, представился нечаянно самый благоприятный для меня случай.

В то же время, как Маковецкий в Муроме гонял попов нагайками в тюрьму и обличал в государственном злодеянии низкую сволочь, не имеющую ни голоса, ни предстательства, ни достатка, на другом конце губернии, и именно в Иванове, там, где по справедливости давнишнее крылось гнездо подобных преступлений, чиновники полиции градской и земской, открыв вместе важного делателя ассигнаций[6], прислали ко мне весь его станок и кучу фальшивых бумажек. Открытие сие тем более меня обрадовало, что, первое, оно последовало без истязаний телесных, а одною хитростью сих чиновников. Второе, связан и предан суду такой преступник, который бывал в разных приводах по другим губерниям, даже и в Москве, и везде отпускался домой по недостатку ясных доводов. Третье, он же имел дом, фабрику и пользовался капиталом, доходящим не по молве, а по существу его приобретений до двухсот тысяч, следовательно, бескорыстие тамошней полиции и городской, и земской явилось в самом торжественном виде. Я тотчас послал мой рапорт к министру, послал инструменты и, опираясь на этом открытии, доказывал князю Куракину, что я не заслуживал ни по сей, ни по другой части того недоверия к своей чести, какое оказано было присылкой Маковецкого. Усовестился вельможа! И по докладу о сем последнем происшествии государю пожалован исправник в коллежские асессоры из отставных гвардии офицеров[7], что значило очень много по тогдашнему уважению штаб-офицерского чина, а городничему пожалован прекрасный бриллиантовый перстень[8]. Таким образом, хоть легко, но сколько-нибудь поправлен оскорбительный со мною поступок нового министра, и оба дела, как Маковецкого по Мурому, так и Шуйское[9] над Бурылиным, приняли в уездных судах судебное начало по форме.

Будучи болен еще с осени и обмогаясь медленно, я не так легко переносил, как бы здоровый, все находящие на меня приключении. Рвение и досада умножали желчь. Она портилась и готовила мне новые припадки. 21-го числа генваря я вдруг занемог так сильно, что с лишком сутки жизнь моя была в крайней опасности. Нечаянность была ужаснее самой

болезни. Я по обыкновению моему то лежал, то ходил и даже был в этот день одет. Пред вечером заболела у меня голова, но довольно легко. Жена села играть в карты, а мне вдруг сделалось так дурно, что я принужден был слечь, и уже к ночи я не узнавал около себя людей, называл каждого не своим именем и привел в трепет весь мой дом и семейство. Ничто не может описать состояние бедной жены моей. Я не терял памяти, но все почти в минуту забывал. Никакие чувства во мне не действовали своим порядком. Такая сильная и резкая горячка держала меня в крайней опасности целый день, но последовал перелом болезни, и стало мне вдруг столько же лучше, сколько вдруг за сутки сделалось худо. Я обязан большую похвалу отдать г. Буркарту, меня лечившему. Он один исключительно имел мою доверенность. Я ему позволил делать со мной все, что он рассудит, безотчетно. Он был еще нов в городе и недавно определен, но кроме основательного познания своей науки он в Америке при войсках иностранных и в России во многих хороших домах приобрел уважительные опыты. Он в самом деле употребил сильные к излечению средства, уверясь прежде в свойстве крепкой моей натуры. Он даже, как говорили медики после, давал мне в пущую отчаянность сулему. Товарищи его из зависти охуждали его врачевание, но мне стыдно было бы пристать к ним и, во-первых, по благости, конечно, Божией, но потом одними его трудами выздоровевши, бессовестно было бы не отдать ему в том должной справедливости. Кроме обыкновенного надзора за больным, г. Буркарт приезжал навещать меня по ночам, прежде всех на заре наведывался о всем, что со мной происходило, словом, он исполнил в отношении ко мне не только долг звания своего, но даже заповедь ближнего в генеральном ее разуме. Многие приписывали такое тщание его тому, что я губернатор, но я люблю оставаться в той вере, что он из подвига одного доброго сердца так поступал, и тем еще более утверждаюсь в моей мысли, что он никогда не хотел с меня ничего взять за свои труды, следовательно, с одной стороны, не выиграл ничего для корысти, а с другой, поставя противу себя прочих наших врачей, нажил множество злодеев. Нет! Я всегда скажу, заткнув уши к чужим речам, что я ему в болезнь мою и после был много обязан.

Грозная опасность продолжалась только, как и выше сказано, одни сутки, и хотя при перевесе к лучшему я с неделю был еще труден, однако уже занимался слегка делами, выслушивал бумаги и понемножку мог писать на них. По течению дел почти приметить было не можно, что я так опасно был болен. Домашние мои смучены были около меня и сердечным

состраданием, и попечениями. Они почти до рассвета сиживали за работой или книгами у меня в спальне и не прежде ложились, не спать, а немножко отдохнуть, как уверясь, что я сплю сам и что мне не надо сторонних пособий. Через неделю стало мне лучше, но сколько начало болезни моей было опасно, столько выздоровление страдательно, ибо из этой лютой горячки открылся геморрой со всеми своими мучениями. В первый от роду раз испытывая эту злую немощь, я терял всякое терпенье и, не боясь уже лишиться жизни, я, право, более страдал, нежели тогда, как близок был к вечной разлуке со всеми своими друзьями. Будучи к тому очень упрям, я не хотел никак решиться на пиявочную кровь. Эта обновка меня не забавляла. Я до малодушия боялся этого кровожадного гада. Натура моя меня от него избавила, и я обошелся без этого средства. Уже мне было легче, и семья моя начинала отдыхать, как в Москве едва не испугали мать мою и сестру известием, пронесшимся во всем городе, о моей кончине. Что мудреного? Когда дни два и в самом Володимире присылали из домов отдаленных от моего наведываться тихонько, правда ли, что я умер? Вот с чего пронеслась эта молва. Когда я почувствовал себя лучше, я потребовал иконы Максимовской Богоматери[10] к себе в дом. Она предметом общей набожности в тамошней стране, все к ней прибегают в различных обстояниях. Образ подняли, принесли, отслужили молебен, и я в первый раз с тех пор, как слег, мог приступить сам к образу и, слячен* геморроидальным недугом, мог положить земной поклон пред ликом матери нашего Спасителя. Вера есть единственный и превосходный врач души и тела. С тех пор я стал собирать новые силы ежедневно. Процессия сия зашевелила любопытных. Иные расспрашивали, что в доме у губернатора случилось, другие отгадывали по своим соображениям и, зная, что я болен тяжело, пропустили слух, что меня соборовали. На ту пору едет кто-то в Москву, слышит самое то же и, полагая в уме, что пока он ехал, я, конечно, уже умер, выпускает в столице свою новость, а там лишь бы весточки пришли, тотчас на всех рынках затрубят, а повара разнесут по домам далее и далее, наконец и господа друг друга встречают с новостью: слышали ли, что такой-то умер. Слава Богу, что не дошла такая печальная ведомость до матери моей. По горячей ее ко мне любви, она бы ее срезала совершенно. Воздадим хвалу Богу! Еще я жив, еще здоров, и Господь, наказуя, наказа смерти же не предаде мя**.

---

* Слячен — согнут, сгорблен (ст.-слав.).
** Наказывая, не предал смерти (ст.-слав.).

Случаи в нынешнем году скоропостижно следовали один за другим и не давали душевным движениям остановки. От Астрахани вдруг дошла чума до Саратова, и как от него лежал прямой тракт до Москвы на Володимир, то уже и в Петербурге весьма круто принялись за предохранительные средства. Страх, обыкновенно, отнимает рассудок, а когда он усилится, то мы всегда впадаем в крайность. Так и здесь. Правительство, испугавшись чумы в Саратове, представило сие более вымышленное, нежели истинное зло (ибо и доныне многие уверяют, что в Саратове настоящей чумы никогда не было) в ужаснейшем виде государю. Поскакали по почте сперва медики низкого сорта осмотреть знаки чумные. Те удостоверили, что зараза точно распространяет свои действии. Последовали предписании и даже именные указы о карантинах. Не только в облегающих тот край губерниях, но даже и под самой Москвой были карантины. Мало показалось и сей чрезмерно сильной осторожности. Наряжен г. сенатор Козодавлев в Саратов. Связь его тогда короткая с князем Куракиным была тому поводом. С ним отправлены первого разряда доктора, анатомисты, натуралисты и проч., проч., словом, огромное приготовилось посольство в Саратов, а я во ожидании его хворал еще и получил два рескрипта насчет карантинов. Содержание их не позволяло никакой отсрочки в распоряжениях. Сидя иногда в ванне, я диктовал мои предписании двум и трем чиновникам вдруг, и, несмотря на отдаленность мнимо зараженного края, я столько же трудился над бумагами, имеющими связь с означенным случаем, как бы внутрь управляемой мною губернии чума уже наносила свою пагубу. На всех границах и въездах в мою губернию из прочих учреждены были от меня комиссии карантинные, кои, по данным им инструкциям, обязаны были отвечать за благосостояние людей и пожитков впускаемых, а на прямых низовых дорогах за Муромом и Гороховцом наряжены были мной особые чины из членов палат, кои с большим числом людей под собой обязаны были со всею строгостию охранять пути в Володимир. Оставалось бы затем заняться только общим и главным надзором за отделенными комиссиями, но поелику низшие чины не скоро, особливо в новых предприятиях, вразумляются в силу возлагаемых на них поручений, то разрешения на глупые спросы и очистка нелепых донесений оттуда и оттуда более занимала у меня времени, чем самый главный и органический распорядок дела. Но, наконец, машина двинулась и карантины вошли в свои обязанности. Зимний путь, многочисленность идущих в Москву обозов, особенно с рыбою, которая в приближавшийся Великий пост необходимо требовалась для прокорм-

ления столицы, размещении по селам и деревням сих огромных транспортов для окуривания их и карантинного осмотра, а притом злоупотреблении, которые вкрадываются во всякое дело человеческое, состоящие в остановках товаров и торговцев, нимало сомнению не подверженных, но устрашенных приставами карантинными из одной низкой корысти и которых нельзя было бы даже с аргусовыми глазами ни усмотреть везде, ни унять тотчас — все это окружило меня тяжкими заботами, и пока не привыкли люди и народ вообще к этим карантинам, трудно было сообразить[ся] с ними. Люди всегда будут люди, они и в самом зле других ищут себе выгод и прибытков.

В Гороховце был штаб-лекарь, попросту сказать, дурак, грубиян и редко трезвый человек. Он откомандирован был к милиции и еще числился при ней потому, что начальство ее не совсем было распущено. Губернский начальник князь Голицын жил в Москве, сносился с областным и рассылал пустые ордера на такие же из уездных городов к себе рапорты, чтоб сохранить за собою тень какую-то владычества. Штаб-лекарь гороховский соблазнился намерением достать чин, крест и мало ли еще что посредством выдуманной заразы; вкусил от плода, как Адам от яблока, и написал мимо меня по начальству милиции к князю Голицыну, что в Гороховце чума. Прежде, нежели дошли его бумаги в Москву, сведал я о посылке от своего карантинного чиновника и, заранее отгадывая, что это не что иное, как следствие алчного желания отличиться, послал двух докторов осведомиться на месте о тамошней чуме и сутки в трое удостоверился в моей догадке. Чумы никакой не было. Завезти ее в пределы Владимирской губернии было некому, а от обыкновенного воздушного поветрия, какое, думать надобно, было и в самом Саратове, перележало в лазарете человек до десяти, из коих семь выздоравливали, два еще были трудны, а один умер чахоткой, следовательно, чума не должна была тревожить никого в Владимире, еще менее в Москве, но не так рассуждали об этом другие. Мог бы и я написать, что чума у меня открылась и что деятельностию полиции и моим благоразумием она остановлена и прекращается, но я никогда не любил выслуживаться вздором и не хотел пустым страхом чумы, которая этой зимой сделалась для многих золотым рудником, ни себе, ни подчиненным своим домогаться знаков отличий. Я бы постыдился ими в таком случае. Не все так думают. Князь Голицын, получа рапорт своего штаб-лекаря, вместо того, чтоб в столь нежном деле описаться со мной как с начальником губернии, рассудил опрометью подать от себя о том рапорт Тутолмину, а этот с курье-

ром требовал от меня сведения, что делается в Гороховце. Вслед за ним от губернатора московского[11] эстафет в такой силе, чтоб уже помышлять о заграждении всякого сообщения из Владимира с Москвою. Это значило запереть всю внутренность России, потому что Владимир может назваться воротами Москвы во всю Сибирь и в часть низовой стороны. Если б лекарь гороховский написал о чуме прямо ко мне, ничего бы не произошло важного, но он, знавши, что не достигнет своей цели моим посредством, решился искать ее через начальство земского войска, которому он на то время был подчинен. Вот как один сумасброд может напугать множество умных. Видел я из отношения Тутолмина испуг его и московских жителей и сколько ни старался его успокоить, описав с нарочным же тотчас все начало этого вздорного слуха, но едва успел ли бы я в том, если б приезд Козодавлева не вспомоществовал мне переуверить московских властей в принятом уже ими мнении, что чума точно открылась в Владимирской губернии. Все имеет свое время и моду. Тогда везде казалась чума. Всякий на нее взводил разные слухи, и многие очень счастливо поиграли этой игрушкой.

Явился в Владимир сенатор Козодавлев. Он был со мною знаком давно. Я не мог к нему ехать потому, что еще после болезни с трудом становился на ноги. Настращен московскими слухами, он тотчас приехал сам ко мне, обошелся дружески, без чинов, и прежде всего вошел во все подробности мнимой чумы в Гороховце. Чтоб тверже его успокоить, я ему представил оригиналы следствия моих медиков и их самих, и он тотчас увидел несообразность распространившихся по Москве слухов. Склонясь на просьбу мою, чтоб в возможной скорости предупредить те же последствии в Петербурге, какие открылись в Москве и которые молва быстрым полетом могла туда донести тотчас, г. Козодавлев решился донести о всем, им найденном здесь, прямо к государю, а вместе с ним и я представил подробный рапорт от себя к министру, и таким образом остановилась пустая тревога, происшедшая от глупого лекаришки, и которая по важности предмета могла бы наделать хлопот и в Петербурге. Но есть счастливые люди в свете. По изобличении лекаря в законопреступном его поступке я его отрешил от должности и ожидал от министра позволения предать его суду. Ответ состоял в том, что государь, прощая ему дерзновение его, приказал по-прежнему допустить к должности и сделать выговор. Многие гораздо сильнее бывали наказываемы за поступки несравненно маловажнее.

Козодавлев прожил в Владимире два дни. С ним сопутствовала жена его и семейство, сверх того несколько чиновников. Каждый день он меня

посещал, и все вместе обедали у нас и ужинали. Лаской их я отлично был доволен. Он входил во все подробности моего положения, сетовал искренно, что я по службе не пользуюсь равным счастием со многими моими сотоварищами, обещал мне могучее покровительство князя Куракина, уверял в отличном его разумении на мой счет и приязни, и как тогда с места писал к нему в мою пользу, так и после заочно напоминал обо мне в своих бумагах.

По отъезде его в Саратов представлял я к министру, чтоб дозволено было выпустить в Москву величайшее множество задержанной рыбы в Владимире, которая начинала тяготить и промышленников, и город, а между тем и в Москве опасно было произвесть сим в Великий пост недостаток в продовольствии народном и ропот, которого следствии не всегда имеют определенную меру и часто опрокидывали самые верные догадки. Министр согласился, почувствовал силу моих убеждений и приказал обозам дать свободный пропуск, чем много способствовано спокойству жителей московских.

К масленице стал я выздоравливать и мог уже помаленьку выезжать в люди. Приятели мои наперерыв давали завтраки и обеды, на которых, однако, добрый мой врач г. Буркарт не покидал меня и весом отпускал мне пищу. Княгиня Наталья Петровна Куракина, участвуя в болезни моей и беспокойстве всего семейства, приехала из деревни своей видеться с нами и проездом в Москву прогостила у нас побольше недели. Она большую доставила нам отраду своим сообществом и любезною беседою. Дети мои, особенно Маша, к выздоровлению моему спешили приготовить мне сюрпризу, и два спектакля нам дали. В одном из них сыграна была маленькая комедия моего сочинения по имени «Отчаяние без печали»[12]. Я ее написал давно для дома князя Волконского, но тогда по разным причинам она не сыграна, и ныне в первый и последний раз видел я ее на театре своем. Все актеры играли свои роли прекрасно, декорации были сделаны для пиесы новые. Самое приятное явилось зрелище глазам моим. Маша привлекала на себя общие взоры с восхищением. Жена, первый друг мой, радовалась от всего сердца моему выздоровлению. В самом деле, как говорят французы, издалека я воротился на путь жизни. Нет состояния в животе человеческом приятнее того, в каком он находится по освобождении от сильной и опасной болезни. Жить снова с друзьями, с женою, с детьми после угрожавшей вечной с ними разлуки есть такое благо провидения, такой дар природы, которому цены нет в мире. С каким восторгом возвращался я к своим связям и дружбе. Чув-

ства возрождались постепенно. Я начинал желать и наслаждаться. Малейшая привычка прежняя, входя снова в обычай моего существования, казалась мне блаженством. Объятии жены, ласки детей, улыбка домашних, радость слуг, — все, все одушевляло меня чрезвычайною благодарностию к Существу предвечному. Ему единому, ему, Богу и Творцу моему, я обязан был возвратом к жизни. Она тогда только во всей своей цене представляется, когда мы видим, что мы могли ее лишиться. С каким удовольствием неописанным я внимал слабыми органами слуха первым звукам фортепиано, на котором милая моя дочь Маша по вечерам разыгрывала безделки и душу мою приводила в приятнейшее движение! Признаемся, что отчаянные болезни сколько ни мучительны, стократно вознаграждаются выздоровлением от них.

Сенатор Рындин управлял по смерти графа Воронцова его имением, но вообще* с другим, и оба имели под собой управителей. Где власти делятся, там обыкновенно раздоры и неустройства. Рындин поймал какое-то письмо, которое по сокращенным литерам его фамилии показалось ему пасквилем на его счет, пожаловался князю Куракину, вмешалась в этот вздор вся полицейская инквизиция, и я получил предписание министра с изъяснением высочайшего соизволения, чтоб тотчас схвачен был управитель графа Воронцова по прозванью Трисвяцкий и вместе с ним вотчинный земский и со всеми бумагами, какие у канцлера найдутся в домовой канцелярии, прислан на почтовых на казенном коште в Петербург. Я нарядил туда моего секретаря Шумилова. Он безвременно напал на этого приказчика, как коршун, но тот, прочтя повеление, не смел противиться. Забрали все домовые счеты и деревенские отписки, навалили два воза тюков и в самую распутицу отправили в Петербург. Эта поездка стоила сот до четырех, а по возврате Трисвяцкого домой я узнал от него, что он, без всякого следствия быв там продержан несколько недель, отпущен опять благополучно домой и потерпел только один страх неизвестности, за что схвачен. Такие опыты наглого своевольства начинали часто вырываться, и сплетня самая площадная обращала к таким же мерам строгости правительство, каких бы требовало государственное преступление. Более всех испугался этого случая г. Валуев, имеющий управление Кремлевской экспедиции, потому что Трисвяцкий, будучи давно свободен от рабства и записан в службу для достижения чинов, пред самым его арестом по именному указу с представления г. Валуева

---

* Вместе.

пожалован в губернские секретари, тогда как он вместо трудов на службе жил в вотчине графской и никогда не бывал в Кремлевской экспедиции. Это могло открыться при допросах, если б он попался по вине уважительной, и тогда г. Валуеву было бы худо, ибо государь не любил и за прямые заслуги давать чины гражданским людям, а еще менее потерпел бы такой явный беспорядок и означающий пренебрежение к его доверенности. Но Бог снес хлопоты с рук, и г. Валуев не сделался оттого умнее и на чины осторожнее.

Григорий Михайлович Богданов приехал из Кавказа и расположился у нас на некоторое время. Анна ему обрадовалась, и я увидел его в доме своем с удовольствием. Он нам рассказывал были и небылицы о тамошнем крае, домашние слушали, а я в недосугах моих хватал десятое слово на лету.

В Великую пятницу в полдень скончался во флигеле у нас барон Аш. Это было 3-го числа апреля[13]. Он уже изнемогал давно старостью и не мог вставать с постели. Я его навещал ежедневно. Он жил в одной связи с меньшими детьми моими. Ходя к ним, я видался и с ним. Сердобольная наша мамушка чтением над ним Псалтири и немецкого Евангелия напутствовала душу его к вечности. Он отходил к ней в памяти, без возмущения духа, но рассудок его никогда не возвращался [к] настоящей степени здорового состояния. За несколько дней пред смертью он призывал меня и наговорил мне о рождении своем и происхождении снова много вздору. Несметные богатства, которыми он всегда заражался, в голландских банках, грезились ему поминутно, и он мне поручал их выходить. Жалел, что не может ничем наградить детей моих, изъявил мне чувствительнейшую признательность за облегчение его участи и в это утро почти простился со мною. Минута кончины его была тиха и спокойна. Он похоронен на тамошнем владимирском кладбище, и деньги, после него оставшиеся в Приказе общественного призрения, до четырех тысяч рублей, о коих в своем месте я уже писал, препровождены от меня к его племяннику родному смоленскому губернатору барону Казимиру Ашу. Итак, умер почти в девяносто лет старец сей несчастный, проведший старость свою и те годы, в кои человек дорожить начинает одним физическим спокойствием, в тюрьмах, в острогах, в различных заключениях. Лишившись ума, он не заслуживал той жестокости, с какою против него обходились во время Павла Первого, и я благодарил небо, что оно способствовало мне доставить ему по крайней мере мирную кончину под кровом моего дома.

Доносы Епанчина положили еще в прошлом годе начало тем политическим оскорблениям, кои в нынешнем грянули на меня как гром и мало сулили приятного в будущем. Я всегда имел сильных злодеев. Не смею приписывать их зависти, дабы не впасть в ужасные бездны самолюбия и представить себе мои способности в большем виде, нежели они были в существе. Богу, конечно, угодно было искусить мое терпение. Вместо графа Васильева, умершего почти скоропостижно, вступил во все должности его Голубцов[14]. Вице-губернатор наш Заварицкий вел с ним переписку по какому-то старому знакомству и, просто сказать, наушничал. Он не мог терпеть подчиненности и сносил ее только там, где первое лицо отдавалось в полное его управление или от неразумия, или от большой доверенности. Так служил он с Гедеоновым в Пензе и с Латышевым на Вятке. Он здесь покушался принять меня в руки, но я сам любил удерживать права мои за собою, и тогда он непрестанно выдумывал способы или согнуть меня, или сбить с места, дабы приобрести его себе. В таких коварных намерениях ухватился он за Епанчина и сделал его орудием своей интриги, научил его доносить, клеветать, выкапывать мелочные поступки чиновников, от меня непосредственно зависевших, и зажигать пожар вокруг меня всюду. Успех венчал его скромное предприятие. Голубцов, подстрекаем им, взял сторону доносчика и побудил государя дать указ о исследовании открывшихся злоупотреблений по лесной части в Владимирской и Тамбовской губерниях. При Васильеве и Кочубее это бы не могло случиться: и тот, и другой меня знали, им известны были мои начала, правила и поступки, они различать умели поклеп и ложь от истины. Голубцов меня не знал даже в лицо, следовательно, не имел я права требовать от него той доверенности, какою пользовался от тех. Министр внутренних дел, привыкнувши к оборотам придворным, не смел вступиться за губернатора, когда видел, что его жмет посторонняя сила, и уступил проискам случайных злодеев. Из всего этого последовал наряд действительного статского советника Арсеньева в обе помянутые губернии для следствия. Об этом чиновнике говорить я буду ниже. Указ состоялся публично, и мне дано о том знать по порядку. Всякий, ставши на моем месте, почувствует, как мне было тяжело быть награждену новым и язвительным подозрением за все подъятые мною труды во время прошедшей кампании для успешного выполнения потребностей, от губерний ожидаемых. Я чувствовал, что надобно самому ехать в Петербург, представиться к министру, разогреть его прежние ко мне благосклонные отношении, потешить его честолюбие покорливостью унижен-

ною. Разум мне о том твердил давно и часто, но дух не выносил уничижения. Чего не делает необходимость? Я послал прошение об отпуске, но уже прошла пора его получить. Следствие наряжено, я должен был быть при своем месте для изъяснений в нужных случаях. Итак, отпуск мне по сей причине отказан от министра, но отказ его, однако, не содержал в себе ничего такого, чтоб означало желчь или негодование личное его противу меня. При всем том я чрезвычайно был поражен, увидя, что все пути пресекаются мне к откровенной беседе с министром насчет всех дел в губернии. Терпеть, тужить и уповать на одного Бога — вот единственное прибежище честных людей в нашем мире.

Нельзя без удивления смотреть на суетность мыслей наших и коловратность обстоятельств. Дела человеческие — настоящая паутина. Зварицкий ни о чем не помышлял во сне и наяву, как о губернаторском месте, и пока он раздувал огонь здесь, чтоб сесть в мои кресла, когда меня собьют с них, что казалось ему почти сделанным, в одно и то же время другими искрами возгнетал огонь в свою пользу в Саратове. Там губернатор был под судом[15] и правил должность его вице-губернатор. Заварицкий имел все состояние свое в тамошних местах, потому что беспрестанно служил около Саратова в Пензе и женат был на тамошней уроженке. Ему захотелось в губернаторы туда преимущественно, а чтоб не потерять к тому средства на случай, когда решительно выбудет губернатор, он заранее закинул просьбу к Голубцову, чтоб его перевести в Саратов, полагая, что бывши давно уже вице-губернатором и переводим из Вятки в Выборг, из Выборга в Владимир, конечно уже не иначе его переведут опять в Саратов, как с повышением в губернаторское звание. Ошибся лукавый в своих расчетах. Козодавлев поддержал Саратовского вице-губернатора, и чума так подняла его, что он пожалован в губернаторы, а Заварицкий, в удовлетворение его просьбы, для приближения к своим местам переведен в Саратов в вице-губернаторы и плакася горько[16], тем более что новый саратовский губернатор, некто грузин Панчулидзев, удалой детина, и по чинам, и по всей своей службе был много моложе г. Заварицкого, который, не стерпя зависимости от меня, попадал в другую, стократ для него несноснейшую во всех отношениях. Так падает в глубокую стремнину тот, кто роет ров для другого.

На место его определен Дюнант, статский советник, служивший в штате Голубцова и промотавшийся в карты, за которые и за другие трактирные приключении высидел в Шлюссельбурге два года при Павле. Человек в прочем без дарований, без ума и без общежития. Вот из каких

людей выбирали первых чиновников в губернские города и хотели после, чтоб порядочный и благородный начальник уживался с такою тварью. Если бы они, постояв с бумагами у дверей, как у своих министров в прихожей, расходились и в провинциях по домам своим, конечно бы мудрено было за что-нибудь с ними поссориться, но вельможи никогда не обращали внимания на то, что возведенный в высокое звание негодяй, приобретая в губернии по месту своему стул, шаг и голос, тотчас терялся и делал вздор. Его у дверей не поставишь, с ним жить надобно. Неволя велит ехать к нему, приглашать его к себе, он член общества. Отсюда необходимые раздоры. Они действуют и на службу.

Дождавшись его приезда в губернию и начав принужденное знакомство с этой пьяной, нахальной и необразованной тушей, которую звали г. Дюнант, оставил ему на время вожжи и поехал по городам. На первых порах всякий еще озирается, не ищет дружбы, а бегает вражды, и он вел себя, как новичок, оказывая мне строгое во всем послушание и не смея еще дать свободного хода своим замыслам насчет приобретений. Объехав по обыкновению моему половину городов уездных, получил на пути известие о приезде Арсеньева в город и тотчас приехал для начала обще с ним лесного следствия.

Арсеньев мне был давно знаком, но в молодости еще я потерял его из виду, помнил только то, что при Екатерине он был отставным майором и, попавши в мартинисты, втерся в большие дома, между прочими и у дяди моего графа Строганова всякий день пил и ел, и тут я его видел очень часто. Мужичок лукавый, скрытый и пронырливый, имел хорошие навыки наружные, ума сведущего, знал прекрасно язык французский и обучен разным наукам, но нраву фальшивого, умел мягко стлать, а жестко было спать. В отставке, будучи тогда майором, он не мог сделать никому ни добра, ни зла. Екатерина не любила секты мартинистов, и когда на них оборвалась туча ее гнева, то знатные некоторые лица увернулись, а сволочь этих тунеядцев, кои, пользуясь слабостью богатых шалунов, обольщают их и кормятся около жирных их обедов, вся эта сволочь подверглась изгнанию из Петербурга, в том числе и Арсеньев скрывался в Орловской губернии, не смея носу показать в столицы, и был бы там забыт вечно, если бы не воцарился Павел. Сей, будучи сам, как говорили его современники, мартинист или друг их, по крайней мере, начал царствование свое тем, что всех их из разных уединений вызвал на свободу, приблизил к трону, давал иным чины, места, стараясь вознаградить щедрою рукою нанесенные им досады матерью его, и я думаю, он так

поступал не столько для того, чтобы мартинистов облагодетельствовать, как чтоб унизить память Екатерины, которой он не любил, хотя обязан был ей и жизнию, и престолом. Кто не знал, что она имела множество способов не допустить его царствовать? В самое то же время со многими изгнанниками появился и Арсеньев, вступил в службу, происходил чинами, по беспокойному свойству своему переходил из одного места в другое, наконец, попал в члены удельного департамента, которым управлял Гурьев, и уже не знаю по какому случаю и кем отрекомендован был князю Куракину, который его командировал сюда для следствия. Вот история г. действительного статского советника Арсеньева. Скажем еще, чтоб довершить картину, что он, сделавшись от времени старее и опытнее, не переставал держаться мартинистского раскола, напротив, от уединения ли, или чрезмерной желчи он вышел самый мрачный иллюминат, злобился на всех, смеялся и язвил, шутя, резал, обнимая, душил, любил мстить и ненавидеть. По временам говорил вздор и, увлекаясь в отвлеченные понятия мистики, толковал Апокалипс, прорицал будущее, похож бывал на человека безумного или в исступлении. Однажды, сидя у нас ввечеру под открытым окном, в которое ударяли лучи полного месяца, он вошел в восторг и предсказывал, что Царьград будет взят, назначал год этого события, превращал всю вселенную и Апокалипс раскладывал, как математическую задачу. Я истинно не лгу. Жена, испугавшись, ушла из комнаты, а я чуть ему не расхохотался в глаза. Вот свойства того чиновника, с которым мне предлежали большие и важные хлопоты. Посмотрим, как они начались и кончились.

В те дни любимое средство управлять людьми было шпионство. Слово «под рукой» вошло в систему законов. Арсеньев с ним соображался. Нетрудно было ему найти людей низких и на клевету готовых. Окружась шайкой тех, кои меня не любили, он с самых первых дней начал действовать так, чтоб меня опутать. Вице-губернатор, по новости своей, держал неутралитет, а прокурор Бут, не любя меня уже давно, как видно было, пристал к нему охотно. Началась настоящая инквизиция: подслушивали по домам, забирали крестьян и силой заставляли показывать не то, что было, но то, чего хотелось. Русский мужик не римлянин и не Эпиктет, постращай, все скажет, а ударь палкой, на всех налжет. Без свободы нет истины. Математическая аксиома! Арсеньев рассуждал иначе, ему хотелось доехать обер-форштмейстера и завязать меня самого. Одно было немудрено, другое невозможно, ибо я ни в сучке казенном не был виноват пред государем. Арсеньев обходился со мною,

однако, прекрасно, всякий день у меня обедал и ужинал, на словах был искренний мой друг, а на бумаге злодей настоящий. Переписка его наполнена была таких ругательств, которые выносить не позволяло и самое ограниченное самолюбие. Например, он в одной бумаге писал, что Губернское правление не внемлет указам императорского величества и отложилось от подданства высокомонаршей власти. Кто, кроме безумца, употребил бы такое выражение? Требовании его были нелепы и дышали одною злобою, но я принужден был, по смыслу данного мне от министра предписания с высочайшей воли, исполнять их. Право было слово для него незнакомое. Он лишал свободы, имущества даже без наблюдения каких-либо законных обрядов. Парижские террористы[17] не уступали ему в свое время. Чем менее находил он преступления, тем более досадовал, что нельзя наполнять острогов. По мыслям его не было ни патриота, ни честного человека в мире, разумеется, кроме его и иже с ним.

Чтоб дать точное понятие о его свойстве, сердце и разуме, скажу следующий один поступок из сотни подобных. Какой-то отставной дворянин приехал в володимирскую свою деревню на летнее время. К несчастью, он был родня близкий чиновнику лесного департамента. Арсеньев вообразил, что он не для хозяйства приехал, а присматривать в пользу своего родственника, как идет дело, и уведомлять его о движениях Арсеньева. Вдруг от него ко мне письменное требование, чтоб я отрядил надежного чиновника к нему в соседство, приказал бы за этим отставным и свободным помещиком надсматривать и, схватя его, привезти под караулом в город. Видано ли где в порядочном царстве такое насилие? Однако я должен был это исполнить, и дворянин, о сем узнав, бросил деревню и уехал вон из губернии. Осторожность требовала от меня того, чтоб я все отношении его исполнял скоро и с строгою точностью. Малейшее прекословие навело бы на меня подозрении в законопреступном участии с виновниками, если б они открылись под его допросами, как и под плетью Маковецкого, да мне же и велено было без ограничения слова исполнять все его требовании. Угнетать людей было простительнее, нежели защищать их противу силы беззаконной. Итак, я молчал и в страдательном положении делал все то, чего ему хотелось.

Вначале поручено было ему исследование злоупотреблений в распоряжении казенными лесами, но Арсеньев из этого сделал общее дело и коснулся всех частей местного управления. Ссылался на инструкции, которых после у него не оказалось, имел даже дерзновение выдумывать такие на свое имя высочайшие указы, кои никогда не состоялись и не были

изданы, и под сими предлогами обнимал в розысках своих всю Владимирскую губернию.

Самое лесное дело, ему доверенное, шло странным образом. Вот как он его производил. Посылал в известный какого-либо наименования лес с приказанием отбить одну десятину. На ней примерно сочтут количество сухих пней, и потом дома у себя г. Арсеньев делает следующую выкладку. На десятине сочтено сто пней такой-то меры и толстоты. Срубленное дерево стоит столько-то, в лесу такое-то число десятин; одною помножа все прочие, он получал число срубленных дерев, а по определенной им оценке выводил сумму и наконец говорил: ergo, на столько-то миллионов срублено и похищено казенных лесов! Впрочем, никто дач лесных не осматривал, не обходил и в прямом состоянии их не удостоверялся. Силился открыть государственное зло и хищность лесных чиновников под руководством самого лесного департамента и обнаруживал одни мелкие шалости людей низких и по естеству своему всегда к поползновению готовых, хотел вывести на бумаге истребление корабельных лесов, разрушение нашего флота и корень бед для России поставить в Володимирской губернии, но вместо того нашел, да и то еще осталось недоказанным по делу даже в Сенате, будто обер-форштмейстер построил дом себе из казенного леса, который оценен в пять тысяч, а продан по разорении Москвы несколько лет спустя за девять. О богоотступная Владимирская губерния! Какое ты зло навлекла на отечество!

Все это меня чрезвычайно тяготило. Туман окружал мой разум, и камень лежал на сердце. Я решился тогда идти в отставку и оставить поприще подвигов гражданских, которое ведет добродушных всегда на крест. Домашние мои мне сострадали, и, по любви к ним, я согласился только на то, чтоб не прежде исполнить мое намерение, как по свидании с министром. Но для этого надобен был отпуск. Мне его не давали. Однако я решился возобновить о том просьбу, и новая причина меня к тому побудила.

Дети писали ко мне из чужих краев, что они уже, конча срок отпуска своего, выехали из Геттингена в Кассель и помышляют о возврате в Россию. Им надлежало приехать прямо в Петербург осенью, и я, располагаясь их там найти и привезти в собой в Москву, писал о желании моем к министру, просил его благосклонного дозволения на мою отлучку и послал письмо с нарочным в Петербург, куда поскакал и Богданов заготовлять мне квартеру и экипаж на случай успеха. Арсеньев с своей стороны под видом дружбы, ибо он никогда не снимал с себя этой маски, писал к

министру и просил его отпустить меня, не почитая к тому препятством лесное следствие, по которому я совсем ему не надобен, ибо дело не до меня касается. Но в самом деле у него мысль была другая. Желая мне зла, он надеялся, когда я уеду из губернии, что потекут к нему лично на меня доносы широкой рекой и что они таятся при мне потому, что страшится всякий влияния моего на судьбу свою. Как то ни на есть, но письма наши подействовали мне в пользу, и я отпуск желаемый на два месяца получил.

Во ожидании его, я жил между страха и надежды. Предполагая везти с собою в Петербург всех дочерей наших, женину и моих двух старших, с Анной Михайловной, мы занимались сборами, и это несколько услаждало тягость моих по службе занятий в то время. Дочерям, по молодости лет их, хотелось до крайности видеть Петербург и отдохнуть в нем среди забав и увеселений, кои там доставляет лето, от скучных владимирских сплетен, всегда размножающихся, когда проиходит приключение, подобное Арсеньева приезду. Бедные ребятишки! Не знали они, как дорого две из них заплатят за прогулки в Петергофе и на островах!

Надежды хотя меня подкрепляли, но я не терял из мыслей принятого намерения оставить службу и на сей конец поспешил некоторыми распоряжениями: уклал всю свою библиотеку в ящики и отправил в подмосковную, подобную участь имели картины и портретная моя галерея. За обозом вслед поехали меньшие мои дети в Москву, дабы там остаться, пока мы будем в Петербурге. В сих распоряжениях домашних застал меня отпуск. Какая это была радость! Какое восхищение! Дети не могли дождаться той минуты, в которую мы сядем в коляску. Собравшись заблаговременно, мы не мешкали, получа увольнение, и в сутки после той почты, которая мне сию весть приятную принесла, меня уже не было в городе, и ничего не оставалось в нем такого, о чем бы я жалеть мог. Но не судил еще Бог в то лето оставить Владимир навсегда. Многие моему отъезду радовались и торжествовали его, считая наверное со мною не свидеться. Число искренно сожалевших обо мне едва составляло ли человек десять — общая участь начальников во всяком роде. Все их боятся, немногие любят, а которые и играют наружно ролю людей преданных, поверьте, что они всегда движимы бывают какими-нибудь скрытыми пружинами, которые требуют от них благоразумного притворства. Арсеньев воцарился и, облобызав меня при прощанье иудиным лобзанием, назавтра же моего отъезда стал готовить противу меня нож обоюдуостр.

Воротимся на минуту назад и дадим место здесь некоторым происшествиям, не прямую с Историею моею, но близкую связь с моею службою

3 Зак. № 3975

имевшим, как то освобождение Побединского из Ефимьевой обители. Насилу мог я его оттуда вытащить. Бог послал мне нового страдальца на руки после барона Аша по многим о нем от меня представлениям к графу Кочубею, и после того старанием Козодавлева уважены мои настоянии, и высочайше дозволено Побединскому выдти из монастыря, но имение не возвращено и жить приказано на том же основании в губернском городе под моим присмотром. Хоть не много, но все сколько-нибудь поправилась его участь и подавала надежды вперед. Приятнее было ему зависеть от меня, нежели от грубого архимандрита между монахами развращенными. А сколько приятно было мне успеть в желаниях моих быть ему полезным, о том ведал Бог, испытующий сердца и утробы. Слава ему и благодарение!

Тогда же и Рагозин получил крест Аннинский за доклад от комитета о повинностях под[д]анного, о котором я писал прежде. Два сии случая, которые возвышали в глазах публики мое звание, будучи вывескою уважения правительства ко мне, могли бы дать перевес прочим моим неудовольствиям, от Арсеньева происходящим, но везде есть неожидаемые камни, о которых мы спотыкаемся в жизни и, если не падаем совсем, по крайней мере, сильные получаем контузии.

По одному уголовному делу о казначее уездном, обвиняемом в жестокости с приказными, дошедшей до такой меры, что один из них умер от побоев, Уголовная палата судила его весьма легко и заключила освободить от всякого наказания. Сие часто случалось в делах преступления должности. Я изыскивал причину такому послаблению и нашел ее, по мнению моему, в самом естестве наших законов, кои доныне еще представляют много несообразностей. Всякий классный чиновник, в чем бы ни судился, почти всегда подвергается лишению чести и дворянства. Уличен ли он в мешке круп, добровольно ему данном, или в тысячи рублях, насильно отнятых, все равно. Закон в России не рассуждает о свойстве поступка и о вреде, от него происшедшем, — благородию за все галера. Отсюда выходит, что Уголовные палаты, отвращаясь от сильных наказаний, не полагают никаких и часто освобождают таких негодяев, которых бы не жаль было подержать месяца два в тюрьме, но опозорить навек и лишить всякого состояния в сословии своем слишком жестоко, и потому выпускали их на чистую свободу. Этого бы не случилось, если б наказание соразмерно было преступлению, но об этом надобно думать, а у нас кто рассуждает? Мимоходом скажем один случай, по Владимирской губернии происшедший. Судилось при Екатерине во взятках вдруг

до полутораста человек чиновников. Пожар этот загорелся после графа Воронцова при графе Салтыкове. Некто Чаплыгин, разграбивши крестьян казенного ведомства и сделавши себе до ста тысяч капитала, заперся во всем. Суханов повинился в том, что ему подарили какие-то мужики тушу. Тот остался дворянин Чаплыгин, а Суханов ездил в Сибирь и до сих пор лишен дворянства. Вот как судят российские судьи! И все по законам! На что ж это похоже?

Не согласясь с Палатою в деле казначея Арбузова, представил я Правительствующему сенату с моим мнением, что я казначея правым совершенно почитать не могу, и хотя он не признался, но уличается обстоятельствами дела, а где улики есть достаточные и без признания виновного лица, там закон определяет наказание. Сказать должно, что при самом начале следствия по сему случаю отряжен был от меня муромский городничий Диц для приведения дела в ясность. Сенат в высоком своем судилище приговорил и казначея, да и городничего Дица за мелочное какое-то несоблюдение формы при следствии[18] наказать одним и тем же наказанием. Оба они, а с ними для компании и стряпчий, и лекарь, свидетельствовавший тело битого подьячего, отрешены от мест своих без ответов и без суда. Сила солому ломит. Тогда производилось строение корпуса каменного для присутственных мест. Диц, мужик немолодой и опытный, смотрел за ним и почти доканчивал. Я писал к министру, не рассудит ли он дозволить ему без отправления общей городнической должности продолжать стройку дома, ибо оно на моем отчете, а новый городничий, может быть, и не мастер попадется строить дома[19]. Можно быть исправным городничим в отношении к правлению города и не уметь венца срубить на хоромы. А во ожидании ответа, Диц сдал должность старшему под собой[20], не отставая только от надзора за строением. Министр отвечал поздно[21], приказал снять строение у него с рук и поручить другому, что и исполнено тотчас, но между тем прокурор, искавши везде случая мне досадить, успел послать по команде своей протест в том, что, несмотря на указ Сената об отрешении Дица, он все еще занимается казенными препоручениями. Сошел протест к рассмотрению в московский Сенат. Тот налетел на меня как ястреб. Он любил меня щипать при всяком благоприятном случае и, возревновав к своей власти, сделал Губернскому правлению жесткий выговор, и, расписав своими красками поступок его, опубликовал по всей России. Стыд сей чувствовал я во всей его силе, но так ли меня ломал Сенат в последующих годах? Это были одни цветочки, дойдем и до ягод.

Отправясь в Петербург, мы пробыли сутки двое у матушки в Москве и, побывав в Донском на гробе Евгении, полетели далее. Летом путешествовать — удовольствие. Дети наши восхищались каждым предметом. Ничего не видав, кроме Москвы и Володимира, им и Тверь показалась превосходным городом по регулярности улиц и строений. Везде мы мешкали, чтоб не лишить их приятного зрелища новости. В Медном дочери мои ходили со мной на гроб бабки своей родной, а моей тещи, и священник сельский, облачась в ризы, сшитые в свое время из платья матери их, напомнил живо им сию невозвратную потерю. В Новегороде показал я им то кладбище, где дед мой, обезглавленный на эшафоте за любовь к свободе и правам государства, похоронен был, как преступник, без всякой почести. Мы пролили над ним совокупно слезы христианского умиления и поручили снова судьбы свои Богу. Наконец, 21 июня увидели Петербург, и дети обезумели от радости.

Жена с удовольствием нашлась в кругу нескольких своих родных по себе и по первом своем муже, а на меня совсем другие действовали чувства. Я езжал в Петербург не радости торжествовать, а удалять от себя досады и оскорблении. Такая побудительная причина не весела. Я не стану описывать положения города. Мало было разницы между тем, что я видел в 1805 году и в настоящем. Министры некоторые переменились, но министерство искаженное отягощало еще и казну, и народ. Кочубея не было в Петербурге. Вахтпарады не теряли своей славы. Некоторые обычаи старые уступили место новым, но и сии не лучше были тех. Город строился с отменною роскошью. Казанский собор и Биржа приготовляли зрелище удивительной красоты, но еще не были отделаны[22]. Мы жили против самого Михайловского замка. Утро я слонялся по вельможам, а вечера проводил у родственников или с ними дома. Графиня Наталья Владимировна Салтыкова, всегда одинакова во нраве и правилах, осыпала меня ласками своими, а муж ее ласкал меня также, но для формы, помогал мне в моих заботах, но когда это не стоило ему большого труда, и неохотно расположен был быть полезным, если это нарушало в чем-нибудь его тишину и спокойствие. Эгоист во всем смысле слова!

Явился я к г. министру. Вельможа, пресыщенный роскошью, принял меня благосклонно, но какая разница с предместником его! Там была беседа, разговор о делах, о губернии, о службе, внимание к представлениям и соображении предлагаемых видов. Здесь, напротив, площадные шутки или надменная величавость. Там в свидании министра с губернатором никого третьего — здесь и шут, и слуга, и секретарь, и губернатор, все

было смешано в одном покое. Там министр, сидя за пером, отлагал работу, чтоб заняться подчиненным и выслушать его совершенно. Здесь большой барин в халате перед зеркалом брил бороду, умывал руки при толпе крепостных и свободных слуг своих. Для многих такой прием казался милостью, для меня — уничижением. Князь Куракин во все приветствии свои иногда впускал такие выражении черствые, от которых я едва не плакал. Ирония в устах министра есть самая ядовитая язва на сердце подчиненного. Я принужден был на первой встрече проглотить, как говорят французы, несколько подобных ящериц, но я знал давно князя Куракина и приготовился ко всему тому, что нашел. По нескольких свиданиях он стал мягче со мной обходиться, и дело лесное принимало уже по приезде моем вид менее странный, нежели тот, в котором представлялся мне на бумаге в Владимире.

Вместо Сперанского управлял канцеляриею старый Пшеничный. Какое падение! Из прежних письмоводителей нашел я только Лубяновского и Магницкого и обеими был чрезвычайно доволен, а наипаче первым. У него были на руках все Арсеньева бумаги. Он знал его свойства и не терпел его, — первый шаг для меня к успеху. С ним я часто объяснял мои обстоятельства и говорил про дело. Директор департамента лесного Габлиц принимал также в развязке доноса Епанчина непосредственное участие. Итак, не один я очутился на поле воин. Многие заодно со мной вооружались против Арсеньева. Многоплодные, дерзкие и нелепые бумаги сего последнего открыли глаза насчет его всему министерству, везде его называли дураком, фанатиком и бешеным иллюминатом. Сам министр соглашался, что он скаред и мерзкой совести человек. Все это давало мне приятные надежды. От Лубяновского знал я всю меру уважения ко мне графа Кочубея. Он мне первый сказал, что ему хотелось взять меня к себе, когда выбыл Сперанский, и рекомендовал меня отлично князю Куракину. Сам князь мне однажды изъяснил, что он имел виды на меня, но раздумал потому, что нашел такое употребление уже несообразным с настоящим моим чином. Я выслушал и поклонился. Он мог бы мне предложить место своего товарища, его тогда у него не было, это бы не унизило моего чина, но не того ему хотелось, а бегать к нему с докладами для меня было уже не под леты. Сперанский, хотя не принадлежал к министерству, однако оказывал мне много приязни, принимал у себя ласково и сам посетил меня однажды. Это тогда значило много. Случай его становился час от часу громче. Государь его любил и верил во всем. Вот те связи, которые я возобновил в Петербурге, и поступки

мои не меняли своего масштабу. Сохраня всех тех, кои окружали Кочубея, я не искал новых знакомств в настоящей канцелярии министра и с Пшеничным виделся только для обряда, а дело делал с Лубяновским. Повторю еще, что этому человеку я много остался обязан. Он распутал один хаос Арсеньева доносов и не дал праздника моим злодеям. Верьте, что мне это ничего не стоило, кроме визитов, из которых каждый меня более привязывал к душе и разуму этого человека.

Князь Куракин, желая отличить губернаторов в общем мнении, наклонил государя к тому, чтоб он позволил их представлять к себе прямо в кабинет, а не так, как прежде, наряду со всеми приезжающими особами. Сим средством государь мог бы лично ознакомиться с каждым начальником губернии. Прекрасная выдумка, но мало от нее произошло пользы. Я имел счастие представиться 27 июля на Каменном острову. Введен будучи в кабинет, думал, что должен буду дать хотя краткий, поверхностный отчет в лесном деле, но государь, миновав совсем эту материю, удостоил меня нескольких вопросов насчет строений в городах Владимирской губернии, промысла, жителей, опрятности улиц и наружных видов, спросил меня, давно ли я в этой должности, удивился, когда я ему донес, что восемь лет истекло, и минут в десять вся аудиенция кончилась. Оставляю всякому судить о сем по своему произволу, а для догадливых молчание мое не загадка.

Между тем как я хлопотал, суетился и часто приезжал домой к обеду лицо весьма пасмурное, жена моя и дети с Анной Михайловной занимались нарядами, а потом целый день и вечер езжали мы все вместе гулять пешком по булеварам и садам, а на шлюпке по островам. Сестра родная жены моей графиня Апраксина, имея сына в кавалергардском полку, нанимала дачу возле его на Каменном острову, и там каждый почти вечер молодежь наша съезжалась плясать до бела дня. Уже жена моя и дочери успели на другой же день приезда в Петербург, то есть 22 июля, съездить в петергофский маскарад, и там вечерняя роса на берегах моря доставила Маше простуду, которая развернула в ней зародыш наследственной болезни, дошедшей к ней от матери. Со мною был Буркарт. Его привлекли сюда собственные его дела. Он во все время нашего пребывания в Петербурге не переставал лечить ее. Болезнь ее препятствовала выезжать всюду и всегда, но любопытство и молодость иногда вредили осторожности, и бедная дочь моя, чувствуя себя нехорошо, или плакала в своей комнате, когда мы разъезжались по гостям и по нуждам, или, при малейшем облегчении, улыбалась, надевала платье нарядное и с нами

выезжала. Состояние ее много стесняло мою душу, но петербургские жители не любят печали. С ними надобно казаться веселым или вовсе ни к кому не ездить.

Августа 9-го жена и дочь старшая вместе со мною были представлены государыне Елисавете Алексеевне. Она с особенною милостию изволила жаловать всех нас к руке и с каждым поговорила. Дочь моя от всего была в восхищении, а меньшая и падчерица, коих возраст еще не позволял помышлять о дворце, сидели дома и завидовали нам. Как бы я охотно подарил их всем этим тщеславным удовольствием, лишь бы, покойно дома сидя, не плакать о больных в своем семействе и в свободе писать стихи на досуге.

Потом ездили мы все в Павловское и, остановясь в трактире, готовились назавтра представиться императрице Марии Федоровне, а с нею и всему царскому дому, ибо тут жили великие князья, обе великие княжны[23] и в то время приехавшая из Веймара великая княгиня Марья Павловна. Меньшие наши дочери сопровождали нас для любопытства, а во дворец ездили мы одни, жена, я и Маша. Весь этот воскресный день мы провели в царских палатах, а те с Анной Михайловной гуляли по садам и смотрели снизу вверх в дворцовые окошки. Дорого бы дал я, чтоб не быть в настоящем виде в Павловском, но политика жестока и часто требует от нас тяжелых жертв. День во дворце начался обеднею, после которой были мы представлены каждому лицу в его покоях. Сперва подходили к руке к государыне. Она изволила говорить с женою моею, с дочерью и со мной и нашла большое сходство у Маши с ее матерью. Что бы диковинки, вспомня покойную Евгению, потешить дочь ее вензелем[24] и обрадовать отца, некогда ими взысканного? Но Маша была бедная девушка, не громких родителей дочь. Это не питало тщеславной души императрицы. Удостоились мы царской трапезы, но прежде того были на поклоне у великой княгини и великих княжон. Сии много с нами говорили, приветствовали, ласкали даже. Благоволение их пленяло совершенно. Я в особенности представлен был к великим князьям. Генерал Ламздорф, пекущийся о их воспитании, небесполезно употреблял время и труды свои: князья скромны, вежливы, благосклонны, и всякий, кто в Павловском побывал, отъезжал доволен приемом всего двора. Императрица в доме своем сохранила все старинные обряды дворские. После стола все разошлись, и мы приглашены были на вечер. Середину дня употребили на визиты. Были у Ливенши, у княгини Прозоровской, у княгини Волконской, кланялись всем местным иконам сего святилища богов земных.

Ввечеру был бал, и Маша моя потанцовала. Обращенье у двора Павловского довольно свободно. Принуждения не видать, но для нас, отвыкших от лучезарного светила политического, все казалось страшно и необыкновенно. В той самой комнате, где ныне танцовали, бывал некогда театр, на котором я в толиких ролях пред Павлом отличался. Государыня сама, подойдя ко мне, изволила об этом напомнить. Ах! Сколько размышлений входило мне в голову! Сколько я приводил событий на память, стоя смиренно у гипсового столба подле Дмитриева, который тогда был сержантом, а ныне сенатор и накладывал на меня в Москве штрафы. Сколько я имел случаев, пока придворные господа кружились в польских, философствовать и убеждаться, что все на свете суета! Сваливши с плеч тяжелый такой день, мы откланялись после ужина государыням, перецеловали у всех руки и назавтра оставили это очаровательное прежде для меня, но ныне постылое место и возвратились в Садовую улицу доживать время моего отпуска.

Несмотря на происки Арсеньева, который на каждой почте присылал стопы своих дурачеств и ябед, дела мои не портились, а мало-помалу поправлялись. Всем становилось не только невероятно, но и смешно, что в Владимирской губернии, как утверждал Арсеньев по своим метафизическим расчетам, истреблено в течение восьми лет, то есть с тех пор, как я правил губернией, на сорок миллионов корабельных лесов. Какая нелепость! Во-первых, в Владимирской губернии корабельных лесов совсем уже не было, ибо гораздо прежде меня были посыланы флотские чиновники описать леса всего государства и заклеймить годные на построение судов. Ревизоры сии ни одного дерева не нашли, и из донесений их давно известно, что Владимирская губерния не дает лесов корабельных. Во-вторых, если б обратить заключение г. Арсеньева и на простой строевой лес, то и здесь выкладка его никакой истины не представляет, ибо в течение восьми лет не только Владимирская губерния, ниже Москва не могла бы на сорок миллионов употребить лесу. Это выходит вон из всякой пропорции и явно кажет сумасбродство г. Арсеньева, которому один знатный барин и возразил, когда он стал ему об этом рассказывать: «Конечно, вы счет свой ведете от сотворения мира».

Итак, князь Куракин, смягчая мои досады, начал обвинять Арсеньева публично и оказывать мне благосклонное расположение. Лубяновский, по канцелярии не теряя ничего в мою пользу, сочинял из тетрадей Арсеньева экстракты и с вошедшими от меня против них бумагами докладывал министру. Граф Салтыков, видя, что мои дела принимают хоро-

шее направление, дабы не лишиться удовольствия похвастать благотворительностию, писал обо мне раза два к князю Куракину и просил, чтоб я был представлен к награждению орденом, который и по общему мнению так давно и правильно мне следовал. Быв на месте и видя поступки всех, я должен для справедливости сказать, что если б не старании Лубяновского, то бы протекция одного графа Салтыкова ни к чему не послужила, ибо всякий знатный барин и министр знали, что все можно без страха отказать графу Салтыкову, что он ни за кого никогда не вступится и делает добро только тем, кому оно и без него давно готово.

С лесным делом соединилось и другое, не меньше важное. Вспомнить надобно, что в начале года пойман был в Иванове богатый мужик, именем Бурылин, с фальшивыми ассигнациями. О деле его упомянуто выше. Пред отъездом моим из Владимира оно приходило к концу. Уголовная палата выжидала меня, чтоб совершить его в пользу преступника. Зная о сем, я предложил ей помедлить решением и ожидать повеления из Петербурга, как поступить с этим обстоятельством, ибо я намерен был переговорить насчет его с министром юстиции князем Лопухиным. Но лишь только я уехал и не успел еще осмотреться в Петербурге, как Уголовная палата, приняв донос от подсудимого, и в таком важном обвинении, будто бы его исправник Шуйский теснит за то, что он не согласился откупиться деньгами, потребовала от Губернского правления, чтоб он был от должности отрешен и снова дело Бурылина обследовано другими чинами. Нетрудно отгадать, что руководствовало Палату к такому наглому поступку. Бурылин был капиталист, и в тюрьме сидеть не хотелось. Прокурор всей своей силой, а тогда он имел ее много, настоял в удовлетворении требования Уголовной палаты, и Губернское правление беспрекословно отрешило Пожарского вместе с другим членом Земского суда. Арсеньев рукоплескал тихонько в своем кабинете, и недруги мои радовались, что уязвили меня в чувствительнейшее место сердца, ибо по жене моей не мог я не участвовать в судьбе деверя ее Пожарского.

Этим Уголовная палата не удовольствовалась, но, из осторожности ли одной, или с умысла, определила о том представить к министру юстиции совокупно с прокурором, и, дабы я не успел его предварить о существе дела, на другой же день по моем отъезде представление одной и рапорт другого пошли в назначенное им место, следовательно, в первых самых днях моего приезда и прежде, нежели успел осмотреться, уже князь Лопухин знал о Бурылине, о Пожарском и шумел, как обыкновенно шумят те, кои дела не знают и смотрят на него только с той стороны, с ко-

торой оно показано. Предложение, данное мною Уголовной палате, называл он самовластием, и может быть, дело сие приняло для меня худой самый оборот, если б сам князь Лопухин, встретясь со мной во дворце в день моей аудиенции, мне о сих бумагах не сказал. Видя из слов его, что он с жаром защищал преступника и что времени терять было не должно, потому что он настроен был назавтра же доложить о том государю и, может быть, решительный нанести удар кому-нибудь из замешанных в дело чиновников, я принужден был брать к отражению его скорые меры, и вот в чем состояла моя маневра.

У князя Лопухина правил делами некто Столыпин — зверь, но тогда еще на привязи. По старым связям он коротко был знаком с Богдановыми и даже дружен. Анна Михайловна и брат ее с помощию зятя его родного Хостатова, у которого некогда Григорий Михайлович служил, и с тех пор он его любил, как любовницу, выработали из Столыпина, чтоб он принял мое донесение к князю и представил ему вместе с бумагами Уголовной палаты для доклада по всем вообще государю. Документов со мною не было, но память на то время сделалась архивом владимирских дел. Время настояло короткое, один день — и дело или поправлено, или навсегда испорчено. Я написал к министру юстиции представление и доказывал в нем: 1-е), что от злодея, с уликами приведенного, ни закон, ни порядок, ни здравый разум не позволял Уголовной палате принимать извета на тех, кои его привели в суд; 2), что отрешить чиновников полиции без суда ни Уголовная палата, ни Губернское правление не имели права; 3), что краткость времени, в которое дело Бурылина переменило свое положение, есть явный признак беспорядка, ибо форма не могла вместить в неделю всего того производства, какое случилось по отбытии моем из города в два или три дни. Выведя сии главные и важные беспорядки, я заключал, что состояние Бурылина, его капиталы, имущество, частые приводы в разных губерниях делают его сильно подозрительным, что освобождение его после меня из тюрьмы, отрешение исправника и все оказанные без меня поступки Уголовной палаты ставят меня в необходимости обращать на самую на нее предосудительные сомнении и, наконец, просил министра доложить государю, чтоб послан был особый чиновник на место рассмотреть дело Бурылина и кончить его, ибо я с своей стороны не могу доверить сего тамошней Уголовной палате, которая явным образом означила здесь свое пристрастие.

Бумага моя пошла в портефёль к министру юстиции. Он не мог ее ни скрыть, ни бросить. Как по ней докладывал, того мне не известно, но,

призван будучи на другой день к своему министру, он спросил меня, на кого я могу возложить производство Бурылина дела в Владимире, ибо государь приказал ему назначить чиновника. «Пошлите, ваше сиятельство, — доложил я ему, — кого вам угодно, мне некого назвать, да если б и нашелся человек, всякий отнес бы выбор его к моему пристрастию. Пусть этот узел между мной и Уголовной палатой развяжет лицо совсем обеим нам стороннее: для вас это будет вернее, а для меня надежнее». С этим ответом послал меня князь Куракин к князю Лопухину. Тому я доложил то же. Сей последний говорил о делах самых важных, как о шашках. Лабет в бостоне его занимал более всего государства. Он назначил г. Посникова, статского советника, который знал коротко и людей, и Владимирскую губернию, потому что в последнее время жизни графа Воронцова, правя его канцелярией, жил в ней при нем до последней его минуты и потом посажен был за обер-прокурорский стол в Москве. Послано к нему повеление, и мы дойдем по порядку до продолжения этого Бурылинского романа. Тем временем Пожарский не дремал в Шуе. Он подал жалобу в Сенат, нашел источник благоутробия, и с выговором Губернскому правлению наслан из московских департаментов указ ввести его по-прежнему в должность и сотоварища его также. Таким образом, отклонила судьба замыслы моих недоброжелателей, и в Владимире опустили крылья.

Доколе хранит нас рука Божия, что прикоснется к нам? Князь Куракин доложил по всем бумагам Арсеньева государю в такую минуту, в которую сей готов был на все соглашаться. Лесные сплетни сошли в особый комитет для обревизования, где, уповательно, они пролежат до нового потопа, а мне 25-го числа августа наконец дана при рескрипте Аннинская лента. Боже мой! Сколько явилось участников в моей радости! И знакомые, и незнакомые — все приветствовали. Все на свете делает случай. Повезло, так и поздравляют, а стань фортуна задом, все задавят. Никто не знал точно, прав ли я, или виноват, но видели ленту и кланялись. Тогда князю Куракину сильно везло, и многим, в том числе Пшеничному, дана большая лента, а ему самому в 30-й день августа пожалована Владимирская первой степени, и все были его сиятельством довольны. Нельзя описать восхищения моих домашних. Тот надевал на меня ленту, другой прикалывал, третий нашивал звезду. Жена, дети и все хотели меня нарядить в нее скорее и казистее. Я внутренно благодарил Бога и радовался не ленте, но победе над злодеями моими, торжествовал оправдание моей невинности пред людьми и успокоивался от за-

бот, кои сопровождали и предшествовали сему знаку монаршего благоволения. Скоро разнеслась о том молва везде, достигла и до Владимира, где многие ногти грызли и не смели носу показать, чтоб никто не приметил, что они побледнели от яркого цвета моей прикрасы. Разумеется, что я всех благодарил униженно. Благодетелей и ходатаев явилось много, всякий приписывал себе какое-либо в пользу мою движение у двора или у министра. Много благодарил графа Салтыкова. Действительно, он несколько пошевелился для меня. Графиня искреннее приняла в радости нашей участие. Она меня любила чистым сердцем. Князь Куракин выслушал с нежным взором мои благодарении и обещал мне продолжение своих милостей. Но всех искреннее благодарил я Лубяновского. Он, точно он доставил мне эту ленту. Все почести мира — детские игрушки. Неоспоримая правда! Рассудок ими не дорожит, но честолюбие искать заставляет, потому что никто не хочет быть пренебрежен. Приятно их иметь по заслугам и без искания. Свет отучен от этого давно. Их дает случай, фортуна, предстательство сильных, а достоинства — никогда или очень, очень редко. По крайней мере, получая их из одной милости, не смея выставить права, приятно одолжену быть оной достойному ходатаю, пред которым благодарность не румянит лица красками стыда. И вот то отношение, в котором моя лента меня веселила. Я из нее не подличал, не раболепствовал, требовал ее как заслуги, ожидал с терпением и очень рад, что могу в достижении успеха быть обязан хорошему человеку, каким я разумел доныне Лубяновского, не имея никакой причины льстить ему. Однако среди восторгов, кои в семье моей сопровождали сие событие, я внутренно чувствовал непреодолимую боязнь. У всех есть какие-нибудь приметы. Опыты и мне дали несчастное суеверие: я привык видеть, что всякое политическое возвышение или преследуемо было, или вело за собой вскоре физическое зло. Давно ли после чина тайного советника, которого так упорно искал, лишился я Евгении? Глядя на Машу, которая начинала часто хворать, я невольно предчувствовал, что красная лента — предвестник новых черных дней для моего сердца.

Сколь мало приезд мой в Петербург давал мне надежд приятных, столь много, напротив, в последнее время моего там пребывания я нашел счастливых удач. Срок отпуска моего истекал 1 сентября. Я просил князя об отсрочке на месяц, и, несмотря на вышедший указ о наборе рекрут, мне позволено явиться к должности 1 октября. Дети мои, путешествующие уже из Геттингена на родину, также требовали отсрочки потому, что прежде нового года они не могли вступить ни в какую служ-

бу. Князь Куракин мне и это выходил без затруднения. Он любил, из тщеславия более, нежели от других побудительных причин, пользоваться благоволением монаршим, дабы вывеской сей в оказываемых по ходатайству его другим щедротах возвышать мнение народное о себе и славиться в отдаленных концах России. Простим всякому вельможе такое естественное славолюбие с условием только, чтоб от него не проистекало для человека ничего, кроме добра. По сей посылке князь Куракин, для возвышения ли Козодавлева, которого он хотел ввести в царские чертоги поближе к престолу, или для вящего утверждения в публике за истину, что Саратов заражен был чумою, чему начинали уже не верить, рассудил выпросить у государя награждения всем тем чиновникам, кои употреблены были по губерниям для предохранительных мер от заразы. Велено было и мне подать записку о своих. Я внутренно этому смеялся, но чтоб не отнять у трудившихся награды, я повез с собой в Владимир пять табакерок и одному из предводителей, который еще был в обер-офицерских чинах, доставил тогда же чин титулярного советника[25]. Во все губернии пошли табакерки. Дабы придать несколько весу своим, я просил Лубяновского, чтоб при них дали мне на имя каждого чиновника письмо от министра, иначе эти подарки равняли бы наших советников и асессоров с кастратами, которым тоже дают за хорошую арию. Князь на это согласился, и я с грамоткой от него вручил каждому милость монаршую. В столице этому хохотали, говоря, что государь для того приказал всех наградить за чуму табакерками, что как более всех прочих чувств при упражнениях их страдало обонянье, то бы могли они, нюхая табак из золотых коробочек, забывать беспокойства, которым нос их был подвержен.

Более всего сказанного обрадовал меня успех в следующем. Советник правления по старости лет просил отставки с полным жалованьем[26]. Это подвержено было затруднению, но силе министра оно не могло противиться. Соизволение его последовало, объявлен именной указ, и, вместе с отставкой того, помещен на его место в советники мой секретарь Шумилов[27], что мне доставило чувствительное удовольствие. Наконец этот хороший и преданный мне человек после многих поражений судьбы получил место, для него приличное, и вошел в ряд с сверстниками своими, давно его обходившими по прежней его службе. Указ о пенсионе прежнего и помещении Шумилова повез я с собою. Разумеется, что место секретаря заступил при мне Поспелов. Это по праву ему следовало, и я его давно к тому готовил. Он был со мною в Петербурге.

Нечаянно между хлопот познакомили меня с г. Языковым, который президентом был какого-то собрания словесности, покровительствуемого императором, и я удостоен был чести попасть в члены сего собрания. В одно утро, к удивлению моему, принес мне рассыльщик при письме от г. Языкова пренарядный диплом, который и ныне у меня хранится. Одному дал целковый рубль, другому заплатил учтивость письма визитом и с тех пор ни о собрании и ни о чем, что в нем делается, не слыхивал, видя только из календарей, в кои вносятся имена членов его, что оно еще не рушилось, и я умножаю собой не очень многолюдный список прихожан этого храма аполлонова.

Со дня пожалования мне ленты оставалось в течение сентября месяца до отъезда нашего кататься и искать веселостей. Осень была прекрасная. Ничто бы им не препятствовало, если б здоровье дочери моей было лучше и имел я от сыновей известие, но по всему видно было, что они возвращались в Россию не на север, а прямо на Москву. Итак, я, не дождавшись их здесь, располагался ехать в Владимир. Еще при мне воротился в Петербург г. Арсеньев и, увидя меня в ленте у князя Куракина поутру публично, побелел, как вор, не успевший схватить своей добычи. Князь принял его сухо и с улыбкой иронической. Тот смеялся также, чтоб показать вид веселый, но фурии грызли его утробу. Он не мог себя обольщать до того, чтоб не чувствовать, что он слишком далеко пустил против меня свои козни. Он сошелся со мною. Я ему кинул взгляд презрения, и Арсеньев отразился от меня, как сатана от креста. Бог мстил ему за меня, и кто сильнее злодею платит за зло?

Возвратился из Саратова Козодавлев в Александровской ленте и с полным торжеством. Все спело ему. Всякая строка его пера приносила успех его намерениям. Он готовился играть важную ролю в сословии гражданском. Я с ним неоднократно виделся. Приятно было ему без притворства видеть на мне ленту, тем более что кроме внимания его ко мне лично он много способствовал к получению оной своими о трудах моих представлениями в проезде через губернию, и я не мог почитать себя свободным от должной ему благодарности за искреннее участие в судьбе моей, да еще и в такое время, как самые черные тучи окружали дела мои почти со всех сторон. Если чумы и не было в Саратове, о чем я точно ничего сказать не могу, не быв на месте, а молва ничему не доказательство, по крайней мере, из этой фантазии много и для многих воспоследовало приятного с полезным.

Я хотел рекомендовать себя министерству в качестве писателя и на сей конец поднес князю Куракину неважный труд моего сочинения, по

которому мог он заметить, что я и досуги мои употребляю на полезное для службы. Я написал дома «Мемориал о Суждальском Спасо-Ефимьевом монастыре», привез эту тетрадь с собою и при почтительном письме вручил лично министру. Жаль, что на то время был им не Кочубей. Князь Алексей Борисович не охотник до словесности. Перо его не занимало. Лишь бы текли рекою исходящие, сие произведение умов пустых и напыщенных одним приказным витийством. Князь взял мою тетрадь, положил в карман, потом забыл ее, бросил, и нигде уже я не мог об ней ничего сведать. Чаятельно, ее изрезали на конопатку зимних рам в канцелярии. Туда ей и дорога. Рукопись эта найдется в моих прозаических сочинениях[28]. Я прошу тех, кому она попадется в руки, обратить внимание не на слог, а на предмет и сердечное расположение автора, и тогда, может быть, сей труд вознаградит меня хоть поздно признательностью прямого филантропа. При Кочубее сочинение мое не затерялось бы. Пусть он мне и тогда не выпросил ленты, но не презрел бы трудов моих. Столько раз я уже сказал и повторять не устану, что я в службе дорожил не почестьми, а поступками. У всякого свои обычаи. Князь Куракин делал пышные дела, но обходился худо. Я и в ленте шатался, как холоп в его прихожей. Одно другого не переменяло. Чем выше человек в свете политическом, тем уничижительнее толпиться с рабами в одной комнате. Но министр приводил на память старину, когда все или многое делалось через швейцаров, камердинеров и девок.

Пора было помышлять об отъезде. Истекал почти срок и отсрочке, но каждый день рождал новое желание дождаться последующего дня. Лето наполнено было приятностей и занимательных случаев. Политика хотя не входит в план моей биографии, однако скажу мимоходом, что сношении России с Францией становились завязчивы. Надлежало разорвать или войной снова, или смягчить переговорами узел, который затянул ее в наполеоновы сети. Решено быть свиданию между царями в Эрфурте[29]. Все приготовлении к тому занимали двор и народ. Догадки, суеты, предвещании, министерские ноты — все переходило из дома в дом, из уст в уста, и всякий в недоумении толковал об отъезде государя по-своему. Нам хотелось этого дня дождаться, и он еще при нас изволил выехать из Петербурга, сопровождаем благословением народным и молитвами церкви.

Мне не удалось принести благодарения государю за ленту и откланяться. В старину ленты жаловались императорским величеством новому кавалеру возложением знаков на рамена собственной его особой. Ныне

этот обряд переменил совершенно вид свой. Ленту приносил курьер министерский вместе с рескриптом, точно так, как всякий обыкновенный пакет. Князь Куракин, на доклад о представлении моем снова при отъезде, получил повеление объявить мне, что государь занят слишком много и не может уделить времени на свидание со мной, итак, чтоб я ехал в свое время к должности. Надлежало съездить откланяться в Гатчину к государыне вдовствующей, но и там отложена была аудиенция до 24-го или 26-го чисел сентября. Срок не позволял мне ожидать оной, и мы собрались в путь, отложив все церемонии к стороне. Я тем более обязан был поспешить в Владимир, что в ноябре открыться имел рекрутский набор. Указ о нем состоялся при мне. Его произвели страхи разрыва с Францией, и правительство готовилось к войне, непрестанно стараясь упрочить мир.

Прощаясь с Петербургом, скажем нечто о веселостях, кои по чрезвычайному случаю все вдруг встретились в тот год, чтоб очаровать тамошнее наше пребывание. На театре славная мамзель Жорж давала в первый раз «Федру», «Семирамису», «Танкреда»[30] и во всех лучших трагедиях своих соотечественников отличалась. Театр не вмещал зрителей, все в него стремилось. Никто не думал о плате, и тот считался скифом варварским, кто не рукоплескал и не восхищался талантами бесподобной сей француженки. Она кружила голову всем и, может быть, для этого прислана была из Парижа. Другая того же края птица, мадам Филлис, в операх свои производила восторги: пела, как ангел, выражала, как божество, все ею пленялось, и никто не мог наслушаться ее сладкого голоса. Дюпор, прыгун первый в Европе, когда появлялся в балете, то руки пухли от плесков в ладоши. Какая легкая нога! Какой полет орлиный! Он не танцовал, он, казалось, возносился к небесам. Каждый прыжок был трофей в этом искусстве, и глаза несмигаючи ловили его, как бабочку, на воздухе. Канатный плясун превосходнейший в свете, имя его я забыл, в то же время показывал свое проворство: по веревке он ходил в партер, в раек, всюду, нигде не теряя равновесия, не шатаясь, с отменною ловкостью рассекал ногами вокруг себя воздушную сферу и боялся не полу, как многие его братья, а потолка, чтоб не слишком высоко броситься[31]. Все это мы видели, везде были. А моды, наряды, лакомства! Увы! Сколько мы убили тогда занятых денег! Никогда, может быть, Петербург не вмещал столько роскоши в забавах, как в это лето, да мы же имели с собой молодых девочек, которые жадно хотели все видеть и всем насладиться, не помышляя о том, что небо в первый и последний раз

предлагало им в соблазнительнейшем виде картину прелестей суетной нашей жизни.

Несмотря на толь многочисленные забавы, которые приковывали к удовольствию и неге ум и сердце каждого, можно было, однако, приметить, что дух публики электризовался обстоятельствами политическими, начинали исподтишка ненавидеть французов и желать войны с Наполеоном. Все примечали налагаемое на нас иго железною его рукою. Никто не выносил его. Дух народный несколько раз оказался даже и среди увеселений. Например, в «Танкреде», когда он, выходя на театр, сказал: «à tous les coeurs bien ne's que la patric est chère» (о, сколь отечество сердцам великим мило!)[32], вся публика затопала ногами. Рукоплескании раздавались на улице. Шуму унять было нельзя с четверть часа, и игра актеров от него остановилась совсем. В другой раз Дюпор пошалил и не оказал должного уважения к требованиям публики. Все почти засвистали. В партере началась суматоха. Дамы выходили из лож в замешательстве. Полиция даже принуждена была унимать неустройство, и я сам слышал в сенях, дожидаясь кареты, как один молодой человек с запальчивостью упрекал другого, который извинял Дюпора из пристрастия к его искусству, что он изверг и не любит своего отечества, вступаясь за дерзновенного француза. Вот до чего доходил дух злобы против этого народа!

Между отличными празднествами в наше время упомянуть мне остается только о помолвке меньшого сына графа Николая Ивановича Салтыкова с дочерью князя Василия Васильевича Долгорукого[33]. Она отправлена была со всеми старинными обрядами, и мы на всех пирах были с женою приглашены. Графиня Наталья Владимировна в робе и всех своих знаках отличия напоминала век наших дедов и семейные пиршества пышных бояр. В Александров день по обыкновению огромный съезд был в Невском монастыре[34]. Государь и весь двор, приложась к мощам угодника[35] и отслушав у гроба его обедню, шествовал в архипастырский дом на завтрак. Амвросий кормил и поил в этот день до двухсот человек, и я, за обедом у него сидя, забывал, что я у монаха в келье. Не так живали златоусты!

Еще угодно было Богу, чтоб я пожил в Владимире. Сказавши из глубины души: «Господи, буди воля твоя», поехали мы сентября 20-го. Каждый из нас сделал свое дело. Дети сожалели о забавах, а я радовался, что не буду ни у кого торчать в передней. В Твери застало меня известие, что сыновья уже приехали в Москву, и это удвоило наше к ней стремление. 28-го числа приближались уже мы к Черной грязи[36], как

вдруг встретила нас коляска, скачущая во весь дух, и из нее бросились в объятии мои мои два сына со своим учителем. Кто изъяснит меру моего восхищения! Оно было выше витийства человеческого. Но ах! Сколько готовится яду в самых наших приятных чувствах! Какую мне в то же время десница Вышнего подносила горькую чашу! В то самое мгновение, когда все мы, вышедши из карет своих, на чистом поле в замешательстве душевной радости кидались обнимать друг друга, глаза мои ищут Маши. Она тут же, тут же с нами, но бледна, полумертва, и кровь горлом льет из нее фонтаном. Вестник ужасный судьбинного о ней приговора. Так! Конец Евгении скоро постигнет и дочь ее, дочь, достойнейшую в мире, живой образец беспримерной матери. Я не мог себя обманывать. Я видел, чего ожидать должен. Невинная Маша, проникнув душу мою, старалась еще, забывая себя, рассеять мое смущение и уверяла, что это пройдет. Радость ли свиданья с братьями, или порядок природы произвел вдруг в крови ее волнение, но в сию минуту чахотка первый открытый приступ сделала к своей жертве и мало ей давала отдохновения. Смерть скорыми шагами к ней приближалась. Через несколько минут стало ей лучше. Кровь остановилась. Она отдохнула и занялась беседою с братьями, которые, вошедши с нами в избу, рассказывали наперерыв один перед другим свои приключении в чужих землях. Мы слушали их со вниманием, но чувства мои крепко сжаты были и не могли дать места полному удовольствию. Пусть всякий, кто знает сердце человеческое, вообразит меня в этот момент, когда я после долгой разлуки с сыновьями бросился к ним на шею и с тем же стремлением покидал их, чтоб плакать над несчастной их сестрой. Где судьба берет свои язвы? Кто, кроме Вечного, силен после таких лютых часов возвращать луч надежды и прежнее спокойствие в сердце бедной твари? Есть минуты в жизни, которые превосходят все то, что мысль наша о бедствиях человеческих может вообразить и представить!

Между тем за двадцать шагов от нас Архаров, Баранов и шайка московских тунеядцев[37] величали отъезжающего от них в Питер обратно к месту своему знатного сибарита князя Лопухина, который на коште их в станционном дворце за огромным столом пресыщался прожорливым обедом. Кувертов тридцать его окружали. Тут жена его и он, предмет нарядных проводов московских, оглушались кликами подлых своих тварей, и шампанское лилось рекою. Пристойность требовала, чтоб и я зашел к нему на поклон. Мне было совсем не до того и от радости своей, и от печали, но мир требует душевных принуждений, и я за здоровье его свет-

лости выпил из общей чаши рюмку игривого вина. Князь сажал меня с собой обедать, но я семьи моей тогда не променял бы на пир самого монарха. Ушедши к себе в избу, я занялся приезжими. Пообедали просто, но дружелюбно, насилу дали нам лошадей, и поехали в столицу. Дорогой, сидя в одной коляске с учителем и сыновьями, расспрашивал их о всем том, что в путешествии их было для меня занимательным, и из повествований детских видел с удовольствием, что они с пользой употребили время и деньги. Они хорошо учились и порядочно были выучены многому. Сын Павел особенно, которому шел двадцать первый год, с рассудком здравым и основательным соединял полезные познании и казался кроткого нрава с открытым сердцем. Александр, моложе его пятью годами и от природы живее характером, обещал пылкого юношу, который требовал еще прилежного за собой присмотра. Венц, приобретя права на всю мою благодарность, усугубил услугу свою согласием остаться в нашем доме и взять на свои руки вместе с Алексашей до некоторого еще времени и пасынков моих обеих, оставленных тогда самим себе. Жена его, вывезенная из Касселя немочка, ничего не значила и, кроме ограниченного весьма ума, любила властвовать над ним и кстати, и некстати. Это много испортило нрав его, подействовало со временем на желчь и сделало его несносным к сожитию с людьми. Чего не производят в нас женщины? Они орудие наших бед и счастия. Хорошая, умная, достойная жена есть товарищ неоцененный, нравственное сокровище, мир семейства, душа земных отрад. Жена злая, напротив, и глупая есть самая лютейшая язва, какую наносит судьба сердцу человеческому. Оно сохнет, гниет и гибнет.

Мы прибыли в Москву 29 сентября. Матушка и сестра встречали меня с восторгами, поздравляли с лентою, но скоро вид дочери моей очернил лица их, и всякий в доме предвидел уже удар, который небо мне приготовляло. Маша с ужасной твердостью выносила свое положение и скрывала половину душевных страданий. Не время было торжествам семейным. Не мне в удел их назначила природа. Я думал о лекарях, о лекарствах, собирал консилии, все меня обманывали, давали пустые надежды. Оставя ее в Москве на руках Шлегеля, сбирался бежать из Москвы, как от черной тучи, но беды бегут сами за нами, ничто пути их не преграждает. Служба требовала меня у должности. Проведя смутно дни три дома, я расположил свое возвращение в губернию следующим образом. В октябре хотел объездить остававшиеся без осмотра города и прямо на них ехать с Покрова, а чтоб сыновья напрасно за мной не ката-

лись, оставлял я их в Москве с сестрами. Меньшие дети с доброй своей мамушкой, которая дождалась полного своего блаженства, свидевшись с Павлом, должны были с нами доехать до Покрова же и взять дорогу прямо на Володимир. Анна Михайловна оставалась с своею матерью. План в точности исполнился. Маше другая готовилась дорога. Она текла к небесам, в отечество матери своей. В последний раз пред отъездом взглянул я на нее в изнеможении сил. Она принимала на себя подобие совершенное Евгении. Улыбка ее меня сопровождала в путь, а у меня сердце обливалось кровью. Посидел я еще у ног ее на софе, встретил два-три взора, внутренно благословил и ушел из дома родительского, как из жилища бед и напастей. Я ни с кем не прощался и уехал без надежды в выздоровлении дочери моей. Мне слишком знакома была по тяжким опытам эта предшественница смерти молодых людей, которую зовут чахотка, чтоб питать себя каким-либо упованием. Чудеса одни возвращают жизнь, когда легкое теряется, но чудеса не для нас, беззаконных, в мире. Ни молитвы наши, ни жертвы не сильны переменить порядка естественного. Жена, сострадая мне каждую минуту, явила несомненное доказательство того, что, потеряв первую жену, подобную Евгении, можно еще найти в другой искреннейшего друга и целительное утешение в житейском огорчении.

Оставлял Москву, ни с кем не видавшись. Слышал, что второе издание сочинений моих появилось в публике[38], взял его с собой в дорогу, но долго не успел им заняться и пропускал мимо ушей все, что об нем ни говорили. Вот под каким мрачным созвездием я вступил в пределы Владимирской губернии и очутился в Покрове в первых числах октября, где и вошел тотчас в отправление должности, дав о том по обряду знать в Володимир г. вице-губернатору.

Картина обстоятельств в губернии между тем переменилась в мою пользу. Все, как водится, казались очень ради моему возвращению, и други, и недруги торжествовали. Самые поистине приверженнейшие люди выезжали в Покров и меня с распростертыми объятиями встречали, но были и такие лицемеры, кои, в Москву приехавши, меня прежде всех с милостью монаршею приветствовали. Вот что творит случай, одна лента. За три месяца перед тем те же люди вслух произносили разные обо мне хулы и не стыдились теперь тем же ртом превозносить меня. Скрылись все мелкие доносчики по своим норам. Епанчина уже не было и духу в губернии. Собрав без меня аттестат за подписом человек шестидесяти, в том числе и от людей, сказывающихся мне преданными, в том,

что он ничего не пьет, кроме воды, и прекрасного поведения человек, он уехал в Петербург и для меня с тех пор сгиб да пропал. Зная, какую дать цену настоящим приветствиям, я нимало ими не обольщался и, побыв сутки в Покрове, поехал отсюда прямо по городам. Приезд мой в конце октября в губернский город был значителен. Лесть со всеми своими очарованиями караулила слух мой ежеминутно и искала пропустить внутрь сердца сладчайший яд свой — дело обыкновенное! И мы дивимся царям! Не везде ли люди, почестьми украшенные, подвержены одной и той же участи? Там царя возносят богатые тунеядцы в богатых платьях, здесь начальнику рукоплещут подчиненные, и в самой последней деревне мужики на руках носят ненавистного своего старосту. То ли дело, подумал я, как *везет*.

Но в самом сем праздничном вступлении скрывался уже зародыш будущих моих бедствий по службе. Зависть не дремала, она действовала в полной мере. Вице-губернатор с той самой поры объявил себя непримиримым врагом моим и, основавшись на письмах каких-то площадных своих друзей, кои, подслушивая у дверей боярских, что говорится с вельможей, уведомляли его, будто бы я его злословил. Г. Дюнант, не умнее своих корреспондентов, рассудил до такой степени оказать свое негодование, что не явился ко мне с приезда, не посещал меня ни в будни, ни в праздники, встречал меня в одних присутственных местах, словом, прекратил со мною всякое знакомство, даже (что выходило уже из всякого порядка) не привез, а прислал ко мне с приказным все сданные мною ему при отъезде подлинные именные указы.

Сколько поведение такое ни было соблазнительно, я старался досаду мою утушить в самых первых ее движениях и принимал равнодушно дурачества г. вице-губернатора. Я не мог понять, что причиною было такому обращению. Не имея нужды лгать здесь, я поистине со всею откровенностию исповедую, что в Петербурге я нигде, ничего не выпустил предосудительного насчет Дюнанта, да и что бы я об нем сказал? Он мне совсем еще был незнаком. Увидевши его в первый раз незадолго пред моим отъездом, я его не мог ни хвалить, ни бранить, но участие его в деле Бурылина, означившееся так нагло по отъезде моем противу меня в пользу моих недоброхотов, и оборот крутой, который успел я дать этому делу, по-видимому зажгло его злобу против меня, и мы, совсем не быв знакомы, расстались.

Другой враг мой, которого осмелюсь я в отношении к себе назвать Иудою, советник Губернского правления Полубенский, возревновав к

новому своему товарищу, бывшему моему секретарю Шумилову, дал все парусы своему горделивому духу и непримиримым злодеем сделался мне с того же времени за то, что, выпрося Шумилову место, не привез ему ордена, которого он толь жадно желал, и сравнял его табакеркой со многими, по мнению его, низшими чиновниками. Вот два нажитые мной сею поездкою злодеи. Увидят после, сколько они успели наделать мне зла. Прочие, нюхая впервой отроду из привезенных мною табакерок свой полушный табак, хвастались ими и казались весьма довольны.

В Владимире нашел я и г. Посникова, который вступил в свое упражнение по Уголовной палате, занявши в ней временно место председателя по указу. Он рассматривал дело Бурылина, и по кратком времени было оно обыкновенным порядком внесено ко мне на ревизию. Мнение его состояло в том, чтоб Бурылина, как сильно подозреваемого преступника и в приводах неоднократно бывшего, сослать без наказания в ссылку, а прочих лиц, признавшихся и уличенных, наказать по закону. С мнением его согласился и я, хотя против него поданы были голоса, и от самого между другими уважительного Палаты члена по дарованиям его, г. Бенедиктова, однако дело большинством мнений восприяло предназначенный ему конец от Посникова и с моим заключением отправлено в Сенат. Я опять ворочусь со временем к Бурылину, теперь остановим эту повесть на том, что он по-прежнему заперт в тюрьму, а Посников, окончив поручение, возвратился к своему месту, простясь со мной дружески. И прокурор стал тише. Он виделся с мнимым своим дядюшкой князем Лопухиным в Москве. Сей, как думать можно, пожурил его за меня, и мой лифляндский шарлатан спрятался, как крот, в спальну возлюбленной своей тещи, где природа наслала на него в отмщение за меня сильные ревматизмы. Он во всю зиму не покидал постели, и ему самому приходило уже не до ябед. В таких-то обстоятельствах принялся я опять за свою должность и открыл в ноябре рекрутский набор, который произвести велено было не в уездах, а по-старому, в одном губернском городе. Черты его были в прочем те же, ничто не останавливало хода общих злоупотреблений. Менялись места наборов, иногда и чины, но операция нисколько не получала облегчения в своем производстве. Наружные обряды напишет всякий, силу же дать закону коренному и постановить право гражданское не многим дано от природы.

Пока я занимался набором, в Москве приготовлялся мне удар новый и поразительный. Дочь моя, изнуренная чахоткой, харкая кровью ежедневно, теряла все жизненные силы и, не дожив еще двадцати лет от ро-

ждения своего, уже готовилась к вечности. Известия, мною об ней получаемые и сопровождаемые всякую почту слабыми приписками ее руки, не позволяли мне ошибаться в ее положении. Венц с сыновьями, приехавши в Владимир из Москвы, не большие подавал мне надежды. Наконец ноября 20-го угодно было Богу прекратить цветущую ее молодость. Она скончалась самым христианским образом, с твердостью приняв и мужеством все таинства веры. Плачевное о сем известие дошло до меня 21-го ввечеру, в самый день рожденья моего старшего сына, которому исполнилось тогда двадцать один год. Нельзя было от меня его сокрыть. Весь дом принял вид смущенный, из каждого лица угадывал я мое поражение. Венц первый мне сказал об этом, и сколько я уже ни был приготовляем к тому обстоятельствами предшествовавшими, однако ж онемел и долго не мог придти в порядочное состояние, способное принять какое-либо врачевание или облегчение от руки человеческой. Все плакало около меня. Я один, вращая всюду пламенные взоры, в глубоком молчании укорял небеса и давал свободный ход сердечному ожесточению. Терять дитя свое ужасно! Во всяком возрасте его жаль. Я плакал, когда похоронял первого своего младенца, Михайлу, шестинедельного сущა, в 91-м году. Какие же чувства должны были колебать ныне душу мою, лишась дочери милой, достойной и в цвете лет. Но рок судил ей принять в себя семя болезни матери ее и гораздо ранее ее по летам, но скоро по ее смерти обратиться к ней и разделить обители вечные. Когда Богу так угодно было, да будет воля его. Сия заповедь христианская учит нас покоряться деснице, создавшей всяческая, но в первых движениях растроганных печалью чувств и сама вера лишается силы своей: она мертва, лежит как камень во глубине сердечной и не пошевелится. Кончив год сей, я коснусь вкратце свойств и жизни покойной дочери моей. Теперь совершим сие тяжкое повествование, сказав, что тело ее погребено близ гроба матери в Донском монастыре 23 ноября. Похоронял ее грузинский архиерей, старец семидесятилетний[39], и плакал над сей увядшей розой, которая, едва распустясь к лучам солнечным, уже скрывалась навеки в мрачную земли пещеру.

Заметим еще странный случай. Когда печаль приражается к нашему сердцу, она иногда сопровождаема бывает сторонними приключениями, кои удвоивают отчаянии скорбного духа и придают самому несчастию темнейшие еще тени. То же последовало и ныне в моем доме. Маша по возврате братьев из чужих краев хотела, и часто мне давала чувствовать, чтоб я подарил Павлу золотую табакерку. Я готовил ему и ей эту сюр-

призу к дню его рождения. Купил табакерку у Венца, привезенную им из Германии, и, дабы всю нежность родительских чувств истощить при сем подарке, я послал Павла из Владимира в Москву под предлогом тем, чтоб узнать о здоровье сестрином, а в настоящем смысле для того, чтоб он, доставя посылку сестре, в которой была табакерка, получил ее от Маши в самый день своего рождения. А дочери вложил в табакерку записочку, посредством которой изъявлял ей желание мое, чтоб она брату ее от себя подарила. С Павлом поехал и доктор мой Буркарт, дабы достовернее меня уведомить о Машеньке. И какой плачевный оборот! Какая бедственная Павлу встреча в день его рожденья! Сестра его уже не дышит. Тело ее на столе. Мрачная завеса смерти закрыла юные ее взоры, и печальные вопли над нею наполнили все храмины несчастного нашего дома. Какой убийственный подарок подносила судьба горестному брату, теряющему вдруг в сестре наилучшего своего друга. Он воротился ко мне дни через три. Печаль, страх, уныние, все привело этого молодого человека в сильное потрясение. Случай сей подействовал на его воображение. Склонен будучи по мне к меланхолии и получив первую еще пищу для нее, он предался мрачным ее впечатлениям до того, что занемог и сам. Ему пустили кровь и тем облегчили сердце, чрезмерно стесненное горестию. Я уже боялся и за него, но Бог сохранил, к отраде моей, сей первый залог горячности матери его ко мне. Как не обратиться, однако, с удивлением к уродственной противуположности, открывшейся в московском нашем доме. Мать моя в семьдесят с лишком лет погребала внуку в двадцать. Кажется, без дерзновения можно сказать, что подобные случаи выходят из самого закона естественного. Деду ли следует хоронить внучат, или отцу детей? Ясно, что природа имеет свои уставы, коих десница Господня не отменяет. Утверждаясь на сем мнении, я сказал в стихах моих, написанных долго спустя после того на кончину княжны Марьи, и коих, однако же, никто не читал, дабы философии моей не назвали неверием:

Какие соки нам дадут отец и мать,
Так будем долго жить, иль рано умирать[40].

Вот перед чем и ленту на меня надели! Предрассудок? Правда; но, основан будучи на событиях, обратился в постоянную мысль, что никакая милость политическая не должна доходить до меня без судьбинной какой-либо беды. Не лишился ли я жены после желаемого чина тайного советника скоро по получении его? Не потерял ли я дочь, надевши пред

кончиной ее незадолго красную ленту, над которой все в доме восхищались? О великий Боже! Избавь меня от подобных щедрот владык земных, если каждый знак оных отягощает на мне милующую твою десницу!

Могу ли умолчать, говоря о кончине дочери моей, сколько я при сем несчастном случае обязан был Шумилова жене, которая, сохраняя к моему дому старинную приязнь, еще в Пензе начавшуюся, не отреклась скоро по приезде моем из Питера в губернию отправиться по просьбе моей в Москву, дабы там, в доме нашем, видя каждый день Машу, уведомлять меня об ней, быть с нею безотлучно, подавать ей возможные отрады и облегчать тем скорбь моих домашних. Она до самой ее кончины была при ней неотступно, ходила за нею, давала лекарства. Скоро по смерти ее с расстроенным духом воротилась к нам. Свидание с нею умножило мою болезнь. Она мне рассказывала о каждой мысли, о каждом слове бедной моей дочери, изображала мне все ее положение, успехи быстрые болезни и даже самую минуту кончины, которой она была свидетелем. Какие тяжкие для сердца напоминании! Какая плачевная беседа! Как не упомянуть о сем в честь Настасьи Ивановны. Благородная женщина! Часто ли мы получаем от людей самого высшего состояния и наилучшего воспитания подобные услуги? Вот настоящий отпечаток дружбы, черта истинного благородства души. И мне ли прилично забыть о том когда-нибудь? О нет! Доколе жить буду, сохраню в памяти моей столь нежное снисхождение госпожи Шумиловой, и вместе с именем дочери моей отзываться будет в сердце имя почтенной Настасьи Ивановны. Да даст ей Бог, единый мздовоздаятель за несчастных, все то, что может улучшить жребий ее потомства в мире.

Узнав о потере моей, приехала навестить меня из деревни почтенная княгиня Куракина и прожила у нас с неделю. Никогда не пропустя случая показать нам свое внимание, она жаркое брала участие во всех наших обстоятельствах. Редкая женщина! Умела любить, умела и доказывать силу чувств своих. Для нее не было тягости ни в пути, ни в другом каком-либо беспокойстве, когда она знала, что может быть полезна. Если восторги позволительны даже и под старость, то в подобных токмо случаях, где добродетель самая бескорыстная является во всем своем сиянии пред людьми, чужда всякого высокомерия и пышности и столь же проста в изъяснениях своих, как сама любовь в обители нашего сердца, и потому простите мне мои восхищении. Я не могу без них говорить ни о каком хорошем поступке, а паче о таком, который носит с собой опыты искренней приязни.

Труды, с должностью моею сопряженные, препятствовали печали брать над рассудком моим всю ту силу, какую она получает в уединении или в праздном состоянии ума. Воображение тогда свободнее следует за потерянным предметом, ищет его, выпечатывает, так сказать, каждую черту милого человека и так с ним срастается тесно, что нет ни одной мысли, которая бы отдельно от любимого человека входила в голову, — все носит его изображение. Отсюда и печали наши тошнее, глубже, когда мы предаемся им в уединении и одиночестве совершенном. Служба разбивала мрачные мои идеи, и около набора много стеклось случаев, кои, удерживая источник слез моих, неумеренно проливаемых дома, возвращали иногда на лицо мое насмешливую улыбку.

В конце года производились в третий раз при мне выборы дворянские. Я привык смотреть на них, как на самую худую комедию, в которой даже и смешного меньше, нежели подлого. В настоящее время между молодыми людьми возникал какой-то дух сопротивления властям, который требовал бдительнейших моих попечений о том, чтоб пресечь ему путь к успехам и распространению. Ни одни выборы еще так шумно не происходили, во всех уездах делались заговоры. Подобно кулачным боям, везде стена на стену напирала. Губернский предводитель Извольский не умел привлечь к себе уважения общественного. Никто его не слушался, ниже сыновья, из которых один на увещании его, чтоб менее шумел в своей округе, ответствовал: «У меня отец есть дома, а в собрании дворянском я родительской власти не знаю. Я сам дворянин, и голос мой свободен». Сказав это, он, верно, сравнивал себя с римлянами. Словом, во всяком углу залы происходил шум. Тот вызывал на поединок за белый шар в пользу его соперника, другой выгонял из округи, привязываясь к доказательствам дворянства, инде выкрадывали шары, в другом месте побоями доказывали соседу, что он никуда не годится. Ни на что эти выборы не были похожи, и я принужден был для предупреждения дальнейших вздоров по целому дню сидеть в камере Губернского правления, куда прящиеся дворяне беспрестанно ходили ко мне с своими жалобами. Более всех прочих уездов шумели в Шуйском. Там жена моя имела деревню. От гордости ли, чтоб показать, что они на губернатора не смотрят, или от настояний председателя своего[41], который сердился на меня за то, что я ему не доставил креста, а только чин во время последнего трехлетия, от той или от другой причины, но дворяне, числом до пятнадцати человек собравшиеся, в досаду мне выкинули из исправников Пожарского и выбрали на место его настоящего буяна[42], которого я потому только утвер-

дил, что боялся навлечь на себя подозрение, что я взаимно из мщения за Пожарского отвергаю выбор благородного сословия.

Пожарский был мужик добрый и пожилой, но отменно вял и ленив; итак, я не сожалел нимало, что он вышел из исправников, а не могло быть мне приятно общее желание дворян шуйских сменить его, не потому, чтоб он не годился в эту должность, а дабы только сделать мне досаду. Какое-то действовало во многих честолюбие неразумное противустоять власти и всякими поступками раздражать ее. Не мог и не должен был я вступаться за деверя жены моей, это было бы неприлично, но мог ли я также молча пропустить выбор стариков лет семидесяти, кои насилу ноги таскали, в предводители, недужных дворян, кои по полугоду не вставали с лежанки своей и на выборы не явились? Обязан ли я был доверять места в службе изведанным пьяницам, людям приличенным и судящимся в озорничестве и многим тому подобным забиякам, кои носили дворянские кафтаны потому, что две-три души приписали за себя по сказкам? Я принужден был многих выбранных отвергнуть, требовать на их места других, я обязан был удержать достоинство моего права на утверждение чиновников. Дворяне рассердились, и, по наущению мелких умов, губернский предводитель Извольский, сдав место свое другому, послал жалобу к министру, в которой от лица всего дворянства просил, чтоб неутвержденные мною чиновники были, вопреки моим заключениям, допущены к должностям. Министр доложил государю. От меня требован ответ. Я написал в нем, что закон, дав мне право утверждать, вместе с тем уполномочивает и к отрицанию, иначе был бы начальник в страдательном положении, что не соглашается ни с каким соображением; что я каляк, хворых и стариков, на клюках движущихся, не могу принимать в штат служащих чиновников, ибо они во всем сделают остановку, которая отнесется на мою ответственность, и что, наконец, почитая подобный выбор людей неспособных за насмешку, я просил г. министра направить понятии дворянские к прямой и благородной цели. Снова министр доложил государю. Дело отдано к рассмотрению в первый департамент Сената, откуда оно, пролежавши там два года, сошло с тем, что сделан мне, в угождение противной партии, выговор, но никто из чиновников, мной назначенных, не сменен, а опороченные мною остались при своих поместьях.

Вот чем кончились наши распри. Если б выговор пришел ранее, он бы мне был очень неприятен, но из самого продолжения времени видел я, что хотели чем-нибудь это пустое дело кончить и потешить дворянст-

во, которое под громким своим наименованием выставлено было в жалобе Извольского, тогда как едва ли из трех- до четырехсот собравшихся мужей, по имени только благородных, десяток знал о посланной ябеде на меня. Так, обыкновенно, все дела текут общественные. Толпа изумленная кричит, а два-три человека действуют и заправляют всеми. Два года спустя я уже без всякого негодования получил указ Сената, прочел его, посмеялся и бросил в архив к вечному забвению. Подобной участи всегда ждут те повелении правительства, кои по интригам и проискам выпускаются.

Губернским предводителем избран на будущие три года полковник Танеев, дворянин шестидесятилетний, домосед деревенский, человек простой, но робкий, мнительный, нерешимый, которого столько же легко можно было с пути сбить, как и тяжело настроить на хорошее дело, особенно если предприятие требовало несколько силы в духе. С таким-то губернским предводителем имел я в виду три года трудов.

Сим происшествием кончился год, принесший мне два события разного рода: радость умеренную и сильную печаль, а все прочее прошло в беспокойных хлопотах и досадах. Похороним его в вечность, где тьма веков прошедших поглотит и его, как песчинку. Земля есть гроб человеков, вечность есть могила времен и лет живота нашего.

Скажем теперь слово (что я и обещал) о жизни и свойстве моей дочери, изобразим ее портрет нравственный. Княжна Марья Ивановна родилась в 1789 году февраля 18-го в Москве. Евгения во время беременности ею в первый раз плюнула раза три кровью горлом, и болезнь сия, с тех пор в ней открывшаяся, досталась наследственно носимому ею младенцу. Маша должна была зачахнуть. Так определила при рождении ее природа, и она устав ее исполнила, лишась на двадцатом году жизни. Ум ее был возделан самой матерью. Никогда не отходя от нее, она под ее глазами читала, писала, училась художествам, рукомеслам и наукам и к праздности не имела привычки. Нрав ее образован был Евгенией. Она влила в дочь свою все свои правила, научила ее думать, соображать, обращаться и чувствовать. Скромно сносила она скуку постоянных своих упражнений в такие лета, когда нет ничего тяжеле занятий. Гибкое свойство нрава представляло в воспитании ее много удобства матери. Покорна была воле родительской во всякое время, благосклонна к низшим и обходительна с равными. Она всем нравилась и слыла милым ребенком до самого зрелого возраста. Первые дни ее младенчества протекли в доме отца моего. Он ее любил без памяти и утешался ею беспрестанно. По кончине его Евгения вступила в обязанности свои как мать и не спус-

кала ее с глаз своих. Тетки ее беспрестанно тешили и даже баловали, но сие ее не испортило. По смерти жены моей видели, какое она имела влияние на меня, мои поступки и всю судьбу. Оставшись пятнадцати лет, она становилась опытнее и благоразумнее. Я в ней начинал находить друга, товарища, отраду в горестных минутах. Тяжелое время вдовства моего и властоначалия надо мною Ольги Абрамовны Веберовой она выносила с терпением и кротостью ангельскою. Жалеть можно было только о том, что по мягкости сердца и нрава, отдавшись без осторожности в обольстительное знакомство Анны Михайловны, Маша слишком много давала работы своим чувствам, острила сердечные побуждении, утончала чувствительные органы души и принимала к сердцу со вредом для нее много случаев обыкновенных, кои бы не заслуживали внимания, когда б не Богданова, по внушениям пылкого своего воображения, наводила на них самые яркие краски. В Петербурге Маша развернула все свои дарования. Имея полное наружное сходство с матерью своею, она напомнила ее черты у двора и в городе. Кто знал мать, узнавал и дочь. Она прекрасно писала по-французски, а говорила того лучше. Музыка и танцы привлекали на нее взоры многих, но слабое здоровье не допускало развитию всех природных способностей. На театре она наследовала талант своей матери, и она была бы, конечно, совершеннейший с нее слепок, если б судьба продолжила дни ее. Гордость ей была незнакома. Она не умела кичиться, но и низостей ни пред кем не терпела. Незлобие ее было неограниченно. Твердость духа оказала примерную. Ничто так уверить в этом не может, как перевод, который я здесь приложу, с одной страницы из журнала, ею писанного в Петербурге, когда она занемогла, из которого каждый увидит черты любомудрия истинного и редко встречающегося в таком нежном возрасте. Философски ожидала она смерти и не испугалась ее приближения, исповедалась, причастилась с величайшим смирением и спокойствием. Ничем душа ее не возмутилась. Чахотка изнурила все ее легкое. Она сгорела, так сказать, в два месяца трудной болезни и, не теряя памяти в настоящем, мгновенно перешла в будущее. Так скончалась дочь моя, о которой плакать я буду при всяком о ней напамятовании, потому наипаче, что я обязан по совести дать ей превосходство пред прочими моими детьми если не во всех, то во многих отношениях. Маша соединялась в вечной жизни с бесподобной своей матерью. Верю, что им там лучше нашего дольнего мира, но мне жаль их будет вечно, и доколе не совлечет с меня природа перстную свою ризу, дотоле памятники их орошать буду чувствительными слезами.

Вот извлечение из ее журнала, который, не быв кончен ею, не мог предложиться общему сведению всех желавших его прочесть. Но сего отрывка довольно будет, чтоб судить о качествах души ее и разума.

Оригинал

Je devine l'état où je suis. Voila le troisiume jour que je ne sors plus de la maison, et mon mal empire toujours. Je sens que ce sont les symptomes d'une phtisie prochaine; il est dans mon sort de ne pas eviter cette maladie. Peut-être pourrait on m'en sauver, sinon je me résigne. La mort ne me parait pas horrible; je suis loin de la désirer, mais il me semble pourtant que si Dieu ne me l'envoye pas, c'est par misericorde pour la faiblesse que j'ai d'etre attachée a la vie. La raison, le bon sens, m'apprennent qu'il vaut mieux mourir dans l'état où je suis, que si j'etais eponce et mére de famille. Actuellement mon trépas ferait des affligés, mais alors des malheureux, et puis s'il faut mourir il est doux pour moi de subir le même mal que ma mére. Écoute (je te le dis a toi) tout autre croyrait que c'est pour me donner des airs, mais je le sens parfaitement. Tont le monde admire les beautés de cet Univers, pour moi, de tout ce que je vois, rien ne m'étonne, rien ne m'enchante. Les objets les plus parfaits, les plus précieux sont au dessous de mon admiration. Pourquoi lorsque les autres sont extasiés, surpris, ne le suis-je pas aussi? Il semblerait qu'il y ait emcore quelque chose de plus parfait, de plus digne d'avoir ma parfaite admiration. Je ne puis donc être qu'au ciel, tandis que tout le monde est pour le terrestre. Mon coeur se porte toujours vers les régions plus élevées; mon âme plane dans une hemisphére qui m'est inconnue ce ne peut être qu'au Ciel. Ainsi cela cloit être bientôt mon asile, cela me fait croire qui je ne resterai pas longtemps sur la terre.

Перевод

Я отгадываю свое положение. Вот уже третий день, что я не выхожу из дому, а болезнь моя все усиливается. Чувствую, что это преддверие приближающейся чахотки. В судьбе моей не избежать ее. Может быть, и спасут меня от нее, но, буде

нет, я покоряюсь. Смерть меня не ужасает. Я далека, однако, от того, чтоб желать ее, и думаю, если Бог ее мне не пошлет, что это будет действие милосердия его ко мне, щадя любовь, с которой я привязана к жизни. Рассудок, здравый смысл говорят мне, что лучше умереть в настоящем моем состоянии, нежели сделавшись супругой и матерью семейства. Теперь я оставлю сетующих по себе, а тогда смерть моя произвела бы несчастных, да притом, поелику долг велит нам умирать, сладко для меня тою же болезнию отходить к вечности, какою и мать моя с миром рассталась. Слушай (я обращаюсь к тебе*), всякий другой почел бы следующее мое признание за игрушку ума светского, но я совершенно чувствую то, что хочу тебе исповедать. Все́ пленяются красотами света. Меня, напротив, ничто в них не дивит, ничто не восхищает. Самые совершеннейшие и драгоценные предметы ниже моего изумления. Отчего же, когда прочие в восторге, я не делю ни с кем оного? Кажется мне из этого, что есть еще что-либо другое, совершеннейшее и лучшее, что-либо достойнейшее восхитить душу мою. Конечно, одно небо! Между тем как всякий приковывается к земному, сердце мое парит к селениям высшим, душа моя обитает в неизвестной еще мне сфере пренебесной. Где же быть сему, как не в горнем мире? Следственно, небо должно быть вскоре мое жилище. Самые мысли сии заставляют меня думать и уверяться, что я не долго уже населять буду землю.

Копия с рескрипта, при котором я получил ленту.

Господину и проч.

Желая наградить усердную вашу службу и особенные труды, в управлении вверенной вам губерниею вами подъемлемые, пожаловал я вас кавалером ордена Святой Анны 1-го класса, коего знаки для возложения на вас при сем препровождаются.
В С.-Петербурге, августа 25-го дня 1808-го года.

Александр

Контрассигнировал кн. Алексей Куракин.

---

* Это относится к ее подруге[43]. [Примеч. И. М. Д.]

1809

В последних днях минувшего года прибыл в Владимир сенатор и Александровский кавалер Неплюев, которому по успокоении Астрахани, куда он был отряжен для прекращения чумы, именным указом велено было на возвратном пути заехать в Володимир и разобрать дело прокурорское с майором губернской роты. Важное поручение! Неплюев не был гений, пороху не выдумал, но при кротком свойстве нрава имел от лишней осторожности мнительный характер. Все приводило его в недоумение. С ним приехала и жена его, дама молодая еще и любезная. Оба они меня весьма обласкали, и г. сенатор, в залог приязни своей, подарил мне Аннинский старинный медальон, каких уже ныне не носили, но и сие значило много. Оправа была на нем серебряная. Сильное пожертвование для скупого. Он занялся делом о пощечине как бы самым важным государственным приключением. И как иначе, когда дан был на то именной указ. Все дело внесено к нему. Он с неделю рылся в бумагах, нашел нелепости господина прокурора во всем их свете и, желая сделать угодное князю Лопухину прекращением такой подлой ссоры и предосудительной для свойственника его, избрал к тому за лучшее средство миротворческое.

В самый первый день года назначено было мирить Бута с Бедрицким. Бут в ревматизме жестоком лежал тогда без рук и ног в доме своей тещи и не мог пошевелиться. Надобно было ехать к нему. Неплюев не хотел, чтоб при нем одном происходило это явление. Он пригласил с собой меня и губернского предводителя. Сколь ни отвратительно было для меня присутствовать при такой смешной комедии в настоящем расположении мыслей, однако надобно было ехать к барону Буту, и этим начался совершенно новый год в Володимире, потому что мы до обедни еще к нему явились. Он жил в верхнем этаже. Г. сенатор, губернатор и маршал, первые чины города, по стремянке дошли не без труда в покой больного и приблизились к его кровати. Изнеможенный прокурор, как после похода витязь, приподнялся и, сидя на перине, слушал приветствие Неплюева, которое сей в коротких словах произнес ему перед нами. Дело шло [к] мировой. Бут протянул руку Бедрицкому и попросил у него прощения, и Бедрицкий, как старый драбант[1], всемилостивейше простил его. Начал было и он приветствовать Бута своим манером, напомнив свою пощечину, но Неплюев прекратил его красноречие, выгнав его вон, и мы с губернским предводителем видели и ощутили, что может сенатор в таком затруднительном обстоятельстве задумать и совершить.

Поехали мы потом все к обедне в архиерейский дом, а за нами по улицам раздавался шепотом слух: мир, мир между прокурором и Бедрицким. О, какое важное приключение! Было зачем приезжать из Астрахани сенатору заслуженному. Не то же ли хотел сделать и сделал я в моем кабинете при начале их драки? Но это не так было действительно, как сенаторское примирение. «Вот какова моя пощечина, — твердил долго еще после того Бедрицкий, — сенатора прислали заставить Бута повиниться!» Но мало было от того барыша бедному майору, лишившемуся за сей поступок и пьянство места своего в губернской роте, если бы Неплюев из добродушия не выпросил ему за претерпенную обиду местечка форштмейстерского, в котором еловые рощи вознаградили его потери и заплатили собой проести и волокиты, принеся корни свои топору на жертву.

После обедни предложено было нам действие другого рода, но не менее забавное. Открывалась Удельная контора в губернии. Призван архиерей в большую холодную комнату. Окроплены стены святою водою, пропето многолетие императорскому дому, прочтен скороспелый какой-то журнал, которого никто не слушал и, думаю, никто не определял. Подписали новые члены, и в газетах после объявлено, что такая-то контора открыла свое заседание. Управляющий, г. Гревс, человек зажиточный и смышленый, особливо в делах, относящихся до управления хозяйством крестьян казенных, дал нам нарядный завтрак, и за благословением архипастыря все мы напились, наелись и разъехались по домам.

Вот как обновился год у нас, а в Петербурге свои происходили приключении, но несколько позамысловатее наших. Там угощали короля Прусского, который с своей супругой приезжал показаться на Неве[2], и двор наш пред ним расточил всю азиатскую роскошь. В первый раз еще в нынешнее царство приметили, что есть двор в Петербурге, по великолепию его и праздникам. Совершено обручение великой княжны Екатерины Павловны за принца Ольденбургского[3]. Вельможи иные росли, другие из списков исключались. Козодавлев определен был в товарищи министра внутренних дел, и князь Куракин принимал в объятии свои хитрого совместника. А граф Шереметев испускал дух на бархатном одре в богатых стенах[4]. Смерть не смотрит на наши сокровища, она жнет и в хижине, и в чертогах. Шереметев и по смерти хотел быть предметом удивления и молвы. Он велел себя схоронить в простом дубовом гробе без всякой пышности. Воля его исполнена, но на сей простой гроб более пялили все глаза, нежели на парчовые покрывала другого, которые наследники часто кроят в долг из одной суетности мирской. Шереметев

4 Зак. № 3975

рассыпал большие подаянии в монастыри и пустыни. Лучше было бы отдать родным своим то, что награбил дед его и отец[5], но святость в другом виде представлялась очам его. Добродетель истинная редко входит в каменную душу богача. Он примирялся с Богом окладами на иконы и куполами во храмах. Увидим, воспользуют ли ему сии пышные пожертвовании в последний день.

Задолго еще до кончины его открылось, что он тихонько был обвенчан с своей актрисой Парашей, что сие известно было двору и всему миру, но под печатью важной тайны, а потому и не разглашалось публично. Графиня до него еще скончалась чахоткой, не выезжая никуда из дому и не быв нигде принята под именем, на которое брак ее давал ей право. Но по смерти ее остался сын граф Дмитрий, всего имения признанный и законный наследник. Родные графские, в том числе и я был извещен в свое время вдруг о трех обстоятельствах: о смерти покойной, о браке ее и о рождении сына[6]. Шереметев, схоронивши ее, давал нам знать об этом и в малолетстве еще сына своего сам лег в Невском монастыре. Все просились в опекуны к дитяти. Число и даже имена их назначены были в духовной покойного, которая и исполнена. Данауров определен к воспитанию младенца, а императрица вдовствующая, по желанию отца, приняла на себя управление опеки, составленной из семи первостатейных чинов государства, хотя не все из самых достойнейших людей. Сие доказывается выбором Ананьевского, которого публичная молва огласила мздоимцем, выкинут был из сенаторов, дойдя до степени сего, нигде не служа, кроме Сената, из последних его приказных. Сам Шереметев именовал его в своей духовной. Чему дивиться? Рыбак рыбака далеко в плесе видит. Граф Николай Петрович любил также присвоить чужое. Упадок нашего дома явным тому служит доказательством. История моя о сем упоминала уже в разных временах моей жизни. Между статьями его духовной отнести можно к чести его ту, что, связан будучи дружбой с Похвисневым, дядею родным по матери Анне Михайловне Богдановой, он отказал ей десять тысяч рублей единовременно, которые опека ей и отдала. Сим подарком Шереметева обязана была она любви помянутого своего дяди, который их выпросил у графа.

Поместя здесь несколько событий, не в одно время последовавших, я должен напомнить, что, следуя принятому мной намерению писать собственную мою Историю, я не ищу исторической точности в тех случаях, кои не касаются до меня прямо или слегка, а описываю их по мере того, как собственные мои обстоятельства приводят мне их на мысль или по

существу материи текут из пера моего кстати, а определение времени наблюдаю токмо в уважительных эпохах, непосредственно с моею участью связанных.

По отъезде Неплюева и по совершенном прекращении тяжбы между Бедрицким и Бутом в судебных местах занялся я разбором всех моих бумаг, между коими нашел многие письма, бабушкой писанные к отцу моему, переписку с ним же дяди моего родного барона Строганова и довольное число сбереженных писем моих к нему. Все их прочтя со вниманием и чувством, я оставил для сохранения и на вековечную память несколько писем бабушкиных, в коих наиболее изливалась душа в беседе с сыном своим, а прочие, также и переписку дяди моего всю, попалил в камине вместе с моими письмами, в коих видел я черты старой моей пылкости и ветреничества. Сожигая таким образом все лишнее, я не пощадил и всех своих бумаг пензенских под названием «Статского журнала». Ни слог их, ни самые идеи меня уже не пленяли. Он мне казался очень недостаточен и служить мог только доказательством огненного моего воображения во всяком возрасте. Вот как меняются наши мысли и чувства во времена нашей жизни. Тогда каждая строка казалась мне превосходною. Ничто так не лукаво, как собственное наше одобрение. Кто знает, может быть, и сии самые толстые тетради, которые так прилежно меня занимают, и они, может быть, со временем изотрутся и попадут в камин, который тогда много пожрал писанной бумаги.

В то же время много других рукописей не только сохранил, но даже и привел в порядок. В течение всего года я в досуги свои исправлял «Записки шведского похода» и, обработав их, составя полную книгу, спрятал[7]. Пусть прочтут их после меня, и если можно будет, пусть тогда и напечатают. Доволен будучи этим произведением моего пера в прозе, я оставляю его детям как рукопись, не совсем для них бесполезную. В наши дни напечатать их было бы трудно, потому что многие действующие лица в том походе еще живы, а как я не мог всем приносить похвал одних, то они бы на меня кинулись, как львы, и растерзали без пощады.

У меня хранились записки покойной бабушки моей, схимонахини Нектарии, писанные ее рукой и доставшиеся мне по кончине батюшкиной. В них несчастная вдова первого любимца Петра II описывала странствие свое до Сибири, где назначена была для нее с семейством строгая ссылка. Журнал сей ею не кончен, о чем довольно нельзя натужиться, тем более что никакое перо не подойдет под ту краску нежную, чувствительную, которую давала она своим описаниям без всякого искусства, по

внушениям одной природы и вдохновению прямо небесному. Сенатор Лопухин, быв в Володимире и слышавши о сих записках, неотступно требовал их у меня. Я долго не решался выдать их, ибо знал, что сия великая жена не для суетной славы занималась им[и], но хотела только сыну своему передать сведении о бедствиях его рода. Лопухин, однако, настоял, и я журнал бабушкин, ничего в нем не портя новомодным слогом, списал и отослал к нему, как он у меня нашелся. Лопухин отдал его в печать, был издателем сих листов и ознакомил с сею потаенною рукописью всю московскую публику. Она вообще приняла ее с удовольствием, все читали ее с жадностью; и духовные, и ученые пленялись чувствами и изъяснением их в этом журнале, все жалели, что он не продолжался и слишком короток. Г. Невзоров издал его в периодическом сочинении, называющемся «Друг юношества»[8], а секретарь мой потрудился переписать белый экземпляр, который пошел в дело. Оригинал у меня и со мной не расстается. Если сим поступком раздражил я твое смирение, праведная жена, прости мне его, как человеку, соблазнившемуся суетой мира. Твой внук, печатая твои строки, потоками слез омытые тобой при жизни твоей пустынной, твой внук искал имя твое прославить в человеках и дать потомству пример великодушия в напасти.

Собравши также все мелкие мои сочинения в стихах, в коих упражнялся во время моего вдовства, я составил из них одну общую книжку и под названием «Сумерки моей жизни» выдал в печать. Они посвящены были Евгении с особым к ней предисловием. Книжки вышли в конце настоящего года в свет и нашли своих охотников, а гимназия владимирская — некоторую выгоду, ибо печатались они сходно моему известному уже предположению в ее пользу под распоряжением Университета. Все сии занятии наполняли свободные часы мои через целый год. Они много услаждали моих забот и неприятностей. Я все забывал тяжкое, когда разыгрывалось мое воображение в воспоминаниях молодости. В печать выходило не все вдруг, но по временам. Нынешний год я могу назначить годом их рождения, и, чтоб в одном месте переговорить о всех, я упоминаю о них при самом его начале. Обратимся к происшествиям. Какой год, месяц, неделя или сутки не имеют собственно своих? Кстати скажу из «Сумерок» моих следующий стих:

Посмотришь на себя, посмотришь на людей:
То скука, то печаль — нет дня без приключенья,
Минуты без досад, часа без огорченья;
И вся-то наша жизнь не стоит двух грошей[9].

С новым огорчением увидел я Анну Михайловну у себя в доме. Она опять приехала к нам на житье, и брат ее, проводя до Владимира, скоро умчался опять на Кавказ по особенному пристрастью к тамошнему краю и к распашной жизни. Она, часто рассуждая со мной об Маше, заводила мысли мои в черную сторону и отвлекала воображение от всего приятного. Правду сказать, мало было веселого для нас и в наступившем годе. Не успела сколько-нибудь зажить одна рана сердечная, как вдруг приготовляться надобно было к новой. Алена, падчерица моя, любимейшее дитя своей матери, в которой она все видела совершенства, все вмещала чувства душевные, захотела побывать в Москве на свадьбе у двоюродной сестры своей, такой же молоденькой девушки, как и она. Свояченица моя Караваева выдавала дочь свою Марью Дмитриевну за Хметевского. Туда отправлялись свояченица же моя Владыкина и шурина Григорья жена. С ними княгиня отпустила Алену на самое короткое время, но кто знает, в какую минуту рок ищет нашего сердца? Алена, погостивши на свадьбе, простудилась нечаянно и в московском нашем доме похворала. Миновалась простуда, и она воротилась к нам, но легко было заметить, что грудь ее захвачена и что без врачевства ей обойтись невозможно. Лекаря советовали лечиться. Как ни старались жене моей об этом возвестить без ужаса я и ее сестры, почувствовала она, что висит над нею тот же меч, который недавно срезал меня. Ничто не может сравниться с первыми движениями, кои овладели женою при самой легкой мысли о предстоящей надобности лечить Алену. Уже она воображала ее отчаянну, безнадежну, на краю гроба. Боже мой! Какие горькие вытерпел я минуты, глядя на бедную жену мою. Но Алена еще не была больна. Она немножко кашляла, и натура располагала ее потихоньку к чахотке. В Великий пост сделалась ей pleurésie*, которая, хотя и прошла, но решительное положила начало грудным припадкам. Вообразите розу, которая чуть распустилась и блекнет очевидно. Ее взял на свои руки старый их лекарь и друг всего семейства Безобразовых Шених. Он с успехом освободил ее от pleurésie, но не таил от меня, что за ней нужен постоянный присмотр искусного врача. Сам он не мог при ней остаться, итак, Буркарт давал ей иногда лекарства, но их она по большей части не принимала, разве из крайнего иногда принужденья. Ничего нет обманчивее чахотки. Среди самых сильных ее припадков выходят такие счастливые дни, что больной способен вкушать все приятности жизни. Итак, Алена не все

---

* плеврит (фр.).

лежала, не все сидела дома, а временем сопровождала нас в собрании. Особенно летом она казалась даже и здоровою, но благосостояние сие никого не обманывало, кроме бедной матери ее, которая предавалась очень часто всем сердцем надежде ее выздоровления. Схватит ли Аленочку — и жена моя лежит да воет. Лучше ли ей — и мать улыбнется. Пусть представят, каково было мне! Я с жаром любил жену свою и, видя безмерную страсть ее к дочери, страдал, заранее представляя, чего будет стоить ей такая потеря, если Бог приблизит ее последний день. В таком-то смутном виде появилась наша весна ныне и протекло все лето между страхом очень верным и надеждой весьма сомнительной.

Пора было сыну моему старшему приниматься за настоящую службу. Я его собрал и отправил 13 марта в Петербург с разными письмами от себя ко многим, которые все пишут в таких случаях, и никто их не читает. Приехавши туда, он явился к нашему министру, был хорошо принят и причислен к его штату. Вот первый из моих детей, который пустился в свет и получил от меня благословение жить по своим собственным соображениям в полной свободе поступать, как хотел. Все наставлении ему были от меня внушены, воспитание ученое было кончено, оставалось ему уже в двадцать один год возраста самому о себе пещись и искать себе дороги. По возможности и силам моим средства жить в таком дорогом городе были ему даны. Не широки они были, конечно, но я не мог все то для детей моих сделать, что б я хотел. В его лета я уже был женат, жил домом в Петербурге и учился переносить нужду. Бог сирых никогда не оставляет. Он всю вселенную кормит, ужли для нас одних хлеба не станет? Мамушка в последний раз целовала Павла как детище. Он становился молодец и краснел от ее ласки. Я с ним простился и пожелал ему во всем успехов. Не все жить под крышей родительской. Человек призван к бесконечному странствию.

Умер пред самою весною деверь жены моей Пожарский, тот, посредством которого силились многие нанести нам чувствительные оскорблении. Болезнь его была непродолжительна, смерть постигла скорая. Он был сыр и вял по природе, а душевно расположен к доброхотству. Жена о нем жалела, и я вместе с нею. Алена приняла эту печаль чувствительнее всех. Она была к нему привязана, и слезы ее не очень помогали укреплению сил, о котором лекаря старались.

Поговоря довольно о домашнем, взглянем на дело службы. Получен был именной указ через Сенат из Государственного совета о деле Маторина, которое усилило противу меня злобу московских департаментов,

ибо по сему обстоятельству я одолел в распре моей бумажной общее их собрание. Сенаторы давно, я думаю, про это и забыли, но канцелярия сенатская, которая такие хорошие и острые ножи точит противу всех, не покоряющихся ей, никогда не забудет, что я отважился смешной приговор ее довести до Совета. Дело состояло в следующем.

При генерал-губернаторе Заборовском бедный мещанин Маторин имел в лучшей части города крепостное самое маленькое место, на котором никакого строения по назначенным планам вытянуть было нельзя. Он не в состоянии был прикупить к нему излишки, чтоб составить порядочную усадьбу. Зажиточный купец, с коим он был в соседстве, пожелал построить каменный дом в два этажа. Тогда пеклись столько же об украшении городов, сколько ныне мало о том думают. Заборовский как начальник радовался, что может лучшее место в городе застроить, и вступил в переговоры с Маториным, давал ему вдвое против того в другом месте, торговал, выменивал, — никакое средство не помогло. Мещанин земли своей не отдавал. Генерал-губернатор, видя в поступках его одно упрямство, дозволил купцу построиться, и тот поставил большой каменный дом по плану. Который начальник не имеет своих злодеев? И у Заборовского были недоброхоты, кои наткнули Маторина. Бедняк пожаловался Сенату, и началось дело. Тянулось оно долго, и Маторин после переноса из Гражданской палаты на апелляцию умер. Вдова его упорнее еще увязалась за лоскуток земли своей и домогалась всячески, чтоб купец потерял в пользу ее все свое строение. В департаменте вышли голоса, и дело вступило в общее собрание, где оно решено тем, что велено дом купца снести, землю, очистив, отдать Маториной, а генерал-губернатору, давшему на сие дозволение, платить купцу убытки его, начав с ним в оных суд по форме. Но все сие велено было сделать тогда, как Маторина не приступит ни к какому примирению с своим соперником. Натурально, что этого и ожидать было нельзя, ибо ей хотелось разорить купца сломкой дома или получением таких от него барышей за свои проести и волокиты, коих бы не стоило и все строение.

Долго Гражданская палата занималась приближением спорящихся сторон. Неудача заставила ее прибегнуть к исполнительной власти и требовать исполнения сенатского указа. Тут начинались мои собственные действии. Приняв указ в буквальном его смысле и видя, что *снести* каменного дома никак нельзя, что деревянное строение сносится, а каменное ломается, что в сем последнем случае не имел я ни людей кем, ни денег чем дом каменный срыть и очистить под ним усадьбу, решился пред-

ставить графу Кочубею о сем обстоятельстве. Пошли к нему жалобы и от Заборовского, и от хозяина дома. Министр, против обыкновения своего, умедлил ответом. Я, по настоянию уже Заборовского, в другой раз о том же представил, и донесение мое попало в руки князю Куракину при вступлении его в должность. Князь Алексей Борисович, бывши сам генерал-губернатором в Малороссии и ощутив опытами своими, как обходятся секретари Сената с начальниками губерний, явился ко двору с крайним негодованием на Сенат и готовностью при первом удобном случае выставить наружу все его нелепости. Чего ему было лучше дожидаться моей бумаги, в которой я живыми красками изобразил физическую невозможность исполнить определение московского Правительствующего Сената. Министр мой рапорт тотчас поднес государю и исходатайствовал указ о рассмотрении дела сего вновь в совете. Там оно производилось долго и наконец решено в совершенную пользу купца и бывшего генерал-губернатора. Уважено мое мнение, определение Сената уничтожено, и Маториной вдове велено дать такую же землю, какую она потеряла, в другом выгодном месте, а дом оставить без прикосновения и генерал-губернатора от всяких хлопот освободить. Торжество сие, потешившее на минуту мое безумное самолюбие, сугубо раздражило моих злодеев и приготовило мне в последствии времени чувствительные неприятности.

В Великий пост, который везде, особенно в губернских городах, так длинен и тяжел, довелось мне укоротить его и сделать два путешествия в Муромский и Шуйский уезды, которых причина была очень занимательна. Неплюев, брат родной того, который был здесь, имел значущее имение в Муромском уезде. Обремененное долгами поместье его было уже давно в описи и под управлением опеки, которая не могла брать с души более пяти рублей по установлению и отсылала доходы на уплату долга в Опекунский С.-Петербургский совет. Помещик умер бездетен, и село это, Зяблицкий Погост именуемое, дошло по законам к двоюродным братьям его Нарышкиным, потому что имение было материнское. Александр Львович Нарышкин, по разделу с Дмитрием Львовичем, братом своим родным, получа в полную свою власть означенное Муромское имение и будучи крайне расстроен, как скоро успел освободить оное от казенных притязаний, наложил несоразмерный с силами крестьян оброк, стал по расчету требовать вдруг многих недоимок за протекшие годы и поселян против себя ожесточил до того, что они стали потихоньку роптать, а потом несколько и волноваться.

Мужики утверждались на том, что они казенные, и не хотят повиноваться помещику. Сколько им ни внушали, что пять рублей с них сбор был производим только потому, что они были в опеке, что с окончанием оной входят они в законную власть по смерти своего помещика Неплюева к наследнику его Нарышкину, который в полном праве брать с них доход, какой рассудит, отнюдь не обязан будучи держаться казенного оклада, крестьяне или не верили сему, или, кои были посмышленее, притворялись, будто не понимают, дабы в ожидании последствий не платить ни барину, ни в казну ничего. Приказчик г. Нарышкина, с своей стороны, теснил поселян изо всей мочи и в угодность барину доставлял сколько мог доходу, а тот, живучи в Петербурге, давал большие праздники в долг, шутил у двора, обманывал кредиторов и не имел ни о каком деревенском хозяйстве понятия, а только требовал оброков, кои проходили сквозь пальцы его, как вода сквозь сито.

Дело это для меня имело виды самые важные и требовало в производстве своем большой осторожности. В тогдашнее время преуспевал дух свободы, рабство помещичьих крестьян казалось ужасным государю. Впечатлении совести его на сей счет противились издавна всем феодальным принятым правилам. Везде, где помещик искал одолеть своих крестьян, правительство в угодность трону запутывало дело, дабы продлить его, потому что редко можно было, не подвергаясь гневу монаршему или подозрению, стоять за владельца против мужика. Во всяком другом случае сама справедливость требовала бы от меня донесения в том точно духе, какой тогда действовал у двора, потому что в самом деле имение Неплюева было очень изнурено и попало в руки к помещику, не питающему никакого чувства сожаления к своим разоренным челядинцам. Но здесь сии соображении не могли иметь места. Нарышкин нравился государю. Невестка его родная важную ролю играла у двора[10]. Огорчить или сделать досаду родственнику столь близкому Марьи Антоновны — обратилось бы в непростительное преступление. Надлежало соединять уважении к высоким связям помещика с строгою справедливостию по делу, а дело ставило меня в обязанности выставить Нарышкина как деспота в своем владении.

Робкий и внутренний мятеж происходил по избам несколько месяцев, но ничего еще не производил важного. Я марал много бумаги, посылал частые донесении к министру, предупреждал его, просил разрешения и не получал никакого порядочного. Ответственность в благосостоянии вотчины вся лежала на мне, но когда дошли обстоятельства до того, что

не стали мужики слушаться земского суда, связали одного заседателя дворянского и выгнали из деревни весь его поезд, попотчевавши сперва дубинками, я увидел себя принужденным решительно писать, что без солдат привесть крестьян в послушание нельзя, и просил о присылке их. Между тем приказчик Нарышкина, вытесненный из вотчины и угрожаемый смертию, писал также к помещику. Проснулся Нарышкин, увидел, что шутка нехороша, принялся всей своей силой за дело и побудил министра доложить государю. Доклад сей произвел самые строгие меры. Велено нарядить ко мне две роты с патронами, а мне распоряжать ими с полною властию в средствах, какие мне к усмирению крестьян представятся. Разумеется, что я мог бы и стрелять по них. Какое сильное и резкое вспомоществование! За месяц пред тем бросали мои рапорты без всякого к ним внимания, а тут вдруг уже и людей бить до смерти позволяли. Везде вижу одну крайность отчаянную, всегда происходящую от усыпительного небрежения. Или шутят, или пугают — вот в двух словах изъяснение нашего образа правления. Ничто не делается в свое время и как должно.

О наряде команды дано было повеление московскому военному губернатору господину Тутолмину, который, по сношении со мной, назначил две роты из московского гарнизона, дал им присланный от меня маршрут и свою инструкцию, в которой приказал непосредственно зависеть от меня и исполнять мои все требовании. Хотя не сказано было в предписаниях министра на мое имя, чтоб я сам туда ехал, но по важности случая и дабы не произошло чего-либо насильственного с той или другой стороны я решился отправиться лично в вотчину Нарышкина и при себе усмирить волнение поселян. Мне хотелось больше произвести шумом, нежели настоящими наказаниями, еще менее готов я был доходить до огня, но в случае необходимом располагался и к тому. Сперва я дал знать вотчине, что велено послать команду, потом — что она идет, наконец, уведомил, что я сам с ней прибуду. По мере, как доходило до деревни сие известие, мужики начинали приходить в себя и восчувствовали, что буйство их не принесет им никакой пользы, но все еще суетились и никого не хотели слушаться, думая, как иные их из своей братьи уверяли, что их токмо стращают. Узнав о таком их заблуждении, я собрался и сам поехал. Воинская команда в одно время со мной должна была придти туда же и по квартирам расположиться.

И стал я Брамарбас[11]. Всякое утро и вечер близ меня били зорю, ежедневно ходил я к разводу. Господа военные делали свои штуки, а я

любовался на них, как на комедию. Прожил я в деревне с неделю. Приезд мой подействовал сильно на крестьян. Я собрал старшин и говорил с ними о суетности их возмущения, преклонял их к покорности своему помещику, сулил всякое его снисхождение, обещал монаршее прощение и день от дня примечал успехи моих трудов на месте. До двух тысяч душ ежедневно толпились около моей квартиры. Я уделял для них по несколько часов, выслушивал их жалобы, входил во все их нужды и видел очень ясно, что побудительною причиною к волнению было не что иное, как поступки приказчика, который брал с них все, что мог, из тщеславного желания сильными пособиями денежными угождать своему господину, который иногда дарил его за то фарафорками с эмалью и давал ему волю коверкать селение по своему произволу. Увещании неотступные и холоднокровные одни возбудили в крестьянах чувство рассудка. Они перестали бунтовать и поклялись в приказной избе слушаться законных своих властей без сопротивления. Давши мне в том слово, они льстились, что команда тотчас от них выдет, но я, не смея на сие положиться, приказал ротам остаться и после моего отъезда тут и ждать предписания, а им объявил, что я ни минуты держать у них солдат не стану, как скоро из поступков их удостоверюсь, что они чистосердечно раскаялись и исправляются. Мужик ничего так не боится, как солдата. Ему не столько страшен его штык и сабля, как хищность. Стоя постоем, солдат все тащит у мужика из сусека, из анбара и со стола. У хозяина нет ничего своего, пока тут солдат живет. Вот что наших поселян весьма беспокоит. И странное дело! Рекрут, вчера взятый в службу, уже назавтра обходится с своим братом мужиком, как с злодеем, и все у него готов отнять. В естестве нашего народа есть какое-то предубеждение, которое заставляет его думать, что он не молодец, если не прибил, не отнял, не ограбил кого бы то ни было. О! Если б он иначе рассуждал, стал ли бы он так охотно драться, сам не знает, за что, и Бог ведает, с кем, но ему все равно, свой ли, чужой — лишь бы драться. Николев совершенную аксиому выпустил в своих сочинениях, сказав где-то:

Дело в приказе — вот и причина[12].

Приведя в селении все в порядок и устройство, я поехал домой. Команда осталась тут на короткое время, чтоб надсматривать над их движениями, когда они меня выпроводят. По возвращении я послал рапорт обстоятельный к министру и просил его доложить государю о мерах, принятых мною в сем случае, и о средствах, кои я нужными

считаю сохранить и впредь для тишины и спокойства жителей в помянутом имении.

Я полагал нужным: 1) сменить приказчика и дать им другого; 2) согласить помещика отступиться от прежней недоимки, которой насчитывали тысяч до десяти, и простить им оную; 3) брать оброку с крестьян вперед не более десяти рублей с души, отменяя всякую другую самопроизвольную и ничем не определенную повинность, которая более еще всякого денежного сбора удручает поселянина. Оброк дело известное, он к нему готовится, а каприз не имеет ни времени, ни меры. На сем основал я мое донесение. Оно было благосклонно принято министром и совершенно исполнено во всех его частях. Таким образом кончилось обстоятельство, казавшееся вначале с самой грозной стороны, но впоследствии самое легкое. Некоторые зачинщики волнения, а паче те, кои ругались земскою полициею, были тотчас схвачены, преданы суду, без потери времени осуждены и в страх прочим сосланы на поселение, что много придало силы и мне в моих распоряжениях. Никому в Сибирь ехать не хочется.

За все мои при том труды г. министр ниже приветствием меня не потешил, а чиновникам, подо мной действовавшим, даже и благоволения не объявлено. Успех столько принят был сухо, сколько жарко ухватились сначала за подвиг. Одному только священнику, который для убеждения крестьян со мною туда ездил и несколько сказал проповедей, дали по представлению моему скуфью[13], которой он точно одолжен был этому происшествию, а без оного ничто бы ему по личным его дарованиям, весьма мелким, его не доставило.

Поелику имение г. Нарышкина лежало на самой почти границе Владимирской губернии с Нижегородской, то по приглашению моему прибыли туда родственники мои по первой жене, Смирнов и зять его Зеленецкий, которые принесли мне много удовольствия, и я длинные еще вечера в это время проводил в беседе их весьма приятно, а господа офицеры сходились ко мне играть в карты и выкурить трубочку. Народ, под окошком стоя, смотрел на меня, как на чудо. Я жил прямо публично в этом Погосте и нечувствительно убил в хлопотах недели две Великого поста.

Подобное же упражнение ожидало меня в Шуйском уезде. Богатый дворянин, отставной коллежский асессор г. Кашинцев, купил незадолго пред сим с публичного торгу в Губернском правлении имение, проданное за долги, по смерти гофмаршала Казинского бывшее в опеке. Того же помещика другое имение в Тверской губернии было куплено в удельное ведомство казною. Корона тогда охотно скупала дворянские имении. Ка-

шинцева крестьяне захотели также принадлежать казне, но поздно просили министра графа Кочубея о том, ибо в Твери имение продано прежде торгов, а здесь уже на эту деревню были даны и торги, и открыта последняя цена, и потому велено им в просьбе отказать, что исполнено. Мужики, подстрекаемые недоброхотами Кашинцева, как скоро сей принял их в свое владение, послали поверенного от себя в Петербург и всячески домогались принадлежать удельному департаменту. Неоднократно требовались от меня на сей счет сведении, посылаемы были справки. Казна не могла отнять у помещика того, что он приобрел законной покупкой, и на всякую справку повторялся им отказ. Когда мужики увидели, что им средством покупки казенной отойти от него нельзя, они выдумали другой способ и стали жаловаться на притеснении помещика, на мщение будто бы за то, что, быв уже его крестьянами, они домогались свободы, и на слишком тягостный оброк. По сим новым жалобам новые пошли бумаги и ко мне, и от меня. Сперва отказывали, потом судили за ослушание, наказывали зачинщиков телесно. Ничто не помогло. Мужики не хотели отнюдь слушаться помещика, и поверенный их проживался в Петербурге. Всегда в подобных случаях найдутся люди, готовые баламутить умами простого народа. Зажиточный один купец шуйский, досадуя, что Кашинцев усиливает свои кожевенные заводы и перевес делает его прибыткам, из зависти снабжал поверенного деньгами и раздувал искры этого междоусобия на тот конец, чтоб при освобождении их от помещичьего владения заставить после в отплату своих издержек работать на себя. Макиавеллизм уже известен был всем сословиям российского народа.

Когда надоели они и в самом Петербурге неотступными своими просьбами о свободе, велено было мне произвести самое верное следствие, чем они недовольны с стороны помещика, и постановить правила ему, как с ними обходиться и что с них получать. Предписание новое и соблазнительное для прочих. Разгласка о сем везде тревожила соседей. Всякий смотрел, какой успех получат Кашинцева крестьяне, чтоб подобным же образом отложиться от своих господ. Видел я, какие из сего произойти могут опасные последствии, но должен был покоряться вышедшим повелениям. Наряжен от меня чиновник, произведено исследование. Осмотрев дачи крестьян и владельца, способы тех и налоги его, представил он мне картину всего имения. Естественно, что помещик не мог довольствоваться тем умеренным доходом, какой с того имения получала опека, содержа его за долги в своем управлении. Опека обязана была хлопотать токмо о вносе процентов в казенное место, а помещик хотел

выгоды и процентов на капитал, для покупки употребленный. Открылось, что Кашинцев, кроме денежного оброка, который был очень мал, заставлял их работать на заводе и поставлять дрова и сено и прочие потребности по равной раскладке на тягло. Мужики в опеке казенной привыкли быть свободны. Они платили свой оброк и потом пили да рубили лес и продавали, следовательно, сделались людьми праздными и ни к какой работе не способными. Мудрено ли было Кашинцеву раздражить их? Он запретил рубить лес и требовал работы — вот причина во многих деревнях господских беспокойства поселян. Чтоб усмирить селение и привести в порядок обстоятельства самого владельца, я расположил так, чтоб Кашинцев получал с этой деревни соразмерно всем прочим в тамошних местах по тридцати рублей с тягла, не требуя с них кроме того никакой повинности. Распоряжение мое представлено министру, доложено государю и опробовано. Итак, оставалось мужикам повиноваться, но и за сим они все волновались. Тогда-то, по случаю командировки солдат для имения Нарышкина, велено было мне ту же команду употребить на усмирение Кашинцева крестьян.

Я не намерен входить здесь в рассмотрение этой важной системы, которая у всех в голове давно играет, чтоб сделать народ вольным и лишить дворян крепостного на крестьян права. Может быть, это хорошо. Может быть, худо. Время покажет, и потомки рассуждать будут о сей химере нашего века. Но доколе сего не было и не могло, по-видимому, быть приведено в действие, не надлежало, по мнению моему, расстроивать чернь и питать в ней такие несбыточные мысли. Велеть помещику, и именно в таком-то уезде, и такому-то, как оно последовало здесь с Кашинцевым, брать с мужиков определенный правительством доход было насилие примерное и повреждающее право, принятое доныне. Все должны состоять под одним образом частного управления, а по выбору одному дворянину дать такое право, другому другое есть простой личный каприз, разрушающий все связи гражданского существования и которого рассудок здравый одобрить не может. Я не спорю, и, кажется, прежде изъяснил, что нужно некоторых дворян воздерживать силою закона от тиранства, которому бывают подвержены их слуги и крестьяне, но струну собственности должно шевелить с крайней осторожностью. Я, твердо укоренившись в моих правилах на сей счет, всегда старался, несмотря на вред, оттого лично для меня проистекающий, поддержать права помещика, потому что знал, какие потрясении произойти могут во всем государстве от повода мужиков бунтовать против господ своих. У одного урода

скорее можно отнять волю действовать, нежели всю чернь заставить на правилах умеренных повиноваться. И что вышло бы тогда? За несколько скаредов, кои дурно правят своим имением, отложились бы от наилучших господ все их поселяне, ибо слово свобода есть самый очаровательный предмет, все захотят воли, и дворяне, лишась оной в своем домашнем управлении, принуждены будут с своим господином в его очередь поступить так, как дозволено было обойтиться с ними их рабам. Мое мнение на сей счет может почесться если не превосходным — я также подвержен ошибкам в умозрительном мире — по крайней мере, беспристрастным, ибо, не будучи тогда сам помещиком, не имел причины защищать их прав.

Имение Кашинцева было гораздо меньше Нарышкина. Там тысяч до двух считалось душ, а здесь с небольшим двести, но народ гораздо был упорнее, черты волнения суровее, и труда около их больше. Отделя от двух рот четвертую часть, отрядил я ее с одним офицером в Шуйский уезд и сам скоро туда приехал. Вотчина Нарышкина между тем совершенно успокоилась, и вся команда готовилась к возврату в Москву. Оставалось уладить дела г. Кашинцева. Я не мог избежать сильных способов, принужден был наказать зачинщика и главного их поверенного плетьми, дав ему при всем народе и перед фрунтом сто ударов в силу приговора Уголовной палаты, состоявшегося пред тем временем. Чтоб больше изумить крестьян и возбудить в них робость, тотчас по наказании я велел того мужика посадить в кибитку и по тому же приговору отправил за караулом в Сибирь на поселение. Увидели тогда крестьяне, что с ними не шутят, и принесли повинную, но не совсем чистосердечную, ибо долго потом еще полиция беспрестанно за ними смотрела и ежемесячно меня о поступках их уведомляла. Усталость есть общий конец всех мятежей народных, и они, утомясь, напоследок стали безропотно платить Кашинцеву положенный на них с высочайшего соизволения оброк по тридцати рублей с тягла. Доход сей до самого моего выезда из губернии не менялся.

Вместе с тем слилось дело и купца шуйского, который подбивал крестьян к бунту. Перехвачены были письма, ясно его уличающие. Потребно было его признание при мне. Он был увещеваем священником осторожным, благоразумным и ученым, которого я с собою привозил в Кашинцеву деревню из губернского города. Никакое витийство не проникло в душу его. Ни крест, ни присяга не устрашили его совести. Он белел, трепетал и запирался. Наконец, поцеловал Евангелие и принудил

меня отослать себя к суду, который своим порядком начался и производим был в Уголовной палате.

В сих занятиях проходил весь пост, но здесь поездка моя вознаграждена была некоторыми приятностями. Деревня Кашинцева отстояла от жениной в осьми верстах. Близость расстояния позволяла мне в ней жить, отправлять дела общие на досуге, и ежедневно мог я быть в Запруднове. В деревне гостила со мной жена и несколько приятелей, Анна Михайловна также. Мы тут провели недели с две и воротились все в Володимир, когда дело мое на месте кончилось. По приезде моем собралась команда в город. Я с нею простился, и войско мое огромное пошло в Москву к своему месту. О всех сих приключениях от меня донесено министрам и военному, и моему начальнику[14], но и за сию последнюю комиссию никакого внимания не последовало ни к чьему лицу, кроме священника, которому удалось мне выпросить скуфью, чему я был искренно рад, потому что он заслуживал и нравом, и учением отличия от своей площадной братии.

В числе мимоходящих знакомств, кои так часто в мире встречаются, нашел я близ жениной деревни человека по сердцу моему. Это был не князь, не граф, не знатный барин, следовательно, судя по-светски, сволочь, учитель владимирской семинарии, некто Тихомиров Дмитрий Романович. Человек молодой еще, но уже недужный. Он от ученых упражнений, будучи по природе слабого зрения, потерял его совсем и, лишась в продолжительной болезни, от которых в тамошних местах никто его вылечить не умел, способности ходить, двигался на костылях. Бедный этот человек любил ученость, мог диктовать еще, имел воображение, мысли, дар, но не мог сам ни читать, ни писать. Живучи, так сказать, милостынею при погосте Ильинском, отстоящем от жениной деревни не более пяти верст, он сперва возбудил во мне любопытство, потом добродушием своим, знаниями и чувствительностию привлек меня к себе так сильно, что я всякий день из деревни, когда ни бывал в ней, посылывал за ним лошадь. Он гостил у меня по суткам и более. Разговор с ним отменно был приятен. Мы диспутовались и богословствовали вместе. Он был один в мире. У него не было ни жены, ни друга. Кто их имеет, особливо в бедности? Все были ему чужие люди. С каким отвращением читал я в руках его несколько писем знатного барина, учившегося некогда у него в Владимирской семинарии[15]. Возведен будучи на высокий степень из равного с Тихомировым происхождения, то есть из церковников, он забывал на Неве, сидя в спокойном своем кабинете, что тот, кого он не-

когда звал на письме другом, учителем своим, даже благодетелем, тот самый слепой Тихомиров, сделавшись калекою, не имел верного куска хлеба, когда он не знал ежедневно из числа предлагаемых ему пиров, которому пристойнее дать преимущество. О фортуна! Как ты нас безобразишь, когда слишком покровительствуешь. Тихомиров, однако, не роптал, грустил о нечувствительности его, но не досадовал. Я хотел привести его на память вельможе, взялся писать к нему, изобразил его положение, — и что ж? Не получил ответа. Видел его потом лично и никогда не был поставлен в возможности сказать ему слово о моем слепце. Я его люблю звать моим потому, что желал ему всякого добра и искренно любил его. Он меня равномерно. Мы хорошо сошлись, и когда я езжал в Александрово, всегда радовался, говоря жене: «Мы там, мой друг, увидим Тихомирова».

Летнее время наполнено было для меня развлечений. Я их искал, и они без труда попадались. Скоро после Святой недели поехал я по городам, и к именинам своим 8 мая, день, в который скончался отец пасынков моих, я расположил быть у Троицы, дабы избегнуть обыкновенного в подобные дни торжества, оставшись дома. Туда приехала сестра моя большая с дочерью моей, и мы вместе провели там дни три. Хотя не очень извинительно было, что я без позволения отлучился за пределы губернии, но быть от нее в одиннадцати верстах значило то же, что и не выезжать вон. Я посетил старика Платона и со всем моим поездом, с женою и московскими домашними, был у него в Вифании. Есть чего посмотреть около его. Есть чего послушать от самого. Беседа его поучительна. Он остроумен и сладкоглаголив. Принял нас весьма ласково, и мне казалось, что он меня готов полюбить. В «Послании моем к швейцару» есть один стих, и именно: «Скажи попам, что и без них спастись один умею»[16], который нас поссорил. Он худо его перетолковал. Смешал орудие с причиною и на религию отнес то, что касалось до служителя токмо веры. Это произвело многие невыгодные на счет мой отзывы, но, когда состарелся и он, и я, когда вошел во внутренние чувства души моей, тогда стал признаваться в ошибке своей и как бы для вознаграждения за прежнюю хулу ныне принял меня с особенною вежливостию. Я нашел его еще юным в разговоре. Он стар, когда встанет. Ноги ему худо служили, но огонь не совсем потух в его смиренном сердце, и можно было приметить, что он еще живет духом в чувственном мире. По кратком нашем свидании тут с сестрою и дочерью мы расстались. Они поехали назад в Москву, а мы в путь по уездам. Милая Маша всем нам

живо пришла на мысли. Мы снова о ней плакали и молились Богу совокупно о душе ее.

Тем временем Павел писал ко мне с Невы, что там сильные праздники. Великая княжна Екатерина Павловна шла за принца Ольденбургского, и брак их совершился, вследствие которого принц наречен императорским высочеством, причислен к российскому августейшему дому и определен главным начальником всех водяных сообщений с наименованием генерал-губернатор Тверской, Новгородской и Ярославской губернии, из коих в первой для жительства его особы и двора их отстроен и великолепно убран большой дворец. Москва вся туда каталась в гости, и, любя ее, великая княгиня утешалась тверским своим пребыванием.

Собственно о себе сын мой уведомлял меня, что г. Козодавлев отменно хорошо его принимает, что он живет у него часто на даче, иногда играет комедию в его домашнем сообществе, и я радовался, видя, что Павел мой тем же начинает знакомство свое в столице, чем и отец его успевал в ней в такие же лета. Как часто нас ведет ко счастью больше вздор, нежели дело. Иногда комедия, удачный прыжок в балете дарят прекрасную судьбу человеку, тогда как другой, подвергаяся всякому военному злу, не может добиться доброго слова.

Правду говорят, что первый шаг тяжел. Съездивши к Троице, я осмелился и далее отлучиться от своей губернии. Лента сделала меня отважным. Я поехал в июне к ярмонке в Муром с домашними своими, был на стеклянных и чугунных заводах тамошнего уезда, осматривал работы. В Петров день гостил у Баташева и, увлечен будучи близостью расстояния, рассудил познакомиться с татарскою стороною, увидеть новую Пензу в малом виде. От Баташева Касимов верст пятнадцать, не больше. Уездный город Рязанской губернии[17]. Там некогда живали цари, но ныне потомки их шалями торгуют и разносят их по дворам в Москве пешком. Я вспомнил, что один из предков моих был женат на дочери касимовского царя, отменно богатого человека, от которого даже в род наш поступило село Волынское[18]. Это меня давно позывало в ту сторону, и я, наконец, попал в Касимов. Город невелик и не прекрасный. По счастью, нашел я тут одного зажиточного татарина, который исторически со мной сошелся и удостоверил меня, что он того рода, с которым наш был по женскому колену в свойстве. Он меня поил славным чаем, познакомил с прекрасною своею женою, казал мне мечеть их, о которой я до того времени не имел никакого понятия. Слепой их крикун[19] водил меня с собой на башню и оттуда вызывал громогласно музульман всех к вечерне. Ни-

кто не пошел, и ее не было. Дело в крике и в важности воззвания: «Алла один, нет другого Алла, и наш Алла всех больше». Вот, по переводу, смысл его провозглашения. При всякой службе он это кричит на башне, и это звучнее нашего благовеста, потому что меня уверяли, будто верст за пять слышно, как он дерет горло. У нас в протодьяконы к архиереям, а у музульман в глашатаи на мечеть выбирают самых голосистых людей. Когда услышат его крик, иные бегут в мечеть, другие по домам падают и лежа чтут своего Бога в лице Магомета. В мечети ничего нет значительного. Место для муллы и множество ковров — вот все убранство храма татарского. Стены голые, нет ни образов, ни свеч. Женщины молятся не в одном покое с мужчинами. Они имеют особую горницу. Виды с верху их башни прекрасны, да я думаю, что на высоком месте и с нашей колокольни они равно хорошо покажутся. Чем далее видят глаза, чем разнообразнее предметы, тем для них больше удовольствия. Натура все одна для магометан и для правоверных.

При самой этой мечети есть кладбище с особой палаткой, в которой хоронили царский род. Она вросла в землю. Никто уже в ней не погребается от давнейших времен. Стены ее обросли мхом, крыша оделась дерном, и густая роща раскинула ветви свои вокруг сего жилища мертвых. Тут нашел я гробницу каменную с полустертою надписью, но в которой я разобрал имя той, кого искал. Это был действительно мавзолей не пышный, но огромностью заметный, той музульманки, на которой женат был предок мой князь Долгорукий. Имя ее выставлено — Султан Фатьма[20]. Я до земли поклонился ей и благодарил небо, что видел сию могилу. Все старинное нас занимает, это в природе человека. Со временем, может быть, праправнуки таких людей станут искать и моих сухих костей, коих деды и прадеды, живучи в одно время со мной, не спросят про меня в десять лет одного раза, куда я девался. Так вертится колесо суетного нашего мира. При сем зрелище родилось новое любопытство. Отчего она, быв княгиня Долгорукова, погребена в музульманском кладбище в Касимове? Ужели, идучи замуж за христианина, не отреклась магометанского служения? Как допущен знатной фамилии человек жениться на татарке? Все эти недоумении остались тогда, а по-видимому, и навсегда, без развязки. Летописей фамильных нет. Это не во вкусе нашего народа. Всякий поживет и умирает, не оставляя на письме своих происшествий. Итак, никто ни о ком ничего не знает. Думать должно, что сан царский, а более того деньги, алмазы, жемчуги все препятства расторгли и допустили быть такому чудному браку. Пусть

бы в наши дни, пусть бы и в то время князь Долгоруков попробовал жениться на бедной турчанке, сколько бы голосов восшумели. В Москве из угла в угол все бы тетушки и бабушки потащились, чтобы помешать пылкому движению страсти, впрочем очень невинной. Но, где деньги действуют, где богатство выложит свои прелести, там все прекрасно, благоразумно, позволительно. Не худо быть хоть болваном, да золотым, — все удается.

Замужняя сестра моя рассудила в течение лета побывать одна в Москве для свидания с матушкой и с нами и привозила с собой своего ребенка. Это меня взманило и самого побывать в нашей подмосковной. Троица и Касимов приучили меня к таким отлучкам. Я поизбаловался. Правда, что в летнее время служба от таких отлучек моих нисколько не терпела, ибо летом всегда более заняты люди природой, нежели тяжбами и делами по судам. Хлопоты начинаются с зимой, оканчиваются вместе с нею. Всякий любит солнечный день в свободе: снег и мороз в России и так по восьми месяцев держит нас в комнатах у печки. В Володимире не пришла еще минута моего падения, и никто не посылал на меня в подобных отлучках доноса. Итак, жена, я и Алена поехали мы в Никольское. Оно от губернии сорок пять верст. Меньше дня езды. Там мы провели 25 июля, день матушкиных именин, и, только два дни у нее погостивши, не заезжая ни на минуту в Москву, воротились домой. Вся поездка совершилась в неделю. Мы виделись с сестрой, ознакомились с новым человеком в мире, с ее ребенком, который очень был затейлив, и прекрасно бы провели это время прямо в семейном обществе, если б не испортила нашей радости болезнь Алены. Ей стало хуже. Она очень нас испугала и праздник весь поворотила в будни. Жена выла, я грустил, напомнив живее Машу, домашние суетились, но при маленькой ослабе, которые в сих болезнях так часто тешут хворых, мы собрались в обратный путь. Чистой радости нет на свете.

В Володимире забавы летние прекращались только тогда, когда нас не было, в прочем веселости были беспрерывны почти. Аленочка спешила жить и наслаждаться. Она ни в чем не находила более удовольствия, как в том, чтоб прыгать. Сколько для ее увеселения, вдвое для того, чтоб жена как можно долее обманывалась насчет прямого ее состояния, я настроивал балы по загородным домам и в публичном воксале. Алена, бывало, принарядится, выедет, то кашлянет, то прыгнет, и это ее оживляло, а мать не знала отрады выше той, чтобы забавлять дочь свою. Итак, мы грозной осени ожидали в шумном провождении всего лета. Были иногда

минуты мучительные, но они скоро проходили, как молния в густых облаках блеснет и скоро теряется.

Жене хотелось из набожности свозить дочь свою в Ростов. Когда лекаря худо помогают, мы ищем исцеления в храмах. Мне вздумалось участвовать также в этом путешествии, и я расположил осенний мой осмотр так, чтобы Ростов был от меня поближе. Ехавши туда из Юрьевского уезда, я удалялся от своей губернии только на сорок верст. Хотя я и не должен был бы так часто пускаться вон из нее, но мера расстояния сама свидетельствует, что я с превеликой осторожностью отваживался, и, кроме своей подмосковной, я нигде не ночевал за пределами моего управления. Задумано и сделано. Поехали мы в Ростов. Я вспомнил, что с тех пор там не был, как возил дочь свою на ярмонку. Смерть ее не очень манила меня к такому месту, где я мог снова растрогать мое воображение печальными напоминаниями, однако были в Ростове. Там молились у гроба Дмитрия Чудотворца, прикладывались к мощам его, были в гостях у архимандрита[21], который живет в прекрасных покоях, имеет галерею и боскеты, виделись с некоторыми московскими богомолками и у тамошнего откупщика, доброго малого Теряева, ели хорошую рыбу всякого наименования. Желая нас угостить наилучшим образом, он ознакомил с нами пленных шведских офицеров, кои жили в Ростове[22]. Люди не отменно занимательные, но для летнего короткого вечера и то изрядно. Мы много беседовали о свойстве их народа, о веселостях Стокгольма и дерзали сравнивать с ним Ростов. Вспомнивши, недавно проходя мои шведские записки, многих уроженцев тамошних, я расспрашивал их, где они, при каких должностях, чем занимаются и, поворачивая время далеко назад, рассуждал с ними о прошедшей Шведской войне, о тогдашних победах, движениях, хитростях и ошибках солдатского ремесла, но господа пленные не в состоянии были увеличить мои познании и одушевить разговора. Пробывши тут сутки и нимало не завидуя шведам, которые еще не знали, когда их пора придет уехать отсюда, мы воротились домой. Ростов, как и все почти уездные города старинные, хорош только тем, что стар. Много церквей, много монастырей. Главы светятся, колокола шумят, впрочем, осмотрев все в нем достопамятные древности, я ни одной из них, кроме чудотворных мощей угодников Божиих, не оставил у себя на памяти. Теряев нам много услужил своим доброхотством, а без него мы бы ничего в городе не видали. Он нас везде возил, все показывал. Если б я делал здесь описание Ростова, то упомянул бы прежде всего о храме, который иждивением графа Шереметьева там по-

строен в честь и славу угоднику Димитрию, которого и мощи некогда предполагаемо было туда перенести. Храм великолепный, с особенным вкусом отстроенный, архитектура богатейшая. Проект сей дорого стоил графу. Я полюбовался тут странному движению случаев. Граф Шереметев во множестве своих крестьян имеет значущее число раскольников, они ему дают большие доходы, а он строит храмы Димитрию[23]. Сколько таких смешных явлений в мире! Может быть, Грачев, Гандурин, Ямановский и подобные им богачи не кланялись Димитриевому гробу, изгоняя из божниц своих все его изображении, хуля даже имя его очень часто, иногда потели по несколько месяцев над теми деньгами, кои, переходя из рук их в руки помещичьи, осуждались на покупку алмазов в митру или образ святого! Как-то рассуждать станем мы все на том свете о сих проказах здешнего?

По приезде нашем в Володимир имели мы новое свидание с сестрою замужнею. Она нас посетила, привезла с собой маленького своего Мишу и дочь мою княжну Варвару. При ней явилась новая иностранка в доме, мадам Шультес, но так не полюбилась ни мне, ни жене, что мы долго не знали, куда с ней деться. Наконец, приискали ей другое место и скоро распрощались. Она совсем не имела способности смотреть за поведением благородной девушки. Поступки ее были странны, дики, неловкость во всех приемах. Работяща была, прилежна, но ничему обучать не умела, и собственные сведении ее были весьма ограничены. Однако, за недостатком лучшей, пожила и она у нас. Сестра с нами погостила не без удовольствия. Увидя старых своих знакомых, живо вспомнила прежние владимирские забавы. Много мы с ней и посмеялись, и поплакали о прошедшем. Анна Михайловна, везде и всегда с нами, имея от природы неоцененное свойство развеселить человека во всяком положении, острыми шутками и разговором отгоняла все случаи задумываться и враг была меланхолии, но все тянуло сию мрачную гостью к нам, и Алена не давала покоя нашему сердцу. Проводя сестру, которая поехала в Малороссию к себе назад, мы остались встречать осень одни своим домом, и все внимание наше обращено было к Аленочке, у которой чахотка открывала решительно худые признаки. Ее лечил Буркарт, но она не принимала половины лекарств, и сие обратилось, по общему мнению, ей в пользу, потому что прочие медики, от превосходного ли искусства, или от зависти, находили, что Буркарт пользовал ее худо. Я совсем не знаток в медицине и распри такой разрешить не умею, но, дабы отвратить от себя всякое злоречие в городе, согласил жену переменить доктора, и сколь ни старался я смягчить такую келейную

между нами исповедь, не мог не объявить ей, что состояние здоровья дочери ее требует прилежнейшего присмотра. Это был сигнал тревоги домашней. Жена вытерпела не одну мучительную истерику и, чувствуя, что Алена в критическом положении, решилась вызвать из уезда Шениха, который тотчас приехал. Он всегда лечил весь Безобразова дом, и каждый член их семейства особенно в него верил. Шених согласился взять ее на свои руки, но после консилии. Доктора все были созваны, при мне советовались и, напавши на Буркарта, силились доказать, будто он произвел или ускорил лечением своим опасность болезни. Буркарт всячески оправдывался, но я принужден был снять с его рук Алену, боясь, чтоб не подумал кто, что я, не уважа падчерицей, допустил ее уморить. Буркарта никто в городе не любил и не разумел врачом искусным, один я его покровительствовал и, судя по опыту собственной моей тяжелой болезни, имел на то сильное право. Но когда и Шених с желчью обратился к нему, сказав мне, что он ошибся в нем, но что, действительно, он худо следовал ходу болезни, не понял ее, начал и произвел отчаянные последствии, тогда не оставалось мне ничего иного делать, хотя я видел, что ревность играла сильную ролю между всеми врачами, как отказать Буркарту врачевание Алены и отдать ее на руки Шениху. Он взялся, но объявил мне наперед, что она жить никак не может, а протянуть ее постарается. Жена ничего о мерах сих между медиками не знала, а с радостью, поруча дочь свою Шениху, удостоверилась, что он испорченное поправит и вылечит ее, конечно. Она не полагала у ней чахотки, а только сильную простуду и оттого спокойнее переносила ее припадки.

Шених и я, мы придумали Алену перевезти в деревню, дабы, 1-е, удалить от матери картину ее кончины, если она близка; 2-е, разлукой сей приучить жену обходиться без присутствия ее помаленьку и менее страдать, когда она ее лишится. Вот на каких причинах основано было намерение наше выпроводить Алену в деревню. Жене мы сказали, что ей нужно жить уединеннее, лечиться с порядком, ранее вставать, есть и ложиться спать, меньше развлекаться в больших собраниях и успокоиться в тишине деревенской жизни. Она все это приняла с решимостью исполнить. Жене много труда стоило, слез и душевных волнений расстаться с Аленой. Она и здоровую ее на минуту от себя не отпускала, а тут дело шло о разлуке с ней с больною, но надежда, что от этого только может она выздороветь, все прочие страхи и отвращении победила, и Алена с лекарем поехала в Александрово знакомиться с вечным своим жилищем. Оборотимся назад к общественным приключениям.

Знаменитый вышел указ об экзаменах[24]. Государю угодно было, чтоб иначе никто не повышался в чины коллежского асессора и статского советника, как по экзамену. Испытании сии присвоены университетам, они обязаны были давать свидетельство в том, что представившийся к экзамену знает римское право, учился правоведению и говорит на каком-нибудь иностранном известном языке, а паче по-латыни. Без таких свидетельств не было способа происходить в высшие чины из титулярных советников. Говорят, что сей указ сочинен Сперанским, который будто бы в издании его крепко настоял для того, чтоб унизить дворянство, весьма, по правде сказать, худо воспитывающееся, и все места со временем наполнить церковниками, ибо те в состоянии были всякий экзамен выдержать. Того ли хотел Сперанский и он ли точно выпустил этот указ, я не знаю, и до меня здесь это не принадлежит, но, мимоходом рассуждая о свойстве установления сего, можно сказать, что сей указ произвел везде шуму много и поставил против Сперанского все дворянство. Воспитание оттого не получило никакой пользы, напротив, новый явился способ развращаться. Никто не хотел терять чинов, но для достижения их нашлась дорога кратчайшая. Стали покупать аттестаты от учебных мест, профессора их продавали, дворяне богатые представляли их и получали чины, не выучась ни праву римскому, ни своим законам. Этот указ напоминает то время, когда Петр I объявил Сенату, что он учредил прокуроров. Князь Долгорукий, чорт на правду, встал и доложил государю: «Это по лишнему барану, царь, с народа». И Петр Великий понял, я чаю, справедливое его возражение. Но часто ли государи сознаются в ошибках и исправляют их? Некоторые молодые люди с достатком домогались аттестатов для того, чтоб поступить в асессоры, но в статские советники очень малое число чиновников производилось, да и не могло быть иначе, потому что все наши советники в таких уже были летах, что ни один без посмешища не мог явиться на экзамен. То же, думаю, было и во всей России, следовательно, производство в эти чины совершенно прекратилось. По Владимирской губернии мне известно, что с этого указа никто не получил чина, хотя иные в коллежские советники уже по два срока положенного времени выслужили. Что же из того вышло? Потерялся дух чести. Увидя невозможность повышаться, решились эту выгоду заменить другою, презрели чины и стали нагло воровать, дабы в трудах службы находить какую-либо личную выгоду, ибо жалованья недоставало по штату никому на самый нужный прожиток. Повторим сто раз, что человек везде, всегда ищет своекорыстия, это натуральная пружина всех

дел наших. Для того выдумываются чины, ленты, почести различные. Они возвышают дух, они тоже корысть, но благородным лаком покрытая. Отнимите сей предмет у честолюбия — оно гаснет, и направление врожденное искать своих выгод тотчас откроет источник непозволительный. Та беда, что мы худо знаем человека и все требуем от него невозможного. Герои есть во всяком смысле: на поле брани, за красным сукном и в нравственных подвигах, но они редки, за то им и памятники ставят. Всякий человек героем быть не может по самому порядку естества. Странно требовать, чтоб каждый асессор, стряпчий, заседатель и далее, далее в высоту, так был образован, рожден, настроен, чтоб он из одной чести служил отечеству. На это надобны награды. Где их нет, где благоразумное правительство не расточает их кстати и не скупится в них также, там нельзя ожидать ничего похвального, ничего превосходного. Но мы все гоняемся за идеалами, на них основываем законы и оттого беспрестанно ошибаемся. Воспитывать дворян нужно, но, кажется, указ этот не дорога к тому, а унижать их в монархическом правлении или, скажем ясно, в самодержавном, опасно, ибо дворянством держится глава всего царства. Самого меня этот указ нисколько не огорчил. Я уже ушел от экзаменов, а сын мой старший учился хорошо, с успехом и всегда был готов выдержать испытание школьное.

Сенатор Обресков наряжен был в Пермь придираться к тамошнему прекрасному начальнику, генерал-губернатору Модераху, который провинился тем, что со времени Екатерины, бывши там губернатором, не выезжал оттуда. Обресков проездом остановился на сутки в Володимире. С ним были в свите сильная подагра, прекраснейшая жена на белом свете и множество молодых ученых людей. Весь этот собор направлен был в нашу Ост-Индию, и я, по старому знакомству с Обресковым, имел удовольствие провести с ним очень приятно день его у нас пребывания.

Между тем из Астрахани налетел на меня некто La Jarres, француз, служащий по горной части в своем государстве и в качестве путешественника присланный, по-видимому, шпионить в России. Объездивши берега Каспийского моря, проникнув до Тифлиса и там быв отлично принят, от графа Гудовича, который управлял Грузией в его туда нашествие, возвращался через Казань на Володимир и Москву, где уже Гудович сменил умершего Тутолмина. Лажар имел ко мне рекомендательное письмо от казанского губернатора, и я обязан был принять его наилучшим образом, как офицера союзной державы. Он носил мундир, вышитый везде золотом, и очень казался наряден. Проведя со мной це-

лый день, он болтал беспрестанно. Настоящий француз! Малый молодой, с познаниями, но, по свойству народа своего, весьма хвастливый. Я его накормил по-русски и отпустил далее, ни к кому не писавши об нем ни слова. Он мало любопытствовал в городе и ничего почти не смотрел. Оттого и думаю я, что если он будет когда-либо выдавать свое путешествие, мало напишет о нашей стороне или схватит вершки по своему воображению, потому что французы — весьма неаккуратные историки и красного слова у них пропасть на языке и на пере. Из этого можно видеть, что я, любя этот народ как веселый, забавный и удобный разгонять мрачные мысли, не до того к нему пристрастен, чтоб и самые пороки его хвалить из одного предубеждения, что у них будто и дурное лучше нашего хорошего. Впрочем, г. Лажар может писать о Володимире все, что ему угодно. Я уверен, что ему не за что будет меня ни похвалить, ни выбранить.

Наш министр князь Куракин и новый его товарищ, беспрестанно занимаясь нашим благосостоянием, придумали отличить все мундиры губернские обстрочками разного цвета. Под нашим переменен подбой. Общий дан зеленый всем статским кафтанам. Красный воротник и обшлага остались, но вокруг их обведена веревочка голубенькая. Об этой перемене рассылались указы повсеместно, как о самом важном деле. В губерниях пошли толки. Портные вздорожали, на неделю времени всякому хотелось скорей своей обновки, а в нашей губернии сукно голубое вошло в высокую цену. Я должен был первый показать пример исполнения и тотчас нарядился в новую пестроту. На что эта выдумка? Не знал и не любопытствовал. Князь Куракин любил всякий день что-нибудь ввести новое. Козодавлев подражал ему в том ревностно, а я за них радовался, что им такой большой досуг, что и вздор подобный в голову входит.

В Сергиев день, 25 сентября, в жениной деревне праздник. Алена нас приглашала туда. По письмам ее казалось, что ей лучше. Я не мог отклонить жену от ее намерения и проводил ее туда. Там пробыли мы праздник и с Аленой вместе воротились в Володимир. Шених ее не покидал на минуту, лечил прилежно, но видел, что лекарства уже никакой пользы ей принести не могут. Небу угодно стало, чтоб жена вытерпела все те мучительные дни и часы, кои ее ожидали. Мы приехали в Володимир, и Алена слегла совершенно. Довольно было бы для меня и этого нового креста, чтоб отравить всякое спокойствие, но между тем и по должности находили на меня искушении тяжкие, и о коих здесь упомянуть должно. В числе приключений, кои более или менее по званию моему на меня действовали, я выбором пишу токмо о тех, кои сильнее про-

чих угнетали мое сердце и вывеской могут служить той зависти, с какой теснили меня мои злодеи.

Во время последних выборов дворянских дворянка Черевина жаловалась мне на письме на сына своего в непослушании и разных буянских с ней самой поступках. Могла быть виновата и мать: уроды бывают в всяком случае, но мне нельзя было не защитить ее и не вступиться за власть родительскую, которая, благодаря новой философии, очень слаба становилась. Отдал прошение ее предводителю того уезда[25], прося его, так как все дворяне в сборе, чтоб он представил мне за их рукоприкладством свидетельство о поведении сего молодого человека, дабы я основать мог на мнении всей его собратии меру приличного уважения к извету матери и примирить ссору домашнюю или надлежащий дать ход бумаге.

Молодец был холост, в отставке, носил значок, за милицию всем розданный, и принадлежал к Александровскому уезду. Дворян тогда было в собранье до пятнадцати человек, и из них голоса вышли различные. Несколько человек с прежним предводителем хвалили Черевина, а прочие с выбранным вновь предводителем порочили[26]. Кому же верить? Истина должна быть одна, но страсти или подлые, или благородные ее скрывают. Бранят иногда из злобы и хвалят из великодушия, по мнению моему, вредного. Надобно, чтоб злодеяние всегда было обнажено пред лицом суда, а как иначе назвать поведение сына, который бьет свою мать, выгоняет ее из дома и не слушается ее ни в чем. Вот содержание дошедшей до меня жалобы. Собранные показании гг. дворян ни к какому руководству служить мне не могли. Надлежало избрать другое средство. Я повел дело формой и предписал александровскому городничему[27], мужику опытному и уже немолодому, исследовать на месте, в чем точно состоят проказы Черевина, и рапорт его представил мне их в таком виде, что не оставалось мне ни малого следа к сомнению в истине матерней на него жалобы. Уверясь сим образом в справедливом ее негодовании, я приступил к делу законным порядком. На основании высочайших учреждений приставил к имению его отца, ему доставшемуся, казенную опеку, чтоб он не расточал его без пользы, самого же его для предупреждения шалостей, иногда смешных, а большею частию вредных, взял в губернский город и велел за поступками его смотреть полиции. О мерах сих представил министру, упомянув и о разногласии дворянском. Я знал, что многие отдавались на суд дворянству. Это также вошло в обычай от идей самых неосновательных о свойствах наших дворян по уездам. Мне всегда хотелось подействовать вопреки сей привычке. Настоящий случай

давал мне к тому новый повод, и я к князю Куракину писал, что полагаться на свидетельство помещиков после таких опытов в делах, прикосновенных к чести, судьбе и безопасности личной, никак не можно без ошибок самых пагубных. Князю попалась моя бумага в добрый час. Он вошел в доклад и дал мне предписание, в котором одобрены были по высочайшему соизволению принятые мною меры осторожности. Велено было продолжать их, обращено внимание также и на двоякое показание уезда и губернскому предводителю Танееву дано повеление исследовать, кто из дворян не по совести поступил в этом обстоятельстве, и предать их суду всего дворянства, следовательно, или я был худо понят, или не хотели вразумиться в мои начальные мысли, когда опять введен сюда суд дворянский.

Тут началось новое производство. Губернский предводитель был плох и мнителен. Черевин, как забияка, окружился в своем гнезде людьми себе подобными. Везде людей больше худых, чем хороших, следовательно, партия Черевина одержала верх над его соперниками, и по следствию, вновь произведенному Танеевым, который без соблюдения правил ума и прямой чести делал то, на что его наводили другие, открылось, что будто Черевин обнесен и страждет неповинно. В доказательство благородного его поведения представлен аттестат, данный ему за милицию от губернского начальника князя Голицына. Но кто ж не знает, каким образом подобные виды служащим даются? Всякий считает быть добрым, не говоря худо о мерзавце, и, этим думая возвысить свое сердце, унижает цену прямой добродетели. Словом, всякий знал по совести, что Черевин скаред, но как устоять против соблазнительного желания сказать: «Наша взяла!»? Партия негодяев одолела людей прямых и добрых. Следствие губернского предводителя дошло до министра. Князь Куракин, видя, что аттестат наилучший дан за милицию Черевину от князя Голицына, которого дочь была за его сыном, не мог сказать, что Черевин шалун, дабы нечаянно не встретил его вопрос: зачем же дан ему хороший аттестат? Чтоб кончить все решительным ударом, оборвалась туча над городничим александровским и тем предводителем, который Черевина очернил, и последовало высочайшее повеление Черевина освободить, с имения опеку снять, а городничего и предводителя судить за лживый рапорт начальнику губернии. Черевин в это время бил стеклы в харчевнях от радости и рубил иконы, которые ему не нравились, но дабы не причли досаде или высокомерию с моей стороны новое об нем донесение, я выпустил его из-под караула и дал свободу ехать куда угодно, а чиновники явились к суду, один в Уголовную палату, другой, то есть

предводитель, должен был ожидать суда дворянского при новых выборах. Увидим после, чем кончилась эта глупая сплетня[28]. Она еще даст мне много черных дней в жизни.

Опишем другое происшествие, не менее для меня болезненное.

Я издавна был дружен с архиереем калужским Евлампием. Тогда он еще был архангельским. Уроженец здешней губернии, он имел в Юрьевском уезде всю свою родню, мать и братьев. Меньшой из них, дьякон Измаил, не похож был на старшего поведением, но по связи моей с его братом требовал иногда моего участия в семейных своих обстоятельствах. Он худо жил с женою, любился с наложницею богатейшего купца, которая, обирая старика, передавала, что могла, молодому дьякону, и составился у него изрядный капитал. Жена, подговоренная в свою очередь своим любовником, подала повод обворовать его. У него украдено тысяч до четырнадцати денег. Они хранились в церкве в особом сундуке за его печатью, и после часть похищенной суммы подкинута в церковь в [с]луховое окошко. С этого началось дело гражданское и пошло своим ходом. Кроме покровительства, которое хотел я оказать семейству моего старого приятеля, сам порядок заставил меня принять участие в производстве дела и вмешиваться в разрешение доходящих до меня по оному бумаг. У купца, которого любовница таким образом окрадывала, был от нее побочный сын прозванием Телегин, записанный в купечество. По молодости лет он попался на руки к известному в том краю ябеднику, сутяге и интригану Растригину, который был из числа отставных офицерского класса бродяг, слыл дворянином, а жил на счет дураков тяжбами их и лакомством по судам. Растригин научил Телегина подать жалобу на меня в Сенат в том, что я, покровительствуя Измаилу, лишаю его собственности, которая переходит незаконным образом мимо его в чужие руки. В виде поверенного его он присоединил лично на меня Сенату донос, что я в самой короткой связи с дьяконом, езжу с ним в одной коляске, бываю у него в гостях и даже (здесь они думали в самое чувствительное место тронуть) не постыдился взять с него в подарок ленту. Двусмысленность многих выражений в этом доносе давала ему самый поганый вид и требовала от меня отпора, тем более что и Сенат, не любя меня, как видели выше, жадно принялся за бумагу и требовал указом с меня ответа. О всем том я рассуждал следующим образом. Сенат вправе судить публичные мои дела, но до связей моих ему нет дела. Я волен знакомиться, с кем хочу. Ученый дьякон для меня приятнее глупого невежи в дворянском кафтане. Я не обязан был никому отчетом в том, что

я, иногда бывая в Юрьеве, заходил в гости к матери архиерейской, следовательно, и к сыну ее, что я отвозил его от себя в своем экипаже и сам с ним сиживал в коляске. Ленту, которую он мне подарил по препоручению брата своего, имевшего тот же орден, нельзя было почитать взяткою, ибо многие имеют обычай из любви и почтения такие подарки делать своим протекторам. Заключить из сего, что я тихонько с него взял миллионы, потому что публично принял ленту, было безумно и войти могло в голову только ябеднику. Да если бы оно и было так, догадка не улика. В подобных случаях надобны доводы надежные и достоверные, а на подозрениях одних можно весь мир приговорить к Сибири. Согласен я, что Измаил, будучи дьякон, не должен был прелюбодействовать и чужим добром за то пользоваться, но сколько неправ он, столько же виноват и Телегин, что, понося мать свою родную, выставлял ее в публичных бумагах. Ни дьякон не имел права на имение этой мещанки, ни Телегин мимо законных родственников отца своего. Оба домогались чужого, всякий в своем роде. Во всем этом видел я старого и глупого купца, который дал волю себя обобрать непотребной женщине, сына побочного, настроенного хитрым ябедником из корыстолюбия, и пролаза дьякона, который пользовался слабостьми женщины распутной. Сколько мы подобных примеров найдем в кругу отборнейших людей? Согласен я и в том, что по правилам чистой нравственности поступки Измаила были дурны, но здесь дело шло не о воспитании его, а о покраже у него денег, не о знакомстве моем с ним, делает ли оно мне честь или бесчестье, а о том, не попускаю ли я по приязни моей к его семейству какой-либо несправедливости. Вот чего Сенату надобно было, по мнению моему, смотреть, а не умножать только сплетни. В таком духе и мыслях послал я свой ответ в Сенат, и его приложили к делу во ожидании окончания его в судебных местах юридическим образом.

Уголовная палата, по многом времени рассмотрев это обстоятельство, внесла ко мне решительный свой протокол. Из него видел я, что Палата присуждала украденные деньги у дьякона и подкинутые в церковь почитать имуществом церковным, не полагая возможным дьякону иметь такого капитала, а уличенных в похищении людей наказать по законам. Я не мог с ее приговором согласиться, и вот почему. Вор признался, деньги украдены у дьякона, следовательно, должны быть отданы ему. Дело шло не о розыске, мог или нет Измаил нажить четырнадцать тысяч, а о том, его ли и у него ли украдены. Когда мы будем выходить из точки предназначенной, всегда ошибемся и запутаемся. Если б надлежа-

ло доказывать право нажитого, тогда Уголовная палата в обязанности была доискиваться, какими путями дошли сии деньги до дьякона, и судить его по натуре путей сих, но она видела вора и воровство и не должна была далее простирать своего разыскания. Если б у меня сосед украл из кармана часы, пойман был с ними и повинился, какой след спрашивать наперед меня, где я часы взял? Это бы была не юстиция, а конфузия. Тут долг судебного места не о праве собственности моей рассуждать, а отдать мне мое отнятое. Как оно мое, это другое дело и ведет за собой другие исследовании, но здесь они не были у места. Итак, не согласясь с мнением Палаты, я протестовал Сенату. Сенат взял сторону не мою, придрался к неполным будто справкам, оборотил дело в Палату, велел собирать их снова, то есть тянуть дело без конца, а мне, вопреки всем правилам, сделан выговор за то, что я не так думаю, как он. Мне это надоело, и я, чтоб удалиться вовсе от неприятностей, а между тем ясно показать Сенату, что я ни клеветы, ни доносов не боюсь, просил позволить мне этого дела не производить, не рассматривать и не вмешиваться в него. Сенат, имея в виду просьбу Телегина, который наводил на меня подозрение, очень обрадовался, что я и сам устраняюсь от этого дела, и, не рассматривая, правильно ли поданное на меня подозрение и заслуживает ли законного уважения, предписал указом, будто склоняясь на мое прошение, а в самом деле дабы вспомоществовать Телегину, чтоб я представил всякое лежащее на мне по званию моему действие в означенном деле г. вице-губернатору, чем я и оставлен в покое.

С тех пор я в это дело не входил уже ни посредственно, ни прямо и оставил вице-губернатору полную власть делать, что он хотел, доволен будучи тем, что из отрицания моего Сенат должен был видеть, как мало я интересуюсь оборотом выгод на ту или другую сторону, ибо ясно, что я бы не отстал от него, если б находил постыдную какую-либо пользу для себя и если б поступал так, как видели выше, не из одной только приязни к семейству, которому принадлежал старинный мой приятель, а из корысти. Все это, однако, не было для меня радостно.

В конце октября новый вопль раздался в нашем доме. Аленочка скончалась 26-го числа на заре. Мать ее, ежечасно видя приближающийся ее конец, потому что не отходила от нее ни на минуту, подкреплялась беспрестанно надеждой, что Бог ее сохранит, молилась, поднимала образа, проливала пред ними токи слез, сохла почти сама от внутренних переломов сердечных, но судьба ни на что не смотрит. Приговоры ее неизбежны. По особенному Божию благоволению к слабостям человеческим,

жена в ту ночь, как лишиться ей дочери, так крепко заснула, что не слыхала последних ее страданий, не видала прикосновение смерти к юной и прекрасной сей дочери. Она, как роза, свернулась и завяла. Анна Михайловна от нее не отходила ни на минуту. Ее исповедали и причастили ночью. Трудно поверить, чтоб в такие лета, с таким живым характером, с таким пылким стремлением к забавам, которым ничто не препятствовало, ибо мать ее любила страстно и не умела ни в чем ей отказать, трудно, говорю, поверить, чтоб при таких благоприятных околичностях можно было умирать с толикой твердостью духа, как видел я Алену издыхающую. В эти последние часы она, как бы перешед все меры нашего возраста, вдруг открыла такие умственные способности, каких иногда и самые продолжительные опыты не дают престарелым на одре болезни. Она не боялась смерти нисколько, не малодушествовала, не плакала. Страдала физика, но душа без уныния ожидала своей свободы, и последние даже слова ее заслуживают особенного внимания: «Не сказывайте об этом вдруг маменьке, это ее убьет. Вы знаете, как я ей мила». Какое превосходное чувство любви к матери! Умирая, она забывала мир и все в нем прекрасное для своего возраста и мыслила об одной матери.

Едва вышел дух из тела, как жена, пробудясь от крепкого своего сна, зазвонила в колокольчик, и первый вопрос ее к девке: что Аленочка? Увы! Какое страшное пробуждение! Я тотчас прибежал к ней и со всем тем мужеством, какое Бог сохранил во мне самом на сию злейшую минуту, сказал ей: «Принеси, друг мой, жертву Богу. Он уже давно ее от тебя требовал». Тут отчаяние показалось во всем своем ужасе. Жена лишилась всех чувств. Никакое сравнение ни с какою бедою не даст прямого понятия о тогдашнем ее положении. Она не могла управлять сама собою. В первом самом движении чувств и не давши ей опамятоваться, я посадил ее с Анною Михайловной и с Шенихом в карету и велел вывезти ее из дому к госпоже Боровитиновой, которая за несколько еще дней пред тем уговорилась со мной перевезти ее к себе, как скоро последует ожидаемое несчастье, и там оставил ее до некоторого времени, а между тем принужден был собрать все душевные силы, чтоб распорядить похоронами и устроить сколько-нибудь на предбудущее время рассеянное мое семейство. Дети оставались в безобразовском доме. Я жил с женой у Боровитиновой и в крайней тесноте. Началась для нас жизнь кочевая, но уже в дом, где скончалась Алена, не было надежды когда-нибудь ввести жену опять, да и не настояло в том нужды, потому что казенный дом губернаторский хотя еще не был готов, но через год можно было уже по-

мышлять о занятии его, а год времени чрезвычайно скучно было шататься по чужим квартирам и менять их почти всякую треть, но я бы ни за что не согласился жену ввести опять в те комнаты, где всякая безделица, напоминая ей Алену, обращалась в новую причину к слезам.

29-го, день, напоминающий мне кончину сестры моей родной, отправлены здесь похороны Алены Александровны сколь можно было великолепнее по здешнему месту, где во всем нужном на подобные случаи недостаток. Архиерей отпевал тело в церкви Златовратского Николы, и многие благородные чиновники из усердия к нам несли гроб до самой заставы, куда препроводили его сам пастырь и все духовенство. Все жители города были на процессии. У заставы заколотили гроб в ящик и повезли в Александрово, где рядом с отцом ее погребена Алена у Ильи Пророка на кладбище. Потом, когда тамошняя церковь каменная отстроена[29], гроб ее вырыли и по желанию матери похоронили в алтаре под жертвенником. Я при сей печальной церемонии старался не упустить ничего, что могло увеличить пышность, дабы не сказали, что, хороня падчерицу, я что-либо проронил из скупости. Поелику дочь мою хоронил архиерей в Москве, я считал себя обязанным соблюсти во всех отношениях точное равенство между сими двумя милыми детьми нашими. На первых порах вся публика ездила с визитами к нам. Комнаты были полнехоньки с утра до вечера, как обыкновенно водится, но мало-помалу обряды миновались, участие становилось слабее, и мы часто в семействе одной госпожи Боровитиновой убивали длинные осенние вечера. Публика в подобных случаях всегда действует по одним законам общежития и делает то только, без чего обойтиться нельзя. Впрочем, когда сильная печаль посетит сердце, тут людство, одним любопытством собранное, более в тягость, нежели в отраду. Публичные увеселении в городе продолжались, но как мы их не посещали, то они и не имели никакой прелести для других, и смерть Аленочки не по участию прямо приятельскому, которого от всех и требовать было бы безумно, но по действию своему на забавы заставила многих печалиться без печали.

Чем больше текло время, тем жена тяжеле чувствовала свою потерю. Исступление миновалось, но печаль овладела ею во всем своем пространстве. Припадки истерические и разные судорожные корчи уменьшались, нервы приходили в прежний порядок, но зато источники слез не осушались по целому дню. Она плакала, просыпаясь, плакала, ложась спать. Молча проводила по целым суткам. Насилу решилась, по настоянию моему, пустить себе кровь в день самых похорон, но два раза секли

5 Зак. № 3975

ей жилы и не могли капли крови добиться — так сжаты были все физические члены. Вот в каком состоянии долго, очень долго была жена моя. Она даже не могла без отвращения видеть сыновей своих, которых несколько дней к ней и не водили, и, чтоб дать определенное и точное понятие о чрезвычайности ее тоски, я скажу, что она охотнее бы перенесла смерть снова мужа своего Пожарского, с которым прижила этого ребенка, нежели смерть Алены. Она охотнее лишилась бы сыновей обоих, а о прочих родных ее и говорить уже нечего, нежели Аленочки. Не было ей замены, все ниже было этого ребенка в чувствах ее. В ней она полагала душу и всю силу любви страстной, какую мы привыкли в романах видеть. Алена была единственный, так сказать, предмет ее забот, попечений, ласки.

Я не хочу отнять и у молодой этой девушки надлежащей справедливости. Она никого так не любила, как мать свою, и никем так не дорожила. Беспрестанно бывая с нею, не скрывала от нее ни одной ребяческой своей мысли, сердце ее было всегда наружи в беседе с матерью. Она была умна, собою отменно пригожа и наполнена прелестей, кои бы могли многих со временем привязать к ней. К несчастью, избалована бывши из детства лаской непомерной материнской, она ни к какому ученью не прилежала путем, и труд всякий был для нее несносен. Главный недостаток ее был самонравие, на которое не довольно действовала родительская строгость. В прочем же она была девушка с дарованиями и остротой.

От чего бы больной ни умер, а лекарь всегда виноват. Многие кричали, что ее уморил Буркарт. Я осмелюсь сказать, что это вздор. Может быть, она прожила бы лишние полгода на руках искуснейшего врача, но сохранить ее от роковой смерти было невозможно. Она с ребячества была нездоровая девочка, и, заимствовавши много худых соков от отца своего, который не сберег своего здоровья, она росла в золотушных припадках и от так называемой скрофули[30]. При первом развитии натуры в ней появилось расположение к чахотке, которое, благодаря вальсам и одеянию полунагому нашего времени, с успехом усилилось и довело ее до последней минуты жизни. Кто бы ее ни лечил, всякий заставил бы нас схоронить ее очень молоду. Хронические все болезни имеют свой предел. Облегчить страдания их возможно, но избавить от них вовсе нельзя никак, и чахотка, как известно, есть чума юных возрастов.

Несмотря на домашние печали, служба везде занимала меня собою. В октябре объявлен был рекрутский набор по городам, и, не знаю, для чего, но полагать должно, что какие-нибудь губернские ссоры положили

новому распорядку причину, велено было нам делить города между собою не по-прежнему, с общего согласия, но прислан был при манифесте лист, в котором назначено, кому из трех известных чиновников куда ехать для набора. Мне по этому расписанию досталось ехать в Муром, Меленки, Суждаль, Судогду и в губернском городе набирать. Эта новость, хотя не совсем, однако, с одной стороны, согласовал[а]сь с моим положением, потому что я в Шую нынешнею зимою конечно бы не поехал, дабы не приближить жены моей к месту, ей отныне навсегда плачевному в ее деревне, в которой она возлелеяла милое свое дитя Алену. Родить, выкормить, воспитать ребенка и в пятнадцать лет уже в землю отнести его ужасно. Высшее зло в природе — лишиться своего порождения, особливо когда оно, как крепкий зуб в челюсти, прирастает к нашему сердцу всеми своими корнями. Мне немудрено было входить в состояние жены моей и чувствовать скорбь ее. Давно ли я сам, как отчаянный, ревел над гробом милой моей и толико достойной Маши?

Еще мы квартировали в доме Боровитиновой, как проездом из Казани остановился в Володимире граф Орлов с женою своею. Он был главным директором лесов и по сему назначению отправлен в несколько губерний осмотреть лесоводство. Громкое следствие о здешних мнимых корабельных лесах продержало его с неделю в нашей стороне. Он входил в ближайшее рассмотрение доносов Епанчина и, судя о вещах хотя не с пылким умом, которого не дала ему натура, по крайней мере, без личной против кого-либо досады, видел ясно, что Арсеньев не следовал, а придирался, и удостоверился по гражданским актам в судебных местах, что Володимирская губерния флоту российскому своими лесами никогда служить не могла и теперь не может. Он много способствовал и в Петербурге к облегчению участи лесных и прочих чиновников, утесненных Арсеньевыми происками. Сие расположение мыслей графа Орлова и для меня было приятно, потому что оно придавало весу моим постоянным заключениям насчет всей Арсеньева процедуры. Граф Орлов с огромным своим штатом отправился от нас прямо на Москву в Петербург, объездивши Казань, всю низовую сторону, Тавриду и Крым. Изрядное путешествие! По словам его, оно стоило ему до шестидесяти тысяч, и я охотно этому верю, ибо он возил с собою и кормил на коште своем множество лесных теористов в ботанике, в натуральной истории, профессоров и студентов. С ним был у нас и старик Пиллисиер. Граф Орлов — один из богатейших людей в России, для него такие издержки незначущи. Соразмерна ли была им польза для государства от его осмотра, этого я не

знаю, и рассуждать о том не мое здесь дело. Говоря во всех сих листах о том, что со мной самим связь имеет, я скажу, что взгляд его на здешнее лесоводство был благодетелен для пострадавших от меча г. Арсеньева, а мне собственно он оказал много ласки: неоднократно в смутное время нашей печали домашней посещал меня, и я бывал у него каждый день. Жена его, по натуре ли, склонной к уединению, или по каким неизвестным мне причинам, никуда из квартиры не выезжала, и всякий вечер я заставал ее под видом нездоровья играющу в бирюльки с Пиллисиером и некоторыми иностранцами из графской свиты. Многие дамы в городе, вспомня милости графа Салтыкова, отца ее, который некогда здесь был генерал-губернатором, хотели из уважения к памяти его к ней приехать, но она решительно никого не приняла и уехала из Владимира, ни с кем в нем, кроме нас, не видавшись. Дом графов Орловых всегда был в приятельской связи с семейством тестя моего Безобразова, который в древние времена закладывал свои вещи за графа Алексея Григорьевича, когда сей был еще напольный бедный офицер. Но все это забывается скоро, и вельможи теряют идею о том, что мы, простолюдины, называем приязнь. Граф Федор Григорьевич был отец крестный жены моей, и некоторые подобные случаи поддерживали еще между стариками Орловыми и тещей моей какое-то холодное знакомство только для одной благовидной наружности.

По выезде от нас графа Орлова пора было думать об отъезде по городам для набора, и я после трех недель со дня кончины Алены расположился выехать прямо в Муром. Я не намерен был жены одной оставлять дома, это бы удвоило ее тоску. Дорога и перемена мест способствуют к облегчению всякой печали. Итак, мы вместе отправились за Клязьму с намерением, в тамошних трех городах Муроме, Меленках и Судогде сделав набор, к половине декабря воротиться. Вице-губернатор отправился в города приречные: Ковров, Вязники, Гороховец и Шую, а губернский предводитель — в ближайшие к Московской губернии. Итак, все мы в ноябре разъехались.

Но прежде выезда иностранцы мои доставили мне разные беспокойства.

Приметив неспособность мадамы Шультес воспитывать дочерей моих, я ее отпустил и попал снова в затруднение сыскать другую. Редко можно было попасть на хорошую. Венц, который никогда не хотел меня оставить по стечению своих собственных обстоятельств, довел меня до необходимости с собой расстаться. Женившись на немочке преглупой, которая, ничего на знача, имела нрав упрямый и ревнивый, он до того

допустил ее овладеть собою, что все ее капризы приросли к нему, и он по приезде из чужих краев постепенно становился несноснее. Она за все сердилась, за кусок сахару, за свечной огарок, и волновала его поминутно, а он, когда находили на него горячие минуты, смягчал досаду напитками. По вечерам сходились к нему немцы, его собратия. Когда он отучит детей, примется с приятелями за бостон, жена его подваривает пунш и брюзжит, и он мало-помалу так привык к этой жизни, что перестал даже ходить к нам в покои и очень часто бывал пьян. Это подействовало на его здоровье. Он стал трястись, не мог стоять твердо на ногах, подвергся полному расслаблению и после первых родов жены своей уже редко мог пройти по комнате, не придерживаясь стен или не облокотясь на слугу. В таком видя его состоянии, я всякий день ожидал или кончины его, или необходимости отлучить его от детей, ибо он становился более вреден для них, нежели полезен. Итак, скоро после смерти Аленочки, почти в первых днях, Венц от нас отошел. Жена его за что-то взбесилась. Он зашумел, стал докучать мне и всему дому. Нам было не до того. Это пуще меня тронуло, что он не соблюл даже того ко мне отношения, чтоб не тревожить меня из вздора в такое время, когда обстоятельства домашние препятствовали мне и себя самого во многом удовлетворять, не только думать о прихотях его жены, и после жаркого объяснения между нами я отпустил его, и он меня оставил. Новые хлопоты — искать учителей для сыновей, а без присмотра их самим себе поверить было невозможно.

Признаюсь, что мне Венца очень было жаль. Напоминая себе все время его у нас пребывания, я видел в нем не площадного иноземца, каких у нас много, но человека с правилами, оказавшего мне не только услуги, но даже и одолжении уважительные. Поступок его со мною во вдовстве моем, когда он снова приехал ко мне в дом, есть поступок самый благородный. Он детей моих в чужих краях поддерживал собственным своим капиталом из имения жениного в тесное время войны, когда я никакого им не мог сделать перевода, и пожертвований таких я никогда не забуду. Пусть он и знал, что деньги его не пропадут за мной, но не всякий отважил бы так охотно свою собственность. Правда, что и я, по уважению к нему, заплатил все по его счетам без рассмотрения. Он мне представил их по приезде. Итог был гораздо выше того, что я предполагал употребить на сие предприятие. Мы с ним обольстились пустыми выкладками. Война и общее расстройство в Европе денежной звонкой монеты далеко нас увлекло от наших смет. Словом, путешествие детей моих на мою

одну долю, не считая Лачиновых, стало мне в тринадцать тысяч, и, задолжавши сверх переводов моих пять тысяч, я занял их и расплатился с Венцем без малейшего шуму, не так, как госпожа Ланская, которая, злословя его еще прежде возвращения его из Геттингена, удостоивала и меня укоризне за излишнюю ее ко мне доверенность. Она была свободна посылать детей своих с моими или нет, верить моему выбору или искать сама им путеводителя. Вся ее досада оборвалась на мне, я этого и ожидал, но, по милостям ко мне ее дяди и по ласке ее матери, я не мог отказать ей в присоединении детей ее к моим, когда дело шло о путешествии сих последних. С моей стороны, я никогда бы не расстался с Венцем, и он, верно, умер бы у меня в доме, но глупая и несносная его жена сбивала его с пути, поминутно бесила его за всякую мелочь и сделала ему жизнь так несносною, что он спился совершенно. От меня он поехал в Москву, принялся к кому-то в деревню, писал иногда ко мне трогательные письма, жалел о разлуке со мной и года два спустя после того, как вышел из моего дома, умер параличом, чего и ожидать было должно. Я во всю жизнь мою буду помнить о заслугах его перед нами с чувствительнейшею благодарностью и сожалеть о слабостях, коим он себя поработил при конце дней своих.

Отправивши набор рекрут в трех уездах за Клязьмой и обязан будучи заняться им в губернском городе, воротился я из Мурома в половине декабря и перевез жену свою, совсем изнеможенную от печали, на новую квартиру. Совестно было долее жить у Боровитиновой. Мы ее собой крайне стесняли. Она снисходительно терпела свои беспокойства, тем неприличнее было для нас продолжать их без нужды и без выгоды для нее, ибо она не из найма, а из сердечного расположения отдала нам свою квартиру. Желая переселиться поближе к старому нашему жилищу, чтоб приспособить свидание с детьми и удобность прислуги, я нанял домик госпожи Хрулевой, в котором еще теснее поместились, чем на прежней квартире, но по крайней мере ближе были к нам дети и вся наша дворня. Целая улица почти сделалась нашей залой. На двух и трех квартирах расположено было наше семейство, и я переходил через улицу то туда, то сюда, как будто бы через коридор, по нескольку раз в сутки. Люди жили в одном доме, дети в другом, канцелярия в третьем. Вот сколько беспокойств проистекало от одного случая, да и у самой Хрулевой нам невозможно было долго жить, ибо, кроме тесноты, холод был страшный, и мы ожидали, что двор обер-форштмейстера очистился от постояльца, дабы его нанять и там до губернаторского дома расположиться порядочным

образом. Живучи у Хрулевой, я, по обыкновению моему, говел к 24-му числу и в самый первый день праздника, который усугубил женины душевные страдании, увидел я у себя в доме гостя, тронувшего самого меня до слез. Это был сибиряк, г. Бобровский. Надобно с этим проходящим историю мою лицом познакомить читателя.

Отец Бобровского был в Сибири комендантом той крепости или острога, в котором дед мой и весь род наш томился в ссылке в Березове. Под присмотром доброго этого старика предки мои ощущали некоторое спокойство. Он оказывал им доброхотство и сострадание. Для невольника чего больше? Сын его, там родившись и состаревшись, также помнил бабушку мою, помнил отца моего и все наше семейство. Я во младенчестве часто слыхал об нем, но терял надежду увидеть его когда-либо, потому что он не выезжал из Сибири. Случай часто сводит людей весьма нечаянно. У этого Бобровского одна была дочь и отдана за Хитрова, который переселил ее в Москву и в нашей стороне прижил с ней дочь Серафиму. Девушка эта воспитывалась в неге и росла как дитя, которое со временем ожидало получить до тысячи душ. Богатство всем нравится. Племянник мой родной, сестры покойной сын старший, граф Андрей Петрович Ефимовский отыскал ее, посватался и женился. Дед их Бобровский, узнав, что племя его соединилось с родом тех самых Долгоруких, кои под присмотром отца его жили в ссылке, рассудил приехать в Москву, взглянуть на новое это семейство и вместе с зятем своим, а моим племянником, остановился в Володимире на пути в Сибирь, куда он поворачивался умереть. С какими радостными и горькими слезами видел я этого почтеннейшего старичка, выслушивал, не пропуская ни одного слова, с жадным вниманием из уст его повесть о временах прошедших, о ссылке моего деда, о услугах, оказанных ему его отцом. Он, видя меня впервой отроду, плакал, напоминая историю младенческих лет отца моего, и я на каждом ему вопросе захлебывался и не мог напитаться его беседы. Всякий посетитель был для меня лишний. Я, кроме его, никого не хотел ни видеть, ни слушать, и весь первый день Святок проведя с ним почти глаз на глаз, я назавтра простился; уповательно, навсегда. Он привык к Сибири, она казалась ему землей обетованной. «Добрый, интересный старик, счастливый путь вам, — сказал я ему, — не забывайте потомства сибирского невольника. Бог благословит вас в отраслях ваших за все то добро, которое родитель ваш не погнушался оказать жившим у него в узах деду и отцу моим». Мы бросились друг другу на шею и с мокрыми глазами распрощались. Боже! Как неиспытанны судьбы Твои!

Думал ли любимец Петра Второго, князь Иван Алексеевич Долгорукий, что некогда дом его свяжется узами родства теснейшего с поколением коменданта сибирского острога? Все расстоянии соединяет рука Всесильного! Все возможно тому, кто от камней воздвигнуть силен чада Аврааму. Племянник мой, проводя деда своего, воротился к жене и теще в Москву.

В последних днях года получил я от сенатора Обрескова из Казани предписание, в котором объявил он мне именное повеление, на имя его состоявшееся, обозреть на основании сенаторской инструкции все губернии, лежащие на возвратном его пути из Перми. Сей указ объявлен был от него и Губернскому правлению с требованием, чтоб заготовлены были ведомости нерешенным делам и на запросы его, из сорока пунктов состоящие, чтоб доставлены были достаточные ответы. Догадываться можно было, что сие поручение сделано ему по ходатайству князя Лопухина, с которым он был в самой короткой связи. Обрескову хотелось значить и не простым сенатором ехать назад к своему месту. Он был тщеславен и искал пищи своему честолюбию. Имея право ревизора, везде его встречали, везде и провожали. Иногда самые мелкие причины действуют на людей умных. Казалось бы, чему радоваться, что в прихожую натеснятся разные чиновники, из коих по уму, просвещению и навыкам многие, право, не лучше холопей себя представляют, а слуг в ливрее богатый господин может нагнать в сени свои пропасть. Та же будет толпа и шум. Но нет: многих занимает то, что советники, асессоры, председатели ждут в передней, пока такой-то превосходительный барин изволит примеривать ордена свои и смотрит в зеркало, где пришпилить ленту булавкой, чтоб она наружный вид его украшала. Так сотворены люди. Посмеемся над ними, но бросим суетную мысль их переделать. Ни Соломонова премудрость их не переменит. Писатели всегда будут суету бранить, а суета, как пыль, всегда ложиться станет на наше сердце.

Бумаги г. Обрескова задали нам работы. Мы плотно ими занялись, а я, распределя упражнении, сообразные его требованиям, поехал в Суждаль с женою вместе исправить там набор. Я везде ее таскал с собою, чтоб она не задумывалась. В четыре дни прием там отошел. Люди заранее были свезены. Итак, я тут кончил год и начал новый, чтоб удалиться от излишних поздравлений и приветливостей, кои бы к нашим пасмурным лицам не пристали.

Так совершился год, наполненный случаев неприятных. Но который был прямо счастлив?! Давно уже я не считал их; за одним благополучным событием текли многие скорби и напасти. В течение одиннадцати

месяцев, как то случилось ныне, потерять двух дочерей, одну в двадцать, другую в пятнадцать лет — удар несносный, убийственный. Бог один силен подкрепить в злоключениях подобных. Ему да повинится душа наша. Он разит и утешает. С сим надежным упованием приступим к новому поприщу жизни.

1810

Новый год начали мы печально в Суждале, где я доканчивал рекрутский прием, и воротился в губернский город. Там, во ожидании лучшей квартиры, опять рассеялись мы все по дворянской улице и заняли дом госпожи Хрулевой. Тесная самая квартира. Пока мы, уединясь от всех, горевали свое горе, в городе происходили разные по домам явлении. Инде веселые, инде печальные. Во все годы моего пребывания в сей древней столице не было столько свадеб и похорон по переменкам, как в настоящей зиме. Прекрасная Ладыгина шла за угрюмого и хворого Шипилова, уездного судью, с тем, чтоб скоро заставить его рога носить. Под венцом она была ангел красоты. Богатая сиротка Болдырева[1], ускользнув у многих женихов, из которых, по правде сказать, не было ни одного степенного, выдавалась наконец, по коммерческим расчетам старой своей тетки и попечительницы, за прыткого и молодого детину г. Языкова, не служащего нигде и охотника до лошадей и до карт, который дал преогромный свадебный пир и потом редко потчевал гостей в своем доме. Хозяйка наша, старинная кокетка и пожилая прелеста, на том бале явилась в стеклошках, фольгах, бисерах и всех древних нарядах, коими пленялись волокиты веков прошедших. Тогда-то я выпустил насчет ее песенку, из которой у всех в устах и на памяти остался следующий куплет:

Мила, когда танцует,
И, важный вид храня,
Собою образует
Персидского коня.

Резвая Карякина, богатая невеста, шла за владимирского исправника[2] и с улыбкой под венцом обещалась ему любить его всех меньше. На этой свадьбе я был отцом посаженым и во всю жизнь мою не едал столько сахару, как на их пирах. Жених был нашего полку непригожих молодцев, а

она некогда в балетах танцовала в характере Купидона. Итак, Амур соединялся с лешим. Повторение брачного союза Венеры с Вулканом[3].

Несмотря на нашу мрачную печаль, и в нашей семье готовилась свадьба. Племянница жены моей по первом ее муже, Пожарская Александра Ивановна, дочь покойного Ивана Филипповича, помолвила за Феттера, старого моего клиента, которого отец оказывал дому нашему врачебные услуги, а сам он при мне в Пензе был миропомазан из лютеран в наше исповедание, был женат уже один раз, овдовел в Володимире, разбросал трех дочерей по жениным родственникам и, чувствуя себя еще в поре, задумал жениться на молоденькой Пожарской. Рассудок мало участия имел в этом союзе. Здесь, с одной стороны, побуждала природа, а с другой — вожделение, произведенное красотою. Она в самом деле была пригожа, и это казалось жениху достаточным приобретением, хотя прелести сопровождались очень убогим состоянием. Но любовь в расчеты не входит.

Тут смех, восторг и восклицании, а в других домах плач и сетование, подобное нашему. У Дурова хоронили жену; барыня нехитрая, но добрая, обходительная и о которой жалели все честные люди. Муж ее по размеру и правилам этикета печалился, плакал и одевался. Тотчас после нее отвезли на кладбище достаточную и молодую вдову госпожу Языкову, о которой соболезновали игроки, потому что в ее доме с утра до вечера не снимались карты со стола и во всякую игру забавлялись. Попы расхаживали по улицам на морозе и с улыбками брали деньги за тела бедных сих барынь, которые век свой отжили.

Казалось бы, судьба после нанесенного нам последнего и чувствительного удара могла на время дать нам отдохнуть, но раны сердца не скоро заживают, особливо когда растравливаются новыми огорчениями, как икры после шпанских мух горчичными накладками. Несчастная Караваева, сестра жены моей, лишилась единственной своей дочери. Машенька ее, счастливая супруга Хметевского, родя сына, от следствий родин в Москве скончалась. Сверстница нашей Алены. Смерть ее сильно подействовала на утомленную жену мою, которая не умела мужественно переносить моральных злоключений. Вместе с таким черным известием разнемоглись у меня сперва сын Александр, а скоро за ним дочь старшая. У обеих были горячки нервические и довольно важные. Лечил их Буркарт, а иногда и все вдруг медики собирались, и, благодаря Бога, исцеляющего, когда угодно ему, вся недуги наша, оба они выздоровели и скоро оправились. Тяжело было для меня время их болезни. Я приучен к

искушениям сердечным, но нет такого каменного сложения, которое бы при столь постоянных случаях к печали не дрогнуло и не почувствовало в себе самом потрясения. Хвала тебе, Всевышний! Ты от новых скорбей избавил тогда объятую мрачною тоскою душу мою. Буди и впредь единое мое прибежище и сила!

С нынешнего года переменился образ верховного управления в Петербурге[4]. В конце прошедшего государь приезжал на короткое время в Москву, препроводил в ней день своего рождения 12 декабря и был сопровождаем общими восклицаниями[5]. Восторги выходили из всякой меры. Барыни разорялись на наряды, дворяне кувыркались наперерыв. Народ не давал проезда царскому коню по улицам и, кидая по пути пред ним платки, целовал стремена. Попы звонили, как на Святой неделе, словом, торжественнее царского гощения в Москве нельзя ничего вообразить. С государем приезжала и великая княгиня Екатерина Павловна из Твери. Она была принята столицею с восхищением, равным тому, какое оказано брату ее. Москва издавна любит изумляться, а владыки российские тешатся охотно ее простотою. По отъезде государя все утихло и никто не подозревал новости в правительстве, как вдруг потребовались рескриптами сенатор Дмитриев и давно живущий в отставке граф Разумовский, который с некоторого времени, вступя в службу, занимал место в Москве попечителя учебного округа и начальствовал над Университетом.

В самый первый день генваря открылся торжественным образом новый Государственный совет. Государь при сем случае говорил речь, которой, однако, никто не читал. Совет разделен был на четыре отделения по роду дел и наполнен был тридцатью шестью членами. Каждое отделение или департамент имел своего председателя, а весь Совет — одного президента, который держал первый голос, когда государя не было в присутствии. Старые министры перестали надоедать государю своими угрюмыми морщинами и переименовались в президенты департаментов. Военные дела от Аракчеева принял Барклай де Толли и назван министром. Таким же образом поступили на места: князя Лопухина в министры юстиции — г. Дмитриев; графа Завадовского — граф Разумовский в министры просвещения; министерство коммерции уничтожено, и граф Румянцев с званием канцлера сел в креслы председателя Совета[6]. Министр князь Куракин, посланный в Париж приветствовать Наполеона с бракосочетанием его с цесарской принцессой, которую он взял за себя, разведясь публично с Иозефиной, старой своей супругой[7], пышный князь Куракин, удаленный под предлогом сим от двора, очистил свое

министерское место, на которое шагнул его товарищ Козодавлев. Прочие члены Совета расписаны по департаментам, а иные, как например граф Салтыков, граф Строганов, оставшись при титлах членов Совета, ничего не советовали; или не ездили в полное присутствие, или, приезжая, подписывали молча все акты государственные. Тогда стали как блины выходить разные умозрительные и теоретические системы, которые, чем темнее были писаны, тем превосходнее казались. Надобно ли сказать, кто затирал всю эту брагу? Сперанский, сделавшись вдруг и открытым образом первым лицом в государственном управлении, приспособил к себе новую должность и наименован государственным секретарем, наподобие такого же во Франции, которого представлял Марет, ибо тогда все перенималось у Наполеона: и тактика, и судопроизводство, и хитрое искусство обмана. Новая должность сблизила более, нежели когда-нибудь, Сперанского с государем. Он совершенно овладел его помышлением, и тот не мог с ним расстаться. Не было дела, не было бумаги, которая, как через чистилище, не проходила руками Сперанского прежде обличения ее в юридическую форму. Канцелярия и образ производства дел в Совете так были устроены, что Сперанский как секретарь все видел, читал, подносил государю в кабинете, провозглашал в присутствии Совета и, наконец, выпускал в мир крещеный. Правою рукою его и главным сотрудником был Магницкий. В прочем все председатели и министры казались нулями и действительно не смели быть гласными буквами. Публика петербургская, старая и подлая рабыня, сперва пленилась обновкой, но, увидя тяжеловесную мочь Сперанского, задумалась и начала шептать, что все это худо, однако никто не смел говорить о том вслух, и под новым изречением, принятым в обычай, «вняв мнению Государственного совета», начал Сперанский выпускать именем государя свои пышные вымыслы в школярном слоге. Москва в первом движении рукоплескала всему и ожидала от Совета новой конституции, новых прав, твердого гражданского благосостояния, но когда увидела, что это химера, стала своим старинным манером болтать, шуметь и запивать горе свое шампанским на лакомых обедах и в клобных домах. Примечено, что когда Москве тошно, то она кинется в мотовство и непомерною роскошью как бы старается вознаградиться в своих досадах на правительство, которое, с своей стороны, приучась к бесплодному ропоту старой столицы, пренебрегает ею и ее разглашениями.

На наши места перемена столь важная не имела никакого влияния, потому что все судилища под Советом, начиная с Сената, остались не-

прикосновенны в прежних своих обрядах. Один только собственный наш начальник уважителен был для губернаторов. Козодавлев был всегда ко мне благосклонен, и я находил более приятности зависеть от него, нежели от Куракина, который гордостью своей давил все под собою. Козодавлев, может быть, меньше готов был облагодетельствовать и услужить, но мягче обращался, прост был в отношениях и тем уменьшал тягость моего положения. Письмоводство так же пустое, как и при предместнике его, не столь было плодовито. Минуты роздыха стали чаще чувствоваться мною. Я скоро привык к новой методе, а сын мой в Козодавлеве нашел более участия к себе и ласки. Итак, вся эта перемена не принесла для меня ничего беспокойного, а приятностей я уже давно не ожидал ни от каких переворотов, потому что служба наполняла всегда и везде путь жизни моей тернием и волчцами[8].

Вспомним, что сенатор Обресков давно уже благовестил нам о своем приезде. Он у нас отнял лучшее время года для забав, проведя масленицу до последнего дня в Володимире. Во всякую пору труды гражданские сопряжены с тягостью, а в такую бешеную неделю они мучительны. Мелкий канцелярский народ обыкновенно с четверга пьет без просыпу до первых преждеосвященных обеден[9], а тут надобно было держать их под караулом, чтоб все, требуемое Обресковым, было готово. Он от природы имел нрав горячий и нетерпеливый. Приказавши что-нибудь поутру, хотел, чтоб к вечеру было ему подано. Приступ его к ревизии имел вид самый грозный. Он был из тех людей, кои считают, что без шуму нельзя приобрести уважения. Старая метода пугать подчиненных казалась ему наилучшею, и действительно, он гордостью своею наружною и криком привел всех в крайнюю робость. Если б я его давно не знал, я бы и сам испугался его суровой встречи, но мы вместе учились некогда и верхом ездить, и фехтовать, и это сотоварищество еще не терялось в памяти его, хотя он и надо мною любил повеличаться. Первое его требование состояло в том, чтоб все места присутственные подавали ему рапорты. Мне казалось это неправильно, и я хотел было удержать право Губернского правления, о котором сказано в Учреждении, что оно, кроме императорского величества и Сената, не подает никому рапорта и ни от кого указов не получает, а поелику лицо сенатора не могло нам давать указа, в какую бы мочь оно облучено ни было, следовательно, кто указа дать не может, тот и на рапорт права не имеет. Я говорю о присутственном месте. Однако я не рассудил заводить из этого спора, зная, что мы не в том веке живем, в котором бы сии тонкости приказного порядка на-

шли защитников. Итак, я завалил г. Обрескова рапортами. Все вопросы его были очищены, и он ими остался доволен. Дни два проведя в разборе бумаг приватно, открыл он практическую ревизию в трибуналах и, начав с нижних мест, осматривал на закуску Губернское правление; инде сердился, и до такой вспыльчивости, что даже бранил чиновников, инде проводил время своего осмотра без всякого волнения. Явлении поминутно менялись, так, как и цвет его лица. Каждое утро было время испытания для всякого. Экзамены наши продолжались часов до четырех за полдень, потом всякий почти день обедали мы или у него, или он у нас, а к вечеру, чтоб не портить масленичного порядка, ежедневно во всю неделю были балы или в публичных местах, или частных домах. Жена не принимала в них никакого участия, и положение ее давало мне очень хорошие причины уклоняться от пиршеств в собственном моем доме, но вне оного я везде был около Обрескова, как Луна около нашей земной планеты. Обресков привез к нам с собой жену, совершеннейшую красавицу, и множество молодых людей, кои оживотворили общества вечерние. Девушки наши плясали, а пожилые люди выучились играть в курочку[10] и забавляли ею сенатора, который преимущественно любил эту игру. Я, не очень будучи охотник до карт и всегда пленяясь красотою, подносил госпоже Обресковой стишки, кидал экспромты ей под ноги на балах. Обрескова была женщина, следовательно, охотница до похвал. Осанка ее, черты лица, важность в выступке и благородная простота во всех движениях всех к ней привлекали. Она смягчала ввечеру своей благосклонной улыбкой те грубости, кои из уст супруга ее выскакивали по утрам на каждом месте его посещения. Но, при всей запальчивости его, он не делал никому зла. Рассердится, нашумится досыта и после со всеми обойдется очень ласково. Он был ужасен утром и любезен при свечах. Малейшее противуречие выводило его вон из себя, и кто отходил молча, тот не подпадал его гневу, хотя, правду сказать, иногда тяжело было с ним соглашаться, ибо не все его выговоры были основательны. Не проходило дня, чтоб он нас не посетил. Мы уже в то время переменили квартиру и жили в доме обер-форштмейстера, в котором расположиться могли просторнее и накормить по крайней мере первостатейных чиновников города.

Говоря собственно о ревизии, я находил, что он слишком привязывался к мелочным канцелярским обрядам, и форма занимала все его помышлении. Хорошо наблюдать и за нею, но, кажется, при осмотре губернии должны уважаемы быть и соображении другого рода. Я не срав-

ню осмотра его с осмотром графа Головкина ни в каком отношении. Этот экзаменовал во мне начальника губернии, а Обресков секретаря. Нет мне причины на него жаловаться, он со мною был скромен, вежлив и нигде не довел меня до необходимости дать себе почувствовать, что я в государственном штате равный с ним ношу чин, будучи только звания различного, но, чтоб не отступить от правды, повторю, что ревизия его была не сенаторская, а приказная. При нем заправлял бумагами сенатский секретарь, который, по счастью, однако, был не из числа завязчивых подьячих и смягчал на письме тон сенаторских словесных отзывов. Слова летят, их не поймаешь, а строка пером производит часто болезненные следствии для самых высших чиновников.

От недостатка ли прозорливости, или от доброго расположения сердца, этого я не отгадываю, но только Казенная палата, наполненная злоупотреблений и деспотически управляемая вице-губернатором, оказалась после ревизии наряду со всеми похваленными местами, и это не возвысило духа в тех, кои не считали себя равными Дюнанту. Честный человек с мошенником никогда не хочет быть смешан.

При ревизии Гражданской палаты Обресков шумел больше, нежели где-нибудь, и хотя причины, к тому побудившие его, были правильны, ибо председатель, доживши до восьмидесяти лет и потеряв не только умственные способности, кои смолоду были в нем не блистательны, но даже худо владея рукою от паралича, привел дела тяжебные в большую расстройку, но здесь на Обрескова действовала не столько справедливость, как личное негодование. У него было дело с князем Прозоровским по землям, в котором Палата, взяв сторону сего последнего, решила его вопреки пользам Обрескова. По мнению моему, ему не следовало бы и смотреть собственного своего дела, но человек редко пренебрегает свою пользу. Он до того рассердился, что прислал за мной и с жаром даже мне выговаривал за беспорядки Гражданской палаты, забывая, что я, как губернатор, не мог направлять решении тяжебных дел ни письменно, ни словесно. Долго он шумел, но я успел его привести в себя, и он, одумавшись, увидел, что таким поступком унизил он совершенно сенаторское достоинство. Однако глубокое впечатление внутренней досады произвело свое действие. Скоро председатель за неспособность к делам от старости отставлен, и с пенсионом, а бедный секретарь московским Сенатом в угодность своему товарищу отрешен от дел[11]. Это одна несправедливость, которой я укорить могу г. Обрескова во всю его ревизию и которая наводит пятно на его нравственность.

Тот же самый доносчик, который завел дело о фальшивых ассигнациях, подал донос Обрескову, что много незаконных выставок[12]. Сенатор сперва в большом секрете обследовал это дело с прокурором и сказал мне об нем только тогда, как удостоверился, что донос ничем доказан быть не может, следственно, дает случай только без пользы марать бумагу и кормить ябеду. Донос препровожден в уездный суд, дело началось по форме и, действительно, не открыто никакого преступления, ибо нет ничего труднее, как строго поступать с таким грехом, который сделался общим. И князья, и бояра, и министры — все были откупщики, и всякий боялся налегать на другого, чтоб самому не попасть под чей-нибудь обух. По-русски сказать, рука руку мыла. Я не был ни поставщик, ни откупщик, но признаюсь, что, убегая злобы больших господ, из которых многие в моей губернии содержали города и уезды, принужден был на эту часть иногда смотреть сквозь пальцы. Обресков сам был в Тверской губернии откупщик и не очень смел шевелить этой струны в Володимирской.

В то же время новые попытки оказались насчет фальшивых ассигнаций. Дошел донос до Петербурга. Прислан оттуда чиновник полиции, но, ничего не открывши и найдя донос основанным на желании наград и прибытков, коими избаловали многих пьяных шалунов по уездам для размножения раздоров внутренних и несогласий между чинами, представил начальству, которое бросило новые сии сплетни без дальнейшего уважения.

В свите Обрескова сопровождали его многие из Нижнего для доставления ему карточного рассеяния по вечерам. В том числе приезжал и старый мой знакомый Полчанинов, который уверял меня, что он для свидания со мной будто бы приехал. Я посмеялся и равнодушно с ним встретился и простился. Никому не хочется быть подлым, а всякий желает услужить большому барину. Трудно согласить и то, и другое.

Прошла масленица, кончилась и ревизия. Обресков в самый день заговенья[13] от нас уехал, оставя всех довольными собой, кроме Гражданской палаты, а красота жены его многих заставила при проводах ее плакать о том, что такое солнце скрывается от глаз наших навсегда. Мы проводили их со всеми возможными почестьми. Он всех обнимал, все к нему прикладывались и, по отъезде его проведя в шумных и свободных катаниях последние часы масленицы, начали думать о спасении души, и попы побежали по домам взывать: «Помилуй мя, Боже!»

Скажем в заключение сего обстоятельства, какие следствии имела ревизия г. Обрескова. Когда она была ему поручена, князь Лопухин еще

правил министерством юстиции и, любя его, давал надежду, что по представлениям его полетят кресты и чины, как грибы из кузова. Во время путешествия Обрескова обстоятельства переменились. Министр юстиции стал Дмитриев, младший сенатор из всего московского Сената, следовательно, моложе и Обрескова[14]. Переменился ход бумаг. Отношении его стали приходить не к Лопухину, а к другому, не имеющему той с ним связи, какую хранил светлейший князь. Итак, все представлении Обрескова остались безуспешны у двора. Ему сказали спасибо за труды, и все, что он мог выходить в удовольствие чинам, коим обещал на пути разные награды, состояло в дозволении объявлять именем царским благоволение всем тем местам и чинам, кои им были рекомендованы. Вдруг с одною почтою получено несколько дюжин к нам предложений и писем от г. Обрескова, в коих он изъявлял почти всему городу монаршее благоволение, и, к удивлению прямо насмешному, губернатор сравнен был с секретарем своим и лекарем, потому что как мне, так и Поспелову, и Буркарту Обресков в особом письме на имя каждого писал одно и то же. Это значило не столько пренебрежение к начальнику губернии, как недостаток внимания к г. сенатору, от которого ему было и стыдно, и больно. Новый опыт, что все относится в России к случаю: нравится ли чиновник, все хорошо, что ни представит, и самое дурачество получает одобрение, а если забыт или постыл, тогда самая справедливость терпит, и заслуга не получает мзды, ей принадлежащей. Новичков это возмущало, а я уже давно смотрел на эти игрушки слепой фортуны весьма равнодушно.

Раздор с Англией из угождения французскому деспоту умерщвлял совершенно российскую торговлю, и, чтоб скрыть жалкую ее картину, правительство старалось заводить внутри государства разные изделии и промыслы. Чтоб заменить колониальный сахар, стали гнать его из свекловицы. Размножали овец, дабы увеличить суконное мастерство, которое более всех других рукоделиев становилось нужно для России, ибо беспрестанно войска умножались и цены на комиссариатские сукна росли чрезвычайно. Чтоб соревнованием унизить частных фабрикантов, прибегли и к Приказу общественного призрения. Министерство поощряло начальников губерний заводить фабрики, выделывать сукна, употребя на разработку их содержащихся по рабочим и смирительным домам преступников. Тогда вышло сие знаменито смешное предписание князя Куракина, в котором, говоря о устройстве подобных фабрик, сказано очень красивым слогом, что и в Филадельфии таким же образом поступают с невольниками. Применить Америку к России в предметах досужества

было еще необыкновенно и ново, но бумага все терпит. Министр знает, что он все писать может и что возражения нет доколе он министр, а там он спрячется так далеко, что никакие упреки или посмеянии его не достанут. Нет нужды, конечно, распространяться насчет неудобств таких заведений в приказах. Кто знает их состояние, положение наших преступников и то, что они беспрестанно меняются по делам и суду, тот с первого взгляда увидит, сколь несообразна такая затея. Я не говорю о всех губерниях, по крайней мере, рассуждаю о ней, приспособляя к управляемой мною. Однако надобно было тешить министра и не отставать от прочих. Во многих губерниях заводились суконные станы, где больше, где меньше, в газетах непрестанно о сем печатали, и я, чтоб не попасть в список начальников небрежных или охотников критиковать виды министерства, принужден был помышлять о фабрике. Но долго боролся с министром на письме, представлял ему неудобства и невыгоды суконной фабрики здесь и не прежде принялся решительным образом за то, как после сильных настояний моего начальства.

Я имею коренным правилом стараться всегда из самого худого извлекать сколько возможно более добра и общей пользы. У меня худы становились домы рабочий и смирительный и тесны для присылаемого числа преступников. Перестроивая их, я соединил с ними фабрику и на восемь станов вытянул огромное строение деревянное на каменном фундаменте с двумя каменными флигелями. Оно довольно дорого стоило Приказу, но он имел достаточный капитал и мог снести сей ущерб без тягости. Заведя столь большое строение, я имел в виду, что ежели когда уничтожат суконные фабрики, кои поддерживал один минутный каприз того времени, то из здешней можно будет сделать обширный и спокойный лазарет, который всегда в губерниях нужен по большому числу больных, привозимых в город и на жительствах своих хворающих без собственных к врачеванию способов. Вот мысль, на которой я основал здание фабрики.

Строение заложено 13 марта в Великий пост при архиерее, который святил воду, орошал ею материалы, восклицал многолетие и отобедал в Инвалидном доме — обыкновенный ход таковых происшествий, которыми наполняются ведомости. Я донес о сем министру и удостоился получить монаршее благоволение, а между тем разослал комиссионеров заказывать станы, искать мастеров, выписывать из низовых губерний шерсть и, словом, снабдиться всеми средствами к тому, чтоб сукно началось ткаться с возможною поспешностью.

Сердце сжималось, глядя на все то, что делалось в провинциях. Радели о сукнах, о каразеях[15], и никто не помышлял о нравах. Очевидно портились люди, и до того доходил разврат, что трудно указать в отдаленных веках нашего отечества на беспорядки нравственные, подобные тем, кои в наши дни открывались. Я не говорю, чтоб не было всегда людей гнусных и непотребных, но никогда так равнодушно на неистовство не глядели, как ныне, и все сходило с рук хитрому скареду. Я собрал несколько примеров происшедших в мое время соблазнительных приключений, чтоб ими подкрепить мое заключение о нравах. Исправлять сердце человека гораздо бы лучше, нежели с утра до ночи ни о чем не помышлять, кроме солдатских штанов и лосинных перчаток.

Предводитель дворянства ковровского, дворянин Рогановский, человек уже возмужалых лет, живущий в разводе с своей женой и способный к отправлению разных поручений, просил архиерея о формальном разводе его с женою, но, потеряв терпение, решился, не дождавшись успеха в начатом деле, обольстить молодую, благородную девушку и от живой жены женился на ней самым наглым образом, не скрыв почти ни от кого своего поступка. Молва меня о нем известила. Я досадовал, но ничего по одним сказкам предпринять не мог. Вступил донос от благочинного[16]. Я вытребовал с него копию у архиерея и на сем документе основал представление к министру, который доложил государю. Велено предводителя сменить и отдать под суд[17]. Едва начался он, как все опрокинулись на меня и утверждали, что я, не справясь с правдой, писал об этом к министру. Чем больше меня винили, тем сильнее я нападал на свою жертву, потому что отнюдь не хотел в справедливом деле почитаем быть за лжеца и клеветника в донесениях государю. Архиерей дело тянул и склонялся на сторону двуженца. Я разорвал с ним тотчас знакомство и запретил Рогановскому въезд в мой дом. Он думал, что я презрю этим, посержусь для одной формы, и все обойдется, но для меня нравы всегда были столь же священны, как и религия. Он ошибся в своем расчете и, когда увидел, что никакие в пользу его заступлении подействовать на меня не могут, начал отражать меня на письме запирательством. Консистория, в явный соблазн благонравию, призывала его, допрашивала для формы, довольствовалась отрицаниями, зная сама, что они лживы. Родственники его и прочие, призываемые во свидетели, все почти присягали, целовали крест и отходили игрою слов, говоря, что они на свадьбе не были и, следовательно, не знают, венчался ли он. Таким образом можно поклясться и в том, что я не знаю о смерти Петра Первого, потому что при погребении

его не был. Такие насмешные отзывы входили в дело и служили средством духовным властям под видом формы ни править, ни винить решительно Рогановского. Словом, дело тянулось года два и ничем еще не было кончено, как Рогановского свои собственные люди убили до смерти[18]. Сие последнее злодеяние совершилось после меня, и тогда все закричали, что он точно был женат, да и не на двух только, а на трех, коих всех по имени называли[19]. Вот как портились люди! Никто не говорил правды, всякий стоял во лжи, когда она была полезнее истины, с крайним пренебрежением ко всему святому. Присяга становилась игрушкой, и человек, сильный в покровительстве, мог отваживаться на все без боязни.

Некто Кайсаров, дворянин пожилой и богатый, а к тому родственник светлейшего князя Лопухина, овдовевши от трех жен, не мог жениться на четвертой, но мог еще любодействовать[20]. Он имел девку и от нее детей. Ребят сих крестил младший сын его по первому браку[21]. Вздумалось старику усыновить детей побочных. Он просил государя Павла. Тогда каким-то правилом постановлено было позволять усыновление сие, когда брак покрывает грех, но здесь, поелику случиться это не могло, то и отказано. Что же Кайсаров выдумал? Он женил восприемника побочных детей своих и своего сына родного на матери их, а своей наложнице и навязал ему всех этих подкидышей. Слыхал ли кто такое развращение гнусное и прямо богомерзкое? Я, узнав о том, и узнав не по слухам токмо, но по рапортам предводителя[22], тотчас представил. Бумага моя брошена, и мне ответствовано, что ежели духовные власти в это не входят, то бы я с моей стороны следствий не чинил. Какая явная и постыдная понаровка самым низким преступлениям! Я принужден был замолчать. Архиерей немножко пошевелился, начал дело и протянул его без конца до тех пор, что и старый, и молодой Кайсаровы померли от сладострастия и пьянства, и наложница, попавши по муже в дворянство, получила за беззаконии свои законную часть имения и лучше стала жить многих добродетельных женщин. Бедственны те времена, в кои теряется правило чести.

Что могло также быть позорнее связи прокурора Бута с семейством Лопухина? Жить с матерью, венчаться с дочерью, иметь публично детей от тещи, которая в этом роде не уступала никакой Мессалине, и, наскучив поношенной этой бабенкой, тихонько любиться с законной своею женою и иметь детей также от нее. Какое неистовство! Все это делалось в глазах моих, все это я знал и, не имея доказательств — да и как их можно иметь в подобных случаях? — принужден был сносить, молчать,

да еще для благопристойности видаться со всем этим гнездом людей развратных. Сколько тут происходило драк, ссор, междоусобий семейных. Я всякий день ожидал, что кто-нибудь удавится или кого-нибудь зарежут. Я обнаруживал иногда мое отвращение, а удалые люди, которых всегда больше, нежели хороших, бранили меня за то, что я во все ввязываюсь и никому не даю покою. Правда, что я не любил давать покою людям мерзкого поведения и подлого духа, зато и терпел много от сволочи. Но я не жалел о том, а делал прямое свое дело. Казалось, всякий старался позатейливее выдумать шалость. Уединенный дворянин и старинный помещик Макаров жил в своей деревне, как будто философ, читал книги, писывал записки на цветных листочках, убирал свою усадьбу и, согнав жену свою с двора, любился с ее мачехой. Какая странная выдумка и едва не единственная ли в своем роде? Об этой скромной проказе дошли, однако, вести мимо меня к государю. Пожаловалась его жена. Велено мне исследовать, разобрать и донести. К кому я ни писал о том, никто на бумаге не дал мне свидетельства, чтоб это было справедливо. Всякий знал про их связь, они жили в одном доме, но на письме всякий показывал, что он ничего не знает. Собравши все отзывы дворянские, я представил их, и дело кончилось ничем, а Макаров без препятства продолжал свою подлую интригу. Должно признаться, что и в самых слабостях наших есть степени, из коих иные требуют снисхождения, потому что грех всем естествен, но другие столь постыдны и мало обыкновенны, что не заслуживают никакого помилования. Макаров, однако, в полный голос смеялся над моралистами и жил своим манером.

Некогда одна бедная мать из дворянок, сестра известных по Владимирской губернии нахалов по фамилии Барыковых[23], просила Губернское правление о возвращении ей дочери, которая, бросив ее, живет у родных братьев. Жалоба оказалась справедлива. Губернское правление приказало дочери обратиться на жительство к матери, но дочь, не послушавшись, принесла жалобу в московский Сенат, говоря в оправдание свое, что мать ее ведет жизнь соблазнительную, и потому она к ней воротиться не хочет. Сенат нарядил следствие. Поручено оно губернскому предводителю. Этот дал ему такой вид, какого хотелось Барыковым. Мать изображена негодяйкой, и Сенат не постыдился указом велеть дочь, бежавшую от матери и дерзнувшую поносить ее, оставить у дядей холостых. Правда, что мать была дурного поведения, но давало ли сие право отнять у нее дочь и отдать дяд[ь]ям, и почему дочери приличнее казалось кормиться у них, нежели у матери? Средство здесь надлежало из-

брать совсем иное, но Сенату оно не вошло в голову, потому что он ни о чем не рассуждал. Все это выводило меня из терпения, но время и нравственность века требовали, чтоб я молча переносил такие насильства со всех сторон.

Вот до чего доходило поведение дворянское, а везде были училища, пансионы, университеты, все хвастались просвещением. Признаем непреоборимую истину, любомудрием настоящим основанную, что там, где портятся нравы, гибнет всякая правда, а с ней потрясаются и падут самые сильные царства. Общая участь всех монархий от начала миробытия. Но нас такие примеры не учат, и так, как яблоко по физическим законам тяготения, сорвавшись с дерева, падает на центральный пункт своей площади, так государство, отставши от всех моральных корней, кои держат его на высоте славы и могущества, горизонтально падает в ужасные пропасти политического зла.

Мы имеем в России совестный суд. Но где его польза, когда вместо всех сих плотских преступлений, которые колеблют душу, сердце и благонравие и кои действительно нигде бы не должны были судиться, как в этом трибунале, с некоторыми необходимыми ограничениями, совестный суд разбирает только пустые басни о колдунах и кликушах. Наименование судилища важно, а действие несоответственно и низко. Было бы, говорят, хорошо написано, да громко, а до прочего дела нет. Отворотимся от таких несчастных заключений, которые с крайним успехом все семена благосостояния в России развеяли.

Печали более всего нас изнуряют. Едва ли болезни телесные могут равняться с душевными. Я в новом опыте, глядя на жену, удостоверялся, что сердечная тоска помрачает дни жизни. Лучшее лекарство — рассеяние, но где его искать в провинции в таком степени, в каком оно нужно к облегчению сильных огорчений? Путешествие — самое вернейшее средство, но в чужие краи ни состояние мое, ни положение не позволяли задумывать. Я решился проситься на три месяца в отпуск с тем, чтоб для поправления своего будто бы здоровья ехать к водам целительным в нашем отечестве. Вот предлог, какой я дал правительству. Тотчас после ревизии Обрескова я отправил мою просьбу, а его просил похлопотать об успехе, но сие вовсе было ненужно, ибо без его предстательства Козодавлев, будучи ко мне хорошо расположен, выпросил мне на три месяца отпуск, разумеется, с вычетом жалованья (я не из числа был тех счастливцев, для которых что-нибудь делалось из милости). Долго я, пославши просьбу об отпуске, боялся, чтоб злодеи мои у двора не

подработали мне безвременного навсегда увольнения, но не пришел еще час сего искушения. Отпуск меня обрадовал. Я намеревался ехать в Одессу, а оттуда в Киев и там, поклонясь гробу бабки моей, схимонахини Нектарии, сей знаменитой женщины в наших летописях фамильных, воротиться прямым трактом в Володимир. Во всех журналах писали диковинки об Одессе. Это зажгло мое любопытство, и я, занявши нужное число денег, которое и до сих пор еще должен (1813), стал готовиться к отъезду. С нами отправлялись в путь добрый врач наш и старинный приятель Шених, секретарь мой Поспелов, бесприютный один француз, сделавшийся россиянином, Fatin и старший мой пасынок Алексей. Приготовляясь к сему по пространству и по короткому сроку отважному предприятию, я весь май проездил по городам и наполнил его разными действиями, кои в газетах были высокопарно описаны и о коих я до отъезда поговорю с моим читателем.

В Переславле недоставало к полной отделке того строения, в котором хранился ботик Великого Петра, пристойного места, где бы сберегаться мог собственноручный сего монарха указ, о самом том ботике воеводам данный. Он все еще лежал в ящике при уездном суде. Из экономических крох сделана была вверху той палатки особая комната, которую без роскоши снабдили по предмету пристойным убранством. Там поставлен был старый портрет Петра Первого во весь рост, который представлял его на месте Полтавской битвы в военном его стане. На столе, накрытом алым сукном с золотою бахромою, выставлен был ковчег цветного дерева, поддерживаемый четырьмя резными и вызолоченными дельфинами. На крышке поставлен в малом виде раззолоченный монумент, воздвигнутый в Петрополе Великому Великою[24]. В преддверии сего покоя собраны были все, хранившиеся дотоле, снасти, якоря и разные утвари дворца, в котором живал некогда порфирородный младенец под сению Нептуна, готовящего ему толикие трофеи в областях своих. Прибывши в Переславль для сего нарочно и учредя церемониал торжества, перенес я из уездного суда указ Петров во храмину, для него уготованную. Тут отпет был молебен, окроплены стены и все принадлежности святою водою, и после краткой проповеди от настоятеля духовного я, обратясь к предводителю[25], сказал ему речь, мною на сей случай сочиненную, и потом положил Петрову знаменитую рукопись в ковчег, а ключ от оной вручил г. предводителю. Тогда раздалась от клиров вечная память мужу, делами бессмертному, а за трапезой в городе при питии за здравие праправнука его гремела музыка, и пушечные выстрелы, раздаваясь по озеру, далеко

уносили за пределы его в обширные поля громкую весть о нашем патриотическом празднестве[26]. Много содействовал к достижению сей цели тутошний городничий г. Гранкин, которому я обязан справедливым признанием, что он о делах службы и о исполнении относящихся к ней видов моих прилагал особенное попечение и отличался сколько разумом, столько и нравственностию.

В Муроме ожидало меня подобное сему обстоятельство, но имена Петра Первого и Павла Первого определяли большое между действиями различие. Когда Павел шел в Казань, то для переправы в Муроме через Оку сделан был прекрасный катер, который с материалами для гребли, лоцманом и офицером флотским туда заранее доставлен. Павел переправился и оставил катер городу в память своего шествия. Не много еще протекло с тех пор времени, и уже судно или большая эта шлюпка начала гнить и не могла спускаться на воду. Жители рассудили ее вычинить и сохранять от непогод в особом сарае. Надобно было об этом описываться с министерством, просить флотского художника, который бы мог судно прочным образом вычинить. Он дан с признательностию монаршею, привезен и жил на коште обывателей, и, когда исправлено было судно, я приехал в Муром, дабы при мне спустили его на воду. В то же время присрочено было обновление каменного корпуса для присутственных мест. Отправя богослужение в новом здании и окропя судилища святою водою, попы приготовились к шествию на реку, а я, введя во всякий суд чиновников его, пошел вслед за церковными хоругвями под гору на берег широкой Оки, где снова возвеличилось имя Господне в устах всех православных. Не из чаши, а из всей освященной пучины полетели брызги святой воды на катер и на всех предстоящих. Везде были проповеди: и на горе у фемидина храма, и под горой при лодке покойного императора. Там восклицали многая лета живущему царю, а здесь вечную память усопшему. По окончании всех духовных процессий шлюпка с берегов пущена в воду и, прорезав струю до середины реки, остановилась тут на якоре. Во все время плавания ее палили пушки и народ кричал «ура!». Какие безделки движут чернь и производят площадные восторги! Сытый обед и полные чаши вина прибавили огня в беседе и удовольствия в сообществе, а под вечер дом казенный и шлюпка царская были наипрекраснейшим образом иллюминованы. «Северная почта», тогдашнего времени газета, издаваемая в министерстве внутренних дел, все это распубликовала по всему царству[27]. Сведали о том и даже до последних земель российских. Обывателям все это

стоило, как говорится, в копейку, но они за то награждены были богатым благоволением.

Кстати здесь молвить слов пять о городничем Дице. Помнят, как он был отрешен, а я опубликован за то, что хотел оставить на руках его казенный дом, под ведомством его строящийся. Скоро после смены его ехал через Муром Козодавлев, полюбил семейство Дица, вошел в его положение и, достигши до точки достаточной политической силы у двора, выработал, что дело Дицево из Москвы вытребовано в общее собрание первых трех департаментов санкт-петербургских, где оно рассмотрено и решено тем, что велено Дица и всех, с ним подпавших под наказание, возвратить опять на те же места, коих они лишились: вознаграждение, которому не было или очень редко отыскать можно примера. Вот как бы должно всегда поступать с невинностью утесненной. Я сие примечание отношу к одному Дицу, а о прочих лицах, по делу замешанных, того же не скажу, ибо, по моим мыслям, они совсем не были правы, но у нас никогда нет ни в чем равновесия. Если казнят, то всех, милуют всех же, и то, и другое без разбора[28]. Итак, Диц был опять в Муроме городничим, а мое оглашение, по милости Сената, и теперь в присутственных местах в переплете хранится со всеми указами сего верховного судилища.

Казенный корпус в Муроме и после смены Дица был на руках у брата его родного, расторопного человека и имеющего все нужные для того экономические соображении. По форме ведал стройку князь Максутов[29], определенный на место Дица городничий, но, будучи прост и совсем несведущ в подобных занятиях, рад был, что мог и сам положиться во всем на Дицева брата, а тот, будучи в отставке и без дела, тем удобнее надсматривал за стройкой здания и приводил его к желаемому концу. Я с моей стороны, искавши одной казенной пользы, остался совершенно доволен тем, что строение ни на полушку не превзошло сметы, напротив, еще при отчете оказались остатки, чем и оправдалось мое участие в Дице, который, где ни служил, везде достиг общего одобрения и любви. Защищать достойных чиновников противу нападков почитал я во всю мою службу существеннейшею моею обязанностию и долгом необходимым пред человечеством.

Окончив все свои пустые, но шумные подвиги в уездах, возвращался я домой и, к приятному удивлению, встретил на пути сына своего Павла. Я его выписывал с собой повидаться, но не знал определительно, когда он будет. Исполнив мою комиссию, которая состояла в том, чтоб купить мне хорошую надежную коляску для путешествия в Одессу, он сам в ней

приехал в Володимир и встретил меня почти у ворот города. Что я ему очень обрадовался, это разумеется. Малый был хороший, добрый, почтительный. Мне надобно было с ним видеться и для того, чтоб потолковать о судьбе меньшого его брата Александра, которого пора было вести в службу и ознакомить с полезными трудами. Поговоря все семейно о сем предмете, я решился на то, чтоб Александра из пажей вытащить и под покровительством старшего брата пристроить его к той же канцелярии и ввести в гражданскую службу. Знал я, что статское состояние было презренно, что всякий благородный человек, который не служил около барабана, не нравился государю, но мне не хотелось, чтоб кто-либо из детей моих учился такому ремеслу, в котором лучшая слава и честь — резать себе подобных. Не рассуждая здесь о сем во всем пространстве, скажу только, что я о военной службе точно так по совести думал, как и в стихах изъяснился:

По логике моей давно расположил,
Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил[30].

Сверх того, во всем нашем поколении очень давно и предки мои не служили нигде, кроме дипломатики[31], куда мне хотелось и детей своих ввести. Но на что нет изволения Божия, того человек не совершит. И я не туда попал, куда родители метили. Основав предположении мои о меньшом сыне на вышеприведенном рассуждении, я стал его готовить к отъезду с братом и всей семьей примеривался полететь в Москву.

Пред самым отъездом еще две церемонии меня заняли в губернском городе. Фабрика суконная отстроилась, кроме каменных флигелей[32]. Широкая галерея, в которой работы должны были производиться, совсем уже была готова. Ничто не препятствовало приняться за станы, и я при себе с обыкновенным торжеством обновил ее. Архиерей служил в Инвалидном доме обедню. Духовенство и первые чины города угощаемы были обеденным столом, а назавтра начал ходить первый челнок на восьми станах вдруг, и министерству о том отрапортовано.

Совершилась тем же временем свадьба Пожарской и Феттера. Траур нашего дома препятствовал быть ей сопровождаемой обычными празднествами. Итак, сия чета очень тихо соединилась.

31 мая, простясь со всем городом, отправились мы все в Москву. Владимирская публика глядела на этот отъезд, как на каприз, но, не слагая никаких сказок на счет сей, как при разных моих отлучках прежде, провожала меня с притворным сожалением. Дела я все сдал вице-губер-

натору, который на просторе остался приворовывать и рад был, что хоть на три месяца удаляется от него неугомонный аргус, ибо я ни за чьими поступками так строго не смотрел, как за его делами, и никому не был так тяжел, как этому искреннему моему злодею. Он, однако, прикрывал еще свою злобу под лаком благопристойности и искал, как Иуда, удобнейшего случая, чтоб предать меня.

Уехал я наконец из заставы и, отдохнув от лицемерия людского, которое меня до последней хижины в ямской слободе проводило, ни о чем уже не думал, кроме Одессы и своего путешествия. Сказать должен при сем спасибо владимирскому почтмейстеру[33], который большое оказал мне пособие, позволив одному проворному почталиону проехаться со мной до Черного моря. Поелику он мог в этой услуге мне и отказать, то я почитаю себя обязанным ему за то, что он предпочел праву своему удовольствие быть мне полезным. Иногда и самый черный человек одолжить умеет. Наш почтмейстер, конечно, не часто подвержен был подобным побуждениям чистого доброхотства, но на этот раз он меня очень, очень одолжил. Почталион его был детина хват, и с ним можно было бы не только в Одессу, даже в другую планету заехать.

Приехавши в Москву 2 июня, в день рожденья моей матери, которой исполнилось тогда 76 лет, и находя ее еще в изрядных силах, мог, не опасаясь вечной с ней разлуки, отважиться на сию временную. Всякому кажется странным все то, что не похоже на общие поступки. Мир хочет, чтоб никто ничем от другого не отличался. Мое намерение ехать в Одессу встретило многих порицателей. Если б я собрался в Париж, меньше бы кричали, потому что туда многие езжали, но в Одессу — никто; или малое число людей ознакомились с Кавказом и под видом врачевства туда ездили, как в подмосковную. Но идея перенестись на Черное море была еще нова, и все о ней толковали по-своему. Я держался во всех моих делах Сумарокова заключения в одной забавной сказочке:

Коль слушать все людские речи,
Придется-де осла взвалить на плечи[34].

Итак, пропуская все людские речи мимо ушей, думал только о распорядке на время отсутствия моего детских упражнений. К мальчикам меньшим принялся хороший и тихий немец Веттерштранд, который занимался без нас учением их языкам, немецкому и французскому, и некоторым классическим наукам, а к дочерям воротилась снова мамзель Шатофор, которая еще с начала года и скоро после смерти Аленочки, по

особенному пристрастью к дочерям моим, вызвалась заменить в попечениях об них покойную сестру их Машу и перебралась к нам в Володимир. Ее мучила провинция, и она хотела хотя по несколько месяцев жить в Москве. Зная, что нынешним годом эта прихоть ее согласовалась с моим распределением времени, она у нас опять водворилась, и я бы никогда с нею не расставался, если б пылкие ее чувства не заставляли ее часто жертвовать пользой настоящей соблазнам воображения.

Так устроя меньших своих детей и дав товарища старшей дочери, я снарядил меньшого сына Алексашу в Питер, куда он с старшим своим братом, проводя меня в путь, скоро отправился. В Москве я нечаянно попал в отцы крестные к родному внуку[35] — вот уже как я стар становился! Племянника моего родного Андрея Ефимовского жена Серафима, внучка интересного для нас сибиряка, о котором писано недавно, родила сына Николая. Матушка моя и я были восприемниками. Тогда же познакомился я с новоопределенным к нам на место Бута прокурором Горяиновым. Тот, убегая мщения и ярости тещи своей за то, что дочь ее, а настоящая его жена, войдя с ним в сожитие и сменя мать свою родную на ложе поганого ее любовника, дала ему ребенка, бросился в Петербург, рассказал все свои похождении светлейшему дядюшке и подбился к нему под крылочко. Князь перевел его в другое место, а Горяинов поступил на его прокурорское в Владимире. Он был еще моложе тридцати лет, служил кое-где по палатам советником, напыщен был своими талантами, писывал стишки и на петербургской площади искал фортуны. Мать его, дама бойкая и некогда кружившая голову светлейшему[36], когда он был на Вологде генерал-губернатором, где и муж ее находился при должности, снискала любимому сынку у нового министра юстиции разными домогательствами сказанное место. Горяинов летел пожинать на хребте своих стряпчих золотую жатву для вознаграждения петербургских убытков. В Москве он меня посетил. Я ему отвез карточку. Мы очень слегка ознакомились и расстались с тем, чтоб осенью связаться теснейшим узлом службы.

Благословение матери моей везде и всегда меня сопровождало. Без него я шага не делал. Получивши его ныне в сердечных ее объятиях и простясь с детьми, с сестрой, со всеми домашними, сели в коляску и пустились 10-го числа июня в Одессу. Два дни перед тем, воспоминая в Донском над гробом батюшки день кончины его, с которого протекло 16 лет, я оросил теплыми слезами сокрытые в недре земли кости его и пролил горчайшие источники оных над мавзолеем Евгении и Маши. Сколь-

ко гробов уже, о коих я еще и не думал десятка два лет назад! Все это жило, наполняло жизнь мою отрадами небесными. Все они дышали, чувствовали, любили меня и... Уедем, читатель, уедем скорей за Серпуховскую заставу!!!

Мы отправились 10-го числа июня под вечер. Выше сказано, кто с нами был в товариществе. Я не стану здесь чертить всего моего путешествия, оно написано особо в трех частях[37], скажу только, говоря о нем вообще, что мы тот же взяли тракт, по которому Екатерина ездила в Крым и Киев в 1787 году. Мы проехали губернские города Тулу, Орел, Курск, Харьков, Полтаву, Херсонь, видели Николаев, Одессу, Очаков, свернули в Киев, восхищались Потоцкого садами в Умани[38] и, после двунедельного почти пребывания в Киеве, в конце августа прямым путем на Нежин, Батурйн, Глухов воротились через Орловскую губернию и Калугу в Москву. Во время дороги два раза виделись мы с замужней сестрой в Полтаве и у нее в деревне под Киевом, откуда, проводя нас до Киева, они во все время нашего тут пребывания с нами прожили. Вот все, что я упомяну о сем путешествии в моей Истории. Для желающих знать его подробности я сочинил большие три тетради, кои могут иногда и позабавить простотою картин и живыми красками. Я в описании том никого не щадил, никому не льстил, говорил истину и писал то, что видели глаза, а не воображение одно.

Вставлю здесь замечание, что из всех моих предприятий я не помню, чтоб какое-либо столь удачно исполнилось, как эта поездка. Если (как я и не сомневаюсь в том) верить, что Бог благословляет благим успехом всякое доброе дело, то, конечно, лучше этого я не предпринимал ничего. Во-первых, в течение трех месяцев, кои я проездил, не имел случая пороптать на погоду: всегда было жарко, ясно, хорошо, и я не выходил из открытой своей коляски, хотя имел еще карету. Во-вторых, никто из нас не хворал минуты, и, меняя климаты еженедельно, не терпели никакого беспокойства ни от полуденных знойных жаров, ни от испарений Черного моря. Словом, с севера на юг и обратно слетали нечувствительно. В-третьих, ни на одной станции почти не ждали лошадей, кроме двух или трех. По милости начальников губерний[39], они везде были для меня готовы. Я благодарен им весьма за такое внимание к письмам, кои я заблаговременно о том писал. В некоторых местах думали, что я скрытый ревизор или попросту шпион, и это мне доставляло многие выгоды, коих простой путешественник достигнуть не может. Я не утверждал наглым хвастовством сих подозрений, но, ощущая от них пользу, не уверял так-

же в противном, молчал и благодарил чиновников за услуги, принимая их как будто бы плод вежливости обыкновенной, всем принадлежащей, тогда как они бы и не пошевелились, если б знали, что я катаюсь по доброй своей воле. Поселян я собою не мучил. Мне давали только пятнадцать лошадей. Подорожную я имел на двенадцать, но, видя, что мало, платил прогоны за лишнюю тройку без шуму. Четвертая выгода состояла в том, что как бы нарочно я везде поспевал к какому-либо значительному торжеству или годовому празднику, и все, что на этой полоске земли, которую мы проехали, можно было видеть редкого или достопамятного, все то мы видели и всем наслаждались. Так утрафили мы поспеть на Курскую славную коренную ярмонку[40], в Полтаву к ее собственному празднику, к дню, воспоминающему Полтавскую баталию[41], и в Киев на Успенскую ярмонку.

В губернии Владимирской без меня все было тихо. Недоброхоты мои ничего не предпринимали. Дюнант прел в своем халате, наживался спокойно и ничего против меня еще не затевал. Все дела, заведении, начатые строении нашел я, воротясь, в таком состоянии, в каком желал. Не было вопреки мыслям моим ничего сделано ни по судам, ни по заведениям. Я думал, воротясь, что я вовсе никуда не отлучался. Как не возблагодарить Бога? Такой успех, такое благое совершение странного для многих предприятия и для меня убыточного не есть ли видимый знак, что небу угодно было благословить желании сердца моего и допустить меня быть в том городе, где со многими святыми почивает и праведная Нектария, бабка моя по естеству. Итак, во всех отношениях план мой исполнился, и я во всю жизнь мою вспомню о странствии сем с особенным удовольствием.

Приехали мы в Москву 3 сентября, и я принужден был дней до пяти просрочить, но это не принесло мне неудовольствия и укоризн от министра. Возвращению моему обрадовались дети и все домашние. Было что им рассказывать, но надобно было поспешать к месту.

Прибыл к должности в губернию 8 числа и, проведя дни два в деревне князя Прозоровского близ Покрова, собрал тут всю свою канцелярию, осмотрел дела, читал все, что без меня выпущено и получено нового, и, набив снова голову всякими дрязгами, кои привыкли мы называть делами, пустился с женою прямо по городам и довершил осеннею своею поездкою весь круг моего путешествия того года, а потом сел на гнезде, как птица, которая, умыкавшись по небесным твердыням, влезает в свое дупло и, свернувшись в охлопки, ждет, повеся нос, осенних непогод. Си-

лы женины укрепились. Она меньше тосковала, а я, приобретя новые сведении, занимался долго на бумаге теми предметами, кои в разных странах пространного нашего государства оживляли мое воображение и новым огнем его воспламенили. Перу моему предстоял большой труд. Я в досуге принялся выправлять дорожные свои записки и обработывать путешествие мое не на показ всему миру, но, по крайней мере, для любопытства ближних моих и искреннейших друзей. В Володимире нашел я уже на твердой ноге нового прокурора, с коим ознакомился слегка в Москве. Г. Горяинов уже и дом купил, привезя милую с собой жену и двух ребятишек. Прибавился дом приятный в обществе. Я с ним свел короткое знакомство. Он расположился ко мне хорошо, посещал меня часто, горячился иногда, но скоро одумывался и, казалось, доверял моим опытам. Общий вкус к стихам нас более еще сблизил в службе, и мы нередко сообщали друг другу наши рифмословные тетрадки.

В отсутствие мое решено Сенатом дело Бурылина, о котором так много уже я писал прежде, и мы еще в последний раз здесь об нем поговорим. Этот пронырливый и богатый плут умел, сидя близ двух лет в остроге, отворить себе темничные двери и выиграть свою свободу. По решении дела его присыланным сюда чиновником Посниковым, внесено от меня по порядку в уголовный департамент московского Сената. Там разнообразные голоса перекинули его в общее собрание. И здесь не все одно говорили, следовательно, дело вступило в Петербург, в так называемую консультацию. Сим наименованием окрестили какое-то новое сонмище, которое под наблюдением министра юстиции и в его даже доме составлялось из всех обер-прокуроров Сената и из нескольких юристов, называемых референдариями. Сии, принадлежа к комиссии сочинения законов, разбирали дело по школьным правилам правоведения. Собрание держалось только раз в неделю, и то когда министр не откажет его или за множеством других поручений, или за мигреной, или чтоб подремать без дела подле бронзовой куколки под тенью расставленных в кабинете ароматических деревьев. Все такие причины часто останавливали консультацию, а как все дела, оспориваемые на голосах в Сенате, поступали к окончательному рассмотрению в оную, то многие по несколько лет лежали без всякого разрешения. Так и Бурылина дело, попавши в этот омут, долго тянулось и наконец решено тем, что велено его, как не признавшегося и не доказанного в преступлении человека, отдать обратно в село Иваново на расписку лучших людей и в том только случае сослать его на поселение, когда бы вотчинные власти его не приняли, а

притом, однако ж, велено полиции земской иметь за ним присмотр. Заключение странное, ибо надобно вовсе не знать, из какого малого числа людей составлен суд и как ограниченны способы его, чтоб требовать подобного надзора за лицом предосудительным в столь огромной вотчине. Это написано было только для формы, но в существе полная дана была сим приговором свобода Бурылину делать вновь ассигнации. И после сего опыта над богатейшим обывателем в околотке, который мог бы и без Сената от меня всегда получить свободу, если б я согласился сдаться на огромные его предложении, после того, как я с ведома многих мог взять с него до тридцати тысяч за это дело, и вместо того морил его в тюрьме нещадно, как государственного злодея, тем опаснейшего, чем он был хитрее, не постыдились многие клеветать на меня, будто бы я послабление делаю сему противозаконному ремеслу. Стал ли бы я щадить низкую сволочь, когда я теснил с таким упорством человека с силою, богатством и даже скрытым покровительством некоторых чиновников?

Может быть, если б я был дома, не отважились в Иванове взять его на поруки, и тогда Бурылин, согласно заключению Посникова и моему, поехал бы в Сибирь, но без меня все пошло иначе в Иванове. Вместо лучших людей до трехсот человек негодяев дали расписки, а первостатейные обыватели, те из осторожности, чтоб не попасть в опал со временем, не приложили рук к той сказке, но и других от того не отводили. Итак, Бурылин из острога воротился опять в свой каменный дом и наслаждается наряду с честными гражданами плодом своих злоумышлений. Подлинно, Соломон знал сердце человеческое, когда произнес сию истину, что злато ослепляет очи мудрых[42]. Сколько сенаторов слушали это дело! Сколько секретарей его читали! Сколько писцов его переписывали и каждое из него обстоятельство наизусть выучили! Но при всем том Бурылин не наказан, свободен и в возможности поставлен ругаться над теми, кои в пагубе его искали принести достойную жертву правде. Злодеев щадить, когда они не подлежат сомнению, есть, по мнению моему, гибельное зло в государстве. Не надобно казнить, ссылать, срамить за всякий грех, оставляя всевышнему разбирать совести наши, вязать и решить бремена душевные, но излишнее великодушие к преступникам вредоносным оскорбляет непорочную добродетель и восхищает мзду ее в здешнем мире.

Время, прошедшее с тех пор, как началось это громкое дело, изгладило собственное мое чувство досады и негодования. Я рассуждать о нем всегда стану, как теперь, но узнавши о странном его окончании по воз-

вращении моем домой, нимало не принял его к сердцу и весьма равнодушно смотрел на сей новый опыт, что страсти человеческие всегда станут выше правды и справедливости.

В течение осенних месяцев до ноября разные последовали по гражданской части новости. Учреждено министерство полиции, то есть, просто сказать, общее и повсеместное шпионство. Министром назначен мастер этого дела г. Балашов. Все губернаторы с их полицейскими чинами вошли в его команду, и министр внутренних дел сделался почти нулем в таблице государственных чинов. Балашов был мне совсем незнаком, и я должен был опять приноравливаться к новому начальнику. Мало-помалу служба обратилась в инквизицию и розыск. По губерниям появились везде потаенные фискалы. Всякий вздор доходил до сведения министра и прямым путем, и кривыми дорогами. Не было преступления выше того, чтоб скрыть какое-либо и самое пустое обстоятельство от сведения государева. Канцелярия его стала подлее прежней, и как иначе? Первым чиновником по нем, и почти нашим начальником, очутился некто Лавров, который, не более десяти лет тому назад быв секретарем в Володимирской гражданской палате и летя при Павле из чина в чин, наконец попал в тайную канцелярию и испытанием несчастных, в нее попадавших, испытанием душевным и телесным достиг до генеральского чина. Кто лучше его мог попасть на мысль Балашову, который хотел все ведать, всего доискаться и все замучить? Важные бумаги терялись без ответа, а сплетни занимали все новое министерство. Чтоб лучше все и про всякого знать, воспоследовало тогда соблазнительное от г. Балашова предписание ко всем городничим и исправникам, чтоб они каждый прямо от себя, миновав губернатора, рапортовали ему каждонедельно о всяком приключении, не рассуждая, стоит ли оно донесения, или нет. Довольно упомянуть о сем, чтоб всякий благомыслящий читатель понял, какой должен был происходить вред от подобных сношений. Губернаторы не освобождались от обязанности также и от себя о всякой мелочи рапортовать. Трудно было привыкнуть к такому новому ходу бумаг. Всякий писал свой вздор, а Балашов бегал к государю докладывать часто о таких пустяках, кои и по губерниям начальника занимать бы не должны. Я видел во всем этом новом распорядке систему ябедничества и розыска внутреннего, но, будучи в службе и не имея никакого средства оставить ее, должен был угождать своему начальству. Балашов занимался вместе с тем и нарядами нашими. Опять новые вышли мундиры для губернаторов, вице-губернаторов и прокуроров. Всякий министр наряжал свою

6 Зак. № 3975

куклу по-своему. У нас вышивались воротники, обшлага и клапаны при сохранении всех прочих цветов мундира и покроя его, у вице-губернаторов шитье было по воротникам и обшлагам, но гораздо уже нашего, у прокуроров также. И вышли мы все нарядные шуты. Как можно заниматься таким вздором в то время, когда лютый самозванец Наполеон простирал свои замыслы на всю Европу, коверкал всех царей на престолах, и самой России, в усыплении предавшейся праздности и сладострастию, готовил бедственные эпохи?

Получена в Владимире похвальная грамота, дворянству данная за пожертвование его во время образования земского войска. Дворяне заказали на нее ковчег, который стал им в тысячу рублей с лишком, и по изготовлении его спрятали хартию в ящик с большим великолепием и шумом. Заметить можно, что ящик оказался мал и с трудом вместил в себе достопамятную эту грамоту. «Чему дивиться, — сказал один остряк, — слава России так широка, что и свет ее вместить не может». И жалко, и грешно рассказывать все то, что в тогдашние времена делалось. Приятно забывать многое, но как умолчать, что, при полном собрании дворянства, по высочайшему соизволению преданы были потомству в незабвенную славу имена многих из дворян, бывших в милиции и которые далее своих вотчин никуда не ездили. В том числе и Маков, бывший мой повытчик[43], провозглашен во услышание всем. Имена их оставлены в архиве и со временем сгниют. Дай Бог, чтоб не пережили сии дурачества нашего поколения и чтоб потомки наши никогда не отыскали письменных памятников таких проказ!

Расстроенные финансы требовали умножения доходов. Источники обыкновенные недостаточны были для удовлетворения страшным издержкам казенным. Рассудили продавать казенные земли в частные руки и, вопреки состоявшемуся указу в прежних годах, но от нынешнего государя выданному, о разделе всех оброчных земель между крестьянами, терпящими в них недостаток, принялись и за те, кои по силе сего указа уже отданы были, все отобрали и стали продавать. На сей конец учреждены по губерниям комитеты, в кои помещены председателем губернаторы, членами: вице-губернаторы, советник Казенной палаты один, прокурор, обер-форштмейстер и начальник удельной конторы. Все это делалось так, дабы предупредить обман и подлог. Никто никому не верил. Необходимое следствие испорченных нравов! Комитет открылся, и началась новая работа. При всяком заседании шум, крик, а пользы ни на сотую долю. Против несогласий, в доказательство того, с какою не-

справедливостью поступаемо было в отношении к землям продаваемым, я помещу здесь следующий весьма забавный анекдот.

Архиерей имел издавна рыбные ловли верст на семьдесят, числившиеся за архиерейским домом. Когда временно переведен был его престол в Суждаль[44], ловли были отобраны и отдавались из казенного оброка. По возвращении епископа в Володимир, он их требовал опять в свое ведомство, но уже без исключения из оброка, которое делалось всегда по именному указу. Казенная палата не могла их ему возвратить. Дали ему другие воды, он их не принял и подал жалобу, по которой началось дело с последней инстанции. Между тем дворяне, живущие на береговых землях тех ловель, привязывались к манифесту Екатерины II, силою которого воды, протекающие в дачах помещичьих, принадлежат владельцу оных, просили об отдаче тех рыбных ловель им. Спор продолжался несколько лет, дождался и меня. При решении дела Казенная палата присуждала ловли дворянам по манифесту, а я в мнении моем писал, представляя о сем предмете Сенату, что рыбные ловли следуют архиерею, потому что принадлежали уже ему до манифеста и отобраны были по случаю токмо временному, а не по перемене прав его на владение ими. Первый департамент, не заключа ничего, отдал это обстоятельство на рассмотрение министру финансов. Этот решил прекрасно, сказав, что не следует отдавать сих рыбных ловель ни дворянам, ни архиерею и, поелику они между ними в споре, то и продать их в пользу казны. Не ясно ли из сего поступка, что казна в достижении цели набить свой карман не разборчива была в способах, а пользовалась, как исполин, своею силою? И после этого лишают чинов бедняка приказного, который возьмет полтину за собственные труды свои! Боже мой!

К ноябрю месяцу поспел и рекрутский набор. Указом велено было собрать с пятисот трех и тем же образом, как в последнем годе. Сделав все нужные к тому распоряжении, я стал готовиться опять к зимним разъездам по городам, но прежде отлучки из губернского обновил новое свое жилище, о котором повесть следует за сим.

Когда прежний губернаторский дом вступил в ведомство учебного правительства, отпущено было до сорока тысяч на постройку нового. Сие случилось в министерство графа Кочубея. Посланы были от меня сметы на тридцать тысяч, ибо я имел в виду выстроить дом гораздо меньше прежнего, чтоб легче было недостаточному губернатору его содержать, но в Петербурге тогда пеклись о красоте публичных зданий. Мой чертеж не понравился. Прислали мне новый рисунок, вообще про-

жектированный для всех губернаторских домов в России, и на отделку его следовало издержать сорок тысяч. Казна их отпустила по частям в три года, ибо по заключенному мною подряду дом не прежде трех лет мог выстроиться, и потому-то самому квартирные деньги отпущены были мне на три года. Срок истекал нынешней зимой, и дом был совсем готов. Не только должен я был руководствоваться петербургским рисунком, в котором даже и внутренное употребление покоев предназначено было, но притом и сметы материалам, в количестве их по размерам стен и площади дома, были сочинены петербургским архитектором и присланы ко мне для положения цен, во что исчисленные материалы на месте стать могут.

Дом начал строиться в 1808 годе. Сухое и беспримерное лето так помогло работам, что он к осени был выведен в три этажа и железом покрыт. В 1809-м его весь отщекатурили и выкрасили снаружи и внутри, а в настоящем он просыхал и готовился к житью, между тем как отделывалась разная столярная работа. Дом был огромен и поместителен, но все менее прежнего, который гораздо торжественнее представлялся с виду и с крыльца. В этом кухня и все людские расположены были в нижнем этаже, что наносило иногда во время приготовления стола неприятный запах в наши комнаты. Они составляли с залами и гостиными весь средний этаж, а в верхнем назначено было жить детям.

Для построения дома выбрал я наилучшее место в городе: рядом с архиерейским подворьем, над самой красивой горой к приречной стороне, куда обращены были все приемные покои, как на самый лучший городской вид. Многие укоряли меня, что я выставил нежилые строения, принадлежащие к дому, по улице и не дал туда фасада переднего дома с колоннами, но мне казалось, что гораздо лучше глядеть из залы на Клязьму и величественные ее окрестности, нежели смотреть, как мимо окошек с базару скачут пьяные мужики по улице. Всякий видит хорошее с своей точки зрения. К удивлению общему сказать здесь должно, что, когда стал дом поспевать, я вошел с представлением к министру князю Куракину, что по огромности его потребна в него и всякая мебель, которой от старого дома ничего почти не осталось. Зная, что казна скупа на выдачи денег, я не просил об отпуске новых, но поелику от одного строения казенного, и именно от корпуса присутственных мест в Александрове, который строился хозяйственно тамошним городничим Николаевым, опытным домостроителем, из отпущенных на то казною двадцати тысяч осталось до четырех, то я и просил, чтоб из этой убереженной суммы только две тысячи рублей мне отпустить на мебель, и считал так верно на них,

что, искупя в Москве все нужное, перевез осенью в Володимир и расставил по комнатам. Сама цена указывала, что я никакой не позволил себе излишней роскоши, кроме одной пристойности, потому что на две тысячи рублей уже не много можно было купить вещей в Москве в тогдашнее время для убранства столь великого здания. Вместо того князь Куракин, не входя и в доклад о сем к государю, написал ко мне, что поелику незадолго пред сим отказано в подобном же предмете тобольскому губернатору[45], то он, не ожидая никакого успеха по моему представлению, оставил его без уважения. Итак, мне пришлось сделать новый долг для снабжения дома не моего, а казенного такою мебелью, которая мне лично совсем не была нужна и при первом обороте судьбы моей обращалась мне в невозвратный убыток потерею ли вовсе, или повреждением в безвременной перевозке. Из сего ясно, что когда в Петербурге прожектируют дом для нашего брата губернского матадора, совсем не думают о том, как мы в нем жить можем. Дело в фасаде и в убранстве города. Хозяйское спокойствие никому в голову нейдет.

Оставалось дом освятить и переехать в него на житье. Октябрь черный месяц был для нас. Он напоминал Аленину кончину, которой истекал годичный срок, и жена не могла решиться обновить палат прежде ноября. Хотя ничто в них не могло ей столь живо представить дочь ее, как всякий другой дом, но поелику она еще здорова была, когда дом строился, и уже назначены были для нее покои, то самый взгляд на них пронзал женину душу, как каленая стрела, летящая из киргизского лука. Надобно было, однако же, перебираться. 1 ноября назначен день нашего водворения. Мне хотелось поубраться в доме, несколько осмотреть его, узнать и потом ехать набором заниматься. Отпели всеношну, и мы на 2-е число уже в нем ночевали, а 2-е велик был день тоя субботы. Архиерей с своим сигклитом отслужил обедню в приходском нашем храме и потом со кресты и знамены церковными пришел в новый дом наш, освятил воду, окропил все стены и комнаты и, сказав нам приветствие при шуме многолетий, провозглашаемых всем его хором императорскому дому, остался у нас. И сотворили мы тут трапезу велию. Телец питомый насытил утробы алчущих, и бокалы вин различных напоили жаждущих. Под вечер монахи разъехались, и начались визиты всего города, но как не все еще мы были в сборе, то до 12 декабря не настроивалась у нас плясовая маневра, да и тогда бедная жена моя, не видя в юношеских хороводах милой своей Алены, души своей и единственной отрады, почасту уходила в уединенный свой кабинет проливать о ней неутешные слезы.

Вот как мы обновили дом сей, в который, как обстоятельства последующие укажут, не на радость и переходили. Много мы в нем пролили слез, испустили тяжких вздохов и мало видели вообще красных дней.

Первая самая почта, которую мы на новоселье получили, принесла нам известие, что матушка отчаянно занемогла, исповедана и святых таин уже причащалась. Это меня поразило. Эта весть была как сигнал всех тех бедствий, кои меня на новом месте ожидали. Благодаря Бога, скоро известились мы, что матушке легче, и болезнь ее миновалась, оставя после себя слабость, которая при исполнившихся ей 76 летах уже не много жизни ей обещала. Приятнейшим посещением в новом доме нашем почитали мы приезд княгини Куракиной. Она никогда не проезжала Владимира, не побыв у нас несколько дней. Сколько мы были ей обязаны за многие опыты ее приязни к нам и ласки! Не все с подобной [ей] чувствительностию умеют любить и любовь оказывать. Посвятя себя одной непорочной дружбе и родственным связям, она доказывала поведением своим и твердостью, что человек, на которого сильно действовали страсти, гораздо надежнее для всех отношений того гордого моралиста, который дышит одним лицемерием и не познал общих с прочими слабостей.

Как Ной входил в ковчег, и я со всем своим семейством и служителями вошел в казенный дом. Все имели покои хорошие, поместительные. Из посторонних жили с нами учитель детский, Веттерштранд по имени, и Поспелов, секретарь мой. Перестали мы слоняться по чужим квартерам и целыми улицами селиться. Дом Безобразова, видевший в стенах своих два разнородные, но замечательные происшествия, второй брак мой и смерть Алены, оставлен нами пуст со всеми пристройками в полную волю и распоряжение хозяина своего, моего шурина Григория Алексеевича Безобразова, у которого я был уже отцом крестным трем сынам. Жена не только не могла в этот дом въехать, но и мимо даже без двух-трех слез никогда не проезжала.

К сему же времени отнести должно и разлуку нашу с Анной Михайловной. По приезде из Одессы уже мы ее с собой не взяли в Володимир. Она осталась в Москве при матери своей. Характер ее, ум и познании всегда будут мне милы. Я ее как родную сестру не перестану любить до конца дней моих, не позабуду также, что в скучное время вдовства моего она много способствовала мне переносить иго жизни, которая тогда наполнена была сокрушительных дней, сквозь кои редко проскакивали ясные мгновении, но и те весьма короткие; но, находя опасным для детей моих ежеминутное влияние ее пылкого воображения на их необразованные еще опыта-

ми сердца, я решился жить с нею розно. Это не сделало между нами разрыва. Мы всегда остались на прежней ноге, видимся всякий день, когда в одном городе, переписываемся каждую почти почту, когда розно, но по зрелом соображении вещей, в мире бывающих, постановил правилом никогда под одну крышку с собой не соединять кого-либо, кроме родного детища. Дом всякий состоит из мужа и жены с детьми. Все прочее в нем стороннее, как бы близок не был степень родства. Это не мешает любить единокровных, помогать родному, где бы он ни жил, с сердоболием и горячностью, но жить вместе, кажется, судило небо одному семейству, взятому, как я выше его составил, в самом строгом и прямо природном его разумении.

Детей мы оставили в Москве. Надобно сказать, какое о переезде их сделано было распоряжение. Намереваясь с Покрова свернуть в объезд по городам, я не рассудил взять в сентябре девочек с собою, а мальчиков обеих с учителем отправил из Покрова прямо в Володимир, где они дождались в одном из флигелей Безобразова дома переезда нашего в казенный. Мамзель Шатофор, сколько ни привязана была к нашему дому, но, увидя вдруг себя в необходимости перебираться в Володимир, не могла без ужаса расстаться с столицею и опять нас покинула. Тем временем встретилась другая иностранка. Вид ее, обращение, ловкость, все обещало, что она угодит нам, и по заочности моей, после опробации однако же княгини Куракиной, которая умела дать людям цену, принята в Москве к дочерям моим за тысячу рублей. Ее звали Гербер. При ней была малолетная одна дочь ее, а муж слонялся в учительском звании по другим домам. Я не знаю, по какому странному ослеплению мы все не догадались, что эта женщина воспитывать девушку молоденькую совсем не способна. Она жила в доме князя Лопухина, воспитывала дочь его, которая потом сделалась Габриельшей Павла Первого[46], и когда она, будучи замужем за Гагариным, носила титло наложницы императорской, то и тогда еще жила при ней мадам Гербер и прислуживала августейшему любовнику в скромные его набеги к Гагариной. Можно ли было после этого полагаться на ее нравственность и советы? Однако она весь дом пленила, но, к счастью, так ненадолго, что не успела повредить сердца детей моих. Большая дочь ее скоро не возлюбила, а меньшая в простоте сердца не могла бы понять ее путлявых замыслов. Бог по времени спас нас от нашей общей неосторожности, как оно в свое время и окажется, а в настоящем годе она и обе мои дочери, дождавшись зимнего пути, прибыли благополучно в Володимир и расположились в казенном доме, в котором мы все наконец один по одному и собрались.

Я давно заметил, что счастливые событии всегда вслед за собою ведут неприятные приключении. По крайней мере в отношении ко мне примета моя оправдана многими случаями, как то и в Истории моей видно. Подобно сему, и после удачного путешествия нашего в Одессу начались новые искушении, гонении правительства и печали. Отсюда, скажу, начало болезням нашим. Московский Сенат, давно на меня сердитый, открыл нынешней зимой сильную против меня канонаду. Некто г. Столыпин, новый обер-прокурор, который наконец и сам сломил шею очень скоро, так прибрал к рукам седьмой департамент Сената, что не смел в нем никто противиться ни одному его предложению. Он был нрава крутого и наклонного даже к жестокости, а потому направлял всегда решении Сената к мерам, возмущающим всякое терпение. Но на сей одной причине припишу я последовавшие при нем несносные для меня приговоры. Думаю, что не ошибался ни тогда, ни сегодня в прямом источнике, из которого вытекали новые досады Сената, и вот что их обнаружило.

Тот самый Растригин, который наустил некогда купца Телегина подать на меня донос в соблазнительной будто бы связи с соперником его, дьяконом Измаилом, будучи ныне поверенным у одного дворянина по делам, подал от имени его в Губернское правление прошение, при котором представлен руки самого Растригина список с партикулярного письма, означающего, будто один из господ сенаторов, с негодованием монаршим уже отставленный, получил с соперника того помещика тысячу рублей серебром. Извет сей не подлежал моему рассмотрению, но и безгласным оставить я его не смел. Я представил его Сенату с таким от себя примечанием, что Растригина, как ябедника злостного и неосновательного, надлежало бы усмирить. Я надеялся, что сей последний поступок его против лица сенатора докажет, сколь несправедливо уважен был в свое время донос его и на меня. Сенат, напротив, совсем иное сделал заключение. Служители его вообразили, что я до того пренебрегаю сим верховным судилищем, что даже ищу уязвлять Сенат в самое сердце его, оглашая на письме столь постыдные изветы на особу сенатора. Вступились прочие за изверженного своего товарища и положили начало своему мщению. Не могли они обнаружить его по сему обстоятельству. Дело длилось долгое время в обрядах приказного порядка и, наконец, в них совсем задохло, но я заплатил дорого за поставленный в виду Сената донос.

От самого сентября до генваря не проходило почты, с которой бы из московского Сената не пришло в Губернское правление указа со штрафом. За всякое дело налагал он пеню, и концу года взыскании сии дошли

до пяти с лишком тысяч. Штрафы сии не имели других границ, кроме произвола гг. сенаторов. Целые иски по вексельным претензиям за то только, что долго не были взысканы, без рассмотрения причин, кои затрудняли платеж, и не взяв по законам ответа с Губернского правления, по одним жалобам частных людей поворачивались на оное. Не становилось мочи выносить такие явные притеснении. Штрафы упадали на одного меня, потому что я не допускал членов, с собой сидевших, платить по раскладке свои части и один все свое жалованье за целый год принужден был отдать Казенной палате.

Сколько неправосудно поступал лично со мною Сенат, сие докажет следующее дело, одно из тех, которые навлекли на меня штрафы денежные. В указе сказано было, что Губернское правление «за предосудительную переписку о газетах» штрафуется двумястами рублями. Вот в чем состояла переписка. Уездный суд один представлял Губернскому правлению, чтоб оно справилось с газетами, когда был третичный вызов некоторому кредитору, без чего ему нельзя было приступить к решению дела по вексельной претензии. Губернское правление отвечало, что уездный суд не вправе наряжать высшее место делать за себя такие выправки, кои он сам, имея те же у себя газеты, обязан делать, не возлагая сего труда на Губернское правление, которое по числу своих бумаг не может отвлекаться для облегчения труда уездному суду от собственных своих недосугов. Эту резолюцию подписал я и думаю, что в ней ничего нет предосудительного. На сей указ уездный суд рапортует, что он приказал тяжущимся приискать ему справку в своих ведомостях и представить. Поступок суда был противен и законам, и здравому смыслу, но Губернское правление, в котором без меня держал мое место тогда вице-губернатор, утвердило сие постановление своего подчиненного места и тем, конечно, попало в ошибку. Видя в указе выражение «предосудительной переписки о газетах», вправе ли я был спросить у Сената, которая из двух резолюций, данных Губернскому правлению, была предосудительна: подписанная ли мной, или та, которую дал вице-губернатор? Я представил о сем, и Сенат, извиня вице-губернатора, приказал за его резолюцию весь штраф взыскать с меня. Явное и насильственное самоуправство, никаким законом не подкрепляющееся. Вот до чего доходила против меня злоба сенаторов ли самих, или их секретарей, не знаю, только служба становилась для меня день от дня тягчайшим бременем. Положим, что я бы и подлинно был во всех делах сих виноват или от недостатка к ним внимания, или от излишней доверенности к своим советни-

кам. И в таком случае должен ли был Сенат, не испытав меньших мер строгости, как то замечании, выговоры, тотчас приступать к денежным штрафам и налагать их по своему расчету, не ограничивая ничем, кроме своей воли? Таким образом он бы мог и по сту тысяч взыскивать по одному капризу. Но штрафы имеют свои правила и свой установленный счет. Здесь они были совершенно самовластны. Сверх того, кто из беспристрастных судей сего обстоятельства не увидит ясно, что губернатор, который десять лет в этом звании служил беспорочно и никогда еще не подпадал под взыскании денежные, не мог в последние пять или шесть месяцев десятилетнего своего служения так сделаться вдруг дурен, чтобы заслужить столь упорное и опрометчивое на себя гонение? Однако все это так случилось. Страсти не покоряются рассудку. Сенаторы ревели как фурии, когда поминалось мое имя, и никто не мог в пользу мою тогда сказать им слово.

Слышно было, что подобные штрафы упадали и на прочие Губернские правления, подверженные седьмому департаменту, отчего и приписывали многие сию жестокость, совсем новую в Сенате, влиянию обер-прокурора Столыпина. Но от той ли, от другой причины удары меня поражали, нелегко было переносить их, и я принужден был, поступя против мудрого изречения Соломонова «с сильным не борись», защититься таким щитом, который вовлек меня в совершенную пагубу по службе. Но о сем говорить стану в будущем годе, который предопределен был на фатальные для меня последствии.

Таскаться по уездам, брить лбы народу, отрывать у жены мужа, у сирот отца, у матери сына было мое упражнение в последние два месяца сего года. Всякий из нас отвечал за свои города, но слава, если что доходило худое до ушей сторонних, падала на меня как начальника. В этом соображении обязан был я присматривать и за вице-губернатором. Вдруг в Москве сказали, что у меня в губернии дерут с рекрут, и кто же сказал? Графиня Васильева. К ней, как к знаменитой по муже своем даме, многие впристалую[47] твердили то же, и дошло о том сведение до меня. Имение ее состояло в Переславском уезде. Там набирал рекрут г. вице-губернатор. Я, чтоб предохраниться от поклепа, собственно на меня падающего, отправил исподтишка произвести следствие и, поелику запутались нижние чины действительно во взятках, то по форме следствие отдано к суду, и начали всех таскать к допросам. Но вице-губернатор устранился разными образами. Почитая грехом смертным отягощать судьбу мелких воришек, когда большой злодей наслаждается ненаказан-

ностью, я послал разведать и по прочим городам, как происходил набор, и хотя не по форме, но приватно узнал, что вице-губернатор и первый его слуга страшные с крестьян делали поборы. Вместе с ним запутаны были человек до пятидесяти нижних чинов, словом, почти все гражданские обыватели тех городов, в том числе и племянник г. министра полиции, который был городничим в одном из городов его отделения[48]. Открыв такую наглость, тем более сожалел о том, что собственная моя осторожность заставляла меня молчать и спасти вице-губернатора не ради его, но для множества виновных лиц заодно с ним, а паче для родственника г. Балашова, который сильно бы на меня опрокинулся, ибо хотя вельможи и винят всех под собою, но между ими самими, скажем откровенно, кто ж бабе не внук? Все эти политические причины принудили меня заглушить партикулярные слухи, и тем только спасся Дюнант, который с этих пор вместо благодарности за избавление свое, которым он не мог почитать себя обязанным иному чему, как моему добродушию, и сие доказывается тем, что он винился предо мною и просил пощады, вместо благодарности он-то на меня после выводил всякое неистовство и сделался непримиримым моим врагом. Что ж до дела графини Васильевой принадлежит, она же, рассердясь на меня за то, что я вступился за ее имение, и рассердясь потому, что согласно обряду потребовали от людей ее доказательств во взятках, они никаких не могли представить и угрожались за поклеп телесным наказанием, между ими попался старый графский камердинер, изволила писать к Балашову, тот ко мне, чтоб я дал ей свое покровительство. Из иносказательных слов приватного его ко мне письма я тотчас понял, что надобно дело бросить, и оно кончено в Уголовной палате так, что по недоказательству подсудимые чины освобождаются от суда и подозрения. Так-то на свете делаются дела, когда в них встретятся выгоды больших господ.

Приехавши в Суждаль оканчивать набор в последних днях декабря, удивлен я был встречей сына своего Александра, который вдруг явился ко мне из Питера и привез с радостным известием о брате своем не очень приятное о самом себе. Павел, имея давно университетский аттестат, ибо он в пансионе его учился и был студентом, воспользовался оным и произведен в коллежские асессоры. Сей шаг его меня тем более обрадовал, что в то время легче было обращать реки к вершинам, нежели по статской службе пробиться в штаб-офицеры. Какими бы кто подвигами сего ни удостоился, но без экзамена не было повышения титулярных советников. Этой затеи крепко еще держался государь и правительство.

Поелику без ходатайства в России никакие заслуги и труды не ведут ни к чему, то и сын мой пожалован по сильному ходатайству графа Строганова, старого моего родственника с матушкиной стороны. Он, полюбя сына моего за то, что хорошо играет на клавикордах и иногда разгонял его скуку, просил об нем г. Козодавлева, и тот, наконец, решился на сей подвиг благодеяния будто бы из чистой любви ко мне, а в самом деле из угождения знатному барину, который и ему иногда мог быть полезен. Вельможи в таких случаях подражают медикам, по старой французской побаске: «Passez moi le séné, je vous passerai la rhubarbe»*.

С меньшим сыном моим Александром последовал оборот не столь счастливый. Он увезен был братом своим от меня с тем, чтоб стараться об выпуске его из пажей в статскую службу. Государю противно было, что многие дворяне записываются в гражданское звание, а не в военное. По пристрастию к войскам он желал, чтоб всякий молодой человек шел в полки. Пажеский корпус необходимым путем был к армейской службе, и, кто носил имя пажа, тот непременно посвящался оружию. Много труда стоило мне достигнуть моей цели, однако доложено государю, что сын мой признан слабым по сложению телесному, и на сем основано предстательство о выпуске его из пажей в статскую службу. Я льстился, что таким же порядком, каким вступил в нее брат, примут и его, то есть наградят чином коллегии юнкера, но государь, дабы уничижение прибавить к негодованию, рассердясь, приказал его выпустить из корпуса в четырнадцатый класс. В указе, о том изданном, написано было, что он выпускается по желанию отца своего, такого-то, и кроме сего во всю армию внутренную и заграничную, как о важном деле, дан приказ, чтоб такого-то, князя Александра Долгорукого, не принимать по слабости здоровья никогда в военную службу[49]. Это меня нимало не огорчило. Я очень тому был рад, но тронуло меня, во-первых, очевидное от государя уничижение к моему имени и личным трудам по службе, а, во-вторых, и то, что сын мой, по несчастной судьбе своего дома, был предназначен первый из всего рода Долгоруких обновить срам такой в отечестве своем, чтоб попасть в коллежские регистраторы, — чин, который во все времена, при всех царях до Павла получали холопи, отпущенные на волю, промотавшиеся купцы и всякая сволочь. Приятно ли было Долгорукому попасть в один с ними разряд? Это меня мучило, но я не мог сего случая относить к своему какому-либо

* Передайте мне авран, получите ревень (фр.; идиома, означающая: ты мне, я тебе).

капризу. Сын мой, точно, был слаб и к воинской службе не способен. Я не находил пользы сократить жизнь его для того только, чтоб он в списке какого-нибудь полка на сибирских рубежах или в оренбургских станицах выставлен был прапорщиком, прожился бы, ходя на разводы, потерял бы все семена благонравия в худом сообществе и умер бы от следствий разврата, которое, к несчастью, в войсках наших тогда почиталось удальством. Отцу не могли быть чужды такие соображении, но государь хлопотал токмо о наполнении полков своих офицерами. Если б провидение шепнуло мне, что сын мой определен совершить полезный подвиг для родины своей, о, я тогда, несмотря на истощенную его физику, охотно принес бы его в жертву отечеству, как Авраам Исаака, и пусть бы он умер под ружьем, но на пользу. Убавить же лет живота у родного сына для того, как выше я сказал, чтоб заместить, как кукле, где-нибудь пустое капральское место, это мне казалось безумно. Какая тут честь? Какая слава? Я, судя по телесным свойствам сына моего, готовил его с младенчества к тихим упражнениям мирного гражданина, а не в витязи Еруслана Лазарыча[50].

Всего больнее было мне примечать из обстоятельств, меня окружавших, что государь с какой-то кислотою обращался ко мне даже и тогда, когда он побуждаем был на что-либо согласиться в мою пользу. Я ему был неугоден, не по мысли. Отчего? Истинно, не знаю и не умел никогда понять, но это без ошибки так было, и я, к несчастью, видел это ясно. При таком решительном гневе судьбы надлежало бы уклониться от трудов, оставить службу, но куда деваться? Где жить? Чем кормить семейство? Часто, когда досада воспламеняла душу мою, я брал перо, писал просьбу об отставке, готовился все бросить, но скоро рассудок, прогоняя несмысленные мои мечты, внушал мне противное и заставлял терпеть без ропота искушении, Отцем небесным посылаемые. Я не имел ничего. Я был неотдельный сын, жил и питался жалованьем и жениным имением. Бедная мать моя, в долгах отвсюду, как в силках, боряся с нуждой, недугами и старостью, не могла без удара смертного перенести мою отставку и принять все мое семейство на свое содержание. Она не могла мне дать пристойного дохода. Обременить собой, да и с кучею детей, жену, которая имела своих двух сыновей, при небольшом также состоянии, было бы, по мнению моему, низко, неблагородно, несообразно правилам чистой морали. Итак, оставалось мне все терпеть и ждать лучшего от единого источника всех благ, Зиждителя и Бога. Богатый делает, что хочет, бедный, что сможет[51]. Так, так! Истина непреодолимая! Сие было, есть

и будет вовеки, и с такими-то размышлениями я засыпал каждый день в надежде на утро, а утро, бывало, процветет и погибнет, по пословице одного чужестранного писателя:

Le matin je fais des projets
Et le long du jour des sottises*.

1811

Пророк и царь Давид сказал: «Ближние мои далече от мене сташа»[1]. Истина сия богодухновенного мужа стала ощутительна и мне при начале нынешнего года.

Отошел от детей моих их учитель, и снова остались они без присмотра. Иностранцы привыкли в наших домах самовластвовать и требовать удовлетворения всем своим капризам. Редкий из них не таков, но что делать? Они необходимы. Часто обвиняют отцов, что они поручают воспитание детей своих иноземцам. Согласен был бы я на сию укоризну, когда бы можно было домашними средствами обойтиться. Но взглянем слегка на способы учения в нашем государстве. В гимназиях и вообще во всех публичных казенных заведениях ничему не учат основательно, а прочие вольные училища все дороги, да и управляются иностранцами. Русские учители и студенты, как то водилось в старину, ныне по домам уроки давать не ходят, всякий думает о том только, чтоб произойти в чины, достать крестик и жить барином. Вот что принуждает нанимать немца, француза, швейцара[2]. Отпустя своего учителя, я принужден был, дабы занять сколько-нибудь меньших детей Дмитрия и Рафаила, приговорить гимназических двух учителей, кои мне способнейшими показались, обучать их математике, российскому языку и рисованью[3], а Александра отправил в Петербург. Он определился на службу под надзором старшего брата своего в министерство внутренних дел с чином четырнадцатого класса, или коллежского регистратора, чего хуже не было никакого названия в России, но иначе начать гражданской службы было невозможно.

Секретарь мой Поспелов также рассудил меня оставить. Ему наскучило быть долго в одном чине. Я не мог ему доставить так скоро повышения, как он того желал при самолюбии неограниченном. Этот молодой человек чувствовал свои дарования и, желая лететь из чина в чин, как

* Поутру прожекты строю, / после — маюсь ерундой (фр.).

молодые галчата прыгают с ветки на другую, он взял отставку и поехал в столицу севера искать лучшего счастия. Жалея в нем более о потере собеседника, нежели секретаря, без которого я еще мог обойтиться, я никого не взял на его место и сам сделался своим секретарем. Потеря сих двух близких ко мне людей в семействе моем подействовала на мои чувства, и я начал ее совершенной печалью, которой обновился настоящий год.

Два случая по службе озаботили меня очень много и, по счастью, благоприятно кончились. Губерния, от неисправности подрядчика Злобина, начинала чувствовать недостаток в соли. Злобин, истоща все свои финансы, являлся во всех предприятиях своих неисправным. На донесения мои о том угодно было министру финансов приказать мне на счет Злобина перевозить соль в губернию из всех тех мест, где она зазимовала и откуда за недостатком у подрядчика денег достигнуть до места своего назначения не могла. Злобину казна оставалась должною, но немного больше ста тысяч рублей. Залоги были безнадежны, многие суммы правительством выданы вперед и потрачены без пользы. Соль рассеяна была в Ярославле, Костроме, Нижнем и других пристанях. Ожидать весны не позволял недостаток, надлежало приняться за сухопутную развозку и почти в самую распутицу. Вот в каком положении должен я был принять это дело из Казенной палаты на свои руки. Я вызвал купцов, поторговался с ними и, приведя развозку в такую меру, чтоб стало на оную денег, казною причитающихся в платеж Злобину, изворотился сей суммой и всю губернию надлежащим количеством соли наполнил. Казна должна была быть довольна, потому что всякий убыток подрядчика тесно соединен был и с ее убытками, и ежели бы я на счет его нанял дорогими ценами поставщиков, то по безнадежности залогов казна обязанной бы нашлась весь ущерб принять на свой счет. Злобин, с своей стороны, не мог сетовать, потому что он расплатился с казной тою суммою, которая ему из оной следовала, не приплачивая ничего от себя. Итак, дело сие наилучшим образом по возможности было окончено, и я благодарил Бога, что удалось мне его совершить таким облегчительным образом. Министерство взглянуло на сие весьма холодно. Министр сказал мне сухое спасибо, и я остался доволен тем, что меня же не выбранили за некоторые мелочные отступлении от приказной формы, без коих я бы никак не достиг желаемой и полезной цели.

В то же время велено было мне от военного министерства заготовить на весь год продовольствии рекрутского депо[4] провиантом. Вызваны хлебные промышленники в Казенную палату, даны им торги, и заключен

контракт, но в тот же самый день, как дело кончено в Палате, приносит мне почта повеление, что рекрутский депо обращается в другое место и что заготовление ему провианта не нужно, и потому, если уже и куплен хлеб, то стараться без потери денег его отдать назад. Вещь совсем невозможная. Кто возьмет товар назад и за ту же цену? Мне оставалось решиться на поступок самый своевольный или подвергнуться невыгодным подозрениям, ибо я твердо знал, как о нашей братье рассуждали повсюду. Не колеблясь ни минуты, я призвал к себе подрядчика, взял у него контракт, разодрал его, объявил, что хлеб не надобен, и дал Палате о том предложение. Тщетно купец представлял мне неправильность моего поступка, я с ним соглашался, но оставлял его полным господином жаловаться на нарушение святости договора. Если б я заявил о контракте, я уверен был, что правительство подумает, что я ускорил заключение его, дабы иметь какие-нибудь свои выгоды. Разорвавши условие, я подвергался только выговору, но не оскорбительному подозрению, а между тем, поелику от решимости моей на то, чего сделать было мне не должно, казна выигрывала более пользы, нежели от строгого наблюдения правил, то и надеялся я, что и самый выговор меня не коснется, что в самой вещи и случилось. Купец, понимая это так же хорошо, как и я, поплакал о неудаче получить барыш и нигде не жаловался, а правительство, увидя из рапорта моего, что хлеб еще не куплен, осталось довольно тем, что суетливость его распоряжений по сей части не навлекла казне никаких убытков; и так выпутался я из двух весьма скользких операций, желая искренно, чтобы не так часто делались мне подобные препоручения.

В этот год дни рожденья и именин тещи моей вместе с днем и моего рожденья приходились на Страстной и Святой неделе. Путь зимний держался до половины почти апреля, и я рассудил на сии две праздничные и прогульные недели съездить в Москву, что и сделал, испрося себе отпуск на пятнадцать дней. Дочерей обеих и с мадамой мы взяли с собой, а мальчики с мамушкой-немкой остались в Володимире. Нам нельзя было поместиться в матушкином доме, потому что вся наша обыкновенная половина занята была семейством племянника моего Ефимовского. Жена его Серафима, будучи одержима сильной чахоткой и при конце жизни, привезена мужем в Москву для излечения, но, по ссоре отца с сыном, тот их не пустил к себе на двор, деться им было некуда. Мать моя в такой крайности уступила им часть своих покоев, и хворая графиня с мужем своим и ребенком, которого я за год перед тем крестил, расположилась в них. Бедная эта молодая женщина, на которую все домашние

глядели уже, как на усопшую, представляла зрелище нам всем неприятное. Мы наняли подле нашего двора флигелек и тут только ночевали, а день весь делили между двумя старушками, моею и жениною матерью. Родных много было тогда в съезде, и мы довольно бы приятно проводили время, когда бы состояние племянницы родной и междоусобие отца с сыном в такое отчаянное время жизни жены одного, а снохи другого дозволяли нам отдаваться в полной мере ощущениям одной радости. Проживши таким образом до Фоминой недели в Москве, мы в воскресенье отправились в Владимир, и день спустя после нас Серафима скончалась[5], ничего не оставя мужу, кроме права на законную часть и сына хворого в колыбели. Ее лечили и славные и не славные доктора, и кавалеры и мужики, денег потрачено много, но чахотка не слушалась никогда врачей. Ее похоронили в Девичьем монастыре, и участь ее была, родясь, мало жить на свете, а по смерти мало жить в памяти; ее скоро забыли, как женщину, ничего не значившую и не приобретшую никаких талантов ни воспитанием, ни от природы.

Приехавши в Владимир, дети мои дали мне комедию 30-го числа апреля, после которой отправился я по городам обыкновенным образом, и нечаянно на пути, без всякого предварительного уговора, съехались мы в Переславле с тещей моей, которая ехала в Ростов Богу молиться. Тут мы с ней дни два еще прожили, и, кончив свой осмотр, воротился я на владимирское гнездо свое, где целое лето в разных провел заботах.

Начались они относительно собственно ко мне следующим обстоятельством. Известно уже читателю, что я часто и сильно был штрафован в прошлом годе Сенатом и не почитал себя заслужившим такое утеснение. 1-го числа генваря пошло от меня письмо партикулярное к г. Балашову, в котором, описывая ему нанесенные мне с тяжким убытком обиды, просил дать мне наставление, могу ли я и каким путем должен жаловаться государю. Я желал прежде всего утвердиться на согласии моего начальника и тогда действовать по учрежденным на то формам. Писавши письмо приватное, естественно, что я употреблял выражении свободные, но поелику обращал их к министру, то не был столько прост, чтоб перейти за границы терпимости. Письмо сие, как значительный документ в Истории моей, я приложу в копии при окончании года. Не знаю, хотел ли мне Балашов зла или добра. Кто проникнет чужую душу? Это омут! Но, получа мое письмо, тотчас оригиналом его поднес государю[6], и сей указал собрать справки, по каким именно делам штрафовано Губернское правление. Справки сии присланы, оказались с письмом моим сход-

ны, и объявлен именной указ рассмотреть в общем собрании московских департаментов все штрафные определения и вместе с ними мое письмо. Таким образом сделалось оно актом гражданским, и Сенат, в огне рвения и досады за то, что я на него пожаловался, начал придираться к разным моим выражениям, толковать их в свое предосуждение и пылать гневом и яростью на меня. Видимо было уже, чего мне надлежало ожидать от злобы сего верховного трибунала и его поруганной канцелярии. За седьмой департамент вступились и прочие господа сенаторы, по пословице: «Свой своему поневоле друг». Итак, отвсюду летели против меня каленые стрелы. Когда дойду я до копии с сего письма, то распространю рассуждение мое о содержании его и свойстве поступков правительства по оному, но теперь, дабы не прервать исторической нитки происшествий, остановлюсь на том, что Сенат приступил по указу к слушанию снова состоявшихся о мне штрафных определений, и как сие требовало времени, то на несколько месяцев молва народная, вопиющая против меня, утихла, и я еще имел несколько свободы заниматься делами службы и домашними.

С новыми постановлениями предстали обширнейшие труды. Переменено состояние штатных команд. Они и доныне были на все недостаточны, а теперь, отойдя от губернаторов совсем, полиция градская лишилась всех способов быть исправною. Штатные сии команды, не переменяя в них ни людей, ни мест их пребывания, соединены в батальоны и названы внутренней стражей, даны им особые военные начальники, новые формы вооружения и одежды, умножены некоторым числом таких же инвалидов и стариков, и хотя сей распорядок очень мало способствовал существенной пользе, ожидаемой от внутренней стражи, но, будучи ново, оно казалось гораздо лучше прежнего. Сделалось вдруг два начальства в одном городе. Status in statu*. Умножилась пустая переписка. На всякий случай необходимости в штатном солдате надлежало мне письменно требовать его с указанием причин от батальонного начальника, а городничему от частного офицера. Всякий тотчас увидит, скольким неудобствам такое управление было подвержено, но нас не призывали рассуждать о пользах губернских учреждений, велят и повинуйся. Сдача людей, арматуры и амуниций в несколько месяцев заставили исписать целые стопы бумаги, и я думаю, что внутренная стража ни для кого столько пользы не принесла, как для бумажных фабрик, коих продажа весьма усилилась:

---

* Государство в государстве (лат.).

всякий писал, много писал, а читать было нечего. Приведем один случай. Опыты лучше всякого теоретического рассуждения указывают пользу или худую сторону всякого публичного постановления. В одном уездном городе городничий потребовал к ветхому казенному строению караула, чтоб присмотреть за материалом, ибо, как говорится, казенное на воде не тонет, на огне не горит, а за ущерб отвечает начальник. Офицер не рассудил дать солдата и отказал. Городничий описал ко мне необходимость в карауле, я к батальонному начальнику с требованием, тот, согласясь с своим подчиненным, не дал его и мне, а писал на разрешение к генералу бригадному внутренней стражи, который жил в Нижнем. Этот, наконец, позволил дать караул. В переписке прошло месяца четыре, и когда явились солдаты для стражи, то уже нечего было караулить, потому что старый анбар добрые люди растаскали и истопили им свои печки. Вот один пример! Сколько ж подобных представится тому, кто захочет когда-нибудь писать на досуге историю внутренней стражи.

Финансы государственные приходили день от дня в большее расстройство. Недостаток в деньгах и трудные извороты правительства в нуждах своих были так очевидны, что даже от самых тупых глаз ленивого гражданина нельзя было того скрыть. Налоги и дороговизна истощили до того многие губернии, что приметным образом стали увеличиваться недостатки. Когда они оказались в Владимирской уже губернии и многих других, где крестьянин, от работы ремесленной получая все свои доходы, всегда возвращается домой к зиме с нарочитыми деньгами, то чего было ожидать из тех провинций, где поселянин, от одной земли и возделания ее получая свои прибытки, не может в прочем никаким рукодельем достать себе излишество, а едва кормится с семейством своим зерном, добываемым плугом. В здешней губернии никогда не было остановки в сборах, но и в ней стали они примечаться. Министерство финансов, желая усилить средства выплачивать их, выпустило по всем губернаторам, в том числе и я получил 31 мая высочайший рескрипт, коим повелевалось всякую неделю рапортовать самому государю о успехе во взыскании доимок, но очень слабые даны были, впрочем, способы к достижению желаемой цели. Указы, как бы строги ни были, денег не выжмут, если их нет в народе. Наперед должно доставить возможность приобретать их, а потом строго взыскивать, чтоб казна из приобретений частного лица получала в свое время без остановки то, что ей следует. Здесь написали строгие повелении начальникам губерний и думали, что золото оттого потечет в казну рекою. Ошибка скоро открылась, ведомости стали исправ-

но доходить, а деньги платились худо, и недоимки почти не уменьшились. Всякий берег денежку на черный день, предвидя по течении дел вообще, что таких дней вперед будет много.

Вместе с указами о недоимках выпущен и манифест о шестой переписи в народе после пятой, которая была в 1794 году[7]. Протекло шестнадцать лет. Столь близкое расстояние сих эпох оказывало ясно, что в деньгах крайняя настоит нужда. Срок переписи оканчивался 1 генваря наступающего года. Две такие операции, непосредственно падающие на народ, заставили его призадуматься, и сколь мужик русский ни черен, ни дик, однако не мог холодным образом смотреть на то, что в одно и то же время описывали его семейство в избах и требовали из кармана в казну денег. Обращаясь с народом разного наименования, с помещичьими и казенными крестьянами, я давно отстал от общего предубеждения, что будто к нашему мужику можно приспособить те правила управления, кои проповедует теория филантропов. Нет! Наш поселянин к этому не готов. Он, конечно, ближе к скотскому самодовольству, нежели к нравственным наслаждениям добра, и потому обхождение с ним потребно более физическое, нежели моральное. На него действует страх, крик, угрозы и самые побои. Доброе слово с ним, ласка и убеждения теряются без пользы. Эту истину я дознал несомненными опытами, но не надобно терять меры, она везде должна быть масштабом наших распоряжений. Уклониться от нее страшно, однако этим, кажется, шутили и дразнили чернь всякими средствами, нарушая домашнее благосостояние мужика. Наше дело было все исполнять, от нас не требовали никаких диссертаций, и мы порядочно народ Божий нажимали.

При таких усилиях, кои занимали все умы в государстве, можно ли было, казалось, обращать взоры свои на предметы маловажные и под предлогом общего добра, которым, как широкой епанчой, прикрывались все замыслы наших аристократов или министров, щекотать народ разными новизнами. Вышел указ о учреждении во всякой губернии комитета для наблюдения за прививанием коровьей оспы. Тут кроме губернатора заседать обязаны были вице-губернатор, медик, архимандрит и прокурор; даны строгие правила, велено поступать так, чтоб в течение трех лет ни одного ребенка в селениях не осталось не привитого. Чтоб вяще понудить к тому поселян, назначены почетные места в церкви для привитых младенцев или отроков. Попам внушено, чтоб они вместо проповеди слова Божия читали народу печатные сочинения о пользе коровьей оспы, словом, казалось, что государство наше так счастливо внутри и вне, что

уже ни о чем и думать не оставалось, кроме оспы. Горе стихотворцам и учителям церковным, кои все славили и продавали свои холодные восторги за ленточки и перстеньки. Червь точил Россию, а книжники кричали: «О! Какое счастливое отечество!» Комитет оспенный должен был открыться с 1 генваря, а к тому времени надлежало запастись сведениями о числе народа и особенно о количестве тех малолетных детей, кои не имели еще оспы, дабы, узнав их, привить им оную[8].

Самая добродетель обращается во зло, когда она попадает в крайность. Точно так и здесь: верно, что человеколюбие было основанием предприятию, но не следовало обнимать его с таким жаром. Хотя еще и не очень доказаны были пользы сей новости в медицинском мире, и о коровьей оспе, как перекрестные огни, летали в Европе ученые прении, но согласимся, что сей способ прививанья решительно лучше всякого другого. Зачем и тогда принуждать к оному? Пусть время, которое всему дает зрелость и убеждении, кои располагают умы людские к новостям, пусть они приготовят народ к ней. Зачем неволя? Она здесь могла иметь опасные последствия. Мужик занят был ревизией, платежом долгов в казну, и среди сих попечений, от которых задумался бы и всякий мудрец на его месте, входит к нему поп, лекарь, исправник, хватают детей его в колыбелях, осматривают их и готовятся привить такую сыпь, о пользе которой ни отец, ни мать понятия не имеют. Они плачут, противятся, их принуждают, стращают начальством, и дубина г. исправника доказывает лучше всякого витийства сельского левита[9], что надобно уездному фельдшеру дать волю. Вообразите положение несчастного мужика, который бегает, как угорелый, и не знает, за что приняться. Тут ревизия, здесь недоимки, а там оспа. Сколько вдруг бичей хлещут его со всех сторон. Он последние деньжонки сует исправнику в лапу, и почетный собор расходится, ничего не сделав; оспа не привита, мужик ограблен, а губернатор о сем и проведать не может, потому что, как бы честен он ни был, но он не Аргус, и во всякой избе у него собственных своих глаз нет, а чтоб чужие ему все передали в настоящем виде, этого и цари добиться не могут от вельмож своих, которые всякий день и сыты, и пьяни, то чего же требовать от заседателя земского суда, которому иногда без этой пружины и есть нечего. Но я далеко за пределы плана моего зашел. Воротимся назад.

16-го числа июня, день рождения жены моей, сугубо сделался памятным в последующих годах по случаю, который в нынешнем произошел. Около губернаторского дома отделана была к реке площадь гулевым бу-

леваром и палисадником с перекрестными дорожками, на краю горы поставлен был рундук[10], на который могли усаживаться человек до тридцати, а на самой высокой точке хребта, откуда виды во все стороны были прекрасны, построили купол на нескольких столбах, в котором я, выходя из своей купальни, иногда пивал чай или, задумавшись в досужную минуту, давал свободу мечтам воображения. На сем-то месте рассудилось мне дать летний праздник. Я пригласил весь город на бал, который расположил в шатре, растянутом между собором Дмитревским и моей беседкой. Весь вечер молодежь под наметом танцовала до самых сумерок, а в сумерки вся эта площадь освещена была плошками и разноцветными фонарями; перед ужином сожжен фейерверк небольшой за рекой, который, по отдаленности своей, даже и не всем был порядочно показан, однако всякого народу набежало множество, а у самих у нас гостей было довольно. Отужинавши в покоях, разъехались не прежде утренней зари. Таким-то образом торжествовал я день рожденья моей милой Груши, никак не полагая, что дух злобы в самый этот вечер заразит все те удовольствии и соберет, так сказать, на главу мою углие горящее. Для объяснения сего войдем в разные подробности. Читатель знает теперь, на каком месте, где и какой давал я праздник, и может, узнав последствии, произнести надо мной свой приговор. К этому дню приехала к нам княгиня Куракина, которая прожила тогда несколько времени у нас в доме, и, по странному стечению обстоятельств, княжна Варвара Петровна Волконская, приехавши к брату своему погостить в Марьино, ознакомилась с женой моей и приехала к нам на бал с самого начала вечера. Читатель знает уже все отношении мои к этому лицу, знает, что знакомство между нами со времени моей женитьбы прекратилось, что я нигде после того не имел случая с ней видеться; он отгадает, что первый взгляд мой на нее, да и в моем доме, был для меня поразителен. Признаюсь, что я не вовсе свободен от некоторых минутных замечаний, кои рассудок отвергает, но которые сильно и долго потом действуют на чувства. Явление ее у нас меня смутило, испортило мое расположение к забавам и, напомня мне множество случаев, кои не совсем меня перед трибуналом чистой совести оправдывали, казалось мне как бы предвестником наказаний небесных, и я во весь вечер представлял гостям моим смутное лицо. Сколько ни старался я скрыть его, не дать никакого соблазнительного вида публике в обращении моем с княжной — нет! Лукавство не моя стихия; всякий примечал, что мне не по себе, и от этого худо шел порядок увеселения, ничто не клеилось, и в забавах мало было согласия.

Надобно сказать, что в Владимире в этот день ежегодно после общего крестного хода и торжественной литургии в соборе отпускается назад в Боголюбский монастырь икона тамошней Богородицы, которая с 21 мая по сие число носится по всем владимирским приходам, и при сем отшествии образа обыкновенно отправляет духовное начальство для препровождения до обители ее несколько священников. Старшим тогда в этой свите был Дмитревского собора протопоп Александр, малый молодой, безобразного поведения, редко трезвый, ничему не обученный, дрянь в общежитии и поступках, словом, что называют площадным наречием, *ухо*, но он был Сперанскому двоюродный брат по жене своей и, если верить потаенному его происхождению, то он сын свободный митрополита Амвросия, первого члена в российском православном и благочестивом Синоде, а по сим отношениям и пастырь владимирский Ксенофонт с особенным вниманием к нему обращался и баловал его. Вот что такое был протопоп Александр.

Проводя образ до обители и за трапезой богобоязливых монахов упившись слишком неосторожно, он еще и на возвратном пути не очень правильно выступал по улицам. В этом состоянии, видя около собора его праздничное стечение людей, он прямо пожаловал ко мне в шатер на бал и, подойдя к жене, рапортовал, что образ препровожден благополучно. Какое дело до этого ей, мне и кому бы то ни было, кроме архиерея, которого на тот раз не случилось в городе, но от пьяного какого ожидать толку? Жена прослала его ко мне, он точно то же повторил и мне с прибавлением жалобы, что плошки стоят близко к собору и могут сделать пожар. Видя, что это все происходит от хмеля, потому что плошки, поставленные на земле и так низко, не могли вредить собору, который построен из белого самородного камня и крыт весь железом, я не вошел с ним ни в какое суждение, а желая только его выгнать, придрался к его жалобе и послал с ним полицмейстера под видом тем, чтоб он велел отодвинуть плошки от собора далее, а между тем шепнул ему на ухо: «Протопоп пьян, выведите его вон и велите прибрать». Отвели пьяного попа к домашним, мне о том сказали, и я совсем забыл про него, а хохотали на его счет с княгиней Куракиной и княжной Волконской, к которым он, говоря с женой, чуть не упал на колени, как вдруг слышу шум, и бегут мне сказать, что протопоп дерется с штатными солдатами, собирает плошки, гасит их и кладет в полу и что он так опьянел, что и домашние его удержать не могли, а он у них вырвался и опять налетел в палатку. Тут я очень хладнокровно и без сердца приказал сам полицмейстеру посадить

его в полицию и продержать в ней, пока вытрезвится, что с ним неоднократно и прежде случалось и для него не должно было казаться ново. Попа заперли на съезжей в первой части. Уж мы сидели за столом и ужинали, как тесть его, лукавейший поп из всего причта владимирского, освирепев, чтоб умножить историю и соблазн, пришел ко мне в дом, требовал усильно зятя к себе, кричал, шумел и велеречил по торговому обычаю. Не хотя с ним связываться, я вывел его за руку вон из дому и велел возвратиться на квартеру, прося его, чтоб он ослушанием не вводил меня в грех, а себе не умножил оскорбления, и в ту же минуту, узнав, что уже Александр вытрезвился, дозволил его отпустить домой, чем все сие приключение на ту минуту и кончилось. Но посмотрим далее. Из пьяного случая, которым оставалось презреть, люди хитрые вывели ужасное приключение. Мы дойдем до последствий постепенно, а теперь скажу только, что дни через два поп подал в Консисторию прошение, по которому архиерей описался со мной, но очень долго продержавши его у себя, и я нарядил для формы следствие. В прошении благоговейного иерея ябеда уже завязывала свои узелки. Тут написано было, что он бит, увечен, морен голодом, в цепи у будки полицейской, словом, наклепаны самые безбожные ругательства, и надлежало полиции в них оправдываться. Тяжело было мне смотреть на такое коварство, но оно еще только что развертывалось. Оставим до времени всю эту нечестивую тайну подлых кутейников и возвратимся в мое семейство, где еще не лишен я был в дружеском сообществе княгини Куракиной живейших отрад спокойной жизни.

По неотступному моему приглашению, когда я был в Москве на Святой неделе, матушка соизволила решиться посетить нас в Володимире; несмотря на лета свои, предприняла это путешествие и тем еще увеличила милость свою к нам, что приехала в дом наш в самые именины женины 23-го числа после полудни. С ней были сестра моя и Классон. Хотя тесненько, однако все мы поместились в нашем казенном доме и так его наполнили родными и друзьями, что с утра до вечера и без посторонних было в нем очень людно. При матушке в именины женины был у нас бал в покоях, и она изволила, сидя у карточного стола, смотреть на пляску своих внучат и любоваться ими. Ежедневно потом матушка любила выходить на рундук. Там, севши около ее в круговеньку, мы пивали чай и глотали с приятностью чистый летний воздух. Ах! Что милее родства, искренности и приязни! В таком роде жизни можно забывать и самые неприятности. Будем справедливы, признаем везде благость Божию: рок никогда не теснит нас отвсюду бедами. Тут горе и напасть — там ра-

дость и отрада. Все меняется и переходит в естестве случаев. Часто межа самая близкая отделяет счастье от беды и добро от зла. Покоримся Всесильному! Он гордым противится, он же и низверженных возводит.

Все семейство наше сбиралось в путь. Приехали из Питера ко мне и оба сыновья мои, Павел с братом, повидаться и сего последнего оставить еще у меня до некоторого времени. Большой брат не мог с меньшим сладить. Алексаша был юноша пылкий. Природа одарила его остротой ума и самым льстивым характером, он не прилежал с ребячества ни к чему и не имел никаких сведений, кроме тех, кои юный его рассудок мог ему представить. Оставалось опытам довершить его способности, но страсти всегда ранее встают рассудка, они на пути жизни принялись за него шибко, и он, будучи свойства огненного, не умел от них удалиться. Начал мотать, всего было ему мало, кидался слишком неосторожно в объятии женщин, искал восторгов, находил раскаяние, обманывал и обманывался, доставал очаровании минутные, платил за них деньги и покупал болезни, портилась мораль и страдала физика. Он мастер был ко всем подбиться, угодить, понравиться и слишком прытко щеголял умом на счет поведения и сердца. Вот беглый рисунок второго моего сына, который, судя по началам его молодости, готовил мне множество огорчений и забот в будущем, и поелику согласиться должен был я с старшим его братом в том, что он еще сам собой распоряжать не может, то и оставил я его у себя в доме, что позволял мне сделать данный ему от министра бессрочный отпуск.

Лето мы провели приятнейшим образом. Роскошный князь Волконский, живучи в Марьине своем, версты три от города, давал всякую неделю нам превеселые балы и пиры, из которых я ни одного с моим семейством не пропускал. После первого моего свидания с сестрой его я привык ее видеть еженедельно и находил в том в первый раз невинное удовольствие. Съезды не редки были и в нашем доме. Между всеми забавами замечательнейший праздник дан был княз<е>м Волконским 1 августа, день, который издавна в их доме особенно уважается по домовой церкви, ему посвященной[11]. К удивлению общему, поставлен был в небольших покоях маленький театр, на котором разыграли русскую пиесу, и родственницы княжнины, с ней приехавшие, молоденькие две девушки, протанцовали балет. Зрелище было прекрасное. Мы все с удовольствием на него смотрели, и сам архиерей наш, приехавши по приглашению только отобедать и засидевшись до глубокого вечера, нечаянно зрителем был сего представления. Если б это меня соблазнило и считал

бы я по совести, что это предосудительно, я бы этого не оставил в моих записках, но мне всегда казалось, кажется и теперь, и думаю, что впредь также казаться будет приличнее для лица всякого духовного звания, от первого до последнего, смотреть на пристойную комедию, в которой нет ничего для нравов оскорбительного, нежели, тихонько запершись с своей братьей монахами в келье, пьянствовать, вздорить и позволять себе разные непристойности. У всякого свой образ мыслей, я не оспориваю чужого, но и от своего никогда не отопрусь. После театра владыка уехал, а между нами началась пляска, и я, по охоте моей к ней, не последнюю играл роль в этой забаве. Ужин поздний короновал праздник, ему предшествовал прекрасный фейерверк, на котором я удостоился почести видеть вензель свой в прозрачном щите, и вполне был бы этим обласкан, если б я искренно думал, что губернаторство мое в этом не имело никакого участия, а был приятель хозяевам я сам, точно я, все прилагательное в сторону. Но, ах! С моим ли недоверчивым свойством можно было предаваться такой сладкой мечте, когда и самые легковерные умы редко могли быть в ошибке.

Дела службы и столь развлеченные забавы оставляли мне, однако, несколько часов досужных, которые я хватал после обеда, как голодные ловят пищу, и, сидя в моем кабинете, отработывал в то лето мое «Путешествие в Одессу», которое набело к зиме совсем переписал учитель гимназии Евгенов, молодой человек с редкими дарованиями. Они его отличали перед всем сословием ученых в Владимире. Правда, что это еще не составляет громкой похвалы, но общий аттестат всего города в его пользу, когда в одном случае он подпал неправосудному угнетению своего начальства, доказательством может служить скромного его поведения. Он ходил ко мне учить детей российской словесности, это меня с ним ознакомило, я старался ему быть полезным, сколько мог. Речи его на экзаменах и в собраниях гимназии привлекали к нему одобрении всех знатоков и охотников до красноречия. Он-то самый взял на себя труд переписать мое странствие на Черном море, и книги сии, не назначенные быть когда-либо в печати, всегда напоминать мне будут такого человека, который доставлял мне в Володимире много приятных минут, когда скука уединения или досады по службе расстроивали нежные органы души моей. Итак, я всегда посвящал всю жизнь мою, когда я свободен был, разумеется, делить день по моему произволу, утром службе, после обеда занятиям философии и словесности, а вечер публике и рассеянию, а стихи отнимали меня у меня самого во всякое время, я

был всегда в подданстве у восторгов и не знал ни дня, ни часа когда они вселятся в ум и душу.

Как иногда веселая старость бывает предшественницей смерти физической, так приятное нынешнего года лето преддверием служило политической моей кончине. Оно последнее было для меня в Владимире. В августе стали мы все расставаться. Уехала княгиня Куракина, которая увезла с собой живейшие удовольствия мои сердечные; беседы ее ничто заменить не могло между нами. Оставила Марьино княжна Волконская и отняла душу у тамошних веселостей, кои и по отъезде ее не прекращались. Престарелая моя родительница, благословив меня и всех присных моих, изволила с сестрой отправиться в Москву после Успеньева дня. Последовал за ними старый приятель Классон, и скоро потом собрался к должности своей обратно старший сын мой Павел, оставя у меня Александра, которого я присадил за книги вместе с меньшими детьми.

Оставшись после такого полного собрания почти одни дома, мы поехали с женой в Шую и по городам, и в самое это время, как бы для продолжения летних удовольствий на пути нашем, сосватались две свадьбы, на которых мы необходимо должны были быть действующими лицами по общим обрядам. Невестка жены моей, покойного Ивана Филипповича Пожарского вдова Анна Васильевна, рассудила выйти за бывшего при муже ее в земском суде голого заседателя иностранца Траубе, который всегда пользовался покровительством домов Пожарских и ими выведен в люди. Чего ангел сатанин не делает? Проворному немцу хотелось около чужого имения нагреть руки, а вдове молодой с кучей детей захотелось в соборе круг налоя пройтиться. Итак, эта свадьба совершилась при нас, нам надобно было принять в ней свойственное участие. Около Володимира другая, не менее странная, свадьба ожидала нашего же присутствия. Девица Языкова в сорок почти лет, браконеискусная и весьма собой некрасива, а притом и без состояния вошла в поползновение супружества. Да с кем же? С мальчишкой лет в двадцать с небольшим, купеческого происхождения, имеющим самый ограниченный достаток и мать с меньшим братом на руках. Эпизод этот весьма пустой в моей Истории, но он так смешон, что я не хочу лишить читателя удовольствия со мной похохотать немножко.

Я сроду не видывал совокупления страннее и безобразнее. Везде бывают близкие или отдаленные причины, мелкие или важные, но причины, они ощутительны. Здесь, напротив, ни самый острый ум не проник бы вины сего телесного соития. Дочь генерал-майора, доживши до титла

старой девки, не зависящая ни от кого, и набеглый из Петербурга на двадцать восемь дней к родным своим в Владимир поплясать мальчик, без общежития, бе́з дальнего ума, без состояния корыстного, сходятся вдруг скоропостижно, влюбляются и без всяких друг о друге справок давай венчаться. Говорите после этого, что Амур чудес не делает! Родная сестра женихова была за горькой пьяницей Подшиваловым, который тогда у нас служил председателем в Гражданской палате. Тут-то под пьяную руку происходили свиданьи, сватаньи, подмигиваньи между двумя олушками. Невеста была сродни жене моей, но так как губернаторы в своих губерниях всегда всем родня, то и я при этом случае делался самый необходимый и большой свойственник. Свадьбу отправляли в Суходоле, село в семи верстах, доставшееся после отца невесты старшему сыну Платону, который сам после был исключенный из провиантского штата с пятном чиновник, но супруга его, целомудренная полячка из рода Остророг, венчанная и разводная жена многих мужей в Польше, но совершеннейшая красавица, она-то, хотя более всех противилась этому союзу, называя его подлым, но по тесному родству не могла отказать ни в деревне, ни в позволении сыграть тут без нее свадьбы. Самой же этой Корали знаменитой тогда налицо не было, она в Петербурге хлопотала о судьбе своего Платона и с господами министрами для лучшего успеха по очереди видалась по ночам. Мы в Суходоле отправили венчальный обряд, скутали двух дураков под одно одеяло и за труды наши заплочены были множеством конфект. Но я слишком долго об этом вздоре говорил. Читатель, не забудь только Корали, ты ее найдешь еще в моей Истории.

К осеннему моему осмотру городов отнесу я отделку каменного дома для присутственных мест в Юрьеве и пожар Суждальский. По сим двум случаям был я в каждом городе лично, сперва в Юрьеве, где, по отправлении в казенном новом доме обычного богослужения тамошним духовенством без всякого разглагольствия, кроме положенной по уставу формы, введены мною чиновники в их места, и при сочинении о том в уездном суде общего журнала произнес я по привычке моей речь, и она довольно хорошо была принята собранием. А в Суждале ожидало меня позорище другого рода. Там сильный пожар, начавшись в близости гостиного двора, сжег новую крышку, только что отделанную на нем, и обезобразил всю пространную его каменную колоннаду. Не много частных домов потерпело от огня, но уважителен был пожар потому, что коснулся лучшего здания в городе; я боялся, что купцы потеряют охоту и силы снова за него приняться и недоделанный монумент несмысленной

своей роскоши оставят в развалинах, но вместо того они после пожара еще жарче за него принялись и скоро опять выстроили. Год спустя уже они могли торговать почти во всем его пространстве, но нечем было, и оттого многие номера навсегда будут пусты. Сей случай, однако, не так шибко разнесся в государстве, как история моего пьяного попа, которую молва пустила на север в красках самых черных.

Сказано было в Петербурге, будто благоговейный и престарелый священник, увидя, что собор его иллюминован так, как в царские дни[12] прилично или на Святой неделе, приходил к губернатору о сем изъясниться и был от него выбит с поруганием. Другие сложили, что священник шел мимо шатра губернаторского с святыми дарами и пьяной толпой бит и прогнат. Третьи вестовщики, что тот же священник за возражение о плошках, кои могли запалить собор, вытащен из алтаря, куда он скрылся, и штатными солдатами потчеван нагайкой в самой церкви. Вот рассказы самых лучших людей в большом свете насчет сего мелкого происшествия. Остановимся здесь на минуту, и пусть в первый и последний раз позволят мне сделать искренное мое на это замечание. Во-первых, поп был не старик благоговейный, а молодой пьянюха и фигляр, который для забавы проскакивал в бочарный обруч, и это вся публика владимирская так же знала твердо, как я. Второе. Противно было бы здравому рассудку иллюминовать собор на бале. Что тут за краса? Что за вымысел? Беседка на горе не собор, а шатер еще меньше, и если хотелось кому-либо отказать мне во всех свойствах скромного человека, который ни до какого буянства никогда не был охотник, по крайней мере не надеялся я слыть таким безумцем, чтоб вздумал сравнять в радостных огнях на соборе день семейного моего праздника с днем Светлого воскресения или коронации. Далее. Священник не мог быть поруган, идучи с дарами, потому что не было дороги мимо шатра, в котором плясали, а он забрел в палатку пьяный и шатался из угла в угол, да и потому что дары по узаконению носятся на голубой ленте видимым образом, в предшествии церковника с свечой, следовательно, при сих атрибутах попа не бьют, а перед ним сторонятся. С балу же и из всякого собрания пьяного попа не только не грешно, но даже и полезно для отвращения соблазна вывести вон и прибрать. Не мог также тот мнимый благоговейный иерей быть вытащен ни с дарами, ни без них из алтаря потому, что в дополнение к прежним доводам здравого рассудка собор Дмитревский есть церковь бесприходная[13], следовательно, попу ее идти с ними некуда и не к кому, а служить также нечего было в церкве, ибо это случилось в иллюминацию,

кои зажигаются тогда, как наступит ночь на дворе, а по ночам летним коротким нигде в России попы ничего не поют, а спят благополучно или, подобные Александру, шатаются по трактирам. Все это, однако ж, ни на кого не действовало, и в Петербурге, в Москве об этой вымышленной нескладной басне больше говорили, нежели в свое время об осаде Гибралтара[14].

Не знаю, в таком ли виде на письме представлены были государю от князя Голицына, синодального обер-прокурора, все жалобы, чаятельно, до него дошедшие, и, может быть, приватные доносы от архиерея к Амвросию по упомянутым того попа с ним связям. Не знаю также и того, до какого степени принялся за это дело г. Сперанский, но только в сентябре явился в Володимир чиновник, присланный по именному указу с строжайшим повелением исследовать этот случай. Статский советник Харламов, приехавши, когда я ездил по городам, начал следствие без меня и без меня совсем его кончил, следовательно, я не мог ничему препятствовать, ничего скрыть. Заставши его еще в городе по возвращении моем, я мог только заметить из речей его, в которых, впрочем, искренности было мало, что обстоятельство сие принято как поругание в лице попа самой религии и нарушение благочестия. Мне казалось, что религия ничего общего не имеет с служителем ее, что она свята сама собой независимо от поведения священников и что бесчинный служитель алтаря гораздо более наносит ей поругания, нежели поступок начальника гражданского, который, скрывая соблазн от народа, запирает попа пьяного в полицию.

Винили меня иные в запальчивости. Я оставляю, рассказав, как все происходило, на суд всякого начальника губернии, что б он сделал умереннее на моем месте. Другие упрекали, для чего я попа отослал в полицию, а не духовной власти. Архиерея не было в городе, и кто под ним старший в рясе чиновник, губернатор знать не обязан. У него полиция. Бесчинство всякое, от кого бы оно ни происходило, подвержено ее надзору, и она делала свое дело, заключая пьяницу в полицейскую камору, которая, конечно, не бывает подобна хорошему покою свободного и честного гражданина в своем собственном доме. Некоторые уверяли, что полицмейстер, худо исполнив мой приказ, подлинно, бил попа. Это надлежало исследовать и, уверясь в том, поступить по законам, а не осуждать по молве и капризам. Говорили прочие, что я не уважил этим и не дал удовольствия обиженному попу. То, что я видел и при мне происходило, не давало ему никакого права требовать удовольствия, что делалось на улице, того мне видеть было нельзя, я не мог бросить гостей,

публику и бежать смотреть, как попа взяли: под руки ли повели, или за ноги потащили в полицию. Он был пьян, это доказано, а потому полиция прибирала его так, как сладить с ним могла. Впрочем, жалобы ко мне не было, поп подал ее архиерею, пастырь мешкал сношением формальным, а я по глупой молве не обязан был вчинать[15] дело и придираться к полиции тогда, как все, дошедшее до меня, удостоверяло в том, что приказ собственно мой исполнен был в точности. Как же скоро архиерей списался со мной, я нарядил чиновника вместе с духовным депутатом произвести следствие, потом, когда сей чиновник занадобился мне на важнейший случай, я переменил его другим, в чем также отступления от правил никакого не сделал, но уже в течение сего последнего следствия прибыл г. Харламов и, остановя оное, приступил к своему исследованию.

Оно делалось с большой от меня тишиной. Советчиками г. Харламова были: архиерей; советник правления и по моему аттестату кавалер Полубенский; и дядя мой двоюродный, камергер князь Долгорукий, которого отца побочный сын, а его побочный брат Рукин был у меня полицмейстером, что и делает большую честь его сердцу и правилам. Что в следствии было написано и доведено до министерства, не знаю, но не мог не догадаться, что вся эта туча летит на полицмейстера, а в действующем этом лице поелику страдать должен был и я, то и почел себя обязанным наконец г. министру полиции послать пространное донесение об этом приключении. Тонкие умы города обвиняли меня и в том, что я к нему об этом тогда же не писал, но я никогда о вздорах не посылал рапортов и не отягощал пустяками моего начальства, а признаюсь, что и в самые свирепые порывы правительства за это дело на меня не мог ни по совести, ни по уму, ни по чести считать его таким, чтоб умолчать о нем было преступленье. Губернатор, как я его разумею, не есть сочинитель анекдотов и сплетен. Он служит, а не комедию играет, и дрязги должны быть всегда ниже его.

Архиерей, желая внутренно мне добра, предвидя, что дело берет худой для меня вид, и почитая самой хитрой политикой угождать всячески своим властям и с крайним порабощением, советовал мне отклонить от себя все хлопоты, сваливши вину на полицмейстера. Я оставляю судить о свойстве сего совета в устах первосвященника тем, кои так жарко вступались за благочестие и религию, до какой степени подобный совет сообразен тому и другому, но, с моей стороны, глядя на такие внушения, как на искушение сатаны, писал к министру откровенно, как все происходило, и в заключении доносил, что если полиция будет в исполнении моего

приказания обвинена, то бы наказание ее обратили на меня, потому что побои не доказаны, а запереть попа в полицию приказано было от меня самого, и я бесчестием бы почитал от своих приказаний отпереться. В этом же рапорте я упоминал, что не доносил о буйстве попа в то же время, потому что такое мелкое обстоятельство не почитал достойным внимания г. министра, а вроде жалобы на него представить за оскорбление моего дома такою наглостию казалось мне поступком неприличным и чину моему, и имени.

Харламов, конча следствие, отправился в Питер, а в губернском городе, по обыкновению, начались перешепты. Мой рапорт дошел до министра в свое время, доложили государю, и в первом движении гнева монарх, не в пользу мою издавна расположенный, приказал меня отставить. Указ уже был готов, и слух о сем так достоверно разнесся повсюду, что домашние мои в Москве уведомили меня об оном с нарочным.

Нетрудно вообразить, сколько молва сия поразила весь мой дом и сколько черных мыслей бросилось мне в голову. Ежедневно ожидал я указа о своей смене. Вице-губернатор, желавший моего падения, как вор на большой дороге добычи, и содействуя всему тому, что могло его ускорить, даже до следствия Харламова, в котором, бывши всему свидетель, от всего отпирался и слово правды не сказал, чему и многие подражать не постыдились, сей скаредный мой сослуживец уже разглашал мою отставку в народе, уже запрещал поселянам ходить ко мне с жалобами и уверял их, что пришла его пора тешиться над ними по своему произволу.

Будучи в таком смутном положении и не зная, что предпринять, я решился, однако, с совета ближних моих послать нарочного в Петербург к г. Балашову и просить его об отпуске меня на двадцать девять дней для оправдания перед собою во всех взведенных на меня лжах и вместе с тем писал к графу Николаю Ивановичу Салтыкову о том же. Нужно было сии письмы доставить повернее, поспешнее и в том только случае, когда молва о моей отставке окажется несправедливой. Для этого требовался не рядовой слуга, а человек с чином, который бы мог себе отворить двери и получить вход к министрам и вельможам. Некто приятель наш Федор Иванович Дмитревский, заседатель дворянский в уголовной палате, молодой человек прекрасного поведения, с хорошими правилами, вызвался мне на сию услугу, и я никогда ее не забуду. Он и с ним для одной прогулки и сотоварищества пасынок мой старший отправились по почте к Балашову, и скоро по отъезде их шепоты о моей отставке утихли, перестали с[т]авить на место мое другого, и помаленьку наружный вид

службы в отношении ко мне стал приходить в свой порядок, но я не мог успокоиться. Быть отставлену без вины за пьяного попа казалось мне неправосудием ужасным, и я не столько крушился о потере самой службы и с жалованием всего моего состояния, как о том, что я так мало имею у двора весу и доброхотов, что и такое мелкое обстоятельство могло так сильно действовать на судьбу мою.

Скоро по отъезде моих нарочных вышел указ о наборе рекрут с новыми расположениями, о коих упомянется ниже, и я получил от Балашова письмо, в котором он меня извещал довольно ласковым слогом, что государь изволил меня уволить на двадцать восемь дней, но не прежде, как по окончании набора. Известие сие расправило мои крылья, стали трусы опять мне притрушивать и в передней моей ожидать моего приглашения. Подлые люди, как тряпки, летят туда, куда гонит ветер. Приехал и Дмитревский сам, который удостоверил меня, что, действительно, в первом движении государева негодования за то, что я оскорбил чин духовный и в лице попа посрамил церковь, приказал он меня отставить, но граф Николай Иванович, скоро о том узнав и переговоря с Балашовым, дали делу сему другое направление, то есть оттянули последствии его, толико грозные, до времени, и на представленный о том доклад с отменой отставки выходил именной указ, чтоб все это пересмотрел московский Сенат и сделал свое заключение. Вот уже две большие накинуты на меня были петли, и Сенат, милуя меня много, всячески старался потуже их затянуть. Неминуемо должно было мне ожидать сильного убою, и я хотя не скрывал от себя всей тягости моего состояния, но, надеяся, что, явясь в Петербург и обьясня лично моим властям все черты поповской истории, обращу на свою сторону тех, кои сгоряча о том рассуждали неосновательно. Между тем получен и указ о моем отпуске, и я на несколько времени успокоился в моем семействе.

Прежде, нежели говорить стану о наборе, который возродил новые беды для меня по службе, дабы не отрываться от театра его происшествий, скажу заранее, что дома, несмотря на заботы каждого почти лица, никогда так весело не было, как в настоящем годе; как бы нарочно Владимир, и с предчувствием, что я уже недолго ему принадлежать буду, развернул чрезвычайные средства к удовольствию. Клоб никогда так не был люден и весел, ежедневно давались балы в частных домах, да даже и в таких, где кроме воскресного дня ворот не отворяли, и сие имело случайную причину. Московский танцмейстер Меренвиль, столь громкий человек в своем ремесле, рассудил приехать к нам давать уроки детям

благородным, предложил подписку и собрал до восьмидесяти учеников обоего пола. Самые угрюмые и скупые люди давали деньги и учили ребят своих плясать; кто хотел мазурки, кто бычка, Меренвиль тешил каждого, брал деньги и никого ничему не учил, кроме двух-трех домов, где он знал, что обман с делом различить умеют. Меньшие мои дети в той же толпе учились. Мастер сваживал всех ребят в один чей-либо дом по вечерам, с детьми езжали отцы, матери, родные, и так набиралось человек до ста. Старики игрывали в карты, старухи рассказывали небылицы и ссорились потихоньку. Малютки учились, а взрослые впристалую к ним толклись, как пешки. Меренвиль принимал потовое и в натопленных небольших покоях, кои, однако же, назывались залами, поднимал ноги аршина на два кверху. Можно было по чести назвать его доход трудовой денежный. Вот что произвело ежедневные собрании в разных домах, начиная с моего. За стыд, говорят, голова гинет. Пляска задерживала гостей очень поздно, дети, отучась, разъезжались, но из приезжающих с ними по нескольку десятков оставалось ужинать, и таким образом не проходили дня почти в неделе без музыки, пляски и шумного рассеяния. Оно давало роздых удрученным моим мыслям, и я, в свою очередь, иногда кружился с ребятами.

Люди придворного духу (а где их нет?) уверяли меня, что такие забавы происходят от удовольствия, чувствуемого городом по причине той, что я остался его начальником и что не сбылись худые обо мне вести, но я не был никогда до такой степени рабом суеты, чтоб верить столь очевидной лести, я презирал ее и знал очень твердо, что одно предубеждение и безрассудная роскошь побуждали многих с изнурением сил своих отдавать детей в плясовую науку. Как не поучить дочки попрыгать? Меренвиль известен, у него все учатся в Москве, как же отстать от прочих? А того несмысленные люди не рассуждали, что при нужном хлебе насущном танцы не пойдут никому на ум, да они же и не учились ничему, а прыгали, как природа наставит, но были бы заплочены деньги, да и Меренвилю, чтоб после можно было похвастать и сказать о доброй провинциальной девушке, но неуклюжей и дородной, что она танцовать училась. Как будто в Галиче, в Чухломе или ином каком городе небогатый помещик, которому нужна хозяйка, возьмет за себя плясунью. Он ее пошлет в сусек, а она станет боковые шасе[16] ему показывать. Ничего нет для губерний пагубнее, как перенимать без рассмотрения пользы все, что ни делается в столицах. Там свой масштаб, свои пружины. Но критику прочь, — признаться должно, что в эту зиму очень было весело в Воло-

димире. Вдобавок же подъехали из уезда на житье сюда человека два богатых дворян, кои искали случая прожить имении свои блудно, и они частые давали нам праздники, кои разбивали около меня политические мраки и способствовали провести зиму приятно. Спасибо вам, наши крезы! Кто веселит, тот, право, много добра делает.

В числе семи вечеров шумных один я отложил для себя, и именно вторник; он посвящен был словесным упражнениям. В Петербурге тогда с великим провозглашением открыта была Беседа любителей российского слова[17]. Державин отдал для сих собраний дом свой и был президентом ученых трудов. Тут один раз в месяц читывались разные российские сочинении, и вся публика съезжалась в новый этот музей прислушиваться к гармонии своего природного языка. Дамы текли туда с восторгом. Бунина и Волкова̀ доставляли свои стихи собранию. Цель его была ввести в россиян вкус своей словесности и мало-помалу отучить от французской или уменьшить предубеждение общее к чужеземным наречиям. Скоро по всей России загремели газеты о сей Беседе, и новость носилась в устах каждого жителя Петербургского. Казалось, что один только день в месяц и полезен, тот, в который назначен съезд в Беседу. Не совсем такую же, но подобную, учредил я у себя по вторникам. Члены моего собрания трудящиеся были сыновья наши: мой Александр, женины Алексей и Филипп. Для них-то особенно я предпринял это, беспрестанные забавы рассеивали слишком молодые их умы. Тут они в тишине должны были и сами читать, и других слушать. Выбор чтения зависел от каждого члена. Предметы были разделены на классы, и по жеребью доставалось быть президентом собрания или чтецом историческим, или иным. Всякий вторник менялся председатель. Дети наши, поощряемые самолюбием и к выбору хороших произведений, и к хорошему их произношению в публике, должны были после вечерних балов в прочие дни недели помышлять о вторнике и заготовить упражнение свое. Членов было не много, семь человек: гг. Горяинов, Бенедиктов, Евгенов и я сам-четверт с детьми. Взрослые члены читывали и свои собственные сочинении: Бенедиктов прекрасные переводы, Евгенов речи философические, Горяинов стишки, а я то стихи, то свое «Путешествие в Одессу». Читали мы все это публично в большой зале и при посетителях, коих иногда бывало и довольно, иные всякий вторник без пропуску езжали, даже и дамы некоторые любили тихие наши вторничные вечеринки. Вот каким образом происходил порядок наших собраний. Чтение делилось на две части, прозаическую и стихотворную. Оно начиналось в шесть часов ровно, и никого не поджи-

дали в зале. Поставлен был большой длинный стол. Президент садился на кресла в первом месте, по сторонам сидели члены. Каждый занимал свое место по жеребью; разумеется, что зала была прилично освещена и стол снабжен всеми нужными вещами для письма и книгами для чтения. В большой тишине открывал президент свое чтение, пред которым музыка играла в боковой комнате симфонию, и во время ее все посетители садились и члены брали свое место. После президента каждый член, садясь на его место, дабы лучше его слышали, читал свое, и когда все семь кончали прозу, начиналась опять музыка, во время которой чтецы отдыхали, а гости могли поговорить между собою. Это продолжалось полчаса ровно, после чего по-прежнему все садились, кому где следовало, и президент открывал чтение стихов. По окончании всех семи членов вынимались жеребьи, кому на будущий вторник достанется быть президентом, и тот, кому выходил номер в кресла, приступал к распорядительному совету, то есть назначал, кому именно из членов что готовить к будущему собранию. Президент сам обязан был всегда читать что-либо духовное, прочие члены: кто извлечение из истории древней, иной статистическое описание какого-либо места, другой биографию какого-либо славного мужа, тот какую-нибудь речь, этот романический отрывок и так далее. Таким же образом делилось и стихотворение на разные роды, кому оду, кому элегию, иному басню, и сей разбор известен был публике посетителей, дабы они по сорту назначаемых чтений располагаться могли приехать или нет. Сей порядок и наряд сочинений никогда не менялся. Во власти члена только было выбирать, чьего сочинения читать пиесу, но род сочинения был предназначен, и отступать от него не дозволялось. Разумеется, что ничего не читали иностранного, то есть на чужом языке, но переводы были приняты. Во время чтения дозволялось бить в ладоши, когда что-либо восхищало слушателя. Иногда читывались трагические монологи и целые сцены, но не более, как между двух лиц, и тогда те, коим это доставалось, вставали с мест своих, выходили на средину комнаты и провозглашали стихи с театральными выражениями, присоединяя движении рук. Сделав наряд пиесам, президент закрывал собрание, и тогда, как говорится, кто домой, а кто дома во что горазд. Я чрезвычайное находил удовольствие в этих собраниях и потому поддерживал их из всех сил. Они никогда не отменялись и, если не всем равно, может быть, нравились, по крайней мере всякий, свободен будучи быть в них и не быть, не мог почитать их себе за тягость, и тем более, что они, оканчиваясь не позже девяти часов, давали всякому возмож-

ность ездить от меня [к] кому угодно добивать день в карты. Скажу без чванства, что беседы наши заслуживали внимание благочинием своим, согласием в распорядке и выбором читаемых предметов. Оставя Владимир, я ни о чем так не жалею, как о потере тех средств, кои я имел по месту своему заводить и держать такие собрания. Впрочем, об них нигде не было печатано, ни повещено. Мне противно всякое чванство.

С 1 ноября открылся рекрутский набор, совсем на новом основании. Разъезды по городам уничтожены, велено присутствовать в губернском городе. Заседание составлено из девяти членов: губернатор, вице-губернатор, председатель палаты один, прокурор, стряпчий казенный, губернский предводитель, советник Казенной палаты, командир внутренней стражи и приемщик, наряжаемый из армии. И сбылась тогда русская пословица: «У семи нянюшек дитя без глазу». Между новыми правилами затруднительнее всех было то, чтоб каждого рекрута принимать по большинству голосов. Правило почти невозможное, если б следовать ему строго в исполнении, но это было лишь написано, а дело шло, как и прежде, и при случае только разглагольствия о каком-либо рекруте, когда демон лицеприятия или корысти возбуждал страсти плотские, тотчас дело принимало новую форму, собирались голоса, и после большого шума выставленный Адам узнавал судьбу свою. Сборище наше было вывеской недоверчивости правительства: на всех нас глядели как на мошенников, и соединяли вдруг такое множество людей для того, чтоб больше было несогласия и раздоров, думая, что меньше может быть стачек между приемщиками. Надобно спросить у народа, что для него легче? Если предполагать неукротимое желание корысти во всех лицах, без разбора их свойств и правил, то хоть двести человек собери, все будет то же, только, естественно, что дороже станет подверженному лицу, ибо купить девять человек труднее гораздо, нежели одного, да и больше надобно денег. Это ясно! Я никогда не отступлю от коренного моего заключения, что где нравы не удерживают зла, там законы преграды ему поставить не сильны. Постыднее всех поступлено было с лекарями. Им велено было сидеть в особой каморе, и при каждом рекруте присутствие, вынув жребий, кому из них осматривать, тот и являлся делать свое дело. Какой соблазн для народа! Но, кажется, век наш осужден был представить потомству зрелище совершенного уничижения человеческого во всех его видах.

Однако дело шло, и слово *как-нибудь* все поправляло. При самом начале набора открылись между мной и вице-губернатором горячие сношении и междоусобная пря по поводу рекрутских раскладок. Они издав-

на служили предметом ссор между сими чинами, а чем скорее производился набор, тем беспорядочнее шло распоряжение казенных поселян. Обязан я был за них вступаться, они роптали гласно, и я писал о том к министру финансов, который, давши запрос против моих бумаг Казенной палате, предписывал, чтоб она представила ответ свой ко мне и я с моими замечаниями прислал к нему. При сих официальных сношениях граф Орлов, сотрудник по лесной и хозяйственной части министру, приватными письмами удостверял меня, что министру приятно видеть во мне столь крепкий застой за крестьян казенных и пользу их. При исполнении сих предписаний ябеда отправляла свое дело с неусыпным бдением, и Казенная палата строила мне разные неприятности. Они доходили до такой срамоты, что даже протест был от вице-губернатора сенатору в том, что я брал казенную печать к себе в дом, чего избежать мне было нельзя, потому что при отправлении вышеписанного ответа Казенной палаты к министру вместе с моим мне надобно было ее представление запечатать ее печатью, и для того я призывал к себе в дом секретаря Казенной палаты[18], который, приложа сам печать, сам же ее и отнес в Палату, но из этого вице-губернатор вывел страшное преступление. Несмотря, однако же, на грозные черты министровой переписки с Палатой, раскладки ее остались в своей силе, и мужикам от наших ссор ни на волос не было легче, а мне вице-губернатор потихоньку рыл глубокую яму. Честный человек, надеясь на себя, на свои правила, всегда почти падает не осмотрясь в сети лукавого врага, потому что он нимало не думает об них и не остерегается, уверен будучи, что правда его не выдаст, но правда мало имеет союзников, а клевета пропасть.

К усугублению раздоров между им и мной встретился еще случай. Вице-губернатор купил у коронных крестьян по доверенности, им от одной помещицы да[нн]ой, двух дворовых людей. Покупки сии были неоднократно запрещаемы, но всегда под разными предлогами, кои самим законом допускались, торг людей в розницу происходил без опасения. Гражданская палата совершила купчую, хотя на доверенности подобные от помещиков поселянам громкий был выдан запретительный указ по протесту в Твери принца Ольденбургского. Все это прошло мимо глаз. Но вице-губернатор должен был ожидать трехлетнего срока, чтоб людей сих отдать за себя в рекруты[19], ибо, купя их дешево из принуждения, он не имел другой цели, как продать квитанции за них дорого. Здесь к успеху потребны были хитрости другого рода. Один из купленных людей разломал шкатулку у вице-губернатора, выкрал кучу денег и бросился с ними

бежать, но как-то так хорошо это было придумано, что вор пойман его же слугою недалеко от города и, повинившись в краже, отдан под суд. Оставляя душе черной вице-губернатора ведать про себя, нарочно ли это было все сделано и из какой-нибудь приличенному вору за участие в подлоге награды, не мог я воспротивиться зачету его по суду после телесного наказания за вице-губернатора в рекруты и не дожидаясь трех лет[20], но, видя ясный подбор под закон, который таким образом уничтожал определенный на зачет покупаемых людей срок, я обязан был указать на сей новый случай Сенату, и поелику Уголовная палата весьма скоро дело решила, обойдя дела давнишние, а тем навела и более еще сомненья, что все приспособлено кстати, сверх же всего того, не токмо о признавшемся воре, но и о другом купленном крестьянине заключила в своем приговоре одно и то же, хотя один признался сам, а другой, не винясь в воровстве, привлекаем был к общей судьбе уликами слабыми и недостаточными, я, прочтя протокол и видя, что с подбором соединяется насилие лица невинного из алчности к прибыткам, остановил исполнение, протестовал Сенату и подкрепил свое мнение всеми обстоятельствами дела и рассуждениями, какие прямая честь и справедливость мне на ум привести могли. Квитанции замешкались, рекрутский набор кончился, а Сенат еще дело не рассмотрел. Итак, Дюнант видимо терял выгоды своего скверного поступка. Вот что, а вдобавок и строгое ограничение всех его доходов, принимая рекрут не за глазами у меня, а в одном со мной присутствии, вот что остервенило его, и он, присоединя к себе советника моего Полубенского, составил вместе с ним на меня донос и скромным образом его отправил к министру полиции, так что я поражен был, как громом, узнав о нем по переписке из Питера. Но чему дивиться? Шайка моих врагов и там, и сям была очень велика. Худо, сидя на сене, ни самому не есть, ни другим не давать. Тут и голод, и беда.

Существо доноса состояло в том, что мундиры под распоряжением моим шьются дорого и не сходствуют с образцами, три года назад для рекрутских депо присланными, и что полицмейстер берет лишние деньги с отдатчиков за все прочее от моего к нему послабления. В слоге, которым это было писано, не остав[и]л доносчик навести всеми возможными обинякам подозрение на мои собственные поступки, давал чувствовать, что я все это вижу, знаю и по связям секретным с полицмейстером терплю из порочных выгод для себя лично. Вот содержание и разум отправленного на меня доноса. Рассмотрим все его отношении. Я начну с того, что гражданский губернатор, по моему понятию, отнюдь не закройщик и,

обязан будучи наблюдать за исправностью дел письменных, может ничего не знать насчет сукон и их доброты. Одевать рекрут поручено было от меня полицмейстеру, он покупал сукно, строил мундиры, рассчитывал с отдатчиками и сдавал их воинским приемщикам, все это лежало на его отчете. Среди моих недосугов я ограничивал все свои взыскании тем, чтоб не было жалоб и чтоб воинские чины давали в годности всего, ими получаемого, чистые квитанции, и поелику это наблюдалось в порядке, то я и не вмешивался ни в какие прочие околичности, но те, кои везде хотят прибытка, не так спокойно смотрят на всякое денежное дело. Вице-губернатору показалось, что мундиры дороги и нехороши; цена им по таксе, мной утвержденной, состоялась шестьдесят рублей. Он вообразил, что тут полицмейстер и я наживаем миллионы, и подбил военных приемщиков браковать одежу рекрутскую. Начался шум и споры в присутствии, точно ли сходства с образцами соблюсти было невозможно. И две капли воды одна на другую не похожи. Малейшее различие давало повод к браковке. Я предлагал вице-губернатору принять на себя одежу рекрут, также и батальонному командиру. Они отказались под тем предлогом, что упущено время к закупке сукон, не рассуждая, что указ о наборе пришел в конце октября. В губернии 1 ноября начался оный, и, следовательно, полицмейстер не более их имел времени закупиться сукнами. Но где идут привязки, там не рассуждают. Все интриги целили на меня, и я боролся с ними, сколько мог. Мундиры меняли, давали другие, и несколько партий даже пошли в поход по выдаче во всем надлежащих квитанций. Вид настоящий и скрытый сих происков был тот, что вице-губернатор просил с полицмейстера за каждый мундир по два рубля, я не только не мог позволить их дать, но и под рукой слышать о такой мерзости не хотел. Если я и подозревал, что полицмейстер, может быть, выигрывает у мундиров что-нибудь, то и в этом должен был притворяться несведущим, потому что везде, где есть брак, как исправно ни делай требуемой вещи, все она не примется и надобно на риск удачи или промаха все относить ее на последний осмотр к главным и всегда отдаленным властям. С военными начальниками гражданскому чиновнику еще труднее домогаться правды, и потому, просто сказать, полицмейстер платил много за то, чтоб иметь квитанцию, а чтоб платить, надобно было взять лишки, при которых в общем этом грабеже, охотно верю, что не забывал он и себя. Но то правда, и правда такая, в которой я перед смертью присягнуть готов, что я с ним ни в какие доли не входил, а воровство сего рода, вошедшее почти в свойство всех участвующих в рек-

рутских приемах мелких чинов военных и гражданских, не моим силам было остановить. Это дело делалось так во всей России, я шлюсь в том на всякого. Я наблюдал только, еще раз скажу, чтоб была в приеме людей и вещей военная квитанция, а, получа ее, нимало не выискивал узнать, как ее достали и чего она кому стала. Если б полицмейстер, чтоб отвести от себя такую грозную тучу, и дал бы вице-губернатору по два рубля с мундира, то, глядя на это, прокурор, стряпчий, и тот, и другой, и третий, всякий бы с него за свою понаровку потребовал денег, и не стало бы на это не только шестидесяти рублей мундирных, ниже вдвое такой же суммы. Прибавим же к этому, что и сторонний человек мог послать донос, следовательно, всякому забияке, который бы погрозил, платя деньги, мало было бы и всех доходов г. вице-губернатора, кои, думать должно, повыше росли полицейских прибытков. Подобно откупщикам, кои на торгу дают что-нибудь многим пострелам, эти, не имея гроша за душою, но выпрося залог, отбивают глупыми наддачами капиталистов от своего предмета, так и здесь пришлось бы высыпать кошелек пред всяким подьячим, который сумеет начертить черный донос. Я не вступаюсь, говоря сие, за полицмейстера, если он обличен в воровстве, пусть его сошлют в Сибирь, но, объясняя ход подобных дел, желаю доказать, и то одним благоразумным людям, кои судят о поступках человеческих без желчи и справедливо, что я мог не иметь в том никакого участия иного, как разве, и то в самом худшем смысле для меня, что я из послабления к полицмейстеру как к свойственнику с левой стороны пропускал его шалости мимо глаз и ушей и недостойному чиновнику дал мою доверенность. В прочем же наводить на меня малейшую тень мздоимства ни правила мои, опытами доказанные, ни тридцатилетняя бедность, несмотря на занимаемые мною корыстные места по службе, ни поступки мои публичные никакому справедливому человеку не давали права.

2-й пункт доноса состоял в перебранных деньгах с мужиков при отдаче рекрут в полицию.

Я ввел в обыкновение за поставленных рекрут отдавать квитанции сам и притом спрашивал всегда, не взяли ли чего лишнего, хотя этот вопрос обращался в пустую проформу, потому что никто мне правды не исповедывал, опасаясь хлопот, однако я его относил ко всякому отдатчику для своего оправдания, чтоб мог, как Пилат некогда, сказать: «Неповинен есмь от греха сего»[21]. В первых самых днях некоторые отдатчики, по настройке ли чьей, или по новости, жаловались, что с них сверх таксы брали по два рубля лишних, и я, пошумевши на полицию, велел им день-

ги возвратить. Когда же через два дни еще повторили мне ту же жалобу, я послал чиновника узнать о сем и с новым подтверждением запретил означенные лишки брать. Они тогда же отданы, и сей побор совсем прекратился, но вице-губернатор, желая из того вывести огромное дело, требовал, чтоб это было записано в журнал. Оно и исполнено; статья эта юридическим образом слушана, собраны голоса, и большинством оных предоставлено мне поступить по законам. Я нарядил формальное следствие, которое за недосугами производилось с перерывками. Умы между тем затихли. Вице-губернатор сделался вдруг молчалив и скромен, дело в течение времени признано ябедой, потому что оно состояло все в нескольких рублях. Никто из сотоварищей моих по набору не смел горячо приняться за малость, чувствуя совесть свою обремененну тяжким грузом. Итак, обстоятельство это, происшедшее, как думали, от минутной желчи вице-губернатора, осердившегося на полицмейстера за то, что он с ним не делится, брошено без внимания, да и, поистине сказать, оно большего не заслуживало, ибо излишние деньги, коих за пять рекрут сочтено десять рублей, сперва возвращены, а по второй жалобе взысканы и отданы мужикам вдвое, следовательно, и прекратился незаконный побор сам собою. Признаюсь, что я из крох никогда не заводил инквизиции, а когда попадался мне большой чиновник вор, то не любил потакать и оттого-то нажил себе пропасть знатных злодеев. Чтоб яснее удостоверить, что я в этой низкой шалости не мог иметь участия, довольно сказать, что я публично расспрашивал крестьян, не берут ли с них лишнего, чего бы здравый смысл не допустил меня сделать, если бы я по связи незаконной с полицейскими чиновниками опасался их ответов, с другой стороны, простительно было мне не опрокидываться на одну полицию тогда, когда я знал, что всякий подьячий брал и ни на кого жалоб не было, кроме полиции. Ясная вывеска, что действовал вице-губернатор, как пружина заговора против меня одного, ища запутать непосредственно мне подчиненные лицы; жертвовать же кем-либо одним в общем преступлении многих не считал я ни правильным, ни благородным. Итак, я, прекратив зло в самом его начале, уверясь, что полиция лишков брать не отваживается и унялась, думал, что я все зависящее от меня сделал, и чем меньше до меня касались подобные мелочные беспорядки, тем холоднее глядел на них, как на несчастное поползновение всех низших чинов, коего унять не могли в своих канцеляриях ни самые министры, не только я, связанный обрядами приказными и пустой формой, по соблюдении которой всякий грех становит-

ся чист, и страдали нередко более прочих те самые, кои, обвиняя другого, лишались способов жалобы свои доказать.

Вице-губернатор, будучи и в теории, и в практике искусный плут и видя, что поступкам моим можно дать худое истолкование, сочинил донос и отправил его весьма скромно к министру полиции. Новое это обстоятельство разогрело негодование против меня за попа, и тем более, что брат Сперанского, развращенный человек и пьяница по имени Кузьма, казанский прокурор, проезжая в Петербург незадолго пред набором через Володимир и наущен будучи своими родными вступиться за обиженного священника, всеми дулами возможными раздувал там и письменно, и лично это ничтожное дело и настроивал брата искать удовольствия в обиде, нанесенной всему их роду, который становился уже весьма громок и знаменит. Все эти потаенные пружины, действуя вдруг, приготовляли мне самый резкий удар. Дюнант, забывши, что сам год назад освобожден мной из самой тесной петли, искал избавиться от меня всякими средствами также. Интрига сих врагов моих приближалась к полному успеху. Сперва замолкли по его доносу в Петербурге, но скоро потом наряжен артиллерийский генерал-майор Ильин меня следовать. Комиссия его началась в будущем годе, то я в нынешнем о ней говорить и не начну, а приготовя читателя к будущей моей трагедии и показав ему, что делалось за кулисами, ворочусь к повествованию текущего времени.

Если б труды целого дня и шумные рассеянии вечера не помогали мне разбивать мрачных моих мыслей, то, право, я не знаю, стало ли бы сил моих прожить настоящую зиму, питая ими одними мое воображение, но сильные занятии по службе меня укрепляли, ибо кроме рекрутского набора министерство финансов, с своей стороны, по нужде в деньгах, требовало ежедневных заседаний в комитете о продаже казенных имуществ, и предмет сей озабочивал меня черезвычайно. Приближалось время выборов дворянских и срок торгам на поставку почтовых лошадей. Короткие дни на все не становились, надобно было и по вечерам съезжаться в присутственные заседании, а видеться с утра до вечера с вице-губернатором и с ним работать не могло быть для меня приятно. Всякий поймет, как раздиралась душа моя от всех внешних случаев, на нее нападающих. О каждом из упомянутых упражнений нужно поговорить в особенности, дабы связать всю цепь недосугов моих, трудов и проистекающих от них огорчений.

В течение набора вдруг с манифестом получено было повеление вместо рекрута принимать с желающих по две тысячи рублей, но число та-

ковых было ограничено, и на Владимирскую губернию досталось двести человек к замену деньгами. Губерния богата; тотчас кинулись мужики и помещичьи, и казенные с ассигнациями. Появились на свет зарытые издавна в кубышках и подполицах старинные рублевики и золотая монета, на несколько дней это понизило даже и лаж на целковые, в один день вошло более двухсот доношений, и, по словам указа, надлежало в таком случае вынимать по жребью, кому достанется поставить рекрута деньгами. Я сам вынимал из шапки билеты, не смея, кроме собственной моей совести, никому доверить столь нежного отношения к сердцу отца, мужа и каждого поселянина. Вся дворянская зала наполнена была народу, ибо он ни в какой другой комнате не мог бы поместиться. Какие видел я тут изменении в лицах! Всякому хотелось спастись от приема натурального, и всякий боялся, что не выдет на его долю благоприятный номер. Во всех чертах поселянина изображалась надежда, страх, печаль и внезапная радость! Зрелище чувств человеческих, наружи изъявляемых, стократ живее всех тех картин, какие нам кажут с них на театрах. По собрании 200 человек приступили мы к приему денег. Тут поднялся площадной шум и крик, всякий думал, что если он опоздает взносом денег, то потеряет свое право на замен, и для того многие, не дожидаясь порядочного приема, кидали тысячи свои через головы многих сквозь всю толпу на стол присутствия. Я принужден был около стола расставить часовых для порядка, и таким образом мы, как бы под караулом, сочли дни в три ровно два миллиона рублей. При таком большом сборе денег ассигнациями, ибо серебро не могло поступать в казну с лажем, а рубль серебряный был уже тогда в четыре рубли бумажных[22], я всего более опасался стечения фальшивых бумажек, зная, сколько Владимирская губерния в этом смысле дает подозрений, и потому надлежало с поспешностию возможною в приеме сумм соединить большую осторожность. После нашего счету осматривали еще казначеи все ассигнации, и, к удивлению моему, в двух миллионах оказалось только рублей с триста фальшивых. От присутствия давались зачетные квитанции подобно тому обряду, какой наблюдался при отдаче настоящих рекрут. Разные открылись между коронными крестьянами спекуляции. В обыкновенный набор богатые мужики отбивались от очереди, а тут, напротив, все старались о том, чтоб их поместили в рекруты, дабы защитить и на предбудущие года свои семейства от сей повинности деньгами. Новый источник доходов для Казенной палаты, которая и не преминула бы важные сделать приобретении, но скорость назначенного для сего замена времени и близость срока

к отсылке денег полагали сильно препятствие всяким сделкам и подборам. Но что успели схватить, того не проронили. От министра полиции я имел предписание прислать с известием, сколько войдет денег сих рекрутских в казну, нарочного чиновника, и прислано было расписание с означением путевого времени, по которому владимирский нарочный должен был прибыть в Петербург — в четыре дни непременно. Донесение мое о сем отвез заседатель дворянский Коровин[23], проворная особа, который уб[ы]л за несколько часов до срока, и по этому препоручению я, по крайней мере, не получил никакого неудовольствия. Впрочем, операция сия не много облегчила труды набора, ибо он назначен был в таком большом числе, что двести человек, заменившихся деньгами, почти были неприметны в нескольких тысячах. Разумеется, что набор был разложен на души по пятой ревизии, а шестая была еще не кончена.

Выборы дворянские не могли при такой суете исправиться в свое время, и я еще при начале набора представил министру внутренних дел, прося дозволения отсрочить их до нового года, на что и последовало согласное с представлением моим высочайшее соизволение, в силу которого обвещено дворянство Владимирской губернии с приглашением к 6 генваря наступающего года для торжественного сего действия.

Торги на поставку лошадей не могли быть так же отсрочены до нового года, все почты снимались новыми подрядчиками, и по публикам предварительным желающие явились в Казенную палату, где при мне и при всех гг. предводителях[24] даны торги по форме. Цены на фураж так возвысили наем лошадей, что никакого не было сравнения между последними и ныне выпрошенными, никакие убеждения мои и дворян не могли их понизить. Поелику сбор на сей расход делался с дворянских душ, то я пригласил всех их предводителей и именитых в городе лиц к соглашению подрядчиков взять сколь можно ниже, но ничто не помогло, и вместо тринадцати копеек с души старого сбора ныне для составления всей ряженой суммы приходилось брать с души по шестидесяти копеек. Страшная разница! Я сам ее чувствовал, но от меня ли зависело уставить ее? Сколько ни оградил я себя всеми мерами осторожности, дабы не подпасть новому какому-либо неудовольствию, все я и по этому обстоятельству не ушел от него, и хотя все происходило по самой строгой форме в виду многих дворян в Казенной палате, однако, как после увидят, я и тут не избежал поклепов весьма чувствительных. Ябеда разливалась, как вода, до души моей. Однако контракты заключены были по выпрошенным ценам и о всем том донесено немедленно г. министру внутренних дел.

Комитет для продажи казенных имуществ привлекал свои неприятности. Вначале велено было доставить ведомости, сколько продать земель можно по Владимирской губернии, сделать им планы и описи и прислать в министерство финансов. Но прежде еще сего распоряжения все земли, в силу давешнего именного указа, розданы были казенным крестьянам в число недостающей у них пропорции земли, и хотя, по принятому обряду, еще не были сии дачи из казенного оброка исключены Сенатом до доклада государю, однако, по предписаниям же начальства, таковые земли, не ожидая выключки, которая иногда очень длилась, отдавались во владение поселян, и при сей генеральной отдаче от меня донесено в свое время с приложением ведомостей и планов, кому сколько в надел отсуждено земли. Крестьяне на них пахали и сеяли уже, следовательно, нам ничего иного не оставалось делать по комитету, как описать несколько старых садов патриарших с засохшими в них издавна смоковницами, рыбных казенных ловель, торговых лавок и иных тому подобных оброчных статей, а о землях полевых и угодьях крестьянских мы представили, что их нет, и за раздачей крестьянам продавать нечего. Граф Орлов, который управлял сей отраслью государственного хозяйства под особой министра, отвечал нам с выговорами и угрозами доложить государю, что мы без всякого права, сами собой, роздали земли казенные по рукам, несмотря будто бы на то, что указ о раздаче не был еще публикован, когда требованы ведомости, но мы осмелились такую грубую ошибку его сиятельства исправить и, выведя справку, по которой открылось, что указ о раздаче земель последовал в начале царствования государева, а предложение продавать земли казенные выдано только с год назад, донесли графу Орлову, что на нас сердиться не за что и жаловаться государю не в чем. Выписка сама собой указывала, что граф Орлов писал сумбур, однако надобно было терпеть его не очень вежливые укоризны, на которые наводили его экспедиторы и канцелярские мудрецы, ибо он сам едва занимался ли и умел ли заниматься делами гражданскими. Отправил комитет с ответами своими нарочного землемера[25], который нашел случай изъяснить графу Орлову его недоразумение, и дело сие, нанесшее мне также свои неприятности, миновалось, наконец, без хлопот, но крестьяне бедные много потерпели, ибо, придравшись к тому, что дачи еще не выключены, приказано, в нарушение всех прав владельческих, отобрать у них розданные правительством земли, описать их, оценить и назначить непременно в продажу. Такое насилие называлось операцией финансов! Чему дивиться? Казна нуждалась в деньгах, задолжала всем до крайности и не знала, как дела свои поправить. Занадобились чрезвычайные средства к облегчению настоящего

зла, и без разбора хватались за всякий способ промыслить деньги. Вот и ключ загадки, отчего нас бранили, когда мы откровенно писали, что нам продать нечего.

Между важными делами встретилось и смешное приключение. Шла из Нижнего партия рекрут и остановилась на сутки в Володимире. Вел ее офицер молоденький и только что выпущенный из Корпуса. Вздумалось одному рекруту сделать донос, что он знает в Нижегородской губернии одно место, в котором зарыто множество золота. Офицер донос сей уважил и подал рапорт баталионному командиру, который также, поговоря с рекрутом, признал нужным довести извет сей и до меня письменно. Я призвал рекрута и, что больше с ним говорил, то больше усматривал повреждение ума. Он нес горячку, и оставалось бы его прибрать в безумный дом, но он требовал, чтоб его послали к государю прямо и что он, кроме его, никому своей тайны не объявит. Немудрено было подумать, что рекрут, имея, может быть, намерение пуститься в настоящие и важные доносы, скрывал их под личиной видимого сумасшествия, дабы найти доступ до государя в виде человека усердного. С другой стороны, заключить с имоверностию можно было и то, что он притворяется безумным для отбывательства от рекрутства. Мужик, впрочем, казался удалой и проворный детина, а собой был виден, итак, он усиливал все подозрении в том или другом подлоге. Что мне делать было? Во всякое другое время я бы задержал его тут и спросился бы, куда его девать? Но, выучен будучи делом попа не пренебрегать и вздором, я решился его послать прямо к министру полиции и, описав ему все слышанное от него, отправил с ним и с рапортом моим офицера надежного, который туда его и доставил и сдал самому Балашову. Нельзя описать здесь всего того вздора, который нес этот рекрут, и нельзя было ошибиться в том, что он безумный, но в случае, когда бы он только притворился, опасно для меня было удержать его здесь, ибо подумали бы, что я из своих видов его остановил, боясь, чтоб он не вывел по пути чего-нибудь важного и на меня. Наше время было такое, в которое любили выискивать преступлении, а настоящие белее снега очищать деньгами, это меня побудило рекрута непременно отправить в резиденцию. Между тем, однако же, я со страхом ожидал развязки этих новых пустяков, чтоб за присылку его меня же не обвинили, не причли бы мне самому в дурачество мой поступок и, наконец, что всего было тяжеле, не взыскали бы с меня казенных денег, на провоз его употребленных. Для избежания этого я старался в рапорте моем изъяснить, что хотя я и примечаю в посылаемом рекруте помешательство ума, но, не смея заградить ему

требуемого пути к государю, посылаю лично к министру. В городе всякий рассуждал по-своему, кто меня правил, кто винил, а остряки выводили свое заключение, что я всю эту компанию послал туда для насмешки. Кончилось, однако, это посольство весьма хорошо. Балашов, любя всякие анекдоты доводить до государя в ознаменование своей откровенности, представил ему и дурака, от меня присланного. Смеялись над ним там, однако же и поверили. Сие доказывается тем, что скоро потом частный пристав петербургской полиции провез того рекрута мимо меня к Нижегородскому губернатору, и тот, получа рескрипт исследовать все его нелепые показании, оторвавшись от приема рекрут, принужден был ехать за сто верст от города, рыть мерзлую землю и искать кладу, которого, как можно отгадать, и не нашлось нигде, а все эти разъезды стоили казне довольно дорого, тогда как и каждый рубль тысячами средств мог употребиться на пользу ради кого или чего-нибудь. Поверят ли наши внуки, что министры, столпы государства, в самое просвещеннейшее время способны были и сами заниматься, и великого монарха занимать такими бреднями? А сколько подобных случаев выдет на свет, если современники мои так же, как я, пишут для потомства, и если оно наши записки читать станет.

Год кончился домашней сплетней. Мадам Гербер наша слюбилась с сыном моим Александром. Этот молодой, неугомонный мальчик живо представлял мне мое юношество. Влюбчив так же, как и я, он подбился к этой иноземке, а та, у князя Лопухина в доме около Гагариной наметавшись к интригам, как собака к заячьему следу, была неосторожна до того, что пересылалась цидулками с ребенком. Переписка попалась в мои руки, и я не мог долее держать при дочерях моих такой слабой женщины. Долго, однако, таились эти шашни. Декабря 12-го был славный маскарад в клобе. Молодежь наша перессорилась за кадриль. Пасынок мой и сын встретились в совместничестве между собою, вывели наружу все интриги, и мадам Гербер открылась во всем виде старой кокетки, которая от излишней хитрости попала сама в свои сети и лишилась хорошего места. Я ее призвал, отдал ей записки, отказал от дому, и она из него выехала в начале года, но, дабы спасти ее от публичной огласки в городе и скрыть настоящую причину нашей разлуки, мы с ней условились так, чтоб она отправилась с моими детьми, которых я, собираясь в Петербург, готовил к отъезду прежде себя в Москву, и там под предлогом лучшего места в столице будто бы меня оставляет. Тронута будучи сим великодушием моим, она на все согласилась и сходно моему плану приняла предварительные меры. В городе шептали об этом как кто догадывался, одни мои домашние знали искренно в чем дело. Я был сам

подвержен слабостям того же рода не один раз в жизни и старался всегда прикрывать любовные грехи завесом скромности.

Собравши в одну точку все приключении мои в истекшем годе, читатель уже видит, что три тучи разом гремели над моею головою: дело по жалобе на Сенат, история пьяного попа и донос Дюнанта. Мудрено было мне устоять, и погибель моя была уже близка, но сердце мое всегда было чисто, правдиво и, смею сказать, хотя слабо, но и не развращенно.

Присоединю здесь, по обещанию моему, копию с письма к министру полиции и краткое мое о нем рассуждение. Знаю, что и плут, оправдывая себя, лжет, и дурак ищет казаться умным. Здесь я без хитрости сообщу мои искренние примечании и отдам на суд тому, кто их читать будет, следовало ли министру, царю и Сенату так поступить со мной, как я то испытал.

Оправдание по делу о жалобе моей на Сенат в отношении к г. министру полиции.

Письмо	*Мои примечании*
Ваше превосходительство! Милостивый государь Александр Дмитриевич!	Сие самое заглавие означает, что письмо было приватное. Официальная бумага имеет свою особливую форму.
Девять лет управляя здешней губернией, я никогда не имел несчастия подпасть никакому уважительному штрафу, ни взысканию в разные ревизии, знатнейшими чиновниками произведенные. Служение мое всегда было одобряемо.	Письмо писано генваря 1-го 1812 года, а губернатором определен я в 1802 в марте. По делам не был до того времени ни разу штрафован денежными уважительными пенями. Ревизовали губернию: 1) посол гр. Головкин, и я получил по его аттестату рескрипт похвальный с столовыми деньгами; 2) Лопухин, по его аттестату сын мой по желанию моему и просьбе пожалован в титулярные советники, находясь еще не в службе, а в чужих краях в науках; 3) Козодавлев, по его одобрениям я удостоен представления министра внутренних дел кн. Куракина, и мне пожалована Аннинская лента; 4) и, наконец, Обресков, по его рекомендации объявлено мне царское благоволение.

Ныне с некоторого и очень неотдаленного времени московскому правительствующего Сената 7-му департаменту угодно было здешнее Губернское правление посетить гневом своим, и каждую почти почту подвергалось оно денежным взысканиям. Менее нежели в шесть месяцев последнего года их накопилось до четырех тысяч.

Это сущая правда. Начались штрафы с прибытия моего из Одессы, то есть с сентября. Сряду несколько почт получались указы о взысканиях денежных с Губернского правления, и к декабрю месяцу уже Казенная палата вычитала с него до четырех тысяч рублей, которые у нее были в виду по указам Сената. Некоторые господа сенаторы находили, что выражение мое «посетить гневом своим» имело вид иронический. Положим, что и так; можно ли его охуждать юридическим образом в приватном письме, в котором весь мир благоразумный позволяет полную свободу в мыслях и слоге, за исключением брани язвительной? А здесь, пусть всякий скажет по совести, есть ли что в самом изречении колкого и язвительного? Но Сенат рассердился — и довольно, чтоб без вины погибнуть.

Сумма, по состоянию моему превосшедшая все меры необходимого терпения. Оплата столь важного штрафа обременит меня и бедных сочленов моих в Губернском правлении на целый год лишением всего следующего нам жалованья. Удостойте, милостивый государь, как непосредственный начальник сего места, благосклонного внимания такое угнетенное наше положение. Я не имею никакой собственности, кроме жалованья. Во все три-

Ничего не солгано. Я не имел еще тогда никакой собственности, кроме жалованья, потому что по российским законам при отце или матери сын бывает сын неотдельный, то есть без имения человек. Жалованья такого, которое шло под сего рода взыскания, ибо из столовых вычетов подобных не делается, получал я по месту тысячу восемьсот рублей в год, а советники мои по шестисот рублей каждый; их было два, да асессор на четыреста рублей, и, следовательно, все мы должны были год служить без жалованья, чтоб заплатить штрафные наши долги, что действительно и случилось, ибо я в две трети не получил ни гроша, да и после отставки приплатить пришлось несколько доимки, которая бы

дцать лет моей службы не удостоен был никогда получить от казны ни взаймы, ни в дар денежной суммы или чего-либо недвижимого.

захватила и третью треть, если б я служил, следовательно, слово «целый год» не было вымышлено. В слове «угнетенное» нет ничего излишне сильного, а что оно только соразмерно было настоящему моему положению, сие доказывается следующей строкой. Повторю еще, что я не имел никакого имения сам по себе, мать не могла мне давать много, терпя сама разные недостатки. На счет женин я пил и ел, но расточать в пользу свою ее ограниченные доходы было бы бесчестно. Занимать много без надежды, получа родительское достояние, заплатить, вдвое было бы стыднее и бесчестнее; итак, я в полном смысле слова был беден и без состояния. Служил я с 1782 года офицером. По гвардии я ничего не получил лишнего. В вице-губернаторах в Пензе в шесть лет времени ничего мне не дано, кроме рядового жалованья. В Соляной конторе сидел пять лет и ничего не получил, кроме окладного. Губернатором девять лет считался и ничем денежным, кроме временного дохода в столовых деньгах, не пожалован. Иным давали аренды — мне ни одной. Другие получали земли и леса — я ни полосы, ни прута.

Служба не научила меня сделать себе состояние прочное и тем охранять себя от политических непогод.

Вот что раздражило Сенат против меня наиболее. Господа сенаторы приложили мои слова к себе и вывели из этого периода, что я их называю взяточниками. Пусть всякий, кто грамоте знает и здравый смысл имеет, кинет в меня камень, если я какого-нибудь сенатора лично мог оскорбить моими изречениями. Догадкой своей они сами себя обижают. Разве, говоря о самом себе, что я не наживался, я

указывал на кого-нибудь лично? Не оглашая никого, я ссылался на истину, всеми дознанную, что многие сделали себе службой состояние. Что ж, разве это не правда? И не имел ли я права похвалиться министру тем, что я не следовал сему правилу? Откуда же взялось мнение сенаторов некоторых, что я целил на них? Кто из сих господ слазил в мою душу и видел, кого она подразумевала, писавши правдивые сии строки, или здесь приложить должно пословицу русскую: «Знает кошка, чье мясо съела»? Слово «политические непогоды» вооружило всех, и от досады у иных господ сенаторов при слушании дела пена вытекла на уста. Какое греховодство! Какая дерзость! Что значит этот оскорбительный обиняк? Я вам растолкую его, господа. Политическая непогода есть отрешение без суда, безвременная и несправедливая отставка, обвинение без законного приговора, торжество клеветы над правдой, смена без причин, угнетении по произволу, взыскании по капризу и пр., пр., пр. Вот, господа сенаторы, что значит непогода политическая, от которой устраняется тот, кто нажился, и падает невозвратно под тучами тот, кто не приобрел ничего службой. Но я, подобно человеку, в мир рожденну, наг вошел в службу, наг и вышел из нее. Вторично спрошу: разве этого не бывает? Разве всякий правый оправдан и всякий виноватый обвинен? Не бывает ли обмену навыворот? Я, тридцать лет служа, все это испытал, и опыты мои давали мне право черкнуть эту строку в письме моем. Впрочем, я все стою, как на краеугольном камне, на том, что это было письмо партикуляр-

ное, а не жалоба по форме, следовательно, я в полной свободе был выражать мысли мои, как хотел, и при всей, однако же, этой свободе не могу сознаться, чтоб я хотя одно слово себе позволил дерзновенное.

Итак, без жалованья служба моя обратится мне, а паче сотрудникам моим, в тяжкое положение. Надежды мои всегда подкреплялись уверенностью в правосудии высочайшего лица, но без соизволения вашего превосходительства как начальника моего не смею я повергнуть к стопам государя императора моего всеподданнейшего прошения о том, чтоб всемилостивейше повелено было общему собранию рассмотреть те приговоры, по коим Губернское правление здешнее столь сурово наказано, и защитить меня против побочных влияний, если источник их при таком рассмотрении откроется.

Кто вник в приведенные мною выше сего доводы, тот видит, что я говорю одну все и ту же правду, что тяжело, живучи одним жалованием, быть лишену его без причин. В этом периоде видно очень ясно, что я еще не жаловался формально, а просил дозволения подать жалобу с узаконенными обрядами, следовательно, письмо мое должно было почитаться приватным и по принятым правилам всех правосудных начальств не должно подлежать никакому явному суду. Оправдаем теперь некоторые выражения, на кои бросился Сенат, как на добычу. «Сурово наказано Губернское правление». Слово прилагательное сие здесь весьма справедливо, ибо, не имея власти отнять ничего больше, как жалованья, сам собою Сенат учащенными штрафами оказал себя к Владимирскому губернскому правлению толико суровым, колико права его, с некоторым даже отступлением и от них, ему давали на то возможности. Для государя, который может жизнь отнять, безделица — лишить жалованья, но для того места, которое ничего вреднее сделать не может само собой, как лишить жалованья, такой поступок есть крайний степень негодования и злобы, и потому без всякой чрезвычайности может быть назван суровым от того лица, которое безвинно ему подвергнется, да и за вину налагаемые штрафы могут называться суровыми, ко-

гда они, превосходя законную меру, заимствуют ее от самовластного произвола. «Побочные влиянии». В этой речи Сенат находил для себя тяжкую обиду и глядел на нее, как на слово клятвенное, за которое я должен был, по мнению его, пострадать не легче сына погибельного. Но докажем, что сенаторы не Богочеловеки, а я не Иуда! Пусть каждый из них по крайнему снисхождению и прямой совести благоволит мне отвествовать, всегда ли он сам вник в обстоятельство, не отдавши слуха своего чужому толку? Всегда ли может ручаться, что он свободен от внушений своего тонкого и хитрого подчиненного? Всегда ли он уверен, что доверенность его к мнению другого не ошибочна и справедлива? Вот что разумел я под словом «побочное влияние», да и как иначе назвать голос, вес, преимущество, одно даже лишнее слово или полуотзыв секретаря, который, не имея права вмешиваться в суждение дел, часто, очень часто, почти всегда уловками своими, обиняками, ужимками и манием очей направляет ход дел самых щекотливых и поворачивает рассудком своих властей, как бы рулем огромного судна! Простим невинному, когда он, будучи тварию сей утесняем, назовет побочным влиянием на судьбу свою все употребляемые ею хитрости к погибели несчастных. И всегда ли мы в России страждем по Сенату от сенаторов? Я сам видал и слыхал, как секретари и наводят иных, и отводят, по мере собственного их мздо- или лицеприятия. Всегда люди, в какое бы звание ни облеклись, будут игралищем страстей и орудием таковых побочных влияний. За-

метьте в письме моем, пожалуйте, еще и то, что я не решительно говорю о побочном влиянии, а как условием, ежели оно при рассмотрении дел откроется, прошу о защите против оного. Поэтому, если не искать обороны от стрел, втайне из угла бросаемых, какое мы дадим торжество и поползновение тем характерам мрачным и умам коварным, кои, действуя другими, суть единственною пружиною сами многих моральных зол, вкушая в тишине плод неистовых своих помышлений. Их-то и выводить должно, обличать, наказывать, их-то я и назвал побочными влияниями.

Вы по сердцу и по уму любили благодетельствовать! Смею ласкать себя надеждой, что я имею счастие пользоваться вашим благоволением.

Обыкновенный и необходимый ладан, который бросается в кадило, когда надобно курить его пред вельможей и просить его внимания. Этим возношением никто еще не обижался, и для господина министра полиции я полагал его приятным, ибо он человек такой же, как и все, следовательно, и для него лишнее приветствие не отрава.

Итак, милостивейший государь! Не отрекитесь удостоить меня в сем случае вашего благосклонного наставления и подпоры.

Слово «наставления» указывает, вопреки всем заключениям моих антагонистов, что я не жаловался, а просил только на то дозволения от своего начальника вместе с наставлением, как лучше и прил[и]чнее поступить. Следовательно, я, написавши это письмо к министру полиции, не бросился прямо лбом в стену, не шел на штурм, а искал следов пристойных показать мою невинность и осторожной маневрой защититься против батареи сенатской канцелярии. Кто ж бы на моем месте проглотил хладнокровно убыток, стыд и беззаконный нападок?

Письмо оканчивается, как и начато, обрядом, присвоенным не официальной, а приватной переписке, а для тех, кои жарко доказывали, что между министром и губернатором не должно быть и не может переписки партикулярной, и всякое письмо одного к другому есть бумаги деловые, довольно мне возразить, что я несколько подобных писем к Балашову писал по другим случаям и от него получал, но они остались приватными навсегда между нами, чаятельно, потому, что его превосходительство не находил ни пользы себе, ни вреда мне облещи их так, как сие последнее, в приказную форму.

Сказавши все, что я мог, к извинению каждого слова моего письма, показанного публике, которая не читала его в предосудительном для меня виде, я прибавлю вопрос: следовало ли Балашову, то есть министру полиции, бежать с ним к государю и читать ему оное? Один только шпион обязан, по общему разумению этого низкого наименования, выдавать в публику партикулярные письма. Сего требуют, может быть, политические соображении, но в делах настоящей и непотаенной службы, какое кто имеет право приватное письмо употреблять наравне с рапортом или донесением? Поступок господина министра доказывает, что он желал мне зла и спешил достигнуть в том успеха. Если б он имел противное намерение, он прежде всего снабдил бы меня просимым наставлением. Я послал бы отношение официальное, он по нем доложил бы и настоял в пользах моих. Положим, что для выигрыша времени он бы поторопился подлинное приват-

ное письмо мое представить государю. Он тогда высмотрел бы наперед, может ли быть такая скорость мне полезна, и не прежде бы основался на ней, как удостоверясь, что я не постражду за слог моего письма. Видел ли он в нем черты отважные — тем более причин, не нося его к государю, указать мне их и отречься от доклада, доколе не приведу бумагу я свою в умереннейшие выражения. Думал ли он, что в нем нет ничего лишнего — тогда он обязан был защитить своего подчиненного противу худых толков. Ясно, что господин министр хотел вредить мне и возбудить против меня вспыльчивость государя со всеми ее ужаснейшими последствиями.

Я пал под игом тяжким человеческого самовластия, но тот, чье иго благо, судя меня по совести моей, убелит грехи мои за возненавидение ближних, и сие меня во всех моих напастях вечно утешать будет. Министры отнимать могут чины, звании, места и все, гиблющее в мире тленном, но никто из них не лишит меня тех блаженных восторгов, кои обитают в душе правой, в совести незазорной и в сердце откровенном. Пусть укорят меня и теперь свободными выражениями насчет земных полубогов наших, но я уже пишу сии листы не к министру. Они для меня, для детей моих заливаются чернилами вместе с слезами моими, и благодаря самой же злобе человеческой я поставлен ею в такое положение, в котором могу по примеру Расина сказать[26]:

Je crains Dieu mes amis, et n'ai plus d'autre crainte*.

---

* Мне, кроме Господа, никто не страшен боле (*фр.*, пер Ю. Б. Корнеева).

1812

Год ужасный в летописях русских! Европа никогда его не забудет, на морях и за океанами памятны будут его приключении. Россия с кровавыми слезами оплакивать его станет, а внучата наша примут за сказку повествовании историков об нем.

Богу угодно было связать частную мою судьбу со жребием почти общим. Все страдало в России, а я сугубо. Я болел ранами отечества и собственно своими. Минута падения моего в политическом мире предназначена была провидением в настоящем годе. Рок ударил в меня чугунным молотом своим, и я дыханием одним плотским остался известен между живущими. Все средства действовать, быть полезным обществу, в обширности взятому, у меня отняты, да и в семействе своем становился я ни на что не нужен, ибо я возвращался в оное как нищий. А нищий и себе, и людям в тягость. Но так изволися Всевышнему, и я лобжу десницу, меня наказавшую.

Приступим к повести. Проведя с нами первые дни наступившего года, меньшие дети, мадам, мама и весь их штат отправились в Москву. Остались дома жена, я, старшая дочь и сыновья большие. 1-го числа был в клобе маскарад, но что-то посреди сих забав шевелило мое сердце, и я невольно предавался разным мрачным предчувствиям. Накануне еще первого числа генваря весь город, как водится, съехался ко мне кончить год торжеством. Бал был огромный, танцовали гораздо за полночь, я сам резвился, сколько мог, но душа втайне скрыпела, и от тревог ее я так мало уснул, что не в силах был даже выехать в собор к обедне и пролежал дома нездоров. Вот как я встретил первую зарю дневную нынешнего года в своей собственной скинии, а народ в городе задумался от прибавки цены на соль, которая, по новому учреждению государственному, пущена в вольную продажу, и из казенных магазейнов цена отпускаемой соли возвышена почти в полтора противу прежнего и продаваться стала с нового года по рублю по сороку копеек пуд.

Дворянству повещено было газетами собраться к 7-му числу для выборов, а 6-го у меня был обед для всех господ предводителей, равно как и для почетнейших дворян, съехавшихся в губернский город. В самый этот день прибыл к вечеру в Владимир генерал-майор артиллерийский и кавалер Аннинской большой ленты Ильин для следствия по доносу вице-губернатора на меня и остановился на квартере. Известие о его приезде сильно меня расстроило, однако я, всячески скрывая от глаз сторон-

них положение души моей, дал в тот же вечер последнюю свою беседу обыкновенным порядком и ею кончил навсегда сие недавно наченшееся в моем вкусе домашнее увеселение. Так! Этой беседой кончились минуты приятной жизни для меня в Володимире. Страстная пятница моя приближалась, и я вступал в ужасное поприще тех злополучий, которые коварство так хитро и осторожно готовит правоте беспечной. За обеденным столом несколько скрытых злодеев еще пили мое здоровье моим вином, желая мне всех бед возможных, и ели мой хлеб, проклиная меня внутренно, но вид Иуды отражался более всех на лицах вице-губернатора, которого я от публичного и, так сказать, гражданского торжества устранить не имел права, и сподвижника его г. Поливанова. Сей без скромности бросал на меня ехидны взоры. Надобно сказать о нем слова два, как о новом лице, выступившем на сцену.

Г. Поливанов, отставной полковник, служил некогда под начальством Суворова и, за военные подвиги получа иностранную Баварскую ленту белого цвета через плечо, по странности оной в России обращал на себя внимание многолюдства. На него глядели, вытаращa глаза, как иногда чернь смотрит на верблюда или обезьяну. Он был еще не стар, но обрюзг от крепких напитков, без которых обойтиться не мог и любил их до крайности, а потому редко видали его трезвым; с умом ограниченным, с ничтожными способностями к делам важным, он был, что называется, забияка нравом. Таков г. Поливанов, помещик Владимирской губернии и также Тверской. Живучи всегда в тамошних местах, он редко показывался в Владимире, но на все выборы приезживал и, поелику служил в последнем ополчении от Владимирского дворянства, то некоторое свел знакомство с подобными себе, и в пользу его всегда слышно было множество голосов. Все, что шумит, дерется и буянит, было на стороне Поливанова. С такими сильными надеждами появился он и на настоящие выборы. В совместничество с ним на место губернского предводителя входил князь Волконский, старый и хороший мой приятель. Начались выборы обыкновенным порядком, а с ними разные пронырства. Кто хотел Поливанова в губернские предводители, кто Волконского; баллотировка показала, что первый у последнего имел один шар белый в преимуществе, несмотря на все интриги его партии и на совершенную скромность князя Волконского, который при сем случае показал, какая разница между благородным воспитанием и навыками солдатских казарм. Поливанов на приступах мог быть рыцарь, но, кроме военного стана, везде такой, как он, человек есть самая низкая тварь. Когда по из-

брании их двух представили ко мне на утверждение обеих, я, не запинаясь, предложил дворянству быть губернским предводителем князю Волконскому. Поливанов мне этого не простил и, движим будучи побуждениями тщеславной своей химеры, не только вздумал жаловаться на меня в этом, как в обиде личной, министру внутренних дел, но еще и донос пустил в том, что лошади почтовые сняты очень дорого и что он везде уступает по сту рублей у тройки. Я уже об этом говорил прежде, но рассмотрим здесь еще прилежно оба предмета его негодований.

Закон коренной дает исключительное право генерал-губернатору[1] из двух представляемых от собрания дворян утверждать в звании губернского предводителя одного, кого он рассудит. Тут он не ограничен никакими правилами, ни числом шаров, ни чином и заслугами лица, словом, он утверждает, которого хочет, так напечатано в жалованной дворянству грамоте[2], и, кроме пьяного Поливанова, никому не приходило на мысль на подобное преимущество другому жаловаться. Один шар не делал такой разницы, которая бы изъявляла более наклонности целого дворянского сословия к одному пред другим, да хотя бы был и сильнее в пользу его подвиг, жалованная грамота не ставила числа шаров в основание произволу начальника губернии. Поливанова я знал с худой стороны, Волконского с хорошей, что ж, при таких определенных званию моему правах поступить по моей непринужденной воле, что ж могло мне в том препятствовать? Итак, я Волконского утвердил, и, согласно с законом, с моим желанием, он назван губернским предводителем и вступил в должность.

Контракт о почтовых лошадях заключен был в Казенной палате публично, при всех предводителях и дворянах наличных. Ничто не обязывало дожидаться Поливанова. Публики произведены равно всем, и, когда сто человек из разных сторон приехали к торгам для засвидетельствования их производства, то поклеп г. Поливанова, будто он об этом ничего не знал, был только лживой привязкой к тому, чтоб повредить мне. Однако город толковал по-своему. Все читали жалованную грамоту, и все меня винили, сами не зная, в чем; все были при торгах, после поддакивали Поливанову, что дорого отданы станции содержателям почт от нерачения о том. Тщетно было бы оправдываться перед публикой. Она, затыкая уши всем правильным доводам, слепо влечется туда, куда тянут ее минутные предубеждения и случай посторонний. Кто и в чем перед ней не виноват? Я, из осторожности представя министру внутренних дел о выборах, начале и окончании их, вместе с тем доносил, каким образом утвержден князь Волконский мимо Поливанова в губернские предводи-

тели и чем я в сем поступке моем руководствовался. Выборы совершились, впрочем, без большого шума, как обыкновенно бывает. Для поддержания обряда были балы, но зрелище г. Ильина и начальные черты его следствия так были резки и страшны, что мне было не до забав, и по смутному положению многих чинов и мест в городе праздники были весьма пасмурны. Предвидя, что я уже служить не буду, а потому не готовя чиновников для себя, я равнодушно смотрел на выбор их, утверждал, кого ни представляли, и довольствовался тем, что мог публично показать в лице князя Волконского, что я не боюсь никаких козней и охотно себя самого приношу в жертву молве недовольных, когда обстоятельства требуют от меня нравственной стойкости для защиты приязни и возвышения скромности над буйством. 7-го числа г. Ильин объявил мне все свои предписании и приступил к исследованию. Сначала казался он наклонен к моим пользам, видел вещи в настоящем их лице, рассуждал со мной, как человек прямой, и даже силился оказывать некоторую приязнь, хотя я его в первый раз еще видел отроду. Он часто обедывал у меня и делался моим доброхотом, но вдруг перевернулся лист. Круто переменились обстоятельства. Ильин превратил скромное свое следствие в явную инквизицию. Сошедшись с вице-губернатором, который более, может быть, нежели одну приязнь свою предложил г. Ильину, он его тайно принимал по вечерам, пил вместе с ним и явно обратился на его сторону. Тут начались истязании и домогательства: подбирали свидетелей, научали их делать показании, водили на квартеру к генералу, и там под караулом застращенные полицейские, чиновники, купцы, мещане, мужики давали и писали ответы, какие смыслили и могли дать второпях и страхе. Г. Ильин не стыдился, облыгая сих бедных жертв его злобы и коварства, грозить им Сибирью и держать всегда у ворот своих кибитку, чтоб дать более вероподобия разглашаемым им угрозам. Нет ничего в уничижениях ужасного, чего бы Ильин в досаду мою не употребил. Во время выборов все глаза устремлены были на мое положение, я почти под караулом действовал и исправлял мою должность. Редкий слушался уже меня, и всякий хотел как будто выместить мне за то, что я десять лет сряду приказывал. Общая участь тех, коих падение приметно. Ильин стал открыто насылать ко мне под общим названием отношений вопросные пункты на мое лицо. Я сделался уже подсудим прежде времени. Часто в день раза по три я получал запросы и, не имея секретаря, кроме молодого мальчика из приказных лет осьмнадцати, который навык читать мою руку и для того был мною на убылое секретарское место опре-

делен с 1-го числа сего года, принужден был писать ответы сам, не успевая по скоропостижности требования соображаться ни с делами, ни выводить справки, а сколько память мне служила, старался отражать злобные приступы г. Ильина, который, как говорит молва о его биографии, был смолоду и писарь, и закройщик, умел подвести закон кстати, скроить и сшить панталоны, и, не быв никогда в поле, а служа по корпусам и таким местам, где перо нужнее меча, он под старость сделался хитрый подьячий в военном кафтане. Аракчеев, великий человек нашего времени, покровительствовал его как удалого сыщика и, наконец, передал его к Балашову. Тот обрадовался находке и, собирая доносы со всего бела света, наряжал его очищать их. Ильин был по подобной комиссии в другом месте, когда донос на меня дошел в Петербург, и оттого мешкалось исследование, что государь лично велел его послать, а не другого. Итак, его выжидали.

Состояние мое день от дня становилось тягостнее: дома слезы и уныние общее, вне дома явное пренебрежение от многих и что шаг, то досада. Но надобно было испить до дна всю чашу прискорбий, от десницы Вышнего за беззаконии ума и плоти мне подносимую. Я слишком был горд, и Бог смирил меня. Ильин скоро и круто все поворачивал и, когда наконец он полицмейстера в непрочности мундиров по-своему уличил, то требовал от меня, чтоб я его сменил, как чиновника, во зло употребившего мою доверенность, что я и сделал, не имея на то, впрочем, никакого законного права, потому что Ильин не мог стать выше тех законов, силою которых без суда и обличения не отрешается чиновник, но страдательное положение, в котором я был поставлен, требовало от меня неограниченной покорности, дабы избежать подозрений, площадью разглашаемых, что я заодно наживался у мундиров с моим полицмейстером.

Я прежде еще показал читателю некоторые черты этого дела и происшедшего на меня доноса. По приезде Ильина оставалось человек до трехсот не отправленных еще рекрут и на отчете полиции. За них-то он и принялся и, осмотрев амуницию, нашел ее непрочною. Оставалось на счет полиции их переменить. Нет! Ильин не допустил до того, а рассудил сам при себе велеть сшить мундир, который обошелся десятью рублями ниже моей таксы. Но вопрос: все ли равно, шить один мундир назло для подыска или две тысячи для сдачи? Шить вдруг во время набора, когда по скорости приема и числу людей трудно соблюсти экономию в употреблении материалов, или после уже набора, когда цена на товар упадет и он не столько нужен? И, наконец, третье: шить мундир генера-

лу артиллерийскому, который не подвержен браку и может приказать той же службы подчиненному себе лицу снять у него одежу и принять в казну, или одевать людей полицмейстеру, который сдает их чиновнику, ему не подверженному, и должен выносить от него притязательную браковку или исправлять его самопроизвольные недостатки деньгами? Всякий знает, как дела подобные делаются. Ильин и сам был, что называется, тертый калач, но ему хотелось открыть меня в изыскании дел полицмейстера и для того позволил себе столько наглости, что даже разломал бюро полицмейстерское и в доме его везде сделал обыск, как у вора, пойманного с поличным. На все на это обязан я был смотреть хладнокровно и только молить Бога о том, чтоб ни на бумаге, ни изустно я не вышел из себя и не забыл границ благоразумия.

Насчет перебранных денег открывалось из доноса вице-губернатора, что будто доходил перебор до семнадцати рублей, но как по журналам записано было только два рубли, а не семнадцать, и при следствии оказалось сие последнее число написано между строк в дневном журнале рукою чужой, а настоящее показание крестьянское поскоблено, то я и требовал, чтоб это обстоятельство было также открыто во всем своем виде. Не хотелось Ильину сперва приниматься за это, но, видно, приготовя все свои козни, решился и собрал полное рекрутское присутствие, в которое я не поехал, сказавшись больным, дабы не сделать такой истории от запальчивости, которая бы навсегда могла меня погубить. Кто с правой душой, с чистым сердцем устоит против такого нечестивого ареопага и сохранит пристойность в собрании злодеев или подлецов? А таково было наше рекрутское присутствие, и мне ли можно было, мне ли, пламенеющу гневом от малейшего прикосновения к чести, усидеть терпеливо против лиц Ильина и Дюнанта? В это присутствие, начавшееся в девять часов утра и кончившееся в семь вечера, послан был от Ильина его доверенный шпион за показанным Дюнантом мужиком. Он привезен из-за семнадцати верст от города, допрошен и показал, будто с него взяли семнадцать рублей. Он ссылался на других, но те, не знаю, для чего, не спрошены, видно, что один только лжец был приготовлен. Все члены кроме вице-губернатора остались при том показании, что они о семнадцати рублях никогда ни от кого не слыхали, что написано было в журнале о двух и что между строк писанное скрывает подлог, но вдаль следствия о всем том не повели, и, заключа оное показанием одного мужика без очных с приемщиками ставок и без присяги, г. Ильин закрыл присутствие, во время которого ни один член не имел свободы выдти вон на

полчаса. В течение сих суток из самого присутствия до пяти запросов было прислано ко мне, и я должен был тотчас отвечать. Я не знаю, можно ли при разыскании измены против государства, при святотатстве, разбое и самом убийстве жесточе следовать и производить дело, как сие о панталонах изволил производить Ильин.

При всех усилиях своих обвинить меня в нечистоте рук и стачке с ворами нижнего разряда генерал ничего другого лично с моей стороны найти не мог, кроме того, что я пренебрег одежею рекрут, сам в это не входил и не смотрел за ними, а, поруча под собой чиновнику полиции, полагался на одних доставляемых мне квитанциях о исправности всего, в военное ведомство поступившего. Я тем более на них обнадеялся, что и в прежние годы, когда набор был производим разными чинами в уездных городах, точно так же люди одевались, ходили в полки, резались за отечество, но ниоткуда не доходило хлопот, подобных настоящим. Дюнант и сам не дешевле одевал людей нигде, но брал за то, чтоб молчать, деньги и возвращался домой, как сытый гусь, а здесь ему ничего не дали, и он, остервенясь, пустил донос. Вот вся пружина его благородной ревности.

Обработавши весь свой розыск, г. Ильин начал под видом приязни, которой всю наружность сохранил со мной до последней минуты с удивительным коварством, предлагал мне, чтоб я повинился государю в моей неосторожности, что это, верно, будет принято хорошо и я избегу неприятности, мне готовящейся в новом министерстве, в котором я нелюбим. Внушение такое подкреплял он примером другого губернатора, который задним числом за два года дал утверждение на справочные цены хлебу провиантскому чиновнику и, принеся в том повинную, был оштрафован одним выговором и остался на своем месте. Такой пример показался мне уничижителен. Я не мог равнять моей простосердечной ошибки с умышленною виной того губернатора, дать справку задним числом, введя тем казну может быть в сотни тысяч убытку, и не посмотреть за тем, чтоб мундир рекрутский был сшит подешевле, посходнее, получше, что всего могло составлять до десяти тысяч рублей выгоды, и то не казне, а отдатчикам, из коих потеря частная по мелочи ни от одного не обнаружила жалобы. Я в этих двух поступках находил чрезвычайную разницу и потому относил совет г. Ильина или к особенному ругательству, или к желанию меня самим мною погубить. Так судя, я сказал его превосходительству, что мне виниться не в чем, что я не вор, не изменник, не злодей, что если я по суду, которого хочу и требую, буду уличен в одной излишней доверенности к негодному чиновнику, который доныне не

подал мне случая подозревать себя в уважительных преступлениях, то я уверен, что и суд не отяготит судьбы моей за такой поступок, который более или менее и самым великим умам естествен. Кто не был обманут секретарем, министром, вельможей? Сами владыки не избегают сей немощи человеческой, и потому я прежде осуждения винным себя признавать не хочу, не могу и не обязан. Но, отвергая сие предложение Ильина, я не так стоек был при другом его внушении. Он советовал мне для пользы моей выпросить у дворян свидетельство, что они на дороговизну мундиров не жалуются и находят цену их соразмерну времени и нужде. Сей совет дан мне был от него совсем не для того, чтоб из доброхотства доставить мне, как утопающему, надежный сучок, за который мог бы я, ухватясь, спастись от зла. О! Совсем нет! Г. Ильин хотел вывести меня на публичный позор, надеясь, что я гласно от собранного дворянства попрошу аттестата и гласно мне в нем откажут. Бог не попустил его довершить сие намерение. Всегда противно было коренным моим правилам искать в службе чьего-либо другого одобрения, кроме государя, от которого я получил власть, и правительства, назидающего за моими делами. Аттестат публики для службы казался мне бесполезен. Публика сама управляется, и одобрение ее редко может быть справедливо. Да и кто угодит на многих? Публика — море: в нем стократ более гаду, нежели хорошей рыбы. По сим началам я делал свое дело прямо честно, боясь Бога и ожидая похвал монарших. Прочее не впадало мне и в мысль. Однако здесь случай встретился тяжкий и новый. Больно было мне просить у тех же дворян аттестата, которых я осуждал нередко в невежестве и подлых поступках, но, дабы не дать Ильину подумать, что я опасаюсь неудачи, я согласился принять его совет коварный и под рукой пошептал с лучшими людьми на этот счет. И лучшие люди иногда не много различествуют от негодяев. Суд множества есть суд всегда лживый. Столповые наши жители[3], под личиной тонкой политики и расточив самые ласкательные предлоги, кинули все хлопоты на предводителей как начальников дворянства по уездам. Надобно было этот яд выпить досуха. Я через третье лицо с ними снесся и, благодаря каждого из них, получил за общим подписом губернского старого предводителя и всех прежних уездных одобрительный лист, в котором сказано было, что рекруты одеты недорого и что они этого за тягость себе не ставят. Представлен лист от меня Ильину письменно и ввязан в дело, но никакой пользы мне не принес, зане решено было в совете Творца судеб наших, что мне уже не быть градоначальником. Ильин, сие орудие, Богом избранное на поги-

8 Зак. № 3975

бель мою, удивился, что я получил аттестат от дворянства, и с багровыми красками в лице от меня его принял. При сем случае я научился сугубо и вяще прежнего верить, что все происходит от руки единого Бога, что люди суть только орудие его святой воли и что когда нас теснит вельможа, двор или человеческое всякое негодование мы должны признавать вседействующим перст Божий и принимать наказании не яко от человек, но яко от Бога. Право, люди одни без него всегда во тьме ходят!

19-го генваря г. Ильин выехал из Владимира в Казань, куда он наряжен был произвести следствие о происшедшей драке в рекрутском присутствии и также за шитье мундиров между губернатором и вице-губернатором Колокольцовым, тем самым, который прежде служил при мне в Володимире. А я, по отъезде его, с женой и остальным моим семейством отправился в отпуск в Петербург 21-го числа и, не прощаясь ни с кем, бежал, так сказать, из этой области, в которой за несколько дней приятных получил от судьбы многие годы разных злоключений. Отъезд мой был решителен, и я наверное угадывал, что мне сюда уже не воротиться. Приехавши в Москву, я пробыл сутки дома и тотчас отправился в Петербург один с женою, вся моя семья осталась в Москве. Мадам Гербер я уже в ней не застал, она по изъясненным прежде причинам выехала из дому нашего. Мать свою нашел я в болезни по ее летам жестокой, она так была слаба, что не могла подняться с постели и, увидя меня, сильнее еще захворала; положение мое расстроило всю слабую ее физику. К облегчению моих сердечных страданий встретился я с княгиней Куракиной, которая, будучи тою зимою в Москве, квартировала в нашем доме, и я весь день провел в любезном ее сообществе. Она советами своими, разговором услаждала сколько могла суровость моей участи. Тяжело было все то вытерпеть, что уже случилось со мной, и готовиться к тому, что меня далее ожидало. На пути в Петербург я не рассудил останавливаться в Твери для поклона находящейся тут великой княгине Екатерине Павловне, дабы не потерять напрасно суток в придворных этикетах, которых у двора принца Ольденбургского было очень много, несмотря на то, что кроме тверских жителей, некому было ими заниматься, но цари и в избах заведут этикеты. Я же очень уверен был, что учтивости принца и его супруги нисколько не восстановят моей участи, ежели она испорчена у монарха, потому что чужие беды называют часто подобные принцы не своим делом. В Петербург приехали мы 30-го числа генваря к ночи и прямо въехали в тот дом, в котором жил сын мой. Взаимным свиданием нашим мы обрадовались на минуту, но, одумав причину его, скоро опять

поплакали взаимно. У него же пристал шурин мой Смирной, который, описавшись со мной и зная, что я еду в Питер, расположился по собственным своим делам туда же ехать и, опередя нас на пути, встретил нас у сына с обыкновенною своею дружескою простотой. Квартера сыновняя была для нас мала, и мы, переночевавши в ней, наняли другую, в которую перебрались через сутки.

31-го я явился к Балашову. Сколько слез мне стоила заря этого дня, когда я вспомнил, что некогда в это же самое число я готовился к торжественному браку своему на Каменном острову у двора роскошного наследника, где, кроме радости живой и очарований любви, ничто чувств моих не касалось. Какая разница между эпохами! Тогда все мне рукоплескало, я занимал собой всю публику, а теперь, Боже мой! Теперь в том же городе та же публика приготовлялась передавать имя мое с бесчестием и поношением. Мир есть истинная школа терпения! Счастие — фантом, которого лучи отражаются на нас по воображению, оно его созидает, оно ему дает сие пленительное имя. Нет счастья на земле, а мы ощущаем его или противное ему по отношениям сторонним.

Оглядим с первой минуты моего приезда в северную столицу, как в ней расположены были мои обстоятельства и кто какое принимал во мне участие.

Главные три дела, начатые против меня, были уже в виду в Петербурге. О попе прислан доклад от московского Сената, которым испрашивалось высочайшей конфирмации на отдачу меня под суд и отрешение полицмейстера за дерзновенные поступки его против попа. Притом заметить нужно, что Сенат воспользовался моими собственными выражениями, дабы убить меня сильнее. Припомнят, что я не отперся от приказания *прибрать* попа, и в рапорте к министру полиции просил, что ежели полиция в этом только осуждена терпеть обвинение, то чтоб оному подвергли меня, ибо вытрезвить пьяного попа в полиции приказывал я. Сенат, не размысля, что признание такое в начальнике, который всегда запирательством своим в словесном приказании может погубить подчиненное лицо, есть черта прямо благородная, за нее именно ухватился к осуждению меня и, не определя разницы между приказанием прибрать попа и побоями, ему полицмейстером будто бы учиненными (чего по делу не доказано), заключил следующее: «А так как губернатор снимает вину на себя, то и отдать его под суд». Доклад сей лежал у министра юстиции и еще не был пущен в ход, когда я приехал.

По делу о письме на Сенат, поелику разбились гг. сенаторы на голоса, поступили распри его в консультацию на рассмотрение. Министр

описывался с своими обер-прокурорами, и оно, что называется, тянулось в приказных формах.

О мундирах от Ильина присланы были самые черные бумаги к Балашову, и он обработывал их с Лавровым в своей секретной канцелярии, как дело уважительнейшее в государстве. Вот в каком виде были акты гражданские по моим делам, а сверх того Поливанов был уже в Петербурге и везде, где принимали его, жаловался на меня, что я его не утвердил губернским предводителем, но как личной сей досады почитал он мало для возжжения министровых голов, то присоединял он к тому доносы насчет дороговизны почт, относя всю эту операцию неблагонамеренным моим видам.

Между протекторами моими жарче всех вступался за меня князь Василий Васильевич Долгорукий, но, будучи болен одышкой и водяной, он не двигался с своих кресел, и после нескольких недель страдательнейших изнеможений он в бытность нашу в Петербурге скончался[4], следовательно, подпора сия оборвалась. Жена его, старая и изношенная красавица, могла бы по связи своей с Марьей Антоновной, любовницей царской[5], подействовать в мою пользу, но, нимало не любя ни мужа своего, ни его ближних, она не хотела терять своего кредита ни для кого, кроме самой себя, и весьма холодно обращалась со мною.

Граф Николай Иванович Салтыков, сохраняя издавна наружный вид крепкого моего заступника, оказывать себя таким любил лишь тогда, когда то было кстати, а при шатких обстоятельствах он мягче был хлопчатой бумаги, сумел много исподтишка, но действовал с боязливой осторожностью и называл бедные сии интриги политикой. Жена его любила меня без притворства, разумела меня хорошо, горячо вступалась за меня в беседе и хотела мне быть полезной, но как ее лета и дряхлость не допускали той силы открыть в поступках, какую она имела в духе, и хотя много могла выработать из своего мужа, на что были разительные примеры, но по надежде, что, подобно прежним смутным моим обстоятельствам, рассеются и настоящие тучи в нижних сферах, она не настроивала сей крайней пружины, а старалась по свойству с Балашовым[6] располагать его в мою пользу, но употребляемый ею на то г. Пушкин, родственник графский, человек двуязычный, ласкатель подлый и эгоист совершеннейший, всегда ее обманывал. Будучи родня и Салтыкову, и Балашову[7], он преданнее был по видам своим личным сему последнему и, сделавшись переметной сумой между сих двух знатных особ, порол мои дела там, где надобно было их сшивать. Министр и Салтыков видались

редко, или, при свиданьи коротком, последний забывал обо мне совсем, итак, третье лицо в переговорах превращал сильную протекцию по звучной славе ее в свете в самую бедную опору по своей деятельности.

Оставались на моей стороне еще добрые и старинные друзья жены моей Ланские, а более еще жена, урожденная Вилламова, которая, бывши воспитана в Монастыре, сохранила дружеские отношения к покойной моей Евгенье, но и та не больше имела силы политической в домах Балашова и министра юстиции, которые оба ее уважали, как сколько потребно было на то, чтоб доставить мне лишний случай видеться с тем или другим или ранее прочих быть позвану в кабинет. В прочем же она не могла представить мне твердых оборон против моих недругов, а муж ее, слабый и добрый мужик, думал больше о том, как бы устраниться от чужих хлопот и не навлечь оных на себя.

Сперанский, громкий человек по дарованиям своим и силе над государевым рассудком, какой никто не имел в равном степени с ним, принимал меня редко, но всегда хорошо, даже с откровенностию иногда беседовал со мной о моих делах, соединял ласковость с барской вежливостью и, если он мне вредил, как многие то думали, по крайней мере, это так было скромно, что я не имею никакого права на него пожаловаться; поступки его наружные всегда были отличительны со мной. Магницкий, его правая рука и лучший друг, знаком был со мной хорошо, принимал охотно, выслушивал терпеливо, и о сих двух, кроме похвал, я ничего произнести не могу. Вот на чем висели последние дни политического моего бытия. Каждый из именованных лиц, кроме двух последних и Ланской, ничего не действуя сам собой по старости, болезни или мнимым недосугам, наряжал меня действовать, давал советы, как лекарь пишет рецепты, не заботясь, подобно сему, нимало о том, благоуспешен ли совет или только время выиграно и докуки он избавился. Это называется в Петербурге протекция!

Затем все другие знаменитые лицы правительствующего сословия или худо со мной встречались, или с притворным соболезнованием оплачивали ходатайства мои холодными приветствиями, звали обедать, слушали мои жалобы и, не вслушиваясь ни в одно слово, качали головой, как будто поняли меня, но в это время вся их мысль была занята или собакой, или девкой. На таких-то слабых подпорках шатался я в бурях житейского моря. О врагах моих явных и подспудных стану говорить по мере как до них речь доходить станет вместе с ниткой происшествий.

Первое свидание мое с министром полиции было прекрасно. Он меня взял к себе в кабинет, выслушал наедине спокойно. Беседа между нами

продолжалась с полчаса, несмотря на множество людей, ожидающих в другой комнате его взгляда. Кончилась она тем, что он в тот же день зазвал меня к себе обедать, и как в это утро, так и на обедах своих всегда оказывал мне особенную вежливость. Если б верить всем его словам, то казалось, что лучше губернатора в России нет меня и что я непременно над злодеями моими восторжествую, но Балашов никогда не говаривал ни с кем так, как думал, язык его свободно произносил все и входил в противоречие с сердцем. Балашов из числа тех скрытых эгоистов, кои, кроме себя, ничего не любят, ни о чем не пекутся, как о возвышении своем, и охотно погубят чистейшую правду, лишь бы удержать за собой место. Будучи посредственный гражданский чиновник и самый плохой министр, он славился особенным искусством в науке шпионства, собирал вести, составлял из них сказки, действовал ими на воображение государя и казался оттого так нужным, что никто заступить его места не в состоянии. Вот что такое был Балашов. Он жил пышно, и по утрам сбирались к нему челобитчики сотнями. Приступ его был горд с ними, и хотя он уклончивым притворялся, но сквозь всей личины приметить можно было, что он считает себя лучше всех тех, кои до него имеют нужду. На обеды к нему в назначенные дни съезжалось очень много гостей, из которых с каждым он урывками говорил так, чтоб никто не успевал связать из слов его удовлетворительного для себя отзыва. Ни у какого министра до него не были так уничижены в передней гражданские губернаторы. Да на это была и естественная причина, к которой я, ездивши к нему через два дни в третий, имел время присмотреться. Балашов был военный губернатор петербургский и вместе министр полиции, следовательно, имел при себе военный штат. Все эти господа султанные щеголи не уступали нигде и никакому чину штатскому ни шага, ни места, и выходило, что по утрам оступит Балашова все христолюбивое воинство и затеснит нашу братью шитых воевод. Кто у притолки, кто за печкой; выдет Балашов, и всякий из нас пробивается плечами сквозь адъютантов да ординарцев, чтоб удостоиться лицезрения его превосходительства. Велика милость, бывало, когда он сам разглядит кого-нибудь в толпе усачей своих и изволит подозвать к себе. Таков был прием министра полиции в назначенное для публичной аудиенции утро. Я не был с ним довольно короток, чтоб удостоиться узнать его в приватном быту.

Лавров, известный уже читателю моему чиновник, заправлял при министре теми делами, кои доходили к нему от губернаторов прямо или имели связь теснейшую с самими ими. Надобно было мне и с ним сой-

титься как с душой полицейской инквизиции. Все через него шло, и милости, и оскорблении. Я не искал первого, хотел избежать последнего. Лавров на первых порах, приняв меня несколько раз к себе под вечер, показался мне мужиком простым и не коварным, но недолго я был в ошибке. Верный сателлит своей мрачной планеты, Лавров, подобно Балашову, умел обманывать и поворачивать язык свой на все стороны. Не зная еще, куда потянет перевес дел моих, он обходился со мной хорошо, и первый мой вход ко всем властям петербургским не обещал мне ничего очень худого, хотя предварительно давали уже мне чувствовать некоторые, что государь имеет против меня какую-то желчь, однако приправляли такое откровенное признание обольщением, что это может миноваться и не доведет меня до отчаянной крайности. Иногда я этому верил, а часто принимал такие внушения за подыски, коими хотели меня лучше выведать самого и вернее пробить дорогу к моему погублению посредством какой-либо вспыльчивой нескромности. История знаменитого попа обязывала меня видеться и с князем Голицыным, обер-прокурором Синода, который важнейшую играл ролю при дворе, был наушник и приятель государев. Беседа моя с ним и ходатайство князя Василия Васильевича ничего мне не помогли. Он выслушивал меня, но из сухости его разговора видел я, что он наполнен дурных предубеждений насчет сего случая и глядит на него с точки зрения, для меня невыгодной. Тщетно было бы переуверить его; он искал мне вреда, потому что это было угодно государю, и рассудок его никакого силлогизма не принимал в мою пользу. Надлежало мне пострадать за попа, так вещали оракулы наших питонисс* светских. Все или большая часть людей удостоверены были в том, что я на губернии молотил деньги, как рожь на гумне, никто почти, кроме тех, кои меня хорошо знали, не верил тому, что жалованье было все мое состояние, и, что всего было для меня больнее, каждый возносил мой разум на счет моего сердца. Все придворные ласкатели верхнего круга потому-то самому не могли верить, чтоб я не был плут, что по милости своей слишком много мечтали о моем разуме. Худо жить в таком государстве, где ум дает такой худой аттестат сердцу. Итак, посетивши раза два князя Голицына и видя, что он мне не друг, перестал его беспокоить. Надобно было ездить на поклон и к министру юстиции, это всего было для меня тяжеле. Я не забывал еще, что Иван Иванович Дмитриев всегда был в службе меня моложе, что, сержантом будучи, когда я уже

---

* pythonisse (фр.) — волшебница, ворожея.

служил офицером, в одном и том же полку, он ежедневно хаживал ко мне в дом, и я с ним был всегда в то время искренним приятелем. Память живо представляла мне оказываемые мною услуги его родному брату, которые по подчиненности его могли даже назваться и благодеяниями, а теперь надобно было мне стоять у него в передней, дожидаться в толпе секретарей его выхода, ловить гордый взор его и радоваться каждому приветливому слову. Это казалось мне несносно, но нужда, проклятая нужда на все отваживает. Я поехал и к нему, был гордо принят, с большими насмешками. Господин министр, валяясь на софе в утреннем платье, обнюхивал свежий померанец, глядел на меня с улыбкой и кидал каленые стрелы в мою душу. После этого раза я перестал было к нему ездить, меня принудили возобновить посещении, я повторил визит и не был принят, но посредничество госпожи Ланской угладило между нами обстоятельства. Дмитриев стал звать меня обедать, и я несколько раз доставил себе эту горькую честь весьма принужденно.

Сблизившись с ним и вступя в закадычные, так сказать, разговоры, узнал я, что доклад о попе, от Сената присланный, лежит у него еще и что он дождется удобной минуты, дабы выпустить его без всякого для меня неудовольствия, сколько то от его сил зависеть будет. Жалобу на Сенат он возвратил в оный для дополнения приказного обряда, и это дело еще мне не угрожало. Итак, судьба моя была в руках его только до тех пор, как утвердится или отменится доклад Сената, и покровительство его нужно было мне для расположения государевых мыслей в мою сторону. Видаясь с ним часто, узнал я из откровенной его мне исповеди, что он оскорбился жалобой моей на Сенат, как на такое место, которое действует под его назидательным оком, что всякий проступок его или неправосудие падает на лицо министра юстиции и что ему будто бы досадно было видеть, что старый его однополчанин и приятель, забыв прежние с ним связи, мимо его пожаловался на подлежащее ему место стороннему министру, то есть Балашову, который хотя ему и двоюродный зять по жене своей[8], однако, поелику у министров нет родни, как и у владык земных, мог сим воспользоваться у трона в предосуждение тому министру, который допускает и не оглашает прежде всех беспорядков доверенного его надзору места, а потому, огорчась моим поступком и некоторыми выражениями письма, он не таил, что в первом движении досады дал делу худое направление и сожалеет весьма, что лишил себя почти средств поправить нанесенное мне зло. Так говорил со мной Дмитриев и, коротко сказать, признавался мне, что он меня прирезал. Много мог бы

я ему возразить в свое оправдание и указать ему явственно, что письмо мое к Балашову, не будучи формальной жалобой, должно было идти прямо к нему преимущественно, ибо если б я написал то же Дмитриеву, тогда Балашов, рассердясь на меня, что я не по своей команде ищу удовольствия, нашел бы достаточное право задавить меня. В таком будучи положении, как брус железа, между молотом и наковальни, не скоро найдешь стези, ведущей к удаче, но мне оставалось слушать г. министра юстиции, молчать и просить только, чтоб он не портил дела моего вдаль, а что лежит до мнимой его досады и выставленной только пустым предлогом, то я, размышляя тогда и после о том сам с собою, готов заключить скорее, что стихи нас поссорили. Г. Дмитриев их пишет, и я также. Он, может быть, прочел в моих черту для себя не ласкательную. Слышал я, может быть, это и неправда, но от людей, которые имеют по доверенности его к ним случай иногда слазить в его совесть, будто он мне не прощал следующих общих мыслей в одних стихах и применял их к себе, сделавшись барином:

Чем выше на степень всходящих я видал,
Тем больше всякое почтенье к ним терял;

и проч., проч.[9] Вот и ключ загадки. Самолюбие защекотало, кровь загорелась, давай отплачивать. Случай готов, сила в руках исполинская, она мстит литератору в Сенате. Он пустил стишок не по нас. Заразим же его душу прозаическим ядом в докладе судебном. Прекрасно! Прекрасно! Помогай вам Бог, господа министры-стихотворцы, и нынешние, и грядущие.

В числе знатных господ, имевших некоторые ко мне отношении, по делам ли службы, или старым связям, назову я еще здесь министра внутренних дел, министра финансов и старого моего начальника графа Кочубея. Первый, а именно Козодавлев, имея по выборам дворянским в руках рапорт мой, после краткого моего с ним объяснения нашел, что Поливанов имел право, общее каждому, досадовать, когда что не по нем сделается, но жаловаться правительству — никакого, итак, клеветы его вредили мне в передних и в кабинетах, но не за приказными столами, а донос о станциях не принял никакого веса и остался без действия как одна ненавистная хула, не имеющая даже и подозрений к своему основанию, не только причин и доводов ясных. В прочем Козодавлев зывал меня на пиры свои, принимал всегда ласково, оказывал ко мне уважение и с сыном моим, который служил при нем, обращался так, что я с стороны его не мог быть чем-либо недоволен. Министр финансов, то есть

г. Гурьев, отблагодаря меня на приватной у себя аудиенции за успех дела соляного, о котором говорено было прежде, вошел в длинное рассуждение о раскладках рекрут коронных. Я долго с ним толковал о сем предмете, изъяснял мои идеи и не знаю, понял ли он меня, но я никак не понял того, как он, сбившись с этой материи, попал на другой след и, рассказавши мне целую историю о каком-то мнении его, опровергаемом в совете, совсем запутал беседу, и я молча выбрался из этого лабиринта. Один только этот раз я с ним виделся, слушал его и говорил с ним, но если бы все аудиенции министров с начальниками губерний не более имели пользы для управляемых народов, как сколько истекло из данной мне аудиенции его великим и толстым превосходительством, украшенным при широком челе ужасными бакенбардами и многими на спине и на брюхе орденами, то бы беда была жить на свете. Граф Кочубей, присутствуя в одном совете и не заправляя никакой особенной частью, был всегда ровен в обхождении со всеми, принимал меня и неоднократно с милостивым вниманием жалел о моих хлопотах и о притеснении меня. Он в публике и дома, писал ли мнение свое, или оговаривал чужое, всегда был министр, барин достойный и приятный человек, такого мнения о нем останусь я навсегда. Члены совета, князь Лопухин и Попов, которых я иногда посещал как бывших вельмож, а у последнего и на обеде был в воспоминание того, что некогда при князе Долгоруком-Крымском служил под его начальством, оба сии лица уже не имели ни силы политической, ни весу при дворе, а считались только в совете по знатности чинов и старости лет. Оба играли в карты и, кажется, кроме себя, забывали все на свете.

Между людьми совсем сторонними никто так много мне не вредил, как Пушкин, и не знаю, за что. Я видал его только у графа Салтыкова и не имел никогда с ним ни малого знакомства, но есть люди, которых мы не терпим до ненависти самой черной за то одно, что они не тем богам кланяются, пред которыми мы падаем. Пушкин поступал со мной, как с язычником, угождая Балашову и предначертанному им на судьбу мою плану, а с ним вместе и теми же путями воздвигала на меня большие ковы госпожа Языкова, просто сказать, Корали, та самая, о которой молвил я слегка в прошедшем годе. Полячка еще пригожая и проворная, одаренная свойственной народу сему наглостию, она жила в Петербурге и попеременно то с Балашовым, то с министром юстиции играла роль лаисы. Они ее любили оба, как любят вольных девок, наслаждались ею по очереди и в минуту вожделений ни тот, ни другой не постояли бы за такую малую жертву, как я. Корали, давно сердясь на меня за то, что я,

по бумагам узнавши всю ее историю развода с одним мужем, уход от другого и соблазнительное сожитие с третьим, просил, чтоб она не посещала меня более в Владимире, в досаде своей вымышляла всякие против меня интриги в Петербурге, острила желчь в министрах полиции и юстиции, выставляла меня им человеком негодным и старалась всеми силами своих прелестей возбудить на меня правительство. Стойкие люди никому не нравятся, это признано издавна за аксиому. Корали хотела, чтоб жена моя приехала к ней просить за меня. Ни та, ни я на это не согласились. Я имел еще при всех бедствиях моих довольно духу, чтоб не хотеть место в службе сохранить по жене и пуститься на поступки, недостойные меня и ее. Одолжену быть службой проискам бабьим, да еще и ходатайству такой женщины, какова была Корали, не входило во всю жизнь мою мне на мысль. Да когда бы я был довольно слаб, чтоб на это и согласиться, какой пользы ожидать мне надлежало даже в случае самой счастливой удачи? Общего презренья! Ибо, воротясь в Володимир, Корали не оставила бы разглашать всюду, что она поправила мои дела и что я по милости ее остался губернатором. Такого стыда я бы не купил ценой самого министерства. Отзыв наш Корали был сух и неприятен, мы к ней не поехали и, просто сказать, оплевали сию великолепную наложницу господ министров. Она нам заплатила дорого, приложа много огня к соломе, но я и среди моих оскорблений был довольнее собой в отношении к этой площадной любовнице, нежели когда бы, поддавшись искушениям сатаны, стал перед ней из выгод своих плясать бесом. Иметь злодеями против себя прямо честных и нравственных людей бедственно, пагубно, ужасно, но Боже дай, чтоб и всегда меня ненавидели мадамы, подобные госпоже Корали, и вельможи, подобные Балашову с его шайкой!

Обряд представляться государю в его кабинете не был еще уничтожен. Губернаторы ходили прямо к нему, разумеется, по предварительной повестке. Тогда наехало нас человек до десяти в Петербург с разных сторон, и лучше всех были приняты начальством крымский с саратовским. Первый поехал обратно с сенаторским достоинством при сохранении настоящего места, а второй с Аннинской лентой через плечо[10]. Я, хотя еще не совсем был в оглашенных, но, по пословице французской, уже одним крылом только поднимался на воздух (Je ne battais plus que d'une aile)*. Балашов, с самого начала объявя мне, что государь не благо-

* Я летел с одним крылом (фр.; идиома, означающая: дышал на ладан; был на последнем издыхании).

волит ко мне, обещал стараться о том, чтоб я на приватную аудиенцию был наряду с прочими к нему допущен, и я довольно долго прожил в городе, ездя к министру и не получая на то дозволения, как вдруг прислана была ко мне от него повестка, чтоб я явился такого-то числа поутру после вахтпарада к государю в кабинет, это пришлось в будний день в пятницу. Поелику было в привычке более по воскресеньям представлять, то позыв меня в день необыкновенный казался мне быть и предзнаменованием и последствий необыкновенных. Не без смущения ожидал я утра. Поехал сперва к министру, он мне повторил приказание государево. Я приехал во дворец, явился на его половину, доложено было тотчас и велено было мне дожидаться. Первые часы дня были наполнены воинскими занятиями, но сам государь не изволил ездить к разводу, и когда все чины военные вышли от него, то остался в передней генерал-адъютант дежурный Миллер и я. Долго ожидал я аудиенции и почти начинал думать, что меня забыли. Пусть представят, сколько мне мрачных идей приходило в голову. Кто как ни умничай, нельзя без особенного чувства готовиться к разговору с монархом, от которого неограниченным образом зависит судьба наша, который на жизнь и счастие действует одним словом. Велел — и в миг готовы ссылка, узы, смерть. Верю, что люди, приобыкшие дела с ним делать, столько же равнодушны к его физиогномии, как и слуга мой, который меня одевает каждый день и шуму не боится, но видеть государя редко, почти никогда, говорить с ним, может быть, один раз во всю жизнь весьма устрашительно для воображения. Что ж происходить могло в моем в ожидании этой минуты, когда я готовился к гневу царскому, к укоризнам и даже к вспыльчивой брани по всем тем догадкам, кои мне внушала молва многих в городе? Пришла минута роковая. Отворились двери в чертог царев, спросили меня, и я предстал пред лице самодержца. Кабинет государев обширен, в нем столько же столов длинных, сколько министерств. Думать должно, что на каждом из них дела одного министра обработываются. На всех на них бумаг я видел кучи, и по справедливости сказать, не только дать на них приказании, но даже чтоб механически глазами их пробежать, конечно, целого года мало. Среди сих тетрадей государь за маленьким столиком сидел один в глубине комнаты и что-то изволил писать, как я вошел; при нем никого не было. Он встал, подошел к дверям. Я, после поклона очень униженного, придвинулся к окошку, чтоб быть лучше услышан государем, который у оного остановился, ибо известно, что слух его крепок, и ожидал вопросов. Разговор продолжался минут с десять или не

более четверти часа. Не касаясь ни до каких дел, ни доносов, государь удостоил меня беседы самой простой и общей: расспрашивал о строении, о дорогах, о мощении улиц, о состоянии хлеба в губернии, и между пятнадцати или двадцати вопросов угодно было его величеству повторить те же самые насчет моей службы, кои он изволил мне сделать и при первой моей у него аудиенции в 1807 году, то есть давно ли я на этом месте, кого сменил, при ком определен, потом изволил мне поклониться и отпустил. Вот весь наш разговор. Сколько он страшным мне за час перед тем представлялся, столько успокоился я, идучи вон из кабинета. На лице его не приметил я ни малейшего знака досады или скрытого негодования. Не был вид его ни строг, ни благосклонен, угрюмость ума работящего по многим важным занятиям изображалась во всех его чертах, но при столь различных упражнениях царя может ли вид наружный не показывать отпечаток всех тех забот, кои душой его владеют? Всегда ли из сериозного вида монарха должно выводить заключение, что он гневен? Так обманывая себя, вышел я доволен, и как гора с плеч моих свалила. Приходило ли мне на мысль, что государь такой сильный будет с подданным своим унижаться до притворства? Но точно так открылось; уже в намерении его было, как все обстоятельства последующие показали, отставить меня и отнять губернию, но не только во время свидания со мной он не показал ни малого следа сие отгадывать, но даже и в пребывание мое в Петербурге я без всякой отмены от прочих губернаторов имел те же публичные у двора приемы. Я, испытавши все это, едва еще верю столь скрытому характеру в лице, так сказать, всемогущем на земле. От государя я заехал к Балашову дать ему по начальству отчет в моем свидании с ним. Он, выслушав, поздравил меня с этой аудиенцией, на которую, повторил, что боялся отказа, и тем это грозное утро кончилось. И царь, и министр его, оба меня обманывали. На что эта комедия и многие другие? Пусть толкует кто как хочет, я признаюсь, что я не находил нитки такого чудного лабиринта. Выгнать подданного, лишить его всего царь властен, по капризу ли, по суду ли, он на то имел законное право в России, но обманывать подданного, притворяться перед ним, ненавидеть и удалять от него пути к объяснению под благовидною наружностию есть ужасное свойство в монархе.

Некоторые приятели мои охуждали мою боязливость, что я государю сам не начал оправдываться в доносах, на меня бывших, утверждали они, что таковые образцы были и удавались. Это похоже на того губернатора, который повинился в задних справках и за откровенное признание вме-

сто Сибири получил легенький выговор в рескрипте. Но всегда ли можно ручаться, что такой поступок получит желаемый успех? Отвага иногда спасительна, я на это согласен, но, отлагая в сторону то, что небо не одарило меня подобным свойством, к чему бы послужила здесь моя смелость? Я бы похож был на игрока, который все имение вдруг поставил на карту. Положим, что государь, поверя мне, переменил свои мысли. Это бы послужило мне в пользу на тот момент, но если худые мысли вложены были в ум его хитрым министром или пронырливыми шпионами, что тогда в будущем меня ожидало? Новые козни и усилия моих врагов, и я позже, может быть, но все бы не миновал беды, судьбой и Богом мне предназначенной. Переменим же догадку нашу наизворот и скажем, что государь, раздражась моим открытым объяснением, которому он сам не давал повода своими вопросами, выслал меня с гневом на наглость мою, присоединил к прочим наклепанным преступлениям, что бы тогда вышло? Я знаю, как свет судит: успех и правит, и винит. Меня же бы обвинили все и отвагу мою назвали бы дерзновением. Тогда я бы унес из кабинета царского не спокойство чистой совести, но горчайший упрек, что сам я себя погубил. Чет и нечет в подобных случаях весьма опасен, это не кости, не шашки и не карты. Лучше слишком испугаться, где страха нет, нежели ничего не бояться там, где все опасно. С царями говорить о себе и за себя не батареи брать, тут лбом ничего не возьмешь. Скажут, может быть, что отважным быть препятствует нечистая совесть. Это софизм! С самой правой душой можно испугаться государя, неметь перед ним и забыть все свои доводы. Незазорная совесть не всегда бывает велеречива, страх происходит от свойства и темперамента, а не от тревог душевных. Мы видим злодеев, которые как златоусты высказывали свою невинность, и настоящих подвижников добродетели, кои не умели одолеть гнусной клеветы. Сию истину весьма нетрудно доказать, но я здесь пишу не философскую диссертацию.

После аудиенции государевой надлежало по обряду представиться всему двору. Государыня Елизавета Алексеевна изволила спросить меня, много ли снегу в Владимире, и тем вся беседа наша кончилась. Вдовствующая спросила о здоровье и прошла мимо. За толь великую честь поцеловал я ручку у обеих, а потом гоняли нас, приезжих, толпою к великим князьям и великой княжне, с которыми также свидании наши были незначительны. В один полчаса оканчивались все аудиенции. Цари всегда скупы на разговоры. Явление мое на всех половинах дворца казалось хорошим знаком, а вдобавок к оному я получил в эрмитажные дни от

двора билет в театр и неоднократно оным пользовался. Известно, что люди, в немилость у двора попавшие, не удостоиваются ни входа во дворец, ни приглашения в Эрмитаж. То и другое, наряду с прочими не отнимаясь и у меня, заставляло надеяться, что еще, по пословице князя Вяземского, екатерининского генерал-прокурора, не так чорт черен, как его пишут, и я несколько ободрился, но ненадолго. Каждое воскресенье в Эрмитаже был спектакль и по большей части французский, хотя все уже начинали ненавидеть и народ этот, и наречие его, но сила предубеждения и привычки еще влекли к Филисам и Жоржам. Я несколько раз был в придворном театре, и хотя по беспрестанным заботам, отнимающим у меня дух веселости, я не мог наслаждаться в полной мере талантами придворной труппы, однако, следуя закоренелой моей охоте к театру, не пропускал ни в городе, ни во дворце ни одного зрелища и тем только несколько рассеивал тоску мою. Труппа французская при дворе была совершенно хороша, русская очень посредственна, и оттого редко езжали на нее смотреть. Эрмитажные съезды были сопровождаемы обыкновенною придворною тяготою. Надобно было собраться в театр довольно рано, чтоб застать место выгодное. При государыне покойной я слыхал, что строгий выбор был в людях, приглашаемых в Эрмитаж, и потому места были очень свободны. Ныне я сам в первый раз отроду очутился в Эрмитаже, потому что все губернаторы в это время, оттого ли, что их было очень много налицо, или по особенному какому уважению к званию их, были приглашены в оный, и видал, что в нем, несмотря на пространство его, доходит до тесноты, и немудрено. Все, что в гвардии (а ее чрезвычайно много) служит офицером, имеет въезд в Эрмитаж и никому не дает ни места, ни шагу, особливо статским чинам. Это заставляло меня ранее приезжать, чтоб предупредить общую свалку. Государь иногда приходил с домом своим поздно, театр начинался и кончался не рано, то есть для старых и добропорядочных людей, а впрочем, в публике и час за полночь не поздняя пора была для гостей. Случилось раз, что в городе в один день двенадцать свадеб благородных обвенчано, в том числе три при дворе, после которых и по окончании всех обрядов, у двора бывающих, назначен был Эрмитаж. Царская фамилия, утомленная в церкве около новобрачных, показалась в театр почти в девять часов вечера, и не прежде двенадцатого по домам разъехались, ибо после театра никогда ничего не происходило во дворце. Государь ретировался в свои покои, семейство его также, а наша братья хлынет во все предместья города искать ужина или ночлега. Говоря о театре, уже скажем в заключе-

ние, что публичных было два, и мы с женой, пользуясь знакомством госпожи Кутузовой, которой дочь была замужем за моим внучатным братом Толстым и с ним на ту пору жила в Петербурге, очень часто с ней езжали в ее ложу в театр, и никогда не забуду фарсы, которую давали при нас в последних днях масленицы, а именно: «Господин Пурсоньяк» Молиеров[11] по-французски. Кто не знает этого посмешища в драматическом роде? Я хохотал до слез, особливо когда лучшие актеры и танцовщики, одевшись в аптекарское платье, бегали с трубками по всему театру, и в раек, и по коридорам, и наконец пропадали под полом, прыгая один за одним в суфлерскую будку. Ничего смешнее нельзя было себе во сне даже представить. Масленица проведена в Петербурге не очень восхитительно. Были горы и разные народные забавы, но что-то души не было ни в каком увеселении. Всякий занимался политическими обстоятельствами, которые принимали вид пасмурный и устрашали многих. Это имело влияние на все и всех. Но о сем я поговорю после, а теперь, обращаясь к веселостям города, в которые, отбившись от коренной своей материи, вовлечен я был Эрмитажем, скажу еще, говоря в особенности о себе самом, что я, натолкавшись целый день у знатных господ да у так называемых благодетелей, дарил себя вечерами и ими только облегчал целодневную скуку и мучение разума. Всякий почти день мы ужинавали у графини Апраксиной, сестры родной моей жены, тут никогда никого не было, кроме нас, ее семьи и одного аббата, который, воспитав ее сына, жил у нее из одной квартеры. Он, не имея никакого места, отправлял должность домового священника у французского посла Лористона и принашивал нам под вечер разные политические новости. Мы с ним до ужина сплошь бывало спорим и всю Европу межуем. Беседа его была занимательна, он имел хорошие сведения. Итак, я худо начинал и проживал каждый день, а к вечеру нередко смеивался между родными от доброго сердца.

Всех прочих бед хуже было то, что у меня вдруг и в первый раз в жизни показались признаки каменной болезни. От езды ли по мостовым, сделавшейся уже для меня необычной, или от принуждения обувать башмаки и тем простужать ноги, но появился у меня песок, и по новости случая болезненные рези при проходе его из почек меня крайне испугали, но удачный медик, более, нежели в самой вещи искусный, меня изрядно починил, поил простым льняным семям, утишил боли и так меня держал во всю бытность мою в Петербурге, что я мог без труда всюду ездить, и кроме неприятности, которая навсегда осталась, что природа развела во

внутренности моей минеральный кабинет, я в прочем метал песок и даже камушки, как рыба икру, и не переставал трястись в карете по всему городу из угла в угол.

Довольно сих двух-трех страниц, чтоб дать картину моего провождения времени. Рассказывать об обедах моих у Неплюева, у Ланского, там и сям было бы бесполезно. Упомяну однако ж, к сему меня обязывает благодарность, о тетке моей княгине Шаховской, у которой мы очень часто бывали и которая, кроме ласкового всегда приема, душевно обо мне жалела и всячески искала мне помогать, но не ее сил то было дело. Затем примусь я опять за рассказ исторический моих обстоятельств по службе, которые были целию и предметом единственным моего приезда в Петербург, а не роскошь и забавы большого света, для коих и по положению моему, по летам и недостатку я давно уже был мертвый человек.

Время отпуска моего приходило к концу, но дела мои не были еще кончены. Форма требовала отсрочки, я ее просил и думал, что тут же последует развязка министерских загадок, но, для поддержания ли во мне надежды, дабы сильнее после поразить, или без всякого умысла, по одной заведенной системе ругаться людьми и обходиться с ними, как с куклами, пусть подивятся: мне отсрочен отпуск по 17 марта, то есть еще на двадцать восемь дней, объявлен именной о том указ Сенату и послан в Володимир. Что мне оставалось заключить из такого нового обмана? Что еще я не решительно сбит неприятелем с своей позиции и могу выдержать приступы к себе коварства. Нет! Все сие делано было мне в насмешку и дабы увеличить язвы сердца.

Между тем приезжает Ильин и, отдавая отчет министру полиции в его препоручении, располагает его решительно против меня, шепчет, шнырит, словом, в короткое время дела мои принимают самый худой оборот и ясно уже кажут мне, что я должен лишиться места. В одно утро на беседе в четырех глазах Балашов с своими коварными ужимками и лицом предательским предложил мне, чтоб я, к умилостивлению государя, который не изволит более держать меня в службе, подал прошение и, предупреждая неприятный какой-либо об отставке моей указ, изъявил в нем желание причислиться в Герольдию, что тогда он будет стараться о пенсии для меня и о улучшении сколько возможно моих обстоятельств. Такое предложение значило в настоящем смысле, чтоб я попросился в отставку, вместо которой, чтоб смягчить суровость слова, поставлена Герольдия, но кто не знает, что губернатора причислить к Герольдии, тогда наипаче, как восемь лет старшинства в чине тайного советника, десять

лет службы в звании губернатора давали мне право ожидать и сенаторского места, кто не знает, говорю я, что при таком формуляре службы попасть в Герольдию значило то же, что сказать: ты никуда не годишься, поди вон. Это не требует острой догадки. Долго говоря с Балашовым и с довольным жаром, который умерял он ледяною своей личиной, я доложил ему наконец, что я готов снести всякий указ, какой ни состоится, потому что я прав и на совести никаких пятен, заслуживающих такой злобной досады государевой, не имею, что я не стою за место и отдам губернию в пользу кого хотят, если она кому-нибудь уже обещана, но что служба мне необходима и что я от нее увольнения сам просить не могу, потому что мать моя, будучи еще жива и правя своим имением, я со всем своим семейством, лишась жалованья, лишусь даже способов пропитания такого, на какое человек моего чина и имени может без роскоши и мотовства простирать свои виды. Прибавил я к тому, и с нарочитой силой духа, что я бы, видя течение дел по губернии, и давно бы оставил губернаторский пост, но причины недостатка заставляли меня держаться, как за якорь, за мое жалованье. В заключение сего откровенного отзыва, сказал я г. министру, что я посоветуюсь, впрочем, с моими протекторами и назавтра же приеду к его превосходительству с ответом. Балашов знал, что я под названием протектора разумел не иного кого, как графа Салтыкова, и, улыбнувшись лукавым образом, как человек, уверенный, что удар так приготовлен, что никто уже его не отведет, отпустил меня собирать бесполезные советы. Рассказывая все сие исторически, как сказку, я не изображаю состояние моей души. Оно ни под какое красноречие не подходило, и всякий, кто чувства имеет, не зараженные эгоизмом, легко представит себе, какие мрачные идеи, какие моральные ужасы окружают неповинную душу, когда сильные земли своевольно ее нажимают. Граф Салтыков тронут был сим обстоятельством, когда я оное ему сообщил, но слаб противудействовать. Совет его был написать трогательное письмо к государю и убедить Сперанского подать его с ходатайством в мою пользу. Всякий любит чужими руками жар загребать. Граф Салтыков меня двадцать лет знал, по-видимому, любил, все его побуждало вступиться за меня. Он бы мог сам объясниться с государем на мой счет, но он не имел достаточно сил душевных, чтоб осмелиться объявить себя явным протектором такого лица, которое подпало гневу монаршему. Он тужил, сетовал, да и все тут. Сперанский меня знал недавно, разумел меня хорошо, судя по наружности, но я слишком справедлив, чтоб требовать от него таких услуг, от которых и самые старинные благодетели удаля-

лись. Кто мне давал право на ходатайство Сперанского? За что стал бы он хлопотать обо мне и оскорблять государево предубеждение? Довольно много делал для меня этот человек и тем, что он, скуп будучи на приемы, допускал меня иногда в свой кабинет, говаривал со мной глаз на глаз и оказывал мне всегда самые тонкие вежливости, похожие по чертам наружным на искренную приязнь. Однако я решился написать письмо к государю, просил в нем о помещении меня в Сенат, думая, что злодеям моим довольно будет барыша отнять у меня губернию, но что, будучи в Сенате ноль, как и все другие, я никому не сделаюсь ни страшен, ни вреден. Написавши такое письмо, я испросил у Сперанского свидания, был им принят, долго говорил с ним, казал ему мою бумагу. Он с видом честнейшей откровенности сказал мне: «Не подавайте этого письма, оно послужит только к вашей отставке. Не давайте торжества вашим антагонистам, им хочется вашего места, и они вас пугают, дабы вы сами от него отреклись. Я не верю, чтоб вас отставили своевластно, как они угрожают. Такому неправосудию примеров не было. Кто слыхал, чтоб без суда можно было вытеснять губернаторов, и какое вы им на то дали право? Вы всегда служили хорошо и неоднократно были одобряемы самим государем. Еще повторяю вам, что я не советую подавать этого письма. Настаивайте в своей правости и не щадите слов: Il ne faut jamais être délicat avec ceux que n'entendent rien à la delicatesse*». Это были последние слова его, на которых я оперся, как на стену. Прощаясь со мной, он сказал: «Я еще с вами, верно, увижусь, я надеюсь, что страхи ваши кончатся». С тех пор уже мы и не видались, но я не мог того отгадывать. Закрыто было многое от взоров публичных.

О свидании моем с Сперанским я тотчас донес графу Салтыкову. И он, и Ланская, и все мои ближайшие, утверждая одно и то же, не советовали подавать просьбы, а, собравшись с духом, ожидать в терпении последствий. Остановясь на сем намерении, я явился в последний раз к Балашову и доложил ему, что я решился выдержать все то, что ни случится, но ни в отставку, ни в Герольдию сам проситься не буду, а еще меньше унижусь до того, чтобы просить пенсиона, ибо, служа из одной чести, я никогда не ценил заслуг моих и трудов денежною ценою, и когда государь, буде то правда, не благоволит ко мне, то пенсион выпрошенный есть такая милостыня, которой я не приму и которая ничего не воз-

---

* Никогда не нужно быть деликатным с теми, кто ничего не понимает в деликатности (фр.).

награждает при различных озлоблениях, мне нанесенных. Бедну быть не стыдно, напротив, нищета — почесть тогда, когда человек имел чрез двадцать лет службы столько путей, как я, сделаться богатым. После сей поговорки распростясь с министром навсегда, я засел дома и ждал громового удара, который, однако же, задлился по обстоятельствам и тем еще давал луч надежды, что Сперанского слова правильны и что вытеснить человека правого не совсем легко министрам, но стремительность, с какою приступили к сему, как увидят ниже, доказала противное.

Министр юстиции подал наконец доклад свой по делу попа государю. Приговор Сената заключал отдачу меня под суд и отрешение двух чиновников полиции. Если верить словам г. Дмитриева, то он мне изъяснился на сей случай таким образом: «Государь, увидя, что вас приговорили суду, а подчиненных лиц отрешению, отозвался, что Сенат должен был и губернатора отрешить, ибо де начальник более виноват во всяком допущенном им беспорядке, нежели тот, кто под его начальством. «Не рассудите ли, — доложил я государю, — и весь приговор смягчить, ибо дело, открывшись ничтожным, слишком будет огласительно для тайного советника и губернатора быть судиму за историю с попом». Государь, выслушав мое примечание, довольно холодно изволил приказать мне передать доклад Сената министру полиции с тем, чтоб он доложил мне по оному вместе с другим же делом по Владимирской губернии». Вот что мне сообщил министр юстиции в откровенной беседе глаз на глаз со всеми прикрасами приязни. Так ли это было между им и государем трактовано, про то знает одна его совесть. Я охотно сему поверил и ждал, что скажет или выпустит в свою очередь Балашов, но прежде, нежели успел министр юстиции по форме снестись с министром полиции о последнем соизволении государевом и передать к нему доклад Сената, уже Балашов получил изустное приказание, по которому, с представлением его о рекрутском обмундировании, велено меня за беспорядки отставить и следствие Ильина рассмотреть в московском же Сенате. Сим кончились доклады обеих министров. Судьба моя решена. Я отставлен. Оставалось написать только указ, и я всякую минуту ожидал его, чтоб скорее бежать из Петербурга и скрыться в свою хижину на родине.

Важный случай, казалось, должен был остановить всякое обо мне попечение. Сперанский взят ночью на квартере своей министром полиции, все его бумаги запечатаны, он сам посажен в кибитку и за присмотром, как самый секретный преступник, отвезен в Нижний[12]. Никто не знал, за что, но все вдруг кричали: Сперанский изменник! Никто не имел о

вине его ясных понятий, но всякий, судя о ней по мере негодования государева, казнил и вешал Сперанского. Вчера он был вельможа, вчера ему все кланялись в пояс, а сегодня все злословили. Вчера меня многие друзья и благодетели посылали к нему, называли спесивым за то, что нечасто у него толкусь в прихожей, сегодня те же люди пеняли мне, для чего я с ним знаком, и наводили на меня какую-то мрачную тень, как на человека, его приемов удостоенного. Так-то судят люди! Такими-то иудеями окружен бывает всякий двор в Европе. Царь — все! Он закон! Он истина! Он Бог земной! На что правда, если государю угодно назвать ее ложью? Что в заслугах, если они перестали быть угодны двору? Пролей кровь свою за ближних, принеси ему живот свой на жертву, но, если монарх косо на тебя взглянул, не ожидай признательности от сограждан. Все тебя давят и клянут! И после мы хотим, чтоб у нас были патриоты. Язык один произносит священное слово отечества, любви к нему быть не может. Огонь сей никогда не зажжет сердца, если соотчичи сами не раздуют его поступками благодарными пред своими подвигоположниками. Доколе римляне друг за друга стояли, цвела их монархия, но, когда появились личности, упало царство, и превратилась колыбель витязей знаменитых в монархию низкую, бедную и суеверную.

По отъезде Сперанского весь город несколько дней, не умолкая, говорил только о нем, и каждый придавал свои толки. Государь, как видно было из всех наружных его поступков, отогнав его от себя, жалел о непомерной своей к нему доверенности, и ни один министр не мог наладить дел своих. Совет, лишась государственного секретаря, явился в публике, как дитя без мамы, которое сам о себе стоять не может. Казалось, что и моя отставка от такого необыкновенного приключения могла замедлиться. Надеясь на то, я просил министра полиции дозволить мне возвратиться в губернию, порядочным образом приготовиться оставить ее, то есть вывезти все свои пожитки, основать себе жилище в Москве, устроить без отяготительных убытков новое свое состояние, и давал ему слово через два месяца прислать свободную просьбу об отставке и тем хотел избежать огласки постыдной, в которой всегда трудно пред публикой оправдываться, ибо она никогда не правит тех, коих винят указы. Нет! Ничто не помогло! Ничему не внимали! Самые даже смутные обстоятельства времени не ослабили натянутых струн злобы против меня, и 23 марта вышел указ следующего содержания: «За разные открывшиеся беспорядки в Владимирской губернии тамошнего гражданского губернатора тайного советника князя Долгорукого отставить, а на месте его быть ге-

нерал-майору Супоневу»[13]. Указ сей подан к подписанию Балашовым в самые те дни, когда, кроме Сперанского, государь не был занят ничем, но враги мои деятельным образом работали, чтоб отставка моя, несмотря ни на что, была совершена, и указ об оной пущен во всех ведомостях, журналах и приказных бумагах во всенародное известие. Некоторые приятели мои, в числе коих дам главное место Ланской, со слезами приняли во мне участие. Тронулся моим положением и граф Николай Иванович Салтыков, но жена его наипаче. Она даже не могла меня видеть и проститься со мной, а прислала мне записку своей руки, в которой обнажены были душевные ее ко мне чувства живейшим образом. Записка сия красна не слогом, но велеречием сердечным, и я сохраню ее навсегда при себе как нежный залог сострадания и милостей ко мне столь знаменитой чинами и редкой по чувствам своим женщины в отечестве нашем.

Многие уверяли меня и уверялись сами, что я отставлен по проискам Балашова, которому я не нравился, но что государь лично не имел против меня того негодования, какое выдавали истолкователи царских взглядов и пантомин, но я не могу сомневаться в его гневе и худом разумении обо мне, ибо не один Балашов, но граф Кочубей, который, бывши министром внутренних дел, имел случай знать его мысли на мой счет, и сам даже граф Николай Иванович Салтыков удостоверили меня, что, действительно, государь нередко довольно гласно обнаруживал им невыгодное свое обо мне мнение, а ни тот, ни другой из сих двух вельмож не имел причины по стачке с Балашовым утверждать меня в этом. Конечно, оно было так, когда они это откровенно мне поведали.

Бог видит мою совесть и знает, что не входило в нее помышления, противного чести и пользе государства. Его суду отдаю я государя, оскорбившего мою невинность. Там есть трибунал, которого не колеблет ни сила, ни мзда человеческая. Всевышний рассудит прю мою с Александром, а здесь, — да подаст мне тот же всесильный Творец достаточное мужество и терпение, чтоб преодолеть злоключении мира и стать выше изрытой под ногами моими пропасти. Да причтет меня Отец мой небесный к тем блаженным чадам своим, к коим он взывал: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небеси».

Во все пребывание мое в Петербурге, которое наполнено было искушений и бед, в которое я страдал, как животное на огне, имел я только две приятные минуты. Шурин мой, служа давно прокурором в Нижнем, приезжал в Петербург искать отличия. Всякий хотел быть кавалером. Лучшим путем к успеху почитал он меня, но теперь я не мог быть ему

полезен. Пока Дмитриев и я, мы находились в борьбе — он, не хотя меня принять, я к нему ехать — Смирному истекал срок, и он сбирался в Нижний, но, узнавши, что мне отсрочено до 17 марта, я предложил шурину до того же времени остаться и со мной уехать. Он о том попросил министра юстиции. Этот хотел узнать причину. Смирнов сослался на то, что желает меня проводить. Самолюбивый министр с надменностью возразил: «Я хочу, чтоб прокуроры дело делали, а не Долгоруких провожали». После такого ответа, что оставалось шурину делать? Он со мной простился и в тот же день уехал, не только потеряв надежду получить крест, но даже с некоторым опасением лишиться и места. На другой день поехал я к Дмитриеву по настоянию моих приятелей, и он меня принял. Мы объяснились. Разговор начался откровенный, то есть столько, сколько вместить чистосердечия может душа министра. Я стал просить его о шурине как бы не знавши приключившегося накануне. Он, вспомня, что это брат родной жены моей, хотя и не тот, которого он знал и в то время привел себе на память, но я, видя направление воли полезное для Смирнова, оставил министра в ошибке, будто это тот самый, о котором он знал. «Да, — сказал он мне, — он просил отсрочки, извольте, я прикажу». «Нет, Иван Иванович, — видя, что шутка будет кстати, — я на этом не мирюсь, да он же и уехал уже...» «Чего же вам хочется?» «Креста. Он давно служит, и вы им, как сами отозвались, довольны». — «С удовольствием». И в ту же минуту велел написать доклад, а через неделю к шурину в Нижний послан орден Святого Владимира четвертой степени, который налетел на него совершенно противу всякого чаяния. Такой успех меня очень обрадовал, и тем более, что мне не было следа ожидать его. Сколько слепой случай имеет подобных капризов!

При мне два собрания было в Беседе любителей российского слова. Они давались в доме Державина, в зале превосходной архитектуры, какой не было лучше в городе. Освещение великолепнейшее, посетителей множество, все туда съезжалось: и дамы и мужчины, и малый и старый, и министр и приказной, и монах и генерал. Все слушали чтецов, коих выставляли в каждое собрание по два, по три, и они после нескольких страниц прочищали голос водою с сахаром, дабы лучше произносить. В эту беседу был и я приглашен в почетные члены. От такой отличительной чести мне не было причины отказаться, я ею тем более был обрадован, что среди самых жарких нападений на меня по службе, в те самые дни, когда государь указом позорным подписывал и публиковал смерть мою в гражданском мире, сие ученое сословие не выкинуло меня из своей со-

братии, напротив, доставило мне диплом на звание почетного члена своего, в котором я нашел подарок разъяренной судьбы, услаждающий мои печали, и, будучи уже почти в отставке, кинувши губернаторский мундир, я явился в сию беседу в университетском кафтане и слушал ее на месте, назначенном для почетных членов, выше многих из тех, кои превращали меня в прах в кабинетах вельмож.

Рассказавши все, что до меня единственно принадлежало, оставалось бы мне везти с собой читателя в Москву и показать ему новое мое житье-бытье, но остановимся на час в Петербурге, чтоб кинуть взгляд на политическую сферу земли, хотя до меня собственно она и не принадлежала бы, однако по тому влиянию ее, под которым нашелся в текущем году всякий россиянин от монарха до хлебопашца, нельзя не посвятить ей несколько строк.

Наполеон, притворясь союзником российского престола, дышал злобой против его народа и хотел поработить его. Все оправдывало сию догадку. Намерении его слишком были наги, Лористон у двора нашего представлял более ролю опекуна при Александре I, нежели посланника только: он во все вмешивался, тайно всем распоряжал, указывал, пересужал, и, словом, Россия становилась близка к тому, чтоб попасть под иго французов точно так, как некогда была она под татарским. Дворянство, бояра, народ явное показывали на то негодование, все отвращались от французов и даже с потерей всякой меры прилеплялись к отечественному до того, что многие даже поставляли в стыд и говорить по-французски. Такое состояние не могло продлиться. Один государь еще льнул к Наполеону, и говорят, будто Сперанский, ведя между ими двумя переписку, много способствовал к тому, чтоб Россия претерпела ужаснейшие бедствия. Говорили о сем и тогда, и теперь и утверждали даже самым решительным образом, что он приличился в измене и был будто бы за нее сослан, но я не могу со всеми вместе тому поверить, ибо за измену такого рода ссылают не в Нижний, не оставляют орденов и свободы всюду публично казаться, не жалуют пенсиона, а Сперанскому все это дано, следовательно, для меня отлучение этого человека от дел есть и поныне загадка, которую едва и время разве самое отдаленное разрешит ли.

Двор наш чувствовал, что союз с Наполеоном химера, но не хотел быть начинщиком войны. Опрометчивый наш соперник задрал кабинет российский, дал повод к расторжению союза, и с пламенным восторгом разрыв принят народом. Война не объявлена была еще при нас, но все к ней готовилось. Пошли войска на границы, двинулась артиллерия, ото-

зван наш посол в Париже[14], Лористон выехал из Петербурга, выступила вся гвардия. Главнокомандующим наименован Барклай де Толли, министр военных дел, и скоро сам государь устремился в Польшу на границы своей империи. Вот что происходило при нас у двора, но все сии недосуги не остановили царя быть против меня неправосудным, и он, вопреки всем законам, буде под словом сим можно разуметь какую-либо книгу в России, без суда сам собой сделал обо мне заключение и лишил меня звания государственного, ибо иное дело государев слуга и государственный гофмаршал, шталмейстер и прочие чины, составляющие палату цареву, могут по произволу его, как люди, собственно его лицу служащие, быть определяемы, уничтожаемы, увольняемы вовсе, но губернатор есть звание публичное. Он служит государству по законам, судиться должен по законам и терять место по законам, а не по самовластному только хотению государя. Я обязан изложить здесь детям моим весь образ рассуждения моего о сем и приступлю теперь к оному.

Екатерина II, мудрая назидательница своего царства, постановила коренным и непреложным законом следующие священные слова: «Без суда никто да не накажется». В общем понятии наказанием мы называем юридический решительный приговор, издаваемый присутственным местом по исследовании преступления лица, суду его подверженного. Суд не может происходить от лица, но от места, облеченного императорскою властию в судилище. Суд не должен производиться по произволу, но по законам, не по догадкам, но по изысканиям достоверным, и для того Петр Великий сказал, Екатерина повторила, но и сим двум владыкам предшествовали в устах некоторых древних царей сия человеколюбивая истина, что лучше десять винных освободить, нежели одного невинного истязать. Наказанием разумеется не одни физические раны на теле, но всякое заключение позорное, оскорбительное или предосудительное о человеке прежде суда или без оного. По сим истинам, самою строгою логикою признанным и всяким ощущаемым, государь не имел как монарх никакого права прежде осуждения меня в присутственном месте порицать беспорядками, не доказанными на суде, а следствие не есть суд, но заготовление материалов, по рассмотрении коих судимый прав или виноват быть может. Итак, указ о моей отставке есть акт самовластный, деспотический и, следовательно, неправосудный. От генеральной сей мысли пойдем к частным идеям. Дело по письму моему на Сенат еще производилось и не дошло до монаршего утверждения, следовательно, не зная по оному, кто прав, кто виноват, государь не вправе был называть поступка

моего беспорядком. Дело о мундирах было только обследовано и отдано еще на рассмотрение Сенату, следовательно, до его заключения государь не имел права поступки мои оглашать словом беспорядки. Итак, одно только дело о попе вступило из Сената докладом к государю, и в силу того доклада надлежало меня еще судить, следовательно, государь не имел юридического права, предваряя наказание, положенное законом за оскорбление попа, наказать меня по своей мысли и произволу словом беспорядки, ничего не определяющим, но допускающим догадку еще стократ оскорбительнее, нежели простой беспорядок, под личиной которого люди, не знавшие ни дела, ни связей его, винить меня могли в самых бесчестных преступлениях, а потому указ о моей отставке есть существенный опыт неправосудия престола против подданного. Далее.

Слово беспорядок, как выше сказано, ничего не определяет. За сим следуют еще вопросы: в чем беспорядок? Какого рода? От кого произошел? Ведом или скрыт от начальника? Дабы самого его судить в нем, надобно все эти вопросы очистить. Сенат, рассмотря следствие, не заключает, чтоб меня судить за собственный мой какой-либо поступок, но за то, что я снял на себя вину полицмейстера, и так в лице моем наказывать хочет худую полицию. Хорошо. Но вопрос: какую вину снимал я на себя? Заключение пьяного попа в полицию, на что я, точно я, дал приказание и не отпираюсь от оного. Заключение сие, в самом невыгодном разуме принято быв для меня, не составляло ничего больше, как обиду священной особы или, просто сказать, обиду протопопа. На это есть законы, чем наказывать подобные обиды, даже бы и тогда, когда без всякой вины страдательного лица произошла она от буйства и наглости действующей особы. Там вы найдете, что поп и протопоп за самые побои вне алтаря и не на службе наказываются денежным в пользу обиженного удовлетворением, следовательно, неправосудно было, упреждая суд, по которому наказание последовать должно было меньшее, обличать подсудимого самовластно под наименованием позорным и тем усугубить меру самой законной строгости по одной ненавистной своей прихоти. При решении дела сего государем заметить должно не только самовластие в заключении, но даже отступление от всех принятых правил, которое доказывает, что государю угодно было силой одной погубить меня, не допуская закона дать мне свое покровительство. Отняв у меня суд, он лишил возможности доказать, что я прав, и сие есть против подданного такое ужасное преступление, какого выше владыка над людьми учинить не может. Очернить невинность тогда, как я могу ее озарить светом солнеч-

ным и чистой вооружиться совестью против клеветы на суде, есть то же, по мнению моему, что вонзить нож в человека беззащитного на дороге. Обряды, я сказал, все были нарушены. Так точно. Сенат подал доклад, форма требовала, чтоб он был или утвержден, или уничтожен, и уничтожение по делу судному должно было быть подкреплено законом, которого бы суд или не вспомнил, или с умыслу пропустил при слушании и решении дела. Здесь вместо того государь, не изъясняя воли своей министру юстиции, приказывает только передать доклад министру полиции, до которого он не принадлежал совсем, и тут, не ожидая даже, чтоб и сей переход соблюл суточную форму заведенной между министрами переписки, уже выходит указ о моей отставке. Кто не увидит тут самых мелких побуждений ненависти и поспешность наказать такое лицо, которое еще может оправдаться, дабы пресечь ему все пути к извинению дел своих и лишить чрез то всякой политической свободы в гражданстве? Чем иным все сие назвать, как не словом неправосудия? Царь — человек, как и другой, он подвержен пристрастиям, но неправосудие в царе есть величайший гнев Божий к народу. Я не оспориваю государю власти удалить от дел губернатора, и то не потому, чтоб это было законно, а ради того только, что, к несчастию, принято за обычай и терпится. Пусть он его отставит, так и быть. Он властен сим образом поступить и по одним своим подозрениям. Лишая места, он не отнимает чести. Я не угодил, например, монарху, но это не делает меня негодным ни в обществе, ни перед светом. Государь может догадываться, что я беспорядочен, слышать про это, думать то же внутренно сам с собой, но из всех вышеприведенных рассуждений и событий я ищу только доказать и думаю, что доказал без возражения, что прежде обвинения судом государь не имеет юридического права огласить в именном своем указе чиновника ни с каким уничижением моральных его свойств. Отставить просто его воля, но сказать причину отставке и назначить ее в предосудительном смысле без приговора судебного самому собой, по своевольному заключению, нельзя, не должно, не вправе. Не говорю уже я здесь о морали, которая препятствует губить чиновника, служившего до тридцати лет беспорочно, за пристрастное отвращение и безделицу; о политике или приличии, которое не допускает отдавать на позор публики чиновника высшего разряда и отличенного наружными почестями; о милосердии, которое убеждает при самом даже справедливом наказании проступка облегчить меру его и, убивая порок, соблюсти без пятна имя благородное. Нет! Я уже все отношении сии отлагаю к стороне, они более или менее зависят от степе-

ни просвещения и мнения человеческого, а говорил и говорю только о правах законной власти. И в заключение пусть позволят мне сказать, что если Бог, существо, испытующее наши совести, ведящее о нашем падении прежде еще, нежели мы споткнемся, и он завещал нам суд прежде наказания, и он услышит нас на страшном судище своем прежде осуждения, то какой царь, носящий образ его на земле, может присвоить себе право осудить подданного, не дав ему суда, не услышав его оправдания. Нет! Сие бесчинно, пребеззаконно! Я знаю, что из всей этой диссертации для меня нет уже никакой пользы, но я распространил ее для того, чтоб со временем дети мои могли видеть, что отец их некогда был строго поруган монархом не по вине, но по явному притеснению и злобе, и дай Бог, чтоб они не испытали никогда тех глубоких ран, которые наносит сердцу чувствительному неправосудие владыки.

Я сказал, в каком состоянии нашел Владимирскую губернию, приехав управлять ею. Теперь, оставляя ее, я счел приличным приложить краткое обозрение ее в то время, как я вышел из губернаторского места. Сравнение сих двух картин, настоящей и той, какую я писал, приезжая в Володимир в 1802 году, укажет, был ли я полезен своему месту и области сей, или во все десять лет только пил, ел и спал покойно.

Звание мое не могло действовать на нравы и умы различных состояний в губернии. Пример одного человека, если бы я чужд был и всякой слабости, не переменяет мнения и обычаев народных. Цари сами редко могут образовать мораль своих государств, она проистекает от общего воспитания, а сие, как видели из разных случаев, в России весьма недостаточно. Домашнее грубо и невежественно, чужеземное обольстительно, но гнило. Итак, дворянство, купечество, народ оставил я в Владимире таким, каким нашел, то есть благородных без просвещения (я говорю о большей части), купцов своекорыстных и алчных к прибыткам, народ добрым и терпеливым, но рассеянным и потому мало пекущимся о сельском хозяйстве, прилепляющегося к торговле, а с ней получающим разные чужие, несвойственные ему ни по климату, ни по трудам его пороки и болезни. Десять лет моего начальства самые слабые дали мне приметить успехи в нравственном характере тех и других.

Физическая красота городов в отношении к наружным строениям в мое время значительно увеличилась. Точно так, как, приехавши в Володимир, я с читателем объехал всю губернию, так и ныне, выезжая из нее, я с Покрова повезу его с собой мысленно по всем городам и укажу, где что в бытность мою приобрело лучший вид и пользу.

В Покрове построена соборная каменная церковь. Улица приняла регулярный вид. Частые построились каменные домы и отличны выстроены присутственные места деревянные большого пространства, соляные анбары такие же, и заложены кирпичные винные выходы. Разграничен весь уезд, и земская полиция, стесня круг своего действия на расстоянии умеренном, получила средства лучше исправлять свои обязанности.

Александров все так же дурен и нечист остался в своей почве, низкой и редко осушаемой даже жаром солнечным, но и тут воздвиглись строении, кои несколько его украсили, как то корпус каменный в два этажа для присутственных мест, прочные деревянные соляные анбары и каменные винные выходы, острог, или тюремная изба, для колодников достаточная.

В Переславле сооружен дом каменный небольшой для хранения памятника Петра Великого, его речного судна. В бывшем архиерейском доме помещены присутственные места и сообразно с тем оный дом перестроен и внутренно поправлен. Тюрьма и соляные анбары поставлены деревянные, учреждена каменная больница для военного лазарета, достаточная на нарочитое число солдат. Заложен гостиный двор каменный и постепенно выстроивался, улицы расширены и некоторые вымощены правильно.

Юрьев получил при мне в каменном строении корпус для присутственных мест и винные выходы, в деревянном — тюрьму и соляные большие анбары. Купечество побуждением моим построило правильные деревянные ряды хорошего вида, а через то открыло широкую площадь и проложило улицу к собору, которая много украсила сей город. При мне уничтожены остатки гнездившегося изувера Курбатова, который под личиной благочестия с помощию благородных особ и зажиточных купцов устроил в обители запустелой сходбище соблазнительное для обоего пола и развращал нежную молодость. Эта община упразднена.

В Суждале выстроился огромный гостиный двор с прекрасной колоннадой. Присутственные места вступили при мне в отделанные для них покои архиерейского дома. Тут новые поставлены соляные анбары и протянуто несколько прямых улиц, украшенных хорошими домами.

Шуя имеет для присутственных мест корпус каменный и более прочих городов; также выходы для вина и для соли деревянные анбары. Тюремная изба новая. Все эти строении выросли в мое время. Заложена огромная колокольня[15], у заставы выставлены каменные лазареты для штатных команд.

Ковров отстроил каменный хороший гостиный двор. На лучшем месте города корпус присутственных мест каменный. По берегу реки соляные анбары деревянные и подвалы винные каменные. Новая тюрьма.

В Вязниках, сверх деревянного дома для присутственных мест, соляных анбаров таких же и тюрьмы с каменными винными выходами, что все построено при мне, я осмелюсь похвастать, что моим попечением срыта крутизна Ярополческой горы до возможной отлогости, так, что по ней гораздо легче уже спускаться на конях и подниматься, как прежде. Работа сия произведена колодниками, и предприятие стоило мне большого труда, потому что надобно было воевать с предубеждениями. Старинные люди считали это за каприз, и до тех пор меня за него бранили, пока увидели настоящую свою в том пользу.

Гороховец остался так же черен, как и был, однако и тут в упраздненном монастыре сосредоточены все казенные места, то есть судилище, соль, вино, деньги и преступники. Отделка всего того производилась при мне.

В Муроме на горе построен большой каменный корпус для присутственных мест, соляные анбары и тюрьма. Сверх того, для инвалидов гвардейских несколько деревянных корпусов, кои издали как бы особый городок составляют.

Меленки имеют корпус каменный для судилищ, соляные новые анбары деревянные и тюремную избу.

Судогда отстроилась после пожара правильнее. В ней заложен при мне собор, в котором уже один придел отделан был и освящен. Строение прекрасное каменное, анбары соляные, вино казенное и судилища гражданские помещаются в новых строениях деревянных и каменных, при мне начатых и оконченных. Вот в каком положении оставил я губернию.

Губернский город, о котором мы еще не говорили, более всех прочих занимал меня по части строевой. Без всякого самохвальства, не говоря языком фанфаронов, я осмелюсь сказать, что в Владимире остались живые памятники моего времени и за которые среди людей признательных, казалось бы, что я спасибо, а не брани ожидать должен. Там в мое время построены домы для несчастно рожденных и для недужных, большой корпус для фабрики суконной, весьма способный для лазарета, если б рассудили сукноделие отменить в этой губернии. Построен прекрасный каменный дом для губернатора; украшена гимназия театром; открыта и установлена аптека от Приказа; возобновлен храм Ризположенский на золотых воротах; засыпан овраг, углажена дорога и вымощена улица, соединяющая город с той его стороной, которая за Лыбедью и куда до

прибытия моего не было проезда; срыт один вал и тем открыт вид соборов вместе с присутственными местами и доставлена городу прекрасная прогулка, уподобляющаяся столичным булеварам, и хотя искусственной красотой очень низкая перед теми, но толико превосходнее их естественной красой своего местоположения. Все это напомнит меня тому, кто не равнодушно смотрит на полезные труды начальника и умеет дать цену его побуждениям.

Сверх сих частных выгод каждого города и места, не обязаны ли мне и вообще всякого состояния люди в губернии за рачение мое о сохранении их польз и преимуществ? Дворяне никогда не были привлекаемы мной к таким складкам, коими начальники обыкновенно любят себя выказывать, дабы от правительства получить награды. Я бы мог подстрекнуть, как и другой, на поднесение мне табакерки или бокала с надписью. Мы знаем, что подобные жертвы делают два-три человека, а прочие бегут за ними, но я ничего не любил брать приступом и домогательством, в подобных дарах целого сословия одна добрая воля мне казалась всегда священна. Во всех случаях я старался оградить дворянство от убытков и притеснений, прекращал мятежи черни со всякой скромностию, поддерживал везде права помещиков противу их крестьян, когда сии последние хотели пронырством от них отлагаться. Не давал дворян в обиду, когда нагло на них наступали, и боролся с силою за них. Дела Кашинцева, Култашева суть тому неложные доказательства. У первого отходило имение по буйству крестьян, а у последнего сестра, поддерживаемая знатными господами, хотела именье взять в опеку и присвоить его себе, так как то удалось сделать в Ярославле сестре Побединского, за то, что Култашев холост, не женится и имеет побочных детей[16]. Вопрос: кто бы остался хозяином родового, если б со всеми поступать по сей посылке?

По духовенству я некоторым монастырям возвратил ходатайством моим потерянные ими земли и никогда не гнушался человеком церковного состояния потому только, что он кутейник, а смотря на его даровании, многих даже сего рода людей поставил на хорошую дорогу по службе. Деятельно вооружался против раскола, не того, который состоит только в различии поклонений и молитв с нами, но наносящего существенный вред обществу. При мне открылась скопческая секта в целой деревне довольно людной, и я со всей силой моей власти боролся с ней до того, что искоренил ее начала и видел уже при себе, что она ослабевает и вред ее утоляется.

Купечеству я оказывал разные по временам услуги, выпрашивал им, когда пожары их лишали состояния, или денег из казны, или лесу, как то

в Муроме, Судогде, Меленках и, что немало способствует благосостоянию городского обывателя, привел в губернском городе в определительное состояние полицейские и городские повинности. Поселяне казенные всегда занимали мое помышление. Я к ним лежал сердцем более всех прочих состояний, ибо тягость мздоприятия никого так не давила, как бедного крестьянина, особливо же при отдачах рекрутских. Я побудителем был моей жаркой перепискою с министерством финансов, что раскладочные списки при начале шестой ревизии сочинены в казенной палате не по деревням, а по дворам, и так отец, имеющий шесть сынов, не может освободиться от отдачи в службу одного из них потому только, что деревня, в которой он по сказкам показан, состоит из семнадцати душ, никогда не дающих рекрута, а поступающих в складку, тогда как сто душ, ставя оного во всякий набор, иногда не имея больших семей, вывозят на смотр от двух одного. Такое естественное притеснение не тронет уже родительского сердца. Потеряет сына тот, у кого их много, а у кого их меньше, тот не будет прежде первого оплакивать своей потери. Заведя сей порядок вещей, я советовался с натурой как отец, с совестью как христианин и думаю, что поступил хорошо. Доверие к казенной монете старался поддерживать всеми силами и для того не спускал ни одному делателю фальшивых ассигнаций. Сколько их ежегодно в бытность мою пересекли кнутом и сослали в Сибирь! Но в то же время, видя, что семейства их погибают от описи всего их имущества на государя, я стоял за них, писал к министрам, доказывал, что такая конфискация имуществ поселянина, когда преступник наказан уже на теле и лишен свободы, есть вопиющее неправосудие к семействам их, часто безвинным, и тем более несправедливо сие, что ни в дворянстве, ни в купечестве, ниже в мещанстве жена преступника не лишается после него своей собственности. Настоянии мои имели успех. Конфискация сия отменена, и, благодаря Бога, я мог, поступая с злодеем, как с извергом, приносить некоторую отраду семейству его возвратом его имения.

Чиновников отдавать часто под суд я был не охотник и не искал той славы, что у меня всякая вина виновата. Дурное надо исправлять, а за все худое тотчас губить не моя система. Правда, что я к проступкам общим и обыкновенным был, может быть, и слишком снисходителен, но когда встречал злобные пороки и особливо нравственную порчу, я не мирился, выгонял из службы, а упорных отдавал под суд и ненаказанными их не оставлял.

Вот как я служил! Если б я писал для публики, я бы постыдился все это про себя сказать, потому что не принадлежит мне самому себе ста-

вить цену. Пусть ее дает молва людей беспристрастных, но История моя пишется для моих детей, и потому я хочу, чтоб они со временем, узнав меня, каков я был, в отдаленном от них времени умели зажать рот неистовому клеветнику, который бы при них пронес имя мое в хулу и зло, не зная сам, ни за что бранить, ни за что превозносить.

Здесь оканчивается эпоха моей десятилетней службы в Володимире и начинается период свободной моей жизни. Итак, я после тридцатилетних трудов гражданских вдруг от них отставлен и в лучшей поре деятельности для человека мыслящего оставлен сам собой без состояния, без занятий, без собственности. Казнитесь, на меня глядя, господа патриоты, так-то поступает отечество с питающими к нему любовь! Станем помаленьку привыкать к жизни уединенной и увидим впоследствии, что, когда люди нас убивают, десница Божия нас восставляет, дает крепость и мужество сносить житейские напасти и из уныния плотского возрождает радость духовную, уча переносить крест с терпением. Убо*, да будет препрославлен Господь!!!

Вторая часть 1812 года в Москве

Выехав 25-го числа марта из Петербурга, этой Гоморры нашего времени, мы прибыли 2-го числа апреля в Москву. Напамятование сего дня, в который некогда родился покойный мой отец и бывшего чрез шестьдесят лет днем праздничным в нашем доме, удвоило те неприятности, кои меня в нем ожидали. Неволя, теснота, недостаток встретили меня у ворот. Матушка лила реки слез и с ними теряла остаток зрения. Сестра, дети, присные, все плакали, видя печальный конец моих надежд блистательных. Княгиня Куракина еще гостила у нас, и в дружеских объятиях ее мы некоторое нашли услаждение. Она умела принимать участие в несчастии ближних и разделяла с нами наши горести непритворно. В первом движении чувств я принял намерение уединиться совсем от мира, отречься, так сказать, от людей и жить один с своей семьей дома. Ненависть к людям во мне так усилилась, что я не хотел видеть ничьего чужого лица и, когда кто приезжал к нам, я прятался. Как бы кто, подкрепясь чистой совестью, ни стоял против общего мнения самого лживого, оно всегда нас победит, и оглашенный человек, как я в указе, читае-

* Итак (ст.-слав.).

9 Зак. № 3975

мом во всем государстве, редко найдет на своей стороне людей стойких, кои бы поставили стену пред ним, ограждающую от поношения общего и насмешливых взоров лукавого.

Так томился я несколько времени в Москве в доме матери моей, деля по милости ее несколько с ней комнат. Что говорить о свободе — она во всех смыслах была стеснена; о изобилии — я ел и пил чужое. Жена моя, любя меня еще сильнее в несчастии, обрывала свои ожерельи, чтоб или заложить их, или продать, дабы ценой их доставить мне некоторые прихоти, ставшие по привычке необходимостию в мои лета. В самый лучший день года, в Светлое воскресенье, как бы для того, чтоб отравить последний источник радости христианской, принесла почта на имя мое по форме указ к сведению о моей отставке[1]. Чувства мои так расстроены были, что малость приводила меня в тревогу, и я не знаю, бывает ли заточение в Сибири тяжеле моей жизни тогдашней в столице. Старые друзья, не видавши меня лет десять, совсем обо мне забыли. Кто помнит людей, ни на что не нужных? Наживать новые знакомства было поздно, да я и не хотел их. Итак, все дома да дома, после такого шума, в каком я жил по склонности и по месту, один да один с домашними я бы совсем потерялся, если б весна не оперила меня снова и не принесла мне естественных удовольствий, коих природа не лишает и в темницах. Время одно и рассеянии способны были вылечить мой моральный недуг и привести мысли в порядок. Я не умел ни о чем думать. Вдруг после таких деятельных занятий я не мог приняться за перо и марать бумагу напрасно. Что я ни читал, мысли мои все одно мне представляли. Связи родства меня угнетали. Я видел около себя все несчастных, которых участь красилась моей и вместе погибла с нею. Дети без учения, без средств к невинным забавам их возраста терзали мое сердце. Само супружество, сия благословенная цепь, дающая отрады и в самой глубокой старости, становится тяжким бременем, когда мы любим товарища и видим, что он должен терпеть общее бедствие с нами. Я не мог без слез приласкать милой жены моей, и ее стеснением я мучился вдвое. Все, все перенесет человек один, но сам-друг везде каторга, везде ад на свете, когда милый сердцу чем-либо недоволен. Что я говорю здесь про себя, то чувствовала и жена моя внутренно, и мы оба мало способны были друг друга взаимно утешать. Вот как мы жили в Москве на нашем плачевном новоселье, тогда как злоречие лилось из Владимира на меня сильным потоком. Там говорили, а в Москве верили, что у меня миллионы потаенно хранятся в ломбарде на чужих именах. Нельзя было поклепать благоприобретенными

деревнями или землями, так разглашали, что у меня денег кучи. Всякий судит по себе. Чиновники гражданские, а за ними и публика, не могли дать веры тому, что я оставил службу без состояния в полном смысле слова, все думали, что я притаился.

В Володимире враги мои радовались, что сломили мне шею, и торжествовали день своего избавления, учащая попойки и неблагопристойные сходбища. В Москве Сенат, несмотря на поражение мое, забыв простую русскую пословицу «лежачего не бьют», с остервенением принялся за дело о мундирах, приступил к слушанию и, как хищный зверь, хотел пожрать меня. Несколько человек, осмелившихся сказать себя мне преданными в Владимире, писали ко мне письма, но число сих было весьма малое. В первом жару одержанной надо мной победы злодеи мои, не зная, хорош ли, худ ли будет мой преемник, заняты были одним злословием на мой счет. Признательное семейство доброго Шумилова снова показало мне те же знаки усердия, по каким, оставляя некогда их в Пензе, я сделал об них раз навсегда выгодное заключение, следствием которого было короткое между нами знакомство. Жена его, то есть Шумилова, будучи хвора и имея нужду в искусном врачевании, нимало не медля прискакала под предлогом сим видеться с нами в Москву, остановилась у нас в доме и большую часть лета провела с нами. Княгиня Куракина, отгостив у нас до ясной погоды, поехала обратно к себе и, [к] утешению меня в потере ее беседы, стала продолжать еженедельную свою со мной переписку, которая всегда доставляла мне чувствительное удовольствие.

Скоро после Святой, лишь наступил летний хороший путь, озаботился я перевозом всех своих пожитков из Владимира до приезда еще нового губернатора. Старанием Шумилова при посланном от меня надежном человеке все мое имущество свезено в дом шурина моего Безобразова, где, как в магазине, многие мебели по назначению моему продавались, и иные куплены сходно, иные за бесценок. Дом казенный был скоро опорожнен и сдан по порядку в казенное ведомство. Приехал Супонев[2] и, не найдя в нем ничего, кроме стен, ибо они одни принадлежали казне, изъявил желание купить многие мои пожитки, и хотя он был богат, добр и, не зная меня, благородный открыл образ мыслей на мой счет, заставя новых своих наушников говорить обо мне с почтением, при всех сих, однако, хороших качествах, он все пристройки мои и часть мебели купил по самой низкой цене и так, что без подобных обстоятельств моих ничего бы того за столь умеренную плату достать, ни сделать было бы невозможно. Я торопился все лишнее продать, дабы иметь скорее деньги, и, перевез-

ши сюда то, что мне было необходимо для московского дома, распорядя сколько мог лучше домашние мои дела и приведя их в некоторое устройство, я старался только о том, чтоб, забыв Владимир и все мои в нем приключении, дать душе моей некоторое спокойствие и потом заняться литературой, как единственным моим прибежищем во времена ненастные, но прежде надобно еще было расширить несколько наше помещение.

Матушка изволила пожаловать нам большой дом свой весь, а сама перебралась в тот флигель, в котором живал я в старые годы с покойной женой моей и в котором прижил с ней всех детей наших. Этот особый домик мог помещать свободно и мать, и сестру мою, он же переделан был недавно и распространен несколько для отдачи в наймы, что исполнить воспрепятствовало мое положение. Тут матушка, устроя свое жилище, отправилась при начале лета в Никольское и оттуда уже не выезжала, а мы, оставшись полными хозяевами в большом доме, приложили к нему руки, и это меня заняло с пользою, потому что разбивало мрачные мои мысли.

Весь скарб мой был перевезен из Владимира. Остался там из собственности моей один театр, которым подарил я гимназию не столько из расположения оказать ей приятную услугу, как потому, что перевозка его была бы слишком затруднительна и дорого стала; после я и жалел о сем пожертвовании, но не в первый уже раз и не я первый раскаиваюсь в первых движениях своего чувства. Они редко производят зрелые плоды. Дом наш требовал поправок и необходимых по пространству своему прикрас, поправки требовали денег, а их у меня не было. Надлежало прибегнуть к займам, но со временем чем долги платить? Состояние матери моей все было наружи и не позволяло обольщаться будущими приращениями. Итак, принужден я был продать все серебро, какое у меня было и которое досталось мне после покойной жены моей. В приданом ее было тысяч на пять бриллиантов. Живучи в Пензе, мы сходно их продали и обратили деньги в столовый серебряный сервиз, который до сих пор то лежал в залоге в ломбарде, то хранился у меня. Наконец, судьба его решилась, он продан, и я, выруча ту же сумму, в какую он мне стал, не потеряв даже, как то обыкновенно бывает при подобных оборотах, цены работы, ибо цена серебру в наши дни возвысилась чрезвычайно, начал помышлять о переделках в доме и весь этот капиталец посадил в него нечувствительно, ибо работа и все вещи, для дома нужные, отлично вздорожали. Так проводил я лучшее летнее время, то в стройках, то в посещениях матери моей в подмосковной или в свиданиях с родственниками

общими жениными и моими, ограничив их круг у самой ближайшей степени родства.

Дом тещи моей, Богдановых, кои жили с матерью своей недалеко от нас, и двоюродных наших Филатьевых, с коими мы были дружны, составляли все наше знакомство в Москве. Иногда я езжал по утрам к старому своему благодетелю князю Юрью Владимировичу Долгорукому, к Голицыным, толико благодеявшим в разные случаи матери моей, и к давним университетским знакомым; более никуда, совсем никуда, и жизнь вел самую уединенную. К детям ходили давать уроки в немецком языке, математике и латыни университетские студенты по часам. Главнокомандующим в Москву назначен был уже при нас граф Ростопчин, а старик граф Гудович уволен, но я ни к прежнему, ни к новому не являлся и никакого знакомства с вельможами не искал, потому что всякий из них получает вместе с знатным постом ужасную способность и охоту делать зло, и опыты мои показали мне, что всякий из них более или менее любит кусать других. С новым начальником Москва увидела разные новые распорядки, но до нас они не принадлежали, и я ко всему, что лично не касалось самого меня, был весьма равнодушен. Так-то беды делают наичувствительнейшего человека поневоле студеным ко всему. Счастливец бывает эгоист по склонности, несчастный — по необходимости!

В семействе жены моей случилось приключение, которое огорчило всех, участвующих в теще и ее доме. Сын ее, а мой шурин, Сергей Алексеевич, лишь только выехал я из Владимира в Петербург, женился на своей девке в деревне, из которой давно уже не выезжал. Все родные знали, что он, живучи с ней несколько лет, прижил кучу детей, все ожидали, что он когда-нибудь сделает это последнее дурачество, но думали, что он, конечно, не опечалит матери своей и дождется ее кончины. Но сердце и плоть наши не внемлют законам пристойности. Сергей женился и всех своих родных опечалил. Здесь не место рассуждать о том, правильно ли мир негодует на такие неравные союзы, и когда брак есть таинство духовное, то следует ли его подчинять законам света и расчетам политики? Я скажу только, что на месте шурина я бы постарался так обвенчаться, чтоб мать моя никогда не могла узнать того и огорчиться, или бы женился, сомкнувши наперед глаза ее, но, впрочем, думаю, что несправедливо виним мы тех, кои поступают на такие неравные браки, ибо нигде не сказано в духовном законе, чтоб князь брал княжну, граф графиню, дворянин дворянку и так далее. Надобно иметь супругу по закону. Пусть выбирает ее сердце, не обольщенное страстью, но, однако, сердце, горячее от любви.

А до титлов дела нет. Достоинство и красота душевная, нередко в самом низком состоянии обретаемые, убирают венец супружества паче всякого приданого светских предубеждений. Но я забыл, что не хотел рассуждать о сем, и отбился от своего предмета. Виноват!

В Московском университете учредилось такое же собрание в пользу российской словесности, как и в Петербурге. Между многими почетными членами оного увидел я и себя. Университету угодно было меня почтить дипломом на сие звание, и сей лист в полном присутствии собрания при многих сторонних посетителях был мне вручен председателем беседы г. профессором Антонским, и как подобные торжественные беседы наполняли газеты нашего времени за недостатком приятных политических новостей, то скоро после оглашения с престола во всю Россию моих мнимых беспорядков два ученые собрания, не по заслугам моим, но по счастливому пристрастию ко мне благорасположенные, пустили имя мое в России с особенною для него честию и похвалою. Носить милости царские и быть во всех академиях членом немудрено — все из человекородия возможно и бывает — но быть гониму правительством, ненавидиму самодержцем, уничижену им самим и в таком-то положении попасть в почетные члены двух знаменитых в России сословий по просвещению и наукам, это я не могу почесть иным чем, как благостию Бога, утешителя оскорбленных. Так, конечно! Хвала и слава ему вовеки!

Собрание это в Москве наподобие петербургского с некоторыми оттенками. Там больше величавости и наружного блеска — здесь жарчее внутренное стремление к обогащению русского слова. Там богатство, роскошь — здесь умеренность и истинные труды. В прочем цель обеих сих собраний одна была и та же, и по существу своему оба равной похвалы достойны. В каждый месяц и здесь, как там, съезжались по одному разу, и я только на двух собраниях в июне и июле успел побывать в них.

Ожесточи в тыя дни Бог сердце фараоново, и смятеся народ Израилев[3]. Война против Наполеона уже началась с ужасными для нас потерями. Все силы Европы, порабощенные скиптру его, шли противу войск наших с отчаянным мужеством, везде храбрость наших полков должна была уступить превосходству неприятеля. Одна Россия не могла выставить столько рати, чтоб удержаться противу воинства целой Европы под знаменами Наполеона. Текли в Россию толпы французов, германцев, прусаков, голландцев, италиянцев и все народы, связанные наименованием Рейнского Союза[4]. Нашей армией командовал Барклай де Толли, под ним все наши славные витязи отличались: Багратион, Милорадович,

Докторов и проч., проч., все на конях ставили против стрел вражиих груди твердые и мышцы жестокие, но сила, одна сила и многолюдство останавливали наши успехи. Мир с турками на востоке и приобретение всех крепостей по Днестре, оставшейся живой между нами и мусулманами границей, сей счастливый мир во времена толь смутные дал возможность употребить тамошние войска против французов, и они под начальством адмирала Чичагова шли в помощь нашим северным армиям. Кутузов, окончавши турецкую войну славными победами и выгодным миром[5], был призван в Петербург и, получа титло князя светлейшего, оставался без дела. Государь лично был в Польше и держался при своей армии так же, как и брат его Константин. К удивлению потомства скажем, что войска управляемы должны были быть отныне по новому военному уставу, силою коего до некоторых чинов мог главнокомандующий расстреливать сам своею властию, и кто ж писал такой устав? Штатский советник, чиновник гражданский, не служивший никогда в поле, именно г. Магницкий, начертал законы фельдмаршалам нашим и воинству, и ослушанием бы почлось вопреки ему сказать слово.

Июня 12-го Наполеон вступил в наши пределы, и поляки, издавна враждующие против нас, стали приставать к нему. Уже как молния пролетел он всю Литву, взял Вильну, Могилев, все пограничные наши губернии и шел прямо на Москву. Другая часть войск его имела повеление идти на Ригу и занять Петербург. Там противустоял и защищал царей наших храбрый Витгенштейн. Сей Сципион российский ни шага не дал выиграть неприятелю, покрыл Петербург мужественным эгидом сил своих, бил и отражал врага, как лев, и прославил имя свое до того, что царь, двор, бояра и народ, все превозносили его и звали на стогнах и распутиях градов, им обороняемых, спасителем Невы и живущих на ней[6]. Не так блаженна была древняя столица царей российских. Недалеко уже от нее сверкали мечи булатные страшного Наполеона. Замечено многими, что в самый тот день, когда он вступил в наше владение, то есть июня 12-го, читался в церквах по ряду дневной апостол Павла к римлянам, начинающийся сими словами: «Открывается гнев Божий на нечестие и неправду»[7]. Уста служителей веры как бы провозвестниками сделались в тот день, разгнув священную книгу Нового завета, тех бед, кои готовились Москве и народу ее.

Нельзя сказать, чтоб войска наши не дрались. Они выдерживали упорные сражения, но беспрестанно отступали и приближались к естественным нашим и старым границам. Политики уверяли, что в плане сей

войны было, подобно Испании, которая несколько уже лет дралась с французами в своих землях, завести его в нашу сторону и тут зажечь войну народную, на которую более полагали надежды, чем на войну политическую. Утверждали, что мысль сия внушена нашим министрам двором аглинским, который всячески искал возбудить Россию против Наполеона и тем сократить исполинское стремление его к завоеванию вселенной, а как победить страшные его ополчении армией одной российской было бы невозможно, то и рассуждено весь народ поголовно вывести против него и дать ему решительные удары. Бог благословил сие предприятие, как то указали последствии, но, увы, чего стоили России успехи ее и стяжанная слава! Сто лет пройдет прежде, нежели она уврачует язвы свои и опамятуется от нанесенных ей лютых ран, а история и за тысячу лет по нас еще говорить о них станет праправнучатам отдаленнейших наших потомков.

Дела шли день от дня хуже. Государь скоропостижно изволил из армии приехать в Москву июля 11-го. Предместии города наполнены были народа, и по дороге Смоленской чернь шевелилась, как мухи, но государь, удаляясь встреч и восклицаний, прибыл в глухую полночь, остановился вместо слободского дворца, где ожидала его вся царская прислуга, в кремлевской царской палате, где не было ни света, ни ужина, ни ночлега приготовленного. Картина, поражающая ум и сердце каждого. Царь российский в своем дворце, в своей столице один, как схимник в затворе. Не явно ли было знамение тут Божие того, что скоро в этой самой Москве, в той же самой палате иноплеменник восприимет вместо царя законного все царские почести?

Назавтра государева приезда созвано было все дворянство в придворную залу, читан манифест всенародно о спасении отечества всякими силами и пожертвованиями. Задрожало сердце у каждого. Гибель казалась уже так близка, что и уйти от оной вотще бы стал кто трудиться. Явился сам государь в залу, проговорил речь дворянству; смешанный взор его и черты полную изображали картину бедствий наших. Москва дала десятого человека на службу, и определено тотчас вооружить на защиту первопрестольного града ополчение. Деньги тысячами текли в казну на пособие военного дела. Таковые же и по всем губерниям наперерыв стали снаряжать корпусы войск. Манифест летел всюду, и везде трепетали сыны России. Государь пробыл в Москве менее недели. Никаких не было ни пиров, ни торжественных съездов. Все напоминало времена Минина и Пожарского. Ужас один овладел всеми, и никто не

мог спокойно сидеть ни дома, ни в гостях. Государь с тою же скромностию отправился в Петербург, с какою прибыл в Москву, и действие восторга отечественного было так единодушно, что в несколько недель уже московское ополчение, из восьмидесяти тысяч человек состоящее, готовилось к отражению неприятеля от стен московских, буде бы он дерзнул к ним приближиться. Увы! Многие еще не проникли тогда политики настоящего времени и думали, что все обойдется далеко от стен столицы миром и новыми узами, не ведали, что времена Аустерлица, Тильзита и Эрфурта[8] миновались и что государь, движим своим ли, иностранным ли побуждением, то есть аглинского кабинета, но решился на самые сильные пожертвовании, дабы рог сломить супостату. Кто будет писать историю этого времени, тот, может быть, откроет след к важным примечаниям насчет всей настоящей войны, но я пишу только свою биографию, и хотя слегка упомянул о столь чувствительном предмете, но все больше, нежели бы следовало, говоря только о себе и о своих личных отношениях.

Я ни в какое собрание дворянское не казался, не ездил в собор на публичное богомолье, еще менее ко двору и, дома сидя, узнавал только от приятелей, что делалось в городе. От них же дошло до меня, что при всей ничтожности моей и при столь резких случаях не забыто было мое имя за обедом царским; и кто же злословил меня пред государем? Князь Дмитрий Иванович Лобанов, генерал от инфантерии, коротенький витязь, известный по проломленной своей голове на каком-то штурме, который, быв с разных мест и отвсюда за негодность выгоняем, но без огласки, наконец ныне занимался, по монаршему соизволению, формированием резервных полков по окрестным губерниям, чего ради и прожил всю весну в Володимире. Этот князь совсем меня не знал, а мог только узнавать в лицо, в прочем судить обо мне я не находил его вправе, однако он пустился меня бранить в разговоре с государем. Вот как все это сообщил мне прежде всех князь Иван Владимирович Лопухин, а потом подтвердили и другие. На вопрос государя, каков Володимир и его окрестности, Лобанов расхвалил многие места и заведения, примолвив: «Ça rappelle le tems de Rounitch» (то есть, это напоминает время Рунича). Известно, что Рунич был губернатором до меня, а я его сменил. Государь промолчал. Потом склонилась опять речь на Владимир, и князь Лобанов нашел случай повторить: «Cela rappelle encore le tems de Rounitch» (то есть, и это также напоминает Рунича). Тут государь возразил: «А напоминает ли что-нибудь заступившего его место?» (то есть меня). Лобанов отвечал: «В противном

смысле, государь». Император улыбнулся насмешливо. Так дошла до меня сия беседа царская с генералом на мой счет. Я уверен, что если б в это время государь вместо улыбки приказал Лобанову доказать свое примечание, он бы не знал, что и сказать, и составил свои доводы из разных сплетен, от которых уши его не отвращались. Что может быть подлее, как, не знав человека лично, верить молве и на ней основывать клевету в царских палатах, за монаршим столом, самому императору? Этот один поступок показывает, чего стоил князь Лобанов. Сведав о сем, я огорчился снова, но ненадолго, потому что Бог дал мне силу равнодушнее смотреть на поношения человеческие.

Другого рода тревоги волновали душу мою. Москва вооружала ополчении. Все юношество кидалось в него без рассмотрения. Я имел при себе сына Александра и двух жениных, кои по возрасту своему могли уже служить. Все они записаны были в штатскую службу и числились по разным местам, но это не мешало вступить в военную. Восторги закружили им голову, и нельзя было унять их. Неопытная молодость никогда не видит пропастей и вожатых не любит слушаться. Хотя я чувствовал, что ревность наших благородных молодцев происходила более от тщеславия, нежели от прямого героизма, что им хотелось, подобно как и в прежнюю милицию, щеголять мундирами и, не встречая пушки, рыскать по балам и театрам, что одни эполеты, усы, шпоры и прочие безделки воспламеняли их воображение, а не прямые понятии о чести и отечественном долге, хотя я все это видел и отгадывал, но обстоятельства не позволяли умерять жар молодых людей, дабы из родительских рассуждений не вывели умствований, предосудительных для славы отечества, ибо где много таких бояр, каков генерал князь Лобанов, там попечении отца семейства о том, чтоб сын его не избаловался, вступя слишком молод в военный стан, может названо быть капризом, своевольством и даже пренебрежением к отечеству. Так рассуждая и в моем положении особенно имея причину всего опасаться, я и жена, мы решились совершенно против воли нашей позволить нашим трем мальчикам записаться в ополчение, и на сей конец, обмундировав их, как надлежало, снабдя, чем могли, с благословением отпустили. Меня не столько страшила смерть моего детища, как увечье или разврат, толико свойственный войскам нашего времени, и вот для чего я долго колебался записывать детей в полки, да и, признаюсь откровенно, я не к тому готовил детей своих, чтоб быть им рыцарями и притравиться к мясу человеческому. Издавна в нашем доме не видя ни одного моего предка в военной службе[9], я желал, чтоб и мои

дети приготовились быть мирными гражданами, полезными обществу пером и познаниями, а не мечом и разбоями.

По логике моей давно расположил,
Что так ли, или сяк, да плохо, как убил[10].

Вот моя коренная система. Я хотел убедить ею и детей наших, но молодость должна была по уставу естества заплатить дань дурачеству, и мы скоро от него заплакали.

Вооружении настоящие не назывались уже, как прежде, милицией, а ополчением. Мундир дан был офицерам общий армейский. Чины штатские поступали в равный им класс военный на время только службы, да и все ополчение становилось на время до изгнания неприятеля за пределы нашей империи. Итак, сын мой Александр и старший пасынок Алексей, покружась несколько времени в химерах и переменив несколько одеяний, потому что хотелось то в гусары, то в казаки, поступили наконец в московское временное ополчение, первый из коллежских регистраторов прапорщиком, а второй из губернских секретарей в подпоручики. Один получил абшид от министерства внутренних дел, последний из канцелярии московского Сената, в которой он с приезда нашего в Москву числился, а меньшой мой пасынок Филипп записался в подобное же ополчение по выбору владимирского дворянства и отправился служить туда. Там командовал князь Голицын, тот же, что и прежде, а в Москве с утверждения самого государя командовать назначен граф Ираклий Иванович Морков. Поелику я сам в ребячестве моем числился у брата его родного в первом Московском пехотном полку прапорщиком, и тогда в нем же был Ираклий Иванович секунд-майором, то я с двумя юношами моими сам к нему явился, сдал их ему с рук на руки, был им обласкан и обнадежен, что он их не оставит, в доказательство чего тотчас приписал их к своему штату, и я по крайней мере радовался тем, что худое это дело сколько можно меньше худо устроил. Остановимся тут на минуту и от детей перейдем к общим обстоятельствам.

Мимоходом здесь включить должен я случай сторонний для общественных происшествий, но близкий ко мне и принадлежащий к моей жизни. 17-го числа июля скончалась скоропостижно в Москве в доме приятельницы своей Небольсиной мать Богдановых, Аксинья Любимовна Похвиснева. Она так встревожена была московскими волнениями и особливо тем, что сын ее Григорий записался тем чином, коим был отставлен, а именно поручиком, в новоформируемый графом Салтыковым

гусарский полк, что не могла пережить готовящихся смятений в столице. Пошед рано поутру пешком в одну отдаленную от квартеры своей церковь к обедне и сопровождаема детьми своими, она почувствовала себя дурно и не могла уже дойти домой. Ее в чужой карете отвезли к Небольсиной. Там доктор, увидя признаки антонова огня во внутренности, объявил, что ей жить нельзя. Она исповедана и не успела причаститься, уста касались сосуда с дарами, но душа вылетела мгновенно к своему Богу, и нам осталась персть одна, которую мы погребли на Ваганьковском кладбище по собственному ее желанию. Дети ее остались жить у Небольсиной и соединились с ней узами теснейшей приязни.

Долг совести и чести требует от меня, чтоб я искренно оплакал гроб сей женщины и, говоря о ней в последний раз, напоминая отца моего вместе с ней, сказал с полным чистосердечием, что женщина эта была к нам всегда почтительна и ласкова, никогда не употребила во зло доверенности родителя нашего, держала себя против нас в границах строгой пристойности, не кичилась слабостью моего отца, любила его душевно, предана была ему слепо, чтила всякое его мановение, и если бы могла чем-либо отяготиться судьба наша от грехопадений плоти отца моего, то Аксинья Любимовна во всю жизнь свою за хорошие поступки с нами имела бы и тогда право не только на любовь нашу к ней во время жизни ее, но и на совершенное наше соболезнование по смерти. Да будет убо душа ее прощена Отцем нашим небесным и да почиет здесь прах ее в мире.

11 августа, день рождения дочери моей старшей Антонины, у меня в первый раз в доме обедали родные мои, и в кругу немногих приятелей праздновал я смиренным образом новоселье мое в доме, пожалованном от матушки. В самый этот день пришло в Москву известие, что после кровопролитного защищения города Смоленск принужден был уступить силе неприятеля и взят им[11]. Стены взорваны, жилища многие сожжены. Раевский отчаянно дрался сутки, но армия отступила. После таких известий чего было ожидать? Москва дрогнула, испуг овладел почти всеми, и многие начали уже вывозить пожитки из домов и выбираться лично по отдаленным деревням. Публика, судящая все по первым движениям, кричала без воздержания, что Барклай де Толли изменник и продает Россию, что он все отступает и трус. Так судила молва! Никто не знал, что войск наших было гораздо меньше, нежели у неприятеля, и что победами с ним равняться было нам невозможно. Хотя за полгода еще пред сим читано было в журналах рассуждение аглинского кабинета, что если Россия хочет добиться успеха в предпринимаемой ею войне, то должно

последовать примеру Испании и заманить неприятеля в недро своего государства, никто, однако, не отгадывал, что отступления наших войск были следствием военных операций и что в плане определено было не только в Москву, но и до самой Волги пустить неприятеля. Все узнали после, но тогда никто не помышлял об ином, как о Москве, и с ужасом воображал тот стыд, который в летописях наших останется навеки, что Наполеону отдали столицу. Умы черни были настроены очень худо, и собирающееся в самой Москве ополчение купно с выездом из нее многих представляли уже с начала августа столицу в виде осажденного города.

Граф Ростопчин, желая, как думать должно, укрепить дух народный и остановить мятеж черни в городе, которого все начинали трепетать, рассылал во все дома, рынки и площади чрез полицию печатные от себя объявлении, кои назвали в публике афишами и с жадностью их из печатных станков сырые хватали[12]. Всякий хотел в них видеть положение дел наших. Ростопчин уведомлял о сражениях и движении войск и, разумеется, не говоря правды, обольщал народ вымыслами благоприятными. Слог его листов был простонароден и приноровлен к низшим понятиям лавочников и торгачей. Площадные шутки его смешили толпу праздношатающихся у будок, и хотя все презирали афиши и издателя их, не меньше скучали, в который день их не было, занимались ими, и даже многие (винюсь, и я был в том числе) верили их содержанию. Но как ни забавлял граф Ростопчин Москву афишами и беспрестанными карикатурами, которые на Спасском мосту за грош и пять копеек продавались, точно так, как «Суд Шемякина» и «Похороны кота», только с лучшим искусством в гравировке, как ни старался он всякими ругательствами имени Наполеона отличить себя пред Москвою в качестве россиянина, верного сына отечества, очевидность, однако, помрачала все его картины. Известии из армии угрожали Москве ощутительно. Все выезжало, и чем больше, сердясь за то, граф Ростопчин бранил все состоянии в городе, не щадя никого, тем язвительнее ругала его публика, и, не веря ни одному его слову, всякий руководствовался своим рассудком, и такая соблазнительная пря между гражданством и его главою в городе не дозволяли мирному жителю Москвы и хладнокровному философу питать надежды, чтоб Москва спаслась от предстоящей ей напасти.

Все это доходило до Петербурга и действовало на придворные совещании. В утешение публике государь наименовал главнокомандующим Кутузова, он немедленно отправлен к армии и застал ее попятившеюся уже до Гжати. Это ободрило столицу. В Кутузове полагали все большие

надежды. Его лета, благоразумие, опыты и особенно хитрость военная, по которой он напоминал римского Фабия, — все предвещало Москве лучший оборот дел, и многие, приняв прежде намерение оставить Москву, узнав о сей перемене, решились ожидать ее последствий с уверенностию, что они будут благоприятны. Но судил Бог Москве воспламениться огнем геенским! По приезде Кутузова к армии умолк звук оружий. Наполеон сам, увидя другого вождя против себя, не бросился тотчас вперед, но ждал удобного времени или разбить, или обмануть нашего старика. Кутузов осматривался и набирал подмогу. Ополчение московское к нему двинулось, а в нем с благословением нашим омытые родительскими слезами дети наши двое, Александр и Алексей, отправились в Можайск 20-го числа августа. Армия наша, уже под командой Кутузова выдержав небольшие сражения частные, все шла назад и под предлогом тем, что удобной нет позиции, остановилась близ Можайска под Колоцким монастырем. Тут Кутузов объявил, что он на выгодном месте, и приготовился к решительному бою. Москва ожидала успехов его с трепетом, а мы сугубо страдали, зная, что и дети наши принесены нами в жертву превосходному чувству любви к отечеству, которое столь же благородно в своем существе, сколько мало принадлежит России, не умеющей согревать ее в недрах своих.

Сразились наконец 26 августа, стена на стену, обе армии под Бородиным, место знаменитое, увлаженное кровью многих тысяч людей, со всех народов сюда собранных по гласу счастливого самозванца. Кто не услышал во вселенной о громкой сей битве? Она раздалась повсюду, и потомки наши, читая повесть о ней, будут поражены мечтательными отголосками пушек. Тут дралось до трехсот тысяч воинов. Тут летели ядры из нескольких тысяч жерл[13]. Но я не сражение хочу описывать; везде помня себя и говоря лишь о себе, скажу, что на другой же день после баталии получил записочки от сыновей наших: оба они остались живы и здоровы, видели огонь, чувствовали ужасы войны, но десница творческая пощадила их и нас. Мы, узнав сие, пали пред иконой Спасителевой и из глубины души трепещущими устами воскликнули ему: «Слава тебе, Богу, благодателю нашему!» Люто дрался неприятель, крепко стоял русский, но после битвы, ни потерянной и ни выигранной, обе армии подались назад. Можайск брошен, и Кутузов уже приближался с утомленными своими войсками к самым стенам Москвы. Страшно было взглянуть на нее тогда! Все бросилось бежать, как с пожара, всякий увозил свой скарб и пожитки. Духовенство одно еще не шевелилось,

но со всякой скромностью попы и монахи прятали имущества церковные. Иной зарывал их в землю, другой закладывал в стену; всякий, потерявшись, распоряжался сам собой. Во все заставы выезжали сотнями кареты господские. Поражение простирало повсюду следы свои, и без ужаса смотреть было нельзя на сию картину. Дом мой, расположенный близ Москвы-реки у Смоленской заставы, вместо прежних сельских одних видов во все окна провожал к глазам моим зрелище военных бедствий. По вечерам разложенные на биваках огни и выжигаемые нашей армией леса озаряли все это предместие города светом своим сильным. По Смоленской дороге тянулись обозы раненых, и воплем их наполнялись самые улицы, проезда не было внутри города от бегущих из него и проходящих сквозь передовых принадлежностей отступающей армии российской. Между тем, как город или, лучше сказать, граф Ростопчин непрестанно обманывал всех своими афишками, сулил у самой еще Москвы сражение решительное, уверял с клятвою, что Москву не сдадут, что Кутузов защищать ее будет до последней капли крови[14], и дабы лучше еще сыграть политическую свою ролю, он не прекращал театра. Всякий день на нем играли комедии патриотические, возжигали энтузиазм, но никто не ездил смотреть на них. Странная противуположность! Поутру крестные ходы по всему городу носили чудотворные иконы, до ночи все соборы были растворены, все как перед концом жизни ездили прикладываться к мощам, всякий цепенел от страха, никто не умел молиться. Народ безмолвно шествовал за образами, стон слышен был посреди всех торжищ, а к вечеру город освещался фонарями, как в самый торжественный праздник. Театр давал свои игрища. Полиция, бдящая во всю ночь, неусыпно назидала над спокойствием и порядком, и признаться должно, что могильное какое-то уныние производило такую тишину в городе, которая своей чрезвычайностью удивляла всякого. Не много уже оставалось значущих лиц в городе, но правительство еще не выходило из Москвы, а глядя на него, держался и я. Граф Ростопчин, сбираясь подкрепить Кутузова, созывал дружину ратную и сулил в афишах, что у него до ста тысяч отборных молодцев, готовых к отражению Наполеона. Но увы! Что могут подобные нестройные массы людей против образованных полков?

Ломбард, оружейная, музей, институты — все это предварительно было вывозимо в Нижний и Казань. Частные имущества беспрестанно на подводах шли из города в разные дороги, но правительство еще не шевелилось, и скромным образом укладывали только дела и бумаги. Глядя на это, и я мало помышлял о побеге своем. Еще 29 августа Сенат

присутствовал, но в тот же день пополудни закрыл свое заседание и стал собираться в Казань, места губернские равномерно. Один граф Ростопчин с афишами в одной руке, с карикатурами в другой храбровал и сбирался дать отпор неприятелю быстрым своим умом и тонкой политикой. Видя, что все оставляют город, даже и власти, начал думать и я о своем спасении, ибо без судилищ в городе, отданном неприятелю, что бы я стал делать один? Обо мне уже и так добрые люди говорили, что я лениво укладываю свои пожитки, потому что имею тайные связи с французом и придерживаюсь Наполеоновой шайки. Время, которое со всего сдирает завес, показало и в настоящем случае, сколько таковые слухи на мой счет были несправедливы. Лучшие мои вещи, как то фарфор, остатки серебра столового, а паче все мои рукописи я, уложа, отправил в Никольское. Туда же перевезено и все имущество домовой нашей церкви, кроме антиминса[15], которого я не смел тронуть. Библиотека моя и картины, кои я, отделывая комнаты, перевез слишком поспешно из подмосковной, не могли быть вывезены заранее, но только приготовлены и уложены к отправлению, потому что своих лошадей было мало, а нанимать не было возможности за крайней их дороговизной. По сту рублей на лошадь требовали за сорок верст, страшно подумать! Итак, я, кое-что отправя, оставался с женой в городе, а дети все были в подмосковной. Днем, вечером и ночью один и тот же ужас собеседовал с нами. То прибежит Филатьев, то Богдановы, и, сойдясь, толковали о участи нашей в будущем.

Армия наша уже пригнана была к самой столице. Вагенбург* московского ополчения расположился в осьмнадцати верстах от Москвы в селе Одинцове. Оттуда человек наш, отправленный к детям, возвращался к нам с известием, что они здоровы, 30 августа около вечерен. И я, по носившейся в городе молве, что около Москвы делают батареи, что войска готовятся кровопролитно отстаивать ее и что непременно верстах в пятнадцати будет сражение на выгодном местоположении, отысканном генералом Беннигсеном, я, всему этому поверя, как человек, не имеющий никакого понятия о тактике и не зная, что в этом искусстве возможно и неудобно, сбирался быть в числе любопытных зрителей драки и загадывал 31-го числа съездить к детям в вагенбург, при котором они находились во временной откомандировке, все там узнать и в тот же день к ночи воротиться домой. Но, по счастью, и сие приписать должно одному Богу, который, щадя нас, влагает в разум спасительные помышлении во время

* От нем. Wagenburg — военный обоз.

благопотребно, тоска душила меня дома; поехал я в Александров день[16] ввечеру повидаться с приятелем моим сенатором Нарышкиным, в чаянии узнать что-нибудь новое от него. Арбат покрыт был ранеными, бегущими, больными, пороховыми ящиками, обозами полковыми — все это в несметном числе пробиралось сквозь Москву на Калужский тракт. Черты очевидные поражения кидались явственно в глаза на всяком шагу в городе, но народ еще был обольщаем. В театре играли в тот вечер «Пожарского»[17] и давали пустой маскарад, потому что никто не поехал, однако весь театр был освещен как бы в самое торжественное время. Александров день сохранял все наружные свои виды в городе.

Нарышкина я застал в смятении чрезвычайном, все укладывались и спешили в полночь выехать. От него узнал я, что граф Ростопчин хотя и ездил к Кутузову в армию и осведомлялся о военных намерениях вождя наших сил, который уверил его и отпустил с тем, что Москву будет отстаивать непременно, хотя в надежде на него и сам граф вооружал дружину охотников и всю полицию, но при всем том уже и сам колебался в приятном уповании спасти столицу, говоря, что может легко статься и то, что Наполеон назавтра же вступит в Москву! Такой отзыв начальника города решил Нарышкина, и он, готовясь через несколько часов уехать, простился со мной, советуя как можно скорее также собраться и ехать. Оба мы расплакались, обнялись и расстались, не зная сами, где Бог велит нам паки встретиться. Сенат ехал в Казань, и он за ним, но мне куда было деться, кроме подмосковной? И в ней, за сорок верст от Москвы, что за убежище, если Москва взята? Но тщетно было советоваться с рассудком, его не было ни у кого, все потеряли голову. От Нарышкина я опрометью поскакал домой, сообщил услышанное мною жене, и в ту же минуту, вместо того, чтоб ехать мне в Одинцово к детям, начали готовиться к отъезду на первые минуты опасности в Никольское с тем, чтоб там с матушкой обдумать основательнее шаги наши далее. Всего страшнее было для меня то, что за два дни тот же Нарышкин казал мне записку от служащего в штате графа Ростопчина своего родственника, в которой этот его уговаривает остаться в Москве, не тревожиться, не верить молве, и что хотя из предосторожности Сенат закрыл свои заседании, но оставить Москву вменится в стыд, и если он останется в ней, то подвиг такой принесет ему нарочитую честь. Вот как все друг друга обманывали, ни на кого нельзя было положиться, не было в те дни ни друга, ни приятеля, ни ближнего, всякий думал о себе. Боже! Какою язвою ты посетил нас тогда за беззакония наши! Расположась ехать в подмосковную

31-го числа пополудни, мы уклали книги и платьи женины в ящики, и в намерении за ними прислать тех лошадей, кои нас отвезут, покормя их в деревне, мы сами собрались с нужным только числом людей для прислуги. Отобедавши, то есть посидя за столом, ибо кусок никому не шел в горло, мы прошли весь наш дом, оглядели его как бы в последний раз, оплакали все, в нем оставляемое, зашли в храмину домовой нашей церкви, пали пред невидимым существом и, утопая в слезах, мысленно поручили ему себя и все свое состояние. Остававшаяся на произвол судьбы хворая и престарелая наша дворня с рыданием и воплем нас препроводила за ворота. При них оставался вольный человек один, Лаврентий, которому велено было стараться о пользах наших столько, сколько позволят обстоятельства, но казалось, какую надежду полагать на слугу свободного, который при малейшем страхе бежит, яко наемник, и оставляет все? Бог один из невозможного творит удобное, и рука его спасает там, где разум человеческий его ведет в напасть. Сколько в сию несчастную эпоху было примеров того, что средства встречались, где их чаять было не должно, и спасение нисходило там, где, кроме отчаянной погибели, ничего не представляло наше расчетливое помышление. Господи! Кому не открылась десница твоя посреди зол сих!

Проезжая городом до Преображенской заставы, мы везде видели черты волнения и напасти. Народ, однако, не бесчинствовал еще, и всякий думал только о том, как бы уйти и унести свое добро. За заставу выпустили всех без задержки и уже не расспрашивали, кто и куда едет. По дороге кареты гнали в три ряда так, как на праздничьих гуляньях, скакали верхами, бежали пешком, на козлах, на запятках сидели женщины в салопах и полушубках. Все покидало Москву с трепетом. В Пехре казенной мы остановились покормить лошадей или, лучше сказать, чтоб отдохнуть им дать, и тут семейство Небольсиных и наша Богданова Анна Михайловна разделили с нами полчаса времени. Они ехали в наше соседство, также в подмосковную. Из Пехры мы прибыли к ночи в Никольское и тут расположились, а лошадей велели назавтра рано отправить назад в Москву за библиотекой и жениными платьями, потому что, как выше сказано, вся ее гардероба брошена была в Москве до поворота лошадей. С нами прибыло семейство нашего духовника. Мы жену его и дочь безногую взяли с собой и тут дали им пристанище, а муж ее, решась остаться при своем монастыре в Москве, благословил нас, проводил из дома и путь наш, как искренний друг, окропил не святой, но чувствительной водою горячих слез участия и приязни.

Мать моя в болезнях и слабости молилась Богу, вздыхала и ожидала разрешения плоти как праведная и набожная женщина, но мы, еще жертвуя суетам мира, тревожились и хотели отгадывать, чем обстоятельства житейские кончатся. В Москве в последний день ее, то есть 1 сентября, происходило между тем следующее. В ночь граф Ростопчин получил от Кутузова известие, что на военном совете положено Москву отдать неприятелю без обороны. Тотчас выслана полиция с трубами и всеми ее принадлежностями вон из города, будочники сошли с будок, остановилась продажа съестного. Стали шалить и разбивать кабаки. К вечеру появился огонь на винном дворе, из чего и взяли мысль, что его велено зажечь, дабы не досталось вино французам. Многие утверждали, что граф Ростопчин, оставляя город, велел преступников выпустить и внушить им, чтоб они зажигали город. Правда ли сие, или нет, не знаю точно, но как я о том рассуждаю, увидят ниже. 1 сентября было в воскресенье. Еще архиерей служил последнюю обедню в Успенском соборе и потом дал позволение духовным всем выбираться за город[18]. Иные успели сокровища церковные спрятать, иные увезли, многие бежали, но многие и остались в городе при церквах. Мощи все оставлены. Гражданское правительство с 1-го на 2-е число все выехало, и Москва осталась пуста, то есть без обороны, без войска, без судилищ, почти без граждан, кроме нескольких или скупых, или немощных дворян, кои остались при своих имуществах и постелях. Граф Ростопчин сам выехал из города незадолго до вшествия неприятеля, но при побеге своем он ознаменовал примерным образом злобный свой характер.

Некто Верещагин, молодой малый, сын зажиточного купца, имея знакомство на почтовом дворе, читал в немецком одном листочке объявление Наполеона, что он непременно вступит в обе столицы севера, и, переведя эту статью, пустил ее по рукам. Граф Ростопчин велел его схватить и отдал под суд. До сих пор поступок правильный, но, увидя, что Сенат пошел на голоса и что Верещагин останется без наказания, ибо время все смягчает, взял на себя право самовластия, забыл или презрел законы, дерзнул на жизнь подсудимого, притащить велел его к себе, нанес ему сам первые удары злобы и, выдавши разъяренной толпе народа, у ворот его собравшейся, допустил до того зверство души ненавистной, что в минуту Верещагин мучительски бит и убит до смерти. Сим трофеем увенчал граф Ростопчин градоправительство московское[19] и потом поехал искать по Калужской дороге авангардов нашей армии, бегущей от француза, как некогда римляне от Аннибала. Вот как прохо-

дило 1-е число сентября в Москве. Посмотрим, что в тот же день делалось в наших окрестностях деревенских.

Я сбирался идти к обедне, как вдруг прискакал ко мне полицейский сыщик г. Яковлев, который некогда присылался и ко мне в Володимир для взаимных исследований какого-либо случая на границах губернии с столицей. Он вез с собой кучу новых афиш, пущенных графом Ростопчиным, чаятельно, прежде еще, нежели он знал, что Москву сдают войскам. Яковлев обязан был ее развезти по всем селениям, но, не имея на то достаточного ни времени, ни средств, просил меня, как наличного помещика, разослать несколько листов по ближайшим ко мне селениям, а сам как стрела полетел на Троицкую дорогу. В этой афише возбуждался народ к отражению неприятеля. Граф собирал дружину, велено было сходиться по приходам и, взяв хоругви и попа с собой, идти на разные тракты вокруг Москвы и явиться под начальство самого графа. Афишу я велел нашему сельскому священнику[20] прочесть громогласно, что и исполнено. Народ ревел неутешно, и многие, почти все, собирались, запасясь провиантом на два дни, как сказано было в афише, идти в Москву. Но русский народ не умеет обойтись без командира, умный ли, глупый, да надобен ему вожатый от правительства, сам собой он, кроме чрезвычайного волнения и бунта, никогда не умел из своей братьи выбирать себе предводителя. При сем первом размышлении пошли у них толки. Да кто нас поведет? С кем мы пойдем? Ведь не одним толпой бежать, как на разбой. Подобные же запросы происходили и от соседственных сел, куда афиши достигали, и поелику они посланы были от меня, то и думали в народе, что или я собираю дружину, или мне это препоручено от начальства, и волостные начальники да благочинные присылали прямо ко мне наведываться куда, с чем и когда идти. Я, не зная еще, что граф Ростопчин пишет один вздор, что он, как и все граждане московские, обманут Кутузовым, что дружина не нужна, ибо армия на совете положила отдать Москву без обороны, ничего этого не зная, а судя о повестке графа Ростопчина как о вызове правительства в отчаянном случае, поставил себе в обязанность вступиться в это дело, дабы быть сколько-нибудь земле русской полезным, а с другой стороны, избежать бесчестное нарекание, что я, будучи в своем поместьи, не хвор и не престарел, отказался принять участие в столь ужасном для отечества случае, и решился быть актером в этой черной трагедии. Но дружина осуждена была быть трагикомедией, и если бы она состоялась, я бы попался в руки к французам, вместо чести купил бы подви-

гом своим бескорыстным и усердным титло Донкишота и дал бы всем случай позабавиться на мой счет порядочно. Все это обдумано после событий, но перед ними не до шутки было, и я действовал следующим образом. Объявил крестьянам и своим, и чужим, чтоб они взяли с собой хлеба на два дни и назавтра, то есть 2-го числа, явились в наш приход рано поутру. Священнику повестил быть готову с знаменами церковными и крестом, вызвался охотно сам проводить сию толпу крестьян, вооруженных, разумеется, домашними орудиями, вилами, рогатинами, топорами, и, доведя их до трех гор, где был назначен рандеву, сдать кому граф прикажет, потому что я сам воевать не люблю и не умею. Все сие устроив и положа основанием моих условий, чтоб не меньше собралось пятисот человек, приказал готовить себе какую-нибудь клячу под седло, и признаюсь, что сколько обстоятельство ни было ужасно, я не мог не смеяться мысленно над собой, воображая, как я, не садясь верхом с лишком двадцать лет, стану шпорить деревенскую кобылу и предводительствовать с попом в епитрахили нестройную кучу мужиков, навьюченных решетными караваями и тройчатками. Сделался я нечаянно чему-то начальник, и сам собой, без удостоения начальства. Во весь день бегали ко мне разные удалые сорванцы записываться в дружину. Порядочные люди все не выходили из церквей, исповедались, причащались, готовились к смерти, но вместо того, чтоб искать ее около Москвы за веру и родину, все почти убирали свой скарб и утекали по рощам прятаться с своими семьями. Побег был единодушное стремление каждого, никто почти не защищался, а уходил, дабы не попасть в плен или неволю. Итак, 2-го числа не только пятьсот человек, ни ста не собралось к приходу. Я уволил сам себя от этой службы так, как сам собой ее принял, остался в Никольском ждать, что будет, и узнал, увы, к вечеру поздно, что Москва занята французами 2-го числа сентября в вечерни.

Так точно! Москва, быв ровно двести лет свободна[21], сделалась в другой раз добычей неприятеля 2-го числа сентября 1812 года. Не знаю, для чего во всех бумагах, выпущенных правительством по времени, сказано, что она занята 3-го числа[22]. Известно совершенно и неоспоримо, что армия наша, разбитая и бегущая, принесла неприятеля в Москву на плечах прямо за собой по следам своим 2-го числа сентября около вечера[23]. Известие сие я имел тотчас из двух верных источников. Люди мои, посланные днем 1-го числа за пожитками в Москву, уже не впущены в город, а поворочены от застав нашей последней стражей в деревню.

Пасынок мой Алексей, следующий за ополчением в смешанной этой ретираде, растерял повозку свою, слугу, чемодан и принужден был пешком броситься к нам в деревню, дабы собрать средства возвратиться к своему месту. Он, прибежавши к нам, сказал, что уже французы вступили в Москву. Сверх того, обедавши в этот же день у родственников моих Голицыных[24] в пятнадцати верстах от Никольского, я узнал по записке, присланной к ним от племянника их родного, служащего в армии Ермолова, что армия наша бежит, чтобы они спасались, что Москва непременно занята будет немедленно. Впрочем, глас всего народа без обиняков прошел всюду, что 2-го числа сентября вошли французы в Москву в разные заставы вдруг, и Наполеон остановился в Кремле.

История возвестит потомству, от каких причин, нравственных или политических, Москва сделалась жертвой Наполеона. Историк обязан, отложа всякое пристрастие к современникам своим, написать это и передать поколениям грядущим. До меня не принадлежит рассмотрение причин. Я, как биограф, собственно свои описываю только действия моего века и по мере влияния общих дел частно на меня беседую о них с некоторою подробностию. В этом точно смысле должен я и здесь поместить причины, ради которых 1-е) я так долго мешкал в Москве и многое там оставил; 2-е) отчего переехал не далее Никольского и тут равномерно жил слишком долго, несмотря на чрезвычайную опасность. Вот моя исповедь на этот случай. Пусть дети мои и кому они доверят сии записки судят о мне и моих поступках, испытав мою совесть. Я столько был несчастлив в людях, что мне всегда приписывали больше хитрости, нежели сколько она мне сродна, а отсюда наводили на все дела мои самые мрачные краски. Были люди, кои и в настоящем положении дел уверялись, будто бы я скрытый партизан французов, и из того, что я люблю их язык, выводили заключение, что они и правилами моими руководствуют, словом, языком сих злоречивых говоря, что я не сын отечества. Это меня обязывает открыть детям моим картину моего сердца, ввести их во внутренность его и сказать, как я поступил во время нашествия врага на столицу и для чего так поступал, а не иначе.

Когда молва разносит какое-нибудь обстоятельство или суждение народное, всякий вправе основываться на ней столько, сколько то согласно с его правилами, но где правительство сообщает свою мысль не только молвой словесной, но письменными объявлениями, там остается покоряться ей и руководствоваться ею. С самого начала войны граф Ростопчин вошел в разговор с публикой посредством афиш, им выпускае-

мых. Никто бы не обратил на них внимания, если б они шли от частного лица, но их выдавал главнокомандующий, и они становились приказы. По низкому слогу, каким афиши сии были писаны, конечно, они более касались до простого народа, однако мешались с площадными речами и такие внушении, коих презирать не могла и самая отборная публика. Бесполезно бы вести здесь журнал всем дневным этим листочкам, но я приведу в пример замечательные выражения из некоторых.

Августа 30-го: «Светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться».

В другой, вышедшей гораздо прежде, сказано между прочим: «Я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей. Но нельзя похвалить мужей, братьев и родню, которые при женщинах в будущее отправились без возврата. Если по их есть опасность, то непристойно, а если нет ее, то стыдно[25]».

На сих-то побуждениях от правительства я основал мои поступки. Я смеялся слогу и дурачеству, но вслушивался в каждое слово начальства московского, с умыслу напечатанное. Светлейший хочет Москву отстаивать, хочет драться в улицах! И я остаюсь в Москве, дабы по силам моим быть полезным себе, соседу, ближнему. Зачем на выезд дворян делать примечании? Не упоминай их граф Ростопчин, и я свободен ехать вон и оставаться в Москве по моим собственным догадкам, но где правительство говорит, пишет, печатает, что в случае опасности уехать непристойно, а если ее нет, стыдно, мне остается выбирать из двух: или быть трусом, или подлецом, и я остаюсь в Москве, не желая быть ни тем, ни другим. Вот причина, по которой я так поздно выехал из Москвы и оставил почти все свои пожитки в доме на расхищение неприятеля, кроме серебра столового, рукописей своих и нескольких заветных безделок, драгоценных по их напамятованиям. Все прочее осталось в Москве под стражей единого провидения. Я даже так вверился в начальство, не полагая отнюдь, чтоб оно могло обманывать и обманываться во времена столь смутные, что без уважения пропустил обстоятельство, которое должно было меня выгнать из Москвы. Родственник мой, издетства со мной свыкшийся, Матвей Федорович Толстой, которого и отец дружен был с моим отцом, женат был на дочери Кутузова. Когда узнали, что он назначен главнокомандующим над армиями, Толстой решился не выезжать из Москвы, уверяя себя и всех, что тесть его не Барклаю чета и что он Москву не выдаст. В этом обольщении, которое я, видаясь с ним очень часто, делил с ним совершенно, Толстой питался химерою своей

недолго, и он за неделю до неприятеля тихонько от нас, ничего нам не давши знать, уехал со всем своим домом из столицы. Явная вывеска, что Москва не могла спастись и что Толстого побег из нее был следствием внушений его тестя, предвидевшего лучше всех участь столицы. Я не хочу здесь рассуждать о поступке Толстого. Он не достоин честного человека. Я не требовал бы, чтоб он мне сообщал планы своего тестя, да и, думаю, что тот ни с кем насчет их не был чистосердечен, но, получа малейшее подозрение, что Москва в опасности, долг приязни обязывал его дать мне это чувствовать, и я бы с строгою скромностию скрыл его предостережение, воспользовавшись им единственно для соблюдения своего имущества. Несмотря, однако, на сей явный признак опасности, я по доброй и неограниченной вере к правительству жил в Москве до тех пор, как уже становилось соблазнительно и похоже даже на измену оставаться в ней, ибо когда все власти стали выезжать и Сенат затворил двери к себе, я, частный человек, ни под каким предлогом не мог и не должен был оставаться в городе.

Итак, я выехал в подмосковную. Здесь новый вопрос требует ответа: что за благонадежность так близко от Москвы скрываться? И какие причины могли остановить нас на нарочитое время в таком месте, где с одной стороны пороховой завод в четырех верстах, а с другой в полуверсте казенная лосинная фабрика?[26] Прежде всего на мысль могло приходить, что неприятель, заняв Москву и зная хорошо ее окрестности, конечно, бросится тотчас на эти два пункта, толико для него полезные, ибо ни порох, ни кожа не были убраны за общим смятением и нерешительностию главных команд. Неприятель, ограбя их, не пощадил бы и частных имений, следовательно, в Никольском жить значило почти то же, что остаться в Москве. Так, конечно! Видимые обстоятельства делали заключение сие весьма правильным, но мать моя была стара, она имела семьдесят девять лет. Через два дни в третий мучила ее лихорадка, возить ее с места на место было опасно для жизни, к тому же ни подвод довольных, ни денег для найма их под такое многолюдное семейство, как наше. Требовать их из нижегородской деревни казалось затруднительным, потому что со внутренней войной всегда соединяется и беспорядок. Множество лошадей по пути выпрягали по необходимости для усиления средств к доставлению военных потребностей туда и сюда, и так могли наши подводы, не дойдя до нас и без пользы для помещика, умножить убытки наших крестьян. При таких обстоятельствах нечего было иного делать, как, поруча себя промыслу Божию, ожидать его святой воли.

Так рассуждали мать моя и я, хотя выписывал заранее несколько подвод из Шуйской жениной деревни на крайний случай для себя, ее и детей моих, но между тем, будучи в отставке, не обязан ничем по государственному распределению людей, считал священнейшим долгом для себя жить при матери и радетельным оком назидать на ее собственное благосостояние, поколику могло оно быть сбережено. Вот причины, по коим я действовал, и пусть судят о них при мне и после меня, как хотят. Совесть моя не указала мне пути к другому какому-либо поступку, его я сам пред собой совершенно оправдывал, и довольно!

Итак, с 1-го числа сентября заключили мы себя в Никольском на безызвестное время. Я с женой, матушка, сестра, все мои дети, кроме Павла, Александра и одного пасынка, да домашние кой-как поместились в тесненьких деревенских покоях. Бог, который творит и ничтоже имущих вся содержащими, Бог допустил нас еще при всей тесноте наших покоев дать убежище многим сирым, немощным и бескровным, но да не похвалюся о сем, а паче возблагодарю Бога, избравшего нас ко вспоможению другим и давшего матери моей на конец живота ее случай принести ему, Творцу всяческих, жертву веры и любви чрез призрение меньшей братии христовой соразмерно убогим силам своим и возможности.

Сын мой Павел был в Петербурге. Александр, откомандированный для препровождения вагенбурга чрез Москву, появился без нас 31-го числа в ночь в дом наш и в ту же ночь уже шел с своим багажом за рогожской заставой по рязанской дороге, куда и армия брала свое направление, делясь по трем дорогам: Тульской, Калужской и Коломенке. Пасынок старший, побыв у нас, обратно поскакал к своему месту окольными дорогами, а меньшой стоял при владимирском ополчении в тамошней губернии. Таково было положение нашего дома по нашествии неприятеля на Москву.

Нет пера, которое бы могло изъяснить ужас и смятение того времени. Москва разграблена, храмы поруганы, ничто не пощажено, и сверх всех прочих неистовств, о коих и говорить возмутительно, целые восемь дней, начиная с 3-го числа сентября, Москва была в пламени, потому что ни одной трубы не оставалось в городе, а везде зажигали все. Мы в Никольском в страхе и трепете глядели на эту несчастную картину всякий день от сумерок и до утра и, глядя на нее, ежечасно думали по направлению ветра: вот теперь, теперь, в эту минуту и наш дом горит, мы теряем крышку, теряем все. Ужаснейшее положение! По счастию, осень была прекрасная, и поелику несколько дней прошло так, что по нашей дороге

и слуха не было о движении неприятеля, то сельские работы шли безостановочно, и доколе свет дневной продолжался, можно было минутами забывать, что делалось с Москвою, но к вечеру пламенное зарево на всем горизонте явственно показывало нам всю меру бедствия, постигшего столицу. Кроме сего зрелища, мы терпели во всем недостаток. Запасено было всего мало, торги прекратились; не только в Москве, но и в Богородске[27] уже купить было нечего. Все чины уездные разъехались из всех почти деревень, поселяне бежали, уезд брошен начальством, и я, в нем живучи, принужден был управляться во всяком экстренном случае сам собой и собственным моим смыслом без прибежища к законной власти. Тяжкое состояние! Съестные припасы до того изошли, что уже мы не имели куска белого хлеба, ниже ситного у стола, и за крайним недостатком вина я пил воду с уксусом[28], а по вечерам в детской комнате вместо свеч горело масло, словом, мы приняли во всем нужду самую строгую, и я принужден был для матушки занимать на пороховом заводе и где мог только по фунтам крупитчатой муки, которой ни за какую цену купить было невозможно. Недостаток в пшеничной муке и вине произвел то, что во всем нашем околотке переставали служить обедни, и очень редко приносилась по селам бескровная жертва, хотя в это время она могла сделаться единственной отрадой жителей городских и сельских. В одной нашей церкве по три, по четыре обедни служили в неделю, и в каждое воскресенье непременно народу приходило пропасть, и церковь не могла вмещать богомольцев.

Все сообщении прекращены, ниоткуда писем, ни одной почты, никакого известия об армии и о действиях военных, видим пожары, слышим о грабежах повсеместных и в куче слухов разнородных никакого не можем достать верного познания ни о настоящем, ни о будущем. Странствование общее. Мимо нашей деревеньки по нескольку тысяч душ проходило разного звания людей, уходящих из Москвы, бегущих из армии, и под названием *мародеров*, или, по-русски сказать, бродяг, не батальоны и целые полки, а по два и по три человека шатались по селам, грабили, обижали и отнимали до полушки. Все пустилось в мошенничество. Свой не щадил своего, казак, солдат, и раненый, и здоровый — все нестройными толпами кидались по разным дорогам и кормились кто милостыней, кто наглым воровством. Целые селения с обозами своими, скотом, с грудными младенцами выбирались мимо нас на известные отдаленные перекрестки и проселочными дорогами искали убежища на приходящую зиму. Наше маленькое сельцо, хранимо Божиим покровительством, не

потерпело, однако, ни малейшего беспокойства, кроме тесноты большой от ищущих крышки и ночлега временного. Легкие разъезды казачьи нас не обижали, проходящие ничего не отнимали, присутствие помещичье много остановило беспорядков, и поселяне наши довольно спокойно убирали хлеб с поля и молотили. Еще в нашу сторону неприятель идти не загадывал. Он рассылал отряды собирать поблизости Москвы фураж и провиант, и по некоторым местам были у крестьян с его солдатами сшибки: одни стреляли, другие колотили обухами, и от сих частных драк, в которых французы всегда теряли больше наших, неприятель терпел в Москве день от дня более. В прочем Владимирская дорога никаким значительным корпусом не была прикрыта, по ней нигде до самой границы Владимирской не было ничего, кроме небольших казацких партий, которые таскали на арканах оплошных французов около московских застав. Но мы, среди двух казенных заведений, оберегаемы были хотя не важной стражей их собственной, все однако же присутствие чиновников на лосинном заводе и самых содержателей порохового несколько нас ободряли. Мы видели, что при таких важных государственных заведениях власти их безотлучны, никуда ничего не увозят и сами не едут, и это питало в нас приятную надежду, что неприятель в нашу сторону не открывает покушений. В таком смутном состоянии, отрезанные почти от всего мира, без всякого известия о чем и от кого-либо, без начальства, ни в плену, ни в свободе, мы могли только пользоваться одним удовольствием прогулки в ясное время, но и то с большой осмотрительностию, ибо все крестьяне, снабдив себя ружьями для защищения от неприятеля, стреляли не умеючи во все предметы, дабы приучиться к этому упражнению, и один раз, гуляя с женой по большой дороге между заводом и деревней нашей, мы услышали выстрел из ружья, услышали свист пули и в нескольких шагах от себя нашли ее. Таким образом, смерть повсюду носилась в воздухе, и без осторожности нельзя было почти выходить из хором своих. Слава Богу, стократ слава Творцу небесному, что крестьяне были испуганы столько же, сколько и мы, и что чернь, кроме побега от неприятеля или стычки с ним, ничего не предпринимала злонамеренного против господ своих, а воровства унять было невозможно да и бесполезно, потому что сие меньшее зло отвлекало мысли простолюдина от ужаснейшего. Так жили мы в Никольском до 23 сентября и начинали от одной привычки к этой напасти переносить ее с большим терпением.

Пожары продолжались в Москве с неделю, и когда вечерние зарева миновались, любопытство подстрекнуло двух из наших слуг сходить в

город посмотреть, цел ли наш дом. Долго боялись мы их отпустить, наконец, решились. Пошли они пешком, одевшись нарочно в лохмотьи, дабы меньше привлечь взоры неприятеля к добыче, и мы не смели ожидать их обратно к себе из этой геенны. Через три дни воротились они к нам и принесли вернейшее известие, что дом наш не сгорел и от огня вокруг его весь сохранился, что в нем стоит генерал, и хотя он кажется быть человеком скромным, однако дом наш разграблен, как и другие, княгинины платьи, мои книги, все растаскано, люди все, оставшиеся в доме, живы, но смучены работой, недостаток в съестных припасах томил и русского, и француза голодом. Сами эти посланные от нас люди после многих расспросов, откуда они и зачем пришли, были посыланы за разными овощами в чужие огороды и, поработавши на них сутки, отпущены к нам обратно с пропускным билетом, в котором сказано было, чтоб их никто не обижал и выпустили бы их в Преображенскую заставу. В этом только состояли их вести. Узнавши, что Бог помиловал наш дом от пламени, всю Москву почти опустошившего, мы получили некоторую отраду, но доколе враг владел Москвой, можно ли было быть спокойным? Послы наши в прочем о подробностях, что именно в доме нашем унесено, разбито или пропало и что осталось, не могли дать нам никакого правильного отчета, потому что не во все покои могли свободно ходить, а расспрашивать было неосторожно. Многие из наших людей и женщин, находя случай бежать, приходили из московского дома к нам, и всякий приносил свои вести. Описание сожженной столицы в устах каждого было так ужасно, что волосы на голове подымались. Первый опыт нас взманил. Люди не так уже стали бояться ходить в Москву, и те же наши удальцы почти каждую неделю ходили в город разведывать, в каком состоянии дом наш. Таким же образом, как прежде, они возвращались, и всегда мы успокоены были приятным известием, что наше жилище цело. Оставим на минуту ужасы таких необычайных происшествий и молвим нечто о пожарах, которые доныне, год спустя потом, отдаются на счет то неприятеля, то своих. Посмотрим мимоходом, до какой степени какому слуху народному о сем верить можно и основательно.

Многие утверждают, что Москву сжег неприятель, многие же в том стоят, что запалили свои, и, не обинуясь, иные говорят, что велел зажечь город граф Ростопчин, дабы лишить Наполеона возможности в нем держаться, и на этот конец будто бы он выпустил озорных колодников, давши им свободу и средства к зажигательству. Достоверности в различной сей молве я найти не могу, потому что в Москве в то время не было чело-

века довольно осторожного, рассудительного, с надлежащим присутствием духа, всякого пристрастия чуждого, который бы мог определить желаемую точность в этом событии. Оставалась в столице или чернь несмысленная, или дворовые люди безграмотные, которые верили чужим сплетням и сами их сочиняли. Малое число благородных и просвещенных людей, покорившихся плачевной своей участи, от разных побудительных причин не могли преследовать сего предмета с той прилежностью, с тем вниманием, какое потребно было, дабы на действиях самих основать решительный приговор, итак, одни догадки нам позволительны. Из них-то я, не будучи лично ни на стороне неприятеля, ни на стороне своего правительства, по одному природному моему смыслу вывожу следующее заключение.

1-е) Не знаю, велел ли граф Ростопчин посредством колодников зажечь город, но то очень верно, что граф Ростопчин все трубы приказал вывезти из Москвы, следовательно, в случае пожара, от какой бы он причины не начался, дал возможность распространиться ему и город обезобразить. А кто отнимает способ тушить огонь с умыслом столь очевидным, тот дает право подозревать, что он готов и приказать пожар.

2-е) Французы заняли Москву 2-го числа, сие достоверно, как и то, что винный двор загорелся с вечера на 2-е, следовательно, неприятель этому первому пожару не мог быть причиной.

3-е) Толстой, тот самый, о котором я говорил выше, родственник мой, прежде назначения тестя его главнокомандующим в армии и тотчас после взятья Смоленска, сбираясь выехать из Москвы, спрашивал у графа Ростопчина совета, благонадежно ли остаться в ней, или нужно удаляться? Граф ему отвечал, что он ни того, ни другого сказать ему не может, но что если по особенному несчастию Наполеон Москвой овладеет, то уже он, конечно, в ней, кроме пепла, ничего не застанет. Толстой сам это мне рассказывал, и буде он не солгал, то думать должно, что у графа Ростопчина давно вертелась идея в голове отдать Наполеону вместо города пустое пожарище, иначе как объяснить его ответ Толстому?

4-е) Исторически известно, что недалеко от Москвы делали с большим секретом воздушный огромный шар. Вот какая о нем в народе пущена была афиша: «Здесь мне поручено было от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, и по ветру, и против ветру, и что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода хороша будет, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы не подумали, что это от злодея,

а он сделан к его вреду и погибели»[29]. По этой повестке ждали меньшего шара, но его никто не видал, а большой все-таки делался. Из сего многие выводили, что не шар был нужен, ибо предположение, изъясненное в афише, и цель его доселе были неслыханы в мире и, не потеряв ума, нельзя было загадываемого действия дождаться, но под предлогом шара скопляли множество веществ горючих и зажигательных, которыми скорей можно было бы при желании зажечь Москву, успеть в совершенном ее истреблении. Для меня мысль такая крайне безобразной кажется, но, живучи с русскими людьми, я знаю, что он все сожжет, изломает, изрубит из одного только этого: «не доставайся же другому», и чтоб Москвой угрозить Наполеону, мудрено ли запалить ее? На же, вот, бери пепел, а не Москву. Эту догадку весьма допускает характер людей русских.

Соображая теперь все приведенные мною речи и событии, я беру третью дорогу между теми двумя, коими публика то Наполеона, то Ростопчина обвиняет в сожжении города, и думаю, что в тогдашнем положении обстоятельств стихии увеличили пожар и сделали его общим. Вероятно, что иные строения, как то полевой двор, винный двор или иное какое, сама политика указала необходимым сжечь, дабы утеснить неприятеля, вероятно, что и французы не все одного духа и нрава, иные щадили свои жилища, иные из ругательства, оставляя их, жгли и, ездя с квартеры на другую, любовались опустошением московских улиц, но ни в том, ни в другом случае пожар не мог бы сделаться столь жестоким, если б ветер и воздух не приняли в том участия. Осень была хороша, но ветры были страшные. Огонь, по естеству своему умножая порыв воздуха, давал силу бурному его нападению, и ветер, один ветер разносил повсюду огонь без остановки, даже и после заметить можно было по многим хижинам, уцелевшим против или возле больших каменных громад, в коих все деревянное выгорело дотла, потому что те не были под влиянием ветра. Итак, решившись сам с собой заключить, что Москва сгорела от бурь, которые распространили частные по местам огни по всей ее площади, я согласен считать виновником сей напасти, как и многие то думают, графа Ростопчина, ибо когда б он не вывез труб и пожарных инструментов, то бы, по крайней мере, не отнял средств тушить пожаров, и тогда, может быть, с меньшим остервенением пламя вспомоществовало бы злобе человеческой. Так! Кажется, так! Если не совсем, то многое перед Москвой виноват граф Ростопчин, а дабы придать ко всему сказанному еще один его поступок, вполне выражающий его характер, то он, неподалеку от Москвы имея прекраснейшую вотчину со всяким строением и за-

теями роскошного вкуса, все сжег сам, не оставя ничего, и прибил к столбу граничному цидулку, в которой сказано, что он все запалил сам, дабы не доставалось ничего французам. В самом деле, неприятель, проходя этим местом, ничего не нашел и не мог тут остановиться. Скажем здесь без всякого размышления: «Так-то, знай наших!» Что ж мудреного, если граф Ростопчин как начальник Москвы распространил те же соображении и над древней сей столицей. Воротимся к Истории.

В течение первой половины сентября подоспели к нам подводы из Шуйской жениной деревни, и мы, на них собравши все наши пожитки, услали вперед в ту дальную деревню, а сами при необходимых только вещах остались в Никольском. Неприятель, истощив все награбленные им припасы в близких местах от Москвы, стал расширять круг своей разбойнической деятельности и уже верстах в пятнадцати от наших мест посылал маленькие команды фуражировать. Иногда они отнимали овес, хлеб и сено, иногда, смотря по числу народа в селении, и сами не возвращались к своим командам, а находили жестокую смерть на вилах, серпах и на собачьих привязях, однако всякий старался удаляться от театра их проказ, и к нам приехала целая труппа искать прибежища: актер Мочалов с большой семьей и актриса Насова с своими домашними, всего душах в семнадцати, просили у нас крышки и приюта. Какой злодей отказал бы им в том, доколе хоть малая предстояла возможность поместиться? И мы так наполнили свой домишко, как Ноев ковчег.

Дошли тревоги и до нас. Неприятель показался на Купавинской фабрике, 30 верст от Москвы, а семь от нас. Дачи их смежны с нашими. Прискакал казак повестить нам, чтоб мы выбирались далее. Но вопрос: куда везти матушку? Зная, что казаки часто пугали многие селения напрасно для того только, чтоб по уходе жителей воспользоваться суетой их и ограбить дочиста, и видя сии проказы на опыте, я не вдруг положился на слова опромежного гонца, а послал своего надежного человека верхом до Купавны проведать, в каком точно положении наши окружности. Казак был прав. Французы расположились на фабрике и занялись ее опустошением. Это дало нам время подумать о себе, мешкать было некогда. Со всевозможной бережливостью объявил я матушке настоящее наше положение и опасность. Она никак не соизволила да и, правду сказать, по недостатку средств не могла далеко переехать. Итак, мы в домашнем нашем совете положили матушку с сестрой перевезти в Греблево, село большое родни нашей княгини Голицыной, которая ко всем прежним своим благодеяниям присовокупила и сие чувствительнейшее,

что при отъезде своем из Москвы приказала очистить и в этой, и в другой своей деревне Московской губернии покои для матери моей. Нечего было долго размышлять. Хотя Греблево было от нас только в пятнадцати верстах, но тысяча душ крестьян, огромный каменный дом, большие леса, со всех сторон его окружающие, все сие делало это убежище благонадежнее многих других даже и в отдалении. С трудом, однако, и туда матушка решилась выехать, нужда заставила тронуться. Она и сестра моя переехали туда, и я с женой и детьми своими, облобызав родительницу, испрося ее благословение на новое наше странствие, прижав к сердцу сестру свою, простясь с домашними и, на праге родительской сей кущи умоляя творца небесного, да ниспошлет нам всеблагий свой промысл и направит мысли наши к лучшему, поехал опять искать убежища в ту же губернию, из которой выгнат был. Закипело сердце, когда стали мы подниматься с места, слезы из глаз каждого полились рекою, и мы 23-го числа сентября выступили в поход свой. За нами плелись верхом, пешком, в телегах и разными образами приживавшие в наших пределах московские выходцы, и мы, оставляя родину, долго еще озирались на сельскую нашу колокольню. Не было ничего страннее для взора, как видеть Насову, эту певицу, столь славимую по Москве и которая в один вечер иногда голосом своим выработывала по нескольку тысяч, ныне обегающею с вожжами и дугой и второпях запрягающую клячу в телегу, дабы, не отставая от нас, искать общего с нами пристанища. Подобно ей, Мочалов, игравший роли кесарей на театре, тут, сидя на возу, заправлял пару тощих лошадей, на коих ехали при нас же дочь его институтка и мать старуха. Сколько подобных явлений тогда представила Москва России!

Выехавши таким огромным обозом 23-го пополудни, мы не могли далеко уехать и остановились ночевать на большой Киржатской дороге в пятнадцати верстах еще от Богородска, который уже был французами занят и опустошен. Неспокойно мы спали в таком от неприятеля соседстве, страхи поминутно будили нас, и мы нетерпеливо ждали утра, чтоб поскорей выехать из Московской губернии. Матушка не выходила у меня из мысли, положение ее меня тревожило пуще моего. Я удалялся от опасности, а она все еще в центре ее находилась и не могла брать далее размера шагам своим. Свойственная летам ее твердость, которой, говоря о матери, не смею я назвать упрямством, отняла у меня успех в убеждениях, с коими я просил ее вместе с нами предпринять путешествие в женину деревню, и когда пришла минута решиться на то, уже нельзя было и приступить к исполнению сего намерения, ибо не заготовлены были за-

ранее ни подводы, ни средства. Вот что нас оторвало друг от дружки в сии несчастные времена отечества нашего. Я чувствовал в полной мере, сколь тяжело для сердца, обременительно для совести оставить мать в ее состоянии, но я не мог делить с ней ее пристанище, боясь, чтоб неприятель, узнав об имени моем и чине, не подверг меня или мучительной кончине, или стократ ненавистнейшему какому-нибудь позору. Мать моя и сестра по летам своим не могли опасаться ни ярости их, ни посрамления, ограбили бы их и бросили. Но я и семейство мое могли быть жертвою всякого неистовства. Нельзя было мне, нет, нельзя по сим отношениям разделить участь общую с матерью моей. Жена и дети по самому естественному и духовному закону должны были преимущественно к себе обратить все мои попечении, а матушки с нами увезти насильно я не смел из благоговения к ней, да и не находил себя вправе. Итак, при ней осталась сестра моя, но Бог и их, и нас не оставил. Отец утесненных, он водил нас невидимой своей десницей и спас от предстоящих зол.

24 сентября, поехавши рано с ночлега, прибыли мы днем еще в Киржач и очутились в Владимирской губернии. По мере отдаления нашего от опасности, другие чувствовании обуревали мою душу, увидя себя без всякой власти там, где незадолго пред тем полное вверено было мне начальство. Я заплатил дань тщеславию и тужил о совершенной суете. Все мне напоминало мою постыдную отставку, мне казалось, что каждое лицо, которое я встречал на улице, узнавая меня, или ругается, или смеется моему падению. Словом, я по воображению более еще страдал, нежели в самой вещи встречал к тому причины. Не смотрели уже на меня как на начальника, не угождали моему взору, не отгадывали моих желаний, это весьма натурально, не должно и не могло иначе быть, но я не имел случая ни от кого усмотреть таких поступков, которые бы меня могли огорчить. Напротив, между крестьянами многие с радостью меня признали, благодарили меня и поставили бы мою душу в самое приятное положение, если б я не сделался совершенным мизантропом и не приписывал человеческих поступков одним случайностям временным и соотношениям общественной жизни.

В Киржаче новое совсем явление представилось очам нашим. Как около Москвы все было в трепете, так тут, напротив, страх никого не беспокоил. В этом местечке бывает 25 сентября ярмоночка, и мы, приехавши накануне, нашли базар самый людный: кто продает, кто покупает, на кабаках пьют, в рядах гуляют, и, казалось, всякий занят больше весельем, нежели хлопотами. Так-то еще жили обыватели в 90 верстах от

10 Зак. № 3975

столицы сожженной, ограбленной и обруганной, а когда Киржач столь мало тревожился в такой близости потому только, что беда у чужих ворот и не дошла до его вереи[30], то вероятно ли, чтобы Саратов, Уфа, Иркутск поражались той же громовой стрелой, которая ударила в Москву. Конечно нет! Нам жаль соседа, но не так, как самих себя, и ежели очень часто видим, что на одной улице в том же городе пожар, а на другой маскарад и забавы, то не будем сердиться, как многие мрачные нелюдимы, за то, что в губернских городах плясали, когда в Москве неприятель. Это очень натурально, а что натурально, того химерические постановления общества никогда не одолеют.

25-го числа сентября мы приехали в Юрьев. Тут мы нашли множество дворян, купцов, духовных и разночинцев, скрывшихся по побеге из Москвы. Не было ни одной горенки пустой, и всякий угол чрезвычайно дорого отдавался в наймы. Мы расположились дни на два у шурина моего, тутошнего городничего[31], и поелику до меня никому уже не было дела, то никто меня не посещал. Я в полной свободе мог употреблять время как хотел и видеться только с теми, кто мне нравились. Занимательнее всего для меня была беседа сенатора Ивана Владимировича Лопухина, с которым, разговаривая о предстоящих обстоятельствах, давали жизнь и душу мечтам разнообразным. Тут я нашел газеты, но в них еще не было ни слова о Москве. Тут узнал я, что Кутузов за Бородинское дело пожалован в фельдмаршалы[32], а Барклай, Ростопчин и многие знатнейшие чины основались на время в Володимире: кто лечился там от ран, кто от болезней. Так как почта из Петербурга в Россию и даже в армию должна была объезжать Москву, то и проложена она на Ярославль чрез Юрьев, и потому все известии доходили сюда очень скоро. В этом отношении городок сей сделался интересен, но это меня в нем не удерживало. Я все метил на Шую и тамошние места. Обстоятельства же сами ускорили моим выездом из Юрьева, потому что дошедшие до Владимира слухи, будто неприятель шагнул за Богородск, рассеяли такой внезапный страх в правительстве тамошнем и народе, что все укладывались и хотели бежать в Кострому за Волгу или прятаться в неизмеримые пространства владимирских лесов. В самом даже Владимире так обуял всех страх, что остановился набор рекрут, распустили крестьян по домам, и от губернатора были разосланы ордера по всем городничим убрать дела скромнее и готовиться при первой опасности ехать в Шую, а оттуда в Кострому. Распоряжении сии только умножили волнение в народе и мне казались несообразными с положением дел.

Во-первых, нельзя было полагать, чтоб армия вся или значительный корпус из нее пошел на Владимир, ибо в этой стороне нечего было неприятелю искать, кроме страшных для себя опасностей и гибели совершенной. В этом разуме и Кутузов Владимирской дороги не защищал регулярными отрядами. На Богородск, действительно, выступили из Москвы тысяч до четырех французов и шли далее, но движение сие не на иной конец последовало, как на тот, чтобы прикрыть отдаленные грабежи и поборы, ибо окрестности Москвы уже были разорены и надлежало для прокормления войск, ее занимавших, обложить ближайшие к столице уезды. Вот предмет, на который неприятель целил, приближаясь в границам Владимирской губернии, и бояться этого было стыдно, потому что владимирское ополчение, вчетверо сильнее отряда бродяг, которые около Богородска́ шатались, стояло на своей границе и могло дать крепкий отпор всякому покушению неприятеля в таком неважном числе. Но ополчение состояло большею частью из штатских или давно отставленных военных чиновников, кои, привыкнувши одни к чернилам, другие к сохе, руководствовались странным правилом: у страха глаза велики!

Я чрезвычайно обрадовался в Юрьеве возможности писать в Россию и с первой почтой отправил о себе известие к сестре в Малороссию, к сыну в Петербург, к Богдановой в Казань; потом, купя некоторые необходимые потребности, отправил с ними слугу к матушке и поехал ожидать его возвращения в Иваново, где вознамерился было остановиться до времени, ибо все города наполнены были московскими эмигрантами и квартер в них или уже не было, или платить надлежало за наем их страшную цену. Сопутники наши, актер Мочалов и Насова, отсюда разъехались по своим местам искать своих начальств, и мы, отдав долг состраданию, остались одни, без всякой сторонней компании.

Люди ничего не любят, кроме себя. Хоть и тяжело приметить эту истину, но, кажется, возразить против нее нечего. Если мы любим кого или что-либо кроме себя, то всегда найдем побудительной тому причиной отношении наши в мире. Когда оканчиваются они, теряется и приязнь. Я нашел новый опыт сего в Иванове. Прежде все домы были к услугам моим, и я мог выбирать любой. Ныне, напротив, хотя ни один из них никем не был занят, но под разными предлогами отказано мне помещение в оных, и я принужден был нанять некорыстную хоромину за рубль на день для всего моего семейства. Главный предмет моего намерения поселиться в Иванове был тот, чтоб, поблизости от княгини Куракиной, видеться чаще с нею. Но я рассудил, что и из Шуи также не далеко будет

иногда навещать ее, и дабы скорее прекратить то уничижительное положение, в каком я нашелся в Иванове, решился переехать в Шую. Посетил княгиню Куракину, побыл с ней дни два и у нее, и у себя и потом основал свое жилище в Шуе. Тут добрый городничий Шульгин, имея квартеру казенную и собственный свой дом, столько был благороден, что весь его отвел под нас, и, несмотря на множество людей, ищущих квартеру за высокую цену, предпочел приращению своих доходов удовольствие обязать старого своего начальника. С искренней чувствительностию принял я такую благодетельную услугу и, водворясь у него, расположился житьем на всю зиму. Всего бы легче было, не беспокоя никого, перебраться в женину деревню, и тем более надлежало бы на то решиться, что Шульгин никакой платы не хотел за дом свой и, следовательно, мы платили за его доброхотство примерное к нам почти наглостью, отнимая такой верный доход, но жена моя никак не могла въехать в свою деревню, где всякий шаг напоминал ей столь живо Алену ее, и по этому мрачному расположению мыслей мы стали небо коптить в Шуе.

После Москвы, особливо после того состояния, из которого я пред тем вышел, всякий уездный городок похож на строгое уединение, и мы сообразно с тем проводили наше время: никуда не выезжая в гости, к себе почти никого не принимали. Семейство Шульгина, состоящее из любезнейшей жены, сестры, приятной девушки, и ребятишек весьма затейливых, составляло весь наш круг знакомства. Всякий вечер являлся к нам тамошний политик г. Кашинцев рассуждать о Европе и военных операциях. Иногда от него было скучно, иногда смешно, по обстоятельствам. Нередко приезжала к нам княгиня Куракина, с которой и ум, и сердце находили всегда сладкую пищу. По утрам я занимался моими рукописьми и там начал писать историю владимирской моей жизни. Чиновники городские и знатные купцы редко ко мне ходили, но об этом я и не тужил. Один Теряев, молодой человек, сын зажиточного и черного купца, будучи образован и укреплен в нравственных правилах, один он навещал меня, и беседа его всегда была для меня приятна. Не в одном дворянстве можно находить людей честных и благоразумных, часто это сословие ниже многих других, когда дело идет о качествах душевных. Я нарочно здесь упоминаю о сем молодом купце, потому что грехом счел бы проронить в Истории моей хоть одно имя из тех лиц, кои стяжали поступками своими бескорыстными право на чистейшую мою признательность. Стали регулярно приходить почты, и мы от заочных родных начали получать письмы. Сын мой Павел, отвечая на грамоту мою из Юрье-

ва, первый уведомлял о кончине графини Натальи Владимировны Салтыковой, последовавшей 7 сентября; думать должно, что к преклонным ее летам присоединялись страдании души, на которую победы Наполеона сильно подействовали, и она падение столицы не умела перенести равнодушно. Я почтил память ее искренним сожалением, она меня любила, разумела хорошо, отдавала справедливость моим чувствам, и я до гроба носить буду имя сей женщины в сердце моем, наполненном живейшей благодарности за многие знаки ее ко мне благоволения. В одно время с ней скончалась и княгиня Антонина Воиновна Щербатова, дальная по родству, но ближняя по приязни, у нее некогда Евгения и я имели вседневное прибежище. Там я влюблялся, веселился, бывал в молодость мою толико крат обольщаем призраками мечтательного счастия. Мог ли я не вспомнить с именем ее всех удовольствий моего юного возраста и не потужить о кончине ее? Посланный мой от матушки воротился с известием, что она в Греблеве находится тихо и спокойно и что неприятель еще далеко от околиц.

И так, между известиями извне и домашними упражнениями, убивали мы время, которого большая часть посвящаема была любопытным расспросам от встречного и поперечного, что в Москве делается? Где наша армия? Скоро ли отступит французская? Московских жителей было много в Шуе, но, по несчастному расположению, я никого не нашел тут из своих знакомых, и потому мое сообщество от них нисколько не увеличилось, но, благодаря Бога, я умел выносить уединение свое, деля время с настоящими приятелями, которые ласкали нас без лести и препятствовали унынию овладеть слабым моим воображением. Дети мои без занятия и наук приводили меня в огорчительные размышления. Я мог их воспитывать как отец, но учить их не имел способности, ни терпения. Бог и в этом отношении взглянул на мою душу и усладил ее горечь. В Шуе прибился от непогоды московский учитель коммерческого училища, немец происхождением, человек нестарый, но с достаточными познаниями в языках иностранных, а паче в латинском. Он узнал, что мне надобен человек его состояния, явился ко мне, дорого выпросил, но дети дороже денег. Я его принял в дом, с ним жена и малолетная дочь у нас поселились. Они несколько нас потеснили, но еще раз скажу, для кого же приличнее всем пожертвовать, как не для детей своих? Итак, поруча г. Петрозелиусу обучение детей моих, которым занимался он в глазах моих, я новый получил способ наполнять досуги мои и с меньшей скукой переносить тяжкое бремя нашей жизни. Если и те, кои считают

каждую минуту новым очарованием, иногда живот свой называют игом несносным, то что ж скажет об нем несчастный, который плачет поутру, плачет и спать ложася с своей подругой. Нет муки тошнее той, как страдать и видеть, что твой теснейший друг, жена, тебе состраждет.

Холод, голод и умерщвление французов, где ни покажутся и чем ни попало, принудили неприятеля выдти из Москвы. Наполеон очистил ее 11 октября, но не прежде, как взорвавши Кремль на воздух. Сие последнее поражение обезобразило множество городских башен, а паче подействовало на Ивановскую колокольню[33], с которой он и крест унес с собой, чаятельно, вместо трофея, потому что для этого изверга крест и палка все равно. По счастью, взрыв не так был велик, как ожидать того надлежало от свирепого врага, сугубо разъяренного против России тем, что он, достигнувши Москвы, непременно ожидал в ней мира, с заключением которого мечтал на наш край надеть те же тяжкие оковы, в каких уже вся почти Европа заключена была, не смея без воли Наполеона двинуть пальцем. Того же достигнуть искал он и в Москве над российским государством, но Бог помиловал державу христианскую и, наказав нас, как некогда Содому и Гоморру, обратился паки к нам и смутил дерзновенного фараона[34], осквернившего в Москве всю святыню Господню. Взрыв не попортил ни Успенского собора, ни прочих, все они остались в целости, и нетленные мощи угодников Божьих по времени отысканы в церковных зданиях, в чем удостоверил Иловайский 5-й, вошедший первый в Москву, выпущенным в народ печатным объявлением. Узнавши о том, что Москва свободна и что гражданские власти в нее возвращаются, мы с женой решились тотчас туда ехать и, на пути посетив Владыкиных, сестру жены моей, нашли тут тещу с ее семейством. Погостивши дни два с ней и оплакав горестную участь ее, ибо дом ее в Москве сгорел дотла, и, следовательно, она должна была, не имея состояния, остальные дни века своего странствовать по детям своим и терпеть разные искушения, мы завернули в Митино к Караваевой и там сутки промешкали. Дети мои все оставались в Шуе под покровительством Шульгиных. Учитель занимал их классическими упражнениями; дочь старшая моя также оставалась, ибо мы, предприняв сие путешествие ненадолго, отправились двое налегке. Мне хотелось сторонними дорогами ехать и окружить Владимир, не будучи в необходимости заехать в оный, что мне удалось, ибо я ехал на своих лошадях, но в коляске, потому что пути не было еще, хотя и стояли уже изрядные морозы. Наконец, увидели мы наше Никольское 30 октября. В самый этот

же день и матушка изволила перебраться из Греблева в свое поместье. С какой неизъяснимой радостью мы все друг друга приветствовали с освобождением столицы! Мы плакали, смеялись, перебивали речь каждый у каждого, и замешательство общее было наилучшим свидетелем положения наших чувств. В Никольском мы прожили целый день и узнали, что тут происходило без нас.

Едва мы выехали в конце сентября, как спустя дни три потом французы появились в нашем околотке и расположились пиршествовать на лосинном заводе. Чины все выехали за сутки, товары прибраны в землю. Намерение неприятеля было занять зимние квартеры в Глинках, вотчине графа Брюса, и оттуда малыми разъездами посылать доставать провианта и фуража по нашим селениям. Партия их, идучи мимо нашего Никольского, осмотрела только места, высыпала несколько пуд муки на мельнице и, не заходя в покои, прошла далее. Никто не тронул ни скота нашего, ни людей и пожитков, все осталось в хоромах в том точно виде, как оставлено было при нас, даже церковь пощадили и против обыкновения своего ничего в ней не грабили. Итак, подмосковная наша спаслась от грабежа и опустошения. Естественная тому причина была та, что в Москве сделалась в войске их тревога. Утесняемый Наполеон нашими ополчениями, бегущими отвсюда к столице, и стихиями, потому что люди у него стали мереть с холоду и голоду, решился бежать из Москвы и бросить ее. Волнение сие дошло до Богородска, стали соединяться все откомандированные партии, и та, которой досталось на удел наша сторона, принуждена была опрометью бежать в Москву, не успев нанести нашим обывателям никакого вреда. Но оставя сии, конечно, вероятные причины нашего избавления, дадим устами и сердцем хвалу единому Богу. Не он ли явно пощадил нас, имущество наше и призрел во умилении на смиренных и обнищавших раб своих? В Греблево французы вовсе не заходили, и матушка, за которую я так боялся, ни одного неприятеля в глаза там не видала, но вместо того и она, и сестра выдержали сильную желчную лихорадку, которой следствии долго и после сестру беспокоили, она жестоко была больна и с трудом оправилась от болезни. Возвратясь в свою деревню, матушка расположилась в ней зимовать, а мы поехали на часок, так сказать, в Москву, чтоб взглянуть только на нее и опять уехать.

1-го ноября представилась очам нашим обезображенная столица со всеми еще следами ужаса. Около застав и на улицах еще множество было падали скотской, находили по местам и человеческие трупы. Не было почти никому обиталища, все лучшие дома стояли без крыш, обож-

жены снизу доверху. Людей мы от заставы до Охотного ряду не встретили десяти человек, ни одного экипажа. В охотном ряду толпилось, может быть, до ста человек, а на прочих рынках едва было ли вполы против того. Мясники и хлебники торговали на подвижных столах и на рогожках, улицы все покрыты были мусором, золой, которая, смешавшись с снегом, засорила все следы так, что кроме человеческого хода, ничего нельзя было разглядеть, да кому и куда ездить? Кроме ополчения Владимирской губернии, Ростопчина и первых властей города, никого не было. Ни в одном частном доме жить невозможно. Несколько улиц, уцелевшие от огня, представляли слишком мало квартер для частных жителей: все дома почти в центре города, не подвергшиеся пламени, заняты были чиновниками, по необходимости в Москву прибывшими к своим местам. Храмы опозорены были ужаснейшим образом, во всяком помещались лошади, у каждой кучи выгребали навоза и нечистоты, даже из алтарей. Есть ли что-либо святое для врага, подобного Наполеону? Странно, что подле многих прекрасных каменных зданий, совсем истребленных огнем кроме стен одних, остались неповрежденными самые бедные дома и хижины. Сие, кажется, придает основательность мыслям моим, упомянутым прежде, что Москва горела от порывистых ветров более, нежели от зажигателей по местам, ибо лачужки, кои не были под ветром, остались, тогда как подле них буря все в пепел превращала, а иначе как уцелеть было бы чему-нибудь.

Таков был первый наш взгляд на Москву. Изъяснить, что мы с женой почувствовали, трудно. Сошлюсь на четыре стиха, мною после написанные в элегии на потерю Москвы:

Для чувства сильного на свете нет пера:
Уста молчат, когда что душу слишком тронет,
В потоке горьких слез речь смешанная тонет,
И легкий вздох вещун сердечного добра[35].

Так, действительно, онемели уста наши, грудь стеснилась вздохами и глаза пролили источники слез, рыдало сердце, душа чувствовала тоску неизреченную. Живое и ясное убеждение для легкомысленных, что после любви к Богу и приверженности к вере нет чувства в человеческой природе сильнее любви к родине. Счастие родимого края есть наше, слава его наша, потеря его наша, бедствии наши. Но да не скажет кто-либо, прочтя прежде разные мои на счет сей же мысли, что я сам себе противоречу. Совсем нет! Я говорю о *родине*, о ней я всегда рассуждал одина-

ково, но условное выражение *отечество* сюда не подходит, о нем я мыслю не так, как многие. Виноват! Но не исправлюсь.

Душевные болезни умножились при въезде в наш собственный дом. Хотя на каждом праге его мы воздали хвалу Богу, помиловавшему нас от крайнего разорения и сохранившему убогую крышку жилища нашего, но — ах! — в каком плачевном состоянии нашли мы свои хоромы. Домовая церковь пострадала более всех прочих покоев: обои сорваны, двери царские настежь, престол на своем месте, но с остатками жирных брашен, жертвенник вынесен и брошен, образа иные на прежних местах, иные раскиданы. Некоторые принадлежности сгораемые употреблены на топку печей. По счастью, антиминс спасен был вольным нашим служителем Лаврентьем и хранился у нашего духовника в Девичьем монастыре. Я этому чувствительно порадовался, потому что сие мне подавало надежду возобновить когда-нибудь церковь. В ней, по рассказам наших слуг, жила кухарка и готовила за престолом, а где был жертвенник, тут лежал хворый солдат и тут умер. Дворовые наши люди обоего пола все были живы, но изнурены голодом, утомлены работами. Всякого из них мы оплакали, всякого видели с таким же удивлением перед собой, как бы по восстании из гроба. По Боге, первое спасибо из человеков за охранение нашего дома Лаврентью. Он, не принадлежа нам, оказал дому нашему примерное усердие и с опасностью лично своею соединил все труды, подъятые им в нашу пользу. Доколе жив он, доколе жив кто-либо из нас, он право получил на непреложную нашу благодарность. Иной бы, как наемник, бросил дом или же сообща с неприятельскими силами пограбил его. Он ни того, ни другого не сделал. Опыт достоверный, что благие чувства не породы благородной ищут, но вселяются в души честные, добрые и незазорные.

В некоторых комнатах все было на своем месте, в других все растаскано и побросано, но по зрелом осмотре всего оказалось, что, по особенной щедроте к нам Творческой, дом сохранил все убранства, нами в последнее время ему доставленные: и зеркала, и люстры, и столярная мебель почти вся уцелела, словом, дом нашел я в таком состоянии, в каком ожидать не смел, и был бы я несправедлив, если б дерзнул наравне со многими наполнять воздух неумолкаемым ропотом. В доме у нас стоял какой-то генерал Задир. Об нем люди рассказывали, что он был очень скромного поведения, всячески унимал на нашей усадьбе и грабеж, и действие огня, который и у нас два раза угрожал пожаром оттого, что иноплеменники сии, не привыкшие к нашей стуже, слишком жарко топи-

ли все печи, и от небрежения их при том многие дома часто загорались, а как не было нигде труб, то и не чудно, что деревянное строение горело дотла. От сих-то всех бед избавил нас Господь, направя в наш дом наемника верного и постояльца благонравного.

Не надобно, однако же, заключать из откровенного моего признания, что я вовсе ничего не потерял. Ах нет! И я потерпел убытки невозвратные. Как многие другие, и мне довелось сожалеть о разных лишениях. Я потерял всю мою библиотеку. Ни одной порядочной книги у меня не осталось, все хорошие были увезены, а как бы в насмешку негодные оставлены. Библиотека моя не из тех была сокровищ в этом роде, которое можно бы ценить в огромные деньги, но по тому тщанию, с каким я ее собирал лет двадцать пять, по тому иждивению, которое я на нее употребил при малом моем достатке, она становилась для меня драгоценнейшим приобретением и в мои лета необходимостью. В старости, свободе, уединении, что питательнее для сердца и ума, как книги? Их-то у меня и похитил неприятель. Он прямо меня зацепил за живое. Я никогда не пойму, каким образом я лишился книг своих. Они уложены были в пяти тюках или ящиках, заколочены и готовы к отправлению при первых свободных подводах. Один из ящиков успели наудачу взять при моих пожитках, прочие остались в доме. Подозревать русских в этом грабеже невозможно, они бы увезли все, но я из тех же книг нашел и собрал до пятисот самых худых, старинных и ни на что не полезных, следовательно, можно бы заключить, что был выбор в сочинениях, а по тому, что их украл француз, но и этого наверное сказать нельзя, потому что и из лучших творений много осталось разрозненных книг. На рынках везде множество продавалось их под разными гербами. Моих я почти нигде не находил и остался совершенно без книг. У меня пропало их таким образом до тысячи с лишком, и я непрестанно сожалеть буду о сей потере, ибо ни лета мои, ни бедное состояние не позволяют питать надежды собрать снова такое же число книг, в котором едва было ли до ста совсем бесполезных. Жаль, очень жаль этой потери! Сильно раскаивался я в моей опрометчивости, что поторопился из деревни вывезти библиотеку в город, но как можно знать было тогда, что случилось после? Как можно было отгадывать, что, идучи мимо нашей деревни, неприятель не зайдет поживиться в покоях и что увезет из московского дома книги? На что они ему? Все, что делалось, было непонятно. Когда успокоились мы от первых волнений, то я узнал, что нечаянным образом ящик с книгами, спасшийся от грабежа, наполнен был все русскими, итак, за пристрастие мое

к языку французскому судьба лишила меня всей словесности этого народа, а своего родимого наречия книги все остались. Я рад был, что не потерял ни одной духовной. Кроме сего убытка, жена моя понесла также большой и чувствительный. Вся ее гардероба расхищена, ничего не осталось к ее употреблению годного. Любя щеголять и наряжаться, она много потеряла прекрасного и редкого в этом роде, и французы за то, что не сожгли нашего дома, взяли с нас хорошую плату. Упоминая о сих двух предметах, как о самых чувствительных потерях во вкусах наших, я не говорю уже о некоторых бронзах, картинах и посуде растерянной, разбитой или увезенной. Ничего не сохранилось живописного. Прекрасные транспараны[36] ободраны, посуда вся разбита, не на чем было ни есть, ни пить с лишним приятелем. Вот как мы нашли свою собственность! Где тонко, тут и рвется! Но, слава Богу, слава ему по премногу, что дом остался цел, а без него куда бы я девался? По крайней мере, Бог не лишил меня надежды умереть в Москве, на родине, на земле моих отцов и предков. Суетное счастье! Так, конечно; но единственное уже в мои годы.

В этот приезд мы пробыли в Москве дни три, не больше. Жить в нашем доме было невозможно. Во многих покоях от взрыва кремлевского вылетели стеклы, работников в городе еще было мало, и ничего исправить нельзя. Мы ночевали в одной горенке, да и то с крайней нуждой, потому что стужа становилась день от дня суровее, а печей, истопя, нечем было закрывать. Господа французы, образованные на вкус нынешнего их времени, все вьюшки и заслоны употребляли вместо сковород, жарили на них яства свои и после увозили с собой или теряли. Днем мы разъезжали с женой в пошевнях[37], ибо иного экипажа в сарае нашем не осталось, и во всех частях города осматривали следы опустошения. Нет! Нельзя было без ужаса, без содрогания взглянуть на Москву. Один Воспитательный дом сохранился посредством просьб и убеждений от одного чиновника, в нем остававшегося при малолетных. Г. Тутолмин оказал в этом подвиге своем редкий опыт патриотического духа и сострадания к питомцам. Университет, театр, благородное собрание, аглинский клуб — все сии здания и многие другие превосходные обращены были в голые стены и почти в пепел. Кремль и соборы не почувствовали отменного поражения от взрыва, однако печальную представляли глазам картину: стены пробиты снаружи, башни обезглавлены, Иван Великий стоял, как голый столб, без креста и весь в трещинах. Долго никого не пускали в соборы, да и в Кремль нельзя было проникнуть без билета. Арсенал поврежден был чрезвычайно. Сенат, музей остались в своем

виде, но, разумеется, без окончин и с большими внутренними повреждениями. Дворец царский новый сгорел, а Грановитая палата сохранилась. Бессмертное Красное крыльцо ничего не потерпело, его созидали сильные и могучие цари российские не на год, а навеки. При таком расстроенном виде столицы кто бы из детей ее взглянул на нее равнодушно? Мы поминутно с женой плакали над ее развалинами. Сердце мое занесло меня и в Донской монастырь. Там нашел я ужаснейшее позорище. Весь монастырь разграблен и осквернен был до того, что обедни служить было негде. Во всех храмах зловонный дух навоза ошибал обоняние каждого. Несколько монахов шатались, как стени[38], и читали по утрам одни часы без литургии. Образ Владычицы, обнаженный до того, что и слюда на нем была разбита, трогал до глубины сердечной. Что говорить уже и о прочем! Все в упадке и в безобразнейшем виде представлялось. Я с трудом, в снегу выше колена, дошел до монументов моих любезных, но, слава промыслу, рука хищная их не коснулась. Кости их не встревожены неистовством вражиим. Под сводом, над ней воздвигнутым, Евгенья, схороня тленную свою ризу, приняла чистейшую жертву слез моих, и я облобызал холодную плиту, ее сокрывшую от любопытства дерзновенного. Кладбище все цело, мраморы, бронзы на своих местах. Сюда не простиралась рука предателей святыни.

Москва была пуста, но при всем том уже можно было в ней купить все, что нужно, не только для умеренного, но и для роскошного хозяйства. Подвоз начался всем припасам во множестве, цены были сходны, одно рукоделье крайне вздорожало, да и немудрено. Ополчении и побоища около Москвы извели пропасть народа, работников оставалось мало. Мы иногда видались с некоторыми дворянами владимирскими, кои служили в ополчении его. Иные нас посещали поутру и ввечеру, всякий рад был с кем-нибудь встретиться, и самое дальнее знакомство казалось приязнью. Всех более занимала нас беседа нашего духовника, Девиченского протопопа. Он, проживши здесь все это время, множество рассказывал нам разных приключений, кои очень были любопытны. Так погостивши в Москве до четырех суток, воротились в Никольское. Тут, простясь с матушкой с обещанием паки к ней приехать к святкам, отправились на свое гнездо в Шую.

Бывши в Москве, я ничего не мог узнать о судьбе сына моего Александра, как вдруг, въезжая в Шую, встречает он нас у заставы. Поражен я был чрезвычайно сим явлением, тем более, что поведение его мне становилось подозрительно по доходящим до меня насчет его слухам. На

вопросы мои, зачем, как и откуда он очутился тут, узнал, что он обезденежил, терпит нужду, растерял в побег из Москвы всю свою одежу, и, словом, потребны были ему для продолжения службы военной родительские пособии. Тяжел мне был его поход, но не время было думать о том, чтоб воротиться домой. Надлежало непременно служить, и для того, припомнив ему старую пословицу: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», снабдил, чем мог, занявши у добрых людей, одел, немножко пожурил за шалости, поучил как исправиться, благословил родительским словом, и, не медля, по нескольких днях свиданья отправил в армию. Александр поскакал, а мы остались горевать на винтер-квартерах в Шуе.

11 ноября скончался митрополит Платон. Не стало российского златоуста, не стало Мелхиседека российской нашей иерархии и старшего пастыреначальника в государстве. Утомленный старец трудами и различными искушениями судьбы, летами и недугами, он в старости маститой переселился в вечность. Кончина его последовала в любимой его обители, Вифанской пустыне, где он и погребен с подобающею честию в могиле, им самим давно устроенной. Москва, еще не отдохнувшая от сильного своего поражения, Москва, еще рассеянная по всему миру русския земли, не могла в сей потере принять того живого участия, какого достоин был пастырь ее Платон. Толико жизнь его была громка, колико смерть смиренна. Он в самые смутные дни Москвы приезжал в нее, хотел даже ехать в Можайск, но удержан от того ближними при нем. Он уже терял память, но в минуты присутствия ее имел еще огня много, и даже огня пиитического. Сие свидетельствует незабвенной памяти достойное по чувствам и слогу своему письмо, которое писал он к государю, препровождая ему образ Сергия чудотворца. Во время общего бегства духовных и мирских Платон выезжал только в Махру. Хотя обитель сия уже в Владимирской губернии, но она под непосредственным начальством состояла митрополита Платона, и потому я имел право сказать об нем в стихах моих:

Грядущего искал средь временного града,
Зря волка на пути, не бегал прочь от стада[39].

И действительно, он от паствы своей никуда не отлучался. По смерти его все замолкли, никто не приветствовал гробницы его похвалой, толико ему принадлежащей. Всякий забывал Платона! Всякому было до себя! Проповедник Евгений, подчиненный его, в Троицкой академии произнес хорошее и патетическое надгробное ему слово при погребении тела сего

великого учителя, но и ту под разными предлогами зависть оставила в молчании, она скрылась от глаз сторонних, и никто ее не читал в Москве. Августин схоронил митрополита, и тем, казалось, кончена вся его огромная слава, которая сорок лет в Москве была неразлучной подругой Платона. Жалко стало мне видеть такое уничижение знаменитого мужа. Холодность, оказанная его праху, меня разбудила от сна душевного. Я всегда чтил дарования и прямые таланты. Платон, по мнению моему, имел превосходные. Я не льстил ему живому, но хотел показать по смерти его, колико я привержен ко всему изящному, написал на кончину его стихи, они приняты с одобрением от публики ученой, напечатаны в ведомостях и были в свое время известны всему государству. Я не смею гордиться сложением сего панегирика в рифмах, но да позволят мне внутренно порадоваться тому, что я первый воздал праведный долг московскому витии, оратору и первосвященнику отечества нашего.

Между тем от чего мы спасались в Москве, то бы не миновало нас в Шуе. По неосторожности слуг и наших, и хозяина дома, вдруг в комнатах наших загорелось, и так скоропостижно, что не оставалось иного ничего делать, как скорей выбираться вон. В первом движении страха и не зная еще, куда мы денемся, все пожитки наши, малое число книг, которое сохранил я, и кой-какая мебель выброшены в окошки на улицу. Это случилось декабря 5-го и, по счастью, днем, в самое позднее утро. Народу тотчас сбежалось пропасть, кто с багром, кто с ведром и, проломавши несколько крышки, успели дом отстоять совершенно, но уже остаться в нем жить было невозможно, ибо, осмотревши печи, мастеровой этого дела объявил, что они требуют все переделки, складены поспешно, неблагонадежны к топке. Итак, что делать? Шульгины, добрые люди, неистощимые в услугах, пустили нас в свои казенные покои, из четырех комнат отдали под нас самых больших две и стеснили себя более прежнего. Я никогда не забуду, с каким доброхотством госпожа Шульгина, не помня о собственном своем убытке и положении, будучи на сносях беременна, сама помогала вытаскивать многие наши и тяжелые пожитки. Меня мучила не столько теснота и новая эта расстройка, как то, что, занявши дом их, воспользовавшись такой редкой благосклонностью, я и слуги мои были причиной или могли сделаться ею в таком чувствительном для них убытке, если б дом сгорел, но, слава Богу, он не попустил за их добродетель поразиться такой отчаянной бедой и меня не избрал к тому орудием. Тут, при стечении разного рода людей для утушения пожара, видел я новый опыт того, что все делается без чувств сердечных, а

по одним отношениям времени. Из нескольких сот человек, прибегших на пожар, очень немногие и едва ли десять помогали людям моим выбрасывать мои пожитки, а все кидались отнимать огонь, хотя они толпой своей мешали тому малому числу людей, которые для сего были нужны. Вот что делает время и случай! Не будь Шульгин городничий, дом его сгорел, будь я еще губернатор, все бежит к моим вещам и бросает дом на съедение огня. Так, так! Люди всегда будут равнодушны, холодны ко всему, что не сопряжено с личной их пользой и выгодами. Пора бы и мне к этому привыкнуть!

Разные занятии препятствовали скуке приражаться ко мне. Я уже сказал, что в это время писал я мою Историю. Сверх того, часто марал стихи и тогда же выкинул в свет свою пиесу под названием «Везет»[40]. Она была во всей России принята с успехом и удовольствием. Я довольно счастливо поиграл насчет этого слова прямо русского. Произведение это не было напечатано, но во всех городах имели с него копии. Многие выучивали по нескольку строф наизусть. У меня брали с него списки, и в армию, и в Оренбург, в Одессу и в Питер, всюду полетел мой «Везет». К этому сочинению прибавилось много и других. Стихотворство на меня нашло, как болезнь поветрия или хмель запоем. Это способствовало мне прогонять мрачные идеи, коими вся жизнь моя в Шуе без того была бы наполнена. Частые мои свидания с княгиней Куракиной и у нее, и у нас, и потом у брата ее, доброго моего приятеля, сенатора Нарышкина, который еще не отправлялся догонять Сенат в Казань, а жил в владимирской деревне жены своей недалеко от Шуи, все сии свидании поддерживали дух и помогали сердцу сносить тяжкое бремя унылого существования. С друзьями чего не облегчишь? Чего не разделишь? Общее наше странничество стягивало крепкими петлями узел дружества между нами. Страсть любовная пылка, в ней все очаровании, в приязни тихие отрады дают сердцу какую-то новую жизнь стократ приятнее восторгов воображения. Так-то мы жили в Шуе, беседуя откровенно или письменно с тем же чистосердечием сообщаясь между собой.

Признаюсь, однако, что мысль о моей отставке еще тревожила слабую мою душу, еще рассудок не успел выработать моего сердца, и бледность на лице при всяком о том напоминании, при каждом слове или появлении нового лица ясно показывал[а] что я не умею владеть своими чувствами. Внутренное мое состояние изображалось на всех наружных моих чертах. К именинам Кашинцева дочери прискакал в Шую почти неожиданно губернатор владимирский Супонев. Он был ему родной шу-

рин и хотел тем приласкать его. По счастью, в это же время я был у Нарышкина и не имел случая с ним встретиться, но он, зная меня жителем Шуйским, заезжал ко мне с визитом и во свидетельство того оставил, как водится, карточку. Действительно, по счастью я с ним не видался, ибо я не в состоянии был без очевидного смятения видеть другого на моем месте, и таким образом поступившего. Винюсь в том, это малодушие непростительное, но выше ли я человека обыкновенного? Со всеми смертными в ряду, я тем же, как и прочие, подвержен слабостям ума и сердца. Супонев тут пробыл одни сутки и воротился в Володимир. Он летал, как молния. Это было ново для жителей Владимирской губернии, которые давно уже такой прыткой езды не страшились. Супонева нападение на суды могли быть всегда нечаяннее моих и, следовательно, не для всех равно выгодны. Тот же Кашинцев, который, бывало, в подобные пиршества превозносил мое имя, желал сегодня многие лета одному Супоневу. Дело обыкновенное! Новый кумир! Новые жертвы, новые всесожжения! В Катеринин день[41], на именинах дочери его, при Супоневе, как при солнце ярком, все его сателлиты были собраны, весь город около его сидел за столом в трепетном молчании, и ждали проглаголания, чтоб при первом еще слове соглашаться уже раболепно с последним. А в Андреев день[42], в тезоименитство старика самого Кашинцева, один я у него обедал, и, кроме коротких наших, никого уже тут не было. Как от чумы все удалились. Всякий отвечал на приглашенье: «Имей мя отреченна»[43]. Sic transit gloria mundi*. Да зачем я этим трогался? Зачем портил кровь чистую и здоровую? Всему бы этому, напротив, надлежало смеяться, как на театре над фарсой. Но ах! Того-то я и не умел из себя сделать. Не умел обращать в пользу свою забавных наставлений мудрого нашего Фон Визина, который так удачно и справедливо сказал, смотря на позорище света:

Вот как вертится свет, — А для чего он так,
Не ведают того ни умный, ни дурак[44].

Обещавши к святкам быть у матушки, мы собрались ехать из Шуи 13 декабря, но с намерением после праздника опять воротиться. Теснота жилища у Шульгиных не позволяла мне думать о том, чтоб дети, мамамка, учитель с своим семейством могли тут долгое время без взаимного отягощения пробыть, итак, план нашей настоящей поездки расположился

* Так проходит слава мира (лат.).

следующим образом. Я, жена и дочь старшая, мы ехали в Никольское, и на своих лошадях, а меньшие дети с их собором переехали в Александрово и там поселились очень спокойно до весны. Ничто их не тревожило, особый флигель давал каждому теплую и покойную горницу. С каким попечением матерним заботилась о детях моих жена моя! Она предупреждала мои желании, отгадывала мои мысли, искала тешить меня, как ребенка. С ней я не имел нужды прибегать к хитрости, в ней я не находил мачехи моим детям, она пеклась об них, как бы о своих собственных. Сколько в эти смутные времена жизни моей показала она мне опытов своего великодушия и любви ко мне! Я должен ей здесь этим отзывом признательности. Расположа прочным образом пребывание нашего семейства в жениной деревне, мы поехали в Никольское обыкновенным нашим путем, то есть на Юрьев, Суждаль, Киржач и прямо в подмосковную. Таким средством Владимир всегда у нас оставался в стороне, и я, избегая его, баловал свои слабые чувства.

Приехавши в деревню к матушке, исполнил обычный долг христианский и говел к 24-му числу декабря. Десятилетняя моя отлучка разлучила меня с московским моим духовником навсегда. Он пред моим приездом посетил хворую мою мать, исповедал ее и, возвратясь в Москву, сильной занемог простудой. Узнав о сем, я не мог его ожидать в деревню, да и посовестился послать за ним. Надлежало мне взять нового отца духовного. Я решился открыть совесть свою нашему сельскому священнику, довольно сведущему и кроткому человеку. Итак, он сделался моим отцом духовным. Сами обстоятельства вели его к тому, чтоб остаться им и вперед. Исполнив долг веры и проведя первый день праздника с матушкой, поехали мы в Москву, где и расположились было на одну неделю, а прожили весь генварь. Комнаты наши несколько вычистили, прибрали без нас, и мы уже с довольным простором в них поместились. Москва становилась меньше ужасна, глаза привыкали к ее развалинам, и во многих местах топоры уже чинили сожженное и строили новое. С каким удивлением и горестью узнал я, приехавши в Москву, о кончине нашего духовника протопопа Девиченского Алексея Ивановича Гречищева. Он умер в самый праздник и был болен только неделю. Великодушный подвиг сердца его убедил во все время нашествия неприятельского жить при монастыре и ходатайствовать о пощаде старушек, в нем оставшихся, равно как и о соблюдении монастырских утварей. Успех во всем том если радовал, с одной стороны, благородную его душу, с другой — подействовал сильно на физику, подверженную разным изнурениям. Страх

смерти, всечасно приводящий разум его в слабость, а чувства в содрогание, потеря всего состояния, ибо дом его сгорел, и он жил в сыром углу Девичья монастыря, все это так расстроило его нервы, что он не мог долго жить, а снисходительный его приезд к матери моей в погоду вьюжную довершил изнеможение естества. Он слег в горячку, французы везде ему мечтались, напуганное воображение не давало ему ослабы ни на минуту, и в таких волнениях крови бедный сей и прямо человеколюбивый священник расстался с нами навеки. Я жалел об нем и жалеть буду во всю жизнь мою как о человеке совершенно достойном, приятеле добром, собеседнике просвещенном. Мы было снова друг к другу привыкли. По отставке моей он часто посещал меня, мы с ним еще в молодости вместе в Университет в одни и те же школы ходили. Когда отец мой купил в соседстве монастыря дом в 84-м году, он принял на дух все наше семейство и с того времени всех нас исповедал. Поведение его, качества ума, свойства души, — все было сообразно званию, им на себя принятому. Я плакал много над гробом его и поставил ему камень в память особенного моего к нему уважения. Жена его и дочери доныне помещаются в убогих хижинах нашего дома. Да даст мне всеблагий Господь силы и разумение быть семейству сего почтенного назидателя совести моей долго и долго полезным, а отшедшему от нас да сотворит вечную память.

Сим приключением оканчивается черный год в моей жизни, черный и в летописях России. Помощию Божиею проходило мое уныние, душа пробуждалась от своей дремоты, я начинал по-прежнему сближаться с людьми и, сохраня мизантропию в душе, старался, чтоб она не слишком видна была из наружных моих поступков. Философия, не выходящая из существенности, но простая, легкая, успокоивала мои чувства. Занимаясь детьми, любя жену, я в приятнейших упражнениях проводил время дней моих дома. Недостаток часто заставлял нас вздыхать, но удовольствие находить в нем доказательство моей правоты пред государством по службе разгоняло облаки мрачных моих мыслей, словом, я начинал быть доволен моей участью свободной столько, сколько способен человек быть доволен настоящим. Хвала Творцу всяческих, не попустившему мне впасть в ров глубокий отчаяния и сохранившему весь дом наш от толиких зол в мимошедшем лете. Пройдет сто лет, и историк, оглядываясь на наше время, терять будет перо из рук, приходя в ужас от картин, кои курево столицы не совсем еще очистит в глазах его. В тревоге всего чувственного своего состава он черкнет: «Был Наполеон в Москве». И потомство наше, читая ужаснейшую строку сию, обольется кровавыми слезами.

1813

Бог, наказав Россию в прошедшем годе чувствительнейшим образом, благоволил в настоящем воспрославить ее и удивить в ней мышцею своею[1] все народы, рассеянные по лицу земли. Россия встала и подъяла грозное чело свое. Сыны севера снова начали пожинать лавры. Скоро по взятии Москвы ознаменовалась благодать Божия над ратию российской. Усыпил Господь супостата крепкого и затмил высокий разум его. Наполеон, пришед в Москву, занялся грабежом оной и пожарами. Три недели он тут медлил, всякий спрашивает, зачем? И никто понять причины такой грубой ошибки не может. Если б он, пробыв дни три в столице, бросился гнать Кутузова, сей хитрый полководец российский, не имев времени собрать расстроенных сил своих, не имев времени вооружиться и снова выступить ногою твердою на брань, конечно бы должен был отступать далее и далее, и что потом? Исчислить нельзя всех бед, коим отечество наше подвергалось. Россия стояла у пропасти, казалось, минута падения ее уже подвинута роковой стрелой на обширном кругу часов судьбинных. Бог один ее помиловал, взор провиденья не попустил погибнуть.

Пока Наполеон, изумленный своими удачами, как пьяный человек от хмеля, медлил в Москве, рвал Кремль и грабил достояние граждан, не щадя самой святыни, Кутузов собирал войска, к нему отвсюда текли ополчении, формировались полки, становились в ряды отборнейшие люди со всего государства, и в ноябре месяце уже гнал он сам бегущего врага из пепельной Москвы. Никто не отнимет у Кутузова той славы, которую он в потомстве вечно иметь будет за мудрые распоряжении, посредством коих Наполеон принужден был тою же дорогою пробираться домой, какой приходил в Россию, следовательно, путем идучи голодным, опустошенным, без квартер, без провианта, без фуража, он поморил людей, погубил всю кавалерию свою, растерял артиллерию, словом, приведен, не доходя еще до границ Российской империи, до такого ничтожества, что едва с несколькими тысячами успел выйти вон из пределов нашей империи и совсем очистил ее от своей проказы. Начали всюда возвращаться судилища гражданские. Правительство обратилось к мерам благоустройства в городах и селах разоренных. Государь сам, оставя двор свой, полетел в армию и ввел ее победоносну в соседственные государства. Начались новые политические союзы, Пруссия присоединилась к нам первая и вообще решилась преследовать врага рода человеческого. Но повесть о сем до меня не принадлежит. Я брошу здесь только несколько

собственных своих идей насчет такого крутого оборота дел и примусь опять за собственную свою Историю.

Никакому не подвержено возражению заключение общее, что Наполеон все свои успехи похоронил в Москве. Так! Но отчего же он столь долго в ней медлил? Говорили, что войска его, натерпевшись всякой нужды на пути в Москву, бежали в нее, как в обетованную землю, надеясь найти золотое дно, и что ошибка их произвела волнение, которое устрашило Наполеона до того, что он не смел пошевелить солдат своих, а забавлял их грабежом и буйством. Это не значит великого ума! Наполеон был прославляем народами как гений, следовательно, он должен был предвидеть и предупредить мятеж своих воев и не допустить их до того, чтоб они обратились ему в препятствие к достижению цели знаменитой и чрезвычайной. Говорили еще, что Наполеон надеялся, вступя в Москву, на перемирие и потом на совершенный мир, для нас уничижительный. Опять вижу ошибку великого ума и ошибку непростительную, какой нельзя бы было ожидать и от самого последнего дипломата, не только от такого опытного полководца и дерзновенного самозванца. Ужли он не видал, что Англия всю войну затеяла, завела и заплатить готова? Ужли он не догадался, что Россия, непримиримый враг его народа со времени его самодержавия, ничего так не домогалась, как разрушения оного, и плакала о всяком снисхождении, которое в прежних временах оказывал ему помазанник христианский. Или он не умел разобрать, что народная война в России стократ пагубнее для него будет самой войны Испанской, которая поедает несколько уже лет его воинство и во внутренности своей готовит беспрестанные могилы прибегающим туда французам? Где же его ум и хитрость, когда всего этого он предусмотреть не мог? Как не сообразил, что климат один вытеснит его из севера непременно? Если б Наполеон, пришед в Москву, велел войскам своим все покупать на чистые деньги, которых он ввез в Россию пропасть, ибо нет сомнения в том, что он множество напечатал в Польше еще фальшивых наших бумажек, если б он приласкал обывателя хорошими поступками, а паче всего если б он не тронул церквей наших и сам бы в них помолился, как некогда в Египте с притворством надел чалму турецкую на чело свое мнимо православное, то без сомнения бы народ и, может быть, многие повыше черни люди возвратились в Москву к своим собственностям и приняли его, как мудрого преобразителя царств, с восторгами радости, ибо внутренний беспорядок в России становился несносен, и всякий, кто бы его ни поправил, показался ангелом хранителем. Наполеон, вопреки всем своим

пользам и отвергая всякое благоразумие, предстал, как хищный зверь, в стенах московских, и все, испугавшись ядовитого его взора, бежало из домов своих, как робкий заяц от собачьего следа. Вот в чем я вижу по мыслям своим непостижимую благость к нам Божию. Чудесное событие ошибок Наполеона, его ослепление не станем чему-либо иному приписывать, как назидательному о нас Божию благоволению!

В этом смысле рассуждая, нельзя не признать и московского всесожжения спасительным чудодейством. Надобно было ей гореть, надобно погибнуть, ибо без того едва ли бы кто удостоверился, что Наполеон — подобный прочим человек и подвержен так же, как и другой, ошибкам. Всякий считал его за существо необыкновенное, за гения беспримерного, за царя небывалого. Обольщение было почти общее. Человек сей издали казался премудр, прозорлив, дивен и благ, все журналисты из-под кнута превозносили его до небеси. Деятельность его неусыпная изумляла каждого, мир весь глядел на него, как на диво свое. Но когда Москва показала его вблизи, подвела его, так сказать, под нос, очаровании исчезли. Увидели его алчность, высоковыйный ум, жестокое сердце, хищный характер, душу мрачную и безбожные замыслы, словом, увидели Наполеона без призраков, каков он был от природы, и ненависть, остервенив поселян и всех, вложила против него мечи булатные в руки каждого воина. Все или бежали от него, или, встречаясь, били чем ни попало, и таким образом угодно было Богу смирить вознесенную гордыню врага нашего, а нас возвести от рова погибельного. Заключение мое отгадывается! Все, что с первого взгляда казалось нам ужасно, по зрелом рассмотрении событий и по связи причин с последствиями их явилось к лучшему и признано действием всеблагого Промыслителя, Бога! Если победа над воинством на поле сражения часто заслуживает всенародные клики торжества и песнопении в храмах, то сколько вековечных молитв обязаны мы приносить в них за нынешние победы не над ратию одной, но над предубеждением, которым быв ослеплены, едва не подверглись тихо и нечувствительно жестокому игу страшного властителя Европы. Торжество над заблуждением есть, по мнению моему, говоря христиански и философски вместе, самое знаменитое торжество, какое только дано человеку одержать на земле и которого без содейства невидимого никто, никто в мире приобрести да не польстится. Обратимся теперь к убогому моему жилищу и ко мне собственно.

Первый день года мы встретили в Москве в собственном нашем доме одни с старшей моей дочерью. Все семейство наше было рассеяно. Ма-

тушка жить изволила в Никольском, и сестра при ней, а мои дети меньшие наслаждались тишиной деревенского жилища в Шуйском уезде. Москва еще была пуста и непривлекательна. Мы прожили бы в ней не долго, но занемогла княжна Варвара и продержала нас весь генварь месяц в столице. Трудами хорошего врача, который случайно сделался нашим, она вылечена очень удачно, и мы поехали обратно в Шую, но не прежде 10-го февраля. В подмосковной нашли матушку в большой слабости. Волнении сердечные, тяжкие беспокойства по летам, ее в последнее время постигшие, недостаток, сама старость, — все приближало ее к гробу, и уже с 6-го числа декабря она не могла тронуться из своей спальны ниже к обедне, не могла даже и стоя слушать комнатных своих молитв; жестокий геморрой лишил ее последних сил. Тщетно дружба Голицыных и прямо родственное их расположение к дому нашему искали продлить дни ее доставлением ей в подмосковную искусных врачей из штата Голицынской больницы[2], все было уже поздно. Натура готовилась взять с нее дань свою обычную. Она, как свеча, таяла день от дня, но голова и память ее были еще свежи и в полной своей деятельности. Минутами она говорила о кончине своей, а в другие загадывала строиться, задумывала разные извороты и, казалось, стоит еще далеко от конца своего. Так маялась она в сии последние дни жизни своей между боязни и надежды, готовилась к смерти и страшилась ее. Купно в сие же время угодно было ей продать лесную небольшую дачу, и как товар сей под Москвой чрезвычайно возвысился в цене, то она получила за четырнадцать десятин довольно высокого, хотя и тонкого леса до девяти тысяч рублей с рассрочкой, однако ж, на два года платежа. Сей суммой, то есть половинным ее числом, которое она получила тотчас, заплочены некоторые строжайшие долги по дому, и в этом распоряжении ее я принял по воле ее участие. Она мне изволила сообщить свои виды, и продажа сия сделана была по предварительном со мной сношении. Я не мог равнодушно принять такой знак ее доверенности, тем более что она редко или почти никогда не сообщала нам своих мыслей, когда цель их была особенного уважения, не потому, чтоб она кого-либо из нас не любила или бы не доверяла нашей скромности, но, быв увлечена природным характером достигать успехов со всей возможной скоростию и от престарелых лет положа всю свою доверенность в любимой служанке[3], она не могла никогда дать полной воли чадолюбию своему, и от этого почти все свои предприятии, не тая от нас вовсе, никогда, однако, и не открывала в разговоре семейном.

Свидание сие между нами было последнее, но мы не могли этого отгадывать. Лекарь не совсем отчаивался в ее положении, он подозревал в ней начало водяной в груди и думал, что она долго не протянется, но не полагал, чтоб прежде весны, а может и осени последовала решительная минута. Матушка, чувствуя себя в изнеможении всего физического состава, часто входила со мной в речь о домашнем состоянии своем. Из всех обстоятельств, кои ее дух могли тревожить по недостатку, самое главное было то, что сестра моя была выдана за Селецкого с условием, что по кончине матушкиной она получит следующую часть имения. Сие сказано было в рядной, и матушку очень беспокоило такое распоряжение, она видела, что оно связывает меня с зятем так тесно, что я не буду свободен в управлении имением после нее, не разделясь наперед с сестрой, и знала, что подобные разделы более или менее, но всегда сопровождаются большими хлопотами. С откровенностью сердобольной изволила она мне изъяснить свои о том заботы. Я старался всячески смягчить их, но, желая также быть сколь возможно более независим после нее в моих распоряжениях, я просил матушку описаться еще при жизни своей с сестрой и предложить ей вместо ожидаемой части из недвижимой собственности вексель на такую сумму, которая была бы соразмерна ее претензии по праву и приданому, с каким другая сестра моя при батюшке выдана была за графа Ефимовского. Матушка признала мысль мою правильной и вошла в переписку с сестрой Елизаветой, но не успела достигнуть желаемой цели. Смерть в самом течении остановила все предпринятые ею меры.

Подождем еще писать о сей последней минуте и отдалим ее в повествовании моем хотя несколькью страницами. В течение генваря мы неоднократно на сутки и на двое наезжали из Москвы к матушке в деревню. Болезнь дочери моей требовала, чтоб я чаще был в городе для пользования ее, и потому кроме Никольского редко из городского дома выезжал куда-нибудь. Милая и достойная княгиня Куракина в то же время приезжала недели на две в Москву и, остановясь у родных своих, всякий день с нами видалась. Она до того была снисходительна, добра, что даже, возвращаясь в свою деревню, заезжала видеться с матушкой и гостила у нее целые сутки. Какой благородный подвиг! Какой несомненный знак дружества! И она вместе с лекарем утверждала нас в той мысли, что матушка еще с год протянется. Удостоверясь в том, мы решились опять ехать в Шую. Матушка жалела о нашем отъезде, но вместе и радовалась, ибо сие вело ее к догадке, что она еще не так худа, когда мы с

нею расстаемся. Какой больной не ищет себя обманывать! И она отъезд наш толковала в свою пользу, а мы точно потому боялись остаться при ней, чтоб она, решимостью такой быв испугана, не подумала, что конец ее близок и что я не смею уже и на месяц от нее отъехать. На месяц, говорю, потому что, прощаясь с ней, мы давали ей слово к святой неделе непременно со всем семейством нашим воротиться, и я действительно думал, что мы еще застанем ее, иначе конечно бы мы не оставили ее. Но кто узнавал будущее? А настоящее требовало от нас того, чтобы мы для спокойствия ее и благонадежности удалились от Никольского, дабы тем продлить обольщении надежды в животе своем, коими она поддерживала остальные свои силы.

Ехавши в Шую одним и тем же путем по-прежнему, мы встретились с некоторыми жителями Владимира в Суждале. Человек пять приехало сюда нарочно с нами видеться. Благодарность есть лучшее достоинство смертных. Имена тех, кои способны ее оказывать, должны жить всегда в памяти нашей. Нас посетили Бенедиктов, прокурор, Дмитревский и оба главные секретаря, губернского правления и губернаторский[4], разумеется, что семейство Шумиловых никогда не теряло случая подобными свиданиями на пути, где только могли, оказывать нам свою приверженность. Двое суток провели мы в этом сообществе. Много было в речах льстивого, как водится в мире сем лукавом и прелюбодейном, но иногда видел я с удовольствием черты сердечного чувства. Говорили о Владимире. И там уже становились ко мне милостивее, не так поносили меня, злодеи самые щадили мое имя, и клевета начинала стыдиться своей прежней запальчивости. Но что мне было уже до того? Разоря храмину так называемого доброго имени, о которой я столь тщательно и тщеславно трудился, враги мои не в силах были ни восстановить ее для мира, ни потрясти здание сие в самой совести, которая никогда моей славы пятнами не марала. «О, люди — люди могут все, и Бог с ними!» — Часто я отвечал на повторяемые приветствии гостей моих. Снявши голову, по волосам не плачут. Стали узнавать цену и мне, но поздно. Так всегда человек оплакивает блаженство, когда сам его всячески теряет. Справедлива давнишняя латинская аксиома: «Bonum non cognoscitur, nisi omissum»*.

Мы приехали в Шую 22-го числа февраля и опять кинулись в объятии добрых Шульгиных. Они нас приняли с обыкновенною и непритворною их ласковостью, но жить в их доме, ни в собственном, ни в казен-

* Хорошее узнается нами тогда, когда его с нами уже нет (лат.).

ном, было невозможно. В городе помещение было трудно, приискал нам Шульгин лучшую квартеру, но и та имела для семейства нашего большие неудобства. Что делать? Жить одним в городе и детей оставить в Александрове было некстати и неприятно, тем более, что они снова не имели за собой назидательного присмотра кроме старой своей мамушки, неоцененной женщины во всех отношениях, но которая не могла уже везде за ними кидаться. Временный учитель, который по общему несчастию к нам прибился в Шуе, узнав об освобождении Москвы и видя по газетам, что все учители Коммерческого училища, в числе коих был и он, вызываются к своим местам, должен был к оному явиться, и поелику с обязанностью сей согласовался и произвол, то это чужеземное семейство во время наших разъездов оставило наш дом, и ребятишки мои снова остались без учителя. Итак, надлежало всем нам жить вместе в одной кучке. Необходимость заставляла нас решиться переехать в Александрово. Сколь ни тяжело было жене въехать в свою деревню после Алены и без нее, надобно было принести эту жертву обстоятельствам и там поселиться. Совсем уже мы к тому приготовились, дети к нам приезжали повидаться и опять воротились ждать нас в деревню. Приехавши в Шую в последний день масленицы[5], мы уже вступили в Великий пост, и день переезда нашего был назначен. Я собирался с силами духа, чтоб выдержать первую минуту въезда жены моей в родину обожаемой сей дочери, которой тут уже она никогда найти не может и с которой в этом же месте, деля все забавы ее возраста, ни минуты не умела быть в разлуке. Я искал душевно твердости, толико нужной в подобных обстояниях, как новый и на тот момент совсем неожиданный случай всех сил моих потребовал для себя. 28 февраля во время нашего обеда прискакал эстафет ко мне с известием, что матушка при последнем конце, что ее соборовали уже маслом и что лекарь не дает ей больше суток жизни. Весть эта меня поразила! Сколь ни естественно было мне в мои лета хоронить родительницу, для сердца, приобыкшего всяким нежным чувством дорожить наравне с самой жизнью, потеря отца и матери есть потеря прискорбная, и столетние старцы бывают оплакиваемы своим порождением. Письмо о сем писано было ко мне Классоном и с припиской от сестры. Меня ждали тотчас в Москву, и я не медлил нисколько, но поспешность моя ни к чему не послужила. Оставили мы детей опять в деревне, а сами, собравшись с старшей дочерью налегке, назавтра, то есть 1 марта, поскакали в Никольское. Не судьба была жене еще видеть свое Александрово. Как случай часто удаляет от нас непредвидимым и благотворным образом те

намерении, в коих сердце наше успеха находить не может! Мы оставили Шую навсегда, то есть как жители ее. Дорога избитая и худая, вьюжная погода, короткие дни, все нам препятствовало скоро доехать. Натура ни в каком случае не терпит насилий, а я от природы не могу по ночам ездить, ни спать в дороге. Так состроена моя физика. Некогда, ехавши из Москвы в Питер жениться, влюблен будучи до смерти, и в двадцать с небольшим лет, я в декабре по прекрасному зимнему пути приехал в шестой день и столько торопился, сколько сил во мне было к такому, прямо сказать, по моей натуре подвигу, то мог ли я ныне, хотя самой высокой моральной причиной побуждаем, мог ли я скоро поспеть в свою деревню? Нигде не останавливаясь, кроме ночлегов, я из Шуи приехал в наши окрестности подмосковные в четвертые сутки, но увы! К чему было торопиться? Я нашел только гроб и кинулся на него со слезами.

В самый тот день, как мы выехали из Шуи, мать моя испускала последнее дыхание в своей деревне. Марта 1-го она скончалась. Душа ее, отходя к вечности, оказала в последние сии минуты черты характера неподражаемого. Она уже не могла не отгадывать, что близок час ее разлуки с миром. Никто не мог долее скрывать от матушки сей роковой воли Создателя. Масленицу она провела изрядно и в том же положении, в каком мы ее оставили. Слабость день от дня умножалась, и даже самый геморрой, которого она в последние времена жизни своей столь сильно испытала все мучения, и сей недуг терял свою силу, она начинала менее его чувствовать. Еще писала она ко мне своей рукой по нескольку строк каждую почту, но почерк изменял ей, и рука тряслась. 28 февраля сделался ей легенький удар, и вдруг появились признаки приближения смерти, однако память свежая и ум неповрежденный сопроводили ее до гроба. Почувствовав себя худо, она возжелала всех христианских отрад, напутствована святыми дарами и особорована маслом. Тут душа ее, казалось, предвкусила уже вечность. Без робости готовясь умереть, она имела твердость проститься со всем своим домом, заочно каждого из детей моих и сестриных, также Селецких и Ефимовских благословила и образа им назначила сама поименно, потом всякого человека во дворне своей благословила из рук своих образом, объявила волю свою сестре моей, состоящую в том только, чтоб любимая ее женщина, без которой она не могла обойтиться ни минуты во всю жизнь свою, Елизавета, была удовлетворена по всем счетам домашним, кои она подписать незадолго до конца своего сама изволила и, поручив ее нашему покровительству, стала забывать все житейские попечении. Беспрестанная молитва из уст ее

возносилась к Богу во весь тот день. Ночь она провела в забыти, и чувства ее притуплялись постепенно. С вечера она простилась с сестрой моей, говоря: «Завтра уж мы не увидимся». Но так еще память ее была цела, что принимала поздравлении с днем именин дочери моей Антонины, которые приходятся 1 марта, и вспомнила об ней. Назавтра, в самое 1 марта, это приходилось на первой неделе в субботу, она еще дышала несколько, но уже голоса ее было не слышно, и во время обеден благочестивая сия душа отошла от нас в вечные кровы, куда переселяются все, толико лет в страхе Божием пожившие.

По смерти ее никаких не осталось бумаг ее руки, в которых можно было бы видеть предварительное ее какое-либо распоряжение собственностию своею. Все, что оставалось, было ее. Задолго очень до сей минуты, несколько лет назад, как сказывали, изволила она после исповеди в один день объявить свои последние желания духовнику Алексею Ивановичу, и он их своей рукой написал. Подлинное хранилось у него, а копия была у матушки. Никому, кроме их двух, не было известно содержание сей бумаги. Что она существовала, в том нет сомненья, ибо духовник, никогда не объявляя мне всей ее воли, говорил только о том, что могло требовать исполнения тотчас при ее кончине, и сие относилось к одним обрядам церковным насчет погребения. В прочем же никогда я не слыхал ни одного слова о сей так называемой духовной. Видно, что она или ничего не содержала в себе важного и потому затеряна, или Богу не угодно было дать ей силы в семействе, потому что духовник во время французов никому ее не отдал, а как дом его сгорел, то и документ этот погиб тут же. Сверх того, по какому-то особенно странному случаю, копия с этой бумаги, которую, как выше видно, матушка оставила для себя, хранилась в особом столике, стол этот забыли перевезти из Москвы во время общей тревоги. Матушка об нем ничего не молвила, и он потерян со всем тем, что в нем было. Я делал все возможные разыскании об этой бумаге, дабы не иметь ничего на совести, но духовник уже не мог нам открыть сей тайны, и сама даже Елизавета, довереннейшая женщина у матушки, божилась мне, что никогда не видала, не читала и не знала про эту бумагу, а конечно, по любви матушкиной к ней, она бы первая сделала гласным всякий подобный акт и не допустила бы его пропасть как самый важный залог матушкиных милостей к ней, ибо трудно полагать, если какой акт был составлен, чтоб он не клонился на пользу и Елизаветы, да и матушка, кончаясь, беспрестанно твердить изволила сестре: «Богом заклинаю вас не теснить Елизавету и заплатить ей по счетам, потому что

я ей никакого состояния не сделала». Итак, все сие соображая, должно думать, что духовная была не на важные предметы сочинена, а только на церковные обряды, и сие изволение ее состояло в том, чтоб хоронили ее три попа только и без всякой пышности, чтоб гроб и все, что пойдет с нею в землю, было самое бедное и простое и чтоб гроба ничем не обивали. Воля ее совершенно исполнена. Состояние тела не позволяло ждать долго моего приезда. Сестра одна в деревне принуждена была сама заняться всеми подробностями похорон. Сколько ни умеренны были расходы, сколь ни просто отправлялось все, но и тут, по страшной во всем дороговизне, похороны матушкины стали нам в две тысячи рублей, и сии деньги если б не подарили нам Голицыны, постоянные и редкие наши благотворители, то своих денег после матушки не оставалось в доме и на простой наш прожиток недельный. Вот как богаты умирали мои родители. После отца осталось несколько грошей у кровати на столике, после матушки едва ли несколько рублей нашли в ее шкатулке. Знаменитых предков потомки! Так-то суета ваша преходит, так-то сбывается над вами заповедь Господня: наги родимся и наги отходим в землю![6]

Тело матушкино отпето в Никольском духовником ее последним, тутошним священником нашим сельским, собором с двумя другими. Гроб дубовый, окрашенный черной краской, без скоб и всякого украшения, заколочен тогда же и оставлен в церкве до моего приезда. Главные издержки, кои к необходимой роскоши отнести должно и от коих мы, оставшиеся, не могли освободиться, боясь осуждения стороннего, состояли [в] двух покровах, из коих один отдан в село наше Никольское, а другой свезен в Донской и там оставлен, словом, как я ни старался избежать укоризны в излишностях, духовная процессия, место в монастыре и поминовении в разных церквах во все учрежденные на то чрез целый год сроки, все это по счету, мне поданному, стало две тысячи рублей. Мы приехали в Никольское 4-го числа после вечерен, и вся церковная церемония уже была кончена, гроб, готовый к отъезду, стоял в храме. Не доезжая села за четыре версты, встречен я был Классоном, которого один вид был уже мне предзнаменованием постигшей меня новой потери, и, войдя в покои, мы взаимно с сестрой кинулись друг другу на шею и залились слезами. Бедная сестра! Страдалица весь свой век, какие удары ее не постигали? Какой дани слезной не заплатила она? Кого не огоревала? Есть люди, с коими несчастье не расстается, надобно в том признаться. Странно, однако, как Бог невидимо милует человека и среди самых зол, на него насылаемых. Не напрасно апостол говорит, что искуше-

ние нас не достигнет, токмо человеческое[7]! Я сему видел многие опыты в жизни. Физика моя с ребячества не выносит зрелища смерти. Как ни старались меня приучить к тому, все было тщетно. Я не мог и не могу видеть ни умирающих, ни умерших без сотрясения в нервах и крайней расстройки в воображении. История моя в 95-м годе представляет разительный пример того. Небо, как бы сноравливая сему недостатку в натуре моей, не допускало меня никогда быть у милых людей при последнем их издыхании. Я не видал, как скончались отец мой, сестра, жена, мать. В ту минуту, как судьба у меня их восхищала, я был не тут, не при них и узнавал о потерях своих от другого. При нынешнем приключении я также удостоверился новым опытом и в том, что бывают иногда предчувствии. Русский народ простым словом «сердце говорит» прекрасно изъясняет сие положение души, когда она о чем-то ноет, сама еще не зная, о чем. Так ныне и я, сидя в Шуе и сбираясь в путь, имея о матушке самые худые известии, в первый раз, говоря о ней, заплакал вдруг 1 марта, в самые те часы, когда она по соображению времени кончалась. Эти слезы меня уверили, что ее нет на свете, и предчувствие мое меня, к несчастью, не обмануло. Верю, что не всегда они одинакову силу имеют, но не смею верить и тому, чтоб их не было вовсе никогда.

Тело матери моей погребено в Донском монастыре рядом с отцом моим. Не было при сем никаких излишних обрядов, кроме тех, коих требовал порядок нашей церкви. 6-го числа марта поднят гроб из деревни и сопровождаем был нами до Москвы. На половине дороги в Пехре оставались мы ночевать. Тело внесено в церковь, и тут назавтра духовником покойной, который шествовал за гробом до могилы, отправлена была литургия. Погода была самая красивая весенняя. Назавтра, то есть 7-го числа, вступили мы в город и около сумерок приближились к жилищу мертвых, которое так прилично называет один иерей, старичок мой знакомый, *селом Божиим*. Подлинно так назвать должно вместилище костей человеческих по отшествии душ их к своему создателю. Архимандрит[8] вышел встретить тело покойной матери моей, и поставлено оно в церкве до утра. 8-го же числа, в день самый погребения, отслужил архимандрит над гробом обедню и похоронил благочестивую сию рабу Божию. Земля приняла земное и соединила прах двух супругов, верою и духом поклонявшихся Богу. Там соединила их вечность узами неразрывными, там они уже более не огорчат друг друга и в лицезрении Господа славы с омерзением смотрят долу на согнившую их плотяную одежду. А нам, оставшим дотоле, доколе призовет и нас глас сына Божия, что

делать иного, как не беседовать о потере их, не прославлять памяти их долговечными похвалами. Тако препроводил я персть дражайших родителей моих в недро земное. Души их да благословят нас во всю жизнь нашу из среди обителей небесных, и да сведет на дом наш и чад наших благословение Божие по неложному и священному тому глаголу, что благословение родителей утверждает домы. Отдав сей последний долг драгоценным мертвецам, и при свежем погребении матери вспомянув давно истлевшего отца, обратимся к миру и к самим себе и с омерзением взглянем на сцену житейскую. Мать ли моя не посвятила половину жизни своей на то, чтоб снискать прочных друзей и знакомство? Не она ли молитвами и постом, а бедствиями еще более, заслужить имела средство общее к себе внимание? Не она ли и в последние дни страдальчества своего отворяла двери своего убежища всякому тому, кто, гоним из Москвы злобным роком, искал ночлега и пищи? Не она ли по рождению своему и по богатству предков своих могла надеяться, что гроб ее некогда окружат скопища родных? Увы! Тщетно одушевляли бы в наши дни кого-нибудь подобные надежды! Кроме Голицыных, никто ей не помог в нужде, не посетил в болезни, не пролил слезы над телом ее! Я, князь Голицын и граф Ефимовский с дочерью, мы только окружали дубовый гроб ее, более никого не было. Искал родных, и не находил, осматривал друзей, и не разглядел ни одного. Все в храме было нам чужое по союзам плоти. Но что более всех катафалков и сходбищ любопытных украшало бедную могилу матери моей, это стон ее слуг и живших под ее призором. Крестьяне нашей малой подмосковной несли гроб ее на себе из собственного усердия от самой деревни до врат обители Донской. Эти добрые поселяне в грубых своих одеждах более принесли отрад праведной душе матери моей, нежели все выдумки роскоши, сопровождающей нас даже и за пределы жизни, как будто бы суета дерзает и в небо с нами внитти. Не так ли несли Лазаря бедного на лон[о] Авраама[9], как мать мою в Донской принесли ее добрые мужички!

Несчастная и добродетельная жизнь матери моей заслуживает по справедливости похвал самых изящных. Не моему перу такой писать панегирик. Я лучше мог чувствовать ее доброты, нежели умею описать их. Пусть она имела свои слабости как человек, мне ли открывать их потомству моему? Мой ли язык дерзнет коснуться имени матери и отца чем-либо, кроме похвал? Слава Богу, что я получил жизнь от таких родителей, о коих и сторонние, говоря, стократ более сказать должны добра, нежели зла. Мать моя была женщина благочестивая, усердная к

Богу, строга в исполнении обязанностей своих и покорна всем заповедям Господним. Лукавство мира и пороки суетности светской были ей чужды. Она любила помогать несчастным, и ближние ее были ей все друзья, по словам Спасителя. В молодости была тиха, скромна, терпелива; в возрасте совершенном пеклась о домостроительстве, о счастии детей своих и блаженстве всего семейства. В старости сносила великодушно житейские напасти и мужественно претерпела с облегавшими ее моральными напастьми жестокие физические недуги. Скончалась как истинная христианка, устремя все мысли свои в Бога, обратясь всем желанием души своей к единой вечной жизни. В печали, в тесноте прибежище ее был храм Божий. Беспрестанно молилась, повсечасно воссылала вздохи к небу, и по подобию той, чье имя носила, уста ее немолчно восхваляли Искупителя[10]. Так пожила мать моя, и так пожить до 80 лет не мал подвиг в мире! Бог, мздовоздаятель, всеконечно воздаст ей за толикую веру в него венец неувядаемый вечныя славы! А мы долго, долго будем приходить плакать на гроб ее и оглашать с клиром служителей Господних унылую песнь вечныя памяти над ее мавзолеем. Я оба гроба, батюшкин и матушкин, соединил в одном месте, помостил над ними общий пол из плит и над каждым поставил сколько мог простее однообразный памятник. Как не должно было быть различия между любовью нашей к тому и другому, так не отличил я сии равно для меня драгоценные могилы никакою разнообразностью в наружных уборах. Состояние мое не позволило мне рассыпать здесь в честь им кучи золота и привезти отрывки мраморных гор чужеземных. Все просто, и тем приличнее, как для отшедших, так и для оставшихся по них.

Войдем теперь в рассмотрение домашнего нашего положения по кончине матушки и покажем, чему мы остались наследниками после родителей наших. Прежде, нежели продолжать повесть о событиях года, нужно на сем предмете остановиться, ибо он будет вперед иметь неразрывную связь с моими поступками. Доселе я действовал как сын по законам гражданским неотдельный, то есть не имеющий ни собственности, ни доверия. Теперь, ставши помещиком, я обязан дать отчет как распорядитель наследства и для того предварительно изъяснить хочу, в каких силах и средствах Бог привел меня быть отцом моего семейства и хозяином моего дома. Начнем с сокращенной картины ее вдовства.

По кончине батюшкиной в 98-м году оставалось собственного его имения до сорока душ только в подмосковной, называемой Никольское или Новинки. Матушкина приданая деревня в Нижегородской губернии,

до восьмисот душ простиравшаяся тогда, обременена была долгами отца моего, коих оставил он после себя до шестидесяти тысяч рублей в казенные места и частные руки. Матушка не могла заплатить их доходами и скоро по кончине его продать изволила половину той своей вотчины, чем и перевела, как говорят, одышку. Однако всех долгов избавиться сим оборотом не могла, итак, осталось за ней, кроме подмосковной, душ до четырехсот с лишком в Нижнем, а всего имения при кончине ее по последним сказкам и с приписными дворовыми людьми, кои, как известно, никакого доходу не дают, а значительно убавляют оный, считалось за мной до пятисот душ. Так как матушка платила долги мужа своего, а нашего отца, ущербом своей собственности, то Никольское, несмотря на крепостные права, должно было взамен того принадлежать матушке, и потому я с сестрами дали ей для формы полномочие управлять сей деревней после батюшки как бы своей собственностью родовой. Итак, матушка во все почти двадцать лет вдовства своего управляла всем имением своим по собственному своему произволу.

В умеренном состоянии можно иногда делать приращении, но в недостатке хорошо и то, если долги не растут. Матушке трудно было и сие равновесие сохранить в своем хозяйстве. Доходов ее не становилось на самый умеренный прожиток. Она не знала роскоши, не давала ни пиров, ни праздников, жила тихо, и хотя весьма вопреки своему природному свойству, которое всегда влекло ее к забавам и рассеянию, однако она умела такой сильный перелом сделать в нраве своем, что многого себя лишала, дабы более оставить нам. Год от года на все возвышались цены, содержание дома в Москве требовало знатных издержек, долги неприметно стали опять возвышаться. Матушка никогда не могла решиться оставить Москву, привычки этой одолеть она не имела силы, и, несмотря на все убеждении, кои я делал ей, дабы в Владимире жить общим домом с нами, что бы сильное вспомоществование ей сделало, ибо на два дома жить всегда дороже, чем держать один, но матушка никогда не могла решиться в этом последовать моему увещанию, и так живши все в Москве почти бессъездно, могла ли она сделать важные сбережения в своих доходах?

Отдавая полную справедливость чувствам ее и внутреннему расположению, если, однако, смею допустить здесь некоторое беспристрастное рассуждение насчет управления ее своим домом, то, при сохранении всего сыновня к ней почтенья, должен здесь сказать, что неограниченная доверенность, какую оказывала она к старшей своей служанке Елизавете Кожиной, особливо в последних десяти годах жизни своей, много доста-

вило ей самой недостатков и расстройки дому вообще. Матушка на все почти изволила глядеть ее глазами. Одного только не успела эта девка сделать, то есть укрепить что-либо себе недвижимое каким-нибудь оборотом. Матушка никогда не могла согласиться в пользу ее сделать крепостной документ на чужое имя или оставить вексель. В прочем же девка ее распоряжала доходами и правила всем самовластно, как хотела, без всякого отчета. О! Это эпизодическое существо в Истории моей жизни много и нам наносило огорчений по временам. Но простим ей все это и постараемся забыть, дабы тем полнее принести праху матери нашей жертву благоговения и благодарных чувств, ей от нас принадлежащих.

Огорчительнее всего в этом домостроительстве было то, что матушка сама терпеть изволила нужду, во всем стесняла себя всячески, дабы удобнее выдерживать предлагаемые ей обороты, которых цель была с стороны хитрой ее служанки занять матушку работами, пленить мечтательными выгодами и между тем под видом приобретений умножать только долги. Матушка, по слепой к ней вере, на все была готова. Так, один раз она изволила купить небольшой домик и, отделав его, отдавала в наймы из барыша, но вместо пользы нашла наклад. Более же всех прочих предприятий такого рода, в которых девка ее изворачивалась, как в омуте, повредил имению нашему откуп, который матушка сняла в Богородске и, не сведя своих счетов, принуждена была с крайним убытком от него отойти. Эта операция стала восемь тысяч, которые если б благодетельная княгиня Голицына, сестра ее двоюродная по Строганову колену, не заплатила за нее, то едва не лишились ли бы мы значущей части недвижимого имения. Виды матушкины везде имели пользу, но виды сии были неосновательны; чувства ее были прекрасны, но действии, на кои изъявляла свое согласие, никогда не оправдывали ее чадолюбия и привязанности к нам.

Все эти опыты не сильны были открыть ей глаза. Привычка сильно действовала на матушку, и в последнем даже годе жизни своей она по совету своей служанки изволила в саду московского дома выстроить большой дом и отдать его в наймы платочному фабриканту из платы, которая по всем расчетам не могла в четыре года возвратить ей ниже половины ее иждивения на сию постройку, словом, умалчивая о многих подобных случаях, довольно с прискорбием повторить, что матушка доведена была до такой строгой необходимости во многом, что без пособий родственников не могла бы содержаться в самой уединенной своей жизни. Ей присылали пансионы сестра ее двоюродная княгиня Шаховская,

11 Зак. № 3975

также поддерживала и княгиня Голицына, о которой выше говорено, и графиня Строганова, молодого графа Павла Александровича жена, невестка ее родная баронесса Наталья Михайловна Строганова, и, наконец, графиня Литта, бывшая прежде за двоюродным моим братом Скавронским, ей сделала неважное пособие, прислав почти перед кончиной тысячу рублей. Все сии суммы доходили в год, может быть, до четырех тысяч, прибавляя к ним в дополнение сказанного числа непременный пансион от вдовствующей императрицы, состоящий в пятистах рублях ежегодно. Сими-то средствами матушка могла кое-как содержаться; хотя не всегда исправно родственники ей доставляли положенное, однако всегда она могла заслониться от строгой нужды их пособиями. Таким-то образом мать моя не прожила, можно сказать, а промаячила век свой после отца моего и ежедневно сетовала, да и было о чем. Описав ее род жизни и способы, к поддержанию ее находившиеся, стану теперь говорить о положении, в каком нашелся я по кончине ее.

Вотчина Нижегородская состояла из села Лопатищ и деревни Малинок[11], ревижских душ считалось, кроме приписных дворовых, а платящих оброк господский, до четырехсот с лишком, тягол двести сорок. При матушке каждое тягло платило по тридцати семи рублей, а со всей деревни общим счетом сходило до девяти тысяч рублей в год, сумма, на которую я считать мог без сомнения, ибо мужики были довольно зажиточны. При этой вотчине построен был еще отцом моим винокуренный завод, которым я частью управлял, когда был вице-губернатором в Пензе. С него ставилось некогда вино в казну, но как цены на первые припасы начали возвышаться, то матушка рассудила отдавать его в аренду откупщику, и доколе с него требовали сумму умеренную, он также приносил свой доход, но несколько лет перед сим, в последний откупной срок, помянутая девка уговорила матушку отдать завод одному купцу за три тысячи рублей. Договор сделан на четыре года, цена казалась очень выгодна, ибо завод не более мог выкуривать пятнадцати тысяч ведр вина, и то с трудом. Я предвидел, что такая наддача оборотится в пустой посул, что и случилось. Матушка ни в один год не получила ни копейки. Арендатор ее обманул, началось с ним тяжебное дело, и мне довелось после матушки хлопотать об окончании его. Так всегда непомерные барыши обращаются в убытки, терять умеренность в расчетах — беда! Сверх этого дела по заводу осталась мне в наследство большая и продолжительная тяжба с несколькими соседями в лесной даче. Указом Сената отсуждено было нам давно и по давнему спору до двадцати семи тысяч десятин лесу за

Волгой. Весь этот участок делить следовало трем владельцам, а потом мы обязаны были долженствующие нам причитаться девять тысяч десятин делить с теми, кои покупали у матушки деревни из всей ее Нижегородской вотчины, ибо отсужденная дача принадлежать должна была всей вотчине, состоявшей тогда, как спор начат и Сенатом кончен, из восьмисот душ, что писано было выше. Беспрестанно матушка нанимала стряпчего и подавала о выделе ей следующей части леса прошение. Бумагам не было конца, завалили ими, как обыкновенно водится, все суды. Кричал и правый, и неправый, дарили и того, и другого, но матушка не дожила до желаемого выдела, и думаю, что едва доживу ли и я до оного. Итак, претензия широкая, а пользы мало, доход химерический. Загадок много было насчет сей лесной дачи: и туда ее продать, и там употребить хотелось, а между тем только проести, волокиты и в чаянии будущих благ настоящие убытки. Такими-то тяжбами еще более расстроиваются дворянские имущества, нежели мотовством и роскошью. Вот в каком положении досталась мне Нижегородская деревня: чистого доходу девять тысяч рублей, ветхий завод, не приносящий никакого прибытка, и огромный спор с соседями в лесной даче, которую между тем и тот, и другой рубил по произволу, ибо за двадцатью семью тысячами десятин за Волгой, не разделенными на участки, не так усмотреть удобно, как за аглинской рощицей в саду.

Подмосковная состояла из сорока шести душ, девятнадцать считалось в ней тягол. Маленькая эта деревенька в сорока верстах от Москвы и за которую отец мой заплатил в свое время двенадцать тысяч рублей, не могла дать большого доходу, но в то время, как был в ней завод винокуренный, она содержала сим промыслом весь дом батюшкин и несколько раз окупилась. Потом, когда правительство запретило всякие заведении, требующие лесов, в пределах Московской губернии, подмосковная наша без завода обратилась в хозяйственное имение, то есть по нескольку давала дому хлеба, овса, сена, а паче дров, ибо мы имели тут за собой до ста пятидесяти десятин лесу дровяного с примесью строевого, который много способствовал обстроивать усадьбу господскую, и она всем нужным для дома была снабжена из этой дачи. Доходу денежного с нее получать было невозможно, крестьяне были на пашне, издельных никаких заведений не было, итак, все, что могла давать натуральными потребностями эта деревня, едва заменяло ли тысячу рублей чистого дохода, ибо лугов было мало, а лес сюда в счет нейдет, он не принадлежал крестьянам, а помещику. Итак, всегда надо было к собранному с наших

полей разному хлебу докупать на чистые деньги, и едва полгода между весны и зимы мы довольствовались своим сеном, овсом и хлебом. Вот краткое описание Никольского в отношении к пользам его.

Московский дом, оставшийся, по благости Господней, цел и невредим после французов, казался слишком огромен, но нашему семейству, по числу живущих около нас слуг, он только что был достаточен. При матушке, когда я был вне родительского дома, многие ветхие службы отдавались внаймы и приносили доходу до девятисот рублей в год по мелочи, но, когда я основался жить в Москве, доход сей не мог продолжаться, и тем более, что настояла нужда крайняя обстроить все людские избы. Все, кроме дома господского, было в таком худом состоянии, что возобновить принадлежности его день от дня становилось необходимее. По убеждению девушки своей, матушке угодно было в 1812 году, незадолго до нашествия французов, выстроить в саду к реке большую фабрику, о которой я уже упоминал. Сие ненужное строение отдано было на четыре года из тысячи рублей найма в год, и договору сему шло еще первое лето, следовательно, мне надо было довольствоваться сей суммой еще три года, не смея коснуться до самого строения, ни до земли под ним, а сверх той фабрики на нашей же усадьбе выстроена была несколько лет тому назад казарма для постою, которую в военное время отдавали внаймы, ибо некого было в нее ставить, и сие последнее строение в два года окупилось. Вот что решило матушку так скоро согласиться на постройку фабрики, но в этой посылке весьма ошиблись: казарма строена давно, в дешевую еще пору, и могла быть выгодна, да, кроме того, необходимость сама заставляла для постоя ее выставить, а фабрика ни по какому отношению не была полезна и нужна в то время, когда задумано ее построить. И слава Богу еще, что враги не сожгли ее! Тогда все бы пропало! По сему описанию дому городскому видно, что с него разного мелочного дохода, причитая наем некоторых избушек ненужных, всего получить можно было в год до двух тысяч рублей невступно, и, сверх того, самим очень спокойно жить. Показав мои доходы, которых я счел здесь до двенадцати тысяч рублей, прошу выслушать, сколько осталось на мне и долгов, с наследством вместе поступивших.

По разным займам матушка должна была в казенные места до семнадцати тысяч, в партикулярные руки до десяти тысяч; долгов сестриных, которые падали на весь дом, потому что она, согласясь жить с нами, не требовала части из имения, принял я на счет до трех тысяч рублей. Моих собственных долгов было на мне в частные руки до пяти тысяч и под

разные вещи в ломбарде до пяти же тысяч. За сим следует упомянуть о счетах Елизаветиных. Пересмотря их, я нашел итог в девять тысяч невступно, подписанный матушкой, и, не входя ни в какое о том суждение, согласно воле покойной родительницы принял сей долг на себя с совестным обязательством заплатить его. Итак, на доме считать надлежало долгу всего пятьдесят тысяч рублей, прибавим к сему значительному итогу долг, которым я обязан был сестре замужней, ибо по рядной ее она не удалена была от права на свою часть, следовательно, если б она и согласилась, равняя себя с покойной сестрой моей графиней Ефимовской, получить вместо законной части то, что ей дополнить следовало деньгами по рядной, то и тут, поелику она дана была в девяти тысячах, я находился в обязанности выплатить ей одиннадцать тысяч и за шесть лет процентов, что б составило около двадцати тысяч рублей. Не забудем при сем расчете, что сестра большая, толико нужд и тягости вытерпевшая в печальную жизнь свою, имела также право на часть, и хотя она ее не требовала, но я расположился производить ей по две тысячи рублей в год, дабы она по крайней мере (чего меньше и сделать в пользу ее было не позволительно) получала десять процентов с такого же капитала, с каким выдана средняя сестра замуж, то есть с двадцатью тысячью.

Вот картина моих дел, доходов и долгов. Счет сих последних простирался, по самому правильному расчету, до восьмидесяти тысяч, если не дробить имения выделом частей двум сестрам, или до пятидесяти в противном случае, но тогда убавлялось число моих крестьян, а с ними и число доходов[12]. Кто, рассуждающий здраво о вещах, не признает, прочтя сию страницу моих финансов, что при двенадцати тысяч доходу, при восьмидесяти тысяч долгу и с обязанностью содержать такой обширный дом, как наш, и такое многочисленное семейство я, после ожидания чего то ни будь за пятьдесят лет моей жизни, наконец сделался помещиком одной нужде и нищете. Разумеется, что по кончине матушкиной я уже не принял ни от кого от родных никакого пансиона, чем и еще уменьшились средства нашего содержания, и первый шаг мой был приращение долгу занятием двух тысяч рублей на погребение матери моей, коими я должен остался князю Голицыну. Он нам их и подарил, но — ах! — Бог один знает, сколь тяжело чувствительному сердцу принимать подобные пособия... Слезы при сей строке брызнули из глаз моих, и Бог воздаст мне за них всеконечно. За все благодарю его, за все, а паче за то, что он не попустил меня оскорбить памяти родителей моих когда-либо ропотом дерзновенным за недостаток и бедность. Нет, ей-ей, нет! Исповедаюся тебе,

Отче небеси и земли, яко в послушании безмолвном родителям моим пребыл до последней минуты издыхания того и другого. Нет! Никогда не посетую я, что они оставили мне имущество малое. Образование сердца моего и мыслей есть такой дар попечений их обо мне в моей юности, которого я ничем, ничем оценить не могу, и вот истинное благо в жизни, за которое, доколе продлится она, буду я с благоговением нарицать имена отца моего и матери и плакать о потере их.

Придите сюда, враги мои, ехидные клеветники, злобные завистники! Прочтите эти листы, скажите, где же те миллионы, кои я, по словам вашим, нажил? Где же те сокровища, которые мне служба и неправда доставили? Где все это богатство? На языках ваших! Они точили беспрестанно яд на судьбу мою, не зная ни правил моих, ни мыслей. Ах! Пагубные злодеи! Скажите мне теперь, я вас спрашиваю, если бы вы служили там, где я, и в моих должностях, если б вы, как я, имели при одном жалованьи толико скудные пособии из домов ваших, если б так, как я, знали заранее, что к вам в наследство дойдет нужда одна и долги, скажите, окаянные проповедники добродетели, которой вы чувство и смысл весь искажаете вашим злоречием, были ли бы вы так бедны, как я, получив свободу жить дома и одним своим имуществом питаться? Сохранили ли вы честь вашу в той неприкосновенности, в какой Бог сподобил меня посреди тяжких искушений сатанинских сохранить мою? Бог с вами, злодеи мои! На суде Его слезы ваши потекут градом, когда улыбка радости придет осклабить уста мои. Боже! Ты один знаешь все побуждения совести моей, на Тебя возлагаю всю мою надежду. Не посрами меня от чаяния моего.

По апреле месяце дом не терял прежнего своего порядка, все еще шло так, как при матушке, а с 1-го числа начались мои распоряжении. Первое попечение наше при вступлении моем в хозяйство было о том, чтоб доставить Елизавете жизнь безбедную, и потому дали мы ей по желанию ее флигель в Никольском с определением по двести пятидесяти рублей в год пансиона. Она имела давно отпускную и записана была в московское купечество, следовательно, независимо жить могла от всех и где сама хотела. Мы все жили в подмосковной, куда привезены и дети из Шуйской деревни, как скоро погода и путь позволили. Святую неделю провели мы в Никольском, и, кроме свидания с Богдановыми, ничего не происходило у нас примечания достойного. Григорий Михайлович служил в гусарском Салтыкова полку, а при нем возвращался из Казани, дабы идти в большую резервную армию в Польшу. С ним неразлучно

сопутствовала Анна Михайловна, и они оба завернули к нам в подмосковную. Свидание с ними в таком месте, где мать их некогда разделяла скучную старость моего отца, под такой крышкой, под которой мать моя двадцать лет не дозволяла им минутного прибежища, такое свидание было для меня новым опытом сует мирских и коловратности нашей жизни. Давно ли их не пускали на версту к этому убежищу, и вдруг они не токмо в нем, но еще кидаются из объятий в другие посреди детей общего с ними отца? Сколько ни дадут силы законам нравственным и политическим, законы природы всегда будут всех сильнее! Свидание наше было непродолжительно, и Богдановы уехали от нас, только пообедавши с нами, но дом наш становился уже для них не чужим, и они всегда могли приезжать в него как в городе, так и в деревне делить с нами время. Более сего судьба не допускала меня ничего сделать для сих несчастных детей отца моего. Живо помнил я завещание его и заповедь не оставить их тому из детей его, который будет более сил иметь и средств на великодушные пособии. Имение мое все было наружи. Делать из него пожертвований я не мог, едва сам с детьми надеялся прожить доставшимся наследством. Отец мой умирал с надеждами на царство Павла, — время показало, сколь упование сие было мечтательно, ничто не улучшило нашего состояния. Итак, не судил мне Бог помогать ближним и исполнить священную для меня волю моего родителя.

Пока мы жили уединенно в деревне, далеко от шума городского, я так распределил свои сутки, что ни одной минуты в них на скуку не оставалось: то читал Бюффона[13], в отрывках у меня оставшегося, и сравнивал его картины с живым оригиналом природы, или писал свои бредни в стихах и прозе. Между тем дела военные шли прекраснейшим образом, неприятель далеко уходил от границ наших. Уже Пруссия, соединясь с нами, гнала его в тыл до Саксонии. Но сын мой Александр, снова промотавшись и отпросясь домой под видом болезни, явился у нас весьма нечаянно. Тужил я и сердился, то и другое по переменкам, но на молодость ничто не действует, как время и опыты, с ней большое потребно терпенье. Мое выдерживало сильные испытании с этим ребенком, однако дома ему оставаться было не должно. После строгой диеты у нас и родительских угрюмых проповедей надлежало снова толкнуть его в свет. Молодым людям необходимо занятие, праздность для них губительна, особливо мой Алексаша, по пылкости его характера, не выходил из брожения, и шалости сделались почти его натурой. Мы приехали в Москву на несколько дней, и там случай послал мне благодетельную помощь

князя Юрия Владимировича к устроению судьбы сына моего. Но чего Бог не благословит, того никакая сила человеческая не произведет в действо. Мне бы очень хотелось Александра оставить в штатском состоянии у себя на глазах, но общее предубеждение, блистательные подвиги нашей армии, слава, которая готовилась России на ратном поле, а паче настоятельные убеждении старого Долгорукого решили меня искренно позволить сыну войти в линейную службу, и князь Юрий Владимирович его к тому снарядил совершенно. Зная мои недостатки, он дал ему пятьсот рублей, но сего я бы так высоко ценить не стал, деньги никогда меня не соблазняли. Что всего драгоценнее было для меня и в чем я видел поступки настоящего благотворителя, это то, что князь Юрий Владимирович снабдил сына моего письмами к зятю своему, министру военному князю Горчакову в Петербург, а потом к графу Витгенштейну, к графу Николаю Ивановичу Салтыкову, к самому Кутузову; все его хорошо и давно знали, все естимовали заслуги его, и сыну моему оставалось только воспользоваться такой нечаянной к себе милостью своего родоначальника. Я сам читал письма княжие, он при мне все их писал своей рукой. Нельзя было бы о сыне своем больше ходатайствовать, как он старался о моем. Вот что называю я истинным благодеянием, редким, примерным, возвышающим в глазах моих князя Юрия Владимировича по качествам сердца и души. Не всякий, верно, не всякий, кто слывет благодетелем, то же бы сделал, а деньги дать или подарить, конечно, добро, но в мыслях моих и признательности всегда ниже всякой другой прямо чувствительной услуги. Назначено было сыну моему ехать прямо в Питер, там явиться к министру и ждать от него отправления в армию. Министр был прошен доставить его туда на казенный кошт, и все наилучшим образом было улажено. Прибавя ко всему сделанному разные наставления, в которых и князь Юрий Владимирович не починился с ним, отправил я сына 2 мая в Петербург и отдавал его там на руки брата его.

По тем чертам, какие получила настоящая война с Францией, скажем, что не было времени столь выгодного для нашей молодежи выказать себя и счастливо пожертвовать собой, достигнуть до степеней самых высоких, отличиться мужеством и благородством духа и проложить себе блистательнейшую стезю к счастию политическому. Дела военные принимали день от дня оборот чудесный. Армия российская, как гигант, всюду шла с челом исполинским, и все области, ею проходимые, покорялись ей с какой-то благонадежностью, без ужаса. Наполеон, собрав триста тысяч войска, опять явился в Саксонии и начал противу нас прю

свою, но — ах! — как изменился дух его! Не лавры пожинать приходил он в эту кампанию, стыд ожидал его на каждом шагу, и небо дорого платило сему злобному самозванцу осквернение христианской столицы народа русского, православного. Были и для нас дни ненастные! Всегда ли проходит и самое красное лето без бурь и непогод. Мы лишились Кутузова, он умер от трудов и лет в Бунцлау[14]. Известие о сем поразило всех, все оплакивали его чистосердечно и в воях, и в гражданстве. Оставим Богу на суд, кто точно виновен в уступке Москвы неприятелю, сего никто не знает совершенно, и Кутузова слишком рано, думаю, в том винили одного с яростию патриотического гнева. Все видели его труды, подвиги, заслуги, мудрость его советов и превосходные опыты в деле брани, и потому все сожалели о нем. Но сам Бог водил нас ныне мышцею крепкою, наказав нас, он и вооружился за нас. Главное начальство по смерти Кутузова вверено паки Барклаю де Толли. Его не хорошо разумели под Смоленск[о]м, но благоприятное начало нынешней кампании опять примирило с ним умы политических наших ценсоров.

Приехавши в Москву на несколько дней, мы прожили почти весь май в городском доме. Сперва жена, а за ней и я занемог лихорадкой. Лекарь и аптека выдержали нас в постеле недели по две каждого, и мы едва могли в конце мая перебраться в подмосковную. Меня занимали особенно два предмета в то время: приготовлении к путешествию в Нижегородскую деревню и отделка домовой церкви. Известно уже, что она была французами осквернена и крайне расстроена. Матушка еще при жизни своей подала прошение к архиерею о возобновлении ее, но конец жизни помешал успехам. Надлежало мне исполнить волю ее, да мне и самому хотелось сохранить по жизнь мою в доме нашем сей залог родительской веры и прибежища к Богу. Домовая церковь дана была нам еще в то время, как отец мой был прокурором в Коллегии экономии и, следовательно, в связи со всеми архиереями. Платон, тогдашний архиепископ московский, сколь ни упрям был на дачу домовых церквей, не мог от батюшки отговориться и дозволил ему устроить храм в тверском своем каменном доме[15]. Это происходило в семидесятых годах. С тех пор домовая церковь везде была с нами и перешла в новый дом наш под Девичьим, в который батюшка переехал в 84-м году и до смерти уже не менял жилища. Церковь нашу святил тогда Самуил, епископ Крутицкий и старый приятель отца моего. Трудно было мне выпросить у викария московского Августина указ на возобновление церкви. Он долго упрямился, и я, не имея к нему приятного расположения, не столько старался о сем, сколько

похлопотал бы с человеком таким, который был мне по мысли. Однако, начавши дело, надлежало его кончить. Везде встречаю я помощь и услуги Голицыных, старинных наших благодетелей. Князь Сергей Михайлович взялся исходатайствовать мне дозволение архиерейское, и, на слове его положась, я приступил к отделке храма. Расположение его было совсем новое, строение тоже: стен я не тронул, но иконостас и внутренние убранства все переменил и приноровился к новому вкусу. Никакого богатства, но благородная простота пленяла каждого, она всем нравилась. Две колонны под цвет порфира из фальшивого мрамора и две пиластры такие же составляли всю ширину иконостаса. Два образа и трое необходимых врат наполняли это пространство, завес померанцевый закрывал алтарь. Прочее все осталось старое, ибо церковь наша издавна обогащена была многими редкими вещьми, от предков к нам дошедшими. Самый храм был отделен от преддверия его колоннадой штукатурной. Итак, церковь наша сделалась покойна, просторна, хороша, тепла, и, что мне всего кажется лучше во всяком доме Божием, она сделалась опрятнее. Отделка ее стала мне в две тысячи рублей, сам Бог послал мне их нечаянно. Тетка моя княгиня Шаховская по кончине уже матушки моей дослала к сестре полторы тысячи рублей, кои она не успела ей препроводить при жизни ее в подарок. Мне непристойно было отказаться от них. Я подарок сей принял с надлежащей благодарностию и посвятил в жертву Вышнему, отделав в доме своем храм в честь и славу имени его, итак, первый плод достояния моего по вступлении в наследство родительское принесен в дар живому Богу. Хвала ему вовеки! Оставалось церковь освятить. Насилу Августин, человек грубый и надменный, пастырь велеречивый, но своенравный, выпустил дозволение, от него давно требуемое, и подписал указ. Ректор Симеон, мой добрый друг и старый знакомец, по приязни ко мне совершил обряд освящения, и в Петров день новый воскурился фимиам во храмине нашей пред Творцем неба и земли. Новое услышано песнопение на прежнем месте владычества Господня. Омыты скверны алтаря, поруганного врагами веры, возложен дар духа святого на жертвенник умилостивительный и паки принесена жертва бескровная за всех и за вся. С восторгом христианским пролил я среди семейства моего благодарственные мольбы Всевышнему за толикие его к нам милости и щедроты. Слезы наши воссылали ему те молитвы, коих язык выговорить недоумел, и вздохи наши сквозь мглу воздушную летели прямо к горнему престолу славы Господней. О! Когда бы Искупитель благоизволил восприять молитвы наши в воню благоухания духовного и

ниспослать на новую скинию сию благодать и дар святого духа! Да будут очи его отверсты на храм сей и день, и ночь!

Духовное торжество сие сопровождаемо было мирным празднеством светским. Духовные особы, участвовавшие в церемонии, и несколько приятелей провели день весь с нами. Прогулки в саду, наслаждении прекрасным летним вечером довершили безмятежные отрады сего дня. Не было шуму, ни козлогласования, не раздавались мусикийские органы, утро посвящено было Богу, а остаток дня родству и нелицемерной приязни. По случаю была у нас в то время теща моя, она проездом в Ростов остановилась в нашем доме и, приехавши в самые именины женины 23-го числа июня, прогостила у нас до Петрова дня. Так совершилось мною намерение покойной матери моей. Так исполнил я долг христианского благоговения сыновней покорности и желание собственного моего сердца. За сим следовало помышлять о житейском предприятии и готовиться к путешествию.

Оставили мы Москву 5-го числа июля и поехали на своих лошадях. Я, жена моя, дочь и две барышни, кои при матушке жили в нашем доме[16], составляли всю дорожную компанию. Направление наше сначала было на Шую. Я уже привык равнодушно сносить поступки человеческие, и Владимирская губерния менее прежнего на меня действовала, в один только Владимир я имел еще отвращение ехать. Посетив княгиню Куракину в ее уединении, мы с ней там провели два дни, да столько же в Шуе у добрых Шульгиных и, удовлетворя в обеих сих отношениях нашему сердцу, не смея еще заглянуть в Александрово, родину Алены, пустились в Нижний. Мы спешили туда доехать, потому что у всякого по возрасту его был свой предмет. Мне хотелось узнать состояние моего имения, а девушкам нашим хотелось гулять на Макарьевской ярмонке[17], которая в самое это время бывает и отстоит только на двадцать пять верст от моей деревни. Так всегда причина рассудительная сопровождаема бывает какой-либо химерой, и часто та служит только предлогом этой.

Узнаешь ли роковую минуту? 19-го числа, проезжая во Владимирской губернии село Мыт, принадлежащее князю Федору Николаевичу Голицыну, довелось нам переправляться через реку Лух на пароме. Тут несколько заливов и перешейков, следовательно, для перевоза нужно некоторое время. Я скор, и, увидя лавы[18], захотел ими дойти до села, а зной полуденный позывал скорей в холодный анбар или сарай, потому что ведь мы ездили не так, как ходят обозы: вставали не рано, обедали и ужинали, а вместе с нами и лошадей кормили по-городскому, то есть в

жар с утра и поздно к вечеру, отчего нас часто заставало солнце на дороге, когда мужик уже спит на кормежке и не загорает под вертикальными лучами дневного светила. Итак, пошел я по лавам. Они были дурно настланы, нога у меня подвернулась, я упал в воду и ушел во весь рост. Место было глубокое. По счастью, меня скоро вытащили. Жена на берегу долго была без чувств. Наконец, все благополучно миновалось, меня раздели, снова одели и обмыли вином, и даже самый испуг, благодаря Бога, ни над кем из нас не произвел действия продолжительного. Я слегка здесь о сем случае пишу, потому что, имея намерение написать мое путешествие в Нижний[19] тем же образом, каким написал его в Одессу, здесь только дам сокращенную повесть сего путешествия и укажу главные места, где мы были проездом или гостили временно. Но умолкнут ли уста мои благодарить Создателя, спасшего меня вновь силою своею от смерти ужасной и нечаянной!

22 июля приехали мы в селение наше и до 8 августа провели время то в Нижнем у родственников покойной жены моей, то в нашей деревне, то на Макарьевской ярмонке, которая по всем отношениям заслуживает особенного внимания и опишется мною пространно в путешествии моем. Взманило нас сие нового рода рассеяние, и поелику ярмонка Макарьевская, кроме торговли, не представляет никакой забавы, вроде тех, каких ищут везде молодые люди, то есть не бывает балов, ни шумных собраний по ночам, кроме театра, который вечер делает очень коротким для людей, привыкших по склонности продолжать их далеко за полночь, то по сим весьма маловажным причинам решились мы съездить и на Саранскую ярмонку, словом, лето прекрасное придавало нам охоты кататься. А предлог у меня к извинению моей слабости тотчас поспел, так, как у царей манифест всегда напишется прекрасный, хотя побудительная его вина не только малодушна, но даже иногда и злодейственна бывает. В Пензе я некогда служил и ежегодно бывал на Саранской ярмонке. Там сохранил я многих приятелей, кои меня помнили еще и любили. Мне хотелось видеться с некоторыми из них, особливо же с Струйской и Загоскиными, кои так много услуг мне и дому нашему вообще показали, как в бытность мою в Пензе, так и после, до сих самых пор. Столь долговременная разлука не переменила их расположения. Одного из старых друзей моих тамошнего края и который со мной постоянно переписывался я не мог уже там найти, и именно Таптыкова. Он скончался скоро после освобождения Москвы, и я сведал о сей чувствительной потере только в Нижнем, хотя почти отгадывал ее, ибо давно не имел строчки от него.

Оплакивать кого-нибудь есть удел человека! Сколько бы он ни жил на свете, всегда чего-нибудь лишается и тужит.

Итак, первым побуждением удалиться в Пензу было желание потешить нашу молодежь Саранской ярмонкой, а приязнь решила меня предпринять сие путешествие, и мы приехали в Саранск в самую ярмонку, то есть в Успеньев день. Лошади мои между тем, оставаясь в деревне на пажитях сельских, поправляли изнуренную плоть свою, а мы скакали на почтовых, и хотя иногда нуждались в них и губили время, но все не до такой степени, чтоб терять терпение. Саранск — уездный городок, от Нижнего в трехстах пятидесяти верстах. Ярмонка продолжается только с неделю. Я тут нашел много старых знакомых, они мне, а я им весьма обрадовался. Барышни наши не обманулись в расчете. Ярмонка, подлинно, была очень весела: всякий день балы, везде плясали и в карты проигрывали кучи денег. У Макарья приобретении одни, а тут мотовство и роскошь. Отсюда мы ездили на несколько суток к Струйской и почти неделю прожили у Загоскиных под Пензой верстах в двадцати пяти, но туда не заезжали и все это короткое время подарили одним ощущениям искренней приязни.

Сентября 5-го мы опять уже были в Нижнем и, повеселясь тут с родными в полном довольстве и покое, съездили еще в деревню свою, а наконец 16-го числа, поворотя в Москву, приехали, слава Богу, благополучно в Никольское 1-го октября. Тут остались на всю осень, сиречь на октябрь месяц, и отдохнули от трудов путешествия. Признаюсь, не любя лукавства, что оно более принесло мне удовольствия, нежели пользы, потому что хозяйственные мои распоряжении не были и не могли быть ни основательны, ни прочны. Что делать в оброчном имении? Я познакомился с мужиками, потолковал с ними, увещевал жить смирно и меньше ябедничать и оставил все в том же положении, в каком было при матушке. На что заводить новое, когда и старое хорошо? Всегдашнее мое правило! Более всего старался я обратить в пользу свою лесную дачу и завод, но та, не быв отмежевана, принадлежала не мне одному. Осмотр ее доставил мне понятие о свойстве леса, он весь почти дровяной, строевого мало, следовательно, большого дохода ждать от него была бы мечта, а завод, обветшавши, стоял без работы и требовал издержек на свою поправку. Одно удалось мне там кончить дело с содержателем завода. Оно решено в мою пользу, и хотя не совсем, однако велено ему мне отдать до двух тысяч рублей, кои я посредничеством шурина моего Смирнова с него получил так же без хлопот и этою суммою исправил свою поездку,

не входя для нее в долг, который без сего пособия и подарка крестьян моих был бы необходим. Добрые мои мужички, обрадовавшись своему помещику, которого они не видывали несколько десятков лет в своих жилищах, поднесли мне на ярмоночные расходы тысячу рублей. Итак, сведя все свои счеты гораздо лучше, нежели чаял, очутился в Никольском и сел по-прежнему марать бумагу за свой письменный столик. Но без меня здесь не все было в хорошем состоянии. Дети мои по приезде из Шуйской деревни перележали в лихорадке, от них началась общая в доме перевалка, и вся дворня хворала, отчего я дома, воротясь, не нашел больших причин к удовольствию, а ко всему тому накинул сын мой Алексаша и свой тяжелый камень.

Видели, с какими надеждами я его отправил в армию. Из Петербурга имел я известие, что он туда доехал благополучно и явился к министру. Долго он шатался там без употребления и ко мне писал, будто его не отправляют еще в армию. Я настоятельно писал к брату его, чтоб он его высылал на службу. Брат начинал слегка жаловаться на него, что он мотает, и если заживется у них, то не с чем будет и выехать. Сил моих бы не стало удовлетворить всем его затеям. Я решительно приказал ему ехать в армию и наконец узнал, что он 15 августа отправлен от министра с депешами в резервную армию для определения корнетом в Черниговский гусарский полк, а сентября 1-го выпущен и высочайший приказ, силою которого он в этом чине и полку утвержден, следовательно, сим исчезало прежнее публичное о нем повеление по армии при выпуске его из кадетов в штатскую службу, чтоб не определять его в военное звание. Казалось, поправились его обстоятельства, и письма, с ним посланные, давали приятнейшие надежды насчет новой судьбы его. Но молодость не скоро употребляет в пользу свою самые несчастные опыты. Блудный сын мой, доехавши до Витебска, промотал выданные ему казенные прогоны и, не имея ни гроша, бросил в закладе у трактирщика всю свою амуницию и мундир, который подарила ему при отъезде его из Питера родня моя, княгиня Шаховская и графиня Строганова, все тут заложил, кинул казенные депеши и частные письма, с ним посланные, бросил слугу и сам, приставши к подобному себе повесе г. Ласунскому, уехал с ним в Малороссию, слонялся в Чернигове, Киеве, был у зятя моего Селецкого и скрыл от него все свое похождение, наконец, как этот Ласунский, разъезжавший во внутренности России с препоручениями министерства внутренних дел для осмотра некоторых фабрик и заведений, обязан был воротиться к нему с отчетом своим и проезжал Москву, то и сын мой

при свите этого молодого камер-юнкера изволил прибыть в столицу и, под видом тем, что не знал о моем пребывании в городе, пристал в трактире и добивал остальные свои гроши.

Все это было мне неизвестно, и я жил спокойно в Никольском. Князь Горчаков в Петербурге, а князь Юрий Владимирович в Москве знали по слухам, что он проигрался в Витебске, но сей последний, считая, что он после этой шалости поехал к своему месту, не сказывал мне о том, дабы меня не огорчить. Вдруг дошли до меня о том сведении чрез партикулярную переписку, и я, испугавшись всех последствий, коими угрожало такое мерзкое поведение сына моего лицу его и имени, прискакал в Москву, чтоб посоветоваться с князем Юрием Владимировичем о средствах это поправить легчайшим образом, ежели не из пощады к сыну, по крайней мере из уважения к фамилии. В это самое время прикатил и Александр мой в Москву. Неизвестность всех подробностей его побега меня мучила, я не знал, за что приняться и что делать. Совестно было пред всеми теми, кои благодетельствовали ему, не меньше досадно было и огорчительно, что сын мой снова марает имя мое по всему свету. Стекались отвсюда подтверждении о его бегстве из Витебска. Сын мой старший уведомлял меня, что министр уж это знает и что хотя брат его писал к нему о исходатайствовании ему отставки, но что уже теперь он подвергался и суду, и жестокому наказанию. О необдуманная юность! Если бы ты слушалась наставлений стариков, никогда бы не впадала в пропасти разврата. Но увы! Натуры ничто не переделает! Тщетно мы гордимся образованием юношества, наклонности природные все труды наши преодолеют.

Явился сын мой наконец ко мне в дом, и первая моя встреча с ним сильно меня испугала. Вот причина. Другой молодой князь Долгорукий, распутного поведения, был под караулом по подозрению в похищении шкатулки с деньгами[20]. Мой Александр, приехавши в город и узнав о том, что он сидит на гобвахте, по сожалению ли, потому, что тот повеса, к несчастию, был нам родня, или по собственной своей ветрености вздумал зайти к нему, не показавшись еще ко мне. Посетил его в кордегардии[21] и, не проникнув в умысел того шалуна, взялся приказать вычинить у меня в доме нашими столярами изломанную шкатулку, о которой дело шло такое скверное. Ничего того не зная, вижу я поутру своего управителя, который доносит, что сын мой приехал в Москву, был у такого-то князя Долгорукого на гобвахте и велел его слуге от имени его придти с шкатулкой к нам в дом с тем, чтоб ее вычинили. Слуга мой так

был осторожен, что, отославши его назад, сказал, будто у нас все ремесленники заняты и починки этой исправить некому. Я принял все это за чепуху и, зная по переписке малороссийской, что сын мой там слоняется, не хотел этому верить, а счел, что тут есть новый подбор того Долгорукого. Однако собственные глаза мои, увидя пред собой Александра, тотчас мне на мысль взошло, что он как-нибудь подозревается в этом мошенничестве с родственником своим и в общую попал напасть. Стал разыскивать дело, справляться, узнавать и, слава Богу, удостоверился, что мой шалун, кроме ветреного посещения, ни в чем ему не соучастник. Эпизод этот в романе сынка моего меня сутки двое весьма тревожил. Отгадать можно, с каким я отвращением увиделся с своим повесой, и досада моя на него тем сильнее росла, чем он скрытнее таил от меня свои проказы.

Незрелый ум затевает много, но хоронить концов не умеет. Так и сын мой, стараясь от меня скрыть большую часть своих проказ и сочиня несправедливую повесть, дабы оправдать себя, попал в собственные свои сети, ибо от губернатора Витебского доставлено сюда отношение, требующее развязки, насчет кинутых им там депеш и бумаг и оставленного без пропитания слуги своего за долги простойные в трактире. Бумага эта заставила меня приняться за него плотнее. Он повинился, но в том только, что из отношения губернаторского открылось. А я, думая, что, действительно, он не больше намотал, как рублей до трех- или до четырехсот, и то на лакомства и прочие молодецкие шалости, не включая сюда карт, в которые, как он старался меня уверить, ни с кем не играл, всему этому поверя и положась на его откровенность, я озаботился тем одним, чтоб выручить его из военной службы и спасти от предстоящих ему зол, если б дело пошло порядком формальным. Сколько я ни журил как отец, но как отец должен был и помогать ему распутаться. Руководствовал меня, по милости своей, князь Юрий Владимирович и входил в положение мое совершенно. Оно было незавидно. С наставления его отправил я своего молодца с надежным слугою в Петербург, а дабы более унизить его и произвести стыд, которого, к несчастью, я не мог ни в разуме его, ни в чувствах найти малейшего следа, я отдал сына своего под строгий присмотр слуги, с ним посланного. Вся эта экспедиция стоила мне новых нечаянных издержек, но до них ли уже было мне при таком худом положении дел. Я забывал долги, состояние свое и прочих детей, а думал только о погибающем сыне. Князь Юрий Владимирович писал к зятю своему министру и к графу Салтыкову, я также к обеим, и, все это отправя,

ожидал нетерпеливо от старшего сына уведомлений о последствиях. Известии сии стали меня несколько успокоивать. Министр обещал поправить неизвинительные проступки моего сына, и поелику я ничего иного не хотел, как отставки его, дабы некоторое время продержать при себе в строгом заключении, то он и возвратил Александра скоро назад, извещая и тестя своего, и меня, чтоб мальчика в Москве освидетельствовали в болезни и по причине неизлечимости ее доставили к нему по форме надлежащие на то виды, по коим будет он представлен к отставке. Из худого это было лучшее. Мне хотелось только запереть его и дождаться, когда с летами придет он в порядок, просто сказать, когда перебесится, а до тех пор, спасая пылкое стремление его ко всякой шалости, нужнее всего было лишить свободы, которая, к несчастью, так рано испортила у нас множество молодых людей. Вот какой достигал я цели как отец. И мне это было обещано, а между тем, уведомляя о всем том Витебского губернатора, я просил его все депеши, сыном покинутые, возвратить к министру, слугу сына моего отправить ко мне и, расплатясь с трактирщиком ста рублями, которые я по сказке сына моего к нему послал, просил извещения о получении денег, думая, что сим все дело кончено в отношении к долгам денежным. Но, привыкнувши уже к обманам Александра, я почти отгадывал заранее, что переписка эта откроет еще что-нибудь неприятное.

Главное затруднение в настоящем состояло в том, чтоб достать сыну свидетельство. Чего за деньги не сделаешь? Конечно! Особливо там, где услуги требуются от низших чиновников государства, коих (я не говорю о всех, но о большей части) совесть давно привыкла к пятнам серебра и золота. Но какой болезнью можно было оправдать побег из Витебска и пренебрежение военных поручений? Долго размышляя о сем и советуясь с князем Юрием Владимировичем, решился я на посредство ужасное, но необходимое. Отослал сына своего в подмосковную, там показан он прискакавшим из Витебска без ума от следствий сильной горячки. Лекарь засвидетельствовал сие медицинским осмотром. Повреждение ума покрывало все неправильности сыновних поступков. Будучи без ума, он не мог действовать порядочно. Сумасшествие сие утверждено аттестатом врача, и оригиналом отправлен к министру, который скоро потом об отставке его за болезнью, лишающей способности служить, послал в армию доклад к государю, на который скорого разрешения ожидать было нельзя за отдаленностью наших войск и государя в иностранных государствах. Между тем я Александра, лиша всякой свободы, держал вза-

перти дома, и никто его из посторонних не мог видеть. Дом родительский сделался для него заточением, и обращение мое холодное с ним отнимало все средства направлять помышлении свои к худому. Таким-то образом наказан будучи провидением во втором моем сыне, я к утешению себя находил только то, что не был тому виною ни послаблением моим, ни небрежностью. Ничего не было упущено мною к воспитанию его и изучению. Но что поможет глупому сыну? Совесть моя была спокойна, без упрека. Но менее ли чувства мои болели? Легче ли мне было? Увы! Хотя сын мой был остер, но тем еще способнее баловаться, и я лучше бы желал видеть в нем добронравную простоту и здравый смысл его брата, чем тот огонь и порыв страстей, с какими Александр пренебрегал все полезное и вдавался в разврат своего века. Что в остроте, когда она не сопровождается благими нравами? Часто твердил я ему свой собственный стих:

Несчастный! Ум беда, когда рассудка нет[22]!

Когда я задумывался о службе его, не мог без слез представить, с какой прекрасной дороги он сбился. Какими сопутствован он был в армию сильными ходатайствами! Какие блистательные надежды мог оправдать! Правда, что мог лишиться и ног, и рук и при громкой славе для честолюбия воротиться с мучительными немощьми в дом отца своего и жить только в тягость себе и другим. Все это так. Кто знает будущее? По крайней мере, слабость человеческая влечет нас всегда к мечтам приятным, и я видел вдруг здание прекрасных ожиданий, разрушенных повесой в глазах моих до основания. Подобно игроку, который, потеряв хорошую игру, часто не поворачивает счастья в свою сторону, тот, который выпускает фортуну из рук шалостью, никогда уже лица ее не видит и должен готовиться к одним печальным неудачам. Рассуждение мое, может статься, и не очень согласно с строгой логикой, но всегда ли надобно говорить головою? Дадим иногда волю сердцу нашему поучить рассудок. Оно не все ошибается. Чувства, право, иногда менее нас обманывают расчетливого соображения, а всего лучше возложить все на великого Промыслителя — Бога! Итак, согласимся, что все то хорошо, что Бог устроит. Куда бы деваться нам в злоключениях наших без сей отрадной мысли?

Витебский губернатор не замедлил ответом на мое письмо и, уведомляя меня о расплате с трактирщиком, открыл, что на сына моего подано разных долговых претензий на три тысячи рублей. Я уже почти был готов к этому, и оно бы меня не столько поразило, если б Александр сам

мне в том откровенно признался, но это-то меня и мучило, что от него никакой правды добиться было нельзя; деньги проживаются и наживаются случайно, шалости молодых лет проходят, но худое сердце, коварный ум, испорченный нрав суть истинные наши напасти. Я готов был все простить детям моим, кроме лжи и тайны перед собой. Но нечего было делать, как советами и строгим заключением воздерживать молодца от своеобычливых поступков и помогать его рассудку самому собой открыть ту бездну, из которой его вытащили. Что же лежит до долгов его, то, видя в них обыкновенные обманы ростовщиков и обирал, я к г. губернатору ответствовал, что поелику сын мой не имел ни возраста совершеннолетнего, ни собственного своего имения, то и верить ему никто не был должен, что, если хотят они мириться на умеренных платежах, могут представить мне свои права на бумаге, и я постараюсь чем-нибудь их удовлетворить, но весь долг сына моего выплачивать не расположен и не стану, ибо как он не имел права занимать, так и ему никто взаймы давать был не обязан. Этой перепиской дело заглохло. Губернатор ко мне уже более не писал о том, должников я не видал, и первые бури, по крайней мере, на время утолились. Во всех сих приключениях я никого так не виню, как губернатора и Ласунского. Молодой человек многого бы не сделал худого по наклонности своей, если б не подавали ему повода люди старее его. Губернатор не мог не знать, что за офицер такой князь Долгорукий приехал в Витебск, куда и зачем едет. Обязанность его была задержать молодого человека и выслать к своему полку, тем бы он и дело свое сделал, и меня одолжил, а юношу спас от напасти. Ласунский не должен был Александра с собой брать. Пусть он с ним был как-то знаком, но знал же он и то, что он офицер, послан с депешами в армию, и взять его в Малороссию да катать для забавы своей в дормезе[23] было безрассудное дело, по которому судя о г. Ласунском, должно заключить, что он и сам повеса. Впрочем, кто ныне о чем и о ком думает, кроме себя? Эгоисты наши, не размысля, принесут себе в жертву каждого, несмотря на его страхи, лишь бы то было им пригодно и приятно. Свет испорчен, но я один, хоть стопы измараю ругательства против людей, ничего не поправлю. Итак, полно! Станем просто рассказывать, что было да случилось.

По всем сказанным происшествиям я оставил подмосковную ранее, чем думал, и все мы перебрались в город. Приехала к нам на несколько дней Анна Михайловна Богданова погостить, но занемогла так круто, что принуждена была расположиться житьем в нашем доме и тут осталась. Скоро ей помогли, но следствии ее болезни произвели завалы, и

она долго должна была от них лечиться. Вот как слепой случай сводит часто людей снова под одну крышку таких, кои по зрелом испытании свойств своих могут продолжать искренную друг к другу любовь, но жить вместе не способны. Брат ее Григорий, оставшись в Москве, просился в отставку, и дело уже было на мази, дали ему свидетельство отчаянное, по которому думать надлежало, что он и до отставки не доживет, хотя уповательно, что он ее многими годами переживет. Подъехал и Алексей, пасынок мой. Поелику ополчение московское распустили, то он с аттестатом возвратился домой, свободен вступить или в военную службу по порядку, или опять в прежнее штатское звание. Торопиться ни тем, ни другим не настояло причины, а потому он остался до времени при нас. Итак, дом наш московский наполнился снова, все семейство наше почти было собрано в одну кучку. Павел тем временем в Петербурге, ища выгод по службе, рассудил перейти в военное министерство к князю Горчакову, и по согласии моем на то, без которого этот достойный сын ничего не предпринимал, он переведен под его начальство, где и начал новый род службы. И он платил дань молодости! У всякого своя бабочка! Взманили его снурочки да мундир, шпага с темляком, а пуще всего шпоры. Он не мог броситься в военную службу, зная, что мне то совершенно было бы противно, да и для того, чтоб согласить себя со мною, вышел в такую штатскую канцелярию, которая по натуре своей давала ему право на некоторые воинские приборы. Извинительна такая слабость, она не расстроивает никого и не вредна никому. Князь Горчаков принял его к себе в штат с удовольствием и поставил ему в виду надежды такие, каких он не имел в министерстве внутренних дел. Но при сей разлуке сына с Козодавлевым я не имел причины сам по себе жаловаться на поступки того министра. Он со мной обошелся прекрасно и, сообща мне намерение сына моего оставить его канцелярию, не прежде выпустил бумаги, до того касающиеся, как получа мой отзыв согласный на желании сына моего. Может быть, он этим переводом и обиделся, приписав его мне более, чем Павлу самому, но сын мой, имея уже двадцать шесть лет, должен был в полной свободе искать счастия своего там, где его предвидел по мыслям своим. Я же тут иного участия не имел, как дачу дозволения, которое, зная Павла, не мог не изъявить. Впрочем же справедливость и того требует от меня, чтоб я остался довольным обращением со мной г. министра внутренних дел. Вот все наши домашние приключении, какие до ноября или до зимы последовали. Теперь станем говорить о забавах московских, но молвим прежде слово о внешних приключениях, они очень значительны.

Скоро по смерти Кутузова появился в главной квартере Моро, известный совместник Наполеоновой славы. Кутузова тело с почестью, какой дотоле никому не было, привезено в Питер и похоронено в Казанском соборе. Плач и рыдание было велие, стихи падали с Парнаса дождем на землю, но скоро стали о Кутузове говорить, как о человеке обыкновенном. Все глаза устремились на Моро. Все еще относили событии времени нашего к человеческим замыслам и не хотели приметить, что перст Божий коснулся мира непосредственно сам. Что ни происходило, все было чудесно. Из нечаянности рождались расчеты, из небрежности — знаменитые успехи, фортуна очевидно кинулась от колесницы Наполеона к стопам Александра, и где он ни предшествовал, везде победа склонялась на его сторону. Дабы еще явнее было к нам благоволение Божие, Моро умер[24], и, казалось, войска наши осиротели, но самый гроб сего человека показал, что где Господь просвещает, там устрашаться некого, там на всяком шагу всякий солдат — Кутузов, Моро точно так, как и Волоамов осел среди пустыни сделался пророком[25]. Была бы лишь десница Божия за нас, — кто на ны! Моро на неудачном сражении около Дрездена[26] потерял обе ноги и жил только несколько суток. Тело его погребено со славою в Петербурге, в католической церкве. Итак, резиденция российских государей на севере сосредоточила несколько вдруг иноплеменных гробов, дабы при воспоминаниях, кои они собой оживлять станут, сильнее врезывали в ум и сердце владык наших, что помощь им приходит от Сиона и сила их от Вышнего. Тут похоронены бывший король польский, принц Ольденбургский, Кутузов и, наконец, Моро!

Потеря сего последнего была чувствительна, но не переменила состояние дел. Пруссия вслед за собой привлекла в союз с нами Саксонию, Вестфалию и, наконец, Цесарию. Все ополчалось против врага мира и тишины. Армия его несколько сражений выдержала около Дрездена, и казались сомнительными шаги союзников, но Бог наклонил весы счастия на Россию под Лейпцигом, и при взятии сего города союзники такую приобрели славу октября 6-го, которая долго не изгладится в летописях мира[27]. Четыре армии в одно мгновение сошлись на площади города как бы по маневру, а не после сражения, несколько тысяч пушек сотрясали твердь небесную. Никто не помнит подобного ужаса. От самых простых повествований о сем волосы подымаются. Император наш, цесарский[28], король прусский, шведский принц Бернадот (ибо все Наполеону изменяло даже до присных его), все в одно утро очутились на помостах человеческих тел в Лейпциге. Победа ее решила участь Наполеона. Он ускакал

в Париж, войски его опрометью бежали, и ничто не препятствовало нашим силам подвинуться к Рейну. Тут многие совещании обдумывали переход за сию живую границу французов. Были мирные предложении, но не приняты. Не у прииде час безмятежных помышлений. Кажется, что прежде, нежели решиться идти за Рейн, десять раз мерили на уме каждого из воевод такое отважное предприятие. Но Висла, Немень, Эльба и Днепр, коими ругался Наполеон, зажгли новым восторгом наши войска, и совет порфироносный решился. Царь русский закричал: «Ступай!» — и орды, отвсюда слетевшиеся на отмщение супостату, двинулись грудью во внутренность Франции. Держался еще здесь на нашей стороне Гамбург, Данциг и несколько крепостей, коих сдача была несомненна, прочее все было покорено. Голландия, Швейцария, весь союз Рейнский, сие исчадие воображения Наполеонова, все сии области присоединились к общему делу, все восстало и ополчилось против французов, как древле израильтяне против моавитов[29]. Не было войны другой в Европе, как одна общая за независимость и свободу. Что устоит против таких усилий?

Император Александр вне отечества своего собирал вокруг себя родину и в чужих землях. Он посещал родственников своих по матери и по супруге. Там встретила его сестра Марья, тут он съезжался с Екатериной, скоро по кончине мужа своего предприявшей путешествие политическое во внутренние области Германии под предлогом расстроенного здоровья. К концу года государь и супругу свою пригласил в родительский дом ее[30]. Она выехала из Петербурга с благословениями всего приверженного к ней народа. И самые меньшие великие князья отправились при встрече 1814-го года в армию, дабы быть свидетелями тех чудес, какие дух народа русского, восхищаемый верою, производить удобен. В резиденции оставалась одна вдовствующая императрица с великой княжной Анной Павловной, двора другого не было. Совет и особенный комитет управлял государством, но важные случаи ждали конфирмации самого государя. Курьеры от него и к нему летали беспрестанно, как метеоры, которые пробегут небо огненной струей и канут в бездну солнечного сияния. Александр, упоен славой, шествовал во Францию с войском победоносным и отмщал кротостью лютые подвиги врага в его столице, белокаменной Москве. Дорого стоили Наполеону ее развалины. Год кончен на берегах Рейна, и наши солдаты, встречая обон пол[31] его год новый, приветствовали друг друга за здравыми бокалами не горелки, а доброго рейнского вина. В таком положении были дела военные и политические Европы при окончании сего года. Не мое дело рассуждать о них подроб-

нее. Указав главные происшествии кампании, довольно добавить, что Англия сорила везде богатою рукою стерлинги свои и, поджигая ревность во всех и в каждом, домогалась давнишней своей цели: Delenda est Carthago*. Песню эту сперва запел в прошлых годах Наполеон, в нынешнем затянул ее сенжамский кабинет[32], и гораздо основательнее. Не отнимая ни у кого принадлежащей чести и славы, можно, однако, потихоньку сказать, что всю эту кровавую игру разыгрывала Англия. Министры ее везде шнырили, а деньги все точили, словом, ее были марки, а наши карты. Остановимся на этом. Пуля еще не кончена, и кто в выигрыше останется, отгадывать рано. Известно, что банк сорвет Россия. Но кому барыш? О, это другое дело!

Москва меж тем не унывала, и на пепелище своем каждый выстроивался снова. Несмотря на чрезмерную во всем дороговизну, город наполнился жителями своими почти по-прежнему, и зима проведена в забавах разного рода. Многие осуждали такое стремление к удовольствию, но я осмелюсь с этим мнением не согласиться. Во-первых, газеты наполнены были описанием праздников и торжеств даже в таких землях, где гул пушечных залпов еще отзывался, а в Москве уже, слава Богу, не только порохом, но и золой не пахло. Сверх того, когда мы, и самые сердечные потери невозвратные оплакивая долго, наконец примиряемся с светом и его суетами, потому что человек не рожден ежечасно сетовать, то естественно ли о московском пожаре так сильно и долго печалиться, чтоб не хотеть и на свет Божий глядеть для того, что буян Наполеон был в нее пущен и дурачился. По моему мнению, гораздо неприличнее было после Бородинского сражения давать в Александров день накануне вторжения врага театр и маскарад, нежели год спустя, когда Москва оживотворилась, начали строиться, тучнеть снова, тужить о таком горе, которого не поворотишь, хотя сожги до последней дудки в городе. Вот как я думаю, — всякий, впрочем, свободен мыслить как хочет.

Итак, в Москве, хотя в малом виде, все старые увеселении возобновились. Дома публичных собраний все сгорели и не могли скоро поправиться, но на зиму их заменили лучшими домами в городе. Аглинский клоб принял деятельные силы, и мужчины съезжались туда ежедневно курить табак, читать газеты, играть в карты и спорить о политике, как прежде. В благородном собрании по вторникам снова начались балы, и весьма приятные как многолюдством женского пола, так и роскошью их

* Карфаген должен быть разрушен (лат.).

убранства, дом для сего взят был графа Маркова. Он не мог равняться с прежней залой собрания, которую некогда так обезобразили, унизив в ней статую Екатерины Второй и поставя ее совсем не в приличном ей месте, но такой залы другой в городе уже не было. Надлежало довольствоваться лучшим партикулярным домом, зато он всегда был наполнен публикой московской. Кстати сказать, что статуя Фелицы, выставленная вместо Красной площади в плясовой зале, была во время пожара дома обломана, и я ее видел в самом изувеченном положении в подвалах старого клоба. Так-то мы чтим великих! Так-то мы охраняем их славу! Живет царь — монументы на каждом шагу, умер — и помину нет! Первый бал благородного собрания дан был со всей роскошью и великолепием возможным в доме главнокомандующего 12 декабря, и публика наша показала, что она среди общего и частного разорения умела, однако, сохранить много драгоценного в алмазах и ожерельях. Признаемся, что Москва единственна. Вот она-то точно на огне не горит, на воде не тонет.

Театр истреблен был дотла, и труппы не было. Казалось, эту забаву труднее всего было оживить. Ошибка. У Позднякова в доме был и театр, и залы пространные, и актеры порабощенные. Этот дом уцелел, потому что при французах в нем какой-то сброд казал наполеоновым полкам увеселительные зрелища. Позняков открыл его и стал в нем давать публичные оперы каждое воскресенье, но как на все есть мода, а в настоящее время вошло в обычай пить, есть, козырять и шевелиться в пользу бедных, то и Позняков, дабы дать нравственный предлог своим зрелищам, выпросил у правительства дозволение заставить холопов своих играть за деньги и ими умножить кассу, для инвалидов повсюду сбираемую. Разумеется, что такая благодетельная мысль весьма понравилась правительству, и в первый раз еще актеры на театре просили, так сказать, милостыню, которой без того никто бы страждущему воину не подал. Пусть такое побуждение не много делает чести сердцу человеческому, но хвала тому, кто и из самой слабости нашей умеет извлечь пользу, и толико чувствительную. От насмешки никогда не уйдешь. Следующие стихи тому доказательство:

Я видел кучу лиц, наскученных и бледных,
Стремящихся в театр смеяться в пользу бедных.

Г. Позняков не удовлетворился одними театрами, он и маскарады давал на святках и на масленице самые блистательные, и все в пользу бедных. Народу съезжалось множество, и сбор должен был возвышаться от

бала до бала или от зрелища до другого до значительного количества. Говоря о масленице, я уже нечувствительно зашел в следующий год, но, дабы не разорвать повествования о забавах и довершить картину их, я принужден был в одну точку соединить последние месяцы истекающего и первые наступающего годов. После уже об них я говорить не стану, а теперь свежим пером допишу начатое.

Польза бедных сделалась предлогом всему. Выпил ли кто с приятелями чашу вина — тотчас складка и помощь несчастным; потешился ли в круговеньке, за билиардом, за бостоном или даже в дураки — откладывались некоторые части выигрыша для раненых! Театры, собраньи, маскарады в Москве, как и везде, доставляли контрибуцию воинам изувеченным. В газетах и журналах провозглашали отвсюда подобные же жертвы милосердого сострадания. Один остряк даже в периодическом сочинении вывел замысловатым слогом самый верный счет, что один бостон в России может доставить для бедных до двух миллионов с лишком вспомогательной суммы. О мода! Очаровательница голов благородных! Ты учишь патриотизму, милосердию и даже закону Божию! Десять лет назад многие из тех, кои ныне кидали деньги бедным у входа в маскарад или в бостонную чашечку, не подали бы гроша безногому солдату. Десять лет назад никто не читал духовной книги. Ныне у всякого на столике лежала Библия, потому что Библейское общество[33], новое наших времен заведение, благоволило и на Священное Писание накинуть модный чехол. Словом, польза бедных там и сям, и везде сделалась всему предлогом, и под этим плащом часто скрывались самые жесткие внутренности. Но делать то, что водится, всегда было единственным побуждением многих, будем смелы, скажем даже: почти всех.

В таком же восторге насчет бедных явилось было и благородное зрелище. В Москве всегда любили играть комедию в обществе. Нынешней зимой того же захотелось многим, и сперва рассудили играть в пользу несчастных за деньги, но предварительная хула от многих такого нового предприятия заставила от него отказаться. Я принужден был принять в этой игрушке живейшее участие, имея дочь на возрасте с пылким характером и с свойствами, наклонными к удовольствию и забавам, я не мог ей отказать в столь невинном увеселении и, вспоминая себя в ее леты, когда я сам игрывал комедию, не находил себя вправе лишить ее оного. Затея началась в доме гражданского губернатора, моего приятеля Спиридова. Роли розданы, положено играть за деньги. Весь город о том уведомлен, и всякий по своему рассудку о том начал толковать. Наконец и

правительство, не отказывая прямо в дозволении своем, давало чувствовать, что дворяне никогда не игрывали за деньги и что равняться им с холопьями Позднякова неприлично. Потому, что дочь моя играла, меня из учтивости заставили быть директором театра, и я не мог, хотя с крайним отвращением, не вмешаться в эту глупую сплетню.

Некто, мой знакомый, говаривал, что не должно бояться нестрашного и стыдиться нестыдного. Не знаю, следовал ли он сам этому правилу, но я любил его держаться, находя по мыслям моим основательным. Я бы не поколебался молвой, она на меня никогда влияния большого не имела, но за что было мне дочь подвергать критике многих? Чем наш пол может пренебрегать, тем женскому часто шутить не должно, особливо же видя, что и граф Ростопчин, который представлял в Москве лицо самого государя, невыгодно рассуждает о таком, впрочем, по существу своему благородном побуждении, я отстал первый от намерения нашего общества, и дочь моя отказалась играть за деньги. Таким образом переменился вид забавы, но она все состоялась, и решились играть для своего удовольствия, как веживалось прежде в нашу счастливую молодость. Апраксин дал свой театр, в нем помещалось до семисот человек. Играли на нем два раза. Первый спектакль состоял из трех пиес: «Семейства Старичковых», «Недоверчивости и хитрости» и «Влюбленного Шекспира»[34], а второй из двух: «Мизантропа» и «Адольфа и Клары»[35]. Мужские роли в обществе играли или сочинители, или переводчики и лучшие актеры в дворянском сословии, а именно Кокошкин, Ильин, к ним присоединился пасынок мой и прочие. Дамы были: Алексеева, воспитанница князя Юрия Владимировича, и княгиня Горчакова, молодая женщина, дочь Кошелевой, той самой княжны Меншиковой, о которой в Истории молодых моих волокитств так много говорено было. Как странно случай сближает роды нисходящие с их предками! Я влюблялся в мать во время ее ребячества, а ныне моя дочь с ее дочерью вместе играли в глазах моих комедию и напоминали мне, что я очень стал стар. Оба спектакля были весьма удачны, все играли очень искусно. Дочь моя большие получила одобрении, она развернула наследственные таланты матери своей, и многие находили у нее с той большое сходство на театре. Все это меня трогало до души. Изображение такое живое Евгении, и в ком, — в дочери моей, не могло быть для меня равнодушно. Вообще эта забава доставила мне много приятных занятий. По склонности моей к задумчивости, мне иногда были нужны рассеянии такого рода. Не потаю, однако же, что пустое название директора наносило мне много неприятности, ибо нет

ничего труднее, как ладить с публикой, особенно в Москве. Угождать ей или, по крайней мере, охраниться от ее укоризн есть труд немаловажный. Я искал удовольствия для дочери и должен был купить его большими хлопотами собственно для себя. Как бы то ни было, нас бранили и жадничали смотреть, досадовали на меня за билеты и рвались из них, как из добычи. Не все любят именно театр, большая часть людей хотят непременно быть в толпе во что бы то ни стало, и от них-то бывало мне тошно. Многие из тех, кои осуждали намерение играть из платы в пользу бедных, после охуждали, что не состоялось такое похвальное предприятие и отнята милостыня у несчастных. Пусть угодит такому народу кто-нибудь!

Главная цель выполнена! Комедия доставила нашим молодым людям большое удовольствие, и мы, кончив шумно настоящий год, вступили так же в новый. Я разбивал свои мрачные мысли, жена моя умножала опыты своей любви ко мне попечениями о моей дочери, ее выездах и одеванье, дочь удовлетворяла молодым порывам тщеславного своего свойства и в рукоплесканиях публики находила высочайшее торжество, словом, все мы были довольны, и судьба, проложившая мне горькую стезю ко гробу, рассыпала иногда по местам цветы на пути моей жизни, которыми я торопился пользоваться, пока солнце дней моих не совсем закатилось.

1814

Написав Историю мою до того времени, в которое с истечением пятидесяти лет моей жизни я переставал уже быть слугою государства и начинал только пользоваться правами владельца над собственностию своею, я не хотел уже более заниматься продолжением оной и перу своему назначал другого рода упражнении. Домашняя и пустынная жизнь, какую я вести осужден был по отставке, казалась мне слишком единообразной, чтоб заметить в ней что-либо занимательное для потомства. Так я думал и без намерения, по одной привычке, записывал на летучих листочках события моего дома, но спустя лет пять и взглянувши в них увидел, что История моя, писанная собственно для детей моих, не должна кончиться тут, где я остановил ее, а по роду обстоятельств, утеснявших меня более и более отвсюду, необходимо представить им полную картину всего бытия моего, и потому опять решился приняться за ту же работу и,

отправляясь с той точки, на которой пред сим остановился, продолжаю многотрудное поприще дней моих, даже до той минуты, в которую уже изменят мне все физические силы и вывалится перо из рук. Итак, воротимся опять в Москву, где повествователь последнюю написал строчку в 1813 году.

Мы уже тогда, по изгнании неприятеля из столицы, собирались в ней старые гнезда вить на прежних местах и отдыхали помаленьку от нашествия вражьего. Всякий починивал свою клетушку, отделывал свой участок земли. Воздвиглись опять пышные здания, возобновлялись веселости городские, и я с своим семейством уже принимал в них участие. К делам моим по службе, которые еще не были кончены ни в мою пользу, ни против меня, присоединялись заботы хозяйственные, ибо надлежало мне войти в переговоры с сестрой меньшой о следующей ей части из имения, доставшегося нам после матери моей, чего покойная не успела начатою с сестрой перепискою при себе кончить, а без разрешения сего обстоятельства трудно было мне в свободе распоряжать собственностию общей. К облегчению сих новых забот, время, сей единственный врач недугов душевных, ослабило силу прежних моих горестных чувствований, затемняло мало-помалу память старых оскорблений, и я равнодушнее сносил мою отставку со всеми сопровождавшими ее неприятностями. Я привыкал к своему положению и умел в нем находить отрады. О, какое благодеяние природы мы испытываем, когда находим в себе склонность к словесности и занятиям ее! Что сильнее может утешить огорченную душу, уязвленное сердце, мрачный рассудок? Деля время между чтением и письмом, я, как многие мои братья отставные, не тяготился ни длинным утром, ни бесконечным вечером, не будучи уже в службе, я точно такие же имел недосуги около себя в моем кабинете, какие некогда задерживали меня за государевыми бумагами посреди сонмища секретарей. Но можно ли сменить те труды с нынешними? Тогда я раболепно настроивал воображение мое и мысли к тем предметам, кои против склонности моей и правил подвергаемы были моему взору, теперь с полною свободою перо мое писало то, чего хотел мой собственный разум, к чему направляла его собственная моя воля. Словом, я не скучал своею праздностию и наполнял ее занятиями приятными.

Основав жительство свое в Москве, я обратил первое внимание к тому, чтоб довершить воспитание меньших моих детей. Я принял в дом француза немолодых лет по имени Фабра, который, обучая их по-французски и рисовать, чему он более всего был горазд, составлял беседу

мою по вечерам, и мы в политических прениях с ним и стариком нашим Классоном нечувствительно сокращали долготу осенних ночей. О! Политика того времени обильна была в материалах для разговора! Платил я этому иноземцу по тысяче триста рублей в год.

В течение зимы обрадован я был приездом княгини Куракиной, которая прогостила у нас до лета, а сын мой старший князь Павел, получа небольшой отпуск, приезжал со мною повидаться из Питера. Его пребывание у меня было коротко, я не успел с ним наговориться, как уже срок приспел его отъезду, и он, проживши с нами с месяц, возвратился к своей должности, а между тем и дела второго сына моего князя Александра поправились. Доставленные о мнимом его повреждении ума свидетельства дали случай отставить его без пятна и наказания, просто за болезнью, тем же чином, то ёсть прапорщиком, и, разумеется, без мундира, ибо никто во вселенной не имел менее права на усы, как он[1]. Чем чернее представлялись мне неизбежные последствия его шалостей, тем сильнее я ободрялся приятным оборотом их с такою для него неожиданною выгодою. Я предавался охотно уже тем забавам, которые свойственны были моему характеру, и в доме князя Юрия Владимировича Долгорукого в удовольствие его несколько раз играл комедию без театра в комнате при малом числе зрителей, однако и это невинное увеселение соблазняло многих. Злоречие не дремлет, неприятели мои меня поносили, но я всегда был равнодушен к тем пересудам, кои не порок, а слабости одни порицают, ибо какое преступление в том, чтоб играть комедию, когда хочется и мочь есть. Кому оно вредно? А где нет зла, ни общего, ни частного, оставим все то на произвол человека по его вкусу и желанию.

По плану жизни, который я себе предначертал по кончине матушки, я непременно должен был летом съезжать как можно ранее в деревню, ибо доходы мои не достали бы мне на прожиток в Москве круглого года. Нижегородская деревня платила мне оброк, согласно пользе самих крестьян и моей, помесячно, начиная с сентября и оканчивая в мае, следовательно, с первыми днями лета необходимо было приблизиться к тем местам, где мы безденежно могли пользоваться жизнию от земных произрастений, и в сем отношении имели два пункта переселения, Никольское наше и женино Александрово. Там природа нам давала пищу, и незачем посылать на базар, там скот наш кормился домашним даровым запасом, там сама простота деревенской жизни освобождала нас от тех издержек, коих требуют разные пустые пристойности общежития в городах, но не всегда и самые лучшие планы могут приводиться в исполне-

ние. Человек всегда под игом обстоятельств делает только то, что может. Истину сию испытывал я каждый год, особенно же в настоящий, и по самым неприятным причинам.

Сестра моя Анна Михайловна Богданова, живущая снова, как сказано прежде, в нашем доме, начала хворать в начале еще зимы, и болезнь ее не предвещала ничего хорошего. Она день от дня пухла чрезвычайно, завалы в печенке усиливались, обструкции твердели, наполнялась вода, и, несмотря на все старания разных около ее врачей, она приближалась к последнему периоду жизни. Наконец, положено было выпустить ей воду, но и сии средства облегчили ее ненадолго. Сколь ни переносила она равнодушно, можно сказать, с геройскою стойкостию недуг мучительный, но зрелище ее страданий не могло быть для нас не чувствительно. Тою же весною я и жена выдержали хорошую нервическую лихорадку, которая весь май продержала нас по очереди в постеле. Скоро потом занемог и сын Дмитрий. Тяжкая горячка, предшествовавшая развитию его физического возраста, сильно нас постращала, но дело кончилось одним страхом, и он, благодаря Бога, стал на ноги. В то же время зять мой граф Ефимовский привез на руки московских врачей из деревни дочь свою Катеньку, которая целый год больна была белой горячкой, не подавая никакой надежды в выздоровлении. Все мы почти осуждали ее навек остаться безумной, и в сем предположении желали лучше ей конца, но Бог, ознаменовав славу свою на ней, привел паки ее в разум, и болезнь ее совершенно по времени миновалась, как то увидят и в последующих годах.

К сим неприятным предметам, с которых мы почти глаз не сводили, живучи в одном городе и в тесном между собою сообществе, присоединялись разные и заочных наших сродников печальные известия. Племянница моя, дочь двоюродной сестры княгини Урусовой, выданная замуж за Филатьева, милая и молодая женщина, друг искренний покойной дочери моей, Софья Ивановна скончалась в деревне своей родами, оставя нескольких сирот и оплакана будучи всеми ее ближними. Душевные качества ее невольно одождили на гроб ее источники горьких слез от всех, знавших ее и связанных с нею узами родства и дружбы. Ту же участь имела и невестка моя родная по жене, супруга брата ее родного Прасковья Михайловна Безобразова, которая, родя пятого младенца и первую дочь, успела только назвать ее Аграфеной и испустила дух в мучительных страданиях. Молода еще, пригожа и благоразумна, она умирала в то самое время, когда нрав ее, образовавшись опытами, становился достоин общего уважения и делал жизнь ее необходимою для сирого

ее семейства. Кто не заплачет о таких жертвах рока? Кто равнодушно сматривал на гроб молодых людей, оставляющих по себе юное потомство без защит и опоры. Но воле естества не дано смертному противиться. Он подклоняет страдательно выю под руку промысла и ему одному вверяет судьбы младенцев, лишающихся родителей своих, дабы приобрести их в одном Отце небесном. Обеих сих женщин мне чрезвычайно было жаль. С печалью соединялись и разные досадительные чувства. Шурин мой по первой жене Савва Сергеевич Смирнов, с которым я был очень дружен, без всякой причины лишился прокурорского своего места в Нижнем и переведен был в советники в Уголовную тамошнюю палату. Уничижительное такое перемещение явным было знаком, что недоброхоты мои продолжали искать случаев оскорблять меня разными образами, и оно не могло быть холодно моему сердцу, осужденному переносить все роды чувствительных оскорблений. Так-то мы начинали лето в столице, не имея почти возможности выехать из нее, чему особенно препятствовали домашние хлопоты. Хотя дом наш после французов спасся от огня, но службы и все почти принадлежности пришли в такую ветхость от времени, что надобно было приняться за отстройку новых, и потому я заложил при себе большой деревянный корпус с мезонином для помещения дворни. Строение начато в июне. Надобно было самому присмотреть хотя за начальным его основанием. Подряд заключен был за десять тысяч рублей, и эта издержка по необходимости умножила массу долгов наших. Посреди таких то слез, то болезней, то сует заботила меня и судьба сына князя Александра. Он жил в моем доме под моим строгим присмотром, и поведение его начинало соответствовать моим о нем попечениям. Приметил его исправление и старец нашего рода князь Юрий Владимирович, он снова обратил на него благосклонные взоры, потребовал от меня, чтоб я дозволил ему жить в его доме и зависеть уже непосредственно от него. Я не мог на то не согласиться, и Алексаша, оставя кров родительского дома, переселился в чужое семейство. Казалось, судьба вела его к тому от самого его младенчества. Вспомнит читатель, что скоро по смерти жены моей тот же князь Юрий Владимирович желал из всех детей моих именно его взять на свои руки. Тогда я не мог на то решиться, имея еще способы сам его воспитывать. Я бы подвергся правильным укоризнам совести, если б передал сие право другому ради одного освобождения себя от сей натуральной обязанности, но ныне, когда решительным определением промысла очерчен был круг моих недостатков и средства мои в будущем представлялись час от часу беднее, что

мне оставалось делать, как не соглашаться доставлять детям моим посредством сторонних благодетелей степень благосостояния, до которого они в моем доме достигнуть теряли всю надежду. При всяком подобном случае сколь тяжко было мне чувствовать, что я без помощи чужой лишен был способов доставить какую-либо пользу даже детям моим. Пусть войдут в положение чувств моих те, коих сердце способно питать сожаление о ближнем, и мог ли я не приходить по временам в крайнее уныние, когда видел двух уже сыновей своих, пришедших в возраст и обязанных для облегчения своего семейства искать чужой милостыни, чтоб проложить себе дорогу к снисканию средств поддержать жизнь свою. О! Как глубоки язвы чувствительной души, когда так сильно действуют на ней слепые случаи фортуны.

Нетрудно себе представить, что в таком положении дел моих мне нужно было некоторое рассеяние. Уехать в деревню было еще неудобно, и я решился кратковременными отлучками от города, с одной стороны, пользоваться свежим воздухом и свободою, с другой — выполнить некоторые приятные обязанности родства, и потому в течение нынешнего лета мы с женою, оставя все семейство в Москве, посетили тещу в ее Тульской деревне и там с неделю прожили. На пути к ней были у добрых наших приятелей Яньковых в Каширском их поместье, и кончил путешествие свое посещением Рахмановых под Волоколамском. Все они были нам или родня, или приятели. Сколько им приятно было нас угостить, столько нам оказать им знаки нашей приязни. Путешествии сии принесли мне существенную пользу и подкрепили мое здоровье, разнообразность предметов отвлекали от постоянных унылых мыслей, и воображение мое снова готово было к занятиям пера в обыкновенном моем вкусе. Я тогда написал и отдал в печать «Рассуждение мое о судьбе»[2], которое удачно принято публикою. Вместе с этими стихами сложил я другие в насмешливом тоне на светские обычаи, которые с успехом появились в свет в свое время. Из сих разнообразных сочинений видно было, что я и плакал, и смеялся, и ипохондричал, и был весел по влиянию разных случаев, кои более или менее действовали на разум мой и душу. Между тем политический мир имел свои события. По их важности нельзя не упомянуть об них. Война с французами действовала на каждого. После разорения Москвы месть вселилась в душу всех обывателей ее, и ничто, происходящее за границею, не было для нас равнодушно.

Скоро после нового года двинулись все союзные наши войска за Рейн и направили путь свой во Францию; боялись долго Австрии, но и

та пристала к прочим. Наконец, после многих стычек, удачных и неудачных, успехи наших войск взяли поверхность. Наполеон везде разбит. Предлагают ему мир в недрах Франции, он не приемлет. Фаланги шествуют далее, и в апреле Париж сдается неприятелю. Наполеон спасается в Фонтенебло. Там, брошен всеми, он принужден соглашаться на всякий жребий, какой его постигнет. Великодушные союзники, щадя Францию, положили, не лишая Наполеона титла императорского, переселить на остров Эльбу, и там давши ему некоторый остаток самовластия над малою частию войск, для него туда отряженных; развели его с женой и сыном, которых отобрал к себе цесарский император, и тем кончилась война того года[3]. На крылах, можно сказать, прилетела весть о сем в Москву, все кричали: «Париж взят!» — и никто себе не верил в этом. Так быстро переменились обстоятельства! Так сильно пал фараон нашего времени! Кто мог отгадывать такой переворот фортуны? Рука Божия одна непосредственно сама могла производить подобные чудеса. Церковь восклицала с коленопреклонением и молитвою: «Кто Бог велий, яко Бог наш!» Народ радовался всем сердцем, все сословия ознаменовали живейший восторг радости. Никакой Тит Ливий, никакой Тацит не передаст потомству картины московского торжества во дни оны. Старики молились и плакали, молодежь кружилась беспрестанно, одни недужные в тихом своем уединении ни в каких радостях не участвовали. Около нас их было довольно, и потому мы меньше прочих разделяли общее восхищение народа. Как кто ни порицай эгоизм, но признаться должно, что кому до себя, тот редко заботится о других. Любви к себе никто не умертвит. Это чувство в натуре, а натуры никакое усилие человеческое не переделает.

В числе многих балов и праздников летних, которые жители Москвы давали наперерыв друг другу, замечательным почесть можно съезд всего города на воздушный праздник в доме г. Полторацкого. Там общество самых резвых весельчаков из дворян сложили между собой нарочитую сумму и дали блистательный праздник. Весь город приглашен был по картам, разыгран был нарочно для сего случая сочиненный пролог благородными особами обоего пола со всею возможною театральною пышностию как в нарядах, так и в оптических явлениях, за прологом следовал бал, великолепный ужин и знаменитый фейерверк. О празднике сем много и долго говорили везде, меня и при сем случае не пощадили, хотя я, побоясь тесноты, на пиршестве не был. Выдумали какие-то площадные ругательные стихи и приписали их мне, я принужденным нашелся

12 Зак. № 3975

отразить столь подлые поклепы стихами в честь одной из благородных девиц, игравших в прологе, которые в известность всей публики тогда же напечатал.

Отдохнувши от радости, что за Москву русские солдаты вошли в Париж и там, филантропически поступая по духу времени, плотят за сожжение столиц[ы] братскою любовию и, не тронув ничего, обогащают французов остальными своими деньгами, платя за хорошее вино из чести, что ни попросят, без ряды, по некотором времени, когда восторги попростыли, начали любопытствовать, чем же вся эта трагедия кончится. Ожидать надлежало мира, но с кем и какого? Прозорливая политика все устроила. Привезли в Париж из Англии заключенного там Людовика осьмнадцатого, посадили его на престол, заставили утвердить скороспелую и непрочную конституцию, и, заключив с ним великодушнейший мир, все войска, нагулявшись, натешившись во Франции, выступили из оной и пошли в свои родины тужить о преимуществах войны, то есть свободе и грабительстве.

Известие о сем вожделенном мире умножило московские воскликновения. Курьер привез его в столицу 16-го числа июня, в самый праздничный день моего семейства, день рождения жены моей, за празднование которого я некогда в Володимире так дорого заплатил. Приказано было возвестить Москве мир пушечным залпом, как скоро дойдет о том весть до начальства, и в самую ту минуту, когда приятели мои съезжались ко мне в дом позабавиться детским спектаклем, в котором я с дочерьми своими играл комедию «Хитрая вдова»[4], в то самое время в Кремле ударили пушки. Всякий всякого приветствовал с миром. Новые восторги, новые слезы умиления, и семейный мой праздник усугубился в красоте и занимательности, потому что всякий радовался и искал разливать свой избыток чувств на все окружающее. Мы сыграли свою комедию очень удачно и нечаянно прежде всех восторжествовали всеобщий мир Европы. Так назван был трактат с Франциею, и подлинно, это было справедливо, ибо кто не дрался со всеми и кто напоследок не помирился со всеми же?

Странное попало мне в голову на то время замечание. Я пишу мою Историю, следовательно, всякая и малость, которая собственно до меня касается, более имеет права на помещение ее в сих листах, нежели все огромные затеи венчанных глав Европы. Когда напали на меня в Владимире мои злодеи, как на Москву французы, и всклепали, будто я в этот же самый день, то есть 16-го числа июня, празднуя женино рождение,

хотел уподобить забаву мою царским торжественным дням и осветил весь собор, тогда сим будто угадывали, что судьба сама нечаянно сочетает с этим днем такое важное государственное дело, которое потребует пушечной пальбы и всякого грома, и ныне, будучи в отставке, отправляя семейный свой праздник, я имел случай слышать как будто в честь его залп Кремлевских орудий. Надобно было по приговору рока, чтоб великолепие царской радости сливалось вместе с простотою моего уединения.

Окончив столь важные и, можно сказать, чудесные подвиги, государь скоро возвратился в Петербург и там в Александров день изволил издать в народ так называемый Милостивый манифест, в котором прощались по древнему обычаю некоторые недоимки и долги казенные, и обвиняемые в мелких преступлениях освобождались от суда и наказания[5]. Сей манифест был слепок тех, кои выдавались и при Екатерине. Сим политическим актом увенчаны все успехи российского воинства и усердие народа. Сею наградою заплочены пролитая кровь, сожженные грады, опустошенные веси и все добровольные пожертвования государственных сословий. Совет под председательством князя Салтыкова, который во всю отлучку государя из России управлял ею в виде регента, рассудил нарядить к государю депутацию, которой поручено было его величество на пути поздравить с вожделеннейшим миром и поднести ему титул Благословенного. Но Александр, приказав гг. депутатам возвратиться, отклонил название, ему посвящаемое, и, с христианским смирением воздав хвалу за вся благая единому Господу Богу, положил обет во имя Спасителя воздвигнуть храм в Москве в память незабвенных происшествий минувших лет, чем увеличил славу своего имени и сияние скиптра. О сем состоялся высочайший указ Совету, знаменитый по духу его, мыслям и выражениям. По приезде государя в Питер, само собой разумеется, что ближайшие чины двора, а наипаче вожди победоносных войск, были обрадованы лично сильным производством и разными частными щедротами.

Дабы все вдруг уже сказать здесь о политике нашего времени и после обратиться к моему собственному предмету, остается упомянуть, что государь изволил осенью отправиться в Вену на Конгресс, на котором некоторые цари и прочих держав посланники съехались для усовершенствования общими силами заключенного с Франциею трактата и предприятия оберегательных мер против каких-либо новых с стороны беспокойного ее народа покушений, ибо естественно было догадываться, что такая революция, как бывшая, сопровождаемая счастливою войною чрез

двадцать с лишком лет, не могла вдруг исчезнуть, не оставя многих скрытых искр под пеплом, как мы увидим скоро, что они и вспыхли было очень горячо. Остановимся покамест на настоящем нашем обманчивом благосостоянии и воротимся со мною в убогую мою обитель.

Сказано уже было, что финансы мои заставляли меня удаляться на лето в деревню, но жить в Никольском казалось бесполезно при двадцати девяти тяглах. Хозяйство там было столь бедно, что я не мог избежать денежных издержек почти таких же, какие бы потребовались и в Москве, следовательно, переезжать туда я не находил выгоды, надобно было непременно решиться съезжать в Александрово и привезти туда жену. Сколь ни тяжело ей было увидеть такое место, где все в глазах ее украшалось любимою ее дочерью, потерянною навсегда, однако рассудок и необходимость принудили сердце покориться обстоятельствам, и мы решились туда отправиться. Не имея возможности то за тем, то за другим исполнить сего намерения нынешним летом, мы отправились после Успеньева дня сперва в Никольское и, побыв там несколько дней, поехали с своим одним семейством, оставя сестру в Москве, прямо в Александрово.

Нет нужды описывать, сколь тяжело было жене снова привыкнуть к этому прежде столь очаровательному, а ныне унылому для нее уединению. При первом взоре на дом и комнаты свои токи слез полились из глаз ее, нервы вытерпели ужасное потрясение, и первые дни нашего пребывания тут несладки были для каждого из нас. Человек переносит все, привыкает ко всему, иначе он бы не переживал никакой сильной печали, так и жена моя помаленьку начинала выносить пустоту и безмолвие своей деревни. Здесь были хорошие запашки, дом всем нужным запасался на весь год, и мы дарами природы могли довольствоваться, не покупая их на базарах. Скука меня не беспокоила, мой кабинет всюду переносится за мною, и мы без большого отягощения нашли средство провести тут весь сентябрь месяц. Нас посещали соседи, родственники, жители Шуи, и княгиня Куракина также не лишала нас дружеских своих отношений по-прежнему.

Удовлетворясь на первый случай сим опытом и снова жену мою приуча к ее деревне, я не хотел ее тут задержать осенью и заставить мрачные дни года проводить в убежище печальном. Намерение наше было ежегодно впредь переезжать сюда в мае и, проживши до сентября, возвращаться в Никольское, поближе от столицы проживать два осенние месяца, на продовольствие которых этой маленькой деревни было бы достаточно, потом на зиму приезжать в Москву. По сему плану мы в первых числах октября и приехали в Никольское.

Перед отъездом нашим из Шуи разнесся там слух, будто дело мое о мундирах решено и мне не велено въезжать в обе столицы. Долго я не мог такой нелепости поверить, никто об этом не писал к нам, да и по какому закону могло присутственное место налагать такое наказание? Оно могло бы проистекать из уст государя как самодержца и быть следствием личного его на меня негодования, примеры сему бывали в России во всякое царство, но юридическим порядком такой приговор не мог нигде состояться. Сколько я ни был уверен, что это вздор, разглашаемый моими врагами, однако неспокойно путешествовал я до Москвы, потому что все было возможно в нашем государстве. Чем ближе мы подъезжали к столице, откуда все новости разливаются в России, тем крепче я удостоверялся, что слухи Шуйские были не что иное, как сплетни, выдуманные для того, чтоб и самое мертвое мое спокойствие потревожить. Дорогою разные обдумывал я планы, хотел продать все свое бедное имение, заплатить долги, с остатком небольших денег выехать в чужие краи, бросить и забыть навек родину и там, в новом где-либо отечестве, выучась пахать, прокармливать собственными трудами себя и семейство. В таких мечтах и в осеннюю погоду нет радости разъезжать по нашим скверным дорогам и задумываться по целым вечерам в копченых избах наших полудиких соотчичей, но ежели химеры сии напуганного воображения исчезали, как пар, мало-помалу, то самая истина событий была для нас не красна, и в Никольском нас ожидали плачевные вести другого рода.

Бедная моя сестра Анна Михайловна, томясь уже почти год ужасным недугом, несмотря на многие попечения различных врачей, скончалась октября 4-го в нашем московском доме, и тело ее до приезда нашего похоронено рядом с ее матерью на Ваганьковском кладбище. Хотя все нас приготовляло к этой потере, однако ожидание ее нимало не ослабило нашего о ней сожаления. При нынешнем о ней воспоминании, я распространюсь насчет ее биографии и постараюсь обрисовать черты ее ума и характера, которые сделали ее не только любезной, но даже и необходимой для всякого сердца, нашедшего удовольствие в соотношении с ее чувствами.

Анна Михайловна, родясь от отца моего и дворянки Похвосневой по имени Аксинья Любимовна в Москве, скоро перевезена была батюшкой в Петербург, где и провела первые года своего младенчества при нем и матери своей. Это было в конце семидесятых и начале осьмидесятых лет, когда батюшка по службе отлучен был от своего семейства и жил в Петербурге один. Там она и брат ее, двое токмо чад, прижитых отцом моим во время сего его союза, не могли еще по малолетству своему ничему

обучаться. По основании моего пребывания в Пензе и отставке отца моего сын его Григорий был прислан воспитываться ко мне, а сестра его Анна оставалась при матери. Ребенок сей от природы одарен был пригожею внешностию и многими талантами ума. По мере как развертывались в нем сии способности, дано ему было возможное обучение, но обстоятельства, тайна рождения сих детей, строгое заключение Анны, дабы никто из нас не угадал и не узнал о бытии ее для спокойствия матери нашей, все сие препятствовало усовершенствовать образование сей несчастной девочки. Оставленная попечениям матери своей, она не могла ни выучиться многому, ни познать что-либо полезное, итак, входя в возраст юношеский, она увидела необходимость сама себя образовать, и действительно, труды ее над своим умственным и нравственным воспитанием увенчаны были желаемым успехом. Природа одарила ее обширным умом и пылким воображением. Анна беспрестанно читала, училась сама чистому и хорошему слогу, приобрела познание музыки, столь пленительного таланта в ее поле, и самоучкой достигла до некоторого понятия французского языка, но говорить им никогда не могла, а многое разумела. Таким образом Анна пеклась о том, чтоб украсить молодость свою и явиться с отличием в свете. Появление ее в оном не могло быть блистательно. Она, кроме наших комнат, и то под большим секретом, никуда не выпускалась. По смерти покойной жены моей, а отца моего тогда уже давно не было, мне удобно стало, не оскорбляя взора матери моей, с которой я жил розно, будучи в Володимире, выпросить ее к себе и доставить ей некоторое просвещение в сообществе тамошних жителей. Во все время вдовства моего я с ней не расставался. Она услаждала всю тягость моего тогдашнего положения. По влиянию особенно ее, ибо я имел к ней крайнюю доверенность и никто меня так хорошо не знал, как она, вступил я во второй брак. Долго потом жила она с нами, но несходство характеров жены моей с нею поставили в обязанность мне для сохранения мира и тишины в доме удалить ее от нас, без всякого, однако, досадительного чувства и громкого разрыва, и остальные дни жизни ее, в которые при всяком случае наши свидания были часты и приятны, свидетельствуют, что мы до последней минуты жизни были между собою дружны и сохранили взаимное друг к другу уважение. Бог привел ее захворать напоследок, в доме нашем кончить жизнь. Тут, где за несколько лет прежде прятали ее от всех глаз, тут приняла она в болезни многострадальной явно от всех живейшие о себе попечения, но ничто не охраняет нас от смерти. Она постигла ее, как по догадкам полагать можно, на тридцать

шестом году от рождения, рано, слишком рано для всех тех, кому она была мила. Вот вся ее история. Опишем теперь ее свойства.

Она была очень умна и добра. Сии два качества составляли основу ее характера. Темперамент не повелевал ею, но покорялся ее горделивому духу. Она чувствовала, кому обязана жизнию, и не уронила бы титла княжны, если б судьба дала ей его в наследие. С высокою душою она соединяла все прелести ласковости и снисхождения, что так редко находишь вместе в людях самолюбивых, а она была такова, иногда с излишеством. При неограниченном уважении к имени отца своего, она сохранила все почтение, каким обязана была матери своей, и слабостями ее не соблазнялась, но паче о них сожалела. Со всеми с нами вела себя с строгою разборчивостию, умея быть учтива без подлости, детей моих, особливо старшую дочь мою, любила до чрезвычайности и, имевши случай с ней свыкнуться, много послужила к изощрению ее природных качеств. Всего опаснее было в Анне пылкое ее и романическое воображение, которым не всегда владеть она умела. Увлекаема мечтами и теориями какого-то морального и нежного превосходства, которого не дано человеку, она созидала мир новый, небывалый и повсюду его искала. Отсюда проистекла та мнимая между нами остуда, которая принудила меня удалить ее из своего дома, ибо я видел, что восторги ее слишком действовать могли на дочерей моих по неограниченной их к ней любви и доверенности, и тесное их с Анной соединение могло для них быть опасно. Вот причины, по коим она наконец оставила дом наш и возвратилась в оный для того только, чтоб ороситься нашими слезами и лечь в гроб. Мать моя нигде и никогда с ней не встречалась. Анна была собою недурна, росту среднего, ловка и прелестна, взор ее был проницателен, разговор соблазнителен, она могла языком своим очаровывать каждого, и всеми, с кем сводила знакомство, была любима. Всякий шаг ее, поступок, каждое слово было обдумано и приноровлено с тончайшим искусством к обстоятельству, месту и лицу. Чувство радости выражалось на лице ее без притворства, напротив, огорчительные к нему прикосновения она умела скрывать с удивительною скромностию. Запальчивость никогда не выводила ее вон из пристойности. Она узнавала очень скоро тех, с кем была в частом обращении, и я не мог никогда скрыть от нее ни малейшего внутреннего моего ощущения. Не солгу, когда скажу здесь, что отношении мои с нею были для меня приятнейшею связью в мире. Я привязан был к ней чрезвычайно и предпочитал ей только счастие моего семейства, для которого, признательно скажу, я не мог оказать жертвы выше той, чтоб

решиться розно жить с Анною. Она сверх всех основательных даров души и сердца имела еще всю приятность светского обращения. Шутки ее всегда были у места, занимательны, остры и забавны, общество ею дышало, с ней не хотелось никому расстаться. В дружбе, в любви, в сострадании к несчастию, во всем она была отлична от людей обыкновенных, и если б воображение ее слишком пламенное, слишком испорченное метафизикой нежного чувства могло быть ею управляемо до некоторого степени, то бы Анна была, конечно, образец морального и образовательного совершенства. Имея все право и природную наклонность нравиться, она во всю жизнь свою не была жертвою пламенной страсти. Трудно было ее влюбить, ибо она крайне разборчива была в выборе предмета, которому бы решилась дать волю полную над собою, и увлечена быв только один раз какою-то фантазиею более, нежели истинным чувством страсти, она почти решилась выйти замуж за молодого человека, помолвлена за него в бытность мою в Володимире, но, заметя, что жених ее менее привязан к ней к самой, нежели к ее достатку, тотчас отказала ему и с тех пор уже не помышляла о брачном союзе, согласном с ее правилами. Отец мой не мог оставить ей никакого состояния, но дядя ее по матери, будучи любим и домашним у графа Шереметьева, выпросил у него десять тысяч в ее пользу, которые по духовной его ей выплачены, и сам тот дядя такую же ей сумму отказал свою в наследство, что и составило весь ее достаток. О Боге и религии она имела самые чистые понятия и все законы последней сохраняла по человечеству безусловно и превратного толка. Приготовясь христиански к смерти, которой она, будучи всегда здорова, ни ожидать так рано, а тем менее желать не могла, она без ропталья перенесла самый жестокий недуг и рассталась с нами навеки, к общему всех сожалению, слишком рано. Брат ее родной Григорий уже готовился к связи супружеской, которая не совсем была по мыслям Анны, итак, судьба, восхитив ее из среди своего семейства и присных, как бы оградить ее хотела от многих неприятностей и того скучного одиночества, которого она в будущем ожидать могла. Отдадим еще раз и не в последний, ибо она всегда жить в памяти нашей будет, ту принадлежащую ей справедливость, что она была девушка благоразумная, достойная, милая во всех отношениях и что даже самые ее недостатки были очарованы гибкостию ее характера и пленительностию ее разума. Станем, станем вечно вспоминать о ней с любовию и сожалением.

Поздний наш выезд из Москвы потребовал для равновесия в расходах, чтоб мы не рано и воротились в нее. Итак, мы расположились про-

жить в Никольском до того времени, до которого станет собранного нами хлеба для людей наших, овощей огородных и птичного двора для нашего стола, а овса и сена для нашего скота. Малые сии наши запасы извелись в половине декабря, и мы не прежде переехали в город.

Осенью жить в деревне с воображением мрачным, да еще и при такой свежей печали, какую Бог нам наслал, скучнее обыкновенного и не всегда в силах человеческих перенести. В таком случае надобно необходимость услаждать занятиями. Я в них, благодаря привычку читать и писать, никогда не терпел недостатка, две работы наполнили все это время. Я принялся переводить роман «Филибера» и перевел его, а дочь старшая весь своей рукой переписала, что также и для нее сократило время, а ей сие не менее кого-либо из нас было необходимо по ее наклонности к меланхолии. Собрал также все путевые мои записки в прошлом году в Нижний и написал путешествие мое туда. Сим последним моим сочинением занималась меньшая дочь моя и переписывала его. Из сих двух произведений последнее не могло быть напечатано и осталось памятником того времени для одного меня[6], а «Филибер» явился в печати, и о нем скажу здесь два-три слова[7].

«Филибер» есть сочинение г. Коцебу. Он переведен по-французски, и с этого перевода я переложил его на наш язык. Не стану хвалить моего перевода, для меня довольно, что он ясен и что я ничего не выпустил из автора, приноравливаясь к свету, кроме нескольких страниц, кои в свободном только государстве могут быть публичны, в прочем вся книжка, в одном томе состоящая, передана мною нашей публике. Когда я решился напечатать его, мой книгопродавец г. Ширяев имел уже кроме моего еще два перевода того же романа[8], однако он охотно взялся напечатать и мой, ценсура его пропустила, а дабы сделать его занимательнее прочих какой-либо красотой, я приложил стишки, в которых описан был род жизни моей в Никольском, и, может быть, они доставили книжной лавке менее накладу, нежели он мог страшиться. Появление сей книжки разбудило внимание ко мне гг. ученых. Некто из студентов по имени Строев, издававший тогда новый какой-то журнал[9], рассудил в первом номере заняться разбором моего перевода и, раскритиковав сперва г. Хераскова поэму «Россияду»[10], не изволил уже пощадить и меня. Рядом быть осуждаему с столь великим писателем уже и то было для меня почетно. Досталось от г. рецензента не только моему слогу, но даже и оболочке, и формату книги, ничто не укрылось от его тонкого зрения, он проник во нрав мой и рассудил вместе с переводом критиковать и его, сказав, что у

меня не только оборот речей, слог, выражения, но и *все* французское[11]. Я не боюсь вдаться в крайность самолюбивого раздражения, когда признательно скажу, что такая критика должна была бы навлечь порядочный г. школьнику выговор. Мог он опорочивать мой слог, осмеивать мои выражения, но кто дает право критику разглагольствовать о характере сочинителя и по своим догадкам списывать с него нравственный портрет предосудительными красками? Я однако же презрел этим новеньким литератором и даже подписался на его журнал, дабы показать ему, что я холоден к его замечаниям. Не знаю, оттого ли, или других его наглых поступков, ему запрещено издавать свой журнал, и я за то только, что меня изволил побранить, заплатил ему десять рублей. Других уже номеров не выходило, и я ни одной строчки его не читал. Петербургские гг. журналисты рассудили за меня вступиться. Издатель «Сына Отечества»[12] выпустил свою рецензию на критику г. Строева и журил его за невежливый разбор моего перевода[13], а как и сам он употребил слова не очень мягкие, говоря о моем переводе, а именно, что я лучше *управляюсь* с стихами, нежели с прозой[14], то издатель «Аспазии» вздумал приподнять сие выражение в своих листках и заметил, что слово *управляться* могло бы употребиться, если б говорено было о том, что я набиваю сноп сена или пук соломы свил, а о словесных произведениях говоря, он находил, что такое выражение не у места и означает наклонность к насмешке[15]. Итак, молчание мое собственное вознаграждено было перемолвкой письменной между нашими журналистами, а потом, как водится, забыли и «Филибера», и переводчика, и рецензента, но от побранки книгопродавец поправил свои счеты, ибо до критики Строева перевод мой продавался за шесть рублей, а после пущен в десять и с этой таксы не спускался.

Иногда в самых горестных полосах нашей жизни встречаются забавные случаи как бы нарочно для того, чтоб умерить тягость скуки или беспокойств наших. Так и в нынешнее наше ничуть не веселое, но вынужденное пребывание в Никольском набежало на нас обстоятельство довольно смешное. Некто князь В<олконский>, отставной бригадир, знакомый мне издавна, доживши до таких лет, в которые, кажется, пора перестать дурачиться, ибо ему было около шестидесяти лет, вздумал свататься на племяннице моей родной графине Ефимовской, той самой, которая была больна белой горячкой. Она начинала уже выздоравливать, а князь В<олконский> только в прошлом году лишился жены своей, от которой он имел несколько детей, не только взрослых, но уже один сын и женат был. Влюбясь в нашу Катеньку, так назову его герои-

ню, он считал меня вернейшим вспомогателем по этому делу и прискакал в Никольское выпрашивать моего ходатайства в пользу его у зятя. Если б намерение его и заключало в себе что-нибудь лестное для моей племянницы, я б и тогда не мог взяться помогать ему в оном, ибо связь моя с зятем, давно прерванная вторым супружеством, висела только на одних благопристойностях и не давала мне никакого права вмешиваться в его семейные дела, тем менее готов я был содействовать такому сватанью, в котором все было худо обдумано. Но князь Волконский не отставал от нас, посещал нас всех, приступал с романическими своими докуками, наполнил молвой о своей страсти весь город и сделался наконец посмешищем всеобщим. Как Катенька не намерена была отнюдь за него идти, так и вся публика оглашала насмешками поседелого Адониса[16], и этот эпизод доставлял нам часто случай похохотать от чистого сердца в уединении нашем над проказами человеческими. У всякого своя бабочка, и кто же их не ловит ежеминутно.

В то же самое время удалось мне испытать силу и меру преданности ко мне нижегородских моих поселян. Тамошнему губернатору г. Быховцу вздумалось торговать мое имение, и он в прилежную вошел о том со мною переписку, потчевал меня ста пятидесятью тысячами. Мужики, узнав о его намерении посадить их на пашню[17] и ею удобрить хлебопашество, а хлебопашеством учетверить выгоды завода винокуренного и сим взаимным вспоможением одной промышленности другой усугубить многими тысячами доход сей деревни, испугались его предположения и отправили от себя ко мне трех крестьян разумнейших депутатами, дабы отвлечь меня от согласия на сию продажу. Им не хотелось сделаться из оброчных хлебопашцами, потому что они никогда земель своих не обработывали, а промышляли на стороне и добывали значительные деньги судоходством и гужевым извозом. Мне выгодно было, конечно, получить за имение сто пятьдесят тысяч, ибо с душ доходило до меня оброка только девять тысяч, а с денежного капитала мог я надеяться получить без хлопот пятнадцать тысяч, и верно бы я на сие согласился, если б не победило меня совершенно расположение моих крестьян. Своекорыстию весьма естественно втекать во все расчеты человеческие. Я не совсем обольщался приверженностию очевидною моих крестьян. На них действовало, во-первых, отвращение от того нового состояния, на которое они должны были променять настоящее свое спокойствие, во-вторых, вмешивалось и тщеславие в их упорство. Несколько десятков лет принадлежа высокой фамилии, им низко казалось попасть в крепость человека

темного рождения и не очень громкого имени. Я, с моей стороны, должен бы был руководствоваться в сем деле личною своею выгодою, а она очевидна была при продаже имения, но, будучи сам свидетелем в чужих имениях, что утонченное хлебопашество в России всегда более или менее содержит в себе тирании и угнетает поселян, мне тяжело было решиться на то, чтоб подвергнуть моих крестьян игу для них новому и несносному. Я не думал о том только, чтоб они давали мне доход, но желал, чтобы и благосостояние их от того не страдало. Сии размышлении действовали на совесть мою и колебали собственные мои расположения. Я долго не знал, на что решиться. Устремляя взор в будущее, я видел рано или поздно необходимость делить сие маленькое имение между шестью моими детьми на самые мелкие участки и расстроить его совершенно без пользы для каждого из моих наследников, тогда как капитал денежный мог удобнее быть разделен без спор и хлопот, и всякий, имея свой участок, распорядил им по своему произволу. Обращая внимание на настоящее положение дел, я видел, что я переиначивал участь многих спокойных душ человеческих, и из одной только гадательной осторожности, от которой могли обстоятельства случайные и временные меня освободить, но, продавши имение, уже не в моей бы было воле улучшить жребий моих вассалов. По многих борениях с самим собою, я тронулся истиною вещей, отложа все предусмотрительные догадки, и решился отказать г. губернатору в продаже моей деревни, а крестьяне мои, чувствуя, что я лишился собственных своих выгод сим поступком, предложили мне пятнадцать тысяч доходу как десятерной процент с того капитала, который я надеялся продажею их получить. Следовательно, я ничего не терял, оставляя их за собою. Решиться на это было нетрудно, но это бы не значило пожалеть о крестьянах, ибо где нет потери, там нет и жертвы. Я хотел показать им, что я не помещик их только, но и попечитель вместе, итак, положил на них оброку двенадцать тысяч; сия прибавка была для них сносна, а между тем они видели, что я не одною корыстью пленяюсь в устроении их судьбы. Итак, дело наше с Быховцом уничтожилось, переписки миновались, и я не имел случая сетовать, что склонился на убеждения моих поселян, которые после сего опыта стали ко мне еще приверженнее.

Так жил я в своей хижине забыт почти всеми. Дела, затеянные против меня по службе, текли своим порядком и производились в высших трибуналах юстиции. По одному из оных, а именно по письму, писанному от меня министру полиции г. Балашову, положено было в совете сделать мне выговор за дерзкие выражения в неосновательной жалобе, поданной на

Сенат. Определение сие подписано членами совета без всякого противоборства и выпущено к исполнению президентом оного Салтыковым, который в отсутствие государя правил именем его всем государством.

О всех наветах, на меня последовавших в последний и несчастнейший год моей службы, я написал особый трактат, который в Истории моей помещен в свое время и отдельною сверх того тетрадью у меня хранится[18], и потому здесь сокращенно только скажу, что в этом определении совета не было ни правосудия, ни самой логики, что доказать нетрудно. Милостивый манифест 30 августа прощал все, кроме убийства, грабежа и лихоимства[19]. В деле моего письма не было ни одного из сих преступлений ни по сущности, ни по намерению, следовательно, оно должно было изгладиться просто из реестра дел, производящихся судебным порядком, но злоба умышленная не подходит ни под какие правила. Манифест подписан 30 августа, а в сентябре определяется мне наказание; и тогда же, как многие прощались упущения должности, слагались денежные штрафы, меня за мое письмо не рассудили освободить от поношения выговора публичного. Я таким явился преступником пред лицом закона, что и самая царская амнистия не должна была до меня коснуться. Не ясно ли обнаружилось здесь натяжное притеснение властей, управляющих тогда кормилом государства? Мне оставалось молча все сносить и повиноваться слепо всякому велению. Я ожидал исполнения сего приговора, которое, однако, не скоро последовало от разных причин, о коих упомянется в свое время, по мере как происшествии сии приближаться будут к своему концу. Между тем я все лишен был спокойствия, толико нужного для меня, и частые сии наглости правительства на мой счет помрачали каждую минуту моей жизни, которую я продолжал без наслаждения для себя и без пользы ближним.

К сим публичным посрамлениям присоединялись разные и домашние беспокойства, от которых в большой семье редко спастись возможно. Старший пасынок мой, воротясь из ополчения и будучи еще празден, огорчил мать свою разными поступками, мотовством и дебошами всякого рода. Доколе молодой человек не остепенится в летах и нраве, дотоле надобно извинять его проказы и сколько возможно удерживать сердце в хороших правилах. На выручку как его, так и по собственным долговым делам жены моей, надобно было слетать в Москву. Мы побывали в ней с неделю и, все свои хлопоты приведя в порядок, воротились опять в Никольское. Тверд будучи в моем предположении, я хотел непременно наверстать зимой те месяца, кои летом прожил в столице, и ввести в рав-

новесие свои финансы. Так мне и удалось. Я кончил свое путешествие и перевод в деревне. Истощилась пустынная моя работа, и повез я ее с собою в Москву. Перед святками мы все туда переехали: сестра моя, жена и дети. Приехавши в город, я по обыкновению моему говел к святкам и год кончил бы как-нибудь без больших волнений, если б в самые последние дни не занемогла старшая дочь моя, которая слегла и меня напужала. Но, благодаря Богу, натуре и врачам, она снова выздоровела, и мы вступили в новый год, то есть в новое поприще сует и событий всякого рода.

Летопись моя нынешнего года приметным образом короче, и тетрадь ее тонее всех предшествовавших. Естественное следствие пустой жизни; человек в отставке (в России) почти живой мертвец, с ним прерываются все внешние сношения, круг его действий ограничивается самыми тесными пределами, ни он на других, ни другие на него уже не имеют столь сильного влияния, а потому и жизнь его наполняется только одними домашними происшествиями, кои занимательны только для него и требуют меньшей плодовитости в их рассказе. Год один иного государственного человека составит несколько томов повествования, тогда как частный гражданин, живущий без дела в своем уединении, целый год своей жизни вместит в нескольких страницах, но как я пишу для детей моих, для которых и самые маловажные домашние случаи будут со временем занимательнее Ансильонов и Кондильяков, то я не положу пера и не кончу сего столь далеко уже доведенного труда до той поры, как натура отнимет у меня способность самому о себе беседовать с ними в письменах, и потому, несмотря на бедность материалов, приступлю к описанию следующего года.

1815

Начался новый год, начались и новые искушения. Сенат московский получил повеление из Совета сделать мне выговор, о котором писано в прошлом году. Он рассудил и при сем случае изъявить мне крайнее уничижение, не прислав повестки прямо о том от себя, но доведя до меня оную через все нервы правительства, то есть Губернское правление, полицию и, наконец, принес мне повестку квартальный. Если Сенат расположен был в обращении со мною лично истощить все степени презренья, для чего бы ему не уважить по крайней мере внешности моего чина и знака отличия? Но все сие служило доказательством, что раздражение

против меня еще не умягчилось. Оставалось мне беззаконному сему велению покориться, и я приготовлялся вытерпеть сей новый позор, едва ли кем другим испытанный. По крайней мере, по свидетельству многих старейших письмоводцев Сената, и в архиве не было такому случаю примера. Новость сия освежила в памяти жителей московских праздных все мои минувшие приключения, разнеслась молва о том в домах отборных. Кто сожалел обо мне, кто приговаривал: «Ничто ему!» Среди сих разглагольствий гг. сенаторы вздумали усумниться в праве своем призывать меня к выговору после состоявшегося манифеста, и некто из них, друг и наперсник тогдашнего министра юстиции г. Трощинского, взялся описаться с ним приватно и осведомиться, должно ли мне делать выговор, или нет? Этот вопрос, если он был у места, обязан был, по мнению моему, Сенат обратить к министру до повестки мне явиться, но, уже выпустив ее, казалось, о чем же спрашиваться? Это показывает, в каком состоянии была юстиция и логика в то время даже в верховном трибунале, чего же требовать от нижних судов? Между тем мне внушено приватно же, чтоб я не торопился нести головы на плаху, что об этом зашла новая переписка, и ждать станут разрешения. Кому хочется бежать навстречу меча? Я послушался сих тайных внушений и продолжил лишь тем болезненное ожидание такого удара, которого судьба не хотела отвести от меня. Медленность в этом деле дала мне только средства омужествить силы душевные для перенесения нового опыта человеческой злобы. На вопрос сенатора ответствовал г. министр, что сей приговор в Совете выпущен поспешно и, чаятельно, без основания и что он сам переложит Совету, а между тем все дело вытребовал к себе, итак, оно вошло в новый лабиринт, и я с повесткою в кармане Сенату не показался и имел все время в течение года забыть о сем происшествии.

В тот же месяц генварь, как бы к уврачеванию сердечной моей болезни, последовал случай для меня приятный. Сын мой князь Павел произведен в надворные советники и очень скоро потом, испрося у меня дозволение оставить министерство военное, в котором он не находил пользы своей продолжать службу, перешел в министерство финансов. Там, по связям моим старинным с Ланскою Елизаветой Ивановной и по ходатайству ее, брат мужа ее Дмитрий Сергеевич, будучи директором департамента лесного, взял сына моего к себе[1], определил своим секретарем и положил ему достаточное жалованье, которое выводило его из необходимости прибегать к моим пособиям. К чести сего молодого человека упомянуть здесь обязан, что он всячески старался обеспечить меня на счет

своего содержания и переходил из места в другое только для того, чтоб найти возможность удовольствоваться порядочным по службе жалованием, заменяя оным то, чего требовать бы он должен был от меня. Прекраснейшая черта характера сыновней преданности! Подобные поступки не громки в свете, но тем обильнее призывают благословение Божие, ежеминутно со слезами испрашиваемое сокрушенным сердцем родителевым. Вспоминая о сем, не могу не повторить с умилением пред Богом: благослови его стократно, Отче небесный, за таковую его приверженность к несчастному родителю!

В течение зимы разные были случаи, замечательные для нашего семейства, которые должны найти место в сих листах и перейти в память чрез настоящее мое жизнеописание. Главные из них суть следующие. Меньшие мои дети Дмитрий, Евгенья и Миша один после другого все трое перележали в кори, имели сильные знаки оной на лице и всем теле, но, благодаря Бога, без всяких опасных последствий от нее освободились и выздоровели совершенно. Сыновья мои уже с год продолжали науки, старший в Университете, ходя на студенческие лекции, а Миша записан был в Пансион благородный при том же Университете, но жил у меня и приезжал всякий день ночевать домой. Дочь меньшая имела учителей часовых дома же и обучалась по-французски, также и некоторым талантам, необходимым в общественной жизни большого света. Болезнь их остановила несколько успехи наук, но скоро снова пришли труды их в свой порядок. Фабр, принятый прежде в дом, не долго жил при нас и вышел, сыскав место выгоднее.

По истории владимирской моей жизни видно, что я был приятельски знаком с тамошним помещиком г. Кашинцевым, которого разные дела при мне с успехом были в его пользу кончены. Это оставило его навсегда ко мне преданным, несмотря на то, что на место мое в губернаторы поступил родной брат жены его, но как он с ней жил розно, то и связи между ими чистосердечной не было. Кашинцев умер. После него оставались сын и дочь в малолетстве, имение их было в прекрасном состоянии. Дядя их и вместе начальник губернии Супонев вошел тотчас в управление их дел, но поелику покойный имел значительный иск на жене своей, бежавшей из дому его, то брат ее натурально желал, примиря детей с матерью, свести дела начатые к концу, для нее благоприятному. По нраву и тайным связям своим мать не могла радеть о пользе детей, прижитых с мужем, ей ненавистным, и которые по самой этой причине были и ей не близки к сердцу. Подобные расположения чувств в наше время уже не

были в диковинку. При смерти Кашинцева управлял заводом кожевенным и всем имением довереннейший его служитель, человек умный, сметливый, который тотчас догадался, что ежели Супонев как дядя родной с материниной стороны войдет в управление имением, то дети покойного господина его подвергнутся разным тягостным отношениям, которые и на него самого ближайшее иметь будут влияние, ибо он непременно за доверенность, к нему от барина оказанную, понес бы от барыни разные озлобления. Дети были уже в возрасте юношества и сами могли иметь голос, особливо дочь, хитрая девушка, но по закону им следовало еще быть в опеке. Управитель, желая поставить против дяди лицо значительное к подкреплению прав малолетных на всякий случай, научил их обратиться ко мне, как доброхоту, и, смею сказать, благотворителю их отца. Политика его удалась, дети прислали ко мне с эстафетом убедительнейшее письмо, в котором просили меня быть их попечителем. Столь неожиданная встреча смутила мои чувства. С одной стороны, я пленялся поступком детей, кои с такою доверенностию обращались к приятелю их отца и поручали ему весь свой жребий, с другой, умеряя сии порывы чувствительного восторга, я представлял себе все заботы, с коими в будущем сопряжена была эта опека. Все родные их, думал я, восстанут на меня, и я новые приобрету поклепы, что под видом дружбы принял все их имение в руки, дабы воспользоваться оным во время их малолетства. Напуган уже будучи злоречием и клеветою, я готов был в первом движении отказаться и учтиво поблагодарить, но совестное убеждение, что я могу их оградить от притязаний матери, не только равнодушной, но даже и преступной, и воспрепятствовать ее вредным намерениям, а тем самым сохранить пользу малолетных, сие внутреннее убеждение решило меня стать выше молвы народной, которой я страшился, и я принял на себя звание их попечителя; в то же время опекуном назначен брат их двоюродный Кашинцев же[2]. Согласный мой отзыв на просьбу детей устранил дядю их от всякого участия в управленьи, и дети остались на одних моих руках. С приезда моего в свою деревню, от которой близко было все имение Кашинцева, я должен был вступить в новую мою обязанность и ознакомиться с делами покойного.

Вот главные два происшествия, кои увлекли все мое на себя внимание, а притом упомяну мимоходом о поездке зимней сестры моей большой к родственнице нашей княгине Урусовой, которая за нею присылала из орловской деревни своих лошадей, чтоб с нею повидаться, и у которой она погостивши, воротилась к Великому посту в Москву. Не оставлю в

молчании также приятного для сердца моего свидания с княгиней Куракиной, которая тою же зимою приезжала в Москву и стояла у нас в доме. В этом году я два раза с нею виделся. После первого ее сюда приезда она скоро воротилась в деревню, но летом опять приехала и жила у брата своего в подмосковной, и тогда я с нею видался, потому что мы опять по причинам, ниже поместиться имеющим, весьма поздно сами оставили столицу. Дружеское наше обращение с княгиней Куракиной было для меня истинное приобретение, я им пользовался всегда с искренним удовольствием и никакого случая, к тому способствовавшего, не хочу и не могу пропустить без замечания. Я в ней находил любовь, совесть и подпору. Отдалимся теперь от сказки моей и соберем в кратком слове необыкновенные мирские обстоятельства. Ни для кого они не могли быть равнодушны.

С самого вступления на престол государя можно было заметить из многих его поступков, что ему хотелось подданных своих поставить на одну ногу со всеми прочими европейскими державами и дать им такую же свободу, то есть уничтожить в России так называемое феодальное или крепостное поместное право. Ему сего наипаче хотелось, думаю, для того, чтоб оставить для имени своего знаменитую страницу в истории, как для новейшего преобразителя России, подобного Петру. Путешестви[е] его в Европе, и по случаю войны, и в прогулках, познакомило его с состоянием тамошнего поселянина и усилило в нем желание сравнять свой народ с оными и дать ему такое же политическое бытие. Не входит в мой предмет доказывать здесь, до какого степени вредна или полезна была мысль такая для нашего отечества, скажу только, что по мере как возобновлялись слухи о приведении ее в исполнение, все умы возмущались, и на каждого владельца находил страх, да и весьма естественно было нам, помещикам, такого оборота страшиться, ибо народ русский совсем еще не готов принять дух свободы и благоразумно им воспользоваться, он еще не в той мере образования гражданского, в какой были франки и германцы, когда у них пало феодальное право. Русский человек не иначе понимает слово вольности, как свободою делать все то, что он захочет, и не повиноваться никому. Спрашивается, при таких понятиях о свободе, чего оставалось ожидать прежде всех помещикам? Неминуемой погибели, и за нею последовало бы и общее потрясение всего государства. Когда, смею сказать, и самое просвещеннейшее сословие в государстве, так называемое дворянство (ибо кто ныне посредством нижних чинов гражданских не втирается в Бархатную книгу?), и оно во внутренно-

сти России весьма еще далеко от того образования нравственного, какое нужно для людей, удостоенных особыми преимуществами и правами, то чего ожидать от черного народа в поре невежества и еще возделывающего свои нивы?

Скоро после одоления французов пронеслась молва и о вольности, как о намерении, готовом к исполнению, но смутные политические обстоятельства опять остановили ход внутренних происшествий, и умы променяли одно беспокойство на другое.

Наполеон бежал с острова Эльбы и вновь призван французами на престол. Нигде шествие его до Парижа не было преграждаемо, все войски его и маршалы передались ему по-прежнему[3]. Полная измена совершилась против Людвига. Он принужден был выехать из Франции и оставить престол свой снова самозванцу[4], который, вступя на оный, с новой лютостью собирал средства к своей защите. Жены и сына его ему еще, однако, не отдали, они остались у Цесаря. К счастию, еще Конгресс не совсем был окончен, и войска не успели возвратиться по домам. Они мгновенно собраны и поворотились во Францию. Тем же духом соединения движимы, все цари быстрыми шагами потекли к Парижу, и после нескольких сражений, неудачных для тирана, потерял он решительное дело в местечке Belle Alliance[5]. Следствием сей знаменитой и чудесной победы было новое его изгнание из Франции. Париж паки наводнился войсками союзников, которых опыт научил менее филантропии оказывать к народу испорченному и трепещущему одной физической силы. Король Людовик снова привезен и сел на престол, но гораздо прочнее, ибо Наполеон уже без всяких титлов и регалий царских, как то даровано было ему прежде, отвезен за караулом в качестве простого военнопленного генерала за экватор в глубину океана и там посажен на крутой утес острова Святыя Елены, откуда утечка не так уж была ему выгодна и легка, тем более что от всех союзных дворов наряжены комиссары стеречь его там, да и флот аглинский принял к тому деятельнейшие меры. Освободясь таким образом от собственного его ига, подумали и об усмирении беспокойного народа, наложили на него сильную контрибуцию денежную и сверх того ввели во внутренность Франции до несколько сот тысяч чужестранных воин всех союзных держав, которые там по силе новых трактатов и должны были простоять на коште Франции до трех лет и далее, доколе умы придут в себя и покажут готовность покориться новому порядку вещей. Сим кончилась вся завороха Европы, которая испугала снова вселенную, но, по благости Божией, не продолжилась. Многие ди-

вились тому, что Наполеона щадили и не предали смерти, когда так легко было от него избавиться без затворов, утесов и флота. Я не могу о сем рассуждать, ибо не знаю тайны кабинета, но по глупому моему смыслу признаюсь, что и я до сих пор удивляюсь такому благоснисхождению к извергу, каков был Наполеон. Не явный ли соблазн добродетели показан в сохранении жизни его? Сим явно доказано, что стоит только быть счастливу и удачну в злодеяниях, чтоб избегнуть казни, столь часто постигающей обыкновенного преступника. Логика странная, и непостижимая юстиция! Но мне до этого дела нет. Я не канцлер и не воевода.

Не так мягко поступлено было в Италии с Мюратом, который тамошним королем именовался. Известно, что с первым падением Наполеона попадали все и цари его посвящения, следовательно, Мюрат подвергся той же участи[6]. При новой попытке его благодетеля и он захотел было пробраться на старые свои бархатные кресла, но там воссевший на них законный неаполитанский король схватил его, нарядил суд, в сутки приговор сделан, подписан, и Мюрат расстрелян из двенадцати ружей без всяких чинов и отсрочек. Итак, из королей Наполеонова производства и семьи остался только один самозванец на престоле, а именно Бернадот, признан всеми державами королем шведским[7] по воле народа и чаятельно за то, что он, присоединясь к союзникам, сам лично выходил и выставил войска против Наполеона. Новый опыт, что не доблести одни, но и вероломство может доставить трон и удержать на нем.

Дабы кончить весь разговор о политике в нынешнем годе, присовокуплю здесь уже и то, что государь, возвратившися к войскам своим при первой минуте побега Наполеона, снова был с ними в Париже и, кончив благополучно в том краю все предположения Венского конгресса, прибыл в Петербург уже в декабре, и многие иностранные принцы посетили его там, принося должную дань благоговенья к подвигам его и славе.

Не могу не присовокупить к столь важным происшествиям московских вздорных разглагольствий, ибо они означают характерную черту столицы. В то самое время, как известно стало о побеге Наполеона, как-то нечаянно сорвался у продавца в охотном ряду с руки филин и, летая долго в окрестностях Москвы, вздумал присесть на Ивановской колокольне. Чернь его заметила, и пошло предсказание в народе, что это не к добру. В самом деле, Наполеон ушел у всех досмотров шпионских и явился, как филин, на Бурбонском троне. И вдобавок этому и о кикиморе, блудящей по вершинам вокруг Москвы, разнесся слух так, что и в лучших обществах это составляло несколько дней занимательный разго-

вор образованной публики. Когда филин и кикимора еще могут нам казаться провозвестниками политических событий, в тайне замышляемых, то чему же мы дивимся, что Россию называют еще полудикою. Я готов согласиться, что это правда!

Описав общие события важнейшие в нынешнем годе, займемся снова собою. Два года уже протекло, как мать моя скончалась, но раздел между мною и сестрой меньшой не приведен был еще в известный порядок. Надобно было нам увидеться и переговорить. Переписка задлила бы только сообщении наши и, может быть, произвела какие-нибудь недоразумении. Сестра меньшая, давно не бывши в Москве, хотела сама взглянуть на родину. Предлог представлялся прекраснейший, и подлинно, не предупредя нас, она вдруг приехала в Москву одна и очутилась у нас в доме в самые мои именины 8 мая к обеду. Какая любезная нечаянность! С нею приехал сын ее Миша, а зять должен был вскоре прибыть за нею и, подлинно, подоспел в июне. Прожили они с нами до 11 июля и отправились благополучно опять в свои малороссийские поместьи.

После первых естественных волнений радости от неожиданного свидания, после многих печальных воспоминаний надлежало говорить и о разделе. Им со мной, а мне с ними начать о сем речь было неловко. Мы долго взаимно чинились от излишней разборчивости чувств, что называют французы delicatesse*. Наконец зять, приготовив все бумаги нужные по порядку, первый предложил мне способ раздела самый благодетельный и который особенную честь делает благородному его характеру. Он совестился уступить мне следующую часть жены его по рядной из имения матушкиного, дабы не огорчить моего самолюбия, а притом, зная недостатки мои, не хотел меня лишить такой суммы денег, которой я не имел и никогда бы не мог скопить остатками от доходов, следовательно, умножил бы свои долги еще новым неоплатным обязательством. Вот что он сделал. Покойная мать моя, выдавая сестру мою за него замуж, изволила по рядной дать ей право на четырнадцатую часть, но как сестра моя средняя, вышедшая за графа Ефимовского, получила только на двадцать тысяч приданого, когда дом еще не был истощен до настоящего степени, то самая справедливость требовала, чтоб и меньшая сестра моя удовлетворилась такою же суммою. Чтоб и в этом с нею расчесться, надлежало дать ей одиннадцать тысяч рублей, ибо она по рядной получила только на девять тысяч, итак, зять мой, соглашая все обстоятельства, взял с

* деликатность (фр.).

меня вексель в означенной сумме и в то же время подарил всю ту сумму обоим дочерям моим от лица сестры моей, старшей шесть тысяч, а меньшой пять. На векселе моем передача сия им была означена законным порядком, и таким образом оставался я должен одним моим детям, и оканчивалось приказное дело между мною и сестрою моей. Сей поступок, приятный для нее, усугублял и любовь к мужу, и общую нашу признательность к столь хорошему родственнику. Он обязывал нас прямо как родной, не из чванства и кичливости, не налагая на меня тяжкой благодарности. Нет! Он благодетельствовал по искреннему влечению сердца, с добродушием истинного друга семейства нашего, словом, во всяком оттенке нежного его со мной обращения в таком щекотливом деле я видел расположение прямого усердия и не меньше сильное желание смягчить для меня свое благодеяние. Такие только поступки можно сим именем назвать без оскорбления чувствительности. О! Я всегда останусь ему за них благодарен, всегда имя его отзовется в устах с похвалою, всегда память об нем в душе моей сопровождаема будет желанием ему всех благ и благословения небесного. Сколько приятно было и для сестры моей видеть такую новую моральную черту в муже своем и друге, который привязал ее к себе толь многими предыдущими сему деяниями, собственно к ней относящимися. Словом, развязался между нами кафимский узел, и мы предались все вместе живейшим ощущениям взаимной приязни. Так промысл течет навстречу сирым, коих угнетает рок и законы мирские. Так он один открывает в глазах наших приятные события там, где мы ожидаем вотще чего-то неприятного. Верьте, дети мои, благому провиденью, верьте твердо и возлагайте все ваши упования на него единого. Они никогда не посрамятся.

Опять мы должны были лето проводить в Москве, но всех выгод жизни соединить невозможно. Оно протекло приятно в союзе дружбы и родства. Любя быть чем-нибудь занят, я употребил свои досуги на украшение сколь мог своего сада, работал в нем сам, насаждал цветы и растении, а между тем успел побывать и в Троицкой лавре, в которой посещал всегда с приятностью платоново уединение и жившего там ректора, моего искреннего приятеля[8], а в именины жены моей мы потешили приезжих наших гостей домашним театральным зрелищем. В то же время и перу моему был труд. Князь Юрий Владимирович, сочинив некоторые проекты на разные государственные предметы для употребления их посредством зятя своего Салтыкова на пользу отечества, доверил мне оные на тот конец, чтоб я их просмотрел и касательно слога исправил. Я не скажу об

них ни слова, ибо они не имели никакого успеха и ни до кого не касаются, а постарался сделать из рассеянных его листов нечто целое, где бы была связь и порядок. Работа моя ему понравилась, и я остался доволен, что мог исполнить его волю.

В нынешнем лете поместиться должны непродолжительная, но довольно важная болезнь сестры моей большой, от которой она, благодаря Бога, скоро освободилась, и свадьба брата моего Григория Михайловича Богданова. Известно, что он был сын побочный отца моего и брат родной покойной Анны Михайловны. При жизни еще ее он вошел в связь с г. N. Она была женщина средних лет и старе его. Муж у нее был ветх, слеп и хвор. Григорий, будучи без состояния и наследовав только малый капитал сестры своей, которого он тогда и ожидать не мог, когда ознакомился с помянутой госпожою, единственно для поддержания себя. Он был в отставке и к гражданской службе не чувствовал ни охоты, ни способностей, а военная после долгого отправления ее в Сибирской линии ему наскучила. Что делать в праздности? Он искал рассеяния и, найдя приятности в этом знакомстве, нечувствительно завязал роман, которого последствием была женитьба. Муж г-жи N. скончался. Долг чести обязывал его быть признательным вдове за ласки и услуги и узаконить соблазнительное свое с ней обращение. Она его сильно полюбила, и Григорий, переговоря о том со мною, поехал проводить ее до родственников ее в Орловской губернии, оттуда скоро уведомил нас, что он в дороге на ней женился. Достаточное ее состояние доставило ему жизнь безбедную, а как он любил негу и покой, то сим союзом он приобрел участь, согласную с его вкусом и желанием. Она была женщина умная, с познаниями, бережлива и, не желая ревности своей давать пищу, рассудила уединиться в Орловской губернии. Там, в кругу родственников своих, купила по времени недвижимую собственность, овладела мужем своим совершенно и поселилась с ним в строгом уединении. Мы с ней ознакомились и были всегда очень довольны ее с нами обращением. Нет сомнения, однако, что если б Анна была жива, этот брак был бы для нее неприятен по многим причинам, а паче по несогласному свойству характеров, ибо она чрезвычайно любила брата своего и хотела для него счастия более по ее мыслям, нежели по его расположению, но смерть не допустила ее дожить до сей эпохи, которой она и предвидеть не могла, ибо муж г-жи N. еще был жив, когда Анна лишилась жизни. Если б мы, умирая, могли живо вообразить все те горести, которые нас постигнуть могут и о которых нам не приходит на мысль, то, думаю, что с меньшим сожалением мы оставляли

мир, и души наши не так бы тяжело расставались с телом, но будущее от нас сокрыто, мы любим мечтать приятное для чувств, и потому и жизнь всегда мила.

Прошли наконец лучшие летние месяцы, и нам надобно было расставаться с сестрою и зятем. Милый их ребенок Миша сделался общим фаворитом всего нашего семейства. Острый и хорошенький мальчик! Мы простились со слезами друг с другом, и Селецкие отправились в свои плодоносные страны черкасские, а мы стали собираться в свое уединение. Сестра убавила нашу круговеньку, взяв с собой одну барышню, Нелюбову, которая была призрена еще матерью моей и до сих пор оставалась у нас в доме, она всех своих родных имела в Малороссии, отца и мать. Я не имел возможности улучшить ее состояние и устроить ее судьбы. Матушка, взяв ее к себе, ласкалась надеждою, что богатые родственники наши Строгановы помогут ей учредить ее жребий выгоднее, чем могли сделать отец ее и мать, которых родители были с моими некогда в короткой связи приязни. Надежды сии оборвались. Она осталась на наших руках без всякой пользы для себя в будущем. Сестра моя, видя, что мне и с моими детьми жить тесно и нужно, пожелала облегчить наш дом убавкой одного лица, которое хоть небольшого, но требовало содержания, и, уверена будучи, что эта барышня, умная и проворная девушка, найдет случай выгодно пристроиться на родине, взялась отвезти ее с собою в родительскую кущу. Она очень тужила о разлуке с нами и как бы предчувствовала превратности, ее ожидающие, и если б могли они попасть в нашу догадку, то верно бы я не решился отдать ее на жертву обстоятельствам самым суровым, но кто может все предвидеть? Ее взяли к отцу, к матери. Казалось, дело в порядке, и мы на отпуск ее безмолвно согласились.

При прощании нашем с зятем и сестрой мы приняли обязательство, налагаемое на нас самой благодарностию, заплатить им их посещение и дали слово при первом удобном случае нарочно к ним съездить в Малороссию на целое лето.

Хотя лето провели мы в Москве не из прихоти, но по нужде и с некоторою пользою, тем не менее, однако, расстроивался план мой экономический. Живучи без дохода, я умножал свой долг, и к тому надобно было еще построить корпус для помещения людей, ибо прежнего было не достаточно для замены всего развалившегося старого строения. Москву начинали обстроивать в новом и правильном виде. Правительство торопилось восстановить торжественные руины, дабы скрасить обгорелый

везде город, всех принуждали созидать, малевать, штукатурить, словом, забыты были немощи обывателей, и думали о наружном и тщеславном блеске, дабы скорее загладить все признаки стыда и позора, что Москву отдали неприятелю на жертву, как пустую слободу. Какая противоположность видна тогда была во всех деяниях правительства! Во всех журналах славились тем, что Москву сожгли граждане, дабы не покориться врагу, и величали такую, смею сказать, отчаянную и безрассудную отвагу как римский подвиг великодушнейшего патриотизма, и в то же время, без сожаления о жителях, принесших такую жертву и лишившихся всего почти своего имения, принуждали их вытягивать правильные линии, давать новым домам щеголеватые и убыточные фасады во что бы то ни стало. Трудно истолковать такие замыслы, но надобно было им покоряться, и я наравне с другими обязан был ставить новые хоромы на место ветхих. Все это приводило к необходимости новые делать займы, которые меня тревожили и угнетали.

Перед отъездом нашим в августе в Александрово поручил я доброму моему Классону озаботиться строением, которое он тою осенью без нас с большим успехом кончил. Оно стало мне в три тысячи рублей, но для складки печей и разгородок надлежало ожидать будущего лета, и потому оно всю зиму простояло без употребления, для него назначенного. В такой крайности оставалось, к удовольствию моему, то, что оно стоило не так дорого, как я того боялся и ожидал. Честь и хвала доброму и рачительному моему старичку Классону.

За день до нашего выезда получил я известительную карточку о смерти профессора Чеботарева[9]. Сей случай должен быть помещен в моей Истории. Он был мой учитель и наставник, когда я еще воспитывался дома, потом я слушал его лекции в Университете и обязан был ему моим умственным образованием. Во всю жизнь свою он дружески со мной обращался и не оставлял дом наш без посещения. В последних годах жизни своей он уже одержим был параличом и не владел руками, но голова его была еще свежа, разум бодр и беседа поучительна. Я часто навещал его и внимал его мудрым советам. Лишившись в нем старинного моего наставника, счел я обязанностию благодарного чувства пролить на гроб его горестные слезы и при опущении тела его в могилу оказать бренным остаткам столь достойного мужа мое к нему глубокое уважение. Исполнив долг признательного ученика, я с семейством моим отправился, кроме сестры, которая проживала во время нашей отлучки обыкновенно в Никольском, в Александрово. Это было уже в конце августа. Весь сентябрь мы там прожили,

стараясь чем и как могли развеселить осеннее наше уединение. Но где уйдешь от хлопот? Они везде нас настигнут и обременят.

У меня на руках были две опеки в Владимире и ставили меня в связи с тамошним правительством: первая над детьми покойного Ивана Филипповича Пожарского, деверя родного жены моей по первом ее муже, вторая над малолетными покойного Кашинцева. У обоих я был попечителем. У первых совокупно с матерью их, определенною в опекунши, а у последних с братом их двоюродным Кашинцевым, который также был их опекуном. В обеих сих домах вспыхли раздоры семейные. Мать Пожарских, имея за собой своих до трехсот душ, вышла замуж за иноземца, жившего в Шуе, Траубе и, предавшись совершенно его воле, расстроивала имение детей своих, которое после отца состояло в сорока только душах, немаловажном долге, а детей было семь человек, и все они раскиданы были по корпусам и пансионам. Одна дочь старшая, выданная замуж, была до супружества матери своей отделена, а средняя только жила с ней и вотчимом, меньшая обучалась в Ярославском пансионе. Положение сих сирот было незавидное. У Кашинцевых мать имела незаконное сожитие с любовником, прижила с ним детей, и хотя она пряталась в своем собственном имении, не требуя ни части своей из мужнинова и не являясь лично к разделу, потому что за побег от мужа и снос вещей она была вызываема к уголовному суду, однако, будучи родная сестра тогдашнему Владимирскому губернатору, а опекун в той же губернии уездным судьей, следовательно, под его начальством, то и дело малолетных без защиты моей не могло не страдать от влияния столь близких родственников с той именно стороны, которая так далека была от пользы их по чувствам сердца вопреки самой природе. Мои отношении были тяжелы, мне надобно было прекословить натяжкам дяди в пользу сестры своей родной и подвергаться новому злословию, которое не оставило бы сказать, что я действую и по злобе на него, как моего преемника, и по собственной корысти, потому что Кашинцевы пользовались прекрасным состоянием и могли бы заключить, что я удаляю всех ближних от сего опекунства, дабы самовластно распоряжать чужим добром, но вместе с Кашинцевым управлять я не мог опекой, потому что он, как подчиненный, не смел по делам действовать против начальника, а я не мог согласиться на виды его, охраняющие преступную мать от законных исков малолетнего семейства. На что же опекуны, ежели не для того, по разуму законов, чтоб ставить оплот хищничеству и злонамеренным предприятиям самых даже ближайших родственников малолетнего?

В нашем веке, когда мораль почти потеряна, мы, к несчастию, видим, что уже и детей надобно защищать против лукавства их родителей, которые часто, забывая долг природы, грабят их и выдают в чужие руки по связям беззаконным. Итак, все требовало от меня твердой настойчивости. На первых порах моего управления, увидев сии неудобства, я принял на себя звание опекуна и остался один у имения Кашинцевых, а родственник их добровольно от того удалился, дабы не навлечь на себя гнева губернаторского, действуя совокупно со мной против сестры его. Я принял имение, какое тогда было, то есть спустя несколько месяцев по смерти их отца, по описи представил ее в опеку и начал делать свое дело. Таковы были обстоятельства Кашинцева семейства.

Опека Пожарских была не спокойнее. Там мать выдавала вотчиму детей своих наглым образом. Поступки его доходили до того, что мы принуждены были взять середнюю дочь, живущую в их доме, Прасковью Ивановну, на свои руки и перевезли к себе. О всех неустройствах тамошнего управления я протестовал, подав бумагу к предводителю, она ходила из рук в руки в уездном и губернском городе, но заглохла без производства, и мне оставалось молчать, потому что от сорока душ, которыми сама мать управляла, я не мог ничего тратить ни на стряпчих, ни на апелляции, ни на жалобы в Сенат, а своих денег на сие издерживать был не в состоянии, итак, эта опека более меня одного отягощала, нежели приносила сиротам пользы. Судя по подобным происшествиям, а их в разных губерниях, конечно, пропасть, как не сказать, что у нас правительство самое плохое. На все написаны прекраснейшие правила, наказ учреждений, бессмертные суть памятники ума и сердца Екатерины, но кто следует им? Они лежат в богатых ковчегах на красных столах, а никто их не исполняет. Все кончается фразами и витийством. Никто не охраняет силы закона, и потому никто к нему не имеет прибежища, зная заранее, что вместо пользы потерпит убытки и права своего не отстоит, потому что право каждого и отношении закона к лицам только написаны, и сущности в них нет. Оставалось при таком распорядке гражданском о нем сожалеть, все выносить и крепко молчать. Нельзя не согласиться со мной, что бремя лежащих на мне по совести обязанностей противу кучи сих малолетных без защиты иной, как моя, наносило мне по временам большие неудовольствия и умножало мои собственные о себе заботы, но я ни от той, ни от другой опеки не мог отделаться, ибо сколько-нибудь еще огрызался на бумаге и не выдавал малолетных, а тем самым хоть слабую, но приносил им иногда пользу.

Приехавши поздно в деревню, надлежало нам и долго прожить в ней. Хотя я осенью худой охотник до сельского уединения, не могу, однако же, пожаловаться, чтобы нынешную провели слишком скучно. У нас всегда были люди. Кашинцевы ездили очень часто; в семействе нашем прибыло одно лицо, а именно Пожарская. Мы убивали вечера в разных резвостях и играх, которых в городах стыдятся, потому что они невинны и самолюбие ничем не подстрекается, а в деревне тем-то самым и приятнее. После покойного Кашинцева осталась славная охота. Я этого упражнения не любил, но желание попробовать заставило меня несколько раз выехать с собаками в поле. Не садившись уже несколько лет верхом, я опять седлал коня, разумеется, очень смирного и с молодежью скакал за зайцем. Такая новая забава меня иногда занимала до того, что я почти целый день не слезал с лошади и, воротясь домой, гордился своими тараками, как рыцарь победами. Около нас много было деревенских охотников, для них это была приманка. Мы большим собранием выезжали в поле. Я любил слушать гончих, их было до двухсот в нашей стае. Настоящая музыка. Самая травля мне не нравилась. Я в ней находил что-то злобное и вместе недостойное человека. Какая радость мучить слабое животное, каков заяц? Сперва пужать его и потом лишать жизни — торжество самое низкое! Но кто истолкует человеческие вкусы? Иной рад бросить жену, детей, все дела свои в хороший полевой осенний день и броситься с собаками в отъемный остров. Добыча наша всегда бывала пребогатая. По нескольку десятков умерщвляли мы зайцев, выезды наши похожи были на рыцарские походы: множество псарей, ловчих, стремянных в особенных одежах верхами, звуки рогов, которые эхо разносило по полям и оврагам, все это, однако же, меня не пристрастило к этой забаве, а еще меньше верховая езда, о которой повторял и в старости то же, что написал смолоду:

На что и затевать? Чего нет на роду,
Не только что с коня, с клячонки упаду[10].

Таким образом, самые те случаи, от которых я имел хлопоты, принесли мне и некоторое рассеяние. Без опеки Кашинцева я бы не мог пользоваться его собаками, а без них и люди нас бы так часто не посещали, словом, от безделицы до важных случаев в мире везде смешано приятное с неприятным.

Проживши до глубокой осени в Александрове, мы выехали из оного 19-го, а приехали в Москву 27 октября, взяли с собой и Пожарскую

Прасковью Ивановну. В судьбе моей было, так же, как и отца моего, призирать в нашем доме сирот женского пола. Давно ли отпустили с сестрой Нелюбову, как вдруг на место ее и долг, и совесть обязывали принять новую барышню на свои руки и дать ей крышку. Дорога наша была сопровождаема своими беспокойствами. Кроме погоды, которая становилась холодна и сурова, мы не могли переезжать больших расстояний на своих лошадях, дни были самые уже короткие, а как я езжал не на большой тракт Владимирский, а на Юрьев, просельною дорогою, то с большими экипажами подвергались нередко разным опасностям. Так и в нынешний наш путь карета, в которой сидели дочери, совсем опрокинулась, и пока ее не подняли, я испытал самые жестокие минуты, не умея отгадать, в каком состоянии детей моих из нее вытащат, но, слава Богу, все кончилось одним страхом, никто ничего не повредил, только гофманским каплям был расход, и мы благополучно продолжали свое путешествие, положив, однако, правилом вперед уже не ездить по боковым дорогам, а держаться больших почтовых, на которых меньше очевидной опасности и в худом случае более способов к облегчению.

По прибытии в Москву я удивился успеху, с которым новое мое строение поспело, и как в оном нельзя было еще жить людям, то меня и соблазнил старый мой демон. Я на скору руку поставил в нем театр, в котором смогли поместиться человек до ста зрителей, и намеревался потешиться своею собственною охотою, но разные неприятные встречи заставили отказаться от всякого увеселения до некоторого времени.

Объездил едва я своих знакомых и заявил им о своем прибытии в город, как простудился и захворал. Пренебрегая началом болезни, я хотел, как многие говорят, износить ее на походе и участвовал в пирах князя Юрия Владимировича, которые он дал всему городу в дни своего рождения и именин 2-го и 3-го числ ноября на новоселье в отстроенном своем обширном доме[11], в котором все залы были наполнены гостями, гремела музыка и за столом обеденным, и ввечеру на бале. Пространная галерея мраморная, украшенная богатыми померанцевыми и лимонными деревьями, освещена была, как яркое солнце, словом, праздник был не на шутку и нов в доме этого старика, который давно так не роскошничал. Тут я болезнь свою умножил и скоро потом слег. Принялись за меня доктора, я поправился, но опять, не выдержав карантину, выехал. Здесь уже я не мог укорять себя в неосторожности. Самая правильная и сердечная причина меня выгнала из дома. Скончалась графиня Строганова[12], старушка милая, любезная, родственница мне по муже своем, у которой я несколь-

ко уже лет бывал принят с искренним дружеством. У нее всегда собиралось небольшое общество приятнейших остряков в городе, она любила словесность, науки и художество. Не станем вспоминать ее слабостей. Кто не имел когда-либо своих? Скажем, и это сущая правда, что, несмотря на ее семьдесят лет, она была одна из приятнейших женщин настоящего времени. Беседа ее остроумная, шутки милые, редкие познания большого света, тонкий вкус общежития, доброта сердца, ровное со всеми обращение, несмотря на то, что она была дама первого класса и богата, все сии столь редкие дарования в одном человеке вместе заставили меня не только сожалеть о ней, но даже тосковать. Я лишался с потерею ее почти единственного удовольствия, к которому мои лета меня привязывали и которых ничей уже дом в Москве доставить мне не мог. Смерть ее сильно на меня подействовала. Я хотел непременно отдать праху ее последний христианский долг, был на похоронах, проводил тело до Андроньева монастыря[13], расстояние большое от моего жилища под Девичьим. Мороз был несносный, он повторил мою простуду, и я снова слег в постель. Я не мог принесть более жертвы во свидетельство моей к ней привязанности и сожаления. Итак, почти до нового года я все хворал и не скоро выздоровел.

Этого было мало. Из Нижнего я уведомлялся, что шурин мой, брат родной жены покойной, умер, быв не долго болен и не оставя по себе ни завещания, ни распоряжений между детьми, коих было у него пять. Я с самой женитьбы моей на его сестре был с ним в дружеской связи, и некогда он жил с семейством своим в моем доме. Кроме сожаления, которое усугублено было воспоминанием хороших его со мной поступков, услуг и доброхотства в бытность мою в последний раз после матушки в Нижнем, я должен был хлопотать с его наследниками по связи дел моих с ним, ибо скоро после перевода его из прокуроров в советники Уголовной палаты я отдал ему на аренду свой завод по контракту на четыре года с платежом ежегодно по тысяче рублей, и по смерти его обязательство сие переходило на многие лица, не разделенные между собою и уже имеющие свои дома, свое семейство. Старшая его дочь была отдана уже давно замуж и отделена, но из двух, которые при нем жили, середняя незадолго только до кончины его выдана замуж за военного подполковника, ее звали Евгенией, а Юлия жила у тетки своей двоюродной госпожи Чемесовой и была уже в замужнем возрасте. Двое сыновей, один женатый, а другой холостой, вступили в право наследства, и старший Владимир с сестрой Евгенией приезжал ко мне в Москву учредить свой раз-

дел, спрося моего наставления. Имение оставалось не большое. Долг заплатя, не много приходилось на раздел, один завод всем порошил глаза. Владимир взялся его содержать на том же основании и условиях, как и отец его. Я охотно на это согласился и утвердил за ним право аренды. Таким образом в отношении ко мне устроились его дела, а прочие обстоятельства их семейного между собою раздела не принадлежат к моей Истории, и об них я говорить не стану. Отец их был человек добрый, но упрямый и, как говорят русские люди, сам у себя. Сыновья с ним были розно по службе, дочери одни, особливо Евгенья, правили домом. Он любил хорошо жить, имел много хороших качеств, но, не получив смолоду воспитания, был в обращении груб, дик и слишком прост. Меня он любил с уважением и доверенностию, при всем том от беспечности ничего не сделал сам, ниже мне поручил и, отдав на волю ябед и законов раздел своей собственности, возродил между детьми своими междоусобные сильные вражды, которые имели множество неприятных последствий и часто вовлекали меня самого в неприятные отношения то с тем, то с другим из его семейства. Не всякий при смерти может устроить будущий жребий своего потомства, иной мог бы, да не соберется. Откладывая со дня на другой, застигает его роковой час, когда ничего уже ни сделать, ни приказать. Натура в страдании занимает одной собой трепетную душу. Другой умел бы заранее все учредить, но не может и обязан отдать судьбу детей своих покровительству законов, которые не всегда при дележах имений наших бывают справедливые посредники между детьми разного пола, возраста и состояния. Впрочем, я видал неоднократно, что и самые лучшие завещания ничего хорошего не производили. Таков удел ума человеческого, которому не дано ничего предузнавать в будущем, а потому все его распоряжении за гробом оказываются суетны и бесполезны.

Наполнив последнюю половину сего года столь многими происшествиями, или забавными, или заботливыми, я уже ни слова не скажу о нашем театре, а, вступя в будущий год, займусь домашними забавами. Чем более случаи действовали на мою ипохондрию, тем сильнее нужны были рассеянии, дабы предохранить меня от опасных последствий печального воображения. Что могло удобнее и живее развлекать мысли мрачные, как не театр? Устроилось наше драматическое общество пред истечением года. Это привлекло в наш дом множество молодежи, жизнь сделалась разнообразнее и веселее, пробы занимали нас каждодневно, и я, еще не совсем освободясь от простуды, иногда в репетициях принимал участие и

прогонял всеми образами тоску сердечную, но о подробностях театра распространюсь в другое время.

Здесь, при самом конце года, помещу приятное известие, что сын мой Александр пожалован в коллежские секретари из прапорщиков отставных и, получа вдруг два чина, принят в службу по министерству юстиции. Тогда министром был Трощинский. Сие неожиданное повышение доставил ему старик князь Юрий Владимирович. Живучи у него в доме, сын мой умел найти в нем и в княгине[14], оба принялись поправить его судьбу. Князь просил министра, министр в счастливую минуту доложил государю. Царю можно ли всякую безделку о частном лице вспомнить? А министру можно ли не успеть в чем-нибудь, ежели он за что всем сердцем примется? Итак, к крайнему моему удивлению, прочел я в газетах объявленный министром именной указ, в котором сказано, что сын мой, будучи отставлен без чина из военной службы, взамен того ныне жалуется коллежским секретарем и определяется к статским делам. Счастливый оборот негодных его обстоятельств меня очень обрадовал, и, правду сказать, пора было мне обрадоваться. Указ о сем вышел, или по крайней мере объявлен, как самый важный акт, который мог бы занять государя, в первый день приезда его в столицу из чужих краев. Все это не доказывает ли, что министр, когда он в силе, делает, что хочет? Я не мог надивиться счастливому созвездию сына моего, который так странно испытывал в другой раз действие над собой слепой фортуны. Еще в малолетстве, при выключке его из пажей, отдано было в приказе, чтоб его не записывать в военную службу, как неспособного к оной. Вместо того он потом был уже, и офицером, принят в кавалерийский полк. Отставлен потом, посредством сильной протекции, без пятна и штрафа, когда он за проказы свои подлежал правильно суду и крайним бедствиям, и вдруг ныне, без заслуг и трудов, за то, что при отставке не награжден чином, пожалован двумя, и опять с честию в службе. Старик благодарил за него министра, я также, с своей стороны, как отец написал к нему благодарное письмо, на которое он приятно ответствовал мне и тем короновал полное мое удовольствие, а сын мой между тем покатил сам в Питер явиться к новому своему начальнику и вступить в должность, какая ему назначится.

Вот и еще год прошел! Поблагодаря Бога за все, случившееся в оный как действие благого его промысла, не до конца нас наказавшего, помолимся о благополучном вступлении в новый, к описанию которого засим и приступаю.



Князь Дмитрий Иванович Долгоруков,
сын кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы К. де Местра. 1819.

Княгиня Агриппина Алексеевна Долгорукова,
вторая жена кн. И. М. Долгорукова.

Миниатюра работы неизвестного художника. 1820-е годы.



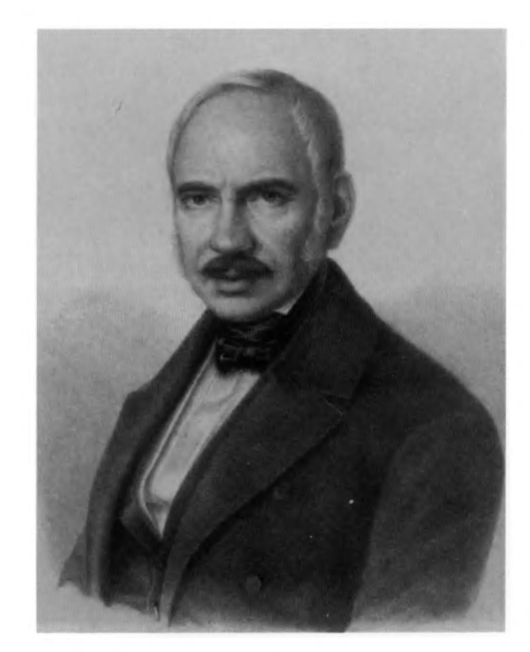


Прасковья Николаевна Ланская.

Портрет работы Ф. С. Рокотова. Начало 1790-х годов.



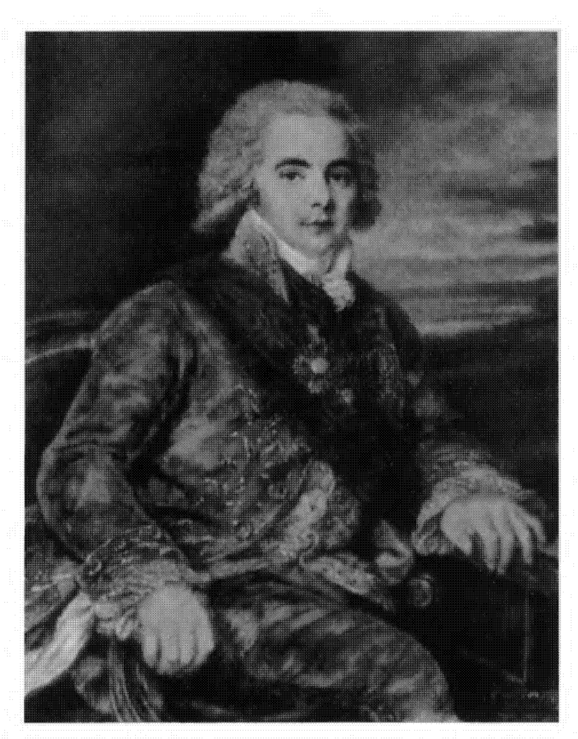
Княгиня Варвара Александровна Шаховская,
двоюродная тетя
кн. И. М. Долгорукова.
Миниатюра работы неизвестного художника.

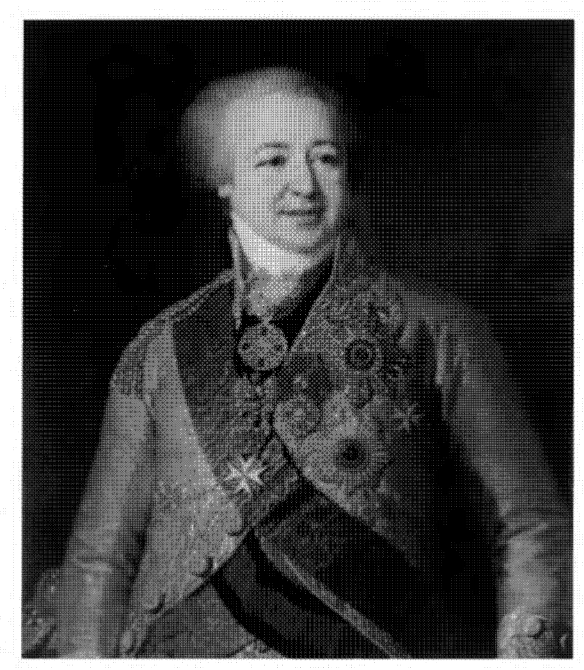


Князь Александр Иванович Долгоруков,
сын кн. И. М. Долгорукова.
Гравюра работы неизвестного художника.
1850-е годы.

Князь Алексей Борисович Куракин.

Миниатюра работы А. Х. Ритта.





Князь Александр Борисович Куракин.

Портрет работы В. Л. Боровиковского. Фрагмент.



Владимир Саввич Смирнов,
племянник кн. И. М. Долгорукова.

Гравюра работы неизвестного художника.
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
Публикуется впервые.

Осип Петрович Козодавлев.
Гравюра работы К. Зенфа.





Княгиня Наталия Петровна Куракина.
Миниатюра работы неизвестного художника.



Александр Дмитриевич Балашов.
Портрет работы Дж. Доу.

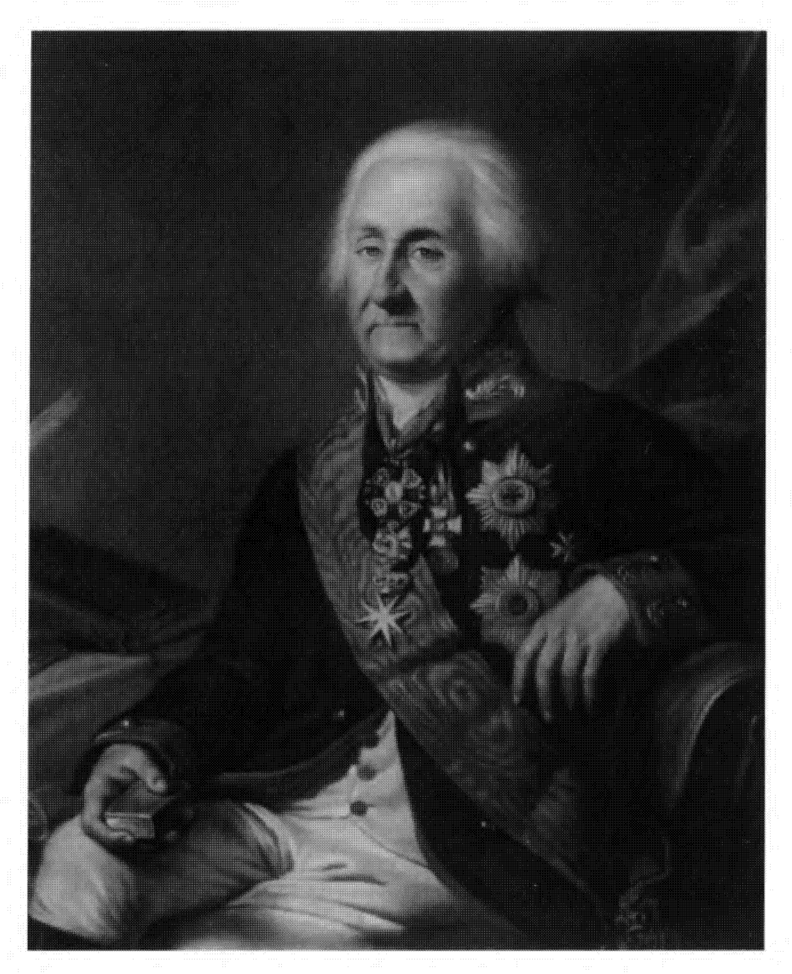


Анна Федоровна Варч.

Миниатюра работы неизвестного художника. 1808.
Государственный музей А. С. Пушкина (Москва).
Публикуется впервые.



Александр Родионович Зузин.
Портрет работы Д. М. Коренева.
1784—1786.



Князь Юрий Владимирович Долгоруков.
Портрет работы Ф. Кюнеля. 1813.



Князь Алексей Иванович Горчаков.

Портрет работы неизвестного художника.



Николай Еремеевич Струйский.
Портрет работы Ф. С. Рокотова. 1772.



Александра Петровна Струйская.
Портрет работы Ф. С. Рокотова. 1772.

Иван Иванович Дмитриев.
Портрет работы В. А. Тропинина. 1835.





Князь Василий Васильевич Долгоруков старший.
Портрет работы неизвестного художника.

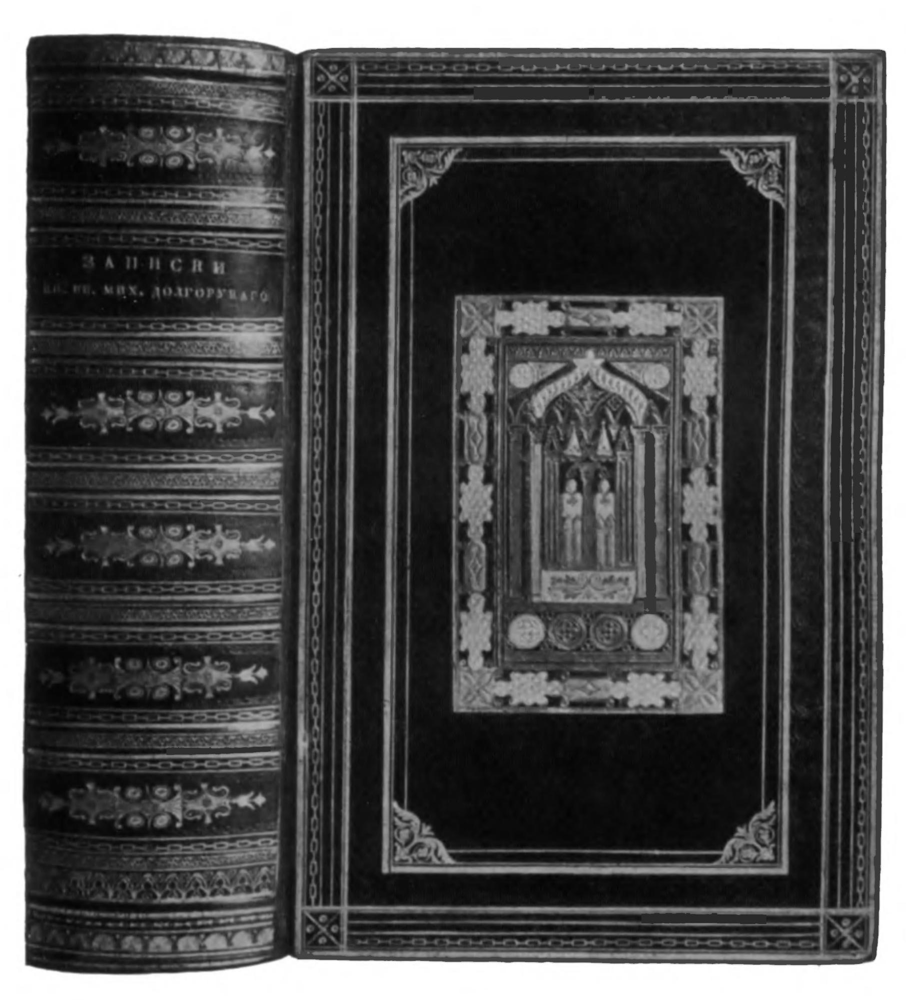


Князь Иван Михайлович Долгоруков.
Рисунок работы П.-Э. Штрелинга
(Строли). 1797.





Княгиня Евгения Сергеевна Долгорукова,
первая жена И. М. Долгорукова.
Рисунки работы П.-Э. Штрелинга (Строли). 1797.



Переплет рукописи ИРЛИ (Пушкинский Дом).
Фотография. 1913.

Фрагмент страницы рукописи Научной библиотеки МГУ.
Вставка на полях выполнена рукой кн. И. М. Долгорукова.

1816

От первого дня года во всю зиму мы забавлялись театральными зрелищами. Расположение театра было весьма удачно, зима была не очень студена, а народу притекало много, следовательно, всегда довольно было и тепло, и покойно зрителям. Не одни мои знакомые бывали в числе их, Москва жадна к удовольствиям, особенно тем, кои не стоят публике ничего. Все известные люди в обществе посещали нас тогда, все просили билетов для входа, многие на сей только случай с нами знакомились. Я в забаве находил новые средства смеяться суете человеческой и глядеть на публику, самую даже избранную, как на волну, которая, ветром гонима, прибивается всюду и всюду плывет. На то время приехала к нам гостить княгиня Урусова и жила в нашем доме, это та самая родственница наша, которую сестра моя в прошедшей зиме посещала. Круговенька наша сделалась люднее, репетиции оживотворяли ее. Наше общество составилось из самых отборных молодых людей в городе. Мы сыграли до четырех комедий разных по-французски и по-русски, все они удачно были представлены и публике понравились. «Le seducteur amoureux»*, — самое трудное театральное произведение, но прекраснейшее и Детушев «Философ»[1], в котором я в первой еще молодости своей так часто у двора и на разных общественных театрах отличался, сии две пиесы превосходно были нами разыграны. В угодность князю Юрию Владимировичу сыграна была и опера «La servante maitresse»[2], но как опера требует больших иждивений для оркестра, то заботу сию приняла на себя княгиня Горчакова, и музыка мне ничего не стоила. Так-то я в семействе моем забавлялся нынешней зимою. Остановимся на сем происшествии и войдем в некоторое оправдательное изъяснение пред злоречием той же публики, которая ездила на нас смотреть и после, как водится, нас же порицала.

Многие с лицемерным во мне участием соболезновали, что я, не дождавшись еще конца устремленным на себя нападкам правительства, так свободно и нагло забавлялся, оказывая тем презрение к самим уничижениям, коим был подвержен. Иные охуждали то, что я в мои лета, в моем чине играю на театре, и находили это весьма неприличным. Другие, напитавшись ядовитой желчи, шептали, что я, конечно, нажился по службе, когда вхожу в столь великие издержки и тем даю право подумать, что я не вовсе без вины утесняем правительством. Вот главные пункты

---

* «Влюбленный соблазнитель».

13 Зак. № 3975

обвинения. Все кричали, осуждали, и никто не хотел порядочно размыслить, заслуживаю ли я упреки публики. Оправдаемся, наконец, пред нею в сих искренних исповеданиях дел моих и потолкуем с читателем.

Вся жизнь моя, описанная в сих листах, показывает, что я пристрастен был более всех прочих увеселений к театру. Родясь в счастливый век Екатерины, воспитан и образован будучи в лучшем круге юношества, наконец, удостоясь быть в обществе тогдашнего меньшого двора, я принял в себя все вкусы того века, я любил женщин, поэзию и театр. Тремя сими очаровательными пружинами жила душа моя, сердце и мысли. Положив, что под старость все они должны были истереться и мне надлежало оставить их, по крайней мере женщин и театр, я прошу благосклонного мне в них извинения как человек, которому сродно иметь слабости, и ежели те, коих владычество еще держало меня в плену своем, были осуждения истинного достойны, то пусть простят мне их хотя за то, что я не имел других склонностей гораздо вреднейших; слабость всегда сноснее порока! Но мне и тех не прощали. Обносили меня хулой за невинные увеселения и не хотели на весы с ними, к облегчению моему, положить других страстей, коих, благодаря Бога, я не имел, несмотря на общее их влияние.

Но я еще и на то не согласен, чтоб мир имел право злословить мои забавы без рассмотрения. Здесь я начинаю свои возражении и вступаюсь сам за себя. Говорили, что не время мне тешиться так публично и громко в моих обстоятельствах. Пусть бы он играл комедию в своей семье про себя и не призывая во свидетели всех первоклассных чиновников города, начиная с главнокомандующего, никто бы и пересуждать его не стал. Согласен, что мало было скромности в моем поступке, но известны ли были причины тем, кои меня критиковали? По тесной связи моей с домом князя Юрия Владимировича, который был первый вельможа в городе, мог ли я не приглашать его к себе, тем более что он сам любил мои забавы, а приглашая его, мог ли я освободиться от обязанности звать его современников и равных ему людей в городе? Я даже составлял в доме их, с их согласия, все реестры, по которым звал зрителей, и, следовательно, очень часто из угождения сему старцу видал у себя в театре таких особ, с которыми не имел никакого обращения, как например проезжего через Москву генерал-адъютанта Уварова, случайного человека, с которым князь хорошо был знаком. Мог ли я в то время, как большая часть издержек театральных, когда они были значительны, падали на княжий кошелек, мог ли я пользоваться ими один в своем семействе, не приглашая княжих гостей? Никто в эти подробности не входил, а хотел только бра-

ниться и злословил. Пусть скажут, что от того-то самого я должен был не заводить театра, чтоб освободиться от обязанностей, которых тягость должна была обременить мое спокойствие молвой предосудительной, но должен ли я был запереться в четырех стенах, отнять у детей моих забавы, в которые развертывались наилучшие их природные дарования, для того только, чтоб спастись от молвы безрассудной, от которой и сами отшельники освободиться не могут? Молва есть такая тирания, которой я никогда не боялся и, надеюсь, впредь никогда не испугаюсь.

Говорили, что мне не под лета и что с чином моим не согласно выходить на сцену. Об этом также мне позволят поспорить. Я сделаю только один вопрос: простительно ли было бы мне в мои года, в моем чине играть по целым дням в карты и разоряться в партиях роскошных с большими господами из подлого им угождения или, спрятавшись дома, кое с кем осушивать за жирным столом дюжины бутылок шампанского, или, наконец, держать втай сераль наложниц и наполнять воспитательный дом несчастными жертвами? Спрашиваю, простительнее ли это театра? О! Если б я все это делал, по примеру многих, уверен, что менее бы меня злословили, потому что я имел бы более партизанов и что издержки сии, как бы велики ни были, доставляли наживу приятную многим тунеядцам и развратным людям, которые всегда и предводительствуют толпы завистливых критиков. Мне было пятьдесят лет, это правда, но я был здоров и жив, я был тайный советник, но в отставке, следовательно, не занимая никакой должности в государстве, обращался в массу граждан, свободных распоряжать своими забавами и временем по своему произволу. И какая притом несправедливость! Лишая меня в политических актах и сборищах тех почестей, которые принадлежали моему классу, если б я был в службе, требовать, чтоб я от забав отказывался мне свойственных и никому не вредных потому, что я такой-то чин имею, то есть, теряя все выгоды по политическим отношениям, чувствовать одну тягость его, когда дело идет о моем личном удовольствии, которое ничего общего с чином гражданским не имеет, — суд самый неправосудный!

Говорили, что я даю право подозревать себя в большом достатке, когда делаю такие расходы, и, следовательно, достаток сей не иное что означал, как худое мое поведение по службе. Спрашиваю опять, в чем состояли сии столь важные издержки? Ко мне съезжались прямо в театр, из него, проходя через мои покои, из учтивости останавливались у меня выпить чашку чаю и разъезжались. Я не давал ни пышных столов вечерних, ни балов великолепных, следовательно, расходы все состояли в

освещении и небольшом оркестре. Театр или сарай, в котором он был поставлен, как видели выше, и не дорог был, да и назначался на необходимый предмет, а воспользовался я им для сей забавы только случайно нынешнею зимою. Издержки театральных облачений для меня и детей моих также не выше были тех, кои дочери мои, разъезжая по балам и городским пирам, принуждены были расточить и без театра с тою выгодною разницей, что им веселее было употреблять денежные расходы таким образом, нежели другим. Сему поверить тем легче должен всякий, что мы не представляли ни трагедий, ни таких пышных зрелищ, которые требовали бы особенных нарядов и дорогих, все было просто и без роскоши, следовательно, и полагать меня в числе потаенных крезов не было никакой правильной причины.

Я обязан был войти в столь пространное рассуждение о сей безделице единственно потому, что крику на мой счет в Москве было много, и мне хотелось показать в сих листах, сколь мало я заслуживал быть предметом оного. Впрочем, что лежит до совести моей, ее подобные вопли никогда не смущали. Я знал, что по службе царской ничего не нажил. Забавлялся так, а не иначе, потому что это было мне свойственно и что мне нужны были рассеяния в моем собственном, а не в принятом вкусе, и что удовольствие моего семейства составляло всю красоту моей жизни. Конец и диссертации.

Вся зима настоящего года была очень весела. В Москве всегда найдутся добрые расточители, которые доставят публике разные забавы. Мы во всех участвовали, потому что сами попали в разряд праздничных домов. Звали нас потому, что хотели быть и от нас приглашены. Между прочими удовольствиями в родстве нашем совершилась свадьба Лопухиной за Хитрова, на которой я представлял лицо посаженого отца. Пиры были не на шутку. Бал дан огромный всей Москве в доме благородного собрания. Жених был богатый человек и хотел оное показать пышным праздником всей новой своей родне.

Столь суетные развлечения не останавливали моих попечений о семействе. По счастию, ныне они были благоуспешны. Сын мой Александр, съездивши в Петербург явиться к министру и начальнику своему Трощинскому, причислен ордером его к канцелярии обер-прокурора московского Сената для навыка к гражданским делам и возвратился на житье в дом князя Юрия Владимировича, что для него было полезнее, нежели жить за глазами старика, который в разлуке с ним скоро забыл бы его совершенно.

Наступило время записать куда-нибудь и Дмитрия. Ему истекал девятнадцатый год, он был еще недоросль и ходил на лекции в Университет. Я не мог решиться ни одного из детей моих отдать в военную службу потому, во-первых, что они более или менее все наследовали слабое здоровье по матери своей, груди их были не каменные и не вынесли бы нынешних военных изнурений, к коим мало были приучены и по воспитанию своему, и, сверх того, содержание молодых людей в гвардии стоило чрезвычайно дорого. Я не в состоянии был понести нужных на то издержек. В полевых полках служить значило потерять до последней черты хорошей нравственности, ибо они составлены были из людей самого низкого разбора, и хотя попадались в оные иногда юноши хороших качеств и известных фамилий, но по протекции скоро выходили в отборные войска, где отцы принуждены были дорого платить за их службу. По всем сим соображениям оставалось мне решиться сына своего Дмитрия пристроить к гражданским делам, и дабы он не лишался возможности кончить свои науки в разных факультетах, а притом мог бы лет до двадцати пробыть под моим надзором, я его записал в Губернское правление, куда он принят губернским регистратором[3]. Там ныне губернатором был родственник наш, хотя и не очень нам короткий человек, князь Алексей Алексеевич Долгорукий, но, будучи наш однофамилец, исполнил русскую пословицу: «Свой своему поневоле друг» и позволил сыну моему продолжать свои труды в Университете. Дмитрий любил заниматься словесными науками и не склонен был от природы к военным ратоборствам, жизнь философская и тихая ему нравилась гораздо более. Со вкусом сим согласовалась и сама натура, не забудьте, что он родился сам-друг с умершим во младенчестве еще братом своим Рафаилом, и с помощию акушера произведен на свет, следовательно, силы его были еще скуднее прочих детей моих. Так устроив первое вступление сыновей моих трех в обществе, я приготовливал и самого меньшего в Университетском благородном пансионе к общему с братьями его назначению и радовался втайне, что без большого перелома их склонностей мог удалить их от военного звания, к которому не лежало никогда мое сердце, как видно из давнишнего моего сочинения, в котором я дерзновенно изъяснился насчет героев наших, вопреки славе их в настоящем веке, сказав в описании самого себя:

По логике моей давно расположил,
Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил[4].

И подлинно, скажем правду: военная служба, по политике судя, есть зло необходимое в мире, но, в нравственном смысле рассуждая, должно признаться, что во время войны она есть наука убивать себе подобных и совершенное злодейство, а в мирное время она самая глупая комедия и упражнение бесполезное. Согласен я, что без войск обойтись нельзя, надобно и драться, и обороняться, но счастлив тот, кого небо удалит от подобного искушения.

Если верить, что есть судьба, то, казалось, ею назначено было, чтоб я не мог никогда в начале лета по расположению моему оставлять город и съезжать в деревню. Тут-то бывало и натекут разные препятства: задержат дела, остановят долги, и сии последние не могли инакова меня беспокоить, как в начале лета, ибо я ежегодно в это время принужден бывал прибегать к разным займам и изворотам, следовательно, по приближении сроков моим обязательствам, я новые встречал заботы и затруднения, и они тем более меня в Москве удерживали, что по глухой летней поре не скоро можно было изворачиваться в денежных делах, а к сим заботам рок прибавил и другие, хотя давно ожидаемые, но не меньше неприятные, ибо они прямо били в сердце, а не в один карман.

Наконец решилось недоумение Сената насчет моего выговора. По случаю болезни министра юстиции, заступил место его на время г. Козодавлев. Он обратил вопрос Сената без ответа и предписал приговор совета исполнить, следовательно, снова повестили мне явиться в общее собрание. На теперешний раз учтивее поступлено было со мною, чем прежде, ибо не через полицию, а экзекутор Сената прислан был мне о сем объявить, и я в первую пятницу потом явился. К усугублению неприятности надобно было этому случиться в самый день рожденья меньшого сына моего 19 мая, и возмутился день приятный в семействе печалью и негодованием общим, но надлежало повиноваться жребию своему. Нетрудно вообразить волнение всех чувств моих, сколько я ни старался укротить оное всякими философическими размышлениями. Постараемся описать все подробности сего происшествия. Тяжело на них и по прошествии нескольких лет останавливаться, но память моя никогда сего утра не забудет. Ехавши из дома в Сенат, разумеется, во всем своем гражданском облачении, то есть мундире и ленте через плечо, я готовил себя в карете перенести терпеливо все, чего бы ни случилось со мною в Сенате. При таком решении дела простительно было от правительства ожидать всякой наглости. Прибыл я в Сенат. Тотчас обо мне доложили, я вошел в заседательную комнату и остановился у дверей. На мой унижен-

ный поклон все сонмище судей моих ответствовало поклоном сидя, иные быстро на меня смотрели, чтоб явственно читать посрамление на лице моем, другие, у коих сердце не вовсе еще сделалось камнем, потупили глаза и не хотели взвести их на свою жертву. К крайнему моему удовольствию, если что-либо мне оное могло доставить в такие суровые минуты, я окинул глазами всех ареопагов наших червленых и не нашел в них ни одного, с которым был бы я приятельски знаком или хотя в малейшем обращении по свету. Все были люди чужие моему сердцу. Искренний друг мой Нарышкин в это утро сказался больным и в Сенат не приезжал. Товарищ его г. Муханов, бывший некогда в жизни моей в приятных со мной отношениях по дому князя Волконского, был так благороден, что не захотел свидетелем быть моего поношения, и также не приезжал того утра в Сенат. Прочие, кроме отпускных, все были налицо. Велено обер-секретарю прочесть мне вслух приговор Совета. Г. Спасский провозгласил его, но старшему из гг. сенаторов показалось, что я слишком от него далеко стою и не услышу порядочно сентенции, обернулся на стуле своем ко мне лицом, приказал чтецу читать громче и, не смигаючи, примечал все изменении моего лица. Это был действительный тайный советник Алябьев. Я не хочу скрыть здесь имени его, дабы оставить в потомстве моем чувство вечного презрения к имени его и роду. Кто так умышленно и хладнокровно радуется чужому стыду, да еще и беззаконно навлеченному, тот заслуживает, чтоб могила его утоптана была с презрением от тех, чье посмеяние обратилось ему в такую радость. Нет под солнцем ничего бедственнее уничижения! Оно стократно больнее торговой казни и последней плахи, на которую протягивает шею самый лютейший враг общественный! Прочтен приговор Совета громогласно. Я его выслушал, поклонился, вышел, и насилу ноги мои дошли до кареты, в которой я предался всем моим чувствам и рад был, что мог, отдав долг натуре обильными источниками слез, с некоторым спокойствием наружным явиться после такой сцены к моим домашним и не умножить их смущения моими душевными тревогами. Ах! И они в отсутствие мое менее ли меня страдали, меньше ли до возвращения моего домой терзались от одной неизвестности, чем все это кончится, от одного страха, чтоб я не произнес, не сделал бы чего-нибудь к вящему отягощению судьбы моей! Нет! Слава Богу! Я как каменный выдержал посланное небом искушение! Написав особенную тетрадь[5], в которой я юридически трактовал о всех производящихся моих делах, я не стану здесь распространяться насчет читанной мне в Сенате бумаги, а докончу

сие описание только тем, что многие гг. сенаторы изволили своим знакомым рассказывать, что хотя я в глубоком молчании выслушал выговор, но что на лице моем беспрестанно выражалось нечто сатирическое на их счет. Какие искусные Лафатеры[6]! О нет, господа! Я весь был в себе тогда и призывал одного Бога себе на помощь. Он один может дать силу переносить такие минуты. Во весь тот день я, сидя дома, не снимал мундира и ленты в уподобление тем казням публичным, после которых трупы человеческие целые сутки оставляются напоказ народу. Выходя из Сената, я от души воззвал к небу: Господи, суди со мной царя беззаконного в неправде его! И сим кончу болезненное мое о том повествование.

К тем же порам приспело к окончательному решению и дело мое последнее о мундирах. Гг. сенаторы, не находя причин приговаривать меня к наказанию лихоимца, ибо, как сам Сенат после в приговоре своем изъяснился, ни от следствия генерала Ильина, ни из ответов моих, ни из самых обстоятельств дела не видно умышленного моего преступления, но, с другой стороны, не смея и оправдать меня совершенно, ибо сие было бы противно духу, на меня тогда веющему у двора, обвинил меня в пренебрежении должности и в допущении последовать беспорядкам в одеже рекрут, которые произвели столь важное следственное дело, заблагорассудил принять среднюю меру и, сказав в предисловии своем, что следовало бы меня судить по всей строгости законов за такое упущение, но как манифест все прощает, кроме лихоимства, то и заключил по силе оного меня простить, однако взыскать штраф и от суда учинить свободным. Таково было положительное мнение шестого департамента, но еще следовало ему дойти до Совета, утвердиться заключением оного и потом получить последнюю высочайшую конфирмацию. А дабы удостовериться, что все это последует беспрепятственно, Сенат через орган свой, то есть обер-прокурора, описывался с министром приватно и разведывал, так ли решить, или нет мое дело. Подобные переписки всегда продолжались очень долго, и дело опять залегло в долгий ящик, но я надеялся, что министр с заключением Сената согласится и что рано или поздно я буду свободен от столь несправедливых мытарств. Более всего при производстве сего дела в департаменте трудился в мою пользу г. обер-прокурор Манцуров, которому я обязан искренней благодарностию за стойкое его участие и защищение меня, которое, к чести его должен сказать, не стоило мне ничего более, как визитную карточку, и то уже тогда, как я приехал его благодарить и не был им принят из благородной скромности. Не

знаю я, устали ли гг. сенаторы теснить меня и оттого согласились решить столь благоутробно мое дело, хотя и не правосудно, но без жестокости, им обыкновенной, или уже видели они, что слишком наглы были на меня нападки, но, впрочем, я никого из них о себе не просил, никому не кланялся, ни к кому не ездил, а канцелярия Сената не видала ни малейшего от меня приношения, да и чем бы стал покупать свою правду, ничего не наживши сам, не в чем было ни с кем делиться. Сему-то, может быть, я обязан окончанием моего процесса, ибо видели ясно, что ежели таскать будут мое дело и несколько десятков лет, лихоимства в нем не найдут, следовательно, одни только примут хлопоты пустые без малейшей пользы. При сем решении последнего моего дела я должен с особенною благодарностию отозваться о сенаторе Нарышкине, который по давней своей приязни ко мне всегда жарко принимал мою сторону и прениям сотоварищей своих заграждал легкие успехи, но совесть моя требует, чтоб я в сих листах откровенно исповедал истину. Он ли так крепко стоял за меня, он ли оборонял меня с опасною для самого себя отважностию? Ах, нет! Здесь открывается потаенное орудие, благороднейшее лицо, которое действовало его голосом и рукою, настроивая их в мою пользу. Сестра его княгиня Куракина, женщина беспримерная в великодушии и дружбе, она неослабно побуждала его действовать согласно с моими выгодами. Живши в той губернии, которой я управлял, в глуши, но окружена тамошними обывателями, она знала все мои поступки по службе, внушила их брату и по влиянию на него не допустила вместе с прочими, из слабой боязни превратных случаев, гнать человека правого потому только, что все ему желают зла в царских чертогах. Вот потаенные пружины, которым я приписать должен похвальное и торжественное изъявление доброхотства ко мне старого моего друга Нарышкина, который по всем делам моим всегда давал голос в мою пользу. Никакие мои выражения не сравняются с тою благодарностию, которой преисполнено мое сердце к княгине Куракиной. Она по качествам души своей была столько выше похвалы, сколько всякое холодное витийство языка слабо к засвидетельствованию чувств, коими на всю жизнь мою меня обязала. Кто другой так скромно поможет ближнему? Она знала, что поступки ее в сем случае, не будучи миру известны, не привлекут ни похвал, ни восклицаний, для которых столь часто самолюбие негодное заставляет нас быть добрыми. Нет! Здесь видна черта характера высокого, души необыкновенной. Вот истинная дружба, истинная любовь христианская! Отдадим ей без зависти полную справедливость и постараемся подражать ей.

Все сии обстоятельства невольно задерживали меня в Москве. Я не хотел уехать, не удостоверясь, что дело кончено и послано в Петербург, но чтоб между тем иметь некоторую отраду, ибо кто не согласится, что забавы мои зимние выходили мне соком летом, что выговор в Сенате, решение мундирного дела и долговые обороты, все это вдруг давало мне некоторое право искать рассеяния, дабы сохранить ум в порядке, я с женой вымышлял разные путешествия не дальные около города. Итак, собрались побывать в Веневской деревне у тещи, у которой, к крайнему ее удовольствию, прогостили почти неделю и взяли у нее день именин жены моей. Старушка плакала от радости, видя сей опыт нашей к ней преданности. Она жила одна с старшей дочерью своей Настасьей Алексеевной в уединенной деревне, молилась Богу, вязала чулки и от скуки по вечерам загадывала в карты. В это время я написал мою «Семиру Болеславну»[7]. По слогу ее можно видеть, что мне было не скучно и что везде найдешь оригиналов забавных. Пословица Буало весьма справедлива:

Les fous sont les bas pour nos menus plaisirs*.

Поездка сия принесла общее удовольствие всем нам, а паче жене моей, которая, до чрезвычайности будучи привязана к родным и беспредельно почитая мать свою, очень рада была, что могла ей изъявить чувства свои на опыте столь убедительном.

Возвращаясь от тещи в Москву, мы завернули в Каширскую деревню к приятелям нашим Яньковым и у них погостили дни три. Тут мы столько приели клубники и всяких ягод, что я едва спасся от беспокойных последствий такого объедения. Любо нам было и тут! Хозяева — люди добрые, старинного века, радушные наши приятели; деревня привольная, все ведется без купли; разговор искренний, шутки без насмешки, обращение простое. В таком месте и съешь вкуснее, и выпьешь слаще, и выспишься крепче. Отсюда мы, побывавши в Москве, съездили в другую сторону к зятю графу Ефимовскому. Село его Введенское — место превосходное, богатое угодьями и красотою. Чему дивиться? Ефимовские были в родстве с Екатериной Первой. Им тогда жалованы Петром лучшие окрестности московские в вечное владение. У Яньковых и у тещи мы видели одну природу, вкушали полевые плоды и огородные растения, здесь нам предлагались фрукты оранжерейные. Хозяин —

* Сумасшедшие суть источник наших мелких развлечений (фр.).

охотник до садов и чужеземных растений. Он смышлен несколько в ботанике, выписывает, что есть диковинного в этом роде, и наслаждается плодами образованного вкуса, а не простой природы. И тут мы несколько дней погостили не одни с женой, но и дочерей своих я привозил сюда с собою. Сестра моя также гостила у Яньковой, и я там с нею съехался. При ней жила и старшая дочь моя, меньшая никогда от нас не отставала, куда мы, туда и она. Удруживши зятю нашим посещением, мы погостили и воротились в Москву. В Введенском я видел гроб сестры моей и пролил над ней слезы дружеского воспоминания. Чем ближе к старости человек, тем полнее магазин воспоминаний. Чего я тут не привел себе на память бывшего во время молодости моей! Всякое место почти становилось для меня в Москве и около Москвы памятником какого-нибудь случая в жизни, и я, по счастливому естеству моего воображения, живо представлял их себе, стараясь избирать приятное, дабы скрасить эпоху настоящую, наполненную для меня столь тяжкими событиями.

Пока я занимался сам собой и едва имел время думать о том, что около меня делается, Москва, богатая область всяких приключений, занимала чрезвычайно любопытство каждого разными предметами. Принц Веймарский, супруг великой княгини Марии Павловны, приезжал смотреть ее после великих происшествий 1812 года, и правители города старались всячески украшать ее развалины. Тогда был уже главнокомандующим Тормасов, который сменил Ростопчина скоро после неприятеля. Тот успел сжечь Москву и отретировался, у двора начались его невзгоды, и он пустился странствовать по чужим землям, унося с собою проклятия жителей столицы. Хотя я находил их весьма неосновательными, но всякий рассуждает по-своему. Общая участь всякого начальника постигла и его. Пока дубина в руках, все хвалят, подличают, втираются в милость. Сменили — все бросят, да и Бог бы с ними, но этого мало. Начнут бранить и тем самым злословить, за что во время случая готовы памятники ставить. Публика везде такова. За Веймарским принцем и народ, и дворяне ездили на все народные прогулки, ему давали обеды, казали московские диковинки и прятали все то, чем похвастаться было не можно. Около того же времени возвращался из резиденции персидский посол на родину. Он уже был Москве знаком. Скоро по замирении с Персией, которое последовало во время последней войны[8], будучи отправлен от того к нашему двору, он принужден был за отлучкою нашего государя во время Наполеоновых проказ и подвигов остановиться в Москве и в ней всю ту зиму прожил. Ему давали балы, он ездил по гостям,

и на него имели достаточное время наглядеться, однако и на возвратном его пути ныне все кидались к нему навстречу; борода его, шуба, ожерельи его драгоценные, все было в диковинку.

Проводя сих двух гостей, удвоили труды отстроивать город. Принялись за отделку Кремля и гостиного двора, все делалось по новым чертежам. Ломка была страшная, торопились поправить все взрывы, которыми Наполеон ознаменовал побег свой из Москвы, дабы по крайней мере Капитолию российскую представить в лучшем виде государю, которого ожидали в августе, в первый еще раз после победоносных его подвигов, в уязвленное сердце России. Возобновлен Иван Великий, открыт памятник царя Иоанна Васильевича, собор Василия Блаженного, и площадь сделалась лучше, нежели была когда-либо прежде, словом, вся Москва была в суете и волнении, как пред великим праздничным днем, а тем временем юный принц российского дома, великий князь Николай Павлович, отправясь путешествовать по государству, таким же образом занимал все на пути его лежащие города и уезды. Слухи о нем наполняли Москву разными занимательными известиями. Итак, в столице было ежели не весело всем, по крайней мере, всякому не без дела и заботы.

В Петербурге были свои происшествия. В нынешнем лете, исполнив лета долги, скончался первый вельможа, дядька государев, президент Совета, регент, можно сказать, всего государства князь Салтыков[9]. Сей человек во всю жизнь свою слыл моим благодетелем и протектором и никогда в пользу мою ничего не сделал, кроме того, что и без его участия должно было совершиться по действию судьбы или старанию других, ссылаюсь в этом на сию Историю. Пусть покажут мне, в чем и как в течение жизни моей он оправдал название моего протектора. Надобно было даже так случиться, чтоб и по делам моим все приговоры были им утверждены и пропущены к исполнению, несмотря на то, сколь они были для меня тяжки и предосудительны. Может быть, я не заслуживал его крепкой защиты, охотно соглашусь на то с христианским смирением, но пусть позволят мне по крайней мере не вспоминать о нем, как о человеке, которого благодеянии заставляют уважать и чтить. Нет, благодарность моя ему не принадлежит, и потому смерть его не произвела во мне никакого горестного впечатления. Более говорить о нем здесь было бы уж некстати. Замолчим, ибо он умер.

Займемся на минуту другим вельможей, а именно князем Юрием Владимировичем. Он имел сына, который, промотавши в карты кучу де-

нег и не заплатя их, скончался, будучи генерал-майором, на лучшем поприще жизни и знаменитости по службе. Старик отказался платить его долги, подкрепляясь законом, который не велит верить векселям сына неотдельного. Обвинение или оправдание сего поступка не принадлежит к моей Истории, но вот чего я в ней умолчать не могу по связи моей с домом и семейством князя. Из числа кредиторов сына его одна какая-то женщина[10] нашла случай просить государя, чтоб он приказал князю заплатить ей двадцать восемь тысяч, занятых сыном его. За просительницу вступился крепко Аракчеев, первый фаворит царский. Государь написал рескрипт к князю довольно щекотливый, в котором, соглашаясь на то, что законы не дают права сей барыне искать своей претензии судным порядком, обращается он к его совести и почти требует, чтоб он сию сумму ей выплатил. И цель рескрипта, и слог его огорчили старика. Он должен был ответствовать и, рассчитывая, что никто из приближенных к нему не выразит так хорошо его чувства, как я, потому что я был сам огорчен с стороны монарха, поручил мне написать его ответ. Я не мог отказать такой услуги князю, хотя я отгадывал, что в употреблении моего пера, а не другого действовала не столько доверенность личная ко мне, как хитрость, о которой упомянул выше, однако решился тот ответ сочинить, несмотря на последствия, какие бы оно могло иметь, если б рассудил государь, узнав, что князь Юрий Владимирович сам сочинить письма не может, доискаться, кто его написал. Где требуется искреннее одолжение, там я бываю довольно отважен, а здесь, признаюсь как человек в моей слабости, собственное чувство негодования меня влекло исполнить волю княжую. В осторожность свою, однако же, я от него взял его руки черную записку тех идей, которые должны были составить основу письма, и по воле князя написал ответ слогом кратким, сильным и довольно смелым. Письмо пошло к своему назначению. Оно понравилось и князю, и дочери его, с которой я предварительно советовался, не желая возбуждать огорченного отца подписать лист бумаги, который мог и для него родить неприятности. Я столько же дорожил доверенностию его, как и сам собой. Писавши от себя, я властен был в выборе выражений, но писавши от другого, я не хотел, чтоб слепо поверялись мне выгоды и опасности чужие. Княгиня мой перечень опробовала. Князь подписал и послал. Никто бы не узнал, что я был сочинитель ответа, но старики не скромны. Князь сам после, в намерении привлечь похвалы моему перу, забыв, что они могли быть дорого заплачены мной, всем об этом рассказывал на ухо, и оно сделалось публичным секретом. По счастью, письмо

ничего не произвело. Несколько времени прошло, и казалось, что государь отступился от его претензии, но впоследствии история тем кончилась, что государь велел настоятельно князю внушить, чтоб он помянутые деньги заплатил, и он, как ни отстаивал свои деньги, принужден был всю сумму отдать. После чего, дабы старика успокоить насчет прочих сына его долгов, которые могли тем же путем сделаться гласны, выпущен указ, и в нем сказано, что по заплате означенных двадцати восьми тысяч не принимать уже никаких просьб на покойного сына князя Юрия Владимировича и по остальным его претензиям не вчинать нигде никакого дела[11]. Пусть теперь судит, кто хочет, о правосудии российского государства. Не мое дело входить в рассуждение о таком наглом поступке и доказывать, сколько он удален от всякого естественного и гражданского права, довольно заключить повесть о сем случае тем, что я очень был рад, что моя рука и перо не нанесли самому мне новых туч, которые могли сильнее прочих снова разразиться над моею головою. Но что мне было делать? Услуга моя нужна была благодетелю, и я вменил себе в обязанность исполнить его волю.

Между всех сих дел, странствий и забот я урывками занимался любимым моим упражнением и писал иногда стихи. Но и сие не всегда с рук мне благополучно сходило. Воображение мое долго поражено было 19-м числом мая и явлением моим в Сенате. Скоро потом написал я стихи под названием «Невинность». Будучи почетным членом Общества российской словесности в Москве и убеждаем неоднократно президентом оного г. Антонским доставить что-нибудь от себя для публичного чтения в собрании, я ему отдал означенную пиесу, и он, ее пересмотрев дома, требовал от меня некоторых поправок. Я сколько мог, не искажая вовсе моего сочинения, удовлетворял его замечаниям, и после нескольких между нами переговоров наконец стихи в приуготовительном их комитете удостоены чтения и в летнем публичном собрании прекраснейшим образом произнесены г. Кокошкиным, действительным членом Общества и лучшим чтецом в городе[12]. Публика на тот раз была многолюдна. Все слушали Кокошкина со вниманием, и стихи мои вообще понравились всему собранию. Я сам тут был с моим семейством. Сила чувств и выражений привлекли мне множество похвал, но антагонисты мои крепко сердились на Антонского, что он позволил читать публично столь, по мнению их, дерзостную пиесу. Один из них, по имени г. Сандунов, профессор Университета и член действительный того же общества, толковал некоторые места моего сочинения во вред г. Дмитриеву, который не был

уже тогда министром и тут же находился в толпе нашей братьи отставных обывателей Москвы. Дмитриев пасмурным лицом вслушивался в каждое слово и глотал с сардонической улыбкой то, что отгадывал принадлежащим собственно себе. Лицо его не представляло ничего мне благоприятного. Сандунов тут же, во время собрания, оставил записку на столе, в которой он отказывался быть более членом такого общества, где позволяется подобная дерзость и богохульство. Как сметь, в самом деле, и иносказательно укорить бывшего вельможу в худом поступке! Это верх злодеяния в государстве русском. Сандунов с тех пор не только перестал присутствовать в заседании членов общества, но даже перестал и партикулярно в оном казаться. Дмитриев с очевидным смущением оставил залу собрания и уехал. Довольно было сих явных признаков неудовольствия, чтоб озаботить и Антонского, на которого вдруг напала робость, и он, желая поправить свой поступок, как искусный политик рассудил моих стихов не выпускать в печать в книгах, издаваемых под названием «Труды общества», в которых обыкновенно печаталось все то, что в дни собрания читалось публично. Мне в мою очередь не могло быть такое раболепство приятно. Между тем многие желали стихи прочесть и дома сами с собою. Чем больше некоторые нападали на них, тем сильнее становилось желание видеть их в печати. В городе о стихах носилась молва, всякий судил по-своему и всякий, однако, желал достать. Я отдал ее от себя в печать в университетскую книжную лавку, но там не приняли по причине весьма правильной. Типография не имела права печатать тех сочинений, кои читались в этом обществе, иначе, как в книжках, от него издаваемых. Я, будучи всегда смел в тех предприятиях, в которых, по убеждению собственной своей совести, не вижу ничего худого, решился отправить «Невинность» в Петербург. Там сын мой представил экземпляр ценсору, он одобрен и у Плавильщикова напечатан без всякого выпуска и поправок[13]. Печатные листы дошли скоро в Москву, где их мигом перепечатал книгопродавец Ширяев в свою пользу, и началась им свободная и сильная продажа. Устыдился этого г. Антонский, убоявшийся страха, идеже не бе страх, тем более, что всему обществу такая постыдная угодливость частному лицу, к обиде неповинного автора, не приносила ни малейшей чести, и в следующей книжке «Трудов» я увидел уже «Невинность» напечатану от общества[14]. Охотно простил я ему тогда же, что, вызвавши меня сам прислать для чтения мое произведение, удостоив его, так худо поступил против меня. Сами ученые гг. члены общества признавались мне после в их неосторожности, и сожаление

искреннее их не оставило во мне никакого неприятного впечатления. По времени забыл я и стихи, и все, что с ними происходило. Жаль, однако, что могут в храме Аполлона происходить такие мелкие интриги, уничижающие дарования и характер ученого сословия, на которого, кажется, кроме хорошего вкуса, никакие побочные отношения мира не должны были бы действовать при отправлении их дела. Но где есть деспот на троне, там во всяком углу государства пахнет рабством.

Как бы в отраду мне за сей неприятный эпизод в моей Истории Университет соизволил произвести сыновей моих Дмитрия и Михайлу в студенты. Первый получил сей чин академический вследствие экзамена, который он держал по окончании годичного курса в Университете на праве свободного слушателя, а меньшой, будучи записан полупансионером в благородном училище при Университете, также по окончании годовых экзаменов произведен в студенты пансиона и оставлен в Москве с престарелой нашей мамушкой госпожою Варч, а мы все отправились, и Дмитрий присоединился к нашей компании, в деревню, в которую насилу, насилу мы успели собраться, освободясь от московских хлопот, в половине августа.

Мы выехали 13-го числа из Москвы в Никольское, а 14-го прибыл в нее государь. Такой наш отъезд накануне его прибытия казался подозрителен, могли действительно подумать, что мне под рукой запрещено жить там, где находится двор, но как я уже не принадлежал ни к какому месту по службе и не мог наряду со всеми являться на поклон его величеству, то мне приличнее было удаляться от солнца и прятаться в тени, нежели сожженному быть его лучами, из которого, конечно, не могло падать на меня ни одного благоприятного. Итак, я расставался с Москвой в то время, когда отвсюду стекались в ее ограды сыны ее с приветствиями и похвалами победоносному примирителю Европы. В самом деле, столица встречала царя своего в первый раз после всех своих бедствий, как гения благодатного, как ангела утешителя, летящего исцелить раны ее. Все с восторгом кидались к стопам его, и, по наружным движениям каждого судя, можно было подумать, что Александр был то же для России, что Тит был для Рима. Так-то трудно бывает проникнуть во глубину человеческого сердца.

Упомяну здесь мимоходом о кончине сенатора Ивана Владимировича Лопухина[15]. Он давно уже без дела жил в своей Орловской деревне, не быв, однако, в отставке. Там он женился на какой-то издавна преданной ему рабыне своей и, предавшись слабости человеческой под конец жиз-

ни, умер не с похвалами. Многие почитали его мартинистом, иные лицемером. Я слишком мало его знал, чтоб приставать к общему о нем рассуждению, но сколько довелось мне в жизни моей иметь с ним дело и по службе, и по другим отношениям, я не запнусь назвать его истинным себе благодетелем. По Истории моей видно, что он также имел и силу, и случай сделаться мне вредным, если б душа его питалась ненавистными чувствами, напротив, он оказывал мне услуги, коих я без неблагодарности забыть не должен во всю жизнь мою, и искренно сожалеть буду, что он кончил дни свои в глуши мрачной, без приятных воспоминаний своих современников и с некоторым поношением имени своего. Я с истинным душевным прискорбием узнал о его смерти и пожелал ему вечных благ в царстве небесном, в котором иногда все обвинении земли очищаются одною чистою каплею слез, принесенною Богу в жертву сокрушенным раскаянием. Да будет с ним тако!

Пробывши несколько дней в Никольском, мы отправились в Александрово и прибыли туда 25 августа. Тут принялся я за прежние мои занятия, читал и писал много всячины, забавлялся опять изредка полевою охотою. Молодые мои Кашинцевы приезжали к нам часто делить осенние вечера. Племянник мой Смирнов, которого жена еще не очень была с моею и вообще со всем семейством нашим знакома, приехал к нам с нею и с сыном своим, затейливым и резвым ребенком, и с братом меньшим Петром. Они у нас погостили довольно долго, и в это время окончился раздел двух родных братьев с моим утверждением. Итак, нас было всегда много: то из Шуи к нам наезжали гости, то мы в Шую езжали и, останавливаясь в большом доме Кашинцевых, гащивали там дни по два, по три. Осень текла, не давая нам чувствовать ни малейшей скуки, днем я был занят своими трудами, а вечером мы всячески резвились и старались убивать время, всего более страшась скуки, сего неизлечимого припадка в деревне, когда природа уже мертвеет и лист валится.

В течение года, когда я имел досуг приняться за перо, то сочинял комедию под названием «Дурылом»[16], которая после много шуму наделала. Она нацелена была на одного Владимирского оригинала. Я ее написал в стихах и вывел на сцену человек трех, списанных с натуры, прочие же характеры были все вымышлены. К осени она поспела, мне хотелось ее видеть в действии, и мы ее разыграли в комнате у Кашинцева с изрядным успехом для деревенской труппы, которая составляется не из способностей, а из тех людей, которые встретятся. Зрителей никого у нас не было, мы играли про себя, дабы не пронеслась о ней молва прежде вре-

мени. Я не мог иметь даже удовольствия показать ее и княгине Куракиной, которая тогда была в отлучке, и мы беседой ее не пользовались.

Кроме сего забавного занятия я готовил третье издание моих сочинений, сличал первое с вторым, исправлял некоторые старые пиесы и собирал те из новых, которые могли выдержать ценсурную пробу. Все это надобно было соединить в одно целое, прибрать по материалам и переписать набело. Труда было довольно, но я никогда такими упражнениями не тяготился, они были в моем давнишнем и привычном вкусе. После французских проказ в Москве все библиотеки были разграблены и многих книг уже нельзя было найти ни в них, ни в лавках. Второму изданию моих сочинений истекло уже несколько лет, оно вышло в 1808 году. Можно было без укоризны в излишнем самолюбии приступить к третьему. Книгопродавец Ширяев, хороший мой приятель, охотно брался напечатать его в лучшем виде против Пономарева второй эдиции, которая имела большие недостатки, хотя из скромной учтивости тогда и была мною одобрена. В таких трудах время летит, и не увидишь его. Сын мой Дмитрий был мне хороший сотрудник в механизме моей работы, и мы с ним перемарали бумаги пропасть. Более всего дивился я терпению, с которым сочинил комедию свою, я никогда не писывал в этом роде, вздумалось ныне произвести что-нибудь получше оперы «Любовного волшебства», и богатство предмета доставило мне удобность выпустить в свет нечто довольно смешное. Упомянув здесь о времени рождения сего драматического детища, я по времени буду иметь случай еще говорить о нем, когда оно возмужает и ознакомится в большем свете.

Пребывание у нас семейства Смирновых доставило мне много и смешных, и печальных зрелищ. Я ничего не видывал забавнее раздела двух братьев между собою. Будучи очень дружны, они всякий день соглашались на разные проекты дележа и приходили ко мне испрашивать опробации. Жена старшего из них, желая иметь на разделе свое влияние, находила всегда случай быть с нами в оппозиции, и после многих прений, от которых бесплодно проходило время, проект не состаивался, братья расходились и принимались за новые идеи, которые той же участи опять подвергались. Все они были молоди, ветрены, всякий хотел играть первую ролю. Польшу не так трудно было, я думаю, размежевать на три доли некогда, как это ничтожное почти имение между двумя братьями, а между тем при всяком предполагаемом разделе тотчас употреблялась на переписку его гербовая бумага, выписывался из города с книгой подьячий, все казалось с концом. Начинался на Сейме общий разговор — и

раздел к чорту. Сызнова та же работа. Это продолжалось несколько дней, и я часто хохотал над проказами ума человеческого, когда он с чувствами и обстоятельствами в раздоре.

Однажды малолетный сын моего старшего племянника Николенька, игравши какими-то стеклянными бусами, до тех пор их мял в руках, что одна буса треснула, и дребезги стекла попали ему в глаз. Мать вскрикнула и упала в обморок. Жена моя, испугавшись, выдержала сильную истерику. Обе они требовали за собой попечений. Между тем ребенок кричал от нестерпимой боли, надобно было и ему помочь. Отец суетился и плакал, мы все бегали, кричали и не могли дать никакой помощи, не имея ни средств, ни разумения, как вытащить стекло из глаз у ребенка. Наконец, сама натура надоумила Петра Смирнова, который всех нас был равнодушнее. Он посадил ребенка на колени и стекло языком вылизал из глаза. Дитя успокоилось, мы помаленьку также, все пришло в порядок, и все друг над другом стали хохотать, но первая минута была не смешна. Такой не важный случай заставил меня, однако, сделать размышление весьма печальное, что мы, помещики, живущие по деревням, лишены всякого способа помочь друг другу в несчастном случае и часто от безделицы подвергаться можем большим бедствиям и неизлечимым болезням. Я часто обращался к тому же примечанию и много имел опытов, которые меня утвердили в той мысли, что от излишней осторожности, которой требует от нас деревенская жизнь, наполненная разных подобных страхов, теряются почти все драгоценные ее в природе наслаждения. В самом деле, посмотрим на жизнь нашу в деревнях. Мы лишены в них трех главнейших предметов душевного спокойствия. Во-первых, мы не имеем церквей, и по большей части должны ездить в отдаленные приходы, и там или в своих сельских храмах не всегда удовлетворяешь душевному чувству, потому что духота, теснота, вонь и неопрятность служителей церковных, недостаток их, худое чтение, пение еще того хуже, все это лишает нас удовольствия богослужения, которое сколько возносит душу в горний мир, когда оно отправляется по чину и с порядком, столько и соблазняет разум, когда оно не соответствует надлежащему своему достоинству. Во-вторых, у нас нет врачей. Что бы в теле ни случилось, не к кому прибегнуть, не с кем посоветоваться. Живучи в деревнях точно так же, как в городе, мы те же немощи свои туда с собой привозим, а облегчить их некому. Это большая невыгода, особенно если мы представим, что зуба никто не смыслит выдернуть, а он мучит и отнимает сон, кости свихнутой некому вправить, и страдальчество больно-

го продолжается ко вреду неисцелимому испорченного члена по нескольку недель, пока сыщется какой-нибудь отдаленный лекарь. Это ужасно! Громом ли ушибло? Никто не умеет помочь, и, не будучи безнадежен еще по натуре и силе удара в жизни, принужден человек умереть, потому что нет помощи искусства. Утонул ли? Нет спасения, хотя врач мог бы иногда его и доставить. Сколько подобных злоключений находят нас в деревнях наших! Это ужасно! В-третьих, мы лишены приятности переписки, сей пищи моральной, столь же необходимой в разлуке с ближними для души, как воздух и хлеб для тела. Что у нас за почты! Письма не доходят до назначения, теряются или вероломно распечатываются, на что бывали нередко примеры, и я сам, по несчастью, неоднократно их испытывал. Все сие сообразя, признаемся, что жизнь помещика в деревне есть по большей части горестное искушение. Везде ли так, не знаю, но думаю, что хуже нашего быть не может.

Говоря о многом худом в отечестве нашем, я всегда рад, когда могу молвить и о хорошем. Так, нынешней осенью испытал я прекраснейший поступок моих нижегородских добрых поселян. Они узнали, что я крайне стеснен казенным долгом в Воспитательном доме, и действительно, вся тягость его, казалось, обрушилась на мне тотчас по кончине матери моей, да на это была и причина. Матушка ежегодно плачивала одни только проценты с занятых ею сумм, что было ей и в силу, а когда приходили сроки капитальным уплатам, то благодетели наши и родственники Голицыны ссужали ее всею занятою суммою. Она ее вносила и снова под то же свидетельство в виде займа ее возвращала к себе и, отдав назад Голицыным, оставалась опять на три года обязана платить одни проценты. Таким изворотом в каждое трехлетие она помогала своим тесным обстоятельствам. По кончине ее мне пришлось ежегодно платить по каждому займу часть капитала, вносы становились уважительны, а я не имел тех способов, какими пользовалась матушка, следовательно, должен был занимать в партикулярных руках и удовлетворять казну. Год от году мне становилось это труднее, а в нынешнем я почти не знал, как и справиться. Племянник мой Смирной, будучи в связи с моими крестьянами по винокуренному заводу и ко мне очень привязан, внушил им о моих беспокойствах, и добрые поселяне без принуждения, без насилия, сами прислали мне старшин, кои поднесли мне до двух тысяч рублей не в счет оброка, а сверх оного. Таким образом я исправил свои дела и получил на несколько времени спокойствие, которого должен был лишиться без помощи моих крестьян. Как не похвалить такого прекрасного поступ-

ка! Как не быть благодарным за такое свободное и великодушное пожертвование, в котором я видел искренний опыт их усердия ко мне! Бывают пожертвования невольные, они, к несчастью, в наше время вошли в моду во всяком сословии, но здесь непринужденный был дар людей, готовых по любви их ко мне вспомоществовать моим недостаткам в уверенности, что я никаких выгод их не нарушу и что взял от них деньгами, то воздам им покровительством, защитой и добрым управлением. При такой взаимности услуг трудно поколебать извне благосостояние и владельца, и челядина. Хвала моим поселянам! Да благословит Бог все начинания их и вознаградит за сию принесенную мне от них лепту своими небесными щедротами.

Пока мы наслаждались в деревне тихим счастием уединения, о торжественном прибытии государя в Москву и его в оной пребывании газеты доставляли нам самые великолепные известия. Все письма наполнены были рассказами о каждом шаге царском в стенах возобновляемой столицы. Все ему нравилось, Москва, как старая кокетка, всеми средствами уловляла его чувства, победив его сердце, сделалась ему искренно любезной. Потекли из казны богатые источники золота и серебра на ее отделку и украшение, и государь, погостив в ней, уехал, дав верное царское слово прибыть опять в Москву по времени со всем двором на целый год, между тем прожектировал новый в Кремле дворец, надстроиваемый на царских теремах, в большом и отважном размере, также и экзерциргауз[17] необыкновенной величины и пропорции чудесной. Все это приказано, на все отпущены деньги. Оставалось Москве успехами своими приблизить минуту желанного свидания со всем императорским домом. В то же время, к удивлению публики, луч солнца озарил снова знаменитых изгнанников 1812 года. Сперанский и Магницкий взяты опять в службу, выведены в свет, и хотя не на высшие поставлены степени, не вдруг поднялись на ту высоту, с которой свержены были, однако из сего приметить можно было, что государь возвращает паки Сперанскому прежнюю свою милость и доверенность. На первый случай он определен в губернаторы в Пензу[18], а Магницкий в вице-губернаторы в Воронеж. Указ о сем нечаянно состоялся в Москве в самый Александров день. Странно было видеть Сперанского, который почти государством правил, под указом Сената и ордерами гг. министров начинающего нового рода для себя служени[е]. Непонятны были многие выражения именного указа и почти весь смысл его, но после такого крутого падения и то много было для сих двух лиц, что они введены опять в сословие государственных чиновни-

ков. Всякий о сем толковал по своим догадкам. Когда их не бывает? Для меня все это постороннее дело, о котором упомянув как о важном политическом происшествии у двора, ни в какое собственное свое рассуждение входить не имею ни причин, ни желания, держась старинной моей одной сентенции, помещенной в разговоре с старым сослуживцем о деревенской жизни:

Пусть все идет как шло,
Лишь только бы хором с подошвы не снесло;
А в прочем ни о чем старик мой не хлопочет,
Доволен — и с утра до вечера хохочет[19].

Хорошо бы так жить и нам, но не всегда бывает смешно и приятно ни у нас, ни около нас. Как быть? Покориться року!

Время делает свое дело; скучно или весело, оно летит, и осень нечувствительно прошла. Пора было оставлять деревню и возвращаться в Москву. Покидая Александрово, я всегда с сожалением расставался с добрым семейством Шульгина и с Шумиловой. Сия последняя приезживала к нам гостить из Володимира почти на все время нашего пребывания в деревне, а те очень часто делили с нами время и нас угощали у себя. По милости Кашинцевых, мы имели всегда покойный ночлег в их доме, когда приезжали в город. Разные резвости, маскарады между собою, фанты и прочее удаляли от нас скуку. Смирные с нами простились и поехали в Нижний, за ними начали собираться в путь и мы, но как в прошедшем годе боковые дороги нас напугали, то, несмотря на мое отвращение к Владимиру с тех пор, как выехал из него, или, лучше сказать, почти бежал, я принужден был ныне решиться чрез него возвращаться в Москву, дабы не потерпеть каких-либо путевых бедствий от худых дорог в настоящее время. Погода становилась дурна и холодна, дни самые короткие. Это было в половине октября. Отпраздновавши Сергиев день, сельский наш праздник[20], и употребя несколько дней на прощаньи с нашими здешними приятелями и соседями, мы поехали прямо через Ковров в Володимир с намерением там пробыть одни только сутки у Шумилова в доме и пролететь. Увидя издалека еще колокольни и здания города, сердце мое забилось, дух стеснился, вся картина прошедших моих истязаний представилась моему воображению, каждый случай неприятный оживился сильными красками в моей памяти, и я заплатил обильную дань слабости человеческой, проливши несколько горьких слез на судьбу свою и все ее перемены. Еще я не бывал в Володими-

ре, сколько людей я должен был нечаянно встретить таких, кои с торжеством обрадовались бы моему безвременью, ими произведенному. Какой я готовил им праздник! Так думал я, в карете сидя, и увеличивал тягость настоящего мечтами воображения. Все тому вышло противное. Горестные впечатления скоро уступили место приятнейшим ощущениям, слезы радости заменили те, которые исторгала прежде печаль. Справедлива латинская пословица: «Bonum non cognoscitur nisi omissum»*.

Прием сделан был мне в Володимире такой, какого я нимало не ожидал. Казалось, по наружности судя, что я привез с собой все радости в город. За исключением двух-трех лиц, коих я назвать могу явными себе врагами, не было человека ни в духовенстве, ни в гражданстве, который бы не приехал ко мне и не изъявил мне почтительнейших чувств приверженности. Все мне давали пиры, всюду меня звали или съезжались с утра до вечера ко мне, и вместо суток одних я прожил в городе целые три дни. Такое неожиданное обращение со мной жителей владимирских меня совершенно примирило с городом, и я снова почувствовал к нему самое благоприятное расположение. Губернатор тогдашний, тот самый, который меня сменил, г. Супонев, несмотря на посторонние причины быть против меня в досаде за опеку родных его Кашинцевых, принял меня наилучшим образом, и я должен ему отдать справедливую похвалу за то, что он без малейшей зависти глядел на восторг, с которым меня жители города встретили, напротив, он всячески способствовал изъявлению оного собственным своим со мной обхождением, и я с своей стороны сохранил все должные к особе его и званию отношения. Я упредил его моим визитом. Не скажу, чтоб я с философическим равнодушием, посетя его, увидел себя странником в тех самых покоях, где прежде все относилось ко мне, где я столько напоминал себе минут и приятных, и тяжких. Признаюсь, что мне первое с ним свидание было неловко, но визит мой был короток, и я не имел случая повторять его, а жены наши ознакомились в чужом доме и не имели времени сблизиться между собою.

Вообще г. Супонев был человек очень хороший по нынешнему светскому разумению, то есть любил играть в карты и охотник был до круговой чаши, а с сими двумя свойствами где не наживешь приятелей, хотя для виду. Он был ласков со всеми по нынешней моде, то есть сулил много, делал мало, выражал чувства свои всегда с такою силою, что можно было счесть его другом своим каждому, но сердце его не всегда в согла-

---

* См. примеч. на с. 312.

сии было с языком. Однако, добр и кроток, он не сделал никому зла и не хотел его сделать. Сравнивая его со мной, ежели жители давали мне перед ним некоторое преимущество в том, что я более его знал гражданское дело и прилежнее им занимался, то, с другой стороны, я много терял по разности наших вкусов в обращении с чиновниками. Он с ними был не так строг и взыскателен, частые пирухи молодецкие и свободная картежная игра приблизили к нему множество молодежи, которая в мое время приучена была к некоторым приличиям, всегда для молодого возраста столь тягостным. Зато старики, как я заметил, более меня уважали, нежели его. Все сии оттенки не отнимают, однако, его достоинств, губерния должна была быть им довольна за снисходительный и кроткий нрав его, о котором я сужу, впрочем, по одной наслышке и весьма поверхностно, потому что сам не имел случая свести с ним иного знакомства, как так называемое по-русски, шапочное. Жена его была дама отменно уважаемая всем городом и добродетельнейших качеств, семейство и хозяйство составляли главные и почти единственные ее занятия.

Поставя ногу на сию землю, я не оставил прежде всего посетить гимназию, тот дом, в котором лишился превосходной подруги своей, и с удовольствием видел, что монумент, в честь ее поставленный по повелению Московского университета на самом том месте, где она скончалась, сохранился в целости и был прилично сберегаем. С каким же, напротив, прискорбием заметил я, что цель моя при втором издании моих сочинений не соблюдена и что библиотека, которую я надеялся гимназии доставить ценою того издания, состояла вместо книг из одних учебных грамматик, азбук, прописей и тому подобных безделок, которые, хотя очень нужны для школ, но не составляют еще того собрания, какое мы называем библиотекой. Что делать с злоупотреблением? Оно везде вкрадется, и я принужден был после взять другие меры к достижению моего предмета. Отслушав в этом доме вместе с детьми моими молитвословие по умерших в память Евгеньи, я с сокрушенным чувством вспомнил все доблественные качества души ее, ума и сердца.

Посетив всех первых чиновников города, поблагодаря всех и каждого за их память, ласку и хороший прием, я после трехдневного тут пребывания в доме добрых Шумиловых отправился в Москву на зимнее житье. Многие меня провожали за город, все со мной дружелюбно прощались. Дворяне, купцы, духовные (кроме архиерея), все получили право на искреннюю мою благодарность, и я, потеряв губернию как начальник ее, ясно видел, что приобрел ее к себе уважение более тогда, когда, лишась

меня, могли они дать мне лучшую оценку, нежели в то время, как я, управляя тамошним народом, принужден был иногда многим быть в тягость не по характеру, но по обязанностям службы. Повторим еще раз пословицу: «Bonum non cognoscitur nisi omissum»*, ею приветствовал меня старый мой товарищ по школе и сотрудник здешний по службе г. Бенедиктов, который всякую минуту дня проводил тогда со мною и оказал мне самую лестную приверженность. Сколько мне был полезен самому сей проезд через Володимир! Я многих имел случай узнать в настоящем виде. Не было причин ни льстить мне, ни трусить, малейшая ласка была искренна, всякое похвальное и доброе слово текло от сердца, потому что не из чего было уже для меня их расточать. Своекорыстие, сей общий побудитель нашей совести, исчезло, от меня никто не мог ожидать ни добра, ни зла, а потому я не мог быть нечувствителен к доброхотству всех граждан города вообще и еще теснее связался узами приязни с теми из них, которые ни в какое время не изменяли добрым их поступкам против меня. В числе их с каким живым удовольствием я виделся вновь с духовником моим, с старым моим командиром несчастным Побединским, который в утеснении приближался ко гробу, и со многими другими, коим, к особенному счастию моему, приходилось мне после сего опыта составить нарочитый список. Воздадим хвалу Богу, не до конца нас наказавшему, и ежели до сих пор еще проносится имя мое во зло в устах людей, мне недоброжелательствующих, то простим от души сие заблуждение, свойственное человечеству. Кто прожил без греха, и кто не был осужден людьми неповинно?

Мы возвратились в Москву 24 октября. Без нас сломан был театр и прибран, на место его отделаны людям покои и наполнилось своими жителями, для которых строение сие и было предназначено. Итак, я уже не подвергался новым критикам и пересудам и решился провести зиму как можно скромнее. Само небо неприятным образом сему споспешествовало. Старик наш князь Юрий Владимирович, отпраздновав свои годовые праздники, дни рожденья и именин[21], в начале ноября занемог и слег в постелю. В его лета была бы страшна и безделка, а ныне, казалось, он уже не встанет. У него сделалась лихорадка, которой пароксизмы еженедельно по одному разу приходили, но сопровождаемые всегда сильным обмороком, после которого он лишался чувств, памяти и языка и в этом положении лежал во весь пароксизм. Испариной разрешался припадок,

* См. примеч. на с. 312.

и он потом возвращал все свои чувства, собираясь с новыми силами, чтоб через восемь дней выдержать опять такой же приступ. Лечил его доктор Шмиц, и призывался иногда на совещании г. Рихтер. Оба они находили его очень опасным, сам больной не надеялся возвратиться к жизни и в течение болезни своей два раза готовился к смерти, сообщаясь христианских таинств. Всю зиму он находился в отчаянном состоянии между жизни и смерти, всякий срок лихорадочного обморока был новым предвестником его кончины, но крепкая его натура сильно противилась последнему роковому удару, и он чудесным образом уклонился от него еще на несколько лет. Поистине нельзя не признать выздоровления его чудесным после того, чему я был свидетель. С начала его болезни и до благонадежного облегчения от оной я беспрестанно был при нем, с утра очень рано приезжал к нему и, просидевши там весь день, заезжал на часок взглянуть на домашних и опять к вечеру возвращался к больному, у которого нередко просиживал до двух и трех часов ночи. Княгиня, дочь его, и домашние все всю зиму не выходили из спальни его и ночевали в ней на софах и креслах кое-как. При всем его отвращении допускать к себе посторонних людей, когда он бывал болен, мне и Пушкину никогда не затворялись двери, и мы тут беспрестанно находились. Он так привык к нашим лицам, что негодовал, когда мы замедляли к нему являться, ибо он, кроме дней пароксизма, имел при себе всю свою память, и рассудок его так был свеж, что он даже занимался домашними своими делами, отправлял сам по деревням свои приказы, диктовал их, подписывал и ни на одну минуту не сдавал никому вожжей домашнего правления. Болезнь делала его упрямым, и никто не смел ему противоречить даже и тогда, как он очевидно истощал по-пустому последние силы своего понятия. Надобно было ему очень осторожно сноравливать. Наступил день кризиса, и мы думали все, что был последний день его жизни. Вдруг сделался ему лихорадочный озноб, сильный обморок, беспамятство, и он уже не мог произнести ни одной буквы, все казалось конченным. Доктор сам уже не предвидел никакой надежды, и как последнее средство дали ему принять лекарство весьма знаменитое и сильное по имени Gouttes de St. Marrie*, но при всем том успех их так был медлителен, что ожидать и от них ничего хорошего не оставалось. С лишком полсуток пробыл он в таком положении. Я сидел у его кровати в головах и поминутно смотрел на него, чтоб видеть все перемены наружные. Уж он не мог раскрыть

* Капли святой Марии (фр.).

глаз, появились во всем теле конвульции, лицо почти выворотилось во всех чертах, и кожа принимала вид земли. Одно дыхание еще было признаком жизни, как вдруг после сильных сотрясений зениц он открыл глаза и произнес очень явственно сии слова: «Кажется, что я отоспался, и все пришло в свой порядок». Мы были как громом поражены сим возглашением. Тотчас он вспомнил, что до пароксизма еще просил кофию, которого не успели подать ему, выпил чашку, потребовал шоколаду, выпил и его, и доктор, приехавший принять последний вздох его, отступил шага три назад от кровати, когда увидел, что больной, не лежа, а сидя на ней, шутил с нами и, окружен всеми домашними, сам смачивал себе табак по своей привычке. Как не назвать чудом такого исцеления? Не забудьте, что ему было без мала восемьдесят лет! С тех пор ему стало становиться день от дня лучше, и хотя он до весны почти пролежал в большой слабости, но после сей болезни получил как бы новую жизнь и еще до дня, в который я пишу, здравствует благополучно, всюду ездит, всем наслаждается и даже путешествует по деревням своим[22]. Кто бы мог подумать, что человек, так много живший и так рано начавший жить по своей воле, как он, будучи притом неоднократно ранен в боях, выдержит и одолеет такую сильную болезнь? Не отнимая славы у доктора, который с большим искусством прилежал его болезни, припишем выздоровление его, которое я почти осмелюсь назвать воскресением, припишем его всесильному Богу и чудесному заступлению чудотворца Николая, которого икону он из подмосковной своей потребовал, поставил против себя и часто втай с усердием ей молился. Пусть меня назовут суевером, я нимало не запнусь исповедать сие чудо Божие и никогда не забуду того знаменитого дня, в который воздвигнул его Господь с одра смерти и живым поставил в глазах наших.

Приведя себе эту эпоху на память, я не могу умолчать о том, что князь готовился к смерти с чрезвычайным великодушием. Кроме многих его разговоров, из которых мы могли это заметить, в самое сильное доказательство его хладнокровия скажу то, что он приказал в одну ночь заделать лестницу потаенную вниз из своих комнат под предлогом тем, чтоб удобнее можно было внести для княгини постельную софу в его спальню, а между тем говорил слуге: «Вели поскорей это сделать, а то нельзя будет вынести завтра тело из комнаты». Что могло быть сильнее в стоическом расположении духа? Во всю болезнь он сохранил самый твердый характер, и, к сожалению, один только раз, когда у него внезапно пошла кровь носом, он впал в малодушие, оробел и посылал ежеми-

нутно за доктором, говоря: «Он меня уже не застанет». Вот один только раз, в который можно было вспомнить этот славный стих:

Le masque tombe, l'homme reste et le heros s'evanouit*.

В прочем сохранил непреоборимое присутствие духа, сделал завещание, в котором не забыл и сына моего, изволил назначить ему пятнадцать тысяч и ждал смерти не мигая, как воин пушечное ядро. Я мог бы собрать здесь множество анекдотов, образующих его нравственность и коим был очевидный свидетель, но я занимаюсь своей, а не его биографией, следовательно, они в листах сих места иметь не могут; добавлю только ко всему вышесказанному, что весь город принял участие в его болезни, беспрестанно приезжали и присылали из всех лучших домов наведываться об нем, родные его и соплеменные ежедневно навещали, и он с радостию замечал непритворные знаки уважения, оказываемые публикой к его летам и заслугам.

Расскажу при сем об одном случае, который по странности своей заслуживает быть здесь помещенным. В прошедшем годе князю полюбился мой театр, он вздумал у себя поставить такой же. У него вздумать и сделать было одно и то же, рече и быша. В одну зиму сострoил в манеже пребольшой театр на пятьсот человек зрителей, и по просьбе г. Кокошкина с обществом охотников благородных, отдан им театр, на котором для обновления его положено было сыграть «Танкреда» по-русски. Роли разобраны, выучены, между тем хозяин слег и умирает. Трагедия остановилась. Он узнал о том, рассердился, требовал настоятельно, чтоб играли, и при первом дне его выздоровления «Танкред» состоялся. Еще около его постели горели лампы и впускался томный луч огня в его комнату, еще мы, сидя около его, забавляли разными шутками, и в то же время, на том же дворе, только в другом конце, гремел оркестр, трагики восклицали, и огромная публика била в ладоши. Я урывками видел несколько сцен и более трагедии любовался, примечая такую смесь необыкновенную разнородных зрелищ в одном и том же доме: рядом почти с смертным одром хозяина мимическое представление! Как не сказать после этого, что вся наша жизнь настоящая комедия!

Так-то провел я почти всю зиму, а домашние мои были лишены всякого удовольствия, потому что приличие не позволяло им выезжать на

* Спадает маска, остается человек, меркнет герой (фр.).

публичные балы и нарядные вечеринки. Исключая двух-трех раз у Апраксина, они почти нигде не видали людей и сидели все дома. К счастию, прибыло домашних, и княгиня Урусова, приехавши с дочерьми протранжирить зиму в Москве, у нас в доме остановилась.

По мере выздоровления княжого, начинал и он желать забав для рассеяния своих мыслей, и, в угодность ему, я с избранной своей круговенькой дал ему в его комнатах представление своего «Дурылома», которое ему очень полюбилось. Зрителями были одни его домашние, актерами — мои, однако пронеслась молва о моем «Дурыломе», и он пошел в славу. Вслед за сим князь рассудил нам дать, то есть приближенным своим, большой роскошный по заказу обед. Стряпал его знаменитый ресторатор Пакар, село нас за стол только двенадцать человек. Князь сам кушал и называл банкет свой «пир благодарности». Вины, устерсы и все, что было редкого в городе, предложено было вкусу. От пиршества такого можно бы и здоровым приближиться ко гробу, не только исцелевшему Лазарю, но, слава Богу, сошло с рук и хозяину, и гостям без хлопот.

В последних неделях года в собственном доме моем сделался больной, к которому обратились все наши попечения. Сын мой меньшой Рафаил занемог жабою, и столь опасной, что угрожаем был несколько дней антоновым огнем в горле. Его лечил Шмиц, прославившийся в Москве исцелением князя Юрия Владимировича, раза по три в день его навещал, приложил все свое знание и, наконец, вырвал его, так сказать, из челюстей смерти. Я был очень напуган сим случаем и с слезами глубокого умиления возблагодарил Бога, возвратившего к жизни юнейшую отрасль моего семейства. Мальчик был понятный в науках и с большими успехами обучался в Пансионе, читывал на публичных актах речи, разговоры и чрез то сделался известен всему лучшему обществу города.

Между тем как я оканчивал год в самых неприятных недосугах, то около сына моего, то у постели князя Юрия Владимировича, бедная жена моя имела свои ближайшие беспокойства. Сын ее меньшой Филипп проказами своими выводил ее из терпения, она не могла с ним сладить. Он служил унтер-офицером в пехотном полку, стоящем в Москве, коего начальники, по одному только вниманию к нам, щадили и не подвергали выключке самой постыдной за самое худое и распутное его поведение. Одною только надеждой утешалась мать, что авось либо он когда-нибудь перебесится и вознаградит ее слезы хорошими поступками со временем.

Сею зимою было так много скоропостижных смертей в городе, что при всякой болезни кого-либо, милого сердцу, находил тотчас страх не-

пременно его лишиться. Между прочими умер мгновенно на креслах у камина за книжкой славный генерал Докторов[23]. Он был уволен от службы, приехал на житье в Москву, я с ним встретился в аглинском клобе, с восхищением увидел старого моего сотоварища на всех петербургских балах и думал: «Вот еще приятный знакомец, стану к нему ездить, напоминать вообще с ним красные дни лета нашей жизни», — и сбирался наслаждаться сим удовольствием, как вдруг Докторов уже не существует, и одна минута без болезни перенесла его в чертог небесный. О, чудная жизнь человеческая! Кто знает, где тебе начало, где конец! Сим кратким размышлением вступим в новый год, не зная, не последний ли он для нас самих. Но пока живем, станем заниматься, без занятия жизнь еще несноснее, ибо переводить только дыхание не значит жить.

1817

В нынешнем годе я располагался исполнить данное мною слово сестре меньшой и зятю и съездить к ним в Малороссию. Поход для меня трудный, изнурительный для кармана, но благодарность требовала от меня сей жертвы, и я помаленьку старался расположить свои обстоятельства так, чтоб предприятие мое не встретило особенных затруднений, рассчитывал, что по недостаткам моим, кои год от году должны были становиться уважительнее и теснее, чем ранее я соберусь побывать там, тем легче найду средства совершить свое путешествие, а долги благодарности суть долги священные. Я решился, и Бог благословением своим увенчал предприятие сие успехом, но до сего еще есть о чем поговорить с читателем.

Как ни скромно прочли мы «Дурылома» своего в комнате больного князя, однако же многие о нем узнали и захотели его прочесть. Он не мог прежде сделаться известным, как по напечатании, а третье мое издание еще работалось, и не скоро я ожидал его появления. В семье своей собственной самолюбивый червь побуждал меня ознакомить публику скорее с сим произведением и узнать мнение ученых людей насчет сочинения такого рода, в каком я не писывал доныне. Отдать на театр я ее не соглашался, дабы не навлечь себе неприятностей в ценсуре, которая, особенно в Москве, была ко мне неблагосклонна, а сверх того надобно было и от министра полиции требовать позволения на выпуск ее. Какие хлопоты! Чтоб избегнуть всех их, я решился ее дать в своем доме. Театр мой

уже не существовал, но так как комедия представляется в комнате, нет ни декораций особенных, ни одеяний отличных, то я избрал новое средство ее представить без театральных обольщений. Мы собрались своей круговенькой и, выуча ее наизусть, читали свои роли с театральной игрой точно так, как бывают беседы словесности. В конце залы поставлен был стол, за которым мы все сидели. Половина залы была отгорожена веревкой, там помещались зрители. Каждый из нас, когда приходил его черед выступить на сцену, вставал из-за стола, шел вперед и там, как будто вышедши из-за кулис, играл свою ролю. Это не был спектакль в обыкновенном его виде, но имел все его выгоды. Пиеса услышана всеми очень хорошо и явственно. Я пригласил человек до осьмидесяти зрителей, в том числе ни одного не пропустил профессора, ученого и рифмача, все пожаловали, съехались. Лучшие места для слуха отведены были им, и комедия моя, как ни уродлива в своем составе, полюбилась всем. Смеху было много над моим Дурыломом и над подобными ему в натуре, от которых и я не спасся, ибо между зрителями моими попались иные, но кто же сам себя распознает в комическом лице? Всякий смеялся чужому дурачеству, не примечая, что он точно тем же болен сам. Таким образом появилось мое новорожденное дитя в мире, да и в какой же день? В самый тот, в который в Москве выбор был дворянства в разные места и в благородном собраньи в старшины, а у меня в тот вечер на этом представлении были все те особы, которые удостоились попасть один в губернские предводители, другой в старшины, и все на них с улыбкой озирались. Казалось, право, что они Дурыломы такие же, как мой, только в другой пиесе, а не в этой. И подлинно, все наши выборы не похожи ли на некоторые явления той сатиры? Сыграв ее, я желал наипаче узнать образ суждения о ней гг. ученых наших, прислушивался к их оценке и, не требуя совершенства в моей комедии, рад был, что находили в ней истинную комическую соль. Чего же больше для меня? Я хотел смешить, смешил и был доволен. Оригинал мой списан весьма сходно с живой натуры. Он никому не известен в Москве, житель провинциальный, но как я увидел, что много нашлось на него похожих в обоих столицах, что начали в шутку публично иных называть Дурыломами по сходству характера и вкуса с моим героем, то я, дабы остеречься от укоризны, будто бы метил, писавши комедию, и на такое лицо, которое совсем у меня в голове не было, еще более решился не выпускать ее на публичный театр, итак, она в свое время только напечаталась в собрании моих сочинений с дозволения, однако, министерства полиции, без которого никакое драма-

тическое творение выйти в публику не может, а играть ее не рассудили ни в Москве, ни в Петербурге. Может быть, со временем, подобно «Любовному волшебству», ее разыграют где ни на есть в провинции, и хорошо бы начать с Володимира, на родине или постоянном гнезде самого Дурылома, где сличить портрет с оригиналом можно было бы ближе. После сего пышного чтения ее у меня в доме многие пожелали ее иметь у себя, и мой экземпляр весь истерся, ходя по рукам. Надобно было его вторым изданием переписывать. Я ездил дома в три, в четыре читать ее сам. Г. Кокошкин несколько недель занимался таким же чтением ее в домах своих знакомых, он участвовал в представлении ее у меня, которое я назвал «Lecture en action»*, и прекрасно выразил ролю свою. Он, можно сказать, своим беспримерным чтением дал душу стихам моим, да и все сотоварищи наши удачно играли свои характеры. Я сам читал роль Лестигона, шутливого моралиста, обе дочери мои также с искусством прочли свои роли. Надобно похвалить и госпожу Кашинцеву. Она мастерски сыграла Сусекину; Алексей, пасынок мой, Дурылома представил в точном сходстве с подлинником, а Апухтин совершенным немцем явился в роли редутного эконома. Самое удачное было зрелище и, если б она была представлена даже на театре с кулисами, не думаю, чтоб могла увеличить свое достоинство поддельными очарованиями сцены.

Среди сих приятных сует при начале года застал нас сын мой князь Павел. Он отпущен был на два месяца и приехал со мною повидаться. Я чрезвычайно обрадовался гостю, не зная, что он как нарочно приезжал в родительский дом видеть печальное зрелище, точно его одного ожидавшее: проститься навсегда с доброй своей старушкой Анной Федоровной Варч.

Из всех детей моих, которых она приняла от утробы матерней и попечениями своими возрастила, никто не был ей так мил, как первородный сын мой Павел. Она в нем, как говорится, души не знала и, чувствуя себя по летам, а ей было около осьмидесяти лет, в крайней уже слабости, ничего так не желала, как его приезда, чтоб еще раз с ним увидеться, проститься и при нем испустить дух. Бог расположил обстоятельства по ее желанию. Еще до зимы она начала хворать, и обнаружились у ней завалы с началом водяной. Сколько ни помогали ей наши доктора, видно было, что она приближается к концу, да и лета не позволяли простирать далеко надежды на ее здоровье. Странно было, что эта женщина, проведя всю жизнь свою в крайней умеренности и очень регуляр-

* Чтение в действии (фр.).

но, могла подвергнуться столь важной болезни. Я всегда думал, что она, не хворая, уснет, как младенец, без страдальчества недужного, ибо всегда была в трудах, во бдении и вела жизнь единообразную уже с лишком тридцать лет. Все это время прожила она в нашем доме, и мы воздержанию ее были свидетели. С терпением и мужеством переносила она тяжкий свой недуг и до истощения последних сил бродила, стряпала сама, даже за несколько дней до конца жизни перестилала постель свою и не хотела, чтоб кто-либо облегчил труды ее. Ничего не проронила в должности своей, не требовала ни малейшего снисхождения и с энтузиазмом готовилась к смерти. В течение болезни своей неоднократно приглашала пастора и сообщалась святых таинств, беспрестанно молилась, Библия из рук ее не выходила. Более всего нарушало ее спокойствие то, что она долго не могла дождаться Павла и боялась умереть, не взглянувши на него. С каким восторгом она приняла его в свои объятия! По приезде много беседуя с ним каждый день, она давала ему полезные наставления, а паче всего толковала с ним о сокровищах веры. За несколько дней стала она приметно слабеть, не могла уже ходить много и действовать, все почти лежала, однако до последней минуты не теряла памяти и чувств, с молитвою издыхала и 18 марта, немолчно произнеся имя Божие, тихой смертью преставилась в истинном духе веры и благочестии.

При всяком воспоминании о сей превосходной женщине — пусть простят мне, что я так назову ее по приверженности ее горячей к Богу, хотя она была и лютеранка, но не к подобным ли христианам относятся слова Божие, когда он говорит, что от восток и запад многие придут и возлягут со Авраамом во царствии небесном? — при всяком, говорю, воспоминании о сей добродетельнейшей женщине я не могу душевно не восскорбеть печалию, что жизнь ее имела обыкновенный предел человечества. Сколько тунеядцев и злодеев живут и за пределы века! Таким-то людям, какова была госпожа Варч, надобно бы жить долее и долее. Вся жизнь ее была училище терпения. Она полагала всю свою честь, пользу и славу в исполнении той трудной обязанности, которую приняла на себя, ходить за детьми. Далее сей сферы она никуда не простирала ни мыслей, ни чувств своих, не роскошничала ни в одеянии, ни в пище, жила и вела себя просто, не знала других занятий, кроме чтения Библии и обхождения с моими детьми. Привыкнувши все быть с младенцами, она сама на дитя была похожа нравом, никаких не имела чрезвычайных желаний или прихотей. Войдя к нам в дом за семьдесят рублей в год, довольствовалась теми ста пятидесятью, кои я по временам ей определял,

14 Зак. № 3975

сама не требуя никогда прибавки. Чванства и гордости сего рода слуг в ней отнюдь не было даже до того, что, по возвращении сыновей моих из чужих краев, я хотел присоединить ее к нашему столу; она за оный никогда не согласилась садиться с нами вместе и всегда ела одна в своей каморке. Кротости ее не было примера, сие довольно доказано тем, что, тридцать лет с лишком проживши в нашем доме и испытав в нем разные случаи рока и перемены обстоятельств, никогда ни на кого не жаловалась и никто на нее. Всем было ее жаль, все ее кончину искренно оплакали. Кроме пользы, которую она приносила детям моим своими советами, она и мне во время молодости моей и первого супружества была очень полезна в разных домашних неустройствах. Она приводить умела все в порядок, я ее слушал, уважал, она во многом меня остерегала, и я бессовестен бы был, если б не более сожалел о потере ее, как сколько мы машинально жалеем о всякой умирающей няне и мамке детей наших. Нет! Эта женщина заслуживала других слез и более к праху ее внимания, и я, сколько мог, воздал ему чести. Мы похоронили ее со всеми обрядами ее исповедания и с церемонией, заслугам ее приличной. Я и дети мои, все мы долго шли пешком и потом проводили гроб в каретах до самого кладбища, там, при согласии органов, отпели ее тело, и пастор, духовник ее, прочел надгробное слово. Он от самого дома нашего до кирки сопровождал тело в облачении. Мы всей семьей опустили гроб ее в могилу и скоро потом не забыли воздвигнуть над оным памятника во свидетельство ее необыкновенных добродетелей и нашей искреннейшей благодарности, и кто из нас в те минуты не плакал о ней? Кому из нас и теперь еще ее не жаль? О! Долго, долго мы будем помнить эту старушку. Да сподобит ее Бог вечного блаженства! Да даст ей соединиться в духе с тою несравненной женщиной, которая чад ей своих поверила, отходя в вечность, и которой безопасен был ответ в столь нежном поручении! Она исполнила его совестно и свято, и как будто нарочно дожила до той поры, как уже некому было из детей моих оставаться у нее на руках и все они пришли в надлежащий возраст. Покойся, мирная душа, в селениях небесных! Мир праху твоему и здесь. Если дерн, сокрывающий его, засохнет от жара солнечного, питомцы твои придут оросить его слезами воспоминания о тебе, и могила твоя всегда будет одеваться свежей землею, уподобляющеюся невинному твоему духу.

Скоро после нее умерла и няня меньшой дочери моей Максимовна, о которой говорю здесь потому, что дочь моя, не успевши еще осушить глаз от одних похорон, плакала о другой потере, которую свычка сделала

для нее чувствительной. Вслед за ними убрался на тот свет и старый мой Меркурий Колобов, служитель верный, неутомимый в ходьбе, разносчик всех моих цидулок и доверенный агент в моих любовных предприятиях. Он до самой почти смерти все ходил на почту за письмами и газетами, в почтамте все его знали. Имя Колобова известно было во всех домах, куда я езжал, и я посвятил ему строчку в моих сочинениях, упомянув о нем в третьей моей книге[1]. Жаль мне было сего верного и услужливого раба, хмель сократил дни жизни его, и он после себя никого не оставил способного быть ревнителем его славы. Пока мы хоронили то того, то другого из заслуженных наших людей, тревогу большую нам нанесла внезапная болезнь Пашеты[2]. У нее сделалась истерика так сильна, что она становилась похожа на припадки падучей болезни. Беспрестанные конвульции страшили нас ежеминутно. Нервы ее расстроены были до того, что малейший испуг или нечаянность на них действовали. Надобно было долго и прилежно ее лечить. Взяв ее на свои руки, бессовестно было не приложить о том самого строгого попечения. Итак, мы не проводили дня без какой-либо заботы. Милость Божия и искусство доктора домашнего спасли ее, но не скоро, от угрожавшей ей смерти, и она, как ниже увидят, прохворавши целый год, не самыми легкими средствами поправила свою натуру.

Чем умереннее были наши расходы, чем упрямее я старался скопить нужные деньги для путешествия в Киев, тем чаще разные случаи вводили меня в убытки как будто нарочно для волнения моей жизни таким неприятным противоборством. Живучи в больших городах, бывают расходы пустого приличия, которые освящены законами общежития, и уклоняться от них стыдно. Фальшивый стыд, согласен со всеми мудрецами, но преодолеть его, живучи в мире с людьми, невозможно. Старик мой Классон называет их моральными расходами. Так-то в нынешней зиме я принужден был по родству явиться отцом посаженым на двух свадьбах у Бутурлина, внучатого моего брата, который двух дочерей отдал замуж[3]. Ближе меня не было у него родных в Москве, и хотя мы не очень были коротки домами, однако, он пригласил. Надобно было повиноваться обычаю. Тут пиры свадебные потребовали своих расходов на туалеты жены моей и дочерей. Сверх того, многие из родственниц моих выдумали присрочить к этой же поре свои родины и удостоили меня чести быть у них восприемником, например: в Москве я крестил у Рахмановой Стефани да заочно у одного помещика Владимирской губернии г. Полуехтова, который из особой преданности пожелал иметь меня отцом крест-

ным своего ребенка; в Нижнем, у племянника моего родного Смирнова[4], между тем как брат его меньшой, сосватав невесту в Саратове, девицу Тихменеву, объявлял, что он женится. В Перми родила племянница же моя родная Евгенья Саввична, вышедшая замуж за Лебле в прошлом году. И там я крестил заочно, словом, я во всех концах России был восприемником, и всюду надлежало посылать на ризки, что составило во множестве уважительный счет, а к сим приятным причинам тратить деньги присоедините и неприятные расходы, коих потребовали похороны умерших в доме и аптека для исцеления опасно больной Пашеты. Все это вдруг чувствительный нанесло вред моему карману, хотя я не очень знаю, на чем основан обычай крестить заочно, который, кажется, не только противен таинству религии, но и самому даже простому здравому смыслу. Однако сей навык был всеми принят, и я не мог один от оного освобождаться. Итак, сорил деньги беспрестанно и рассылал по почте свои подарки то туда, то сюда, как роскошный Крез, все почти в долг, что еще было тягостнее, но пословица старинная: «За стыд голова гинет» заставляла быть рабом принятых предубеждений. Пусть бы одни подобные хлопоты встречались, но нет, судьба готовила мне впереди различного рода искушений, надобно было собраться с силами душевными, чтоб устоять против них. Кто, кроме Бога, подкрепит слабость человеческого рассудка, когда он остается одним средством к перенесению сердечных страданий. Мы едва успели в течение Великого поста побывать с женой у Троицы в лавре, как по возвращении нашем домой открылся театр новых болезненных приключений. Каждое из них требует пространного о себе повествования, и я еще теперь, спустя два года после сих событий, не в состоянии воспоминать об них без душевного волнения.

Началось разлукой с сыновьями. Павлу приходил срок возвращаться к должности. Пожив с нами месяца с два и будучи склонен от природы к тихой семейной жизни, не любя ни большого света, ни его развлечений, ему грустно было расставаться с нами и ехать жить в Питер в прежнем одиночестве. Он желал взять с собой одного из братьев меньших. Жребий падал на Дмитрия, он уже кончил свои курсы и получил аттестат, но не полный, от гг. профессоров, ибо не дослушал лекций, на кои назначен трехлетний срок, дабы получить такой аттестат, какой нужно для достижения чинов штаб-офицерских. Но Дмитрию хотелось самому уехать с братом и воспользоваться свободою. В родительском доме она не так обширна, и встречаешь иногда преграды. Кому в его лета не хочется вырваться из клетки? Я очень это понимаю, но не входило в план мой его

отпустить от себя прежде, нежели он снабдится полными аттестатами и по крайней мере вступит в петербургскую службу в четырнадцатом классе. Мои расположении насчет его были таковы, чтоб записать его в Иностранную коллегию и причислить к московскому архиву, в котором мог бы он, живучи при мне, и, следовательно, с меньшими для меня издержками, дослужиться до такого чина, в котором уже мог бы с большею пользою употребить дарования свои в высших дипломатических канцеляриях. Так было располагал я, но Бог строит свое. Дмитрию влетела в голову бабочка непременно ехать в Питер, он знал, что я люблю преимущественно и уважаю достоинствами брата его старшего, что он имеет полную мою к себе доверенность, и настроил Павла выпросить его с собою. При первом приступе я означил мое негодование за то на Дмитрия, истолковал ему все причины, по которым рано ему еще оставлять Москву и меня. Какие убеждения помогут в юношеские лета! Что преклонит мальчика в двадцать лет согласиться с отцом, которому за пятьдесят? У них и чувства, и логика уже не одинаковы. Оставалось в таком несогласии наших понятий о сей поездке деспотически мне приказать, а сыну безмолвно повиноваться, но я не хотел быть тираном в своем семействе и считал, что двадцать лет есть такой возраст для детей, в котором долг родителей советовать, убеждать, рассуждать, а не приказывать, кроме случаев отменно чрезвычайных и которые под общие правила подходить не могут. Но сей был не таков. Павел просил меня отпустить брата с ним с такой силой убеждения, что я, по слабости моего к нему расположения, не мог ему отказать, и хотя предвидел, что дозволение мое будет иметь невыгодные для меньшого сына последствия, что со временем самым опытом было доказано, однако я, как ни спорил, согласился на их отъезд, благословил Дмитрия в путь, и они оба в мае, распростясь с нами, уехали. Там с первого шага Дмитрий вступил уже не туда, куда я предназначал в мыслях моих. Павел, чтоб успокоить меня на его счет и исправить ошибку всего их предположения, в котором главным орудием был князь Дмитрий, воспользовавшийся пристрастием к нему брата, поместил его при себе в канцелярии Ланского, где назначено ему жалованья пятьсот рублей, и принят тем же чином, каким выпущен из Московского губернского правления, то есть губернским регистратором, следовательно, еще не офицером, а между тем исподволь, но весьма лениво хлопотали о приведении в исполнение моего плана, чтоб Дмитрий вошел в канцелярию Иностранной коллегии, итак, он засел в числе простых писцов у Ланского. Чиновники Иностранного разряда, коих я по знакомству про-

сил записать и взять в свое покровительство Дмитрия, лишь увидели его неполные аттестаты, отказали и поставили его в необходимость доучиваться в Питере тому, чего не докончил он в Москве. Надобно было ходить на новые лекции, готовиться к тамошним экзаменам. Это все было труднее гораздо, нежели в Москве, где все ученые были мне знакомы, где все средства к успеху были у меня под руками. Весь мой план опрокинут, и оставалось мне довольствоваться тем только, что по крайней мере Дмитрий, очарованный Петербургом, не баловался в нем, но, будучи хорошо и ласково принят в домах моей родни и хороших петербургских кругах, проложил себе путь в большой свет так же почти, как и мне удалось в его лета вступить в оный. Он мне напоминал мою молодость, но времена были другие, большой свет и образованное общежитие уже не вели ныне ни к чему, а ему предстоял труд создать себе судьбу свою в будущем, для которой нужны были совсем не те средства, за кои он принялся, чтоб только быть известным с хорошей стороны. Это для поведения молодого человека прекрасно, но для будущего его счастия недостаточно. Все это я предвидел, жалел о неудачах, но оставил судьбу Дмитрия в волю промысла и неоднократно пенял сам себе после, что не имел довольно твердости в характере, чтоб устоять против убеждений князя Павла и произнести решительное «нет!». Оставим их теперь там и приступим к другому обстоятельству, которое тотчас после разлуки с детьми моими привело меня в вящее неприятное положение.

В доме нашем от самого младенчества жила одна барышня, которую все мы привыкли звать Грушей. Она была побочная дочь одного нашего родственника, молодого человека Ушакова[5], который, будучи в военной службе при императоре Павле, замешавшись в какую-то историю, был выключен, выслан из Москвы и, захворавши на дороге, потаенно остановился на Бутырках, где и умер. При последних его часах навещал его наш Классон; он поручил ему своего ребенка и просил его не оставить, а между тем назначил ей капитал в двадцать тысяч, но отец его, распоряжавший оным, промотал, и сирота, не имея в пользу свою никаких законных прав, осталась без всякого состояния на руках у нас, а мать ее скоро по смерти Ушакова очутилась у другого на содержании и мало пеклась о своем младенце. Мать моя из христианской добродетели дозволила ребенка призреть в нашем доме, и сестра меньшая взялась ее нянчить. До замужества ее она росла и обучилась иному дома, иному в пансионах и получила по мере сил наших благородное воспитание. Когда сестра выдана за Селецкого, ей не удобно было взять ее с собою в Ма-

лороссию, итак, она оставлена на руках у сестры большой, и Классон так полюбил ее, что не мог с ней расстаться. По всем сим отношениям Груша выросла и созрела в нашем доме, она была прекраснейшего лица и оттого в стихах моих, напечатанных при «Филибере», названа Анемоной[6]. Подлинно, лицо ее было наполнено прелестей, стан и все прочие преимущества природы сему соответствовали. Она в обществе нашем игрывала комедии, выезжала, куда можно было ее возить, и скоро сделалась известной в городе.

На беду пасынок мой старший Алексей в нее влюбился. Беспрестанное с ней обращение, сожитие в одном доме, короткость, которой в столь тесной свычке никак остановить нельзя, усилили взаимную их друг к другу склонность до того, что Алексей решился увезти ее и жениться. Никто в доме не знал о том, никому в голову не входило предохраняться от такого предприятия, на которое по молодости их лет нельзя было предполагать у них достаточной отваги. Для любви никакого Аргуса не сыщешь, она все преодолеет и всякого проведет. Уже дело их было почти слажено, как, заехавши нечаянно в гости к жениной родне, узнал я со всею осторожностию, что у меня в доме комплот[7] и что Алексей должен через сутки увезти Грушу. Я не вспомнился, приехавши домой, утвердился разысканиями секретными в справедливости дошедшего до меня известия. Нельзя было мешкать. Надо было принять строгие меры, остановить свадьбу, которая, кроме общего их бедствия, ничего произвести не могла. Я предупредил сестру, она увезла Грушу к одной приятельнице своей из дома вон и там ее оставила на сутки, дабы, подумавши порядочно о сем обстоятельстве, постановить сильнейшие преграды замыслу молодых людей. Жена моя долго не хотела этому верить, принимая весь проект за ребяческую шутку, но как удалось мне перехватить Алексееву записку, то жена увидела из нее очень ясно, что тут не шуткой пахнет. По записке оказалось, что в этот самый день, когда сестра успела ее увезти, получив во всем ее признание, они должны были обвенчаться. День позже узнай я о том — и беда была без поправки. План их был соединиться в доме ее матери, которая была в заговоре и даже снабжала Алексея деньгами, ибо без них трудно было сладить с таким романическим предприятием. От матери положено было ехать за город в Алексеевское, там уже и обыск[8] был приготовлен, и поп озадачен, ожидали только юношей. Свидетели собраны из офицеров разных имен и служб. В этом во всем помогал Алексею меньшой брат его Филипп, голова пострельная, готовая на все, и он подобрал в товарищество к себе таких же

удальцов. Со всей этой тайной под покровительством усов и палашей должна была совершиться глупая, беспутная и дерзкая сия свадьба.

Барыня, к которой отвезена была Груша на сутки, просидевши с ней целый день под караулом, потому что Алексей, сбежавши с нашего двора, беспрестанно подсылал к ней лазутчиков и шатался около ее дома, так что вся дворня этой госпожи была всю ночь на ногах, не могла при всей своей приязни с сестрой продолжать такое тяжкое и вместе опасное изъявление оной, да и как бы ни стерегли двух молодых людей, согласных взаимно на проказу, мудрено ли было в несчастную минуту, живучи в одном городе, ускользнуть от всех глаз, а на свадьбу времени надобно не много, особливо когда на подкуп нужных людей деньги готовы. Итак, надобно было их развести далее. На первый случай не представилось ничего лучше, как ехать сестре с ней вместе в Никольское. Именье мое, крестьяне мои, следовательно, ни бояться Алексея, ни слушаться его никто не был там обязан. Так и поступлено. Груша увезена в подмосковную, с ней поскакали туда сестра и Классон, но и там не безмятежно было их пребывание. Алексей, узнавши о сих мерах нашей осторожности, поскакал в ту же сторону, расположился в соседней казенной деревне, бродил с ружьями в крестьянской рубашке около нашей усадьбы, подсылал цидулки, и там они находили способ меняться ими. Крестьяне мои караулили день и ночь весь дом, отстали от полевых работ и все заняты были одним предметом, который и на спокойство сестры сильно действовал. Она не могла минуты провести без возмущения и боязни. Это комическое рыцарство Алексея продолжалось с неделю, оно не имело успеха, но чего стоило и мне предупредить их. На все потребны были деньги: он сорил их, чтоб обмануть меня, я тратил, чтоб узнать, где он и что делает. Кроме беспокойств, убытки пустые и невозвратные. Надобно было чем-нибудь это кончить. Я послал в Никольское коляску с надежными людьми, велел его сыскать и, не делая ему озлобления, призвав на помощь, если понадобится, исправника, схватить его и привезти в Москву. Намерение мое удалось, его нашли врасплох у мужика в избе, взяли и благополучно привезли ко мне в Москву. В ту же ночь я его отправил за присмотром в Александрово, куда послано было от княгини повеление к управителю ее не выпускать его никуда, не давать ни денег, ни подвод, ни воли и содержать как арестанта. Его увезли, а сестра воротилась в Москву и, нимало не медля, отправилась с своей барышней в Каширскую деревню к Яньковым. Так кончилась вся эта домашняя сумятица, город весь об ней сведал, толков было множество, но я благодарил Бога, что предо-

хранил угрожавшее зло нелепого бракосочетания, которое навлекло бы за собой тьму тьмущую домашних неустройств и междоусобных раздоров. С той поры Груша уже перестала принадлежать к нашему семейству.

Трудно изъяснить положение, в каком я находился во все это время. Необходимость требовала, чтоб я выезжал и принимал к себе. Всякий любопытствовал узнать, что случилось в доме, и никакой не было охоты со всеми о том откровенно беседовать. Между тем догадки и кривые толки тревожили еще более настоящего, а всем души открывать не можно. Надобно было и суетиться, и казаться спокойным, — тяжкое противоборство с самим собою! Я во всю жизнь мою никогда не находился в таком смутном состоянии. Любя и жену, и сестру, обязан будучи священными союзами дружбы и родства с тою и другою, мог ли я не сожалеть о обеих вдруг, а всякая хотела иметь преимущество в изъявлении к ней сострадания. У женщин теряется всякий рассудок, когда чувства их взволнованы, тут никакая логика не действует. Жена как мать сердилась на сына, но вдвое более ожесточалась против сироты и готова была вымолить на нее у Бога все кары небесные. Чем меньше та зависела собственно от нее, тем досада ее сильнее возгоралась, и физика, не выдерживая душевной тревоги, приходила в очевидное изнеможение. Жена рвалась, худела, и беспрестанные истерики ее изнуряли. Сестра, с своей стороны, не могла равнодушно слышать об Алексее и желала бы его видеть в тартаре за оскорбление любимой ее сироты. Кровь у нее поминутно бросалась в голову, и я боялся, чтоб ей не сделалось удара. В таком волнении чувств обе сии женщины, будучи так близко мною связаны между собою, не могли в первом движении ни видать друг друга, ни найти пристойную меру в своих чувствах. Каково же было мне быть между ими посредником, щадить ту и другую и стараться снова их сблизить между собою, ибо розно жить невестке с золовкой состояние никак не позволяло. О! Никогда я этой эпохи не забуду. Скажу откровенно, и этот опыт научил меня признать сию истину, что нет ничего труднее, как сохранять спокойство в таком семействе, как наше, в котором столь много разнородных лиц совокуплено под одну крышку, и все они достигли возраста страстей. Великая наука! Крепкое искушение управлять таким сборищем! Алексея жена моя отправила в деревню свою, не видавшись с ним и не простя его, а Филипп отведен мною в казармы, где отдан на руки капитану с просьбой не выпускать его никуда без моего согласия.

Я не мог без сожаления видеть несчастную участь жены моей в качестве матери. Имея только трех детей, она лишилась любимой своей доче-

ри и тужила о ней беспрестанно. Бог знает, что бы из этого ребенка вышло со временем, радость или печаль для матери, по крайней мере, она в ней привыкла видеть единственную отраду дней своих, и лишиться ее было жестокое положение. Два сына у ней оставались, и оба поведения ненадежного. Она к ним была до чрезвычайности горяча и от излишней любви послабляла шалостям их, когда они были ребята, худо воспитывала их, баловала, несмотря на то, что всегда были учители в доме, и они так хорошо вызнали нрав и слабость матери своей, что обходились с ней совершенно как люди, не зависящие ни от кого. Все им сходило с рук, и оттого-то она под старость принуждена была выносить многие со стороны их оскорбления, пока, наконец, большой, перебесясь, устепенился и умел выиграть всю ее доверенность хорошими поступками и беспредельным к ней повиновением, а судьба меньшого еще такова, что ничего о нем доброго сказать не можно. Самая несчастная мать. Беда для мальчика, когда он рано теряет отца! Сколько я ни старался заменить его, но все имя вотчима не давало мне прав неограниченных над ними, а ежели я и мог, по любви жены моей ко мне, иногда ими воспользоваться, то по нежности взаимных наших отношений, ибо у меня была куча своих детей, которые жене моей не принадлежали, я не хотел никогда ими воспользоваться, дабы не стеснить независимости своих. Все эти оттенки сводного семейства легче понять, нежели рассказать, и я оставляю многое здесь на догадку читателя, но окончательно в заключение сей повести скажу, что жена моя поставлена была сыновьями своими в самое тесное и жалкое положение.

При сем случае кажется мне не излишним войти в некоторое рассуждение насчет супружества вообще. Когда я был очень молод и, во время соблазнительной моей переписки с Улыбышевой, которая столь важно подействовала на судьбу мою, позволил себе разные вольные толки насчет сего же предмета, тогда все приняли меня за вольнодумца и положили, что я, начитавшись Мирабо с товарищами[9], стараюсь и сам подражать им. Согласен я, что в то время положение дел в Европе и ход умов был таков, что нельзя было мне простить моей нескромности, и я за нее потерпел сильные поклепы, коих последствия тяготят и доныне судьбу мою. Но с тех пор много утекло воды. Помышления стали очищаться, умы взяли большой простор, и, что тогда, по новости идей, казалось дерзостью, то самое ныне покорено правилам рассудка и с меньшим жаром опровергается. Итак, я ныне осмелюсь опять то же сказать, что написал тогда, не с тем же восторгом, а с порядочным размышлением о предлагаемой мной вещи. По положению нашей церкви брак есть таинство сво-

бодное, то есть всякий мужчина, достигший зрелого возраста, а девушка, готовая к замужеству, могут сочетаться браком кому с кем угодно. На сем основании и священники наши вправе всякого венчать, как скоро нет препятств, религией предположенных. Зрелым возрастом пред престолом Божиим для достижения сего таинства полагается не число лет, а натуральная способность вступить в супружество с обоих сторон, следовательно, не случится ли, что юноша семнадцати лет может уже жениться, а девочка тринадцати выйти замуж? Для церкви довольно, она благословляет союз, но не надобно забывать того, что супружество имеет тесную связь с обществом и должно соглашаться с законами общежития. Вот где и камень претыкания. Для попа все равно, на ком мой сын женат, но не для меня. Девушка благородная венчается с крепостным слугою и, соблазняя весь мир своим поступком, расстроивает порядок общественный. Подобным же образом действует во зло на оное и сын благородный, женящийся на какой-либо потаскушке. К несчастию, примеры такие очень часты в наше время, и потому нельзя не оглянуться на супружеский союз как на действие не просто духовное, но вместе с тем и гражданское. Для попа соображении сии не нужны, потому что в церкве все состоянии пред Богом равны, но для общества они необходимы, ибо ими держится порядок общественный. Нимало не приятно видеть, что дворянин, вельможа, воин или министр могут жениться на рабах своих и возить их под титлами, приобретенными кровию и заслугами, ко двору, где они ценою разврата своего, несмотря на их невежество, снискивают право похищать место и все политические почести у женщин гораздо их благороднее и добродетельнее. Такой беспорядок крайне соблазнителен, а он, к несчастию, у нас расплодился именно оттого, что церковь на это глядит равнодушно, не находя в своих законах права противиться подобным союзам. В прежние времена случаи сии были и редки, и очень скрытны, потому что был стыд. Ныне всякий стряхнул с себя это иго и стыдится едва только грубого физического зла, а уже моральное правило и начала благонравия совсем истерлись и никого удержать не могут от безумного поползновения страстям. Что ж в таком случае делать? Прибегнуть к законам. Но духовные не ограждают, а политические не принимают участия. Остаться ли этому в такой опасной свободе? Мы превратим скоро общество в хаос. Сын, не спросясь отца, женится Бог знает на ком и присоединит протомою[10] или актрису к своему семейству. Дочь, не спросясь матери, уйдет и выдет за фигляра или коновала и причислит его к своим родным. Во всяком доме появится пламень между-

усобных раздоров, и беспорядок так усилится, что нельзя будет его ничем остановить. Я очень часто о сем рассуждал, имея сам кучу детей, и убеждаюсь в той истине, что брак не должно почитать просто таинством только духовным, но вместе и актом гражданским, а потому весьма одобряю закон Наполеонов, который определяет, чтоб бракосочетавшиеся лица не прежде получали церковное благословение, как с дозволения правительства. Это весьма правильно, потому что оно предупреждает кучу беспорядочных супружеств, ни на чем рассудительном не основанных. Пора перестать глядеть на человека с душой, как на скотину, и, подводя его под общие правила превознесенной ныне экономии политической, дозволить совокупление полов без всякого разбора околичных обстоятельств в том только намерении, чтоб споспешествовать населению и размножению рода человеческого. Так думать можно только о случке животных, а не о союзе людей. Надобно строгое обращать внимание при браках на согласие взаимных отношений и не расслаблять такой свободой, какая завелась ныне, первую из природных властей, а именно родительскую, и достоинство гражданского общества. Мы видим, что желающий причаститься святых тайн обязан представлять свидетельство от духовника, хотя если б он и без него причастился, не принес бы тем никакого вреда обществу, ибо грех, подобный сему обману, падает на его одну душу и ничего не портит в лице гражданском. Мы видим, что на приданые и имущества, несмотря на совершение брака, составляются особые гражданские акты, которые неприкосновенны остаются в сожитии мужа и жены. Почему же бы до венца не заключать жениху с невестой договора, который, подведен будучи под правила, принятые в обществе предварительно, давал им право приходить к алтарю для торжественного своего соединения в духовном смысле. При таком законе приняты были бы меры отвратить те нравственные злоупотребления, коим ныне и счет свести трудно и которые самою церковью терпятся, как вещи равнодушные, когда собственные ее условии в целости, но их мало одних для сохранения общества от втекающих в него беспорядков. Пусть простят мне сие рассуждение в пользу подобных мне стариков, которые, имея детей, всегда в опасности или терпеть, или прощать такие браки в своих семействах, от которых страждет и сердце, и разум, и именье. Впрочем, я не думаю, чтоб кому-нибудь вошло в голову вывести из моих предположений, что я, усиливая взаимною связью в таинстве брака власть духовную с гражданской, ищу возродить какой-либо новый раскол, право, у меня не было никогда этой затеи.

Упомянув выше о двух важных случаях, кои подействовали на меня в нынешней зиме, я наконец приступлю к третьему, но прежде помещу здесь слегка, что я наравне с прочими дворянами Московской губернии украсился по манифесту 30 августа, столь известному, медалью бронзовой на Владимирской ленте и вздел ее в петлицу[11]. Я очень желал ее иметь и, получа позже многих от разных пустых привязок, очень обрадовался сему знаку. Это покажется странно, но когда узнают причины, то перестанут моему удовольствию дивиться. Вот что его возрождало. Отец мой был кавалером Владимира третьей степени. После него остался у меня крест его и кусок ленты. Он скончался в 94-м году; я был тогда вице-губернатор и все право имел на получение того же ордена, но разные мелкие мои погрешности не в службе, а в моральной жизни, короче сказать, интрига с Улыбышевой и переписка, о которой я говорил выше, были причиною тому, что я рукой Екатерины вымаран из списка кандидатов и креста сего не получил, потом мне его выслужить не удалось, ибо он долго был уничтожен, а когда восстановлен, тогда я уже урос в чинах, и дойти он до меня не мог. Мне всегда прискорбно было думать, что я сам от себя потерял право отличаться тою же почестью, какой был удостоен отец мой и которая как бы в наследство мне по нем осталась. Я к этому привязывал суеверную идею, и она сугубо меня огорчала. Мне казалось, что родитель мой, оскорбленный моим поведением, за пределами гроба лишает меня той награды, которую он судил было передать мне, и что само провиденье отвергает меня от наследия отцовых заслуг. Во всю жизнь мою я крушился этой мыслию. Наконец, вышел манифест, и я обрадовался, видя, что ежели не орден св. Владимира, по крайней мере я буду носить ту самую ленточку, которую отец мой нашивал. И тут было встретились препятства. Многие, толкуя по-своему манифест, оспоривали мне медаль, потому что я был публично штрафован и денежными пенями во время службы, и выговором в Сенате, однако губернский предводитель того времени г. Обольянинов, не находя сих помех в смысле указа, дал мне медаль, записав меня сперва в книгу московского дворянства, и я, надев ее на себя, не снимаю никогда, как дар самый драгоценный, потому что она висит на той же ленте, которая и отца моего украшала. Итак, суеверие мое исчезло, и я в мыслях моих на сей счет успокоился. Хотя для всякого стороннего читателя это покажется безделкой, но так как История моя принадлежит моим детям, то я хочу, чтоб они из сего повествования заметили, сколь велика была моя любовь и преданность к отцу, которого я уже двадцать с лишком лет оплакивал, и чтоб со

временем научились и мне оказать такие же знаки приверженности, в чем заранее с приятностью удостоверяюсь.

Мы на час отступили от Истории самой, воротимся к ней. Между подчиненными моими по Владимирской губернии находился некто Диц. Весь род его издавна был знаком в нашем доме. Он неоднократно исправлял разные мои поручения и всегда с хорошим успехом. Часто доверял я ему казенные суммы в значительном количестве и не имел причин опасаться ни утрат, ни похищения. Его-то Бог избрал орудием сильной мне неприятности. Оставя службу в Володимире, он рассудил определиться по Московской губернии и попал в уездные казначеи в том городе, в котором я имел подмосковную. Казенная палата при определении его потребовала залога, он просил моего пособия. К несчастью, я имел в подмосковной пятнадцать душ свободных и заложил их за него. Он отслужил годовой срок очень исправно, получил квитанцию и вновь утвержден в той же должности. Удостоверясь в его поведении, продолжил и я за него мое поручительство, но вдруг не явилось у него тринадцати тысяч. Он хотел утопиться и вытащен из воды. Начался над ним суд, его приговорили к ссылке и отправили в Сибирь, а убытки казенные определено взыскать с залога. Хотя бы я мог опорочить такое положение, ибо, во-первых, нигде нет закона, чтоб брать с определяемых чиновников к государственным должностям залога, во-вторых, если они и даются, то не значит ничего иного, как один аттестат, тем более, что казначей столько пропустит денег чрез свои руки, что не только пятнадцати душ, но и тысяч недостанет для вознаграждения казенных похищений, какие могут открыться у казначея. Главная охранность интереса, вверяемого им, состоять должна в исправном за ними смотрении, но Палаты, привыкнув почитать подобные залоги вознаграждением казны в опасном случае, пренебрегают свою обязанность и дают казначеям легкие способы растрачивать кладовые казенные. В подобном случае надлежало бы, по мнению моему, приниматься за залоги тогда, как все чиновники, пренебрегшие свои должности и правила, для ревизии казны данные, не найдутся в состоянии выплатить казенной потери, тогда пусть терпит залогодатель, но начинать взыскание с него неправосудно и ни на каком законе не основано. Другой бы на моем месте мог бы все это вывести и пожаловаться с успехом, но в России отставной человек — тот же ноль в арифметике, и для него нет ни закона, ни защиты, он назначен погибать жертвой всякого насилия. Казенная палата приступила к опеке имения всех чиновников, кои в уезде отвечают за целость казны, и, как

обыкновенно водится, описав всякую ничтожную принадлежность малою суммою, пополнила убыток казенный только для вида. После уездных чинов тому же подвергалась по справедливости и Казенная палата, но она обратилась к моему залогу и требовала его продажи. Публики сделаны, пятнадцать душ описаны, и торг назначен в мае. Я не торопился выручить своей собственности в надежде, что никто не купит в чужом имении такой малой части и что можно будет, внеся ту сумму, которую наддадут при третьем торге, выкупить залог мой меньшим числом денег против начета на казначее, которого за разными пополнениями оставалось до осьми тысяч, но вице-губернатор тогдашний г. Дурасов, чувствуя, что ежели залог не продастся за цену, равную казенному убытку, тогда он и Казенная палата обязаны будут недостаток заплатить своим коштом, подставил в продаже разных родственников своих, которые ввели на торгах наддачу именно в ту сумму, какой казна требовала, следовательно, мне оставалось искать денег и внести в казну для освобождения моей собственности. Князь Юрий Владимирович, узнав о сем происшествии, взялся меня выручить и обещал мне дать восемь тысяч под закладную того же числа душ ему. Я не имел случая еще испытать князя в делах денежных и положился на его обещание, но он перед тем, как надлежало вносить деньги, дал мне ломбардный билет в пять тысяч, предоставя искать остальные в другом месте. Это значило ничего не сделать. Увидя, но поздно, что я ошибся в сильном благотворителе, который любит им казаться, доколе дело не доходит до денег, я принужден был помогать себе другими средствами. Тут открылась вся неосновательность публики в ее пересудах на мой счет. Твердили, что я нажил большие капиталы, а как дошло до случая, то никто мне не поверил на год в десяти тысячах. Одно оставалось у меня средство, тяжелое для нежных чувств моих, но, теряя за бесценок имение родовое, должен ли я был, отложа всякую излишнюю скромность, оным воспользоваться? Я знал по опеке Кашинцева, что у сестры его был капитал, который она отдавала в процент. Тяжело было мне к ней адресоваться, но к чему не привлечет необходимость! Я с ней объяснился, и она мне дала десять тысяч на год под закладную подмосковной. У нее были свои виды, которые я тогда, по доброй душе моей судя и об ней, никак не мог подозревать, и тем великодушнее казался мне ее поступок, что она, определя взять шесть процентов только, соглашалась дожидаться закладной до возвращения моего из Киева, ибо я не мог еще совершить ее тогда в такой скорости. Столь явная ко мне доверенность умножила и мою к ней. Я без всякой

осторожности попал в ее сети. Занятыми у нее деньгами освободил пятнадцать душ от аукционной продажи, остальные двадцать восемь выкупил из Воспитательного дома, в котором они были заложены на восемь лет в двух тысячах рублях и, кончив это дело таким образом, возвратил старичку князю Юрию Владимировичу его билет. Испытав огорчение быть от излишнего добросердечия порукой в деле денежном за бедняка, нуждающегося в пропитании, испытав прискорбие обмануться в благотворителе, которого готов был под присягою почитать таким к себе и семейству своему до гроба, я не скоро забыл сие новое насланние судьбы и поставил себе правилом вперед поверять самые лучшие движения сердца в чью бы то пользу ни было расчетам здравого рассудка и не так опрометчиво оказывать услуги. Вот третий случай, который задержал меня в Москве и едва не разрушил намерения моего ехать в Киев, но Богу угодно было сие предприятие благословить успехом, и оно, несмотря на толикие облегающие меня затруднении, совершилось, к общему удовольствию нашему и сестры моей, нетерпеливо меня ожидающей в малороссийских своих маетностях, по данному слову и по уверенности ее в том, что я набожно храню все обязательства чести, наипаче же те, которыми связывает меня первое нравственное чувство — благодарность!

Бывают такие предприятия в замыслах человеческих, которые, сколько ни встречают роковых препятствий, суждены исполниться непременно. В числе их я поставлю и наше путешествие в Киев в нынешнем лете. Казалось, никак нельзя этому состояться после всех случаев, с которыми должен я был бороться. Пред самым нашим отъездом занемогла дочь княжна Варвара, у нее сделался нарыв под мышкой. Переждать, пока выздоровеет, было невозможно, ибо так присрочены были все дни лета и осени, что мы от промедления одной недели могли пережить ее за срок в Малороссии в такое время, в которое уже и погода, и дорога портятся. Я на все это чрезвычайно аккуратен и не люблю удаляться от строгой точности в расчете времени, которое, по мне, больше еще требует бережи, чем деньги, ибо сии могут как-нибудь набежать, а времени не купишь, не поворотишь. Я сею дорогою приносил искренную жертву сестре, ибо, откровенно скажу, мне не хотелось снова странствовать в таком краю, который недавно видел и знал. Жена моя также единственно из любви ко мне сопровождала меня в этом путешествии, оставляя целый год свое имение без надзора. Одним дочерям хотелось побывать в стороне, им неизвестной, и потому княжна Варвара решилась, несмотря на мучительную, но, впрочем, не опасную свою болезнь, пуститься в дорогу. С ней взяты

были все нужные лекарства, лето сухое и жаркое ничего не портило, хотя она с большим трудом переносила движение кареты, но нарыв прорвался в Туле, потом всякий день становилось ей лучше, и мы довезли ее в деревню к сестре уже в здоровом положении.

Написавши особо второе мое путешествие в Малороссию[12], я здесь ничего о подробностях его не скажу, а коснусь только слегка главных происшествий, кои требовали особого в дороге замечания, а дневник мой, принадлежащий к этой же Истории, удовлетворит читателя, охотника до всякой мелочи.

Помолясь Богу, мы отправились из Москвы мая 31-го числа, частью на своих лошадях, а частью на вольных. Проезжая Орловскую губернию, гостили с неделю в Болхове, у сестры двоюродной княгини Урусовой и видели в Орле самом несколько театральных зрелищ графа Каменского[13]. Прибыли в имение Селецкого Черниговской губернии, местечко Девицы, 28 июня, там прожили до именин зятя 15 июля. На пути еще в Севске виделся я с князем Горчаковым, бывшим министром военных сил. Он возвращался из чужих краев в Питер умереть физически после политической кончины. Спустя именины зятя, приехали в киевскую их деревню Ковали вместе с ним. Дорогой захватили с собой в Нежине Нелюбову, которая до самого нашего возврата в Москву прожила с нами, и я, узнав о несчастной судьбе ее, весьма сожалел, что слишком торопливо согласился на убеждения сестры моей и отпустил ее с ней из своего дома. Я чаял, что на родине своей она в родительском доме найдет истинное благополучие тихой и спокойной жизни. Все повернулось иначе. Отец ее был в разводе с матерью ее, мать, по несчастию, любила пить, и бедная дочь подвергалась не только строгим недостаткам нищеты, но и самой отчаянной скуке. Я не мог ни в чем ей помочь, кроме бесплодного сожаления, и даже не в силах был оттуда увезти с собою, а предоставил ее произволам судьбы, которая не всегда приятно располагает нашей жизнью. По крайней мере она сколько-нибудь облегчила тягость своего положения, проживши до осени с нами. Но, увы, и самые беглые минуты удовольствий наших бывают еще тяжеле, когда мы, насладясь ими, должны попасть опять в пропасть обыкновенных наших бедствий. В Ковали мы прибыли 23 июля. К Успеньеву дню ездили в Киев и поклонились гробу достопамятной бабки моей схимонахини Нектарии. Там провели с неделю в пирах и рассеянии разного рода, приобрели новые приятные знакомства, видели торжественное открытие Библейского общества[14], и в книжной лавке нашел я уже в продаже третье издание

моих сочинений во всем его наряде. В разъездах наших видели фельдмаршала Барклая де Толли, который, как Предтеча пред Мессией, предшествовал везде государю, а сей изволил объезжать весь южный край, и мы почти везде по пятам его двигались. Казалось, будто и мы при свите его величества находимся. Все полки были в движении, везде доходили до нас отголоски парадных маневров, коими царь увеселяем был на каждом месте своего путешествия. И я в настоящем своем странствии удовлетворил любопытному своему духу, посетив такие места, в коих еще не бывал: видел Чернигов и Переяслав, молился в пустыне Домницкой[15], которая от щедрот графа Безбородки процвела, яко крин в дебра жаждущий*. Насмотрелись унеятских обрядов богослужения и, прогостивши в Богуславском повете до самого, как говорится, нельзя, тем же манером выехали из Ковали 8 сентября в обратный путь и завернули снова в Девицу, куда с нами приехали зять с сестрой. Тут еще прожили дни два вместе, они нас еще проводили одну станцию, и мы, слезно распростясь, полетели в столицу. Путь еще был хорош, осень теплая и благоприятная. Проезжая чрез Кролевец, где бывает в сентябре ярмонка значительная, видели ее пепел и развалины[16]. Город и лавки, все сгорело дни за два до нас, рассеянные жиды в числе десяти тысяч душ собирали остатки своих товаров и укрывались под наметами холщовыми на равнинах пространных круг города. Зрелище было новое для глаз наших и жалостное. Мы никогда не видали еще так близко столь богатого пожарища посреди сует многочисленного торгового народа. Проезжая Орлом, мы видели смерть и гроб Плещеевой[17], хотя я ни с ней, ни с мужем ее не был знаком, но по сходству обстоятельств его с моими в таком же положении, когда я лишился первой жены моей, кончина этой несчастной женщины, столь близко поднесенная взору моему, сильно подействовала на мои чувства. В Туле нас встретила зима со всеми ее суровостями: снег, мороз, метели — все вдруг повалило с неба на землю. Это не помешало нам, однако, своротить просельной дорогой в деревню к теще, у которой мы пробыли 1 октября и весьма кстати обрадовали старушку нашим посещением, ибо она в последний уже раз тогда видела дочь свою, жену мою, побеседовала с нами, благословила и навеки с нами распрощалась. Мы, как предчувствуя, что никогда уже ее не увидим более, несмотря на тягость пути, решились побывать у нее. Оттуда взяв направление на Каширу и почти до Москвы ехавши в санках кре-

---

*Как влаголюбивая лилия на болоте (ст.-сл.).

стьянских, прибыли в столицу 7 октября и нашли в Москве все суеты петербургского света. Зима, продолжавшись только с неделю, как будто для того единственно, чтоб затруднить наше возвращение домой, совсем исчезла, ни малейших признаков ее не осталось, и прежняя возобновилась хорошая и ясная осень. Возблагодарив Бога за благополучное совершение столь дальнего и трудного пути, мы стали приготовляться не к отдыху, а к новым заботам и к необходимой роскоши по случаю прибытия на год в Москву всего двора, который мы уже тут и застали.

Но прежде, нежели стану извествовать о зимних наших суетах, позволят мне поместить здесь маленькое рассуждение о важнейшем предмете нашего путешествия. Обрадовавши оным сестру и зятя в несказанной мере, нам самим приятно было удостовериться собственным своим взором, что они благополучны, и, живучи в полном довольстве, воспитывают единородного сына своего в чаянии счастливейших успехов от его образования. Дитя это удвоивало прелесть их жизни и доставляло им сладчайшие отрады, и подлинно, я не мог надивиться сему феномену. Все утверждают, что дети, рождающиеся в страстных порывах сердец свободных и лучших возрастов цветущей молодости, бывают благонадежнее прочих и для здоровья, и для моральных преимуществ. В семье сестры моей я видел тому исключительный пример. Известно по Истории моего дома, что меньшая сестра моя шла замуж уже сорока лет за человека, который приближался к пятидесяти годам, следовательно, союз их составился в такое время, когда уже страсти все потухли и один рассудок их соединял. Тут действовали более обстоятельства, расчет и соображение, нежели романические побуждения. Соки уже истощались, и ежели позволено было надеяться, что, может быть, сестра получит титло матери, то, конечно, нельзя было предполагать, чтоб рождаемое дитя явилось таково, каким мы нашли сына их Мишу. Ребенок живой, острый, сметливый, самого здорового сложения и прекраснейшей наружности, словом, настоящий Амур. Как не подивиться такому чуду в природе? Я не мог на него налюбоваться. Дай Бог, стократно повторяю, чтоб ранние успехи его ума и отличные дарования, коими натура его наградила, не были, как часто то случается, предвестием малолетнего жития. Дай Бог, чтоб этот ребенок возмужал к отраде всех ближних своих с тем преспеянием в качествах души и разума, каких ожидать должно от счастливого и раннего развития его приятных способностей, и тогда пусть естествословы растолкуют мне, как могли такой завидный клас произвести супруги, заматоревшие во днях своих и призванные судьбой соединиться на тот конец, чтоб дать

жизнь юноше прекрасному и обогащенному всеми внешними и внутренними дарами природы.

Пока мы разъезжали, в Петербурге нынешним летом сочетался великий князь Николай Павлович законным браком с принцессой прусской, дщерию настоящего тамошнего короля[18], которую при крещении нарекли Александрой Федоровной, а к зиме весь императорский дом прибыл в Москву. На башнях Кремля развевался давно не виданный императорский флаг. Пришли отборные полки гвардии, и хлынула к нам вся лучшая молодежь российской рати. Начались вахтпарады, которыми чернь восхищалась ежедневно на Красной площади, обновился чудесной архитектуры экзерциргауз, во всех собраниях появились ментик, усы и шпоры, везде сияли эполеты и патронташи. Барышни наши оживотворились. Всякая щеголяла, надеясь встретить жениха и устроить свою судьбу. Двор с удовольствием находил себя в Москве, единообразность Петербурга ему уже наскучила. Симметрия тамошних домов и улиц, одинаковость принятого рода жизни ему пригляделась, императрицам хотелось новенького, и Москва неправильностию своей, разными характерами и обычаями общежития, удовлетворяла совершенно их любопытству. Все казалось им странно и необыкновенно, названия даже урочищ и закоулков служил[и] им забавой в досужное время. Все они катались по городу, выучивали, как называют приходы и переулки и, возвращаясь домой, сообщали друг другу свои познании и составляли себе географический лексикон Москвы. Москва, с своей стороны, давно не привыкшая видеть у себя царей своих в гостях, толпилась за ними по всем перекресткам города и глядела на двор, как на диковинку. Это питало надменность царскую. В Петербурге фамилия императорская пригляделась и уже не делала никакого влияния на народ, здесь, напротив, каждый шаг их был замечен, каждое движение обсужено втихомолку, и взаимно, как двор для Москвы, так Москва для двора были предметами удивления, восторгов и насмешек. Казалось, что двор искал всех случаев приближить к себе сердца московитян и понравиться нашим жителям. Сие доказывается тем, что с самых первых дней приезда царской фамилии отменены у двора разные обряды, сделавшиеся законом в Петербурге. В пример приведу, что позволено было ко двору представляться без разбора классов всем, имеющим офицерские чины, следовательно, по воскресеньям являлись на аудиенцию во дворец вместе с знатнейшими дамами и самые неизвестные барыни низших чинов гражданских, а вдобавок к огромной московской дворянской публике, когда скажу, что наехало из всех про-

винций множество лиц, никем не знаемых, то легко можно себе представить, какие смешные маскарады собирались в Кремлевские палаты. Случалось в иные воскресенья, что представлялось к руке у обеих императриц человек по триста женского пола. Церемониал оканчивался нередко после вечернего благовеста, и по всем домам разносилась молва о странностях, которые при сих аудиенциях происходили. Анекдоты умножались ежедневно, и двор хохотал над публикой, а публика над ошибками двора, ибо часто так перепутывались имена представляющихся лиц статс-дамами и кавалерами, что Сидор шел за Карпа, а Фекла за Устинью. Отсюда рождались презабавные с обоих сторон недоразумении. Зубоскалы потом прибавляли красное словечко, петербургские гости критиковали невежество Москвы, а хозяева российской столицы осмеивали пустоту и раболепство царедворцев. Вот картина придворного житья в Москве, а долее рассуждать о сем предмете и в сериозном отношении не входит в план мой, и я опять примусь за себя.

По приезде нашем домой обстоятельства семейства моего находились в следующем положении. Сестры большой не было в городе, она отправилась по ежегодному ее обычаю сперва в Каширу к Яньковым, а потом в Болхов к княгине Урусовой, где и прожила всю осень. Сына моего Александра в Москве также не было. По случаю болезни князя Горчакова, который, что приехал в Петербург, то и слег, жена его, князя Юрия Владимировича дочь, поскакала к нему, и сопровождал ее сын мой. Там проживши до кончины княжьей, она воротилась скоро потом в Москву. Печальное сие известие сообщено было старику через меня полученным эстафетом. Оно не произвело большой в нем тревоги, и он совершенно забыл о зяте своем, как скоро воротилась дочь его, и по одним только широким ее плерезам заметить можно было, что в доме глубокий траур и такая близкая потеря. Меньшой мой сын продолжал свои классы и жил с братом в доме князя Юрия Владимировича до прибытия моего домой. Причисляя к своему семейству и Кашинцевых, находящихся у меня в опеке, скажу и об них, что молодой человек был в шуйской своей деревне, а сестра его Катерина Андреевна заблагорассудила выйти до приезда нашего замуж за майора Зона, лифляндца без состояния, о котором можно, не обижая его, изъясниться русским старинным словом ни кожи, ни рожи, но ей непременно захотелось выйти за кого бы то ни было, чтоб иметь свой дом и свою чашку чаю. Хотя она все соблюла приличии против меня как опекуна и до отъезда моего еще в Киев представила мне г. майора, однако мы условились с ней, чтоб она во время

моего отсутствия старалась собрать о нем нужные и обстоятельные сведения, и не прежде, как по возврате моем, решилась приступить к замужству, но скука жить неотдельно с братом и быть в какой-то зависимости, хотя, впрочем, весьма нечувствительной, а более всего инстинкт преодолели все советы рассудка, и она, не надеясь на мое откровенное согласие, избрала легчайший способ поставить на своем и обвенчалась. С сей поры стал развертываться ее лукавый характер. Ей труден был первый шаг, сделав его, и с такой отвагой, она сняла с себя личину. Брат ее недоволен был таким супружеством и совсем с ней рассорился. Найдя сих двух юношей в таком положении междоусобия, мне оставалось отыгрываться от них и искать удобной минуты сложить с себя тягостные обязанности пустой над ними опеки. Помня, что я должен госпоже Зон десять тысяч рублей, я тотчас поспешил снабдить ее закладной, о которой и она уже начинала мне напоминать, и обеспечил ее собственность своею, заложа ей всю свою подмосковную. Так кончились до времени наши отношения. Не было между нами ссоры, но мы уже охолодели друг к другу, и все предвещало полный между нами разрыв. Срок закладной был срок и нашей связи, что увидят ниже в свое время. Займемся теперь отношениями нашими ко двору и поведением, какое я нашел приличным держать с своей стороны во все время его пребывания в Москве.

Я решительное принял намерение ко двору не ездить и не представляться. После того негодования, какое государь ознаменовал против меня в публичном указе, мне никакого не было удовольствия и добиваться этой чести. Многие наглецы, несмотря на подобные и худшие моих обстоятельства, являлись в Грановитую палату, и их не выгоняли, но я из самолюбия не смел пуститься на новое оскорбление, ибо я надеялся быть примечен и не считаться в толпе тех людей, кои могут, как трутни, всюду втереться, и их не выгонят только потому, что их не разглядят. Пусть простят мне сие маленькое чванство, если другого имени побуждению сему дать не захотят. Вотще г. губернский предводитель Обольянинов убеждал меня ехать и поклониться двору, я не считал себя к тому обязанным и, приняв твердое намерение не только не толпиться в царских чертогах, но даже избегать случая встретить зрак его величества и в других местах, я выдержал весь зимний карантин, и хотя меня приглашали Тормасов и Апраксин по карточкам на те балы, кои они давали императорской фамилии, но я и к ним не ездил, чтоб не сделаться предметом какого-либо на счет мой анекдота. Впрочем, о выездах ко двору я рассуждал следующим образом. Подданный обязан неограниченным повино-

вением своему владыке. Правило непреложное! Он платит дань, когда она потребна, служит, когда прикажут, падает на колени, если того требует этикет двора, и все то исполняет, что возложено законами обычая и подданства. Вследствие сих понятий, я не дерзну никогда ослушаться государя, оказать ему явное пренебрежение, возмутиться против его воли, но сердце мое и чувства принадлежат мне в полной свободе, и на чувства любви никто дани налагать не вправе. Я обязан короне почтеньем, уваженьем, покорностию, но люблю ее, если она заслужила, и потому я не более считал себя обязанным без наряда и именно на лицо мое указа ехать ко двору собственно по своему произволу, как сколько требовать от меня может мой равный, от которого получил бы я обиду, чтоб я с ним знался и к нему ездил. Государю был я противен, а он мне, это не принадлежит ни к какой конституции, это кроется в нашем сердце и ничьему толку не подвержено. Всякий поступает по своим чувствам и разумению. Государь меня обидел, и я освободил себя от обязанности изъявлять ему знаки личной моей приверженности. Я не хочу к нему ехать в дом, видеть его, когда ни ему, ни мне нет в том нужды. От этого я не сделался еще якобинцем или изменником, совсем нет! О! Я клянусь, что я самый вернейший подданный по правилам чести и строгой нравственности. Никогда не соглашусь из мщения и досады пристать к какому-либо заговору против престола, никогда, никогда! О! Сохрани Бог! Я бы не уснул минуты покойно. Но ездить ко двору такого государя, который мне ненавистен, также ни под каким видом не стану, и по сим-то размышлениям я выдержал свой характер, и никто меня в Грановитой палате не видал. Это, однако, не мешало мне посещать старых моих знакомых, например генеральшу Ливен, фрейлину Нелидову, у которых я был несколько раз и всегда очень ласково принят; с меня и довольно. Я ничего не добивался от них, кроме вежливости за мою такую же к ним.

Но совсем в другом положении находились жена моя и дочери. Они не должны были лишаться своих удовольствий от моих политических невзгод. Если я виноват был по службе как чиновник, то один я, а не семейство мое, у которого, поелику не оно служит, не может быть никакого иного отношения к императорской фамилии, которая также составляется из лиц, сторонних для государственной службы, кроме учтивости, принятой в этикетах придворных. Всем классам велено было представляться, обязаны были то же сделать моя и жена, и дочери, а сии последние еще и потому более должны были явиться к императрице вдовствующей, что мать их была при дворе и воспитана, и выдана замуж за меня. Итак, они

имели счастие представляться их величествам обеим императрицам. Это было 11 ноября, в день воскресный; уже большие толпы свалили, и не много дам было на аудиенции. Обе государыни изволили их милостиво принять и говорили с женой и дочерьми, особенно же императрица мать обласкала моих дочерей, изволила вспомнить мать их, называла их своими детьми и, словом, ущедрила звонкими и в прочем весьма пустыми приветствиями. Спрашивала обо мне. Жена сказала, что я болен. Новый вопрос: «Чем?» — «Каменной болезнью, для которой выезды зимой вредны». — «Давно ли? Отчего?» При всяком вопросе сильное удивление с участием, по наружности откровенным. Это значило много в глазах публики, но я уже, с молодости видавши близко этот двор и привыкнувши к его тонкостям, знал про себя, что все это вздор и одна придворная комедия, которая не служит ни к чему и не стоит существенно ничего. Но для публики часто и шумиха идет за золото. После сей аудиенции они представлялись и великой княгине, а потом в течение зимы разъезжали по всем балам и праздникам, которые давались двору, и во все торжественные дни торчали на балах в Грановитой палате. При всякой встрече государыни обе удостоивали жену мою своего внимания и изволили с ней что-нибудь молвить, особенно же вдовствующая императрица, та при всяком новом свидании те же вопросы и сожаления изъявляла на счет мой. Таким образом проходила зима в суетах различных, и одни только придворные трауры, которые по чужим царям и принцессам налагались по обычаю, останавливали иногда по нескольку недель забавы московские и придворные съезды, но это давало случай и царям нашим отдохнуть, и верноподданным счесться с карманом.

Тяжело становилось московским жителям выдерживать такой парад, ибо они не привыкли, как петербургские обыватели, вытягиваться ежедневно в струнку, но столица сильно понравилась двору. Императрицам очень хотелось погостить в ней. Беременность великой княгини послужила тому причиной. Долго думали, что надобно будет к родинам ее перевезти в Петербург, призывали всех медиков, советовались с ними. Срок разрешению предполагался в апреле, следовательно, надлежало или завременно отправиться туда, или уже после родов первым весенним путем, и, наконец, после многих совещаний, государь рассек узел недоумения общего и приказал двору остаться в Москве до весны, в которой ожидали все со страхом и трепетом минуты разрешения от бремени великой княгини. Церемонно проходила зима в чертогах царских и в городе, а я между тем, пользуясь свободой независимого граж-

данина, вел жизнь самую скромную, но приятную, посещал своих приятелей, принимал их у себя, наслушивался московской болтовни, которая имела богатую пищу, и, не быв нигде, как говорят, на юру, так же участвовал во всяком происшествии, как и все прочие, ибо жена моя и дети мне их сообщали из первых рук после всякого праздничного съезда и боярской толкотни.

Ничего для меня не было тогда в Москве забавнее, как разность всех российских обычаев, смешанных в одном городе. Всякое публичное собрание имело множество разнородных оттенков общежития. Двор привлек в столицу дворянство со всех наших провинций, и всякая подсылала модель своих обрядов. Подобно как в реках видны струи воды, и одна отделяется от другой, так в благородном собрании и на балах по разным слоям людей и гру́ппам их можно было приглядеться, кто тутошний житель, кто заезжий, и кто-то прекрасно сшутил, назвав тогда Москву les provinces unies*. Подлинно, в ней вся Россия заключалась в малом виде. Я нередко забавлялся этим зрелищем, ибо множество наехало обитателей Пензы. Я по старой моей там службе со всеми был знаком и нередко у некоторых из них угащивался. В их круговеньках также бывали свои балики, и я иногда в самой Москве, будучи у кого-либо из них в гостях, мечтал, что мне прежние двадцать семь лет и что я в Пензе. Подобный переход из одного света, так сказать, в другой в одном и том же городе представлял приятнейшую смесь нравов и разнообразную картину внешних обыкновений, весьма занимательную. Многие, не знающие России иначе, как по Москве и Петербургу, могли в ту зиму ознакомиться здесь со всеми губернскими городами и почти безошибочно заключить о роде жизни наших внутренних обществ в оных. Я сие, однако же, пишу не в насмешку. Наружное обращение наше не есть вывеской наших внутренних достоинств, люди везде могут их иметь в превосходном степени, и форма платья не делает еще ни умниц, ни честных граждан: можно обедать по моде в пять часов пополудни и быть скаредом так, как и в Пензе носить чепчик не московской выкройки и быть очень любезной. Замечание мое относится только к картине всей публики вообще, в которой от слияния разнородных обитателей множество рисовалось теней приятных для глаз и занимательных для размышления того, кто, как я, имел досуг на просторе в уединенном своем кабинете смеяться и философски разбирать странности человеческого рода.

---

* Объединенные провинции (фр.).

Между тем я не без забот проводил остальные дни года. Мундирное дело мое в Сенате приближалось к решению. Оно последовало точно так, как предположено было в прошлом годе. Министр[19] соглашался на заключение Сената, и наконец доклад от оного отправлен в Совет для получения последней высочайшей конфирмации, в ожидании которой все еще я должен был оставаться в страхе и надежде, но, положась с самого начала производства оного на власть Божию, я и теперь от него единого ожидал своей свободы и часто повторял в уединенных вздохах моих глагол царя Давида: «Изведи из темницы душу мою»[20], ибо подлинно жизнь моя уподоблялась темничной. Шумные рассеяния Москвы не помешали мне исполнить моего ежегодного обета. Я говел к 24-му числу декабря, и в том же месяце прибыла сестра моя большая домой из Болховского своего путешествия. Таким образом, вся наша семья собралась к святкам в свою кучку, остается мне теперь заключить повесть настоящего года, столь богатого для нас в происшествиях уважительных, еще одним обстоятельством, которое по части ученых сведений чрезвычайно меня заняло и дало мне о существе человека новые понятия, стяжанные самоличным убеждением из опытов еще для нас не обыкновенных. Я хочу говорить о силе магнетизма, которому нечаянно был часто свидетелем.

Помнит читатель, что племянница жены моей Пожарская сделалась больна сильными конвульциями еще с прошедшей зимы. Лечили ее, помогали, но кратковременно. При малейшем испуге или волнении снова те же припадки появлялись с силою чрезвычайною, ей нельзя было тронуться с нами в Киев, и она оставалась по связям родства у одной барыни Нероновой до нашего возвращения, и там лекарь нашего дома г. Гольдбах навещал ее и давал ей лекарства. Лето ей принесло большую пользу, она окрепла в силах, но к зиме, переехавши к нам, опять занемогла, и врач наш решился сделать на нервы ее опыт магнетизма. Я целую зиму ежедневно был тут, когда он магнетизировал, и с любопытством всматривался в новый этот способ владеть нервами. О магнетизме уже много писано и толковано в ученом свете, он имеет и сектаторов своих, и противоборцев. Я не хочу приставать ни к тем, ни к другим, не могу школьно и педагогически рассуждать о сем предмете, но заметив, что видел ежедневно несколько месяцев сряду, оставлю здесь на письме мои насчет сей системы положительные мысли. Расскажем сперва наружный образ магнетизма.

Лекарь сажает больного на кресла, становится против него, взглядывает ему пристально в глаза, трогает его за одни пальцы и водит руками

по всему его телу, не прикасаясь, однако, оного, а одним наружным манием от темя до плеч, и от сих спускается ко всем оконечностям рук и ног, так, что руки его очертывают весь человеческий скелет, и действие сие делается очень скоро и повторяется по нескольку раз. Наша больная скоро засыпала и во время сна говорила с лекарем. Тут оканчивались движения его, он садился просто против нее и на все его вопросы она отвечала сонная. Иногда просила пить и пила по целому стакану воды во сне. Сама назначала время, в которое она желает проснуться, например, лекарь спрашивал: «Сколько вы намерены пропочивать?» Иногда она отвечала: полчаса, сорок минут; и врач, держа часы в руках, строго наблюдал ее назначение. На вопросы о ее болезни она рассказывала, отчего занемогла вначале, что ее испужало, и указывала места, кои у нее внутри корпуса болят. Иногда сама испрашивала лекарства. Так, однажды, пожелала иметь на боку шпанскую муху, и лекарь ее приставил с большой для нее пользою. Когда приходил срок ей просыпаться, лекарь начинал новые над ней ручные проводы, а наипаче сотрясал воздух у самых ресниц ее, и она тотчас пробуждалась, но никогда не могла вспомнить ничего того, что говорила, чувствовала и делала в своем магнетическом усыплении. Гольдбах разные производил опыты, например, во время сна ее он подносил часы к ее ушам и спрашивал: «Что вы слышите?» «Ничего!» Но те же часы прикладывал под ложку, и она говорила: «Часы бьют». Точно так же действовал и на чувство зрения. Лист бумаги подносили глазам, которого она не примечала, а как скоро держали его против ложки, под сердцем, она говорила: «Я вижу лист бумаги». Мне случалось говорить с ней и не добиться ни слова, но когда, подобно электрическому проводнику, лекарь сжимал мою руку в свою, а другою притрогивался к ее сердцу и, не касаясь совершенно, указывал только на него пальцем, то она говорила со мною и удовлетворяла моим вопросам, но как скоро руки наши с лекарем разрывались и пропадало магнетическое между нами сообщение, то больная опять переставала слышать меня и говорить со мною. Часто отгадывала во сне, кто в комнату вошел и вышел и, проснувшись, ничего того не помнила. Случалось, что лекарь замедлит разбудить ее в назначенный час, она сама тотчас скажет: «Пора меня будить», — и лекарь ее слушается. Он также магнетизировал и воду, которой поил ее как во время сна, так и оставлял без себя от одного раза до другого для ее употребления, и она пивала ее охотно, без принуждения, не так, как бы лекарство. Вот что я видел и чему был свидетелем во всю зиму. Ни больной, ни врачу не было нужды меня обманы-

вать, и я по крайней мере за то ручаться могу смело, что в опытах сих не было ни малейшего шарлатанства. Все делалось просто, в виду многих, без секрета, без приготовлений предварительных и очень естественно. Всякий день после обеда в шесть часов больную магнетизировали, но как прежде эксперименты сии начаты были с утра в десять часов, и Гольдбах, будучи занят лекциями в Университете[21], принужден был утренние часы переменить на вечерние, то в предосторожность, дабы больная по привычке тела выдерживать магнетизм поутру, не стала засыпать и без него, что могло быть вредно, то он научил дочь мою старшую тем движениям, кои она должна была производить для пробуждения ее над самыми глазами, и действительно, больная не один раз вдруг засыпала поутру сама собой, тут дочь моя тотчас шевелила пальцами, как ее научили, и больная просыпалась. Все то, что я здесь пишу, я видел моими собственными глазами, и как нельзя не верить тому, что видишь, то я насчет магнетизма следующее для себя постановил мнение.

В нем нет ничего чрезъестественного, ни магии, ни волшебства. Я не верю никаким пустым о нем рассказам и отнюдь не думаю, чтоб душа сама собой одна без посредств телесных органов могла действовать, как чистый дух, изъятый из вещества. Нет, этого я не приемлю, а почитаю магнетизм самым хорошим врачебным средством помогать расстроенным нервам и возвращать им силу и порядок в их упражнении. Точно так, как изобретен электерицизм и гальванизм, почему отвергать вовсе и магнетизм. Не надобно верить бабьим вздорам и мистическим бредням наших иллюминатов, которые во всем ищут чего-то таинственного и непостижимого. На их темные и путлявые доводы я никогда не соглашусь, но, видя то, что я видел, смело заключаю, что магнетизм в некоторых болезнях спасти может человечество от многих физических зол и страданий. Я не довольствовался тем, что смотрел, я на все требовал изъяснения от врача и причин, и остался убежден совершенно в его доказательствах, кои так же были мне просто и ясно истолкованы, как и самая метода его лечения была удобопонятна. Любопытнее всего в замечаниях моих было то, что после всякого опыта лекарь чувствовал такую слабость, как будто бы он каменья тесал: со лбу его пот, воспламенение в лице, усталость во всем корпусе очень приметная. Все это доказывало, что он не без напряжения всех сил своих обводил больную руками, хотя это казалось легким и ничтожным телодвижением, но от глубокого внимания в предмете, от постоянного на него взора, от этого общего привлечения всех своих сил к одним пальцам, коими действовал, я охотно полагаю, что он должен был

уставать чрезвычайно и, сообщая больному телу часть своих здоровых сил, терять большую массу оных в самом себе. Это моя догадка. Впрочем, я не могу здесь дидактически рассуждать о сем, а сообщая только феномены, которые я видел, основываю на них мои собственные заключения для себя, дабы, читая кучу книг, способных взволновать воображение насчет сего открытия, знать, чего держаться и чему подлинно верить, иначе все то, чего мы не понимаем, нам покажется чародейством, и человеку свойственно искать чудес во всем том, чего он не разберет ни начал, ни порядка. До сих пор магнетизм еще более имеет противников, нежели протекторов, потому что за него ухватились шарлатаны, написали пропасть вздорных анекдотов, иных соблазнили, а другим наделали досад. Должно надеяться, что сей врачебный новый источник очистится по времени от всякого постороннего ила и приведется в стройную систему, которой искусные медики воспользуются с успехом, подобно как употребляют ныне электрическую машину, которая также вначале, когда критики не очистили ее изобретенья, казалась сатанинской выдумкой. Много еще для нас волшебства в натуре, вся природа — таинство.

В заключение сей долгой диссертации о магнетизме остается сказать, что опыты его увенчались желаемым успехом, и больная наша совершенно избавилась от тех жестоких нервических припадков, коим она была подвержена. Хвала и честь г. Гольдбаху, истощившему столь удачно медицинские свои познании, а более, более и более слава всемогущему Богу, исцеляющему все недуги наши. Сим кончились и магнетические эксперименты в моем доме. С рассказом об оных окончу год, которого происшествии останутся незабвенны в памяти до скончания дней моих.

1818

После тех ужасных переворотов в политическом мире, коим мы были недавно свидетелями, переменился и дух народов, и умы людские остались в беспрестанном брожении. Франция сильно действовала на все страны Европы. Никто не хотел подаваться к умеренному монархическому правлению, и всякий бредил о конституции, о хартиях, о представительном начальстве. Те же идеи посредством книг и журналов волновали и нашу молодежь. Между тем библейские общества неусыпно пеклись о распространении слова Божия, и множество печаталось книг Священного Писания, благочестие вскружило все головы; дела и поступки не ме-

нялись, все те же были злобы, обманы, неправды, но всякий брал на себя личину смирения и набожности. Иллюминаты скромно и тихо раскидывали свои сети, заводились общества сострадания, милосердия и человеколюбия, словом, весь мир вдруг переиначился, и, казалось, Мессия недавно только истины свои возвестил православным чадам церкви. В таком энтузиазме, о котором рассуждать пространнее не мое дело, начался настоящий год. Не было дома, где бы не лежала на столе Библия с новым ее переводом, не было круговеньки, в которой бы не толковали о спасении души, а вместе с тем и о независимости, как будто вера правая и истинная может существовать без покорности, во-первых, Богу, а потом и властям, но те, кои заправляли умами, увидя из опытов, что философия Волтерова не произвела ничего удачного, рассудили переворотить свои маневры и, проповедуя отвлеченные познания, так сильно углубить в них и сбить с пути слабые рассудки, чтоб все испровергнуть и другими только средствами добиться той же цели, какой искали безуспешно энциклопедисты, то есть истребления религии и совершенного безначалия. Я иначе думать не могу о нынешних странных замыслах умных голов наших.

Государь с прилежностию изыскивал средств ввести свободу в свое государство и ослабить поместное право. В начале года он открыл с большой воинской пышностью монумент Пожарского. Сии два подвижники междуцарствия, он и Минин, вылиты были во весь рост из бронзы мастерской рукою первого художника в ваятельном искусстве г. Мартоса и были выставлены на Красной площади против Кремля и гостиного ряда. Долго скрывались лики их от глаз народа за высокими ширмами. Назначен, наконец, день их открытия. Государь командовал войсками; все почести, оказанные сим истуканам, возбудили внимание к великому их подвигу в их время. Воспоминания тогдашних междоусобий зажгли воображение всякого. Начались сильные толки о свободе, равенстве прав, и хотя они ничего не производили, кроме болтовни, однако многие, заразившись республиканскими идеями, не обинуясь, кричали, что деспотизм никуда не годится, что царская власть должна быть ограничена. Везде кричали: пора дать законы, написать конституцию, все кричали, и каждый боялся тени квартального офицера, а общества разного рода и наименования потихоньку возбуждали умы к тому, чего они добивались. Нельзя было не приметить тайного беспокойства во всей публике, которого последствии отгадать было еще трудно, потому что в идеях царствовал нестройный хаос. Всякому хотелось чего-то лучшего, но никто не умел привести мыслей своих в порядок. Вот картина Москвы в то время, как двор обитал в ней.

По открытии монумента государь поскакал в Варшаву. Там был сейм[1], и он изволил говорить речь, с которой дошли в Москву очень скоро летучие копии и в минуту разлились в публике. В этой речи проповедывалась свобода мыслей и вольность народа. Она вся сочинена была в духе тех прокламаций, какие выпускал Наполеон в счастливые дни своего владычества, можно было даже заметить его слог, его собственные выражения. Такая речь не располагала россиян к удовольствию: помещики снова испугались, права их сильно потрясены были, и два чувства, весьма тяжкие для сердца, досада и удивление, овладели почти всеми. Ропот сделался так гласен, что рассудили речь эту прибрать, разными оговорками старались дать другой вес словам царским, и оратор, заметив, что рано еще зажигать фитиль волнения против владельцев, припрятал на время свои орудия. Но по всему видно было, что план вольности в черном народе рано или поздно должен приведен быть в исполнение во что бы то ни стало, следовательно, хотя умы успокоились, но надолго ли, оставалось загадкою.

Торжество монумента имело нечаянную связь и с моим домом. Я должен упомянуть здесь об интересном в нем происшествии. Меньшой сын жены моей Филипп Александрович, будучи записан в военную службу портупей-прапорщиком, ибо он в нее поступил из четырнадцатого класса, и прослужа без пользы года два в ополчении гражданском, несколько лет носил уже унтер-офицерскую лямку. Поведение его так было худо, что многие сверстники обходили его в офицеры, а ему все не доставалось, потому что начальники не представляли. В это время он переведен был в Апшеронский полк из Бородинского и наделал там новых проказ. Добрые наши приятели Мальцевы, имея хорошие связи знакомства с первыми военными чинами в государевом штабе, тронувшись слезами жены моей, оказали ей редкий опыт великодушного дружества: воспользовавшись сходством имени пасынка моего с виновником торжества, решились они хлопотать, чтоб в честь мертвому герою Пожарскому произведен был чрезвычайным образом в офицеры юноша, носящий одно имя с ним, хотя справедливость обязывала сказать, что фамилия детей жены моей совсем не от того Пожарского происходила, который спас Россию, но привязка счастливая сулила благонадежный успех. Прошен был генерал Закревский. Он доложил о том государю. Намерение не удалось, однако я не меньше обязан остался навек такому благородному поступку Мальцевых, какого никто другой с той же охотою и ревностью конечно бы не оказал из сожаления к огорченной матери. Вот что можно назвать

истинным благодеянием. Такие опыты редки были в наше время, а тем самым драгоценнее. Неудача огорчила нас, это правда, но удовольствие видеть, что есть еще люди, готовые делать добро без корысти, много усладило горестные наши чувства. Чего не сделал случай и подбор, то само собой скоро потом исполнилось, и жена моя наконец увидела сына своего в офицерском мундире. Его представили по порядку, он произведен, мы его всем снабдили, поставили на ноги и надеялись, что авось либо золотой темляк и шпага удержит его от худых поступков и остепенит в приличной нравственности. Так надеялись и были спокойнее насчет будущей судьбы его.

Старший сын жены моей Алексей между тем, в строгом затворе живучи в деревне, одумывал свои проказы и, приходя в раскаянье, исправлял свое поведение. Тетка его родная Владыкина принимала его иногда к себе и своими средствами старалась улучшить его положение. Там он снова влюбился и, будучи наклонен к восторгам, опять вздумал жениться. По счастью, встретился предмет, сходный с обстоятельствами семейства. Молоденькая девушка, Любовь Николаевна Карякина, дочь пожилой и достаточной старушки, охотно располагалась ответствовать его страсти. Они скоро друг друга поняли, и тетка приступила к делу. Хотя барышня Карякина не могла иметь большого удела из материнского имения, ибо у нее были и сыновья, и дочери еще кроме этого ребенка, но, по пристрастию к ней, старушка готовила ей изрядное поместье, из ста душ почти состоящее. Для дворянина, который не намерен жить в большом свете и ищет одного прочного благосостояния, чего же больше? Матери наш молодец полюбился, дело пошло на лад, оставалось испросить соизволение жены моей. К ней писала сестра, и она скоро согласилась. Я споспешествовал и с своей стороны сколько мог сему приличному союзу. В самом деле, Алексей был так влюбчив от природы, что он бы мог жениться самым непристойным образом на всякой девке, не разбирая никаких отношений, у которой личико бы ему понравилось. Итак, чтоб помешать ему жениться некстати, надобно было поскорей его женить на первой порядочной девушке, которая встретится, а здесь представлялась невеста молоденькая, изрядная собой, с хорошим приданым и, по-видимому, порядочно воспитанная. Чего же мешкать и задумываться? Жена решилась и дозволила. Семейство сих Карякиных нам было знакомо во время нашего пребывания в Володимире. Там у них был свой дом. Получа благословение матери, Алексей помолвил и Великим постом приехал с невестою своей и одной ее родственницей в Москву для разных за-

купок. Мать ознакомилась с будущей своей невесткой, и она ей понравилась. Увидя искреннее раскаяние сына своего и получа надежду, что сим союзом он остепенится и будет ей со временем в отраду, она забыла все прошедшее, чистосердечно его простила, и мать с сыном с тех пор совершенно примирились. Свадьба присрочена в июне, покупки все в Москве исправлены, будущие супруги, погостивши дни три с нами, возвратились опять в Володимир мечтать о грядущих днях блаженства и питать взаимную любовь друг к другу.

Приезд Алексея в Москву не так легко было перенести сестре моей. Хотя первые движения досады и прошли, как у нее, и у жены моей, однако необходимое с ним свидание в том же доме, где происходили недавно столь возмутительные сцены, тяжело было для сестры моей и возобновило прискорбные ее чувствования. Да и могло ли быть иначе? По принятому предубеждению, питомка ее лишена была всех выгод своего пола, тогда как соблазнитель, заклавши жертву невинную, готовился к измене, к новому супружеству и к счастливому обороту судьбы своей. Для него все было забыто, прощено, изглажено, — для несчастной Груши оставались вечные упреки совести и горькие слезы. Чем она была жальчее, тем сильнее страдала сестра моя, и я, хотя входил совершенно в ее положение, но из уважения к жене моей не мог освобождать ее от неприятных встреч с пасынком моим. Он сам, чувствуя всю силу своих продерзостей, не осмелился даже остановиться в нашем доме и избегал случая оскорблять сестру мою своим присутствием, уловляя на свидание с матерью те часы дня, когда сестра имела обыкновение быть в своих покоях. Груши еще не было в нашем доме, и она оплакивала свои заблуждения в деревне у Яньковых. Сколько жена моя ни старалась сохранить приличные виды согласия и дружбы с сестрой, а та с ней, нельзя было не заметить, что искренность в обращении между ими почти совсем исчезла со времени проказ Алексея, которые сильные оставили впечатления в одной против него, а в другой против воспитанницы сестриной. Случаи подобные неизбежны, от них ничем не защитишься, и где укажут мне большое семейство, в котором не было бы потаенных своих неприятностей? Счастливы уже те, у коих они скрыты от глаз посторонних и не делают соблазна. О сем уж только об одном я прилагал всякое старание и, благодаря Бога, не всегда безуспешно. Обратимся за сим к важнейшему событию настоящего времени в моем доме.

Пять лет уже истекало, как я по кончине матушки владел имением и из опытов ясно видел, что доходов с оного едва достаточно на содержа-

15 Зак. № 3975

ние нашего дома, а о платеже долгов из того же прихода и помышлять было невозможно. От разных причин долги мои год от году увеличивались, и при всякой переписке партикулярных актов встречались новые неприятные хлопоты, которые задерживали нас в Москве и часто расстроивали еще более наше состояние. В таком положении обстоятельств нечего было делать другого, как продать что-либо из имения, дабы разделаться с кредиторами, и, оставшись должным одной казне, дышать свободнее. Пал жребий на Никольское. Нижегородская деревня была гораздо важнее подмосковной по всем соображениям и расчетам. От Никольского я получал очень мало прибыли. Двадцать тягол не в состоянии были довольствовать меня во всю зиму нужным запасом всякого хлеба. Я и овес, и сено покупал начиная с декабря. Главная польза от сей деревни состояла в дровах. Имея лесную дачу, я их получал на своих подводах, и дом мой отапливался без денежной издержки, но для пространного такого дома, каков был наш, в котором топилось до тридцати печей, нужно было выставить всякую зиму до двухсот почти сажень дров, а такая поставка, как я сам должен был в том согласиться, слишком была тягостна для двадцати тягол, и неоднократно доходил до ушей моих ропот крестьян, следовательно, польза была смешана с опасностию и надлежало от нее оградиться. Могли дойти жалобы поселян до трона. Государь, защищая свободу, конечно, вступился бы за мужиков моих против меня, и я мог потерпеть большие убытки и неприятности. Все это одумавши, я решился продать Никольское и тем еще более, что сам никогда почти в ней не жил, а не жил оттого, что, признаюсь, терпеть не мог этого местечка, в котором я осужден был судьбою во всякий мой приезд оплакивать кого-нибудь или что-нибудь, и, словом, Никольское так было для меня ненавистно, что если б я был довольно богат, чтоб прихоти свои выполнять, то первая из них была бы продажа Никольского, и подлинно, воспоминая историю сей деревеньки с тех пор, как сделалась она нашей, всегда я видел в ней или причину, или последствие чего-либо неприятного. Досталась она нам после арестанта, который сидел под караулом, и последний сей кусок хлеба его продавался с публичного торга. Тут батюшка построил завод винокуренный и скрывался от глаз народа и семейства своего в глубоком уединении. Никольское было памятник прискорбной его и темной старости. После него матушка продолжала тут винокурение, и неоднократные подозрения правительства, что тут делается корчемство, наносили ей сильные оскорбления. Наконец, все заводы, требующие дров, в Московской губернии запрещены, и Никольское ос-

талось при одних скудных своих средствах. Не говоря подробно о тех случаях, в которые я приезжал то о том, то о другом поплакать сюда, увенчаем исторический рассказ о Никольском тем, что во время нашествия неприятеля матушка тут скрывалась со всеми с нами и покровом Всемогущего защитилась от всякого зла, а потом, по недужной старости своей не имея уже сил перебраться в Москву, скончалась в тесных горницах своего убежища Никольского, и сим заключается повесть о подмосковной, которая, быв припечатана в газетах с генваря месяца в списке продажных имений, очень лениво торговалась, и охотники редко вызывались купить ее.

Тянулось это дело до мая, а в мае, как известно, наступал срок закладной, выданной госпоже Зон, которая хотя получила ее от меня по возвращении из Киева в октябре, но я, зная по совести, что деньги занял в мае, не мог относить и права закладной полгода далее, и потому надлежало скорей разделываться с Катериной Андреевной, иначе я не мог ничего предпринять. Ей самой вздумалось купить Никольское. Имея нарочитый денежный капитал, она хотела обратить его в недвижимую собственность и приискивала купить деревню около Москвы. Чего же лучше Никольского? Оно же у нее в закладе и, следовательно, могло обольщать ее дешевизною уступки. Муж ее осмотрел, деревня полюбилась. Начали торговать, и положена была имению крайняя от нее цена сорок шесть тысяч пятьсот рублей. Мы ударили по рукам, но я задатка не взял, а последний срок для совершения купчей отложил до мая, то есть до истечения срока закладной. Заметим, что предварительные переговоры между нами происходили в марте, и в течение этого времени не запрещено было от меня ни г. Зону, ни его сожительнице наезжать в Никольское и осматривать его. Пользуясь сею свободою, они слишком скоро обнаружили виды свои крестьянам. Лифляндская экономия, которую они заводить хотели и которая очень далеко отстояла от моей, не полюбилась крестьянам. Будучи еще моими, они всячески старались уклониться от этой продажи и приискивали сами других купцов, чтоб только не принадлежать Зону, который казался им зверем.

Пока все сии облака сходились и сгущали воздух около меня, князь Юрий Владимирович, увидя в газетах, что я продаю подмосковную, рассудил в другой раз сыграть со мною роль мнимого благодетеля и предложил мне купить Никольское. Кондиции его состояли в следующем. Он заплотит мои долги в партикулярные руки, составляющие тридцать пять тысяч, возьмет на свое имя закладную, выберет продажею леса свои

деньги и потом отдаст сыну моему деревню, а тот доплотит мне остальные пятнадцать тысяч, подаренные ему по духовной князя, что составит полную сумму пятидесяти тысяч, которую уже разные покупщики после Зоновой набили. Что могло быть сего выгоднее? Мое именье переходило таким образом не в чужие руки, мужики благодарили Бога, и я был очень доволен, примиряясь с своею совестью, которая стала бы меня мучить, ежели бы я, по открывшимся корыстолюбивым и низким поступкам госпожи Зон, устоял в намерении ей продать имение. Оставалось разделаться с нею и уничтожить старую закладную, чтоб дать новую князю. Сын мой привез мне для этого десять тысяч, я их отдал Катерине Андреевне. Тщетно она на меня сердилась, не хотела принять денег; и насильно у меня купить деревню тремя тысячами дешевле того, что я за нее уже мог получить. Досада мужа и жены ничего не подействовала, я внес деньги в Гражданскую палату, та у них вытребовала закладную и мне возвратила. Итак, с тех пор всякое знакомство между нами кончилось, и мы уже не видимся. Катерина Андреевна слишком явно оказала, что она желала воспользоваться моим стесненным состоянием и правом, которое давала ей моя закладная, когда требовала, чтоб я ей продал за сорок шесть тысяч то, за что мне давали пятьдесят тысяч, и не дал бы между покупщиками преимущества старику князю Юрию Владимировичу, который так охотно ее торговал, да еще и не для себя, а для моего сына. Все мои домашние обрадовались, когда разорвались наши связи с Зоновой, ибо никому не хотелось, чтоб Никольское ей досталось.

Для окончания моих собственных дел мне этого было не достаточно. Расплатясь с Зоновой, мне оставалось то же сделать и с прочими кредиторами, но трудно было у князя Юрия Владимировича вытребовать обещанные им двадцать тысяч. Он вел день за днем, сулил и не давал, а между тем, вступя во владение моей деревней, запродал в разные руки лес, и таким образом я переставал быть владетелем своего имения, не получив за него денег, и кредиторы мои некоторые уже подавали векселя на меня ко взысканию. Я был поставлен в самой отчаянной крайности. От старика денег добиться я не мог. Лес мой рубили без моего согласия. Ссориться с князем было тяжело, судиться еще печальнее, уступить невозможно. Что было делать? Я увидел, но поздно, что намерение княжее было таково, чтоб, продавши лес мой, вырученными за него деньгами заплатить мне сумму двадцати тысяч, в которой мы условились, то есть моим же добром да мне оказать благодеяние как бы собственно свое. Я тотчас открыл интригу княжую при сем случае и алчность к корысти,

но надобно было осторожнее с ним разойтиться, чтоб из уважения к летам его, общему со мною имени и заслугам не выставить его в посмешище перед всей публикой, по которой уже сие последнее его дурачество разнеслось, что он отнял у меня деревню: купить не купил, а сам из нее вывозит лес и продает его барышникам, да и то так неосновательно, что одну и ту же дачу в одно и то же время продал и казне, и леснику так, что оба вдруг приехали рубить дрова, и никто не знал, которого допустить.

Видя такие замешательства, я принужден был отказать князю в продаже именья под видом тем, что я нашел купца, который вдруг дает мне пятьдесят тысяч, и при сем разрыве с ним нашего условия, совестного, а не письменного, принужден был взять на себя исполнение всех его сделок с лесниками, с которых он нахватал задатки, желая сделать спекуляции над моим имением, чего не удалось. Рощи были проданы неосновательно, я обязан был на все соглашаться, и, приняв до пятнадцати тысяч за оный денег вместо осьмнадцати, чего ниже нельзя было продать моего леса, да и то золотом и серебром, следовательно, с большой потерею, потому что мне, кроме партикулярных платежей, надобно было взносы сделать в казну ассигнациями и платить по восьми процентов лажу на рубль, все это опрокинуло мои расчеты. Я никак не мог их свести по своему желанию, и притом, дабы мне более не одолжаться князем и не иметь с ним никакого дела, я занял десять тысяч у ростовщика по двенадцати процентов и, заложа ему Никольское, заплатил князю ту сумму, которой он меня ссудил для выкупа имения у Зоновой. Итак, оставался я опять владельцем голого Никольского, но, по крайней мере, без шума разделался с князем, изворотился в долгах и почти готов был сесть в карету да ехать из Москвы, как вдруг накануне нашего отъезда родственница наша Иванова Катерина Ивановна прискакала ко мне торговать Никольское. Она его знала, и деревня ей нравилась. С первого слова она мне дала за нее пятьдесят тысяч следующим образом: исключая те пятнадцать тысяч, кои я получил за лес, и принимая на себя последнюю мою закладную, выданную ростовщику, платила мне остальную сумму чистыми ломбардными билетами и брала издержки купчей на себя. Я уже в это время мог бы на год еще отсрочить сию продажу, но, зная, что те же обстоятельства будут и в будущем годе, те же мои утеснения возобновятся, и Бог знает еще, найду ли я купца, я решился окончить продажу ныне и, в одни сутки совершив купчую, очистил около себя все домовые тучи, и за заплатою оставшиеся у меня пятнадцать тысяч отдал под вексель

взаймы княгине Горчаковой, которая терпела тогда крайнюю нужду в деньгах, и чем хуже отец ее поступил со мной, тем приятнее было для меня оказать ей мою услугу, дабы отделить ее совершенно от отца в чувствах, которые я прежде питал ко всему дому вообще.

При сем случае должно сказать откровенно, что поступки князя Юрия Владимировича были неблагоразумны. Чего он хотел, обманывая меня так нагло? Воспользоваться моею слабостью или недостатком? Он возмечтал, что я, не будучи хозяин, продаю за бесценок имение потому только, что на мне Зонова затянуть готова мертвую петлю, но когда осмотрел деревню и увидел, что я не потерял расчета, что деревня продается в своей цене и что ему тут из чванства и пустой своей славы никакой выгоды найти нельзя, то он, любя проекты, где есть барыш, отступился тотчас от настоящего и, лишив меня купца, лишив леса, причиня множество убытков, наконец отступился, да еще и с досадой на меня, от попечения о моих делах. Спрашиваю я, что тут благородного, хорошего, достойного его имени и чинов? Все вообще в городе его винили, все жалели обо мне и укоряли за то, что я [с] ним связался в денежном деле, но я еще не смел и подозревать его способным все то сделать, что он произвел со мною в этой несчастной покупке. Итак, Никольское с начала владения им и даже до последней минуты было для меня виною досад и разных огорчений. О! Как я был рад, что я его продал! А с князем Юрием Владимировичем, слава Богу, мы остались в политическом отношении приязни. Я к нему езжу по-прежнему, он делается по-прежнему благодетелем моего семейства, и я в учтивом и скромном обращении с ним поставил себе правило уже ни в чем не доверять ему и ни в какое денежное дело не входить с его сиятельством. Это один способ с ним не поссориться, чего только я и желаю.

Домашние мои неутешно сожалели о потере Никольского, всякому было чего-нибудь в нем жаль. Жена лишилась разных домашних съестных запасов, которые всегда дешевле купить, нежели свои обойдутся, но, по одной привычке к слову «это свое, это домашнее», жена моя тужила и о птицах, и о скотном дворе, и о пеклеванной муке, и о прочем. Извиним слабость женскую, это ей принадлежит. Сестра печалилась о том, что некуда приехать ныть летом без нас, и одно название подмосковной так приятно отзывалось в ушах ее, что она не могла равнодушно переносить, что у нас ее не будет. Классону жаль было акаций, рассаженных им, и тамошней воды, какой он не находил нигде в свете и оттого был влюблен в Никольское. Детям жаль было кому кормилицы, кому

брата крестного или кустарника, или молочного приволья, словом, всякий о чем-нибудь тужил, один только я радовался, что стряс с шеи огромный мешок долгов и, будучи должен одной казне, не стану платить ни по двенадцати, ни по пятнадцати процентов и не буду так стеснен в моей свободе. Если мы рассудим, отлагая всякое предубеждение, о сей продаже, то увидим, что она была необходима и полезна. Платеж процентов уносил более денег, нежели приобреталось от владения Никольским. Отныне я должен был покупать дрова и на важную сумму, согласен; но все она была менее той, которую брали с меня ростовщики. Впрочем, по самому мелочному расчету, Никольское не могло мне дать никак пяти тысяч дохода, а продавши его за пятьдесят, натурально, что я их получал без присмотра, хозяйства и хлопот. Вот и самая важная выгода, которой отвергать в моем положении было невозможно. Жаль, конечно, лишиться собственности, но надобно уметь для сохранения вящей пользы пожертвовать приятною привычкой и лишиться того, что долго было наше, когда оно ведет нас к лучшему. Я всегда имел в предмете не иначе лишаться недвижимости, как в случае необходимом и за самую высокую цену. То и другое мне удалось сохранить, ибо я продал ее в самое нужное время и за такую цену, какой выше никто не давал, хотя она была торгована многими и несколько месяцев. В рассуждении крестьян моих, я очень был насчет их спокоен. Они от меня переходили к госпоже кроткой, доброй, за которой они не должны были бояться никакого утеснения, а если б когда-нибудь они и вздохнули, вспомня прежнее свое подданство, то сам Бог их накажет за ропот, с которым они иногда отговаривались от умеренных моих требований, но я сего им не желаю и, помня, что мы вместе с ними делили невзгоды Москвы, молю усердно Бога, чтоб он навсегда защитил от всякого зла тот угол несчастный и ту хижину мрачную, в которой среди добрых и послушных своих поселян мать моя скончала плачевные дни своей тяжкой старости. Первым моим попечением было, потеряв Никольское, приготовить жилище в московском нашем доме для матушкиной служанки, известной Елизаветы Степановны, которая обитала во флигеле господском в Никольском и которая также не без горя оттуда выбралась, но в Москве нашла то же спокойствие и заботы мои о себе, ибо на них не место действовало, а обязанности моей совести, которых я никогда не поверял ни влиянию случаев, ни силе обстоятельств и старался сохранять ненарушимо повсюду.

Так как продажа именья был для меня акт самый важнейший в жизни, то, изложив здесь причины, которые меня к тому побудили, я соста-

вил особый счет употреблению денег, дабы потомки мои видели, что я не блудно расточил имение отца моего и лишился его по крайним моим недостаткам. Пусть обратят внимание на всю мою жизнь, проведенную в Москве с тех пор, как я после матушки сделался помещиком. Этому прошло уже пять лет. Я не думаю, чтоб кто укорил меня мотовством, а долги росли, росли и превышали меру терпимости от обстоятельств. Надобно было перестроивать все людские, это стоило больших денег. Подошли платежи капиталов в Воспитательном доме по долгам матушки, доходов на них недоставало, они выплачивались займами. Ездил я в Киев, путешествие стоило дорого, но тут не было прихоти, дети мои рассудят, что я обязан был понести сию издержку. В чем же лишнем укорю я себя? В театре, но он не так дорого стоил, не так долго продолжался, чтоб мог быть виною большой расстройки в моем состоянии. Главная потеря, которую я навлек сам себе от излишнего добросердечия, это поручительство мое за Дица. Оно, конечно, довершило необходимость продажи Никольского. Я бы все его продал, но без этого резкого и нечаянного убытка я бы мог еще несколько лет сохранить его за собою. Вот большая самая моя неосторожность, в которой я должен быть обвинен на суде моих наследников, и суд их заранее им прощаю, ибо он будет справедлив. Этот опыт доказывает, что и добро, вышедшее из границ своих и несообразное с правилами благоразумия, часто равняется злу и даже менее его извинительно бывает.

Рассказавши здесь в самой большой подробности все, что касалось до продажи Никольского, я зашел слишком далеко во времени года, ибо все это случилось в мае, но мне хотелось вдруг читателю представить сей предмет во всем его объеме, а теперь поворотимся назад, ибо до мая месяца еще происходили около нас разные случаи, заслуживающие мое воспоминание в этой повести.

Я имел обыкновение по два раза говеть в те годы, в которые день моего рождения, 7 апреля, приходился в такой день Великого поста, когда бывает обедня златоустовская. Ныне это приходилось в Вербное воскресенье, и я приготовился к очищению своей совести. Трудно было мне остаться на сей раз у прежнего моего духовника не столько потому, что Никольское продавалось, ибо отношения между нами основаны были не на правах владычества моего, а на взаимных доказательствах приязни, как по причине распутицы, которая в апреле месяце затрудняет все пути и дороги. По сему обстоятельству мне надобно было приискать другого духовника. Неприятно их менять без нужды, но здесь настояла надоб-

ность, связанная с тем уважением, что может иногда духовник занадобиться так скоро, что из деревни его не успеешь и выписать, и так заблаговременно лучше на случай смерти избрать и приготовить себе поверенного духовного в делах нашей совести. Около нашего дома в чужом приходе жил священник умный, острый и ученый, мне знакомый. Чем далеко ходить и долго выбирать, я обратился к нему, и с той поры он остался моим духовником только на случай, подобный настоящему, а в обыкновенное мое говенье, то есть к святкам, добрый никольский мой священник, несмотря на продажу имения, всегда охотно приезжал меня исповедывать.

Вступивши в пятьдесят пятый год моей жизни и начав его самым священнейшим действием, ибо я в день моего рождения сподобился причаститься в своей до́мовой церкве, ожидал, что сей год будет для меня легче и сноснее многих других. Напротив, я не помню никакого года в моей жизни, в который бы я так беспрестанно переносил разные неприятности, как в нынешний. Во все триста шестьдесят пять дней его течения не было ни одного, о котором мог бы я сказать, что я доволен. Редко попадаются такие годы. Встретится иногда беда и пройдет, а со мной ныне, слава Богу, не беды, но беспокойства и разные неприятности встречались ежедневно. Потянем их нитку от самого дня рождения.

После Страстной недели, столь тяжкой для сердца и здоровья и во время которой человек всегда бывает недоволен от физической расстройки его желудка, готовились мы провести приятно светлый праздник. Вместо того в тот самый час, когда я сбирался со всем моим семейством к заутрене, рождающей столько восторгов в душе, присылают мне объявить из дома сестры моей двоюродной Татищевой, что сын ее, молодой малый лет двадцати пяти, мой племянник, Конной гвардии офицер, не быв болен, в жестоких конвульциях умер[2]. Весь праздник наш пропал. Мы во всю Святую неделю не отлучались от несчастных родителей, были все у них, схоронили юношу и не могли принять участия ни в каких увеселениях города, потому что сердце было заперто ко всем чувствованиям удовольствия. Так протекла Святая неделя, и нельзя было не заметить особенности сего случая в отношении к нам, ибо в Москве тогда происходило событие, которое веками удается, и именно в то время мы лишены были возможности делить народное торжество. В середу на Святой неделе 17 апреля великая княгиня разрешилась от бремени сыном. Государя не было в городе, он объезжал отдаленные места внутри и около своей империи[3]. Младенцу имя дано Александра. Окрестили его в Чудове

мая 5-го числа со всею возможною пышностию. Москва с восхищением видела, что в стенах ее родился мужеский плод от порфирородной четы, столь давно и тщетно доныне ожидаемый. Стихотворцы уже уподобляли младенца сего Петру Первому, собирая в венец судьбы его грядущей разные счастливые предзнаменования, сопровождавшие минуту появления его на свет, и подлинно, дитя родилось на Святой неделе, когда все колокола повсюду звонят, и церковь, и народ, и все в торжестве. Сама природа вступила в весеннюю свою ризу, и прекраснейшее утро воссияло пред рождением младенца. Прибавьте к сим предзнаменованиям и то, что в самый миг его рождения гвардия училась в Кремле против окошек новорожденного, и как бы нарочно начинался церемониальный марш всего парада в тот самый момент, когда выезжали из дворца объявить толпам народа, бдящим уже тут за несколько часов из любопытства, что Бог даровал России великого князя. Все сии радостные волнении сделались нам чужды, нам было не до них, и мы, кроме слез горчайшего отчаяния, ничего не видели, кроме тяжких вздохов убитых родителей, ничего не слыхали, следовательно, хотя случай сей нельзя для нас собственно назвать бедой, но по тем необыкновенным лишениям, с коими оно сопровождалось, заслуживает, конечно, быть особенно замечено. Чем скромнее проведен был весь пост, в который, подражая двору, всякий изъявлял самое строгое наружное благочестие: везде говели, молились, постились, никаких не смели дать пирушек, ниже потаенно про себя и домашних, — чем, говорю я, скучнее провели Великий пост, тем сильнее обрадовались и Святой неделе, и рожденью великого князя, и предлог сей произвел разные увеселения, коих мы лишились. Не для себя я жалел об них, но для дочерей моих, которые, просидя пост взаперти, принуждены были и тогда, как все запрыгало и зашумело, навещать печальных и утешать плачущих.

Лишь только стали мы отдыхать от сей нечаянной тревоги, как тотчас поспела и другая. На Фоминой неделе 23 апреля получил я с эстафетой из Тулы от Любовь Ивановны Безобразовой печальное известие о кончине тещи моей Марьи Яковлевны[4]. Она, не быв ничем почти больна, вдруг ослабела и, доживши до восьмидесяти лет, весьма тихо вечным сном уснула. Сколь ни естественно умирать в ее годы, но нам всегда будет жаль тех, кои милы, хотя бы мы их погребали и после ста лет жития. Марья Яковлевна старушка была почтенная, добрая, все дети ее любили, а паче привязаны были к ней дочери. Трудно было мне объявить о сем жене, которая ничем не была приготовлена к такому известию. Но де-

лать нечего. Я сказал ей о эстафете, она отгадала причину, я подтвердил догадку, и сильные истерики были следствием во весь тот день душевного потрясения. Редко мать была так искренно и горячо оплакана столь большим потомством, которое оставалось от сего корня. После нее мы считали до восьмидесяти душ детей, внучат и правнучат, ибо она увидела исчадие чад своих до третьего рода и, проведя жизнь долголетнюю в удовольствиях счастливого супружества, во всяком изобилии, переносила великодушно кучу бед, обременивших ее под старость. Не имея дома, ни пристанища в Москве со времени неприятельского всесожжения, она удалилась в Тулу, где сын ее старший Дмитрий и любимое чадо ее содержал откуп. Живучи тут с ним, она смиренно переносила всякую нужду, молилась, постилась, вязала чулки и молча просиживала по целым дням, не показывая ни малейшего знака уныния. Говоря о ней в коротком сем рассказе, нельзя не заметить отличного ее поступка при разделе имения между детьми. У них было пять сыновей, именье стариков составляло до четырех тысяч душ; из восьми дочерей шесть были замужем и отделены, а две оставались в девках. Старик отец хотел выделить жене своей пристойную часть имения для ее содержания, но Марья Яковлевна требовала, чтоб все именье, не оставляя ей ничего, было поровну разделено между сыновьями. Пристрастие ее к сыновьям исполнилось. Муж любил жену и не мог ей противиться. Большое имение разделено без шума и спора в два часа. Всякий сын обязан матери давать до конца дней ее по тысяче двести рублей на прожиток, но некоторые из них все прожили и не могли уже выполнять сей обязанности. Бедная Марья Яковлевна, не имея собственности, ни верного дохода, всю старость свою провела в том имении, которое досталось двум незамужним дочерям ее в Тульской губернии, и от них получала все свое продовольствие. Можно ли было о такой матери не плакать? Все заплатили ей искреннюю дань любви и благоговенья. Я сам чрезвычайно о ней сожалел, потому что ценил душевные ее качества и имел многие опыты ее ко мне хорошего расположения. Так как нас родных в то время съехалось в Москве много, но ближе и старее меня никого не было, то я почел себя обязанным отправить богослужение о душе ее в бывшем ее приходе на Остоженке, где служил обедню мой хороший приятель Евгений, бывший тогда Донского монастыря архимандритом, и где собранное племя Безобразовых возвеличило память умершей непритворными слезами и умиленной молитвой в чистом сокрушении сердца. Так оплакали мы добрую нашу и почтенную старушку. Вечная ей память!

Со дня моего рождения неприятные случаи в таком множестве около меня скоплялись, что даже не успевали мы отдохнуть от одного, как настигал другой. Подобно тонким дождевым облакам в осеннее время, событии текли в ближайшем между собою расстоянии и сливались часто в одну густую массу. Так и ныне, в самое еще то время, как жена оплакивала мать свою и все семейство соучаствовало в ее печали, я должен был заняться плачевными неустройствами в семье зятя моего родного графа Ефимовского, которого дочь Катенька по выздоровлении своем от белой горячки влюбилась в гусарского офицера Муравьева и, наглядевшись на него в нынешней зиме на разных балах, решительно объявила отцу, что хочет за него замуж. Отец не мог ей дать хорошей части из именья своего, запутанного в долгах, хоть и большого. У Муравьева отец с матерью, живучи давно в разводе, были не богати и также ничего дать сыну не могли. Что за свадьба? Один роман! Зять мой это чувствовал, любил до безумия Катеньку, не хотел соглашаться и не смел противоречить. Состояние его было очень жалко. Он сообщал мне свои печали, искал у нас отрад и советов, никто не мог ему ни первого доставить, ни последнего дать, все входили в правильное его сопротивление, но никто не мог ему дать сил устоять в нем, а Катенька столь хитро владычествовала над ним, что никакая сторонняя помощь ей была не страшна, и она по времени желаемого достигла. Сии беспокойства, столь близкие к моему сердцу, потому что дело шло о дочери моей родной сестры, прибавляли свою тягость и лишний камень привязывали к прочим горям, которые судьба на сердце мое накладывала, но еще кое-как я имел силы сохранять равновесие, как вдруг все опрокинулось продажей моего Никольского, и я едва мог перенести досады огорчений, беспокойств, недостатка, с коими, как выше описано, сопровождалось столь простое, впрочем, само по себе обстоятельство. Кто не продает деревни, и кому же это так необыкновенно тяжело бывает? Но для меня судьба начинила бомбу так круто и столь яркими веществами, что, как она треснула и разразилась в моем доме, я едва мог спастись от совершенного и всеконечного разорения. Бог поправил мои обстоятельства, он один изымал меня из глубины житейских зол, когда люди в ров их ввергали. Тебе поем и благодарим, Всемогущий!

По прошествии столь многих то горестных, то смутных обстоятельств небо вокруг нас на минуту прояснилось. Мы собрались в деревню. По случаю свадьбы племянницы моей с Муравьевым, на которую вынужденно согласился зять мой и отсрочивал ее до октября в надежде тщетной, что, может быть, дочь его одумается, он желал, чтоб дочь моя

Варенька приехала гостить в село его Введенское. Я тем охотнее на это согласился, что она по возрасту своему не могла находить в нашем уединении большого удовольствия, а удовольствие есть жизнь и воздух молодых людей. Сама Москва еще представляла разнообразные увеселении. Скоро после родин великой княгини прибыл в Москву из Варшавы великий князь Константин Павлович, возвратился государь из своего путешествия, и к приезду короля прусского, которого ожидали к июню, готовились разные праздники. Дочери моей старшей по ее живому и пламенному характеру всего этого хотелось видеть, во всем участвовать, и я ей позволил остаться с теткой в Москве. Вместе они среди лета съездили к Яньковым, и среди лета приехавши в Введенское к зятю, остались у него до печальной свадьбы, печальной, говорю, потому что ни с стороны жениха, ни с стороны невесты никому это соединение не нравилось. Мне уже и двор, и праздники его были не в диковинку. Я мог сказать, как Луцинда в «Оракуле»[5]: «Maman, j'ai tant vu le soleil!»*. Итак, жена, я и меньшая дочь, которую я еще воспитывал сам и ни с кем никуда от себя не отпускал, да племянница жены моей Пашета, мы обыкновенным порядком частию на своих, а частию на почтовых и вольных, как где случалось, отправились и выехали из Москвы мая 30-го прямо в Александрово на Володимир, где, ежели припомнит читатель, ожидала нас свадьба пасынка моего, присроченная к нашему приезду.

Столь приятное для жены моей обстоятельство, ибо она в нем видела и исправление сына своего, и получала сладкую надежду, что он остепенится и будет служить ей отрадой в потере любимой дочери, которой она забыть не могла, и отчаянного поведения меньшого ее сына, столь приятное, говорю, происшествие лишено было тех особенных прелестей, каковыми обыкновенно сопровождаются подобные случаи, как будто нарочно для того, чтоб в этот год жизни моей и самые радости чем-нибудь омрачены были и теряли достоинство своей цены. Жена моя в первый раз виделась с сыном своим после его проказы накануне, так сказать, венца. Шалости его и эпоха их живо представилась снова ее воображению и не могла не возмутить оного. Оглядеться и примириться в спокойном духе некогда было. Приближался Петров пост[6], спешили свадьбой, да и пора было ее совершить. Итак, мы едва успели приехать в Володимир, как на другой же день поскакали в деревню к Авдотье Алексеевне Владыкиной. Там скоропостижная свадьба наша совершилась в одни сутки. Ме-

* Матушка, я столько раз солнце видела! (фр.).

жду деревней невесты и той, где мы были, расстояние протянулось на тридцати верстах, дорога была грязная, но погода хороша. Мы отпустили жениха к венцу с теткой и провели весь день в приготовлениях к возвращению молодых. Пиршество не могло быть ни пышно, ни многолюдно. Чету обвенчали и привезли в Русино. Тут был ужин, и все мы переночевали кое-как, кое-где в нестройной суете и сталкивались, как на дорожном ночлеге. Такой брак не мог возбуждать сильных восторгов и радовал только потому, что виды будущие были благонадежны ко счастию новобрачных. Назавтра еще попировали мы все вместе и разъехались, кому куда был след: молодые отправились в Володимир выполнять светские обряды с тамошним их родством и знакомствами, а мы благополучно прибыли в свое Александрово 9 июня. Заметить должно, что Алексей женился 5-го числа и в тот самый день, в который шла мать его за первого своего мужа и их отца. Едва успели мы обжиться в уединении своем, как новое налетело неудовольствие. Меньшой пасынок мой, промотавши все деньги, которые даны ему были на прожиток при пожаловании в офицеры, и даже несколько нужных вещей из его амуниции, прискакал к нам искать новых пособий. Несмотря на хитрость, с которой он хотел уловить мать свою, прискакавши к ней в самые ее именины[7], она отказала ему в новом пособии и снабдила деньгами только для возврата в полк. Он и те убил, слоняясь в уезде то там, то сям и, проживши только сутки у нас, скрылся. Мы узнали после того, что он приезжал без отпуску и позволения, долго таскался в Владимирской губернии, занимал деньги, обманывал фабрикантов и поселян, продавая им за бесценок такую часть имения после отца своего, которая не была еще ни тому брату, ни другому отделена законами. Суды, питающиеся мздоимством, утверждали разные незаконные от лица его сделки. Он брал задатки и, словом, позволял себе всякое нравственное зло из корысти. Что б ему ни дала мать, всего было мало. Опыты заставили ее отступиться от него. Не имея твердости надлежащей к удержанию от худых поступков, она не хотела, по крайней мере, давать ему снисхождением излишним опасной поблажки и повода более и более портиться. После многих дурачеств, наконец, он явился опять в полк и был жертвой негодования всех своих начальников и сотоварищей. Первые из благосклонного еще к нам внимания не спешили его губить и разными домашними штрафами надеялись поставить его на путь честной и благородной жизни. Таким образом, и деревенское наше провождение времени началось не очень приятно, но, к услаждению наших беспрестанных печалей, Бог послал нам вернейшего

и единственного, могу сказать, нашего друга княгиню Куракину, которая, приехавши к нам в деревню, гостила у нас столько долго, сколько дозволяли ей собственные ее хозяйственные дела. Питаясь ее беседой, всегда приятной и даже поучительной, я уделял некоторые часы дня на мои кабинетные занятия, вел переписку со многими заочными друзьями, перечитывал рассеянные тетради моей Истории и связывал их в одно целое, а между тем в минуты пиитического вдохновения пользовался остатком сил его и сочинял стишки. Все сии различные упражнении так меня занимали в Александрове, что я никогда не жаловался на скуку и не примечал, как проходит время.

Обстоятельства нижегородского моего имения требовали, чтобы я нынешним летом туда съездил. Во-первых, решено было в пользу графа Орлова в московском Сенате тяжебное наше дело с ним, по которому у генерала Бороздина, несмотря на его случай при дворе и у меня, отнимали всю лесную дачу за Волгой, составляющую значительный капитал, ибо я один на часть свою должен был лишиться до десяти тысяч десятин дровяного леса. Дело сие между нами тянулось издавна, еще при отце моем производилось и при матушке решено в нашу пользу, и мы почти десять лет бесспорно своей дачей владели, как графу Орлову вздумалось снова повести процесс с нами. Сколько наши мужики ни тратили денег, не могли мы одолеть графа Орлова. Богатство его покривило весы Фемиды, и в наступающем лете должны были землемеры отмежевать ему нашу собственность. Так угодно было седьмому департаменту, который, несмотря ни на что, уничтожил межевые определении, восстановил мнимые права графа Орлова, отставил наши крепости и лишил моих крестьян до последнего прута. Нельзя было не вступиться в это дело и не приложить отчаянных усилий к противоборству и для этого надлежало самому ехать на место и потолковать с крестьянами. Во-вторых, попечением племянника моего, который для завода жил при нем в моем имении, возобновлена была древняя церковь нашего села, украшена новым иконостасом и приготовлена к освящению, которому хотели поселяне, чтоб я был свидетель и оказал бы им лично мою признательность за их добровольное на сие пожертвование, тем более означающее усердие их ко мне, что, будучи почти все раскольники, они складывались на дом Божий и снисходили на увещания Смирнова единственно из желания мне услужить.

Вот две причины, призывающие меня в Нижний, и дабы сделать всякому удовольствие, мы расположились ехать туда к именинам моего племянника. Они приходились 15 июля в самое время ярмонки, следователь-

но, мы ехали в огромную суету и должны были запастись осторожностию, чтоб она нас не увлекла за пределы строгой умеренности, от которой мне тягостно бы было удалиться. Если верить приметам, то должно было полагать, что судьба искала воспротивиться нашему намерению, послав мне от ничтожной причины болезнь самую важную и продолжительную, но, не уважив ее началом, я устоял в предприятии, и хотя с трудом, однако отправился из Александрова в Нижний июля 10-го числа.

Лето было жаркое. В Александрове от леса и воды плодились мошки в ужасном множестве, они кусали, а я чесался и как-то неосторожно расчесал правую ногу. Начала нога болеть, прикинулось, сделался легенький нарыв и в сутки прорвался. Это было в Петров день. Я думал, что изношу эту болезнь без всяких последствий, но стала расширяться ранка и гноиться. Я уже порядочно прихрамывал. Когда нет врача, надобно прибегнуть к народным суевериям. Какой-то отыскали дома пластырь, жена его мне приложила, он стал тянуть, мокрота притекла к этому месту, и рана становилась уважительна. Однако мы пустились в дорогу в надежде, что, приехавши в Нижний, найдем хорошего лекаря, и, поговоря с ним, скоро ногу поправлю. Между же тем я с трудом уже мог ходить и подпирался тросточкою. Дорога до Нижнего недалека и хороша. Без большого беспокойства я, наконец, приехал к самому обеду на именины племянника моего в село свое, и он тут мне дал под шатром богатое угощение с музыкой и пушечными выстрелами. Между гостей деревенских обедал у него и знаменитый нашего края помещик князь Грузинский, богатый и высокомочный сосед мой. По счастью, у него жил в доме свободный доктор, француз по имени Debesse, взятый нашими войсками в полон под Дрезденом. Он прибыл в Россию с тульским ополчением, рекомендован князю Грузинскому и принят им в дом. Человек весьма искусный, особенно в лечении ран, потому что и сам их имел, и в течение последней войны, служа при корпусе Нея, имел случай не одну тысячу ран вылечить. Я показал ему свою ногу, он нашел, что это не важно, но для лучшего лечения посоветовал мне перебраться в город, где он мог чаще меня посещать. Итак, побывши в деревне с неделю, угощаем моими добрыми поселянами со всевозможным усердием и получив от них в подарок на ярмоночные издержки тысячу рублей, переехал в Нижний в дом моего племянника, в котором некогда так пышно пировали мы у отца его, и тут расположился жить до совершенного выздоровления ноги. Тут мой француз принялся за меня прилежно и всякий день стал

поутру ездить сам перевязывать ногу. Золотушная острота сделала прилив к моей болячке, надобно было рану растравливать и не закрывать, дабы острота выходила наружу и не пала на внутренние части тела. Дебес меня пилатил разными едкими примочками и внутрь давал чистительные лекарства, словом, из бездельного пупырышка сделалась настоящая болезнь. Я мучился черезвычайно, не мог уже ни ходить, ни стоять и по целым суткам сиживал под окном за книжкой и любовался только на суету ярмоночную издали. Иногда в хорошую погоду меня сажали в карету и провозили на ярмонку. Тут я садился в какой-нибудь лучшей лавке, мимо меня все гуляли, и я виделся с знакомыми, коих из Пензы и окрестных мест наехало множество, разбивал несколько мрачные свои воображении. Случалось заглянуть и на комедии кукольные, и в театре побывать, где заготовляли мне в особом месте покойные кресла, и я, протянув ногу на скамейке, старался забывать свою немощь. Племянник мой Смирной с своим семейством всячески старался доставлять мне разные забавы и в доме, и вне оного, жители города все меня посещали, я никогда не был один. Доктор мой полюбил меня и сам часто ко мне езжал забавлять своей неумолкаемой болтовней. Какой француз не весельчак? Я с ним иногда проводил очень приятно время, а без людей читывал веселые книги и читал что-нибудь шуточное, ибо ипохондрия начинала также на меня сильно действовать, и надобно было побеждать ее припадки. Так текло все лето, которое я против воли моей принужден был провести в Нижнем и вместо двух недель прожил тут без ноги почти до октября. Другой мой племянник женатый, сын Ефимовского, граф Андрей с своим семейством, приехавши на ярмонку и найдя меня больного, остался для нас в городе. Они посещали нас ежедневно, всякий с ярмонки привозил свои вести. Не было упущено с стороны Смирнова ничего к облегчению моего положения. Я ему был очень обязан за его ласку и услуги и, оставаясь ему навсегда за них благодарен, откровенно должен признаться, что, несмотря на физические мои страдальчества, я столько весело провел время в его доме, сколько больному позволительно желать и надеяться. При всем том, однако, положение мое и нечаянность оного как меня, так и жену мою с детьми беспрестанно тревожило, и они не могли вполне наслаждаться теми удовольствиями, кои предлагала им многолюдная и большая ярмонка, удвоившая прелести свои с тех пор, как она из пустого городишка Макарья перенесена была в Нижний[8] и расположена на твердой земле между двух главных рек Оки и Волги, представляющих повсюду очаровательные виды.

Сидя по большей части дома и ища занятий, я имел время вникнуть в межевое наше дело. Нашел письменного человека, который сочинил мне обыкновенным приказным слогом на нескольких листах страшную логомахию[9], которая под названием апелляционной жалобы должна была отправиться на имя государя в комиссию прошений. В настоящее время в России все инстанции были смешаны, на все и на всякого можно было жаловаться без разбора и порядка. На Сенат по закону нет апелляции формальной, но она обычаем завелась, все на него жалуются, и определении Сената точно так же расстроиваются и перевертываются в разных комитетах и комиссиях выше его, как и в Гражданской палате отставляются решении уездных судов. Сим беспорядком воспользовался и я. В Нижний приехал по тому же делу поверенный г. Бороздина. Мы с ним действовали вообще, прошение подписано, отправлено в Петербург, и в ожидании успеха по оному мы всячески старались отклонить межевание дачи и протянули время до той поры года, в которую землемерам по лесной даче ходить неудобно. Отсрочилось дело до весны, а тем временем я надеялся довести дело к концу выше. В этом случае тут, на месте, мне очень много помог кредитом своим и силою князь Грузинский, не обошлось и без денег, но к этому Россия привыкла. Правосудие так же покупается, как и товар. Золотой дождь все проточит: все тела, как бы жестки ни были, проникнуты им бывают в нижних судебных вертепах, да и повыше, повыше, еще повыше, говорят опытные люди, что все то же. Нравственная температура российского государства, кажется, везде одинакова.

Окончав сие дело, в котором обязан я много попечениям племянника Смирнова, и успокоив крестьян, встревоженных угрожающим им межеванием, мне оставалось приступить к другому делу, не столь трудному в успехе, ибо оно зависело от одного меня, а именно к освящению храма в нашем селе. И здесь я новую должен засвидетельствовать признательность Смирнову. Его рачением и неусыпным трудом устроился комитет в деревне из лучших обывателей и возобновлена церковь деревянная, столь древняя, что нет ни одного старожила, который бы помнил начальное ее основание. Комитет приступил к умеренным раскладкам, мужики безропотно их выполнили. Составился капитал достаточный, племянник мой поворотил делом, хлопотал у архиерея[10], упросил его и убедил позволить нам церковь переправить. Трудно было этого добиться, потому что деревянных церквей не позволено уже было строить и поддерживать, но владыка снизшел к молению рабов Божиих и позволил церковь исправить. Ее покрыли новым тесом, дали ей пристойный фасад живописный,

выставили иконостас, и в угодность застарелым раскольникам старые их образа расставлены по стенам храма. Все это слаживал Смирнов с хитрым проворством и, приготовя все нужное к освящению, зазвал на этот сельский праздник князя Грузинского, нашего соседа и споспешника в тяжебном деле.

Как туда доехать с моей ногой? Вот одна остановка. Деревня от города пятьдесят верст — большое путешествие для хворого. Доктор, однако, снабдив меня всем нужным, дозволил пуститься в дорогу. Жена мастерски уже отправляла при мне должность подлекаря, и кто мог усерднее за нее приняться? Итак, мы, по окончании ярмонки и всех церковных праздников, в августе поехали в Лопатищи и там 27-го числа храм свой освятили. Городской протопоп Ермил отправлял духовную церемонию собором. Накануне перед вечерней отпета была панихида по моих родителях и после вечерни молебен с многолетием живущим помещикам, как водится. Потом отслушали мы длинную и нарядную всенощну. Я принужден был сидеть, частые движения несколько затрудняли мою ногу, но надобно было терпеть. Я жил на заводе у племянника, верстах в трех от церкви и в тесных каморках, но довольно покойно. В самый день праздника приехал Грузинский, меньшая дочь моя ходила с блюдом в обыкновенное время и собирала подаяние в пользу церкви, а Смирной, как староста церковный, сопровождал ее после обедни. Мужички дали нам хороший стол в новой избе у винокура, бокалы заздравные соединены были с восклицаниями народными и пальбою. Празднество отправлено не на шутку, я благодарил Бога, что он сподобил меня воздвигнуть дом молитвы среди овец заблудших в стране, омраченной глупым суеверием. Князь Грузинский звал нас отсюда к себе, и нельзя было после услуг его отговориться. Мы у него гостили двое сутки. Случилось быть тогда Александрову дню. Он в Лыскове своем, богатом и широком, живет, как маленький царь[11]; там мы отслушали торжественный молебен со всяким великолепием, причет богато одетый, певчие прекрасные. Он нас кормил и поил щедрою рукою. Мы занимали особый дом и очень ласково были у него угощены. Он нам отдал визит и приезжал еще к нам в деревню с дочерью своей. Так проведя несколько дней в моем поместье, я распрощался с добрыми моими обывателями и, сделав некоторые нужные распоряжения, возвратились в Нижний, где Дебес опять принялся за мою ногу.

Скоро после ярмонки в Нижнем последовала перемена в начальстве. Губернатор тогдашний г. Быховец отставлен. Он при нас приехал на

свое владычество в 1813 году и при нас ныне оставил его. Губерния казалась очень довольна его сменой. Немногие его хвалили, и он, сделавшись в столь короткое время из неимущего человека владельцем хорошего и большого имения, не имел права на сожаление нижегородских жителей.

Наступил сентябрь, и погода портилась. Тягостно было уже и племяннику моему наше долговременное пребывание, ибо, желая сделать его для меня приятным, он с излишеством предавался собственной своей наклонности к мотовству и нес порядочный убыток. Мне тяжело было подвергать его оному, и я всячески старался поспешить моим отъездом. Приехавши сюда на неделю, я прожил поневоле все лето, и нечаянность такая меня расстроивала самого. Хотя по большей части я с удовольствием провел это время между родными, но были минуты, в которые я испытывал тяжкие искушения от моей ипохондрии, и в память им написал стишки под названием: «Размышление недужного», напечатанные в петербургском журнале «Соревнователя»[12]. Из них видеть можно, что и мне не всегда было весело в Нижнем. Хотя я жил на чужом коште, но, также увлечен ярмонкой, пустился в прихотливые покупки и издержал более денег, нежели предполагал. Все это надлежало поправить умеренностию и убраться скорее в деревню. Упрямая моя нога не заживала, рана еще была открыта, но Дебес, дав мне все нужные наставления, позволил ехать домой, и я со всею осторожностью возможной оставил Нижний сентября 13-го. До первой станции проводил нас племянник с женой, и там мы за стерляжьей ухой в последний раз вместе отобедали. Думал ли я тогда, что жена его более нас вовеки не увидит? Мы распрощались очень дружелюбно, и они воротились домой, а мы направили путь свой в Александрово, куда прибыли сентября 16-го. Тут остались на некоторое время отдохнуть. Жена за моей ногой смотрела прилежнее всякого врача. Все делали то, что француз присоветовал, в ожидании свидания с московскими эскулапами, к которым мы приближались. В короткое время нашего пребывания в деревне не оставила нас своим приятным посещением княгиня Куракина и пробыла с нами до нашего отъезда. В то же время получил я от зятя графа Ефимовского письмо, в котором он меня приглашал приехать к нему в деревню на свадьбу его дочери, назначенную совершиться в октябре месяце. Сестра моя и дочь, там уже находившиеся во все лето, уведомляли нас, что зять непременно нас ожидает и что он так сир в этом случае, что если мы не подъедем, никого, кроме их, при таком огромном родстве не будет. Нечего было делать, как решиться на сие путешествие в самое дурное время года, и, дабы

сколько-нибудь предупредить дурную погоду, мы собрались ранее обыкновенного оставить Александрово, итак, простясь с любезнейшей княгиней Куракиной и со всеми нашими соседями, мы отправились в Москву октября 2-го и, пробывши несколько дней в Володимире для тамошних наших знакомств, прибыли в Москву 10 октября благополучно. Тут мы отдохнули сутки и 12-го выехали в Введенское.

В Москве все отдыхали от натяжных церемоний придворных. Всякий поправлял бережливостию свои финансы, и, следовательно, было довольно скучно. Двора уже давно не было. Скоро по выздоровлении великой княгини от родин императорская фамилия возвратилась еще летом в Петербург, и как государь, так и обе императрицы по разным дорогам предприняли новое путешествие по чужим краям, император для политических занятий, а мать и супруга его для свидания с своими родинами и отсутствующими родственниками. Путешествие сие продолжалось во всю осень, и в Петербурге оставался из многолюдного царского семейства один великий князь Николай Павлович с супругой. В обоих столицах царствовала тишина и безмолвие строгого уединения.

Мы также странствовали. Проехавши Звенигород и Рузу, не очень пышные города Московской губернии, прибыли в именье зятнино октября 14-го. Введенское, во ста верстах не с большим от Москвы, есть прекраснейшее место в хорошее время, но в октябре какая деревня может сохранить свои прелести? Все мертво и уныло, и хотя мы сбирались торжествовать свадьбу, но она так была противна всем, что осень еще мрачнее оттого казалась каждому из нас. Тут мы увиделись после летней разлуки с сестрой и дочерью моими. Брак был назначен 16 октября, следовательно, мы только что успели прибраться кое-как. Тут гостили кроме нашего семейства отец и мать жениховы. Сии супруги, живущие уже в постоянном и давнишнем разводе, в первый раз после беспрестанных разлук сочетались как бы снова и жили под одной крышкой в одном покое, обращаясь между собой для приличия как холодные друзья, для которых уже все равно, жить вместе или розно, что французы называют vivre en bons amies*, а по-моему выходит, comme chiens et chats**. Мы в первый раз тут увиделись и ознакомились с этой странной четою. Худой был пример для наших новобрачных! Но дело слажено. Никто рока своего не избегнет. Катеньке хотелось за Муравьева, никому он не нравил-

---

* жить в дружбе и согласии (фр.).

** как кошка с собакой (фр.).

ся, а пристрастие отца ее к ней не сильно было противиться ее намерению, и она поставила на своем. Молодые люди обвенчаны 16-го октября.

При всех неудовольствиях, кои сопровождали интригу их и сватовство, три раза возобновляемое в разное время, легко можно представить, что одна пристойность свезла нас всех в Введенское и что свадьба сия чернее была похорон. Все, потупя глаза, смотрели на приданое, которого красота и вкус никого не прельщали. При обыкновенных предварительных молитвословиях каждый испускал тяжкие вздохи и, спрятавшись в угол, скрывали друг от друга свои слезы. Один жених и невеста не возмущались столь печальною картиною, не вмещали своего восторга и досадовали, что никто так не радуется, как они. Отец едва переносил свое положение, брат невестин[13] не мог умерить своего негодования, и оно слишком явственно обнаруживалось. Жениховы мать и отец ни разу не улыбнулись и ждали возможности вырваться из Введенского, как скоро приличие позволит. Чтоб довершить описание этого случая, остается сказать, что во время свадебного стола, за которым село только двенадцать человек, почти всякому делалось дурно, и на гофманские капли расход был гораздо сильнее, нежели на заздоровное вино. Несмотря на все то, зять мой, угождая до последней минуты тщеславному свойству дочери своей, употребил всю ту пышность и великолепие, каких иногда и при скромных свадьбах в Москве не бывает, но Катенька, по Волтерову стиху, хотела, que tous les coeurs soient heureux de sa joie*, и подлинно, храм сельский был освещен сверху донизу. Крестьяне наполняли паперти и входы от дому до церкви, на пространстве нескольких сотен шагов двигались кареты с факелами, все мы были одеты по-праздничному, пушечные выстрелы давали всему сигналы, и съезду в церковь, и началу, и совершению брака. Я, прихрамывая на больную ногу, хотя с трудом, но привел невесту к венцу. Все обряды торжества такого сохранены были в строгой точности. Ужин был великолепный в широкой зале, озаренной множеством свеч и стаканчиков. Чего недоставало? Общей радости, души всякого события в жизни нашей, и оттого я во всю жизнь мою не видывал свадьбы наряднее и вместе печальнее этой. Чем она отправлялась величественнее в пустоте деревенской, в уединении от городской толпы, тем более нажимала чувства участвующих, которые видели наглый успех несчастного дурачества. По возвращении нашем в Москву октября 25-го мы едва успели обвестить всех наших знакомых о приезде

---

* чтоб все сердца порадовались вместе с ней (фр.).

и побывать у самых ближних, как довелось снова фигурять на свадьбе у родственницы нашей Лопухиной[14], которая шла замуж за Сафонова. Отец ее, вдовый человек, был мне хороший приятель и хотел, чтоб я был на этой свадьбе отец посаженый так, как у середней дочери его, которая выдана была за год тому назад за Хитрова. Та шла за богатого помещика, а старшая сестра попала по склонности, вытерпевшей также разные неудачи, за человека недостаточного, и отец ее принимал зятя в дом наипаче потому, что, будучи одинок, не мог без сей дочери обойтиться. На ней лежало все попечение о доме их и хозяйстве. Ее свадьба совершенно различествовала с тою, на которой мы пировали у зятя. Там, несмотря на деревенское уединение, выставлена была глазам вся пышность городских обрядов, а здесь, хотя и в самой Москве, свадьба отправлена просто поутру и без всяких церемоний. При сем случае я познакомился с госпожою Яковлевою, которая по родству с невестой была у нее матерью посаженой, и я о сем новом знакомстве говорю для того, что госпожа Яковлева составила хоть непродолжительный, но весьма приятный эпизод в нынешней зиме моей жизни. Она была по себе Новосильцева и получила прекрасное воспитание. Природа одарила ее многими талантами. Не будучи прекрасна, она, однако же, действовать умела на наш пол самыми очаровательными прелестьми: глаза ее имели выражение необыкновенное, всякий шаг ее был с намерением, каждый взор попадал в сердце и каждое движение было выучено, словом, я ее прозвал волшебницей нашего края, ибо она жила недалеко от нас на наемной квартере. Выдана будучи в нежной молодости за губернатора Орловского г. Яковлева там, где мать ее имела большие вотчины, и пожертвована быв сему человеку, ни в каком смысле ее не стоющему, более, думаю, из тщеславия, нежели для другой причины, бедная Яковлева должна была понести всю тягость судьбы своего мужа. Он долго был губернатором в Орле. Пришла и его роковая минута. Он нажился, попал под следствие, предан суду московского Сената, сменен и принужден был основаться житьем в нашей столице. Жена его вела жизнь самую удаленную от света, не посещала никого, кроме родных своих, принимала к себе охотнее гораздо нашу братью, нежели дам. Кабинет ее был пафос*. Тут она повергала к ногам своим всякого мужчину, несмотря на состояние и возраст, и, увидевши ее раз, не хотелось с ней расстаться. Она воспета была давно в стихах и прозе всеми нашими временщиками, от нее сходили по временам с ума

---

* Греч. pathos — чувство, страсть.

граф Чернышев, который так заманчиво написал ее будуар французской легкой прозою. Плещеев, славный чтец и актер нашего времени, Жуковский, модный стихотворец двора и Петербурга, словом, не было у нее знакомого, который бы не стоял в списке ее обожателей. Довелось и мне под старость увеличить этот каталог своей персоной. Признаюсь в моей слабости и ничем ее не извиняю, но кто же избавлен в мире от подобных дурачеств? Они находят на нас вовсе нечаянно. Госпожа Яковлева хотела непременно уловить меня в свои сети. Что я был для нее за находка? Но тщеславие одно могло к тому ее побудить. Пленить юношу умеет иногда женщина и без всяких дарований, но ослепить человека пожилого, которого рассудок еще бодрствует, но сердце уже вянет, приобресть его себе и покорить — это трофей довольно важный для женщины суетной и дышущей одним кокетством ума. Всякий, кто читал мои записки, заметил, что я очень скоро воспламеняюсь. Яковлева с первого взгляда показалась мне похожа чем-то неизъяснимым в обращении ее, в уловках, в тоне на мою Евгению. Поражен этим мнимым подобием с такой женщиной, которой образ не стирался в душе моей, я мнил видеть ее воскресшу и, по системе Пифагоровой, готов был удостовериться, что в теле Яковлевой переселилась ангельская душа Евгеньи. Это меня зажгло. Я не дал себе времени испытать хорошенько эту женщину и увидеть страшную разницу между ей и той, с кем я ее сравнивал. Близость наших жилищ связала между нами узел короткого знакомства. Я всякий день почти к ней ходил и ездил, кстати и некстати, словом, без всякого присмотра за собою, как дитя без дядьки, гонялся за бабочкой и думал, что поймать ее предоставлено мне по постоянству моих усилий. Но этой бабочке никто еще не мог связать крыльев, она летает на все цветы и ни на который не садится. Несколько месяцев проведя в самых приятных с ней сношениях, я сдернул с нее маску, в которую одело ее мое воображение, увидел не Евгенью, ниже призрак ее, а прелестнейшую соблазнительницу, от которой не увернется только тот, кто потеряет всякую осторожность, но при тонком и близком осмотре предмета удивится своему ослеплению и потужит, что зажмурился. Я остался с нею знаком, люблю ее беседу, приятно мне с нею быть вместе, но уже она не идеал мой, я ей не жертвую, и суеверии мои насчет ее исчезли. Я долго говорил о ней, хотя она совсем посторонний человек в моей Истории, но такой эпизод заводит рассказчика очень далеко, и я не мог при воспоминании того времени мимоходом только поговорить о госпоже Яковлевой, ибо она вновь зашевелила мое сердце, давно уже не подвергавшееся тревогам

любви, и тем сильнее подействовала на него, что я слишком обнадеялся на самого себя и не сдержал вожжей в руках. Это доказывает, что рассудок наш никогда дремать не должен. По счастью, при самом ревнивом свойстве жены моей, минутное нынешнее мое заблуждение, не имея никакого характера опасного, не повредило нашему согласию и не произвело в ней никаких тяжких впечатлений. Забудем это дурачество легкомысленного моего сердца, и дай Бог, чтоб оно было последнее.

Наконец и дело мое мундирное, пройдя все судебные очистилища, получено в Москву с царской конфирмацией, которая последовала июля 20-го на доклад Совета. Московское общее собрание постановило определенье такого содержания, чтоб полицмейстера, признавшегося в сборе лишних денег на мундиры, лишить чинов, дворянства, сослать в Сибирь, а меня освободить от суда по силе манифеста, ибо Сенат собственного моего преступления ни в чем не находил, кроме небрежения, от которого последовало злоупотребление нижних чинов, но дабы и теперь не оставить меня в совершенном покое, положено было перебранные деньги на мундиры взыскать с разжалованного полицмейстера, а чего у него не достанет, то взыскать с меня, следовательно, я освобождался от наказания и наказывался все вместе, ибо, разумеется, что чиновник, ссылаемый в Сибирь, не много оставляет после себя имущества. Рано или поздно сей начет должен был обратиться лично на меня, он состоял из восьми тысяч, и мне оставалось ожидать приказания заплатить их, когда приговор дойдет до своего исполнения. Сенат долго колебался при назначении сих денег, по взыскании, куда их отдать? Иные хотели в Приказ общественного призрения, другие в пользу инвалидов, другие, наконец, а с ними и обер-прокурор[15] рассудил, что поелику деньги были взяты с крестьян, то им же и возвратить надлежало. Так и постановлено. Впереди мы увидим, каким образом приведено сие к исполнению, а между тем всего было легче Рукина сослать в Сибирь, что тотчас и сделано.

Семь лет протекло с тех пор, как это дело началось. Много оно крови у меня испортило. Слава Богу, кончилось, и теперь я могу равнодушнее судить об нем. Хотя я особую написал тетрадь о всех тех делах, по которым меня таскали, и там изложено все, что может убедительно быть для самых строгих добродетелей для оправдания меня, однако же я и здесь несколько строк напишу лишних о том же предмете. Вопрос: в чем состояло все дело? В излишках денежных, употребленных от недосмотра ли моего, от лихоимства ли тех чинов, кому стройка мундиров от меня препоручена была. Излишки сии составили только вообще, и то по како-

му-то натяжному расчету г. Ильина, восемь тысяч, а по разнице пришлось на каждого отдатчика столь малое количество, что никто и не жаловался. Возопиял за выгоды поселян сторонний человек и такой, который, грабя их в другом отношении, хотел принять защиту их на себя в таком случае, в котором они сами не сетовали, не просили даже молча, не роптали, единственно для того, чтоб повредить чиновнику, который не хотел доносчику дать с мундира по два рубли. Это известно всей губернии, кроме генерала Ильина, который затыкал уши, когда не надобно было их разжимать, ко вреду лично мне, словом, весь убыток поселян составлял восемь тысяч. Не легче ли было бы тотчас сию сумму взыскать с меня или с кого хотели, нежели то же самое приговорить, заставя меня вытерпеть всякое угнетение и мучиться шесть лет напрасно? Не явно ли все сии поступки правительства доказывают, что я гоним был по пристрастию и злобе, а не по правоте дела и по тягости преступления? Сколько ни старался Сенат, угождая верховной власти, представить меня преступником злостным, не мог, однако же, он инако сделать заключения, как обвинить в неосторожности, которая после манифеста уже не подвергалась никакому наказанию.

Многие, следуя в публике фальшивым понятиям от недостатка логики в судах человеческих, почитали великим стыдом, что я подведен под манифест, но если рассудить о сем порядочно, то самое-то сие решение и приносит мне более чести, нежели поношения, ибо не подходит под манифест убийца, разбойник, тать судебного места или лихоимец. Если б я обвинялся в котором-нибудь из сих трех случаев, конечно бы на меня не мог упасть манифест, и покровительство оного, защитивши меня от суда и наказания законного, не есть ли доказательство, что проступки мои были неуважительны и не заслуживали ни такого пышного надо мною следствия, ни столь продолжительных истязаний. Постараемся забыть об них. Стократно благодарю Бога, что он не попустил меня покрыться такими пятнами, кои с трудом смываются даже и многими слезами раскаяния в совести обремененной, а те пятна, кои наводила на меня злоба человеческая, не должны огорчать высокого духа. Освободившись от всех правительств, наконец я мог в прежней свободе распоряжать моими поступками, ни от кого уже не зависеть, никого не страшиться и, сделавшись мертвецом для мира гражданского, я мог под тихою сению моего дома наслаждаться еще жизнию, не страшась быть снова жертвой людского шпионства, которое так нагло преследует всякого человека, грядущего на дело государево. Мои собственные дела становились единствен-

ною моею заботою, и я, примиря с собою общее мнение, которое перестало изображать меня злодеем, находил для себя разные удовольствия в публике между людьми добрыми и благонамеренными.

Быть под следствием не значило уже ничего в настоящее время. Беспрестанно сменяли чиновников во всех губерниях, и даже около трона не спасались вельможи от нападков неправосудных. Тогда кроме нескольких губернаторов и других чинов судились генерал-губернатор[16], министр[17], статс-секретарь, и в таком множестве чинов я еще мог почитать себя счастливым, что, по ничтожности выводимых на меня обвинений, мое дело решилось прежде всех и без сопротивления конфирмовано государем, тогда как многих других возвращались для переделки снисходительные доклады Совета и Сената. Сие самое доказало публике, что мне более придавали преступлений, нежели могли их доказать, исследовав мое поведение по службе. Кончу печальную о сем повесть искренним желанием не быть никогда слугою государства такого, каково российское было в наше время.

Уже мы собирались, разогнавши все политические тучи, принять участие в обыкновенных московских забавах, как вдруг нечаянно поражены были известием о кончине жены племянника моего Смирнова, Надежды Сергеевны, у которой мы все лето в Нижнем гостили. Бедная сия женщина, с излишеством ревнуя мужа своего, не имела смелости нигде и никогда с ним расставаться. Скоро по отъезде нашем племянник мой, охотник будучи такой же, как и отец его, стрелять тетеревей в шалаше на чучел, отправился в лес, ему последовала и жена его. Погода была сыра, она простудилась, привезена в город больная, в жару, и спустя несколько дней, ноября 1-го, скончалась, оставя после себя человек пять в малолетстве[18]. Состояние вдовца было отчаянное, письма его то доказывали, и я тем сильнее сожалел о сей бедной жертве темперамента пылкого, что никак не ожидал столь скоропостижной смерти. Будучи молода, здорова и свежа, она, казалось, многими годами пережить могла бы нас, но роковой час ее был ближе, нежели мы полагали, и несчастная эта женщина оставила свет точно в то время, когда жизнь ее становилась необходима и для мужа, и для детей. Судьба не входит в сии расчеты, и смерть косит род человеческий без разбора, как бы для того, чтоб удостоверить нас более и более, что есть над нами провиденье, под очами которого отцы, матери, супруги и все умирать могут, не нанося вреда птенцам, после них остающимся, и не лишая их способов достигать предназначенной цели Всемогущим, цели благой и совершеннейшей, нежели все наши об них

попечении и пустые заботы, ибо оку всевидящему будущие пути известны, а нам и самое настоящее время кажется загадкой.

В тех же днях дошло до нас известие о кончине доброго старичка Соковнина Сергея Петровича, родственника моего по матушке[19], который меня очень любил и которого я искренно почитал. Муж добродетельный, богобоязливый, благодушный, которого мне было крайне жаль. Незадолго пред сим, проживши зиму целую в Москве, он сильно приучил меня к своей беседе, я часто с ним видался, иногда переписывался. Несмотря на преклонность лет, он умел быть любезен с старцами и с молодыми. Я от чистого сердца пожелал душе его, от нас отшедшей, всех благ небесных и жизни вечной, а наш временный живот есть не что иное, как беспрестанное зрелище хищничества смерти.

Я имел случай упомянуть и прежде, что мои сочинении в нынешнем годе были собраны и напечатаны третьим изданием в лавке у Ширяева. Издание сие было прекрасно отработано во всяком отношении, говоря в типографическом о нем смысле, и пущено в продажу довольно высокою ценою. Посвятя оный Университету, как месту, в котором я получил первое образование, я поднес несколько экземпляров как ему, так и Обществу словесности московскому по званию его почетного члена. Университет удостоил меня благодарною эпистолой, которую за честь себе поставлю сохранить на память моим детям. Она написана была слогом самым лестным для моего еще тщеславного сердца. По удостоверению же доброго Ширяева, книга расходилась хорошо, и ежели он не мог ожидать от нее больших барышей, по крайней мере, не должен был опасаться убытков, а судя по оценке публики, стихи мои еще ей нравились, и мода на них не пропадала.

Читатель сих записок видел в свое время, на каком положении издавались мои сочинения вторым изданием. Они отданы были тогда с публичного торга самим Университетом Пономареву с тем, чтоб на вырученные за оное деньги вдруг и на некоторое число ежегодно покупались книги для составления библиотеки в гимназии владимирской в пользу обучающихся. Намерение мое не исполнилось. Пономарев обманул и Университет, и гимназию. Сия последняя щечилась около его газетами, журналами, всяким вздором и снисходила его неисправности. Он ставил ей на счет разные пустячные листочки и квитался в обязательстве с Университетом. Гимназия молчала. Я, приметя сей обман, но поздно, жаловался, хотел Пономарева прижать. Университет потребовал от него отчета. Он не мог быть удовлетворителен. Университет хотел защищать пра-

ва контракта, но во время вторжения в Москву неприятеля многие акты распропали. Пономареву легко было на это сослаться, итак, процесс мой кончился ничем. Не желая быть обманут в другой раз таким же образом, я ныне распорядил сам третьим изданием. Ширяев имел дело со мной и обязался дать мне на тысячу рублей книг, которые по выбору моему на его коште отправлены в гимназию и составили по крайней мере хорошее начало библиотеки, чем я и достиг первоначальной моей цели[20]. Гимназия получила что ей следовало по моему обязательству. Я остался доволен, Ширяев не подвергся накладу, а прежние упущения надлежало предать забвению.

Осенью настоящего года был в Ахене политический конгресс. О чем, я не знаю, да и не принадлежит это к моей Истории, а довольно сказать, что император, бывши лично на оном, подвергся было неприятному происшествию в Брюсселе. Там открылся заговор в пользу Наполеонова сына, хотели принудить государя нашего согласиться на возведение его на французский престол. К счастью, завременно узнали о сем заговоре, и он не имел тех опасных последствий, кои по плану его могли угрожать России. Государь благополучно возвратился домой, избегнув замыслы иноземных проказников, кои под щитом свободы и либеральных систем хотели переворотить снова весь порядок дел в Европе. О сем происшествии тотчас напечатано было в «Северной почте». Нескромность сей официальной газеты испугала московскую публику[21]. Весьма невыгодные пошли толки на сей случай, но скоро он объяснился, и приезд государев в отечество успокоил тревогу жителей обеих столиц. Императрицы, также совершив свое путешествие, благополучно возвратились в вожделенном здравии в Петербург. Весь двор снова собрался в кучку[22], один великий князь Михаил Павлович разъезжал по чужим землям и оканчивал практическое свое воспитание наглядкою на правительство и дух чужих народов.

Зима на севере украшена была разными забавами. У великого князя Николая Павловича давались балы каждую неделю. Вельможи, в угодность молодой великой княгине, приглашали ее танцовать к себе. Публика силилась превзойти Москву в роскоши и увеселениях и усугубить их в сравнении с теми, коими наслаждался двор в Москве. Москва, с своей стороны, никогда не отставала от Петербурга. В таком соревновании сих двух первых городов Европы публика находила способ приятно проводить время и забывать суровость своего климата. К нам в Москву приехала на зиму одна из богатейших помещиц в России графиня Бобринская, жена побочного сына Екатерины Второй. Пользуясь обширным

имением и от природы будучи склонна ко всему веселому, она открыла дом свой, ознакомилась со всеми и начала давать не балы, а можно сказать, праздники. Дочь ее, вышедшая замуж за миллионщика князя Гагарина, оживотворяла собрании в доме своей матери. Обе они любили веселить и веселиться. Составился у них благородный театр. Кроме парадных балов, еженедельно учащались приятные вечеринки. Тут разыгрывались шарады, провербы*, и всякая французская забава предлагалась непринужденно охотникам до удовольствия. Кто же от него откажется? Скоро вся Москва хлынула к графине Бобринской, и дом ее уже не мог помещать посетителей. Всегда в Москве сыщется кто-нибудь для одушевления города. Каждую зиму в нее молодые люди съезжаются отвсюду, даже из самого Петербурга, повеселиться. Какая-то вольность в обращении и свобода от принужденных этикетов, коими славится Москва издавна, составляли очаровательную прелесть наших в ней соединений. Я не был знаком с графиней Бобринской, но, по ремеслу актерскому будучи еще на что-нибудь годен в обществе, скоро был к ней приглашен и обласкан с отменным доброхотством. Жена моя за трауром своим по матери не могла ближе году участвовать в ее веселостях, но я и дочери мои, мы то у нее, то у дочери ее пользовались разными забавами. Из всех собраний, кои состоялись в ту зиму у графини Бобринской, замечательнее всех сделался по необыкновенности своей маскарад наподобие венецианских карнавалов. Все гости должны были наряжаться в вымышленные платья и спрятаться под лакированную личину. На этом бале княгиня Гагарина рассудила позабавить мать свою спектаклем. Мы сыграли пародию Клеопатры по-французски, и я в маске, изображающей совершенную красавицу, явился вдруг в порфире и с державой в роле Клеопатры самой. Всякий играл что-нибудь противоположное своему настоящему лицу. Такое смешное зрелище, составленное из уродливых контрастов, восхитило всех, и общая хохотня увенчала труды наши желаемым успехом. Никто меня не умел узнать в моем превращении, никто не [с]мел подумать, чтоб человек в мои лета решился так дурачиться, как я в этот незабвенный вечер удовольствия. Люди с предубеждениями везде любят выставлять лета и чины. Я признаюсь в моей слабости: для веселья мне все кажется возможно, пристойно и позволительно, что не вредно ни самому, ни другому. Такова была эта забава, и я ею воспользовался без малейшего жеманства и причуд. Я и теперь еще с удовольст-

* Маленькая пьеса, построенная на поговорке.

вием вспоминаю, как я вдруг из мантии Клеопатры выпрыгнул в бумажный футляр, представляющий версту, и двигал с собою столп этот по зале. Ни гостям, ни самой хозяйке не приходило на мысль, чтобы в версте находился я. Такими-то невинными забавами я искал украсить свою старость и самого себя обмануть, приноравливаясь к суетам молодых людей, но скоро потом почувствовал, что природа уже в последний раз позволила мне пошутить над собой, и болезни, которые с наступающим годом меня встретили, заставили меня принять род жизни более согласный с моими летами.

Трудами искусного врача Шмица в Москве нога моя была вылечена совершенно, и как будто нарочно для того небо возвратило мне здоровье, чтоб я отрекся от резвостей, уже тяжких для моих одиннадцати люстров*, но я уроком провиденья не воспользовался и скоро был наказан сильнейшими изнеможениями. Хотя я, по обыкновению моему, и возобновил силы душевные врачевством веры, отговевши в последние дни Рождественского поста, и в предназначенный день, 24 декабря, вкусил таинственной христианской трапезы, но в то же время, обуреваем будучи суетным удовольствием плоти, предался им в полной мере, как младенец, не стяжавший никаких опытов. Подобные заблуждения ума исправляются одною сильною рукою всеблагого промысла, и она, скоро смирив меня, научила искать счастия остальных дней жизни моей не в растленных удовольствиях чувственности, а в тишине домашней жизни, сопровождаемой христианским благочестием. Итак, я могу сей год почитать почти гробом забав моих и последней эпохой суетного моего бытия на свете**.

1819

Генварь. Худое начало года, в домовой церкви нет обедни. У Бобринской маскарад 6-го числа, и я пою куплет после провербу. Больная нога снова захворала, ее разнесло, и в половине генваря открылись мокротные лишаи. Хожу с тростью, лечит меня Шмиц. Появилась «История» Карамзина[1]. Княгиня Куракина приехала в Москву. Приезд Кашинцева. Помолвка его сперва в Шуе на Шимоновской[2], потом здесь на

* От фр. lustre — пятилетие.

** Дальнейший текст отсутствует в Московской рукописи.

Бахметевой. Наконец, он на ней женится. Разрыв мой с ним. Я прошусь прочь от опеки. Кончина королевы Виртембергской. Мои стихи на сей случай[3]. Рескрипт ко мне от императрицы.

Февраль. Кончина Натальи Михайловны Строгановой. Она отказала сыну моему Павлу тысячу рублей. Наряд его в Олонец[4]. Разнообразные зрелища в Москве в Великий пост, как то: индеец, Финарди, Цезарина, Готье и лев морской[5].

Март. Смерть и похороны Августина[6]. На место его Серафим[7]. Восторг Москвы при встрече его. Сборы наши в Володимир по случаю родин жены пасынка моего Алексея. Болезнь ноги меня не пускает. Она родила дочь 25-го числа, Наташу. Я говею в пост к Великому четвергу.

Апрель. Убийство Коцебу[8]. Свадьба Элеоноры Ваксель. В то же время Безобразов Григорий скончался 17-го апреля в Юрьеве.

Май. Производство дела нашего в Питере, успехи его. Хлопоты моих сыновей. Труды бурмистра[9], который там. Старании Степана Михайловича. Велено пересмотреть дело в общем собрании в Москве. Болезнь князя Дмитрия. Мы выехали 31 мая в деревню. Нога все болит, и начинаются беспокойства от каменной болезни.

Июнь. Мы приехали с двумя дочерьми благополучно в Александрово в июне 9-го числа. Миша остался в Москве, держит экзамен, получает аттестат и приезжает к нам[10]. Сестра уехала в Болхов и Киев. Княгиня Куракина гостит у нас дни три и опять едет в Москву. 22-го числа мы получили несчастные известии от Ефимовского. Сын его Михайла утонул[11], а дочь до срока родила.

Июль. Владимир Смирной, ездивший через Москву в Питер зимой, получил там городническое место в Нижнем при ярмонке[12] и предложил мне прекратить аренду завода. Я намерен сам ехать в Нижний. Недостаток в деньгах и здоровье не позволяют. Вызываю бурмистра и винокура к себе и занимаюсь этим делом в Александрове. Аренда остается в своей силе до истечения срока, и я завода не беру. Князь Павел возвращается из Олонца здоров в Питер. Лето холодное и ненастное.

Август. Мы проводим его весь в разъездах. Гостим у Алексея на именинах в Володимире. Заботы его по винной части. Приезд Любовь Ивановны в Патакино[13]. Свидание наше там с нею. Праздник в Русине. Новое знакомство с соседом Марковым[14]. Мы съездили вместе на Парскую ярмонку[15]. Болезнь внезапная Евгении. Без меня Бахметев нанимает несколько комнат в доме моем московском за двести рублей в месяц и прожил два месяца.

Сентябрь. У Евгении кровь горлом в первый раз показалась 9 сентября в Русине. Праздник артиллерийский 3 сентября в Володимире, и мы там. Вечеринка веселая в Коврове. Военные наши знакомства. Резвости Александровские. Новые проказы Филиппа в Володимире. Появление его в Тамбове и любопытное письмо его к брату. Ему палец отрезан. Благополучный оборот нашего лесного дела в Питере. Возвращение и приезд ко мне бурмистра с винокуром. Праздник наш деревенский сентября 25-го. Нога моя все в одном положении. Я лечусь заочно у Шмица, принимаю лекарства по его рецептам и веду с ним о себе переписку. Повторяю просьбу о снятии опеки Кашинцева. По судам ничего не делают. Хлопоты мои. Я печатаю все его имение. Беспокойства также и по опеке Пожарских. Падение шуйской колокольни[16].

Октябрь. Возвращение княгини Куракиной в деревню. Мы выехали 2-го числа и с ней разъехались. Пребывание наше в Володимире. Там Евгеша разнемогаться стала и, за невозможностию везти ее в Москву до сухой погоды, лечится она у Мерчинского. Князь Дмитрий мой произведен в коллежские регистраторы с старшинством и попал в Иностранную коллегию к Каподистрию[17]. Рассуждение о ланкастеровых школах[18]. Мы отправились в Москву, я мучился от камня. Евгеша изнемогала от кровохаркания. На пути встретили нас вьюги и жестокие морозы. Зима ранняя и необыкновенная. Мы ехали до Москвы шесть ден, по одной станции в день. Испуг наш в Пехре насчет Евгеши. Мы выехали 22-го, а приехали в Москву 27 октября. Сестра приехала за неделю до нас. Евгешу лечить начал Шмиц и Гольдбах. Князь Юрий Владимирович дал мне две тысячи рублей под расписку. Я занимаю надбавочные деньги в Воспитательном доме. Извороты мои денежные. Дело в общем собранье назначено слушать в декабре. Я вызываю бурмистра.

Ноябрь. Алексей приезжает по своим делам в Москву. Тревоги при его нечаянном отъезде. Евгеше день от дня хуже. Два раза ей кровь пускают из руки. Чахотка во всей силе. Доктор обходится круто и жестоко. Нога моя зажила, но прочие припадки продолжаются. Тормасов умер[19]. Скоро потом, ноября 16-го дня, скончалась Евгеша. Ее причастили в тот самый день. Плачь и вопль всего дома! Меня перевозят к Степаше[20]. Тело похоронил Парфений в Донском 20-го. Я возвращаюсь в дом свой. Князь Павел прискакал в Москву 27-го числа, не знав еще о кончине сестры. Князь Дмитрий приехал 30-го по получении сего известия. Знакомство с Новиковым и короткость его в нашем доме. Духовник мой городской архимандрит.

16 Зак. № 3975

Декабрь. Опять нога у меня заболела, и те же начал принимать и прикладывать лекарства. Смерть Соковнина 2-го числа. Дело мое в Сенате отсрочено до после святок. Бурмистр едет в деревню назад. 16-го числа получается с нарочным известие об отчаянной болезни княгини Куракиной. Третичная моя жалоба по Кашинцева опеке. В Москву приехавши, я начал заниматься сочинением нового для себя словаря всех тех лиц, с коими я был в отношении[21]. Приезжает в Москву Бобринская и Барятинский. Праздники их, но я никуда не езжу. Новый аглинский клоб при благородном собранье. Производство 12-го числа и появление генерал-губернаторов. Я говею к 24-му числу по моему обыкновению у никольского попа.

1820

Генварь. Сыновья мои уехали в Питер: Дмитрий 2-го, а Павел 8-го числ. 17-го числа Новиков стал свататься за дочерью моею. 20-го при отце его я их помолвил. 28-го разосланы карточки. 21-го сделался было пожар в моем кабинете ввечеру и всех нас перепужал. Рассуждение о новых моих отношениях по союзу с дочерью моей Новикова.

Февраль. Я получил первое письмо от княгини Куракиной по облегчении ее после жестокой болезни. Заботы о приданом Вареньки и денежные по сему случаю извороты. Болезнь князя Юрья Владимировича и князя Сергия Михайловича Голицына. Убийство принца Берри[1]. Князь Дмитрий Владимирович приехал в Москву главнокомандующим[2].

Март. Медленность по делу моему с Орловым. Назначено новые собрать справки. Странное мое положение по сему делу с Алябьевым. Намерение мое продать свой дом и купить Кашкаровой[3]. Неудача в том и другом. Я говел на Страстной неделе и исповедывался в первый раз у общего духовника с женою. Известие от сына князя Дмитрия, что он назначен в Царьград в тамошнее посольство[4].

Апрель. 4-го числа отпуск приданого дочери моей. 5-го свадьба в домовой церкве у князя Юрья Владимировича. 6-го панихида по Ланском, убитом на поединке[5]. Рассуждение мое о сей странности. Свадьба Кологривова Степана, и я отец посаженый. Манифест о разводе великого князя Константина Павловича[6]. Высылка езуитов из России[7]. Болезненные мои припадки усиливаются. Я сажусь в соленые ванны. Князь Дмитрий мой приехал в Москву 25-го числа.

Май. 11-го числа князь Дмитрий поехал в Царьград. Известие о жестокой болезни Урусовой. Дочь моя делает мне сюрприз и дает мне 25-го числа спектакль русский в моем доме, никого нет, кроме домашних. 27-го Новиковы едут в подмосковную к отцу. Лекарь меня не выпускает из города. Уныние мое и скука. Я занимаюсь своим лексиконом. Жена, сложась со всеми моими детьми и зятем, дарит мне к именинам моим Волтера. Пир мой в этот день для князя Дмитрия Владимировича Голицына и князя Юрия Владимировича.

Июнь. Мучительное мое лечение от лишаев. Я никуда не выезжаю и сижу в халате без движения. Читаю Волтера, пишу стихи, по вечерам играю с домашними в карты. Приезд в Москву Загоскиных из Питера и Богдановых из деревни на короткое время.

Июль. Новиковы переехали в город. Новые театральные их затеи. Я сочинил им шесть провербов[8]. После продолжительной болезни начал одеваться и выходить на воздух. 9-го числа выехал по мостовой с уменьшительною болью в пузыре, но все еще страдал и принимал лекарства. Чудо под Москвой от девочки. Торжественный приезд государя в Москву под вечер 16-го числа. Он уехал через два дни[9]. Приезд Каталани[10]. Она дает концерты. Я слышал ее. Общий восторг от ее голоса. Первое письмо из Царяграда от сына моего Дмитрия по почте. Оно писано 1-го числа, дошло до меня 24-го. Слухи перед тем о погибели одного корабля, на котором был Тургенев, его товарищ. 28-го у нас играли мой проверб[11]. В этом месяце я написал трагедию мою и два послания, о Волтере и о забавах сильного воображения.

Август. Громкий слух о свадьбе цесаревича[12]. 1-го числа я крестил у Рахмановых младенца Александра, который скоро умер. 11-го числа у нас играла Варенька еще комедию и мой проверб[13]. Я начал перевод в стихах Волтеровой трагедии «Agathocles».

Сентябрь. Манифест Польше о браке великого князя[14]. Лондонские соблазнительные происшествии[15]. Неаполитанское возмущение. Государь поехал в Тропау на конгресс[16]. Хлопоты мои около Теряева. Смерть его. Кончина мамзель Шатофор. Погребение Мальцевой, привезенной из Рима. 27-го числа у нас опять спектакль. Перевод мой «Агафоклеса» кончен[17]. Указ о наборе рекрут четырех с пятисот.

Октябрь. Происшествие ямаков в Цареграде[18]. Переписка моя с Дмитрием. Смерть меньшой Яньковой[19]. Смерть Евлампия Кашинцева. Трудные мои выезды на колесах. Приезд Безобразовых в Москву. Болезнь сестры моей[20]. Репетиции у нас и у князя Юрия Владимировича.

Я кончил мой лексикон и написал послание в стихах к Телегину о нынешнем лете[21]. Худая и мокрая с холодом погода во все оное. Прекрасная осень, но повсеместный неурожай. 28-го числа у нас большой спектакль. Алексей здесь с Наташей. Бунт в Семеновском полку[22].

Ноябрь. Два дни сряду спектакль у князя Юрия Владимировича в доме, и я играю[23]. Сплетни по тамошнему и нашему театру. Свадьба у Бутурлиных. Я отец посаженый. Афанасий, старый батюшкин слуга, умер.

Декабрь. Спектакль 4-го числа у князя Юрия Владимировича. Неприятности от театра в пользу бедных. Я отказываюсь, оно не состоялось. Рассуждение мое о сем. Спектакль русский у нас 14 декабря. Варенька играет в последний раз за тягостью. У князя Юрия Владимировича играют 18-го. 20-го числа Азор, наша собачка, погибла. Сожаление наше об ней. Сноха жены моей Любовь родила дочь Аграфену. Побуждении к сдаче Кашинцева опеки. Я по обыкновению говею к 24-му числу. Учащенные забавы нынешней зимы в Москве и многочисленные театры в благородных домах. Зрелище зверей и панорам[24].

1821

Генварь. 1-го числа у меня в первый раз поют обедню мои певчие и очень неудачно. Досада моя. Я ухожу из церкви. Единоборческий спектакль у Кокошкина «Crispin rival de son maitre»[1], по-русски. Новикова 13-го числа переезжает в мой дом для родин. 14-го она родила сына Александра, слава Богу, благополучно. В осьмой день, 21-го, он окрещен в нашей домовой церкве. Восприемниками были я и Хрущова, Новикова отец и сестра Селецкая заочно. У Няловой театр, я играю там в «Les folies amoureuses»[2] 26-го числа. Странные похождения в Владимире с Меркуловым по выборам[3].

Февраль. Веселости всей зимы, особенно масленицы. Картина наших домашних увеселений и последний спектакль. Связь моя с В<ельяминовой> и начало ежедневной с ней переписки. Владимир Смирной с молодой женой приезжает в Москву и стоит у нас в доме. Она играет у нас комедию. Алексей также приезжает и по нескольких днях едет в Питер. Обращение его с Грушей. Сплетни наши по театру с Алексеевой, и оттуда остуда с Долгорукова домом. Падение мое у Полторацкого в театре.

Март. Нелюбова идет замуж. Хлопоты мои с Мишей в рассуждение военной службы. Наконец, отправляю его с почталионом в Питер марта

4-го, и там он скоро определен актуариусом в Иностранную коллегию. Наши общества литературные во весь Великий пост[4]. Публичные концерты славного флейттраверсиста Drouet[5]. Я сжег все мои переписки с 819 года. Причина сего поступка. Юлия Смирнова просит позволения идти замуж. Разные слухи о Цареградских происшествиях[6]. Положение Неаполя и Гишпании[7].

Апрель. Мое рожденье пришлось в Великий четверг, и я причащался. Святую неделю был болен и с нуждой выходил пешком. Принц Мекленбургский посетил Москву; я его видел на обеде у Голицына[8]. Приступ к найму моего дома на восемь лет и неудача. Трогательное письмо ко мне Алексея из Питера насчет рекомендации его министру просвещения[9] и дерзновенное письмо другого пасынка Филиппа к матери своей. Проказы его.

Май. Внуку моему Алексаше привили коровью оспу 7-го числа. Павел, сын мой, определен в Бесарабию[10]. Хлопоты мои по Воспитательному дому и услуга, оказанная при сем Рахмановым. Общества наши словесные прекращаются, а начинаются пикники за городом. Большая буря и град 17-го числа, от которой у меня выбито на сто рублей стекол. Беспокойства по делу диакона Измаила. Умножение моей библиотеки дорогими книгами.

Июнь. Все мы расстаемся. Дочь моя выехала в деревню 3-го числа. Мы пустились в Шую 12-го. Проводы Вельяминовой в Перовских рощах. Мы прибыли благополучно в Комары к Алексею 18-го числа. В Володимире узнали о скоропостижной смерти генерала Ильина[11]. Свидание наше с Филиппом. Примирение его с матерью. Павел и Александр, дети мои, приезжают к именинам жениным к нам туда, и от меня Павел едет в Бесарабию, воротясь дня через три в Москву с братом. Мы прибыли в Александрово 28-го. Скорбное наше появление в это место. Известие из Москвы, что дом мой торгует Александр Павлович Офросимов[12]. Я посылаю нарочного, но торг наш расходится. Во все время пребывания моего в деревне я хвораю.

Июль. Посещения наши взаимные с княгиней Куракиной. Я у нее гощу неделю больной в халате, она у нас потом хворает. Перемены в духовенстве. Серафим из Москвы замещает петербургского покойного Михаила. В Москву Филарет, а в Володимир Парфений на место Ксенофонта, отправленного в Каменец[13]. Лопухин Николай Ардалионович умер. Нелюбова вышла замуж. Разлука наша с княгиней Куракиной. Недуг принуждает меня ехать в Москву. Занятии мои в Александрове.

Читаю Бюффона, Волтера, Руссо. Сочинил четыре послания в стихах и разослал. Заочная переписка моя с Вельяминовой. Обращение прекрасное пасынков моих со мной. Они дали мне сюрприз, сыграли моих «Представителей»[14].

Август. Мы выехали из Александрова в Москву 9-го числа. Пребывание наше на пути в Комарах и Володимире. Смена там всех начальников[15]. Полки все выступили в поход. Город опустошился. Я получил известие, что посольство наше выбралось благополучно в Одессу из Царьграда[16]. Я выехал из Владимира, захворал на Ворши, тащился по одной станции в сутки и прибыл в Москву благополучно 28-го. Вельяминовы приехали из подмосковной для нас на несколько дней. Первое мое свиданье с ними 2 сентября.

Сентябрь. Варенька переехала в Москву на житье 18-го числа. Сестра воротилась из Болхова 23-го числа. Болезненное мое состояние, и я никуда не выезжаю. Все лето было мокрое и негодное. Мать Вельяминовой захворала сильной простудой и слег[л]а; от этого они принужденно остались на житье в Москве, и свиданьи наши были редки. Сын мой Дмитрий посылан был от посла проводить его графиню в Радзивил, и оттуда он пробрался прямо в Питер[17]. Об этом писал ко мне Миша, а не он сам, чем я и огорчился. Холодная моя с ним переписка.

Октябрь. Возобновление беспокойств по опеке Кашинцева. Скучная и ненастная осень в Москве. Я занимаюсь переводом на французский язык для княгини Куракиной «Разговора о счастии». Появилась в Москве италиянская опера. Общий восторг. Голицын, князя Сергия Михайловича брат, князь Александр скончался в Париже[18]. Начало моей переписки с Павлом в Бесарабию и конец переписки в Царьград.

Ноябрь. Сыну Дмитрию дан орден св. Анны третьей степени[19]. Известие о болезни сестры моей Селецкой. Ей делали операцию, выпускали воду, и она перевезена лечиться в Киев. Землетрясение в Кишиневе[20]. Сравнение зимы настоящей с прошлогодней.

Декабрь. Тяжкая моя простуда, начинавшаяся 3-го числа. Я освобождаюсь от оной, говею и причащаюсь 24-го числа. Погода скверная, ни морозов, ни снегу. Съестные припасы портятся. Общее сетование. Болезни, голод и дороговизна. Во всех веселых предприятиях неудача, ни одной комедии сладить нельзя. Одно было заседание нашего литературного общества[21]. Алексей приезжает в Москву, где тотчас вице-губернатором Бибиковым определен в надзиратели по винной части в Подольск. Неожиданные родины дочери моей 22-го числа в ночь. Бог дал мне еще

внука. Назвали его Михайлом. Крестили его мы с Хрущовой 30-го числа. Беспокойства мои оттого, что мы на сей раз с дочерью в разных домах. Свекор ее еще в деревне. Две свадьбы в нашем родстве, Татищева за Арсеньева и Нарышкина на Хрущовой. Мы, по милости Демидова, который в Петербурге, пользуемся его ложей в опере. Зима наконец стала о рождестве, и я помаленьку начал выезжать на полозках.

1822

Генварь. Беспокойства мои по делам дьякона Измаила. Кончина его. Свадьбы Татищевой и Нарышкина. Известие печальное в то же время о кончине сестры моей Селецкой 11 генваря в Киеве.

Февраль. Посредничество мое между Ушаковым и женою его. Возобновление моего общества словесности Великим постом[1]. Я занимаюсь моим лексиконом. Болезнь Анисьи Федоровны[2].

Март. Стихи мои на чистый понедельник[3]. Сын мой Дмитрий приехал в Москву 17-го. Необыкновенное состояние природы 22-го числа, гром и молния, и назавтра выпал снег.

Апрель. 8-го числа князь Дмитрий отправился в дилижансе обратно в Питер. 10-го происходило в домовой нашей церкве бракосочетание Мальцевой. Свадьба Бутурлиной и мое пиршество. Отставка пасынка моего Алексея[4]. Новиков получил крестик[5].

Май. Частые мои недуги и крапивная лихорадка с бессонницами. 13-го у меня был Мудров на консультации. Тяжкая необходимость остаться бессъездно в Москве. Крайний недостаток в деньгах. Крутая и опасная болезнь Классона.

Июнь. Вельяминовы уехали в Рязань 4-го. Одолжении денежные Офросимова и Мальцева. Благополучная оспа на меньшом внуке моем. Пасынок мой с семейством переезжает в Москву на квартеру. Новиковы выехали в деревню 25-го числа, а 26-го семья пасынка моего перебралась к нам. 29-го родилась у них дочь Варвара.

Июль. Назначение сына моего Дмитрия в Рим[6]. Переписка моя с Сперанским. Перестройка в доме. Вельяминовы, воротясь из Рязани, отправились в свою подмосковную. Словесные мои упражнения. Новые стишки[7] и переписка словаря. Частые мои пароксизмы, и я перестаю лечиться. Князь Дмитрий прибыл в Москву в дилижансе 24 июля. Классон становится очень труден, и его причастили 10-го числа.

Август. Князь Дмитрий отправился от меня в Рим 3-го числа. С ним поехал мой слуга Митюшка. Отчаянные больные в доме: Захар, Аграфена и Флена. Недостаток в деньгах так велик, что я принужден заложить на время табакерки с волосами покойной жены и с портретом нынешней. Промен многих старых книг моих французских на новые русские у Пономарева. 27-го числа скончались в доме в одно время и Аграфена, и Классон. 28-го в самый день их похорон приехала Варенька из деревни прямо к нам в дом и с мужем, и с детьми. Указ о масонах[8]. Рождение великой княжны Ольги Николаевны 30-го.

Сентябрь. Внук мой Алексаша занемог вдруг водяной в голове и умер 4-го числа. Деревня моя в Нижнем описывается, и женина также, за неплатеж процентов в Воспитательный дом. Флена скончалась 16-го числа. Труппа французских актеров приехала из Питера[9]. Государь отправился на конгресс в Верону[10]. Отъезд пасынка моего в Вологду и обстоятельства его. Сын мой Павел проехал из Бесарабии прямо в Питер, не заезжая в Москву.

Октябрь. Ссуда Владыкиной жене и обещании меня одолжить. 24-го у нас первая вечеринка в новом покое.

Ноябрь. Я получил два письма от Дмитрия из Турина и Флоренции. Проказы его слуги в Вене[11]. Переписка моя с ним через петербургских курьеров. Переписка сестры моей с Малиновским и худой успех ее. Вседневная моя переписка с Анисьей Федоровной. Ссылка Лабзина и Катенина[12].

Декабрь. Пасынок мой определен в Тотьму и опять служит по винной части. Вельяминовы к Святкам переехали в город. У Апраксина благородный спектакль, и у нас затевается. Французские театры продолжаются, и мы ими пользуемся[13]. Я говел к 24-му и исповедывался у Ивана Ивановича.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Н. В. Кузнецова, М. О. Мельцин

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В «ПОВЕСТИ...» КН. И. М. ДОЛГОРУКОВА

Жанр мемуаров содержит в себе определенный парадокс. Рассказ о человеческой судьбе всегда остается без своего естественного финала — повествования о моменте ухода главного героя из жизни. История, таким образом, оказывается лишена подведения итогов, и вся она оставляет ощущение недосказанности чего-то очень важного, чего-то такого, что автор хотел обязательно сообщить, но не смог. С этой особенностью мемуаристики приходится мириться. Но мы вряд ли ошибемся, если предположим, что читателю все-таки интересно, как закончилась жизнь кн. И. М. Долгорукова, жизнь, которую мы благодаря его «Повести...» представляем себе в таких ярких подробностях.

Мы бы ничего об этом не узнали, кроме даты — 4 декабря 1823 года по старому стилю, — если бы И. М. Долгоруков не передал любви к литературным трудам своим потомкам. Вот выдержки из письма от 31 января 1824 г., которое один из сыновей И. М. Долгорукова, Рафаил Иванович, пишет своему брату Дмитрию:

«Письмо мое из Москвы от 22-го прошедшего месяца, которое, конечно, ты уже получил, известило тебя, милый друг, о нашем общем несчастии. Теперь спешу тебе сообщить некоторые подробности касательно последнего времени покойного батюшки. Подробности эти, конечно, не врачуют глубокой раны, но знать их всегда приятно и даже утешительно, ибо оне свидетельствуют о чувствованиях и последних мыслях любимого человека. Я ошибся, сказавши в письме моем, что батюшка мог ходить еще накануне своей кончины. В тот самый день, 4 декабря, за полчаса до смерти выходил он из спальни. Присутствие памяти было в нем удивительное и моральных своих способностей лишился он только

при последних минутах своей жизни. Выход его из спальни в гостиную был — для меня. Он полагал, что я, извещенный о трудной его болезни, поспешил в Москву, и оставался в твердой надежде, что еще меня увидит. Можно смело сказать, что из всех домашних он один предчувствовал свой конец и неизлечимость своей болезни; переносил ее с тою же твердостью, с какою боролся с обстоятельствами своей жизни, часто горько отравленной, и положение свое — подобно доброй тетушке, княгине Шаховской — старался скрывать сколько можно более от своих домашних. За несколько дней до кончины приобщался он святых тайн. Духовник его и наш, Иван Иванович, пленялся его исповедью и говорил об ней с священным восторгом. Завещания никакого не осталось; в словесных же приказаниях, объявленных от него Ивану Ивановичу, изъявил он желание, чтоб его положили в самый простой гроб и в саване и чтоб до того времени, пока это исполнят, никто тела не видал, чтоб остатки его положены были на Филях и подалее от церкви, ближе к Москве-реке. На возражения священника, что таким образом гроб может быть снесен водою, отвечал он: «Не все ли равно?» Мне пришла идея, что он все это говорил в бреду, но Иван Иванович решительно утверждает, что все это было сказано в совершенной памяти и здравом рассудке. Остается думать, что все эти желания изъявлены были в подкрепление правил, изложенных в его стихотворении «Завещание»[1], от коих он отступить не хотел, и «Фили», «гроб», «саван», «умру, ничто уж не мое» это довольно объясняет. Вот мое мнение, хотя оно вовсе неутешительно; ибо гораздо бы было приятней видеть в последних отзывах покойного нашего отца более приверженности, более заботы об остающихся, чем устойчивости в прежних правилах, скорее относящихся к высокому духу философии, нежели к чувствам сердечной взаимности, столь драгоценной даже и за пределами гроба! Как бы то ни было, положено было с общего согласия от исполнения сих его желаний отступить, и дух его этим оскорбиться не может. В этой непокорности и свыше увидит он одно доказательство приверженности его любивших и духовное уважение даже и к бренным его остаткам. Он положен был в самый простой гроб, но в мундире, и схоронен в Донском, под одним камнем с покойной матушкой. Я не могу не повторить тебе здесь с восторгом, с какими трогательными знаками любви и почтения сопровождались его похороны!

[1] См.: *Долгорукий И. М.* Бытие сердца моего, или Стихотворения князя Ивана Михайловича Долгорукого. Изд. 3-е. В четырех частях. М., 1817. Ч. 1. С. 257—260.

Представь, что от самого нашего дома до Донского монастыря несли его приятели и знакомые на плечах. Имена Соковнина, Ушакова, Бехтеева должны нам быть памятнее многих других. Решительно можно сказать, что не было похорон, менее блестящих мишурою, но более великолепных почестью, как похороны покойного нашего отца. Какая прекрасная, красноречивая похвала его достоинствам! За несколько дней до кончины хотел он что-то написать и призвал было для этого Новикова, но после, однако ж, отложил. В числе словесных объяснений духовнику должно также упомянуть о вольности, которую хотел он дать двум внучкам бурмистра Федосеева, чего, по его словам, он «сам сделать не успел». Вот все, что было завещано батюшкой; другого он ничего не приказывал, ничего не объявлял и ничего не оставил письменного. <...>

Вот все, любезный друг, и в подробности, что произошло до моего приезда в Москву. Я приехал туда в половине января и натурально нашел дом в самом ужасном беспорядке. Безначалие совершенное, денег ни гроша, ибо надобно тебе мимоходом сказать, что мужики нижегородские, имея от папеньки позволение искать себе покупателя (он непременно продавал свою вотчину), пришли тотчас в неустройство, неповиновение и с самого ноября месяца высылают оброк только почастично. Мое тридцатидневное пребывание в Москве мало сделало пользы для дома, но и при всем том хлопот был полон рот. Вообще я старался сколько можно более сохранить денежную часть на прежнем основании, а теперь этим делом занят (увы) брат кн. Александр. Куда денутся счеты и отчеты! Ты знаешь, как он мало в таких вещах основателен.

После шести недель открыт был кабинет в присутствии брата кн. Александра, сестры Варвары (как свидетельницы) и моем. Прилагаю тебе здесь два списка за скрепами: один всем бумагам и вещам, найденным в кабинете, а другой тем из них, кои мы взяли — во ожидании твоего и брата Павла согласия, на которое, кажется, нам можно положиться. Впрочем, если сверх чаяния вы маленьким нашим распоряжением остались недовольны, то розданные вещи (и по воспоминанию самые драгоценные) остались в руках семейства; ваши возражения останутся всегда в силе. Все прочее осталось неприкосновенно, запечатанным и в доме, под ответственностию тетушки. Чтобы этим всем распоряжать, надобно общее согласие, и не худо бы было, если б предварительно ты дал свое мнение насчет, например, бумаг, библиотеки и, в особенности, биографии. Что со всем этим делать? Кстати замечу здесь о некоторых пунктах в описи, требующих пояснения. В собственноручной записке о

«Путешествиях»[2] сказано, что они находятся у А. Ф. Вельяминовой, она же представила нам собственноручное письмо батюшки, в коем он все манускрипты «Путешествий» дарит ей с условием представить нам копию, а потому эти тетради принадлежат ей, и нам остается право требовать с них копию. Ломбардные билеты, означенные в описи, состоят на серебро и золотые табакерки; сии вещи в глазах наших должны иметь одну цену: золото и серебро, а потому об них и говорить нечего, собственноручная при них находящаяся записка означает время выкупа; подобные описи оставлены также за скрепой для нас троих. Ты по них увидишь, что вещи, которыми мы provisoirement[3] распорядились, суть для нас самые драгоценные по воспоминаниям, ибо оне не лежали в шкатулках, а более или менее были в употреблении до самой батюшкиной кончины. В их числе образ — драгоценность незаменяемая — присужден тебе как отсутствующему. Ты будешь уметь дать этой драгоценности прямую цену, и я душевно рад, что она ляжет на добрую твою грудь. Этот образ батюшка никогда не снимал, и в нем он скончался. Я его при сем прилагаю. Да будет он хранителем твоего счастия, воспоминания о папеньке и любви твоей к семейству! Чернилицу постараюсь я прислать к тебе с первой удобной оказией курьерской; все вдруг переслать мудрено.

Теперь несколько слов о доме, домашних и делах: последние в ужасном расстройстве, а вторые большею частию этого не понимают или, лучше сказать, понимать не хотят. Княгиня, провозгласивши, что «она и с нами расстаться не может», сохраняет не только свой in statu quo как при батюшке, т. е. обширную дворню, многое число лошадей и проч. — издержки, кои падают на дом, — но еще отказалась от стола. Спрашивается, могут ли расходы уменьшиться? Есть ли возможность уплатить хотя несколько из долгов от оброка? Что в таком случае делать? На резоны всякий глух, на всхлипывание падки, и, признаюсь, в этом отношении я рад был, что оставил Москву: мудрено употребить власть полицейскую, а иначе распорядить ничем нельзя решительно. Между тем имение два раза уже было описано, платеж долга казенного давно просрочен еще при батюшке, мужики в неповиновении, а мы все в отдалении (ибо

[2] Три книги путевых заметок, позднее опубликованных: *Долгоруков И. М.* Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1870. *Он же.* Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. М., 1870. *Он же.* Путешествие в Киев в 1817 году. М., 1870.

[3] Предварительно (фр.).

кн. Александр уже подал просьбу и решительно в будущем месяце отправляется в чужие краи ради болезни).

По счастью, кн. Сергий Михайлович Голицын представил императрице положение наших дел, и нам, подобно другим, отсрочен на один год платеж казенного долга. Итак, год остается нам времени, но способов удержать имение нет никаких, ибо, еще повторяю, весь оброк едва ли будет достаточен к содержанию домашнего обихода, а как проценты казне будут следовать с капиталом, то нам придется платить весьма уважительные суммы, и начиная с 10 т. Где взять? <...> Благодетелей уже нет, и искать их негде.

Вот тебе верный coup d'œil[4] на состояние нашего наследства, я об этом довольно долго думал, но вижу, что никакие меры к улучшению нейдут. По-моему, остается одно средство — продать, жалкое, конечно, ибо скоро сделано, но после не воротить, но вместе в тем и неизбежное. <...>

Тебе, конечно, приятно будет иметь некоторые из бумаг и писем, которые ты оставил у меня, а потому я здесь прилагаю полный им реестр; назначь те, которые ты хочешь иметь, и оне немедленно будут к тебе доставлены. Зная наперед, что все относительно покойного батюшки для тебя приятно иметь тотчас же себе, посылаю тебе все его письма, кои ты увидишь отмеченными в реестре. <...>

Прощай, милый друг. Обнимаю тебя со всею горячностью брата и испытанного друга. Будь здрав, старайся ловить впечатления приятные и относи несчастья к святому правилу, что мы водимы рукою незримой и что проведение, неисповедимое в путях своих, бдит над чистою совестью и внемлет доброй молитве»[5].

Итак, теперь можно сказать, что перед нами прошла действительно вся жизнь кн. Долгорукова. В его Истории находят отражение самые разные проявления культуры: повседневный быт, нравы, круг чтения, служба, человеческие взаимоотношения, светская жизнь, творчество, политика и многое другое. Перед нами целый мир, с которым лучше всего знакомиться, обращаясь к тексту самого И. М. Долгорукова. Кажется, что к этой подробнейшей биографии просто невозможно прибавить никаких новых сведений об авторе и его жизни. Но не следует забывать, что

---

[4] Взгляд (фр.).

[5] РГАЛИ. Ф. 1064. Оп. 1. Ед. хр. 8. Имеется и машинописная копия конца XIX или начала XX в.: РГИА. Ф. 1088. Оп. 2. Д. 868.

в мемуарах художественный вымысел и литературные приемы имеют иной статус, нежели в собственно художественной прозе. Внутренняя логика и связность мемуарного сочинения, как и любого другого, обусловлена в значительной степени искусственным построением, созданным воображением автора. Тем не менее в основе этой книги, безусловно, лежат совершенно реальные события. Восстановление исторической правды, особенно касающейся частной жизни человека, кажется нам задачей нереальной. Мы попытаемся всего лишь поставить проблему соотношения реальности и событий, представленных в тексте, ради более полного понимания того, какой материал лежит в основе этой биографии.

Читая мемуары, мы ищем в них прежде всего не обезличенную реальность, а ее субъективное авторское видение. За жизненными событиями, нашедшими отражение в тексте, вырисовывается личность человека прошлого, и мы можем немного проникнуть в далекий от нас, иногда совсем непонятный, мир переживаний и проблем. И. М. Долгоруков ставит перед собой задачу говорить лишь о себе. Текст «Повести...» оказывается сконцентрирован вокруг авторского самоописания, в результате чего создается подробный и выразительный психологический автопортрет. Современный читатель, безусловно, может найти в этих мемуарах ту общечеловеческую основу, которая делает интересным чтение подобной литературы во все времена. Но, как нам кажется, в этих мемуарах говорится о целом ряде вещей, достаточно ушедших из современной культуры, чтобы их было трудно понять без специального комментария. В данной статье мы попытаемся раскрыть некоторые особенности мировоззрения кн. Долгорукова, обратить внимание читателя на те черты его внутреннего мира, которые, по нашим наблюдениям, проявляются в структуре и стилистике «Повести о рождении...».

Специфика мемуаров И. М. Долгорукова заключается в том, что они писались на протяжении практически всей его жизни, начиная с 24 лет вплоть до самой смерти, и неизбежно то откладывались в сторону, то возобновлялись.

Текст «Повести...» представляет собой своеобразную комбинацию мемуаров и дневника. По прошествии каждого года, как говорится в тексте мемуаров, И. М. Долгоруков составлял черновую краткую запись событий своей жизни, а потом, пользуясь этими записями, писал подробное изложение. Развернутый текст сочинялся фрагментами, охватывающими несколько прошедших лет. Неудивительно, что текст изобилует противоречиями, неясностями и неточностями. За долгие годы со-

чинения «Повести...» автору неоднократно доводилось менять точку зрения, нарушать собственную логику, вносить исправления в написанный ранее текст, наконец, просто ошибаться. Поэтому мы зачастую не можем установить причину противоречий, содержащихся в тексте, но можем составить представление об отношении И. М. Долгорукова к тому или иному событию.

Для аристократии конца XVIII—начала XIX в., к которой принадлежал И. М. Долгоруков, огромное значение имело понятие родства. Каждый представитель рода ощущал себя частью своеобразной психологической общности, связывающей его не только с современниками, но и предками, и с потомками. Род воспринимался как нечто целое, и часто имущественные, статусные или какие-либо иные конфликты передавались из поколения в поколение, «по наследству». В сознании человека того времени история рода была связана с понятием общеродовой судьбы, с представлением о том, что жизнь человека во многом зависит от того, насколько удачно сложилась жизнь его предков, о том, что непременно сбудется все, «написанное на роду» и предназначенное свыше.

И. М. Долгоруков ощущает себя представителем очень знатного, в прошлом весьма влиятельного рода, который едва не породнился с царской фамилией, но из-за интриг подвергся гонениям. Он уверен заранее, что его История будет интересна, так как, по его убеждению, на долю их рода выпадает трудная судьба. Действительно, И. М. Долгорукову передано по наследству от отца и бабки представление об эфемерности сегодняшнего благополучия. Начиная вести записи, И. М. Долгоруков заранее старается окрасить свое будущее в мрачные тона и предугадать для себя нелегкую участь.

Кн. Долгоруков описывает в мемуарах множество знаков, посылаемых судьбой, видит во многих происшествиях символический смысл, несмотря на то что здравый рассудок велит ему не верить в приметы: «Люди, ко всему привязывающие особый смысл, выводили из самого дня нашей свадьбы невыгодную для меня примету, говоря, что на первой жене я женился 31 генваря, а на второй 13-го, следовательно, выворот числ, по их мнению, должен был и счастье выворотить наизнанку. Но я никаких примет не боялся и ни одной не верил» (т. 2, с. 5). На самом деле И. М. Долгоруков, особенно в свои молодые годы, уделяет много внимания подобным формальным совпадениям.

Рассказывая о женитьбе своего отца, И. М. Долгоруков сообщает, что он вступил во второй брак 28 сентября 1757 г., в тот самый день, в

который за год до этого умерла его, М. И. Долгорукова, дочь от первого брака (28 сентября 1756 г.). Хронология событий, согласно «Повести...», такова: бракосочетание М. И. Долгорукова и А. М. Голицыной состоялось в сентябре 1754 г., 19 июня 1755 г. у них родилась дочь, а мать скончалась через два дня после этого; ей шел двадцатый год; замужем жила 40 недель и 3 дня. Дочь прожила 1 год и 2 месяца и скончалась 28 сентября 1756 г.

Датируя эти события, И. М. Долгоруков допускает неточности. Согласно большинству генеалогических справочников[6], даты жизни кн. Анны Михайловны 18.11.1734—21.06.1755. Кн. П. В. Долгоруков в родословии князей Голицыных датирует ее рождение 18.11.1733[7]. Н. Н. Голицын называет еще одну дату — 08.11.1734[8]. Надгробная надпись, не называя дат рождения и смерти, сообщает, что она родилась на память святых мучеников Платона и Романа, то есть 18 ноября, а прожила 21 год 10 месяцев 18 дней[9], что не соответствует приведенным выше датам. Согласно им, она жила 20 лет 7 месяцев 3 дня. В любом случае, на момент смерти ей никак не мог идти двадцатый год, как пишет И. М. Долгоруков. Он же, повторяя в этом надпись на надгробной плите, пишет, что замужем она прожила 40 недель и 3 дня, что позволяет вычислить дату свадьбы — 11 сентября 1754 года, в то время как Г. А. Власьев, а за ним кн. Ф. С. Аргутинский-Долгоруков называют 1 сентября 1754 г. Между указанными в мемуарах датами жизни ее дочери (19 июня 1755 г. — 28 сентября 1756 г.) прошел 1 год 3 месяца и 10 дней, а не 1 год и 2 месяца, как утверждает автор.

Далее в тексте говорится еще об одном совпадении дат — даты второго бракосочетания отца и пострижения в монахини Н. Б. Долгоруко-

---

[6] *Долгоруков П. В.* Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. СПб., 1854. Ч. I. С. 94; *Ermerin R.-I.* Annuaire de la Noblesse de Russie. A.I. SPb., 1889. P. 83; *Власьев Г. А.* Потомство Рюрика. Материалы для составления родословия. СПб., 1907. Т. I. Ч. 3. С. 99; [*Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.*] Московский некрополь. СПб., 1907. Т. I. С. 387. *Долгорукой Ф. С.* Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие Аргутинские. СПб., 1913. Ч. II. С. 71.

[7] *Долгоруков П. В.* Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. СПб., 1854. Ч. I. С. 295. При этом он противоречит своему же сообщению в родословии князей Долгоруковых.

[8] *Голицын Н. Н.* Род князей Голицыных. Т.I. Материалы родословные. СПб., 1892. С. 157. При этом Г. А. Власьев ссылается как на П. В. Долгорукова, так и на Н. Н. Голицына.

[9] [*Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.*] Московский некрополь. Т. I. С. 387.

вой: «Оба они в один и тот же день восприяли: сын в Москве ризу торжественную супружества, а мать в Киеве черную хламиду монашества» (т. 1, с. 16). Действительно, большинство справочников и других сочинений называют понедельник 28 сентября днем пострижения Н. Б. Долгоруковой. Только состоялось оно в 1758 г., а не в 1757 г., как написано в мемуарах[10]. При этом в другом своем сочинении сам И. М. Долгоруков сообщает, что пострижение состоялось 27 сентября 1758 г., в воскресенье[11], что ставит под сомнение точность датировки и этого события.

28 сентября объединяет в мемуарах три события из истории рода Долгоруковых, но это не единственное памятное число. Вот что пишет И. М. Долгоруков о смерти Н. Б. Долгоруковой: «Наконец достигла и она всем определенного жребия и 1771 года июля 3 дня скончалась» (т. 1, с. 14—15). В это же самое число, 3 июля, в 1780 г. кн. Долгоруков выпущен из Московского университета в армейские прапорщики. «3 число июля сугубо сделалось для меня на всю жизнь мою замечательным. В этот день скончалась бабка моя, великая жена схимонахиня Нектария, и в тот же самый день, несколькими годами позже, я вступил в службу царю и отечеству» (т. 1, с. 49) — так резюмирует автор совпадение этих дат.

Трудно сказать, что здесь реальное совпадение, а что ошибка. По крайней мере, очевидно, что для И. М. Долгорукова достаточно важно, чтобы события в его жизни и истории его рода были связаны с определенными датами или днями. Обращая внимание на такие совпадения, он ищет связи даже между событиями, совершенно не имеющими отношения друг к другу. Так, в «Капище...» он рассказывает о несчастиях, происходящих с ним по четвергам: «В четверг на первой неделе поста мы отпустили в первый раз из дома сына своего, Павла, в Москву обучаться. На второй неделе, в четверг же, умер на руках моих сорокадневный

---

10 *Е[сипович] Я. Г.* Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова // Отечественные записки. 1858. № 116. Ч. I. Отд. I. С. 300. *Власьев Г. А.* Потомство Рюрика. Материалы для составления родословия. СПб., 1907. Т. I. Ч. 3. С. 75. *Долгорукой Ф. С.* Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие Аргутинские. Ч. II. С. 71. Впрочем, есть и работы, называющие 28 сентября 1757 г.: *Долгоруков П. В.* Сказания о роде князей Долгоруковых. Изд. 2-е. СПб., 1842. С. 157. *Долгорукий А. В., Шпилевская Н. С.* Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. СПб., 1869. Ч. I. С. 152. Сама Нектария называет 27 августа 1758 г. (фрагмент ее записной книжки см.: Русский архив. 1867. Стлб.62. Эта записная книжка должна была быть известна И. М. Долгорукову).

11 См. *Долгоруков И. М.* Славны бубны за горами... С. 257.

младенец, наш Петруша <...> На третьей неделе, в четверг же, я хоронил Мартынову <...> Я долго, долго не мог привыкнуть к тому, чтоб не бояться четвергов, и лишь этот день подходил, то я от всякого взора содрогался. После, гораздо после, я овдовел в четверг <...> »[12]. В «Повести...» («1796 г.») эти события изложены в другой последовательности. Сначала «на масленице скончалась г-жа Мартынова, мать Загоскиной» (т. 1, с. 415). Не исключено, что ее могли действительно хоронить в четверг, но на масленице, а не через три недели. Потом следует отъезд Павла и смерть Петра, а четверг третьей недели поста связан с приступом, как мы сегодня бы сказали, депрессии: «Спустя после всех этих сцен неделю, и именно в ночь на четверг же третьей недели поста, я вдруг на вечерней своей молитве, стоя у кровати и приготовляяся лечь спать, почувствовал страх смерти в такой необычайной силе, что встревожил весь дом, не ложился спать, ждал себе последнего часа» (т. 1, с. 416). Перечисленные события связаны между собой только тем, что происходят в один день недели. Проводы Павла в Москву несут в себе горечь разлуки, но вряд ли мы бы назвали это словом «несчастье», а похороны Е. И. Мартыновой, которая даже не принадлежала к числу близких друзей дома Долгоруковых, подействовали на воображение И. М. Долгорукова не столько утратой приятельницы, сколько тяжестью самой церемонии. Выражение «в ночь на четверг» вообще при необходимости можно легко заменить на «в среду вечером». Впрочем, если автор утверждает, что четверг приносит ему несчастья, значит, так оно и есть.

Путаница с датами наблюдается и в рассказе о судьбе деда автора, И. А. Долгорукова. В «Повести...» его история представлена как «мученическая кончина за правду». Князь Иван Алексеевич родился в 1708 г., а казнен был 8 ноября 1739 г. Дата казни была прекрасно известна его внуку, и в другом своем сочинении он называет именно ее[13]. Однако в «Повести...» мемуарист настойчиво, в двух местах текста, повторяет, что казнь состоялась в 1740 г. Возможно, это обычная неточность, хотя именно она позволяет И. М. Долгорукову делать заключение о том, что дед его погиб в борьбе за свободу на 33-м году от рождения.

---

[12] *Долгоруков И. М.* Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни / Изд. подготовил В. И. Коровин. М., 1997. С. 59.

[13] См.: *Долгоруков И. М.* Славны бубны за горами... С. 256.

Мы не будем повторять здесь широко известной истории о том, как на самом деле жил и за что погиб этот человек[14]. Для И. М. Долгорукова его дед был героем-мучеником, невинной жертвой коварства и подлости. Цифра 33 приобретает здесь вполне символическое звучание.

Кн. Долгоруков, как и всякий мемуарист, занимается переосмыслением и пересозданием событий, которые с ним произошли. Он сочиняет биографию, достойную, по его мнению, представителя рода Долгоруковых. Приведенные даты и цифры выступают в качестве своеобразного литературного приема, элемента семейного предания, воссоздающего фамильную мифологию. Благодаря им история рода приобретает внутреннюю взаимосвязанность. Нам сообщаются не столько события, случившиеся на самом деле, сколько переживания об этих событиях, которые запечатлелись в памяти автора и которые должны обязательно быть зафиксированы в памяти потомков. Надо отметить, что совпадение некоторых дат событий из жизни самого И. М. Долгорукова и его предков касается не самых существенных жизненных вех. Например, автор уделяет большое внимание числу, в которое он был выпущен из Университета, кажется, только потому, что дата совпала с днем смерти Нектарии. Ему видится в этом «чудная игра судеб». И. М. Долгоруков, стремясь вписать свою биографию в историю рода, следует семейной традиции. В «Заглавии» говорится о том, что к началу работы над мемуарами его побудили две вещи: совет отца и пример бабки схимонахини Нектарии. Традиция была унаследована и детьми И. М. Долгорукова. Так, рассказ сына о его смерти в письме, процитированном выше, удивительным образом перекликается с тем, как сам И. М. Долгоруков описывает в «Повести...» кончину своего отца в 1794 г. В обоих текстах отражены одни и те же сюжетные элементы: прощание с близкими в день смерти; сохранение твердой памяти до последних минут; в обоих случаях особо подчеркивается борьба с бедствиями на протяжении всей жизни и смерть в полной нищете. В этих сходствах, не очень существенных по сути, нам видится естественная преемственность мировосприятия, присущая семье Долгоруковых.

Вообще, родственным связям в мемуарах уделяется огромное внимание. Для И. М. Долгорукова система родства является безусловной ценностью сама по себе. Наличие внутриродовой вражды делает его пред-

---

[14] См., например: *Коровин В. И.* Князь Иван Долгоруков и «Капище моего сердца...» // *Долгоруков И. М.* Капище... С. 283—350.

ставления о родстве довольно сложными и противоречивыми. Поскольку родство было принято прослеживать достаточно далеко в прошлое, у И. М. Долгорукова насчитывалось значительное количество родни, часть которой относительно ладила между собой, часть вовсе не поддерживала отношений. Поэтому, с одной стороны, И. М. Долгоруков все время употребляет одну из своих любимых пословиц: «свой своему поневоле друг», а с другой стороны, подчеркивает свою родственную связь с теми, кто ему приятен, и умалчивает о наличии родства, если человек ему не нравится.

Круг родственников очерчен в мемуарах очень определенно. Принадлежащие к роду Долгоруковых названы или по-современному — родственники, или менее привычно — однофамильцы. Для современника И. М. Долгорукова в слове «однофамилец» была слышна внутренняя форма: члены одной фамилии, то есть семьи. Эти два слова, близкие по значению, нельзя назвать полными синонимами. Кн. Долгоруков пишет: «Имея честь принадлежать сему знаменитому роду, столь прославленному в летописях нашего государства, весьма естественно, что я, от рождения моего доныне, ни с кем не был так часто в различных отношениях, как с членами оного и однофамильцами своими. Все они, более или менее, были со мной в связи или по родству, или по приязни, или, по крайней мере, по короткому знакомству»[15]. Последнюю фразу можно понять так, что среди однофамильцев И. М. Долгорукова есть родственники, приятели и знакомые. Если проследить употребление этих терминов по отношению к разным лицам, то окажется, что действительно однофамильцы — наиболее общее и эмоционально нейтральное слово для обозначения принадлежности к роду, а родственники — круг людей, связанный друг с другом более тесным родством и отношениями.

Например, кн. Долгоруков-Крымский не входит в число родственников: «Хотя он не был с нами в родстве, но по природе нося одно имя с ним, батюшка пользовался его благоволением и просил его обо мне» (т. 1, с. 54). И. М. Долгоруков приходится ему девятиюродным внуком. То же самое относится к кн. В. С. Долгорукову: «Мы с этим домом без родства имели только одно имя общим» (т. 1, с. 244), — пишет И. М. Долгоруков и называет его в другом месте «престарелым своим однофамильцем» (т. 1, с. 690), которому он приходится девятиюродным племянником. Кн. Ю. В. Долгоруков, тоже девятиюродный дядя И. М. Долгорукова,

[15] *Долгоруков И. М.* Капище... С. 30.

причислен к однофамильцам: «он во многих случаях оказывал ко мне участие прямо родственное, не быв также в родстве со мной»[16]. Даже по тем временам девятиюродное родство считалось достаточно дальним.

Между понятиями «родственник» и «однофамилец» не существовало четкой границы. Например, в «Повести...» упоминается десятиюродный племянник И. М. Долгорукова: «У меня жил тогда родственник же мой, кн. А. Я. Долгоруков, нашего полку офицер» (т. 1, с. 96). Про него же в «Капище...» сказано: «Князь Александр Яковлевич. Добрый малый! Мы с ним были не родня, а только однофамильцы, служили в гвардии в одном полку, оба офицерами, и жили в одном доме»[17]. Живя вместе, молодые люди дружили, это было для них важнее, чем очень дальняя родственная связь. Возможно, поэтому И. М. Долгоруков выбирает по отношению к нему слово «родственник», когда рассказывает о нем в «Повести...». Кн. А. Я. Долгоруков вскоре погиб, и к моменту написания вторых мемуаров И. М. Долгорукова эта дружба осталась далеко в прошлом, что, вероятно, и проявилось в определении его как однофамильца.

В прозе И. М. Долгорукова можно найти массу примеров того, как родственные узы вступают в противоречие с приятельскими. От членов одного рода, несмотря на степень родства, в обществе ожидали поддержания отношений, взаимопомощи, протекции, участия в воспитании детей «бедных родственников». Когда отношения между родственниками не складывались, их все равно приходилось поддерживать формально, как в случае с двоюродным дядей И. М. Долгорукова, кн. А. А. Долгоруковым. «Там ныне губернатором был родственник наш, хотя и не очень нам короткий человек, кн. Алексей Алексеевич Долгорукий, но, будучи наш однофамилец <...> » (т. 2, с. 389). По степени родства его следовало, скорее, считать родственником. И. М. Долгоруков, переводя его в категорию однофамильцев, использует в качестве аргумента отсутствие между ними тесных отношений. О другом своем двоюродном дяде, Николае Петровиче Шереметеве, И. М. Долгоруков пишет: «Он не был с нами знаком, знал, что мы родня, но не уважал никогда нашим домом» (т. 1, с. 240). И. М. Долгоруков возмущен тем, что их отношения не поддерживаются даже на уровне светских визитов, то есть, с его точки зрения, нарушены всякие правила приличия.

---

16 Там же. С. 118.
17 Там же. С. 117.

Если родство сопровождалось особенно теплыми отношениями, то за родственников И. М. Долгоруков признает даже девятиюродную тетку: «Утро я слонялся по вельможам, а вечера проводил у родственников или с ними дома. Графиня Наталья Владимировна Салтыкова, всегда одинакова во нраве и правилах, осыпала меня ласками своими, а муж ее ласкал меня также, но для формы» (т. 2, с. 68). Н. В. Салтыкова — урожденная княжна Долгорукова, родная сестра кн. Юрия Владимировича, который при той же степени родства тем не менее отнесен к однофамильцам.

Вообще, словом «родня» И. М. Долгоруков называет, как правило, относительно дальнюю по современным представлениям родню: троюродных, четвероюродных родственников, а также тех членов рода, с которыми его связывают приятельские отношения. К родственникам И. М. Долгоруков относит кн. С. В. Долгорукова, своего троюродного дядю; двух девиц Яньковых, четвероюродных сестер по матери; М. Ф. Толстого, троюродного брата; А. В. Щербатову, «дальную по родству, но ближнюю по приязни», жену троюродного дяди И. М. Долгорукова; двоюродных теток кн. А. А. Голицыну и кн. В. А. Шаховскую.

Выбирая между системой формальных родственных связей и реальными человеческими симпатиями, И. М. Долгоруков предпочитает иногда вообще не сообщать о наличии родства, чем вдаваться в подробности внутрисемейной вражды. В тексте «Повести...» упоминается и даже цитируется известный поэт Н. П. Николев, находящийся с И. М. Долгоруковым в родстве (свойстве): он женат на его двоюродной тетке. Но тетка эта — дочь того самого кн. Александра Алексеевича Долгорукова, младшего брата казненного Ивана Алексеевича, которого И. М. Долгоруков обвинял в доносе, погубившем деда. И хотя со временем категорический отказ от общения с его семейством несколько смягчился (с другой дочерью Александра Алексеевича, Лопухиной, И. М. Долгоруков общался), с Николевыми родственная связь так и не наладилась.

Во время своей службы в Пензе И. М. Долгоруков много конфликтовал с директором Экономии Неофитом Прокудиным, для характеристики которого не пожалел черных красок. Досталось и брату его, Петру Прокудину, служившему в Нижнем, с которым И. М. Долгоруков общался совсем немного, но достаточно, чтобы быть уверенным в вороватости этого человека. Много лет спустя, когда И. М. Долгоруков уже служил во Владимире, один из его шурьев женился на П. М. Прокудиной. О своей новой родственнице, родной племяннице давних знакомых,

И. М. Долгоруков отзывается хорошо и старается не подчеркивать, что через этот брак он породнился с теми самыми Прокудиными.

Таким образом, глубоко почитая свои исторические корни, И. М. Долгоруков тем не менее разборчиво относится к членам рода, с которыми общается в повседневной жизни. В зависимости от сложившихся отношений родственная связь то актуализируется, то отодвигается на второй план.

И. М. Долгоруков, считая себя представителем одного из знатнейших родов государства, ведет себя в соответствии со своим социальным статусом. Он убежден, что имеет право на особые отношения с престолом, что с трона на него и его род постоянно должны сыпаться всяческие милости. В аристократической среде было принято считать, что дворянство — опора престола, а Долгоруковы всегда претендовали на особую роль в этом политическом вопросе. И. М. Долгоруков смолоду стремится попасть в лучшее общество, то есть, проще говоря, быть все время на глазах царской семьи. Его восхищает возможность отобедать за одним столом с самой Екатериной II, он переживает, когда из-за болезни вынужден пропустить праздник у двора, и всерьез негодует, что Е. С. Долгоруковой на ритуальном приеме во дворце вместо денег и имения дают карамель для детей.

Стремление приблизиться ко двору, добиться положения, которого он достоин и которое было утрачено предками, заставляет И. М. Долгорукова предпринимать определенные шаги. Приведем два эпизода, произошедших в течение 1786 года и внешне очень похожих друг на друга, которые тем не менее получили совершенно различную оценку И. М. Долгорукова. Оба случая связаны с участием И. М. Долгорукова в театральных представлениях при дворе великого князя Павла Петровича. По окончании игры великий князь награждает актеров подарками. После первого из спектаклей И. М. Долгорукову сообщают о посылаемых ему часах в подарок «за снисхождение». Вот реакция награждаемого: «При этом слове меня бросило в жар, я забыл, где я, забыл долг уважения к лицам, меня призвавшим, и, наговоря всего много, просил Чернышева поскорей предупредить такой уничижительный для меня поступок, потому что я часов не приму и дам чувствовать их высочествам, что меня наравне с художником наемным награждать они не могут» (т. 1, с. 118). Проходит совсем немного времени, и И. М. Долгорукова снова награждают за игру. Великий князь дарит ему бриллиантовый перстень со своим вензелем. «Прекрасный вымысел — подарить благородных людей в признательность за их снисхождение» (т. 1, с. 136), — пишет И. М. Долгоруков.

Современный читатель видит в этих двух авторских комментариях некоторую непоследовательность. Действительно, различие между двумя ситуациями заключается, на первый взгляд, только в даримом предмете. Часы — подарок дорогой. Напомним, что родители И. М. Долгорукова его университетским учителям тоже дарят часы в числе прочих дорогих вещей. В отличие от часов перстень имеет вензель великого князя, что превращает подарок скорее в памятный, чем в драгоценный. Возможно, именно с этим связана противоположная реакция на них И. М. Долгорукова. Но, как нам кажется, дело не только в этом. Первый случай был для кн. Долгорукова особенным: он только попал ко двору и, мечтая войти в круг высшего общества, рассматривал участие в театральном зрелище как свой шанс. Если бы он принял часы, ему пришлось бы удовольствоваться подарком, вряд ли он мог рассчитывать после этого быть еще и представленным великому князю лично. Отказ помог ему достичь желаемого. Он, по его словам, успокоился и пошел во дворец. В истории с перстнем И. М. Долгоруков уже не преследовал других целей, кроме увеселения в самом отборном кругу людей, где подарок уже не казался унизительной платой за труд.

В мемуарах события жизни не просто фиксируются и переосмысливаются, они выстраиваются в некоторый сюжет, линия развития которого подчиняется основным идеям текста. И. М. Долгорукову кажется значимым все происходящее с ним, не только потому, что он считает свою жизнь частью жизни влиятельного клана, но и потому, что ему по-человечески хочется увековечить в тексте свой внутренний мир, свою неповторимую личность. Оправдывая письменные занятия, он часто говорит о том, что пишет мемуары для себя, потому что стремится избежать праздности. Литературный труд всегда приносил И. М. Долгорукову больше удовольствия, чем пользы, хотя он постоянно декларирует, что его «Повесть...» должна в будущем послужить для детей учебником жизни. Дидактическая направленность является одной из сквозных идей «Повести...». Эта идея, воспринятая как цель создания текста, придала «Повести...» целый ряд специфических черт. Следуя логике И. М. Долгорукова, в тексте, созданном в назидание потомкам, не должно содержаться того, что может послужить плохим примером для подражания. Вполне естественно, что, читая эти мемуары, мы находим в лице И. М. Долгорукова идеального отца, верного мужа, образец честнейшего слуги отечества и вообще порядочного человека. И. М. Долгоруков рассказывает свою Историю так, чтобы никакие посторонние, сомни-

тельные, а особенно неприятные события из жизни семьи по возможности не находили отражения в тексте.

«Повесть...» И. М. Долгорукова подкупает предельно искренней интонацией и задушевностью. Когда читаешь Историю, кажется, что мемуарист старается рассказать о себе как можно больше правды. Ему невозможно не верить. Тем не менее эта искренность и правдоподобность — лишь яркое свидетельство незаурядного литературного дарования автора. Так, например, описывая замужество своей сестры, которое состоялось в сентябре 1805 г., он сообщает суть дела в таком месте и так, чтобы история выглядела как можно красивее. В тексте говорится, что В. Л. Селецкий собирался жениться на Долгоруковой еще лет 10 назад, после смерти батюшки, то есть в 1794 г. Внезапно он исчез, а вместе с ним и все планы: «В самое то время, когда ожидали делу развязки, г. Селецкий вдруг пропал, уехал из Москвы и во все это время не дал о себе знать никому из нас ни слова» (т. 1, с. 667). Казалось бы, эту историю нужно искать в тексте «Повести...» под 1794 г., где такое важное событие должно было быть отражено во всем многообразии переживаний самой княжны Долгоруковой и всей семьи. Но ни там, ни далее вплоть до самой свадьбы мы никакого упоминания о В. Л. Селецком не находим. Вряд ли можно объяснить такое умолчание забывчивостью автора. О поступке жениха И. М. Долгоруков пишет: «Долго действовало на всех такое оскорбление» (там же). Если бы эта история так и закончилась исчезновением жениха, вряд ли сватовство г. Селецкого вообще было бы где-либо упомянуто.

Не менее любопытен рассказ о том, как И. М. Долгоруков после смерти первой жены чуть не женился на В. П. Волконской, в которую был страстно влюблен в течение почти 10 лет. Между ними уже шла довольно решительная переписка о сватовстве, как вдруг кн. Долгоруков разрывает и переписку, и почти уже состоявшуюся помолвку. Этот поступок объяснен в мемуарах так: «Дочь моя, невинная Маша, уронила тихонько слезу, я ее увидел и с той же почтой положил основание вместо брака вечному разрыву между мной и княжной Волконской» (т. 1, с. 669). Причина правдоподобная и довольно уважительная. В «Повести...» нигде ни разу не упоминается имя некоего И. Н. Моложенинова, который, как известно из «Капища...», сыграл не последнюю роль в отношениях между Долгоруковым и Волконской, а точнее, именно из-за него не состоялась их свадьба. Этот человек был домашним в семье Волконских, его там уважали и почитали. И. М. Долгоруков не питал к нему симпатии и даже скрывал от него свое пристрастие к княжне. Разрыв от-

ношений с княжной, помимо возражений Маши, был вызван следующим обстоятельством. Кн. Долгоруков получил от Варвары Петровны письмо, «в котором она, между прочим, беседуя со мной о разных подробностях будущего нашего соединения, внушала мне, что Моложенинов, как человек порядочный, расчетливый, бережливый, словом совершеннейший, может жить в нашем доме и управлять нашим хозяйством. Я так испугался этого сухого, холодного и угрюмого мизантропа, что тут же стал колебаться»[18]. Колебания привели в итоге к прекращению отношений. Все эти подробности, а возможно и некоторые другие, тщательно умалчиваются в «Повести...».

Было бы слишком прямолинейным видеть в таких умолчаниях обычную ложь. Сам И. М. Долгоруков называет подобные вещи словом «скромность». В его время это слово значило примерно то, что мы бы назвали сокрытием обстоятельств, заведомо не подлежащих разглашению, то, о чем неприлично говорить. Текст «Повести...» скромно обходит такие вещи, которые, по мнению И. М. Долгорукова, не должны фигурировать в назидательном сочинении. На самом деле почти все неточности данного текста замечены нами при сравнении с его же собственными мемуарными произведениями. То есть смысл «скромности» И. М. Долгорукова в «Повести...» не в том, чтоб утаить эту информацию, а в том, чтобы дать детям правильное понятие о жанровой сущности дидактического текста. И. М. Долгоруков раскрывает в этих мемуарах свое идеальное представление о себе и своей жизни и то, как об этом следует рассказывать.

Трактуя события со своей точки зрения, автор мемуаров всегда находит возможность убедить читателя в своей правоте. И. М. Долгоруков избегает излишнего самоосуждения, не способствующего созданию положительного образа в глазах потомков. Он часто оправдывает себя и осуждает других за одинаковые поступки, даже не заботясь о том, что противоречит сам себе. Разберем одну такую историю. В 1800 г. И. М. Долгоруков служит в Соляной конторе. Его новый начальник Н. Е. Мясоедов «начал тем, что дал предложение пунктах на сорока, в котором он порочил все то, что сделано было его предместником, дабы тем умножить славу свою и показать тонкую прозорливость». Он отослал эти пункты якобы партикулярным письмом к генерал-прокурору, что имело вполне официальные последствия. И. М. Долгоруков возмущается: «Странная выдум-

[18] *Долгоруков И. М.* Капище... С. 185.

ка! Как будто г. Мясоедов не знал, что предложение на сорока пунктах, посланное к генерал-прокурору, не может быть партикулярным отношением и что кроме деловой переписки никто, я думаю, не занимается между приятельскими и знакомыми письмами чтением коллежских бумаг и предложений» (т. 1, с. 513). В 1811 г. И. М. Долгоруков, вынужденный противостоять своим неприятелям по службе, пишет жалобу и отсылает ее к министру полиции А. Д. Балашову частным письмом. Это письмо было показано государю, то есть использовано как официальная бумага. В мемуарах мы находим подробное «Оправдание по делу о жалобе моей на Сенат в отношении к г. министру полиции». Его автор стремится доказать, что это было всего лишь частное письмо, тем, что оно «оканчивается, как и начато, обрядом, присвоенным не официальной, а приватной переписке» (т. 2, с. 216). К сожалению, мы не имеем возможности сравнить форму обращения и все содержание письма Н. Е. Мясоедова с оборотами речи И. М. Долгорукова. Но не так давно И. М. Долгоруков был сам в числе тех, кто жарко доказывал, что между начальником и подчиненным не должно быть и не может быть никакой другой переписки, кроме деловой. Подобных примеров можно привести много. И. М. Долгоруков, по-видимому, в таких противоречиях не замечал ничего странного. То, что мы обычно называем предвзятостью, вполне заменяло ему объективность, потому что умелое самооправдание во все времена считалось стилистическим достоинством мемуаров.

И. М. Долгоруков всегда четко выражает свое отношение к людям и поступкам. При этом он иногда оказывается в ситуации, когда герой, отношение к которому уже сформировано, вдруг совершает поступок, не соответствующий созданному образу. Хороший человек, согласно здравой логике автора, не должен поступать плохо. Приехав во Владимир, И. М. Долгоруков застал там вице-губернатором князя Хованского: «Казенные дела в Казенной палате были в руках у благородного человека князя Хованского, о котором я не могу иначе отозваться, как с превосходнейшей похвалой» (т. 1, с. 574). Далее следует целая притча о взаимоотношениях губернатора и вице-губернатора, посвященная восхвалению превосходных деловых и человеческих качеств Хованского. Идиллия была прекращена скорым переводом Хованского губернатором в Симбирск. Через некоторое время начался рекрутский набор, в ходе которого вскрылись серьезные злоупотребления Казенной палаты: «Потом расписывались рекруты по какому-то мечтательному расчету, который одна Казенная палата разуметь могла, а не мужик, от нее завися-

щий. Чтоб убедить всякого в этом заключении, довольно сказать, что между людьми употребляема была, как между зернами, тройная посылка, и часто человек делился на самые мелкие дроби. Я никогда не был искусным математиком, но думаю, что и самые знаменитые в ней теористы не могли в счете людей выводить 30 доли человека. Все это заведено было в Казенной палате для того, чтоб лучше схоронить плутни и отнять у мужика силу доказать их. Естественно, что при таком устройстве Казенная палата назначала рекрут по произволу своему, а не по праву. Поселяне или покорялись, или дорого платили за то, чтоб не делиться на дробные числа. В первом случае вопиющая неправда, в последнем грабительство» (т. 1, с. 597). В этой гневной филиппике по адресу Казенной палаты виновники не названы по именам, хотя читателю известно, что до недавнего времени Казенную палату возглавлял тот самый благороднейший князь Хованский. В другом месте упоминаются вскользь, и тоже без указания на лицо, некие «подлые вице-губернаторы», которые на особенностях деления деревень на пятисотенные участки «могли основывать свои прибытки».

Особое пристрастие испытывает И. М. Долгоруков к природным дарованиям. Ему труднее обличить подлые и несправедливые поступки гения, чем даже самого высокопоставленного лица. Например, рассказывая о своей дружбе с учителем Владимирской семинарии Д. Р. Тихомировым, он передает такую историю об одном вельможе: «С каким отвращением читал я в руках его [Тихомирова] несколько писем знатного барина, учившегося некогда у него в Владимирской семинарии. Возведен будучи на высокий степень из равного с Тихомировым происхождения, то есть из церковников, он забывал на Неве, сидя в спокойном своем кабинете, что тот, кого он некогда звал на письме другом, учителем своим, даже благодетелем, тот самый слепой Тихомиров, сделавшись калекою, не имел верного куска хлеба, когда он не знал ежедневно из числа предлагаемых ему пиров, которому пристойнее дать преимущество» (т. 2, с. 112—113). Имени знатного барина, а речь идет о М. М. Сперанском, автор не называет, хотя упоминает о том, что писал к нему о Тихомирове и не получил ответа, и даже о том, что они впоследствии встречались лично. Отношение И. М. Долгорукова к М. М. Сперанскому можно назвать парадоксальным. Ходили явные слухи, что именно по ходатайству Сперанского И. М. Долгоруков был отставлен[19]. Тем не менее вместо того, чтобы считать его своим врагом, И. М. Долгоруков предпочитает

---

[19] См.: *Долгоруков И. М.* Капище... С. 100.

не верить слухам и пишет о Сперанском: «Приятно вспомнить и самые кратчайшие минуты, в кои мы сближаемся с гением»[20]. Почитание в человеке выдающихся талантов в данном случае открыто декларируется И. М. Долгоруковым, и нам нечего противопоставить его мнению. Остается только гадать, почему автор «Повести...» так высоко оценивает М. М. Сперанского и каковы были на самом деле взаимоотношения между этими двумя людьми.

Структура «Повести...» свидетельствует о том, что автор пытался осмыслить происходящее с ним. События жизни И. М. Долгоруков делит на крупные отрезки, связанные с важными изменениями своей судьбы, которые получают в тексте название эпох: «пензенская эпоха», «владимирская эпоха». (Например, в главе «1812 г.» сказано: «Здесь оканчивается эпоха моей десятилетней службы в Володимире, и начинается период свободной моей жизни» (т. 2, с. 257)). Эти этапы связаны в большей степени с его личной биографией, чем с историческими событиями в жизни страны. Претензия на создание исключительно частной истории свидетельствует о том, что перед нами прежде всего образец литературы для домашнего пользования. И. М. Долгоруков сам постоянно настаивает именно на таком прочтении «Повести...». Но и это при внимательном рассмотрении оказывается одним из обманчивых впечатлений, создаваемых автором.

Разумеется, «Повесть...» не была предназначена для прижизненной публикации: «Во-первых, я пишу для себя и для детей моих, и пишу с тем, что ежели мои записки увидят в свете, то в нем тогда меня не будет, а потому мне и нужды не встретится сетовать о том, так ли обо мне думают по моей Истории, как я желаю, или иначе» (т. 1, с. 570). Однако И. М. Долгоруков готовил для мемуаров не только скромную роль фамильной реликвии. В главе «1795 г.» он написал: «<...> а кто знает, может быть через сто тысяч сто девяносто девять лет так же дорого платить станут за золотник моих рукописей, как теперь заплатит охотник древности за поношенную строчку Пророчества Сивиллы» (т. 1, с. 391). Заметим к слову, что в тексте поддерживается формальная погодная структура записей, свойственная летописи. Подражание летописи заключается не только в разбиении событий на годовые статьи, но и в характерном молитвенном обращении, завершающем 1, 2 и 3-ю части: «Благословен Господь Бог, благоволивый тако, слава Тебе!». И. М. Долгоруков

---

[20] Там же. С. 99.

выставляет свою Историю на суд вечности, адресуя ее далеким потомкам. Он соотносит свои мемуары с древними сочинениями, что придает его труду в его собственных глазах высокую значимость.

Вероятно, поэтому в тексте «Повести...» содержится множество подробностей из жизни того времени, которые не нуждались в специальном объяснении для современников, но которые дают нам сегодня полезную и интересную информацию. Специалист по истории повседневности найдет в этих мемуарах содержание понятия «случайный человек», происхождение названия Суздаль, подробное описание ритуала бракосочетания, принятого при дворе, процедуры выборов провинциальных дворянских предводителей и т. д.

Разговорный стиль, присущий текстам И. М. Долгорукова, требует включения в повествование огромного количества элементов языковой и литературной традиции. Почти в каждом абзаце можно встретить пословицы, поговорки, крылатые выражения, цитаты. Большинство из этих изречений повторяется по многу раз, причем в любом прозаическом произведении И. М. Долгорукова мы встретим одни и те же латинские пословицы, цитаты из Псалтири, Бомарше, Вольтера, пересказы фрагментов своих стихотворений «Хижина на Рпени», «И. Н. Классону», «Я» и др. И. М. Долгоруков имел хорошую библиотеку, любил читать, выучил наизусть множество сыгранных за свою жизнь ролей. Но, несмотря на это, набор его любимых цитат довольно ограничен. Особое место в этой системе занимает автоцитирование. И. М. Долгоруков любил перечитывать себя, заниматься своими произведениями, готовить их к печати и развлекать ими знакомых. Он, как любой нормальный писатель, живет в мире собственных текстов. И. М. Долгоруков постоянно цитирует самого себя и стихами, и прозой. Когда встречаешь в четвертый раз цитату из стихотворения «Я» (для удовольствия читателя не можем не привести ее и в пятый: «По логике моей давно расположил, / Что так ли, или сяк, да плохо, как убил»), как-то перестает казаться, что забывчивый автор все время попусту повторяет одно и то же только ради заполнения нескончаемого досуга. Объяснить это явление можно по-разному. Многие строки, которые И. М. Долгоруков часто включает в текст, выражают его излюбленные мысли. Например, достоинство приведенной цитаты не в изящности формулировки, а в том, что это — его жизненное кредо. Некоторые изречения привлекают его красотой формы (например: «как пленительно сказал Delile <...>» (т. 1, с. 430)). Другие слишком прочно вошли в языковую привычку. Рассказывая о своем сыне, И. М. Долго-

руков однажды сказал так: «Часто твердил я ему свой собственный стих: "Несчастный! — ум беда, когда рассудка нет!"» (т. 2, с. 338). Очевидно, в доме Долгоруковых особенно удачные стихи твердились вместо пословиц и вместе с пословицами. В этом нет ничего необычного, ведь крылатые выражения часто приходят в язык из литературы, достаточно вспомнить Грибоедова или Крылова. И. М. Долгоруков пользуется художественными текстами как источником крылатых выражений, для него цитата и пословица обладают одним психологическим статусом: «так, как это говорится».

Мемуары И. М. Долгорукова предоставляют обширный материал для изучения мировоззрения, общественных отношений, культурных практик человека XVIII в. Но ценны они именно тем, что это история жизни частного человека. Перед нами прежде всего личность, данная в развитии на протяжении всей жизни, со своими предрассудками, суевериями, пристрастиями и слабостями. Неудачная служебная карьера и настоящая любовь, житейские неурядицы и маленькие радости, финансовые трудности, поэтические удачи, личные драмы — все это показывает читателю живого человека прошлого, который интересен нам сегодня не столько ролью в мировом историческом процессе, сколько своим уникальным внутренним миром.

17 Зак. № 3975

ПРИМЕЧАНИЯ

1807

[1] *Свадьба отправлена ввечеру в Инвалидном доме в тамошней церкве...* — Современный адрес — г. Владимир, ул. Фрунзе, д. 65.

[2] *...зять его...* — А. В. Зеленецкий.

[3] *...статс-секретарем...* — В начале XIX в. статс-секретарь — высшее гражданское почетное звание, дающее право личного доклада императору.

[4] *...попавши в секту так называемых мартинистов...* — См. 1789 г., примеч. 6.

[5] *...иллюминаты...* — Близкая к масонам ассоциация, основанная в 1776 г. в Баварии профессором из бывших иезуитов А. Вейсгауптом. В 1786 г. была запрещена и прекратила свою деятельность, но еще долго ее необоснованно обвиняли в инспирировании Великой Французской революции.

[6] *...известие от сестры Селецкой, что она родила сына Михайлу...* — М. В. Селецкий родился 20 февраля.

[7] *Зрелища, им представляемые под именем кинетозографии...* — О представлении кинетозографии Робертсона см.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1955. Запись от 30 декабря 1805 г., с. 147.

[8] *...Благовещения...* — 25 марта, то есть совпадает с днем рождения тещи И. М. Д.

[9] *...кутья выходила на поединки с питомцами Волтеров.* — Кутья — насмешливое прозвище церковников. Питомцы Волтеров — французы-безбожники.

[10] *...ремонт...* — В кавалерии: заготовка лошадей, пополнение ими полков по мере нужды.

[11] *...платить по сту рублей за кирасирскую лошадь и по восьмидесяти за драгунскую.* — Кирасиры — тяжелая кавалерия, а драгуны — легкая, поэтому к кирасирским и драгунским лошадям предъявлялись разные требования.

[12] *Отказать Голицыну в застое...* — В защите.

[13] *...опорожнив крючок...* — Чарку.

[14] *...до замирения, которое, к счастию его, последовало летом.* — Перемирие было заключено 12 июня 1807 г., Тильзитский мир был подписан 25 июня (6 июля) и ратифицирован 27 июня (8 июля) 1807 г.

[15] *Святая неделя в этот год...* — С 14 по 20 апреля.

[16] *...в день именин жены моей...* — 23 июня.

[17] *...освятилась 10 июля на золотых воротах старинная церковь...* — 10 июля празднуется Положение ризы Господней в Москве.

[18] *Празднуемый тогда же мир новый с французами и воспоминаемый старинный с турками под Кайнарджи...* — Новый мир с французами — Тильзитский, для России унизительный. Старинный с турками под Кайнарджи — Кючук-Кайнарджийский мир, заключенный 10 (21) июля 1774 г., завершивший русско-турецкую войну 1768—1774 гг., очень выгодный для России.

[19] *...сближал в помышлениях две эпохи, весьма различные между собою и кои много давали пищи философии.* — У И. М. Д. есть неопубликованное стихотворение «Сравнение веков. Писано после Тильзитского мира в Володимире» («Запрещенный товар или Потаенное собрание тех моих сочинений, коих я или не хотел, или не мог выпустить в свет» // ОРК и Р НБ МГУ. 1 Рк. 175^2. Рук. 36. Л. 11об.—15).

[20] *...торачить...* — Торочить, привязывать добычу ремнями к седлу.

[21] *...я, как новый Санхопанса, обозревал временное свое владение...* — Во втором томе романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский...» есть эпизод, когда Санчо Панса становится «губернатором» на «острове», выделенном ему неким герцогом («Глава XLIX, о том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров»).

[22] *...ездила погостить верст за сто с лишком к родственникам нашим, людям добрым, Яньковым.* — Кн. А. Н. Долгорукова с дочерью Прасковьей ездили к Н. А. и Ф. А. Яньковым в село Петрово Тульской губернии на освящение церкви. Они прибыли вечером 18 июля, 20 и 21 июля было освящение престолов (в основном храме и в приделах); именины княгини (25 июля) отметили также в Петрово (см.: Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л.: Наука, ЛО, 1989. С. 105—106).

[23] *...обер-форштмейстеры и форштмейстеры...* — Чины Лесного ведомства (относилось к Министерству финансов): форштмейстер — XII класса, обер-форштмейстер — VI класса.

[24] *...по смерти графа Васильева вступил в министерство финансов г. Голубцов...* — Гр. А. И. Васильев умер 15 августа 1807 г., Ф. А. Голубцов назначен на его место (министра финансов) 26 августа 1807 г. и оставался на этой должности до 1 января 1810 г.

[25] *...матрос, дослужившийся наглостью до темляка...* — Темляк — тесьма с кистью на шпаге, знак офицерского чина.

[26] *...ударивши однажды в щеку Бобринского...* — А. Г. Бобринский в 1788—1894 гг. жил в Ревеле, а И. М. Епанчин служил на Балтийском флоте, в

частности, в 1791 г. плавал на судне, курсировавшем между Кронштадтом и Ревелем. В 1794 г. А. Г. Бобринский женился и переселился в замок около Юрьева (ныне Тарту), а И. М. Епанчин в 1795 г. переведен в Астрахань. Никаких данных о том, что они встречались, нет, хотя это вполне возможно.

[27] *...некто Епанчин, <...>. Вот его биография!* — Согласно «Ведомости находящихся под судом в комиссии по первой флотской дивизии» от 7 мая 1794 г., флота лейтенант Иван Епанчин был штрафован по указу Адмиралтейств-коллегии от 11 октября 1793 г. по обвинению «в непорядочном себе поведении и исправлении должности без всякаго рачения», о чем было представлено адмиралу В. Я. Чичагову 28 января 1794 г. (РГАВМФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 295. Л. 66). Согласно же Экстракту указа из Адмиралтейств-коллегии от 22 июня 1794 г., он оставлен от штрафа свободным, но о добром его поведении предписывалось строжайше подтвердить. Кроме того, особо оговаривалось, что «как он не впервые оказывается в поступках, офицерскому званию противных, и ежели за сим не воздержится или в чем-либо пренебрежет свою должность, то при малейшем проступке поступлено будет по всей строгости законов» (Там же. Д. 286. Л. 112). Наконец, согласно «Алфавитному списку лиц, бывших под судом и следствием за период с 1803 по 1830 годы (По материалам фонда № 203)», капитан-лейтенант Епанчин в эти годы состоял под судом и следствием дважды: в 1805 и 1810 годах (РГАВМФ. Ф. 203. Оп. 1. Д. 1462. Л.20, 50; в этот период существовал лишь один капитан-лейтенант Епанчин), но самих следственных дел обнаружить не удалось. Однако «Общий морской список» (отразивший официальный послужной список) не содержит никаких указаний на штрафы и состояние под судом, и согласно ему карьера И. М. Епанчина выглядит так: 1 мая 1779 г. принят кадетом в Морской корпус, 1 февраля 1782 г. произведен в гардемарины, в 1782—1787 гг. ежегодно находился в плавании в Балтийском море из Архангельска в Кронштадт на транспорте «Турухтан», 1 мая 1785 г. произведен в мичманы, 1 января 1788 г. произведен в лейтенанты, участник русско-шведской войны 1788—1790 гг.: в 1788 г. находился в плавании в Финском заливе на корабле «Европа» в эскадре адмирала А. И. фон Круза, в 1789 г., командуя полушебекою «Орел», в составе гребного флота участвовал в первом Роченсальмском сражении 13 августа 1789 г., в 1790 г., командуя полупрамом «Лев», участвовал в Выборгском и втором Роченсальмском 28 июня 1790 г. сражениях, в 1791 г., командуя транспортным судном «Маргарита», плавал между Кронштадтом и Ревелем, в 1793 г. на корабле «Эмгейтен» находился в плавании в Немецком море у берегов Норвегии, в 1795 г. командирован в Астрахань, где в 1796—1798 гг., командуя ботом «Орел» в составе Каспийской флотилии, плавал к персидским берегам, в 1799 г. переведен из Астрахани в Санкт-Петербург, 28 ноября 1799 г. произведен в капитан-лейтенанты и командирован в Нижегородскую и Тамбовскую губернии для заготовки корабельных лесов, в 1803 г. был в кампании с флотом на Кронштадтском рейде, в 1804 г. находился при Архангельском порте, в 1805 г. на корабле «Мощный» перешел из

Архангельска в Кронштадт, в 1806—1808 гг. находился во Владимирской губернии для осмотра лесов, 30 сентября 1809 г. уволен от службы тем же чином. Эта биография исключает происхождение из матросов и показывает вполне приличное образование. Что же касается неоднократных проступков, то причины, по которым они не нашли отражения, неизвестны.

[28] *...дослуживишийся в морском флоте до контр-адмиральского чина...* — Согласно «Общему морскому списку», И. А. Пиллисиер был произведен в капитаны первого ранга только при исключении из флота с производством в оберфорштмейстеры, и лишь затем, в Лесном департаменте, дослужился до чина действительного статского советника (равного контр-адмиральскому).

[29] *...Бут и называвший себя бароном...* — в числе родов, признанных в Российской империи в баронском достоинстве, рода Бутов нет.

[30] *...владимирским городничим...* — Матвеем Исаевичем Кученевым.

[31] *Долго ли до случая, когда везет?* — И. М. Д., ходатайствуя за Бута, писал в обращении к министру от 18 января 1807 г.: «Убеждаясь ревностною службою коллежского асессора Бута, который со времени нахождения своего в высочайше вверенной управлению моему Владимирской губернии городничим с 22 сентября 1804 года, исправляя должность сию сперва в уездном городе Гороховце, а потом с 5 октября 1805-го в губернском городе Владимире, по неусыпному попечению своему, особенной способности и рвению в исполнении во всех частях должности его, обращая на себя внимание местного начальства, заслуживает по справедливости награждения чином; но как в настоящем узаконенных указом 1801 года лет не выслужил, то я, не смея войти с представлением в Правительствующий сенат, приемлю смелость обременить оным высокую особу Вашего сиятельства и всепокорнейше просить о исходатайствовании ему у престола монаршего заслуживаемого им награждения» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1807 г. Д. 260. Л. 1—1об.).

[32] *Кто читал «Хижину мою на Рпени», в «Сумерках жизни» напечатанную...* — См.: Бытие сердца... Ч. 1. С. 243.

[33] *Неожиданная смена графа Кочубея...* — Гр. В. П. Кочубей был уволен от должности министра внутренних дел 24 ноября 1807 г. Его в тот же день сменил кн. Алексей Борисович Куракин.

[34] *...индижестии.* — Расстройство пищеварения.

1808

[1] *...Сперанский уже отошел от графа Кочубея и принял новую должность.* — М. М. Сперанский, с 1802 г. состоя при министре внутренних дел гр. В.П. Кочубее, в 1803 г. был назначен директором Департамента Министерства внутренних дел, а в 1806 г. — управляющим 2-й экспедицией (по государственному благоустройству) Министерства внутренних дел и в 1806—1807 гг. неоднократно замещал гр. В. П. Кочубея на докладах у императора. 19 октября

1807 г. он был уволен от управления 2-й экспедицией с повелением состоять при его императорском величестве.

[2] *...Лубяновский с Магницким не долго при нем служили.* — Ф. И. Лубяновский был в 1809 г. назначен статс-секретарем и управляющим делами принца Георгия Ольденбургского, а также управляющим Экспедицией водяных сообщений, М. Л. Магницкий в 1810 г. стал статс-секретарем в Департаменте законов Государственного совета.

[3] *...у муромского городничего...* — А. И. Дица.

[4] *...исправнику...* — Муромский исправник — Павел Алексеевич Евреинов.

[5] *...по именному...* — По именному указу.

[6] *...важного делателя ассигнаций.* — Несколько ниже автор называет его фамилию: Бурылин. Это один из первых представителей известного в Иванове в XIX—начале XX в. купеческого семейства Бурылиных. Наиболее известен Андрей Иванович Бурылин (р. 1763), потомки которого и составили славу этого купеческого рода. Но владельцами фабрик в Иваново в начале XIX в. были также Панфил Бурылин и Родион с Афанасием Бурылины.

[7] *...пожалован исправник в коллежские асессоры из отставных гвардии офицеров...* — Иван Филиппович Пожарский, деверь второй жены И. М. Д.

[8] *...городничему пожалован прекрасный бриллиантовый перстень.* — Д. В. Голембовскому.

[9] *...Шуйское...* — Село Иваново принадлежало Шуйскому уезду.

[10] *...я потребовал иконы Максимовской Богоматери...* — Икона Максимовской Богоматери хранилась во Владимирском Успенском соборе (сейчас — во Владимиро-Суздальском объединенном музее-заповеднике).

[11] *...от губернатора московского...* — Дмитрия Сергеевича Ланского.

[12] *...маленькая комедия моего сочинения по имени «Отчаяние без печали»...* — «Отчаяние без печали, или Так водится» (Бытие сердца... Ч. 4. С. 73—108).

[13] *В Великую пятницу в полдень скончался во флигеле у нас барон Аш. Это было 3-го числа апреля.* — Пятница, предшествующая Пасхе, в 1808 г. приходилась на 5 апреля. О смерти бар. Ф. Ф. фон Аша и о вызове наследников И. М. Д. дал объявление в «Московских ведомостях», № 34 (25.04.1808), с. 881.

[14] *Вместо графа Васильева, умершего почти скоропостижно, вступил во все должности его Голубцов.* — В 1802 г. Ф. А. Голубцов сменил гр. А. И. Васильева при исправлении должности государственного казначея; 26 августа 1807 г. — на должности министра финансов. 7 сентября 1808 г. Голубцов был произведен в действительные тайные советники и назначен членом Непременного совета (с оставлением в прежних должностях), заняв тем самым то же положение, что и Васильев.

[15] *Там губернатор был под судом...* — Петр Ульянович Беляков.

[16] *...плакася горько...* — Матф. 26, 75.

[17] *Парижские террористы...* — Якобинцы.

[18] *...за мелочное какое-то несоблюдение формы при следствии...* — Мелочное несоблюдение формы при следствии, допущенное А. И. Дицем, состояло в учинении допроса с пристрастием, т. е. его провинность была совершенно аналогична той, что вменялась М. И. Арбузову (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1808 г. Д. 44. Л. 22а).

[19] *Я писал к министру <...> и не мастер попадется строить дома.* — Письмо И. М. Д. к министру от 3 июня 1808 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1808 г. Д. 44. Л. 23—23об.).

[20] *...Диц сдал должность старшему под собой...* — Надворному советнику Василию Лукичу Измайлову, уездному казначею.

[21] *Министр отвечал поздно...* — Ответ министра, содержавший решительный отказ на просьбу И. М. Д., датирован 23 июля 1808 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1808 г. Д. 44. Л. 26—26об.).

[22] *Казанский собор и Биржа приготовляли зрелище удивительной красоты, но еще не были отделаны.* — Казанский собор был закончен и освящен в 1811 г., Биржа отстроена в 1810 г., хотя официально открыта только в 1816 г.

[23] *...тут жили великие князья, обе великие княжны...* — Николай и Михаил Павловичи, Екатерина и Анна Павловны.

[24] *...потешить дочь ее вензелем...* — Т.е. пожаловать во фрейлины, которые носили вензель императрицы.

[25] *...одному из предводителей <...> доставил тогда же чин титулярного советника.* — Вязниковскому уездному предводителю дворянства поручику А. Я. Звереву.

[26] *Советник правления по старости лет просил отставки с полным жалованьем.* — Иван Иванович Куткин.

[27] *...вместе с отставкой того, помещен на его место в советники мой секретарь Шумилов...* — Указ об отставке Куткина издан 9 сентября, о назначении Шумилова — 14 сентября, об обращении жалованья Куткина (600 руб. в год) ему в пенсион — 28 октября.

[28] *Рукопись эта найдется в моих прозаических сочинениях.* — См.: «Гражданские записки» // ОРК и Р НБ МГУ. 1 Рк. 175^8, Рук. 32, л. 1—30.

[29] *Решено быть свиданию между царями в Эрфурте.* — Александр I выехал в Эрфурт 2 сентября. Переговоры продолжались с 15 (27) сентября до 2 (14) октября 1808 г.

[30] *...«Федру», «Семирамису», «Танкреда»...* — «Федра» Расина, «Семирамида» и «Танкред» Вольтера.

[31] *Канатный плясун превосходнейший в свете, имя его я забыл, в то же время показывал свое проворство <...> чтоб не слишком высоко броситься.* — В 1805 г. в Москве в Петровском театре выступал канатоходец Карл Транж (Trange).

[32] *...«à tous les coeurs bien ne's que la patric est chère» (о, сколь отечество сердцам великим мило!)...* — Вольтер, «Танкред». Д. 1, сцена 3.

[33] *...о помолвке меньшого сына графа Николая Ивановича Салтыкова с дочерью князя Василия Васильевича Долгорукого.* — Гр. Сергей Николаевич Салтыков женился на княжне Екатерине Васильевне Долгоруковой.

[34] *В Александров день по обыкновению огромный съезд был в Невском монастыре.* — По случаю тезоименитства государя.

[35] *...к мощам угодника...* — Александра Невского.

[36] *...к Черной грязи...* — Сейчас — Первая и Вторая Черногрязевые улицы в Краснопресненском районе Москвы.

[37] *...Архаров, Баранов и шайка московских тунеядцев...* — Николай Иванович Баранов и один из братьев Архаровых (Николай Петрович или Иван Петрович).

[38] *...второе издание сочинений моих появилось в публике...* — *Долгорукий И. М.* Бытие сердца моего, или Стихотворения. 2-е изд. М., 1808.

[39] *...грузинский архиерей, старец семидесятилетний...* — Иона.

[40] *Какие соки нам дадут отец и мать, / Так будем долго жить, иль рано умирать.* — «На кончину дочери моей княж. М. И.» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 36).

[41] *...председателя своего...* — Николая Алексеевича Сеченова.

[42] *...настоящего буяна...* — Ивана Андреевича Секерина.

[43] *Это относится к ее подруге.* — С. И. Филатьевой.

1809

[1] *...Бедрицкий, как старый драбант...* — Драбант — стражник. Бедрицкий — майор губернской роты (внутренней стражи).

[2] *Там угощали короля Прусского, который с своей супругой приезжал показаться на Неве...* — Фридрих Вильгельм III с женой, братом принцем Вильгельмом и дядей принцем Августом 25 декабря 1808 г. (6 января) 1809 г. прибыли в Стрельну, где были встречены Александром I, а 26 декабря (7 января) имели церемониальный въезд в Петербург, где пробыли до 19 (31) января 1809 г.

[3] *Совершено обручение великой княжны Екатерины Павловны за принца Ольденбургского.* — Обручение состоялось 1 (13) января, а венчание — 18 (30) апреля 1809 г.

[4] *...граф Шереметев испускал дух на бархатном одре в богатых стенах.* — Гр. Н. П. Шереметев умер в Москве 2 января 1809 г.

[5] *Лучше было бы отдать родным своим то, что награбил дед его и отец...* — И. М. Д. имеет в виду завещание гр. Б. П. Шереметева, по которому он оставил все свое имение сыну Петру в обход детей старшего сына Михаила.

[6] *...извещен в свое время вдруг о трех обстоятельствах: о смерти покойной, о браке ее и о рождении сына.* — Брак гр. Н. П. Шереметева и Прасковьи Жемчуговой состоялся 6 ноября 1801 г., гр. Дмитрий Николаевич Шереметев родился 3 января 1803 г., а 23 февраля его мать гр. П. И. Шереметева умерла.

[7] *...я в досуги свои исправлял «Записки шведского похода» и, обработав их, составя полную книгу, спрятал.* — См. т. 1, 1790 г., примеч. 6.

[8] *Г. Невзоров издал его в периодическом сочинении, называющемся «Друг юношества»...* — См. Заглавие, примеч. 1.

[9] *Посмотришь на себя, посмотришь на людей: / <...> / И вся-то наша жизнь не стоит двух грошей.* — См. 1798 г., примеч. 1.

[10] *Невестка его родная важную ролю играла у двора...* — Мария Антоновна Нарышкина была фавориткой Александра I.

[11] *И стал я Брамарбас.* — Капитан Брамарбас — персонаж комедии датского драматурга Людвига Хольберга (Гольберга) (1684—1754) «Брамарбас, или Хвастливый офицер» (1724).

[12] *Дело в приказе — вот и причина.* — Ода «Российским солдатам на взятие крепости Очакова сего 1796 года декабря 6 дня, сочиненная от лица некоего древнего российского пииты». (Творения Николая Петровича Николева, Императорской Российской Академии Члена. Ч. 4. «Смесь». М., 1797. С. 4).

[13] *Одному только священнику <...> дали по представлению моему скуфью...* — Федор Туберовский был награжден скуфьей 9 марта 1809 г. Богослужебная скуфья — ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия белого духовенства. Получивший ее священник имел право вести службу в ней, а не с непокрытой головой.

[14] *...министрам и военному, и моему начальнику...* — Военным министром в это время был гр. А. А. Аракчеев, министром внутренних дел — кн. А. Б. Куракин.

[15] *...знатного барина, учившегося некогда у него в Владимирской семинарии.* — М. М. Сперанский, обучавшийся во Владимирской семинарии в 1779—1790 гг.

[16] *В «Послании моем к швейцару» есть один стих, и именно: «Скажи попам, что и без них спастись один умею»...* — «Приказ швейцару» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 234.). И. М. Д. приказывает своему швейцару: «Для знатных бар меня во весь день дома нет; / Приятелей зови на дружеской обед; / Купцам скажи, что я в них нужды не имею; / Попам, что и без них спастись один умею» и т.д.

[17] *Уездный город Рязанской губернии.* — Касимов — ныне город Рязанской области, на р. Оке (прежние названия — Городец, Мещерский городок); с середины XV в. до 1682 г. был центром так называемого Касимовского царства — удельного княжества, выделяемого московскими великими князьями (а затем царями) татарским ханам и царевичам, переходившим на русскую службу; первым «царем» Касимовского царства был Касим-хан (Кайсым Трегуб, Кизи-Кирман (ум. ок. 1469)), сын казанского хана Улу-Махмета, в 1446 г. в разгар феодальной войны на Руси перешедший на службу к Василию Темному.

[18] *...один из предков моих был женат на дочери касимовского царя, отменно богатого человека, от которого даже в род наш поступило село Волынское.* — Прапрадед И. М. Д. кн. Юрий Яковлевич Хилков был женат

вторым браком на внучке царя Касимовского. Их дочь княжна Прасковья Юрьевна в 1707 г. вышла замуж за кн. Алексея Григорьевича Долгорукова и в 1708 г. стала матерью кн. Ивана Алексеевича (деда И. М. Д.). В 1717 г. от дяди своего царевича Касимовского она получила в числе других имений село Волынское, деревню Давыдково и пустоши Хохловку и Ильинскую Московского уезда.

[19] *Слепой их крикун...* — Муэдзин. Традиция при назначении муэдзина отдавать предпочтение слепцам связана с тем, что, находясь на минарете, зрячий человек видит внутренние дворики, а в них — женщин без паранджи.

[20] *Имя ее выставлено — Султан Фатьма.* — Трудно сказать, что за могилу видел И.М.Д. Его прапрабабка, касимовская царевна, не была кн. Долгоруковой, она была кн. Хилковой, и звали ее Домна Васильевна.

[21] *...в гостях у архимандрита...* — Архимандритом Ростовского Спасо-Яковлевского Зачатьевского монастыря (в соборе которого положены мощи св. Дмитрия Ростовского) в 1809 г. был Аполлинарий.

[22] *...ознакомил с нами пленных шведских офицеров, кои жили в Ростове.* — Речь идет об офицерах, захваченных в плен во время русско-шведской войны 1808—1809 гг.

[23] *Граф Шереметев <...> имеет значущее число раскольников, они ему дают большие доходы, а он строит храмы Димитрию.* — Св. Димитрий Ростовский в числе прочего знаменит полемическим трудом, направленным против раскола: «Розыск о брынской вере» (1709 г.).

[24] *Знаменитый вышел указ об экзаменах.* — «Указ о чинах гражданских» от 6 августа 1809 г. Согласно этому указу, впредь никого не следовало производить в чин коллежского асессора или статского советника без предъявления свидетельства одного из российских университетов об успешном окончании в нем курса или сдаче испытаний.

[25] *...предводителю того уезда...* — Петру Григорьевичу Сивкову.

[26] *Несколько человек с прежним предводителем хвалили Черевина, а прочие с выбранным вновь предводителем порочили.* — Прежний предводитель — кн. Владимир Дмитриевич Ухтомский. 19 человек, включая прежнего предводителя, хвалили, и 4 человека, включая действующего предводителя, порочили.

[27] *...александровскому городничему...* — Николаю Николаевичу Николаеву.

[28] *Увидим после, чем кончилась эта глупая сплетня.* — К этому сюжету И. М. Д. больше не вернется. Подробности дела таковы. С. С. Черевин, имея от двух жен четверых детей (но единственного сына), 15 января 1807 г. собственноручно написал завещание, оставлявшее все имение жене с правом выбрать потом наследника из числа детей. Через год с лишним С. С. Черевин сделал приписку: «1808 года апреля 1-го числа вышеозначенное мое завещательное письмо предоставляю дочери моей подпоручице Дарье Стромиловой иметь под сохранением у себя, а по пресечении моей жизни оное доставить сыну моему, а своему брату подпоручику Иосифу Черевину, чтоб он о том моем прежде учиненном завещании был сведущ, и я сыну моему, а твоему брату Ио-

сифу предоставляю быть по мне законным наследником во всем моем оставшемся за выбылью от меня наличном движимом и недвижимом имении и оное завещаю получить в свое владение и управление без всякого препятствия, а прежде написанное мною на имя жены моей Аграфены Алексеевны завещание оставляю быть недействительным». 7 октября того же года С. С. Черевин умер, сын стал требовать у сестры завещание, но 12 декабря от матери была подана жалоба губернатору, а 17 декабря прежнее завещание было представлено во Владимирской палате Гражданского суда, и Александровскому и Судогодскому судам было предписано ввести вдову во владение. В отзывах о О. С. Черевине разделились не только дворяне, но и свидетели по завещанию: двое отозвались о нем хорошо, один — дурно. 26 февраля 1809 г. И. М. Д. писал министру внутренних дел кн. А. Б. Куракину о том, что Александровский городничий надворный советник Николаев, которому было поручено рассмотрение дела, характеризует поведение и жизнь подпоручика Черевина как безобразное. 22 апреля 1809 г. губернский предводитель дворянства В. М. Танеев сообщал министру, что уездный предводитель П. Г. Сивков, служивший прежде вместе с Черевиным, не смог ответить на вопрос, какого именно рода развратное поведение Черевина, давно ли он начал пить и появлялся ли пьяным в присутствии, что О. С. Черевин объяснил дурные о себе отзывы четверых дворян тем, что один его не любит по родству, двое — по соседству, а Сивков таит обиду с той поры, когда он, будучи дворянским заседателем в уездном суде сперва в Переславле, а затем в Александрове (где Сивков был уездным судьей), подавал мнения против мнений Сивкова. Действительно, как выяснил предводитель, однажды Сивков получил выговор за неосновательность своего мнения в судебном деле. В то же время он дважды представлял Черевина к следующему чину. Касательно обвинений в буйствах, учиненных в Александрове, так что даже полиция была вынуждена вмешиваться, В. М. Танеев писал, что в полиции об этом никаких материалов нет, как нет и каких-либо жалоб на Черевина. Наконец, заключал В. М. Танеев, сама мать Черевина, А. А Черевина, в апреле просила губернатора свою претензию уничтожить и имение отдать сыну. В результате 22 июля министр, а 11 августа комитет министров постановили освободить Черевина от опеки и вернуть ему имение, Н. Н. Николаева за ложное донесение отдать под суд, а поступок дворян, оклеветавших Черевина, рассмотреть в губернском Дворянском собрании. Н. Н. Николаев был предан суду, но настаивал на своей правоте, приводя многочисленные свидетельства дурных поступков Черевина. В итоге Уголовная палата постановила освободить Николаева от всякого взыскания. Рассмотрение поступка четырех дворян в губернском дворянском собрании было отложено до новых дворянских выборов, дабы не собирать дворян на чрезвычайный съезд. И уже новый губернский предводитель, кн. М. П. Волконский, рапортовал, что 12 января 1812 г. им был сделан выговор (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1809 г. Д. 229. «По представлению Владимирского губернатора о взятии в опеку имения подпоручика Черевина»).

[29] *Потом, когда тамошняя церковь каменная отстроена...* — Церковь во имя пророка Илии в селе Ильинском начала строиться на средства А. Ф. Пожарского в 1801 г. и закончена в 1816 г.

[30] *...скрофули* — от лат. scrofula, золотуха, проявление туберкулезной инфекции.

1810

[1] *Богатая сиротка Болдырева...* — В 1834 г. за М. Л. Языковой (Болдыревой) числилось 170 душ в Суздальском уезде Владимирской губ. и в Кинешемском и Юрьевецком уездах Костромской губ. (по данным Н. В. Фролова).

[2] *...за владимирского исправника...* — Николая Александровича Купреянова.

[3] *Повторение брачного союза Венеры с Вулканом.* — Богиня красоты Венера была, согласно одному из мифов, женой уродливого и хромого бога-кузнеца Вулкана.

[4] *С нынешнего года переменился образ верховного управления в Петербурге.* — 1 января 1810 г. учрежден Государственный совет — высший законосовещательный орган в империи.

[5] *...государь приезжал на короткое время в Москву, препроводил в ней день своего рождения 12 декабря и был сопровождаем общими восклицаниями.* — Александр I находился в Москве с 6 до 12 декабря 1809 г. и поздно ночью 12 декабря отправился в Петербург. Вечером 14 декабря он был уже в Зимнем Дворце, совершив переезд в 43 часа.

[6] *Старые министры перестали надоедать государю своими угрюмыми морщинами и переименовались в президенты департаментов. <...> и граф Румянцев с званием канцлера сел в кресла председателя Совета.* — Гр. А. А. Аракчеев был 1 января 1810 г. уволен от должности министра военно-сухопутных сил, а 18 января назначен председателем Департамента военных дел Государственного совета, 20 января 1810 г. министром военно-сухопутных сил назначен М. Б. Барклай де Толли; 1 января 1810 г. светл. кн. П. В. Лопухин был уволен от должности министра юстиции и назначен председателем Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, в тот же день министром юстиции назначен И. И. Дмитриев; гр. П. В. Завадовский 11 апреля 1810 г. уволен от должности министра народного просвещения и назначен председателем Департамента законов Государственного совета, в тот же день министром народного просвещения назначен гр. А. К. Разумовский; гр. Н. П. Румянцев, занимавший две министерские должности (министра коммерции и министра иностранных дел) и с сентября 1809 г. имевший высший чин империи — государственного канцлера, 1 января 1810 г. был назначен председателем Государственного совета и Комитета министров с оставлением во всех занимаемых должностях, Министерство коммерции было упразднено только 25 июля 1810 г., а министром иностранных дел он оставался до полного увольнения от службы в 1814 г.

[7] *...с бракосочетанием его с цесарской принцессой <...> своей супругой.* — 15 декабря 1809 г. Наполеон развелся с Жозефиной, а 11 марта 1810 г. в Вене состоялось его официальное бракосочетание с эрцгерцогиней Марией-Луизой, на котором сам Наполеон не присутствовал. Кн. Алексей Куракин 31 марта 1810 г. сдал должность министра внутренних дел и отбыл в Париж, куда прибыл 1 мая, 26 мая был принят Наполеоном, 7 августа имел прощальную аудиенцию и 6 октября вернулся в Россию. О. П. Козодавлев с 31 марта 1810 г. был управляющим Министерством внутренних дел, а 28 января 1811 г. был утвержден министром.

[8] *Волчцы* — колючие сорные травы.

[9] *...до первых преждеосвященных обеден...* — Т. е. до первой среды Великого поста.

[10] *...играть в курочку...* — Карточная игра.

[11] *Скоро председатель за неспособность к делам от старости отставлен, и с пенсионом, а бедный секретарь <...> отрешен от дел.* — Согласно Адрес-календарям, председатель Владимирской Палаты гражданских дел В. Д. Евреинов был отставлен в том же 1810 г., а секретарь Палаты Н. И. Иванов оставался на этой должности до 1812 г.

[12] *...выставок.* — Выставка — временная продажа вина в местах, где нет кабака.

[13] *...в самый день заговенья...* — 27 февраля.

[14] *...Дмитриев, младший сенатор из всего московского Сената, следовательно, моложе и Обрескова.* — И. И. Дмитриев был сенатором с 6 февраля 1806 г., П. А. Обресков — с 14 октября 1798 г., правда, с 4 сентября 1800 г. до 5 апреля 1801 г. он находился в отставке.

[15] *...о каразеях...* — Каразея — грубая шерстяная подкладочная ткань.

[16] *...от благочинного.* — Священник, которому поручено благочиние (округ, включающий несколько церквей, причтов и приходов), сам также приходский священник, а в городах может быть и соборным.

[17] *Велено предводителя сменить и отдать под суд.* — И. М. Д. отправил представление 8 апреля 1810 г., а 26 апреля на представление О. П. Козодавлева императором была дана резолюция предводителя Рогановского уволить от должности и звания, им ныне занимаемых, и избрать по порядку другого (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1810 г. Д. 294 «По представлению Владимирского гражданского губернатора о Ковровском предводителе Рогановском, женившемся от живой жены на другой». Л. 5).

[18] *...Рогановского свои собственные люди убили до смерти.* — 2 сентября 1812 г. А. П. Рогановский был убит тремя своими крестьянами в своем имении сельце Княгинино Ковровского уезда. Убийц судили и приговорили «в каторжную работу вечно» (*Фролов Н. В.* Предводители дворянства и председатели земской управы Ковровского уезда. Владимир, 1994. С. 17—18).

[19] *...он точно был женат, да и не на двух только, а на трех, коих всех по имени называли.* — Факт третьей женитьбы А. П. Рогановского ничем не подтверждается.

[20] *...Кайсаров, дворянин пожилой и богатый, а к тому родственник светлейшего князя Лопухина, овдовевши от трех жен <...> мог еще любодействовать.* — А. Ф. Кайсаров был пятиюродным братом светл. кн. П. В. Лопухина. Известно только две его жены (по сообщению Н. В. Фролова).

[21] *...младший сын его по первому браку.* — У А. Ф. Кайсарова известны три сына: Амплей, Александр и Федор, все трое, по-видимому, от первого брака, но неизвестно их старшинство. Дети числятся только у Александра, но он умер в 1825 г., следовательно, не мог быть героем этой истории. Вероятно, речь идет об Амплее: во-первых, про него известно, что он умер в то время, когда И. М. Д. был губернатором во Владимире, и вскоре после отца, во-вторых, он по меньшей мере с начала Павловского царствования жил во Владимире и мог крестить отцовских детей, в то время как Федор еще в 1802 г. находился на военной службе (по сообщению Н. В. Фролова).

[22] *...предводителя...* — Судогодский уездный предводитель дворянства А. П. Хоненев.

[23] *...сестра известных по Владимирской губернии нахалов по фамилии Барыковых...* — Как установил Н. В. Фролов, братья Барыковы — это сыновья бывшего товарища воеводы Переславль-Залесской провинции коллежского асессора Ивана Алексеевича Барыкова Петр, Николай, Василий и Борис. Имя их сестры не известно.

[24] *...в малом виде раззолоченный монумент, воздвигнутый в Петрополе Великому Великою.* — Макет Медного Всадника.

[25] *...к предводителю...* — И. И. Радышевскому.

[26] *...громкую весть о нашем патриотическом празднестве.* — Перенос указа в специальное помещение состоялся 1 мая 1810 г., в церемонии участвовал архимандрит Никитского монастыря Лаврентий. Сообщение об этом было опубликовано в «Северной почте», 1810 г., №63 (08.06.1810).

[27] *«Северная почта», тогдашнего времени газета, издаваемая в министерстве внутренних дел, все это распубликовала по всему царству.* — «Северная почта», № 83, 17 августа 1810 г.

[28] *Если казнят, то всех, милуют всех же, и то, и другое без разбора.* — М. И. Арбузов приносил жалобу государю на удаление от должности (состоявшееся еще 1 июня 1804 г.), и по высочайшему повелению дело его рассматривалось в общем собрании московских департаментов Правительствующего сената. 17 сентября 1809 г. по рассмотрении дела он ни в чем виновным не найден и возвращен к прежней должности, а дело получило в итоге название «О скоропостижно умершем от пьянства в Гороховецком уездном казначействе кописте Иванове» (см.: РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1815 г. Д. 43. Л. 1об.—5).

[29] *По форме ведал стройку князь Максутов...* — 31 июля 1808 г. И. М. Д. безуспешно представлял И. И. Дица на место отрешенного Сенатом А. И. Дица (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1808 г. Д. 44. Л. 38). Но 21 сентября 1808 г. Муромским городничим был назначен кн. П. Е. Максутов.

[30] *По логике моей давно расположил, / Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил.* — См. 1790 г., примеч. 20.

[31] *...предки мои не служили нигде, кроме дипломатики...* — Из всех прямых предков И. М. Д. на дипломатической службе служил только его прапрадед кн. Григорий Федорович, посланник в Польше. Видными дипломатами были двоюродный прадед И. М. Д. кн. Сергей Григорьевич и его троюродный прадед кн. Василий Лукич; были причастны к дипломатической службе (хотя и не достигли на ней особых успехов) другой троюродный прадед И. М. Д. кн. Александр Лукич и его двоюродный прапрадед кн. Яков Федорович.

[32] *Фабрика суконная отстроилась, кроме каменных флигелей.* — Каменное здание для суконной фабрики на восемь станов было открыто во Владимире 29 мая 1810 г. (Северная почта. 1810. №71).

[33] *Сказать должен при сем спасибо владимирскому почтмейстеру...* — Петру Евстифеевичу (Евстафьевичу) Панову. В действительности это ответное одолжение П. Е. Панова И. М. Д.: еще в 1807 г. восьмилетний сын П. Е. Панова Николай значится губернским регистратором во Владимирском губернском правлении.

[34] *...Сумарокова заключения в одной забавной сказочке: Коль слушать все людские речи, / Придется-де осла взвалить на плечи.* — Строки принадлежат М. В. Ломоносову, басня «Послушайте, прошу, что старому случилось» (*Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 190).

[35] *...к родному внуку...* — Двоюродному внуку (внучатому племяннику).

[36] *...светлейшему...* — Светл. кн. П. В. Лопухин, занимавший в 1790-х гг. должность Вологодского и Ярославского генерал-губернатора.

[37] *...оно написано особо в трех частях...* — См.: *Долгорукий И. М.* Славны бубны за горами или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1870.

[38] *...восхищались Потоцкого садами в Умани...* — Софиевка, сады гр. А. С. Потоцкого в двух верстах от уездного города Умань Киевской губ.

[39] *...начальников губерний...* — Тульским губернатором был в это время Н. П. Иванов, Орловским — П. И. Яковлев, Курским — кн. Д. А. Прозоровский, Слободско-Украинским (с центром в Харькове) — И. И. Бахтин, Полтавским вице-губернатором (губернатора в то время не было) — Г. А. Бояринов, Херсонским (к Херсонской губернии принадлежали также входившие в маршрут И. М. Д. Николаев, Одесса и Очаков) — Г. Н. Рахманов, Черниговским (к этой губернии принадлежали Нежин, Батурин и Глухов) — бар. И. В. Фрейнсдорф, Калужским — А. Л. Львов.

[40] *...на Курскую славную коренную ярмонку...* — Ярмарка приурочена к празднику, посвященному чудотворной иконе Знамения Богоматери (20 июля), хранящейся в Коренном Рождественском монастыре в 29 км от Курска, основанном около 1300 г.

[41] *...к дню, воспоминающему Полтавскую баталию...* — 27 июля.

[42] *...Соломон знал сердце человеческое, когда произнес сию истину, что злато ослепляет очи мудрых.* — Второзак., 16, 19: «дары ослепляют глаза мудрых».

[43] *...повытчик...* — Столоначальник.

[44] *Когда временно переведен был его престол в Суждаль...* — В 1788 г. Владимирская и Суздальская епархии были объединены и центром объединенной епархии стал Суздаль. В 1799 г. епископский престол был перенесен во Владимир.

[45] *...тобольскому губернатору...* — Неясно, какой из Тобольских губернаторов имеется в виду: до 1810 г. эту должность занимал Михаил Антонович Шишков, с 1810 г. — Франц Абрамович фон Брин.

[46] *...сделалась Габриельшей Павла Первого...* — По имени Габриэль д'Эстре, фаворитки французского короля Генриха IV.

[47] *...впристалую...* — Т. е. пристав к ее мнению.

[48] *...племянник г. министра полиции, который был городничим в одном из городов его отделения.* — Дмитрий Иванович Бекетов, племянник А. Д. Балашова по второй жене, был Переславским городничим в 1808—1809 гг. Возможно, что в ходе следствия выявились злоупотребления не только последнего рекрутского набора.

[49] *...приказал его выпустить из корпуса в четырнадцатый класс. В указе, о том изданном, написано было <...> не принимать по слабости здоровья никогда в военную службу.* — Просьба И. М. Д. была отправлена министру полиции А. Д. Балашову 26 сентября 1810 г. 30 октября А. Д. Балашов сообщал кн. А. Н. Голицыну: «Его величество высочайше повелеть соизволил находящегося в Пажеском корпусе князя Александра Долгорукого по слабости его здоровья и по желанию отца его Владимирского губернатора князь Ивана Долгорукова уволить из пажей без всякого чина», а 31 октября известил об этом И. М. Д. (РГИА. Ф. 1284. Оп. 1. 1810 г. Кн. 4. Д. 47. Л. 5—8).

[50] *...а не в витязи Еруслана Лазарыча.* — Еруслан (Уруслан) Лазаревич — герой старинной русской сказки, известной в рукописях XVIII в. И. М. Д. мог знать ее и по лубочной версии (Летописи русской литературы. Т. II. Отд. II. М., 1859. Памятники старины русской литературы. Вып. II. 1880. *Ровинский Д. И.* Русские народные картинки. Т. IV).

[51] *Богатый делает, что хочет, бедный, что сможет.* — Ср. высказывание древнегреческого философа-киника Диогена, сказавшего в ответ на вопрос, когда лучше всего завтракать: «Если ты богат — то когда хочешь, а если беден — то когда сможешь».

1811

[1] *Пророк и царь Давид сказал: «Ближние мои далече от мене сташа».* — См. 1794 г., примеч. 27.

[2] *...швейцара.* — Швейцарца.

[3] *...приговорить гимназических двух учителей, кои мне способнейшими показались, обучать их математике, российскому языку и рисованью...* — И. И. Евгенова и Ф. А. Боголепова.

[4] *...депо...* — Склад, хранилище.

[5] *...день спустя после нас Серафима скончалась...* — 11 апреля 1811 г.

[6] *...получа мое письмо, тотчас оригиналом его поднес государю...* — 28 января А. Д. Балашов писал И. М. Д.: «Представление Ваше от 6-го сего генваря о взысканиях, коим подвергнуто Правительствующим сенатом Владимирское Губернское правление, я имел счастие довести до сведения государю императору. Его императорское величество высочайше повелеть мне соизволил препроводить оное по принадлежности к министру юстиции, к коему оно и отправлено». 28-го же января письмо было переправлено И. И. Дмитриеву (РГИА. Ф. 1284. Оп. 1. 1811 г. Кн. 10. Д. 166. Л. 347—348).

[7] *...манифест о шестой переписи в народе после пятой, которая была в 1794 году.* — Пятая ревизия (перепись) состоялась в 1795 г. Надо отметить, что перерыв в 16 лет между ревизиями не являлся необычно малым: четвертая ревизия состоялась в 1782 г., т. е. между четвертой и пятой прошло 13 лет, третья — в 1763 г., вторая — в 1745 г. (перерывы — 18 и 19 лет), и лишь между первой и второй промежуток был заметно больше — 26 лет.

[8] *...надлежало запастись сведениями о числе народа и особенно о количестве тех малолетных детей, кои не имели еще оспы, дабы, узнав их, привить им оную.* — Сохранилась составленная в 1812 г. «Ведомость о числе детей, коим привита предохранительная (коровья) оспа, по губерниям, и совершенно принялась». Согласно ей, во Владимирской губернии в 1804 г. оспа не прививалась, в 1805 г. привиты 1102 ребенка, в 1806 г. — 875, в 1807 г. — 864, в 1808 г. — 626, в 1809 г. — 3254, в 1810 г. — 3291, в 1811 г. — 8220, а всего — 18 233 ребенка (РГИА. Ф. 1284. Оп. 1. 1812 г. Кн. 41. Д. 479. Л. 114об.). Таким образом, за один 1811 г. привита почти половина (45%) от всех, привитых в течение семилетнего периода.

[9] *...сельского левита...* — Священника.

[10] *...рундук...* — Мощеное возвышение с приступками.

[11] *...1 августа, день, который издавна в их доме особенно уважается по домовой церкви, ему посвященной.* — 1 августа празднуется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

[12] *...царские дни...* — Годовые праздники царской семьи и официальные (табельные) праздники.

[13] *...собор Дмитревский есть церковь бесприходная...* — Соборы не имели приходов.

[14] *...об осаде Гибралтара.* — Четырехлетняя неудачная осада испанскими войсками и флотом в 1779—1783 гг. мыса Гибралтар, с 1713 г. принадлежавшего Британии.

[15] *...вчинать...* — Начинать.

[16] *...шасе...* — двойной скользящий шаг, один из элементов бального танца (от фр. chassé).

[17] *В Петербурге тогда с великим провозглашением открыта была Беседа любителей российского слова.* — Официальное открытие «Беседы любителей русского слова» состоялось в Петербурге 14 марта 1811 г.

[18] *...секретаря Казенной палаты...* — Семена Егоровича Успенского.

[19] *...должен был ожидать трехлетнего срока, чтоб людей сих отдать за себя в рекруты...* — Согласно «Генеральному учреждению о сборе в государстве рекрут и о порядках, какие при наборах исполнять должно...» от 29 сентября 1768 г., во время рекрутских наборов запрещалось в течение трех месяцев продавать крестьян (гл. I, ст. 1). Указом от 7 сентября 1804 г. запрещалось отдавать в рекруты крестьян в течение трех лет после покупки.

[20] *...не мог я воспротивиться зачету его <...> за вице-губернатора в рекруты и не дожидаясь трех лет...* — Согласно гл. I, ст. 24 «Генерального учреждения...».

[21] *...мог, как Пилат некогда, сказать: «Неповинен есмь от греха сего».* — Матф. 27, 24.

[22] *По собрании 200 человек приступили мы к приему денег <...> сочли дни в три ровно два миллиона рублей <...> а рубль серебряный был уже тогда в четыре рубли бумажных.* — В подсчетах И. М. Д. содержится ошибка.

[23] *...заседатель дворянский Коровин...* — Один из братьев Коровиных: Петр Степанович, заседатель Владимирского земского суда, или Ларион Степанович, заседатель Владимирского уездного суда.

[24] *...при всех гг. предводителях...* — В 1811 г. были следующие уездные предводители дворянства во Владимирской губернии: Владимирский — Н. Л. Феофилатьев, Суздальский — Н. Я. Черепанов, Шуйский — И. А. Секерин, Переславский — И. И. Радышевский, Юрьевский — Н. И. Красенский, Покровский — С. И. Басаргин, Александровский — П. Г. Сивков, Вязниковский — А. Я. Зверев, Муромский — А. А. Кравков, Меленковский — И. Ф. Мальцов, Ковровский — С. А. Безобразов, Судогодский — А. П. Хоненев, Гороховецкий — И. Ф. Дураков.

[25] *...нарочного землемера...* — Степана Яковлевича Дунаева.

[26] *...по примеру Расина сказать:* — Неточная цитата из трагедии Расина «Гофолия» («Аталия»). Акт 1, сцена 1, стих 64, слова Иодая.

1812

[1] *...дает исключительное право генерал-губернатору...* — В это время генерал-губернаторской должности не было, право распространялось на гражданского губернатора.

[2] *...так напечатано в жалованной дворянству грамоте...* — Ст. 37 Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 г. (Жалованной грамоты дворянству).

[3] *Столповые наши жители...* — Дворяне.

[4] *...он в бытность нашу в Петербурге скончался...* — 13 марта 1812 г.

[5] *...с Марьей Антоновной, любовницей царской...* — М. А. Нарышкиной.

[6] *...по свойству с Балашовым...* — Золовка гр. Наталии Владимировны Салтыковой Анна Ивановна Мусина-Пушкина (урожденная Салтыкова) была родной бабкой первой жены А. Д. Балашова Наталии Антипатровны, урожденной Коновницыной.

[7] *Будучи родня и Салтыкову, и Балашову...* — Николай Михайлович Мусин-Пушкин, племянник по матери гр. Н. И. Салтыкова и дядя по матери первой жены А. Д. Балашова.

[8] *...Балашову, который хотя ему и двоюродный зять по жене своей...* — А. Д. Балашов был женат вторым браком на Елене Петровне Бекетовой, двоюродной сестре И. И. Дмитриева.

[9] *Чем выше на степень всходящих я видал, / Тем больше всякое почтенье к ним терял; и проч., проч.* — «Приказ швейцару» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 239).

[10] *Первый поехал обратно с сенаторским достоинством при сохранении настоящего места, а второй с Аннинской лентой через плечо.* — Таврическим (Крымским) губернатором был в это время А. М. Бороздин, знакомый И. М. Д. с юности. Он пожалован в сенаторы 20 февраля 1812 г. Саратовским губернатором был А. Д. Панчулидзев, известный И. М. Д. по Соляной конторе.

[11] *...«Господин Пурсоньяк» Молиеров...* — «Господин де Пурсоньяк» — комедия-балет Мольера.

[12] *Сперанский взят ночью на квартере своей <...> и за присмотром, как самый секретный преступник, отвезен в Нижний.* — В ночь с 17 на 18 марта 1812 г. М. М. Сперанского вызвали во дворец, арестовали и выслали в Нижний Новгород.

[13] *...23 марта вышел указ следующего содержания: «За разные открывшиеся беспорядки <...> генерал-майору Супоневу».* — 23 марта 1812 года вышел указ: «Владимирского гражданского губернатора тайного советника князя Долгорукого, за разные беспорядки по губернии отставляя от службы, всемилостивейше повелеваем на месте его быть отставному генерал-майору Супоневу, переименовав его в действительные статские советники». Указ был подписан императором и контрассигнован министром полиции Балашовым (РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 65. Л. 1).

[14] *...отозван наш посол в Париже...* — Кн. Александр Борисович Куракин.

[15] *Заложена огромная колокольня...* — Строительство колокольни Шуйского Воскресенского собора было начато в 1810 г. по проекту итальянского архитектора Я. Я. Маричелли. По его плану, она должна была иметь в высоту около 64 м.

В сентябре 1819 г. эта колокольня, возведенная тогда до третьего яруса, рухнула. Дальнейшая работа проводилась артелью крестьянина Шуйского уезда Михаила Савватеева по проекту владимирского губернского архитектора Е. Я. Петрова. Колокольня была завершена в 1833 г. и до сего дня является доминантой города Шуи, будучи третьей по высоте колокольней в России и самой высокой не только в России, но и в Европе среди стоящих отдельно от храма (более 106 м).

[16] *...Култашев холост, не женится и имеет побочных детей.* — М. В. Култашев имел по крайней мере пятерых побочных детей от четырех дворовых девок. Всех детей он признал своими, передал им как свою фамилию, так и родовое имение. О какой из его сестер — Парфентьевой или фон Гольц — идет речь, неясно. В дальнейшем обе они пытались отобрать у него имение и даже с этой целью объявили его умершим.

Вторая часть 1812 года в Москве

[1] *...принесла почта на имя мое по форме указ к сведению о моей отставке.* — 21 апреля.

[2] *Приехал Супонев...* — 15 апреля.

[3] *Ожесточи в тыя дни Бог сердце фараоново, и смятеся народ Израилев. — Исход 9, 12; 10, 20; 10, 27; 11, 10.*

[4] *...все народы, связанные наименованием Рейнского Союза.* — Рейнский Союз объединял в 1806—1813 гг. 36 германских государств.

[5] *Кутузов, окончавши турецкую войну славными победами и выгодным миром...* — Бухарестский мир, подписанный 16 мая 1812 г. М. И. Голенищев-Кутузов 29 июля 1812 г. был пожалован титулом светлейшего князя (6 декабря 1812 г. он станет князем Смоленским), 8 августа 1812 г. назначен главнокомандующим и 17 августа прибыл к армии.

[6] *...защищал царей наших храбрый Витгенштейн. <...> все превозносили его и звали <...> спасителем Невы и живущих на ней.* — Петербург прикрывал Первый отдельный пехотный корпус (25 000 человек) под командованием генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна. В битве под Клястицами 18 (30) июля Витгенштейн разбил маршала Удино (герцога Реджио) и еще два дня (до 20 июля) гнал его до Полоцка. Активные действия на этом направлении надолго остановились.

[7] *«Открывается гнев Божий на нечестие и неправду».* — Римлян. 1, 18: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою».

[8] *...времена Аустерлица, Тильзита и Эрфурта...* — Т. е. времена военных действий вдалеке от России (Аустерлиц, 1805 г.) и мирных договоров и даже союзных отношений с Наполеоном (Тильзит, 1807 г. и Эрфурт, 1808 г.).

[9] *Издавна в нашем доме не видя ни одного моего предка в военной службе...* — На самом деле дед И. М. Д., Иван Алексеевич, был майором гвардии.

Из предков по другим линиям достаточно назвать фельдмаршала гр. Бориса Петровича Шереметева.

[10] *По логике моей давно расположил, / Что так ли, или сяк, да плохо, как убил.* — См. 1790 г., примеч. 20.

[11] *...Смоленск принужден был уступить силе неприятеля и взят им.* — 6 августа 1812 г.

[12] *Граф Ростопчин <...> рассылал <...> объявлении, кои назвали в публике афишами и с жадностью их из печатных станков сырые хватали.* — В настоящий момент известно двадцать таких афиш, датированных 1 июля — 25 декабря 1812 г., из них шестнадцать относятся к периоду до оставления Москвы (см.: *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., Русская книга (Советская Россия), 1992. С. 209—221).

[13] *Тут дралось до трехсот тысяч воинов. Тут летели ядры из нескольких тысяч жерл.* — Русская армия насчитывала 132 тысячи человек и 624 орудия, наполеоновская — 135 тысяч человек и 587 орудий.

[14] *...уверял с клятвою, что Москву не сдадут, что Кутузов защищать ее будет до последней капли крови...* — Афиша гр. Ф. В. Ростопчина от 30 августа (см.: *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! С. 218—219).

[15] *...антиминса...* — Освященный плат с изображением положения во гроб Иисуса Христа, кладется на церковный престол при совершении евхаристии.

[16] *...в Александров день...* — 30 августа.

[17] *В театре играли в тот вечер «Пожарского»...* — «Пожарский, или Освобожденная Москва», трагедия в 3 действиях в стихах М. В. Крюковского (1807). Эту трагедию давали 25 августа, а 30 августа шла «Наталья, боярская дочь», героическая драма в 4 действиях с хорами С. Н. Глинки по повести Н. М. Карамзина. После этого театр эвакуировался во Владимир, а затем в Кострому.

[18] *Еще архиерей служил последнюю обедню в Успенском соборе и потом дал позволение духовным всем выбираться за город.* — Обедню 1 сентября служил Августин.

[19] *Сим трофеем увенчал граф Ростопчин градоправительство московское...* — Купеческий сын М. Н. Верещагин в июне 1812 г. получил благодаря своим связям с московским почт-директором Ф. П. Ключаревым запрещенную иностранную газету, из которой перевел с французского «Речь от имени Наполеона к князьям Рейнского союза» и «Письмо к королю Прусскому» с рядом выпадов против России. Он распространил этот перевод по своим знакомым; скоро это стало известно властям, Верещагин был арестован (об этом извещал гр. Ф. В. Ростопчин в своей афишке от 3 июля) и 25 июля 1812 г. осужден Московским магистратом как государственный изменник в вечную каторжную работу в Нерчинск. Гр. Ф. В. Ростопчин потребовал от Сената прежде ссылки наказания кнутом. Сенат согласился, и приговор был отправлен на высочайшее утверждение, но, прежде чем оно состоялось, Ф. В. Ростопчин, оказавшись 2 сентября 1812 г.,

в день оставления Москвы, перед разъяренной толпой, обвинявшей его в обмане москвичей, вывел М. Н. Верещагина во двор своего дома и отдал на растерзание толпе, а так как народ не спешил с расправой, велел двум унтер-офицерам зарубить Верещагина. Действия гр. Ростопчина были продиктованы его давней враждой с Ключаревым и досадой на то, что Верещагин покрыл провинность Ключарева, назвавшись не переводчиком, а сочинителем распространяемого текста.

[20] *...нашему сельскому священнику...* — Отцу Якову, который вскоре стал духовником И. М. Д.

[21] *Москва, быв ровно двести лет свободна...* — С освобождения ее Мининым и Пожарским 26 октября 1612 г.

[22] *...во всех бумагах, выпущенных правительством по времени, сказано, что она занята 3-го числа.* — См., например, «Месяцослов на лето от Рождества Христова 1813, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской империи». СПб., 1812. С. 117.

[23] *...армия наша, разбитая и бегущая, принесла неприятеля в Москву на плечах прямо за собой по следам своим 2-го числа сентября около вечера.* — Кавалерийский авангард Мюрата вошел в Москву в середине дня 2 сентября и почти без сопротивления занял Кремль. К вечеру в Москву въехал и сам Наполеон, ночевавший со 2 на 3 сентября, однако, еще не в Кремле, а в одном из домов у Дорогомиловской заставы.

[24] *...у родственников моих Голицыных...* — Кн. А. А. Голицына, двоюродная тетка И. М. Д., с детьми.

[25] *«Я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы <...> Если по их есть опасность, то непристойно, а если нет ее, то стыдно».* — Афиша от 17 августа.

[26] *...казенная лосинная фабрика?* — Основанная Петром I в 1708 г. в Богородском уезде, при впадении реки Вори в Клязьму, казенная Лосинная мануфактура, производившая кожаное обмундирование и амуницию для армии, с 1951 г. город Лосино-Петровский Щелковского района Московской области.

[27] *...в Богородске...* — Ныне г. Ногинск Московской обл.

[28] *...уксусом...* — Уксус — винный или пивной квас, кислое, квашеное вино.

[29] *«Здесь мне поручено было от государя <...> к его вреду и погибели».* — Афиша от 22 августа. Немец Леппих предложил правительству изготовить шар и получил под этот проект крупные суммы. Пуск пробного шара был назначен на 24 августа, но к этому времени Леппих исчез. Годом раньше он предлагал свой проект в Париже Наполеону, но тот приказал выслать его за пределы империи.

[30] *...вереи...* — Столбы, на которых крепятся створки ворот.

[31] *...у шурина моего, тутошнего городничего...* — Г. А. Безобразов, назначенный 16 июня 1810 г. по представлению И. М. Д. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1810 г. Д. 251. Л. 1—7).

[32] *...Кутузов за Бородинское дело пожалован в фельдмаршалы...* — 30 августа 1812 г.

[33] *Наполеон очистил ее 11 октября, но не прежде как взорвавши Кремль на воздух. Сие последнее поражение обезобразило множество городских башен, а паче подействовало на Ивановскую колокольню...* — 9 октября двумя взрывами были разрушены здание Арсенала, часть кремлевской стены, частично Никольская башня и башни, выходящие к реке, несколько строений за оградой Кремля. В ночь с 10 на 11 октября в результате взрыва обвалилось несколько зданий в Китай-городе. Попытка взорвать Ивана Великого была предпринята 9 октября, он уцелел по счастливой случайности: из-за дождя подмокли фитили в заложенной мине. Днем 11 октября последние отряды маршала Мортье оставили Москву.

[34] *...смутил дерзновенного фараона...* — Фараон здесь — безбожный правитель (ср. книгу Исход).

[35] *...четыре стиха, мною после написанные в элегии на потерю Москвы: Для чувства сильного на свете нет пера: / <...> / И легкий вздох вещун сердечного добра.* — «Плач над Москвою» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 164—165).

[36] *...транспараны...* — Прозрачные картины, освещаемые сзади.

[37] *...мы разъезжали с женой в пошевнях...* — Пошевни — розвальни, широкие сани.

[38] *...стени...* — Тени, призраки.

[39] *Грядущего искал средь временного града, / Зря волка на пути, не бегал прочь от стада.* — «На кончину Митрополита Московского Платона» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 34).

[40] *...выкинул в свет свою пиесу под названием «Везет».* — Бытие сердца... Ч. 3. С. 36—37.

[41] *В Катеринин день...* — 24 ноября.

[42] *...в Андреев день...* — 30 ноября (день памяти апостола Андрея Первозванного).

[43] *Всякий отвечал на приглашенье: «Имей мя отреченна».* — Лук. 14, 18—19.

[44] *Вот как вертится свет, — А для чего он так, / Не ведают того ни умный, ни дурак.* — *Фонвизин Д. И.* Послание к слугам моим. (Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1).

1813

[1] *...мыщцею своею...* — Исход 63, 12.

[2] *...Голицынской больницы...* — Голицынская больница учреждена в Москве по завещанию и на средства кн. Дмитрия Михайловича Голицына в 1801 г.

[3] *...в любимой служанке...* — Е. С. Кожиной.

[4] *...оба главные секретаря, губернского правления и губернаторский...* — Д. Л. Ванчаков и Н. В. Никулин.

[5] *...в последний день масленицы...* — 22 февраля.

[6] *...наги родимся и наги отходим в землю!* — Екклес. 5, 14.

[7] *...апостол говорит, что искушение нас не достигнет, токмо человеческое!* — 1 Коринф. 10, 13.

[8] *Архимандрит...* — Иоанн Терликов.

[9] *Не так ли несли Лазаря бедного на лон[о] Авраама...* — Лук., 16, 22.

[10] ...по подобию той, чье имя носила, уста ее немолчно восхваляли Искупителя. — Пророчица Анна. См.: Лук., 2, 36—38.

[11] *Вотчина Нижегородская состояла из села Лопатищ и деревни Малинок...* — В Макарьевском уезде (вторая деревня называется также Малиновка).

[12] *...простирался, по самому правильному расчету, до восьмидесяти тысяч, если не дробить имения выделом частей двум сестрам <...>, а с ними и число доходов.* — С учетом обязательных выплат сестрам по 20 тысяч общий долг И. М. Д. составлял 89 тысяч рублей.

[13] *...читал Бюффона...* — «Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона». В 10 т. СПб., 1801.

[14] *Мы лишились Кутузова, он умер от трудов и лет в Бунцлау.* — 16 апреля 1813 г.

[15] *...дозволил ему устроить храм в тверском своем каменном доме.* — В Москве на Тверской улице.

[16] *...две барышни, кои при матушке жили в нашем доме...* — Н. А. Нелюбова и А. Ф. Любавская.

[17] *...на Макарьевской ярмонке...* — Макарьевская ярмарка до 1816 г. проходила возле Макарьева Желтоводского Троицкого монастыря в Нижегородской губернии в течение нескольких недель летом; на время ее проведения приходится день св. Макария Желтоводского (25 июля).

[18] *...лавы...* — Плавучий мост или доски, перекинутые через ручей.

[19] *...имея намерение написать мое путешествие в Нижний...* — *Долгорукий И. М.* Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. М., 1870.

[20] *...Другой молодой князь Долгорукий, распутного поведения, был под караулом по подозрению в похищении шкатулки с деньгами.* — Один из троюродных братьев И. М. Д., кн. Владимир Павлович (внук кн. Алексея Алексеевича), которому было около 23—25 лет и который, согласно его формулярному списку, 1 июля 1811 г. по высочайшему приказу за непозволительную картежную игру переведен из гвардии в Каргопольский драгунский полк прапорщиком, 19 апреля 1812 г. произведен в поручики, участвовал в Отечественной войне 1812 г., 29 сентября 1814 г. подал прошение об увольнении за болезнью и 26 апреля 1816 г. уволен от службы с чином штабс-капитана (копия формулярного списка о службе: РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 348. Л. 62—63, см. также указ об отставке: там же. Л. 61—61об. и запись в родословной книге дворян Владимирской губернии (ч. V) за 1828 г. (там же. Оп. 51. Д. 42. Л. 16об.—17)). Около 1815 г. кн. Владимир Павлович, находясь с армией в Польше, женился на польской дворянке по католическому обряду, а несколькими годами позже, вернув-

шись в великорусские губернии, женился там на местной помещице, дворянке Калужской губернии, по православному обряду.

[21] *...в кор-де-гардии...* — В гвардейском корпусе (от фр. corps-de-garde).

[22] *Несчастный! Ум беда, когда рассудка нет!* — «Размышление на берегу реки Клязьмы, при погосте Архидиакона Стефана, между Гороховцом и Вязниками» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 235).

[23] *...в дормезе...* — Дорожная карета, в которой можно ехать лежа (от фр. dormeuse).

[24] *...Моро умер...* — 21 августа (2 сентября) 1813 г.

[25] *...и Волоамов осел среди пустыни сделался пророком.* — Числ. 22, 21—31.

[26] *...на неудачном сражении около Дрездена...* — 26—27 августа 1813 г. 70-тысячная армия Наполеона разгромила 150-тысячную армию русских, пруссаков и австрийцев.

[27] *...Бог наклонил весы счастия на Россию под Лейпцигом <...> долго не изгладится в летописях мира.* — Лейпцигское сражение 4—7 (16—19) октября 1813 г., получившее название «битвы народов».

[28] *...Император <...> цесарский...* — Австрийский император Франц I (бывший императором Священной Римской империи до упразднения ее Наполеоном под именем Франца II).

[29] *...как древле израильтяне против моавитов.* — Суд. 3, 12—30.

[30] *Он посещал родственников своих по матери и по супруге. <...> к концу года государь и супругу свою пригласил в родительский дом ее.* — 26 марта (7 апреля) Александр I прибыл в Дрезден. В течение весны, лета и осени 1813 г. он неоднократно встречался с сестрами Марией (наследной принцессой Саксен-Веймарской) и Екатериной (принцессой Ольденбургской), братом Константином, королем и наследным принцем Вюртембергскими (братом и племянником Марии Федоровны), королем и королевой Баварскими (сестрой Елизаветы Алексеевны и ее мужем), великим герцогом и маркграфиней Баденскими (братом и матерью Елизаветы Алексеевны). Елизавета Алексеевна отправилась из Петербурга 19 декабря 1813 г.

[31] *...обон пол.* — По обе стороны.

[32] *...сенжамский кабинет...* — Британское правительство.

[33] *...Библейское общество...* — Библейское Общество в Санкт-Петербурге было учреждено с высочайшего дозволения 6 декабря 1812 г. англиканским пастором Патерсоном, членом Великобританского и иностранного библейского общества, учрежденного в Лондоне в 1804 г., и имело целью издание книг Ветхого и Нового Завета на иностранных языках (издание их на русском языке оставалось всецело в ведении Святейшего Синода). Просуществовало до 1828 г.

[34] *...состоял из трех пиес: «Семейства Старичковых», «Недоверчивости и хитрости» и «Влюбленного Шекспира»...* — «Семейство Старичковых, или За Богом молитва, а за царем служба не пропадают» — драма в одном действии Ф. Ф. Иванова (М., 1808). «Недоверчивость и хитрость, или Долг платежом

красен» — комедия в одном действии М. Дьелафуа. «Влюбленный Шекспир» — комедия в одном действии Ж.-Л.-Ж. (А. В.) Дюваля. Пер. с фр. Д. И. Языкова (СПб., 1807).

[35] *...из двух: «Мизантропа» и «Адольфа и Клары».* — «Мизантроп» — комедия Мольера, пер. Ф. Ф. Кокошкина. «Адольф и Клара, или Два арестанта» — комедия в одном действии Б.-Ж. Марсолье.

1814

[1] *...никто во вселенной не имел менее права на усы, как он.* — Как офицер легкой кавалерии (конно-егерского полка) кн. А. И. Долгоруков имел право (и должен был) носить усы. Отставные офицеры легкой кавалерии также могли носить усы, если выходили в отставку с мундиром.

[2] *Я тогда написал и отдал в печать «Рассуждение мое о судьбе»...* — *Долгорукий И. М.* Рассуждение о судьбе, взятой в смысле французского слова fatalite, по латине fatum. М., 1814.

[3] *Великодушные союзники, щадя Францию, положили, не лишая Наполеона титла императорского, переселить на остров Эльбу <...> развели его с женой и сыном, которых отобрал к себе цесарский император, и тем кончилась война того года.* — 4 апреля (23 марта) 1814 г. союзники предложили Наполеону капитуляцию на условиях сохранения императорского титула и владетельных прав на остров Эльба в Средиземном море. Утром 6 апреля Наполеон принял эти условия. 20 апреля он отбыл на Эльбу. При нем оставалось 1100 солдат, из них больше сотни кавалеристов и 600 гренадер и пеших егерей старой гвардии. Императрица Мария-Луиза, дочь австрийского императора Франца I, выехала с сыном из Парижа в Блуа еще 29 марта 1814 г. Они должны были получить самостоятельные владения в Италии.

[4] *...играл комедию «Хитрая вдова»...* — «Хитрая вдова, или Темпераменты» — комедия в одном действии А. Коцебу (1802 г.).

[5] *...в Александров день изволил издать в народ так называемый Милостивый манифест, в котором <...> обвиняемые в мелких преступлениях освобождались от суда и наказания.* — Всемилостивейший манифест от 30 августа 1814 г. «О учреждении крестов, для Духовенства, а для воинства, дворянства и купечества медалей и разных льготах и милостях», п. 16 ст. 7.

[6] *Из сих двух произведений последнее не могло быть напечатано и осталось памятником того времени для одного меня...* — См.: *Долгорукий И. М.* Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. М., 1870.

[7] *...«Филибер» явился в печати...* — «Филибер, или Отношения общественные». Сочинение г-на Коцебу. Пер. с фр. кн. Ивана Михайловича Долгорукого. Ч. 1—4. М.: В Университетской типографии, 1815. На с. 122—137 четвертой части опубликовано стихотворение кн. И. М. Долгорукова «Московскому приятелю П. П. Н.» <Петру Петровичу Нарышкину>.

[8] *...кроме моего еще два перевода того же романа...* — Из печати вышел только один, анонимный: «Филиберт, или Друзья детства». Сочинение Коцебу. Пер. с фр. Ч. 1—4. М.: В Университетской типографии, 1815.

[9] *...Строев, издававший тогда новый какой-то журнал...* — «Современный Наблюдатель Российской словесности, издаваемый Павлом Строевым» выходил с марта 1815 г. Последний номер (№18) был датирован 31 июня.

[10] *...раскритиковав сперва г. Хераскова поэму «Россияду»...* — «Письма о русской словесности. О Россияде, поэме Г. Хераскова (Письмо к девице Д.)» // Современный наблюдатель. Ч. 1. № 1. С. 9—38; № 3. С. 71—82.

[11] *Досталось от г. рецензента не только моему слогу, но даже и оболочке <...>, он проник во нрав мой и рассудил вместе с переводом критиковать и его, сказав, что у меня не только оборот речей, слог, выражения, но и все французское.* — Разбор переводов «Филибера» был помещен П. Строевым во втором разделе материала «Рассмотрение новых книг» (Ч. 1. № 2. С. 47—61), который назывался: «Филибер. Новый роман г. Коцебу» (с. 51—61). После нескольких страниц, посвященных критике самого романа с позиций нравственности, П. М. Строев пишет: «У нас вдруг появилось два перевода сего романа, и оба — с французского. Читая перевод Кн. Ивана Михайловича Долгорукого, кажется, что читаешь по-французски: состав речи, выражения, обороты — все французское. Сличим здесь оба перевода. Следующие места взяты на удачу» (с. 56). Далее следуют попеременные цитаты из двух переводов без комментариев, после которых рецензент добавляет: «Этого довольно. Правду сказать, другой перевод несколько сокращеннее перевода Кн. Долгорукого; но гораздо лучше читать перевод вольный, но *русский*, нежели верный, но безобразный. К числу отличительных знаков сих переводов принадлежит и то, что на одном из них обертка огненного цвета, а на другом — синего» (с. 61).

[12] *Издатель «Сына Отечества»...* — Николай Иванович Греч.

[13] *...выпустил свою рецензию на критику г. Строева и журил его за невежливый разбор моего перевода...* — Разбор переводов «Филибера», сделанный П. М. Строевым, в «Сыне Отечества» не упоминается.

[14] *...он употребил слова не очень мягкие, говоря о моем переводе, а именно, что я лучше управляюсь с стихами, нежели с прозой...* — В разделе «Современная русская библиография», представляющем перечень только что вышедших печатных изданий, за сообщением о выходе «Современного наблюдателя...» следует сообщение о выходе «Филибера» в переводе И. М. Д. После библиографического описания там говорится: «Сей роман довольно занимателен, но написан слишком *бегло*, и так сказать, *на подряд*. В переводе трудился известный стихотворец. Кажется, что он с рифмами управляется удачнее, нежели с прозою. В Москве вышел другой перевод, но нам не удалось еще его видеть» (Сын Отечества. 1815 г. Ч. 21. № 16 (26 04 1815). С. 142).

[15] *...издатель «Аспазии» вздумал приподнять сие выражение в своих листках и заметил, <...> что такое выражение не у места и означает наклон-*

ность к насмешке. — Статья «Кто были критики?» (Журнал «Кабинет Аспазии. Литературный журнал». Издатели: Б. М. Федоров, А. Ф. Рихтер, В. Бахирев и И. Исаков. № 6. С. 50—67). После восьми страниц, посвященных нападкам на П. М. Строева за его критику «Россияды», следует: «Другой критик, гораздо более уважительный, есть издатель С. О., но и в С. О. статья библиографии также очень дерзка. Напр.: там о переводе Князя *И. М. Долгорукова* сказано: *он умеет лучше управляться с рифмами, нежели с прозою.* Мы не хотим рассматривать, справедливо ли худое мнение о переводе или нет, а скажем, что мнение сие выражено грубым и подлым языком. *Управляться с рифмами* сказано столь же низко, как говорят крестьяне: *он управляется с возом сена.* Разве нельзя было сказать, он не такой хороший прозаик, как стихотворец, или, он лучше пишет стихами, нежели прозою? Кроме того, такая грубость тем более непростительна, что относится к давно уже известному прекрасными сочинениями стихотворцу».

16 *...Адониса...* — В греческой мифологии — возлюбленный Афродиты.

17 *...посадить их на пашню...* — Перевести на барщину.

18 *О всех наветах, на меня последовавших в последний и несчастнейший год моей службы, я написал особый трактат, который <...> отдельною сверх того тетрадью у меня хранится...* — Тетрадь с этим трактатом хранится в Государственном литературном музее (ГЛМ. Ф. 79. Ед. хр. 4). В архиве трактат озаглавлен по первым словам текста: «Ожидая три года над собою суда...» Его содержание включает историю о несправедливом штрафе, наложенном на Владимирское губернское правление, обвинение в неприличных выражениях, повлекшее выговор, скандал с арестом отца Александра и «мундирное дело».

19 *Милостивый манифест 30-го августа прощал все, кроме убийства, грабежа и лихоимства.* — П. 16 статьи 7 манифеста от 30 августа 1814 г. «О учреждении крестов, для Духовенства, а для воинства, дворянства и купечества медалей и разных льготах и милостях».

1815

1 *Сын мой князь Павел произведен в надворные советники и очень скоро потом <...> взял сына моего к себе...* — Кн. Павел 23 января 1815 г. произведен за отличие в надворные советники, а 15 ноября перемещен на должность секретаря в Канцелярию, положенную при директоре Департамента государственных имуществ (а не лесного) Министерства финансов. Д. С. Ланской в 1915 г. возглавлял оба департамента.

2 *...опекуном назначен брат их двоюродный Кашинцев же.* — Известно пять двоюродных братьев названных детей — сыновей их дяди Сергея Никаноровича: Иван, Александр, Евлампий, Никанор и Перфилий. Все пятеро были взрослыми. Но двое младших служили в это время в лейб-гвардии Измайловском полку, т. е. были очень далеко от сирот, Евлампий служил в Москве и Туле да к тому же был женат на Надежде Васильевне Нестеровой — племяннице И. М. Д.

по жене, о чем бы тот не преминул упомянуть. А вот двое старших служили в Вязниках: Иван городничим, а Александр уездным предводителем дворянства, и кто из них имеется в виду, определить не представляется возможным (см.: *Фролов Н. В.* Владимирский родословец. Вып. I. Ковров, 1996. С. 66—68).

[3] *Наполеон бежал с острова Эльбы и вновь призван французами на престол. Нигде шествие его до Парижа не было преграждаемо, все войски его и маршалы передались ему по-прежнему.* — Наполеон покинул Эльбу 26 (14) февраля 1815 г. со всем своим войском (1100 солдат) и высадился в бухте Жуан на французский берег 1 марта (17 февраля). 10 марта он уже занял Лион (где объявил о своем восстановлении владычества над Францией), а 20 марта — Париж, нигде не встречая никакого сопротивления. Высылаемые ему навстречу войска переходили на его сторону полк за полком. Маршал Мишель Ней, которого Людовик XVIII назначил главнокомандующим, также перешел на сторону Наполеона. Вообще из наполеоновских маршалов ему не передался Мармон, а Ожеро Наполеон отверг сам.

[4] *Полная измена совершилась против Людвига. Он принужден был выехать из Франции и оставить престол свой снова самозванцу...* — После перехода на сторону Наполеона Нея со всеми войсками у Людовика XVIII не оставалось шансов. В 11 часов вечера 19 (7) марта он со всей семьей бежал из Парижа по направлению к бельгийской границе.

[5] *...потерял он решительное дело в местечке Belle Alliance.* — Belle-Alliance — селение в 20 км к юго-востоку от Брюсселя по дороге на Шальруа, между Ватерлоо и Жемаппом. Битвой при Белль-Альянсе в Пруссии принято называть битву при Ватерлоо — генеральное сражение, которое Наполеон проиграл 18 (6) июня 1815 г. 22 июня он отрекся от престола в пользу своего сына и 15 июля сдался англичанам.

[6] *...с первым падением Наполеона попадали все и цари его посвящения, следовательно, Мюрат подвергся той же участи.* — Отречение Наполеона не привело к автоматическому низложению Мюрата, хотя на престол претендовал легитимный король Фердинанд IV из династии Бурбонов и борьба на Венском конгрессе за сохранение престола была для Мюрата крайне тяжелой. Едва узнав о возвращении Наполеона, Мюрат выступил с войсками в его поддержку, но вскоре потерпел поражение. 8 октября он был арестован в итальянском городе Пиццо, там же наскоро судим специальной комиссией из 7 человек, которая даже не выслушала обвиняемого, и 13 октября 1815 г. в том же городе расстрелян.

[7] *...из королей Наполеонова производства и семьи остался только один самозванец на престоле, а именно Бернадот, признан всеми державами королем шведским...* — В 1815 г. Бернадот еще не король, а наследный принц Швеции.

[8] *...жившего там ректора, моего искреннего приятеля...* — Семинария Троице-Сергиевской лавры в 1814 г. была упразднена, вместо нее были созданы Перевинская и Вифанская. Ее последний ректор Евгений Казанцев стал ректо-

ром Перевинской семинарии. Ректором Вифанской семинарии стал Парфений Васильев-Чертков. О котором из них идет здесь речь, неясно.

[9] *...о смерти профессора Чеботарева.* — 26 июля 1815 г.

[10] *На что и затевать? Чего нет на роду, / Не только что с коня, с клячонки упаду.* — «Я» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 7).

[11] *...в отстроенном своем обширном доме...* — Дом не сохранился (ныне на его месте дом № 54 по Б. Никитской (ул. Герцена)).

[12] *Скончалась графиня Строганова...* — 20 ноября 1815 г., в возрасте 61 года.

[13] *...проводил тело до Андроньева монастыря...* — Московский Спасо-Андроников монастырь на р. Яузе, основанный в 1160 г.

[14] *...в княгине...* — Кн. В. Ю. Горчакова, дочь кн. Ю. В. Долгорукова.

1816

[1] *...Детушев «Философ»...* — См. 1786 г., примеч. 31.

[2] *...опера «La servante maitresse»...* — «Служанка-госпожа». См. 1791 г., примеч. 8.

[3] *...куда он принят губернским регистратором...* — Это еще не офицерский (классный) чин.

[4] *По логике моей давно расположил, / Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил.* — См. 1790 г., примеч. 20.

[5] *Написав особенную тетрадь...* — См. 1814 г., примеч. 18.

[6] *Какие искусные Лафатеры!* — Имеется в виду швейцарский писатель и физиогномист И. К. Лафатер.

[7] *В это время я написал мою «Семиру Болеславну».* — Бытие сердца... Ч. 3. С. 50—59.

[8] *Скоро по замирении с Персией, которое последовало во время последней войны...* — Русско-персидская война 1804—1813 гг. завершилась Гюлистанским миром 5 ноября 1813 г.

[9] *...скончался первый вельможа, дядька государев, президент Совета, регент, можно сказать, всего государства князь Салтыков.* — 16 мая 1816 г.

[10] *Из числа кредиторов сына его одна какая-то женщина...* — Надворная советница Петрова.

[11] *...выпущен указ, и в нем сказано, что по заплате означенных двадцати восьми тысяч не принимать уже никаких просьб на покойного сына князя Юрия Владимировича и по остальным его претензиям не вчинать нигде никакого дела.* — Высочайше утвержденное положение Комитета министров, объявленное Сенату министром юстиции, по делу князя Долгорукого, от 31 августа 1816 г. Согласно этому указу, долг кн. Долгорукова Петровой составлял 22 500 рублей.

[12] *...в летнем публичном собрании прекраснейшим образом произнесены г. Кокошкиным, действительным членом Общества и лучшим чтецом в городе.* — 26 мая 1816 г.

[13] *...сын мой представил экземпляр цензору, он одобрен и у Плавильщикова напечатан без всякого выпуска и поправок.* — «Невинность» была дозволена к печати цензором И. О. Тимковским 16 января 1817 г. и напечатана в типографии И. Глазунова: Невинность, сочинение К. Ив. Мих. Долгорукого, почетного члена Московского императорского университета и Общества любителей российской словесности, при оном учрежденного, в котором сочинение сие и было читано публике. СПб.: Типография Ивана Глазунова, 1817. 12 с.

[14] *...в следующей книжке «Трудов» я увидел уже «Невинность» напечатану от общества.* — Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Ч. 7. М., 1817. Стихотворения. С. 23—29.

[15] *...о кончине сенатора Ивана Владимировича Лопухина.* — 22 июня 1816 г.

[16] *...сочинял комедию под названием «Дурылом»...* — «Дурылом, или Выбор в Старшины» (Бытие сердца... Ч. 4. С. 5—72).

[17] *...Экзерциргауз...* — Манеж, от нем. Exerzierhaus.

[18] *...он определен в губернаторы в Пензу...* — М. М. Сперанский возвращен из ссылки и назначен Пензенским губернатором 30 августа 1816 г.

[19] *Пусть все идет как шло, / Лишь только бы хором с подошвы не снесло; / А в прочем ни о чем старик мой не хлопочет, / Доволен — и с утра до вечера хохочет.* — «Сослуживцу» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 98).

[20] *...Сергиев день, сельский наш праздник...* — 7 октября — память мученика Сергия и преподобного Сергия Нуромского.

[21] *...князь Юрий Владимирович, отпраздновав свои годовые праздники, дни рожденья и именин...* — 2 ноября (день рождения) и 3 ноября (обновление храма великомученика Георгия в Лидде).

[22] *...и еще до дня, в который я пишу, здравствует благополучно, всюду ездит, всем наслаждается и даже путешествует по деревням своим.* — Кн. Ю. В. Долгоруков на семь лет пережил И. М. Д.

[23] *...умер мгновенно на креслах у камина за книжкой славный генерал Докторов.* — 14 ноября 1816 г.

1817

[1] *...я посвятил ему строчку в моих сочинениях, упомянув о нем в третьей моей книге.* — «И Колобов, как бес, по всем избам прощался...» / «Пир» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 202).

[2] *...внезапная болезнь Пашеты.* — П. И. Пожарской.

[3] *...в нынешней зиме я принужден был по родству явиться отцом посаженым на двух свадьбах у Бутурлина, внучатого моего брата, который двух дочерей отдал замуж.* — Петр Михайлович Бутурлин приходился И. М. Д. троюродным братом. В этих мемуарах упоминается четыре его дочери, но по

именам известны три: Александра, Наталия и Мария. Вышла замуж в январе 1817 г. Мария (за Павла Львовича Толстого). Которая еще из сестер вышла замуж в то же время, неизвестно.

[4] *...в Нижнем, у племянника моего родного Смирнова...* — Дочь Владимира Смирнова Анну, родившуюся 6 декабря 1816 г., крестили в начале 1817-го.

[5] *...одного нашего родственника, молодого человека Ушакова...* — Ф. Л. Ушаков был троюродным братом И. М. Д.: его бабушка по матери Вера Борисовна Лопухина, урожденная гр. Шереметева, была родной сестрой Нектарии.

[6] *...в стихах моих, напечатанных при «Филибере», названа Анемоной.* — См. 1814 г., примеч. 7.

[7] *...комплот...* — Заговор, от фр. complot.

[8] *...обыск...* — Брачный обыск — опрос вступающих в брак об отсутствии родства между ними и запись об этом в церковной книге.

[9] *...начитавшись Мирабо с товарищами...* — Возможно, имеется в виду переписка О. Г. Мирабо с его возлюбленной Марией Терез Софи Ришар де Монные (урожд. де Рюффей). См.: *Мирабо.* Публичная и приватная жизнь Гонория — Гавриила — Рикетти, гр. Мирабо, депутата мещанства и крестьянства... М., 1793.

[10] *...протомою...* — Портомою, прачку.

[11] *...я наравне с прочими дворянами Московской губернии украсился по манифесту 30 августа, столь известному, медалью бронзовой на Владимирской ленте и вздел ее в петлицу.* — Согласно манифесту от 30 августа 1814 г., дворянству всей империи жаловалась бронзовая медаль на Владимирской ленте, которую должны были носить «отцы или старейшины семейств».

[12] *Написавши особо второе мое путешествие в Малороссию...* — *Долгорукий И. М.* Путешествие в Киев в 1817 году. М., 1870.

[13] *...видели в Орле самом несколько театральных зрелищ графа Каменского.* — Театр гр. С. М. Каменского в Орле имел труппу актеров и 80 человек музыкантов, обмундированных по-военному, и зал приблизительно на 500 мест.

[14] *...видели торжественное открытие Библейского общества...* — 11 августа 1817 г. в Киеве.

[15] *...молился в пустыне Домницкой...* — Домницкий Рождественский мужской монастырь на берегу р. Домницы вблизи Стольного, родового имения Безбородко. Восстановлен гр. И. А. Безбородко, сын которого похоронен в этом монастыре, с отчислением в пользу монастыря ежегодно 500 руб. С 1808 г. в монастыре учреждена архимандрия 3-го класса.

[16] *Проезжая чрез Кролевец, где бывает в сентябре ярмонка значительная, видели ее пепел и развалины.* — Кролевецкая ярмарка начиналась обычно 14 сентября и продолжалась две недели. 18—19 сентября 1817 г. сильный пожар помешал ее прохождению.

[17] *Проезжая Орлом, мы видели смерть и гроб Плещеевой...* — А. И. Плещеева умерла 20 июня 1817 г. Ее похороны И. М. Д. видел на пути в Киев.

[18] *...сочетался великий князь Николай Павлович законным браком с принцессой прусской, дщерию настоящего тамошнего короля...* — 1 июля 1817 г.

[19] *Министр...* — 25 августа 1817 г. на должность министра юстиции был назначен кн. Д. И. Лобанов-Ростовский, тот самый, который злословил И. М. Д. перед государем.

[20] *...глагол царя Давида: «Изведи из темницы душу мою»...* — Псал. 141, 7.

[21] *...Гольдбах, будучи занят лекциями в Университете...* — В 1817 г. Л. Ф. Гольдбах преподавал еще не в университете, а в Медико-хирургической академии.

1818

[1] *Там был сейм...* — Первый польский сейм открылся 15 (27) марта 1818 г.

[2] *...сын ее, молодой малый лет двадцати пяти, мой племянник, Конной гвардии офицер, не быв болен, в жестоких конвульциях умер.* — 13 апреля 1818 г. двадцати трех лет отроду.

[3] *Государя не было в городе, он объезжал отдаленные места внутри и около своей империи.* — Пробыв в Варшаве до 18 апреля, Александр I по закрытии сейма отправился в поездку, намереваясь посетить Бессарабию, Одессу, Николаев, Крым, Таганрог и землю Войска Донского. Известие о рождении племянника он получил в Бессарабии, проезжая через Бельцы.

[4] *...печальное известие о кончине тещи моей Марьи Яковлевны.* — 21 апреля 1818 г.

[5] *...как Луцинда в «Оракуле»...* — «Оракул» — комедия в одном действии Ж.-Ф. Сен-Фуа. Пер. с фр. П. С. Свистунова. СПб., 1759. Явл. 4, реплика Луцинды.

[6] *Приближался Петров пост...* — Петров пост начинается 6 июня.

[7] *...в самые ее именины...* — 23 июня.

[8] *...с тех пор, как она из пустого городишка Макарья перенесена была в Нижний...* — С 1817 г. Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород и стала официально называться Нижегородской, хотя в народе сохранила прежнее именование.

[9] *...логомахию...* — Логомахия — словесная война (от греч. logos — слово и mahos — война).

[10] *...хлопотал у архиерея...* — Моисея Близнецова-Платонова.

[11] *Он в Лыскове своем, богатом и широком, живет, как маленький царь...* — Нижегородское имение кн. Г. А. Грузинского превышало 3000 душ.

[12] *...написал стишки под названием: «Размышление недужного», напечатанные в петербургском журнале «Соревнователя».* — Соревнователь просвещения и благотворения. 1818. Ч. 4. № 10. С. 79—82. См.: *Долгорукий И. М.* Сочинения Долгорукого (князя Ивана Михайловича). Т. 1—2. СПб.: А. Ф. Смирдин, 1849. Т. 1. С. 508—510.

18 Зак. № 3975

[13] *...брат невестин...* — Имеется в виду один из двух ее братьев, Андрей или Михаил.

[14] *...у родственницы нашей Лопухиной...* — Н. Н. Лопухина приходилась И. М. Д. троюродной племянницей: ее прабабушка Вера Борисовна, урожденная гр. Шереметева, была родной сестрой Нектарии.

[15] *...обер-прокурор...* — Возможно, С. Н. Озеров.

[16] *...генерал-губернатор...* — Иван Борисович Пестель.

[17] *...министр...* — Кн. Алексей Иванович Горчаков.

[18] *...спустя несколько дней, ноября 1-го, скончалась, оставя после себя человек пять в малолетстве.* — Из известных (доживших до 1846 г.) одиннадцати детей В. С. Смирнова от первой жены только четверо: Николай, Екатерина, Елизавета, Анна. Старшему — Николаю — к моменту смерти матери было семь лет, младшей — Анне — не было и двух.

[19] *...Соковнина Сергея Петровича, родственника моего по матушке...* — Он приходился И. М. Д. троюродным дядей.

[20] *Ширяев имел дело со мной и обязался дать мне на тысячу рублей книг, <...> чем я и достиг первоначальной моей цели.* — И. М. Д. удалось взять у книгопродавца книги с большой уступкой (по продажным ценам — на 1742 руб.). По донесению в Московский университет директора гимназии от 19 июля 1824 г., эти книги составили лучшую часть гимназической библиотеки.

[21] *О сем происшествии тотчас напечатано было в «Северной почте». Нескромность сей официальной газеты испугала московскую публику.* — «Северная почта», 1818 г., 30 ноября, № 96. Ссылаясь на иностранную газету, «Северная почта» сообщила о заговоре, целью которого было задержать императора Александра I на пути из Ахена и убедить его объявить сына Наполеона, герцога Рейхштадтского, императором Франции. «Скромные» газеты сообщили лишь об аресте в Брюсселе нескольких человек, в основном иностранцев, причины которого остались неизвестными (см.: Санкт-Петербургские ведомости, № 96 (29.11.1818), с. 1075; № 98 (06.12.1818), с. 1097; № 103 (24.12.1818), с. 1145, и «Московские ведомости», № 99 (11.12.1818), с. 2735; № 100 (14.12.1818), с. 2761; № 101 (18.12.1818), с. 2786).

[22] *Весь двор снова собрался в кучку...* — Александр I вернулся в Царское Село из заграничной поездки 22 декабря 1818 г., Мария Федоровна — 30 декабря, Елизавета Алексеевна — только 26 января 1819 г.

1819

[1] *Появилась «История» Карамзина.* — *Карамзин Н. М.* «История государства Российского». Речь идет о втором издании, выходившем в 1818—1824 гг. Первое, в восьми томах, было завершено в 1818 г. и распродано в течение 25 дней (три тысячи экземпляров по 55 рублей).

[2] *Помолвка его сперва в Шуе на Шимоновской...* — Одна из дочерей надворного советника Виктора Васильевича Шимоновского, Евдокия или Анастасия (по сообщению Н. В. Фролова).

[3] *Кончина королевы Виртембергской. Мои стихи на сей случай.* — «Стихи на кончину ее величества королевы Виртембергской, со всеподданнейшим благоговением посвященные ее императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне сочинителем Императорского Московского университета почетным членом Кн. Ив. Дол...ким» (М.: в типографии Августа Семена, 1819. — 6 с.). Сестра Александра I великая княжна Екатерина Павловна, во втором замужестве королева Вюртембергская, умерла 28 декабря 1818 г. (9 января 1819 г.), но в Петербурге об этом стало известно только 11 (22) января (Московские ведомости. 22 января. № 7).

[4] *Наряд его в Олонец.* — Формулярный список о службе кн. П. И. Долгорукова об этой командировке не сообщает (см.: РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 705. Л. 126—133).

[5] *Разнообразные зрелища в Москве в Великий пост, как то: индеец, Финарди, Цезарина, Готье и лев морской.* — Индеец — шпагоглотатель, выступавший в Москве с 27 февраля до 18 апреля 1819 г. Финарди — итальянец, мастер конных трюков, выступал в Москве неоднократно, в том числе с 15 августа 1818 г. до 23 марта 1819 г. Цезарина — вероятно, искаженное написание фамилии семейства итальянских эквилибристов Серафини, выступавших в Москве с 6 марта до 1 июня 1819 г. Готье — эквилибрист, выступавший со своей командой под названием «Шведское общество господина Готье» в Москве со 2 ноября 1818 г. до 30 марта 1819 г., эта же группа привезла и показывала экзотических животных. Независимо от нее между 18 и 21 января 1819 г. в Москву был привезен морской лев, который, если верить объявлению в «Московских ведомостях» за 22 января (№ 7, с. 166—167), не только понимал команды на всех языках, благодарил публику, складывая лапы на груди, и произносил слово «папа», но и играл на гитаре, при этом напевая. Морского льва показывали в Москве до начала мая.

[6] *Смерть и похороны Августина.* — 3 марта 1819 г. Отпевание было совершено 8 марта, для погребения тело было перенесено в Троице-Сергиевскую лавру.

[7] *На место его Серафим.* — Архиепископ Тверской Серафим был назначен митрополитом Московским 15 марта 1819 г.

[8] *Убийство Коцебу.* — А. Ф. Ф. Коцебу был убит в Маннгейме 11 (23) марта 1819 г. студентом богословия Карлом Фридрихом Зандом, либералом, считавшим Коцебу русским шпионом и главным препятствием к распространению либерализма в Германии.

[9] *...бурмистра...* — Федосеева.

[10] *Миша остался в Москве, держит экзамен, получает аттестат и приезжает к нам.* — Кн. М. И. Долгоруков был признан «отлично успевшим» и удостоен степени действительного студента по отделению словесных наук (Московские ведомости, № 55, 9 июля 1819 г., с. 1414).

[11] *Сын его Михайла утонул...* — Гр. М. П. Ефимовский утонул, купаясь, в отцовской деревне.

[12] *Владимир Смирной, ездивший через Москву в Питер зимой, получил там городническое место в Нижнем при ярмонке...* — 10 января 1819 г. В. С. Смирнов по выбору дворянства был утвержден макарьевским земским исправником. 8 марта 1819 г. управляющему Министерством полиции С. К. Вязмитинову было сделано представление от Нижегородского губернатора А. С. Крюкова, в котором свидетельствовалось, что В. С. Смирнов «в продолжение трехмесячного в звании исправника служения (в действительности двухмесячного. — *М. М.*) окончил многие оставшиеся без подлежащего хода дела, взыскал немалое число накопившихся от прежних лет недоимок, открыл пристанище беглецов и грабителей, беспокоивших уезд, успел переловить сих, производивших в 1818 г. грабежи и смертоубийства на водяном и сухом путях и тем доставил спокойствие жителям и проезжающим совершенную безопасность». В результате 25 апреля того же года по особому именному высочайшему повелению В. С. Смирнов из исправников был переведен в нижегородские полицеймейстеры (городничие). Интересно, что в том же году 29 ноября он был награжден бриллиантовым перстнем «за открытие во время Нижегородской ярмарки делателей фальшивых золотых полуимпериалов (пятирублевых монет. — *М. М.*) и ассигнаций разных достоинств и инструментов для делания оных», а 27 декабря 1823 г. был произведен из надворных в коллежские советники «за открытие восьми фабрик делателей под золото фальшивых империалов и под серебро рублей и полтинников, с их инструментами, и за доведение многих из преступников сих до чистосердечного признания» (Формулярный список В. С. Смирнова за 1851 г. // РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 283. Л. 13об.—18).

[13] *Приезд Любовь Ивановны в Патакино.* — Патакино — село Л. И. Безобразовой.

[14] *Новое знакомство с соседом Марковым.* — Вероятно, с Михаилом Соломоновичем, помещиком Владимирской и Костромской губерний, в старости жившим в селе Воскресенское-Сергеево Шуйского уезда.

[15] *...на Парскую ярмонку.* — Ярмарка в селе Парском Юрьевецкого уезда Костромской губернии (неподалеку от Шуи), называемая Ивановской, существовала с XVII в., была одной из крупнейших в Костромской губернии и происходила 26—30 августа, будучи приурочена к празднику Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа).

[16] *Падение шуйской колокольни.* — 29 сентября 1819 г. См. 1812 г., примеч. 15.

[17] *Князь Дмитрий мой произведен в коллежские регистраторы с старшинством и попал в Иностранную коллегию к Каподистрию.* — В октябре кн. Д. И. Долгоруков был произведен в коллежские регистраторы со старшинством с 31 декабря 1818 г. (т.е. стаж пребывания в этом чине исчислялся с указанной даты). Но в Коллегию иностранных дел он попал несколько раньше, еще 12 июня 1819 г.

[18] *Рассуждение о ланкастеровых школах.* — Английские педагоги Э. Белл и Дж. Ланкастер разработали систему взаимного обучения (Белл-Ланкастерская система), при которой старшие и более знающие ученики под руководством учителя вели занятия с остальными. В России Ланкастерская система стала применяться с 1818 г.

[19] *Тормасов умер.* — 13 ноября 1819 г.

[20] *Меня перевозят к Степаше.* — Степан Иванович Кологривов.

[21] *...я начал заниматься сочинением нового для себя словаря всех тех лиц, с коими я был в отношении.* — «Капище моего сердца или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни».

1820

[1] *Убийство принца Берри.* — Шарль Франсуа, герцог де Берри (герцог Беррийский) был смертельно ранен вечером 1 (13) февраля 1820 г. бонапартистом П. Л. Лувелем и умер наутро. Причиной убийства стало то, что Берри был единственным наследником Бурбонского дома, могущим иметь детей. Первое сообщение об убийстве в «Московских ведомостях» опубликовано 28 февраля (№ 17, с. 460).

[2] *Князь Дмитрий Владимирович приехал в Москву главнокомандующим.* — Кн. Д. В. Голицын был 6 января 1820 г. назначен Московским военным генерал-губернатором, а прибыл в Москву утром 23 февраля.

[3] *Намерение мое продать свой дом и купить Кашкаровой.* — О. В. Кашкарова опубликовала объявление о продаже дома (по адресу: Старая Конюшенная, д. 153, в приходе священномученика Власия) в «Московских ведомостях» за 28 февраля 1820 г. (№ 17, с. 472) и 3 марта (№ 18, с. 519). Первое объявление о продаже дома И. М. Д. появилось в «Московских ведомостях» 27 марта (№ 25, с. 714), второе — 31 марта (№ 26, с. 735).

[4] *Известие от сына князя Дмитрия, что он назначен в Царьград в тамошнее посольство.* — Назначение формально состоялось только 4 апреля 1820 г., но, возможно, известно о нем было несколько раньше.

[5] *6-го панихида по Ланском, убитом на поединке.* — Владимир Яковлевич Ланской, сын П. Н. Ланской, корнет л.-гв. Гусарского полка, был убит 19 марта 1820 г. Меньше чем через год, 26 января 1821 г., был убит его брат Дмитрий.

[6] *Манифест о разводе великого князя Константина Павловича.* — Манифест от 20 марта 1820 г.

[7] *Высылка езуитов из России.* — Указ от 13 марта 1820 г.

[8] *Я сочинил им шесть провербов.* — «У семи нянек дитя без глазу», «Чему быть, того не миновать», «Гриб съели», «Место делает богатым», «Не родись хорош, ни пригож, а родись счастлив» и «Мешай дело с бездельем, век с ума не сойдешь». Не опубликованы. Автографы первых четырех хранятся в РГАДА. Ф. 1373. Оп. 2. Д. 12. Л. 26—51, 52—58, 60—71, 71—76 соответственно.

[9] *Торжественный приезд государя в Москву под вечер 16-го числа. Он уехал через два дни.* — Александр I прибыл в Москву в 8 вечера 16 июля, он выехал в 7 утра 19-го.

[10] *Приезд Каталани.* — Знаменитая итальянская певица Каталани приехала в Москву из Петербурга, где давала концерты с 26 мая 1820 г. Журнал «Сын Отечества» писал: «Сила, чистота, гибкость и легкость голоса ее удивительны, очаровательны. Каждая песня, петая ею, возбуждала восторг, изъявлявшийся громкими рукоплесканиями». В Москве она дала пять концертов в зале Благородного собрания: 18, 22, 25, 29 июля и 1 августа 1820 г.

[11] *28-го у нас играли мой проверб.* — «Не родись ни хорош, ни пригож, а родись счастлив».

[12] *Громкий слух о свадьбе цесаревича.* — Бракосочетание великого князя Константина Павловича и графини Жанетты (Иоанны) Антоновны Грудзинской состоялось 12 мая 1820 г., но объявления о нем не было в течение двух месяцев, хотя слух распространился практически сразу.

[13] *11-го числа у нас играла Варенька еще комедию и мой проверб.* — В этот день в домашнем театре И. М. Д. была премьера двух его пьес: «Вот тебе, бабушка, Юрьев день» и «У семи нянек дитя без глазу». Они не опубликованы.

[14] *Манифест Польше о браке великого князя.* — Высочайший манифест от 8 июля 1820 г. был опубликован только в Царстве Польском, а не в России. В нем объявлялось, что супруге великого князя Константина Павловича и могущим родиться от их брака детям не может быть ни в коем случае передан великокняжеский титул, и повелено было именовать супругу великого князя княгиней Ловицкой или Лович.

[15] *Лондонские соблазнительные происшествии.* — Скандал в британском королевском семействе: королева Каролина Амалия Елизавета, обвиненная в супружеской измене и насильственно удаленная от двора, потребовала судебного разбирательства и выиграла процесс. 11 сентября 1820 г. в № 73 «Московских ведомостей» (с. 1983—1984) опубликовано первое сообщение об этом.

[16] *Государь поехал в Тропау на конгресс.* — 8 (20) октября 1820 г.

[17] *Перевод мой «Агафоклеса» кончен.* — Не опубликован. Автограф хранится в РГАДА. Ф. 1373. Оп. 2. Д. 12. Л. 99—113. Список — в ОРКиР НБ МГУ. 1 Рк 175[12]. Рук. 46.

[18] *Происшествие ямаков в Цареграде.* — В письме из Буюкдерэ (летняя резиденция посольств в 18 верстах от Константинополя) от 1 октября кн. Дмитрий писал: «Толпа *ямаков* или турецких солдат явились перед нашим дворцом и затеяли непорядок. <...> Хотя это маленькое событие не имело никаких последствий, оно наделало нам хлопот...» (см. Письма князя Дмитрия Долгорукова к отцу // Русский архив. 1914 г. Т. 1. № 3. С. 366).

[19] *Смерть меньшой Яньковой.* — София Дмитриевна Янькова умерла 2 октября 1820 г.

[20] *Болезнь сестры моей.* — Очевидно, Прасковьи.

[21] *...написал послание в стихах к Телегину о нынешнем лете...* — «Послание к приятелю» («Уж осень на дворе и снег перепадает...») // *Долгорукий И. М.* Сочинения Долгорукого (князя Ивана Михайловича). Т. 1—2. СПб.: А. Ф. Смирдин, 1849. Т. 2. С. 498—508. Было прочитано на заседании Общества любителей российской словесности 30 апреля 1821 г. П. А. Новиковым.

[22] *Бунт в Семеновском полку.* — Начался в ночь с 16 на 17 октября 1820 г.

[23] *Два дни сряду спектакль у князя Юрия Владимировича в доме...* — 2 и 3 ноября, в дни рождения и именин кн. Ю. В. Долгорукова.

[24] *Зрелище зверей и панорам.* — С 1820 г. в Москве в доме кн. Ю. В. Долгорукова некая г-жа Латур показывала видовые панорамы, время от времени меняя их экспозицию. В «Московских ведомостях» за 25 декабря (№ 103, с. 29) было помещено объявление о начале показа новой экспозиции этих панорам и о том, что содержатель привезенных сюда иностранных зверей показывает их 26 декабря.

1821

[1] *Единоборческий спектакль у Кокошкина «Crispin rival de son maitre»...* — «Криспен, соперник своего хозяина» — комедия Алена Рене Лесажа. Спектакль состоял в двукратном представлении этой пьесы. Один раз главную роль играл Ф. Ф. Кокошкин, другой — А. М. Пушкин. Публика могла сравнить игру двух знаменитых актеров-любителей.

[2] *...я играю там в «Les folies amoureuses»...* — «Шалости влюбленных», комедия Ж.-Ф. Реньяра (1704).

[3] *Странные похождения в Владимире с Меркуловым по выборам.* — В связи с расстроенным материальным состоянием П. К. Меркулов не хотел баллотироваться в предводители дворянства на новый срок, так как эта должность требовала значительных расходов. Однако дворяне губернии его уговорили и после его согласия избрали единогласно на собрании 13 января 1821 г. На том же собрании дворянство решило принести ему в дар 50 тысяч рублей на уплату долгов, сделанных им в прошедшие три года по обязанности его звания. Однако Комитет министров счел это решение дворянства неправомочным (см.: *Фролов Н. В.* Предводители дворянства Владимирской губернии. Владимир, 1995. С. 25—27).

[4] *Наши общества литературные во весь Великий пост.* — Зимой и весной 1821 г. было три заседания Общества любителей российской словесности: 5 февраля, 8 марта и 30 апреля. Кроме того, на второй неделе Великого поста И. М. Д. открыл у себя в доме заседания собственного литературного общества, в котором в числе прочих участвовали С. Т. Аксаков и М. Н. Загоскин. Общество заседало в продолжение всего Великого поста и было возобновлено в Великий пост следующего года.

[5] *Публичные концерты славного флейттраверсиста Drouet.* — Л. Ф. Ф. Друэ, французский придворный флейтист, выступал в Москве в зале Благородного со-

брания трижды: 21 и 31 марта и 3 апреля 1821 г., во всех концертах участвовали также арфа, фортепиано и вокалисты.

[6] *Разные слухи о Цареградских происшествиях.* — Российские газеты сообщали только, что 9 марта 1821 г. вечером в Канцелярии российского посольства в Константинополе был пожар, а 10 марта было заменено правительство Османской империи (см.: «Московские ведомости», №35 (30.04.1821), с. 1049). Но слухи касались, очевидно, начавшегося в Константинополе антихристианского восстания, в ходе которого чуть позже, 10 апреля, в первый день Пасхи, был убит патриарх Константинопольский Григорий V.

[7] *Положение Неаполя и Гишпании.* — В июле 1820 г. в Королевстве Обеих Сицилий (Неаполитанском королевстве) произошла революция, организованная карбонариями, король Фердинанд 6 июля вынужден был удалиться от управления, назначив регентом сына, герцога Франца Георга Калабрского, зятя короля Испании. 7 июля в королевстве была провозглашена конституция по образцу испанской 1812 г., подтвержденной в 1820 г. также в результате революционных событий. Но 23 февраля 1821 г. находящийся за границей Фердинанд выпустил прокламацию, что «австрийская армия, приближающаяся к нашему королевству, должна быть принята не как неприятельская, а как назначенная к утверждению необходимого порядка и к сохранению в Королевстве внутреннего и внешнего мира». 24 февраля с декларацией о вторжении в Неаполь выступила и Австрия. 7 марта произошло первое сражение, закончившееся победой австрийцев. 23 марта австрийские войска вошли в Неаполь. Позднее, 15 мая, Фердинанд торжественно въехал в Неаполь и вновь принял правление («Московские ведомости», № 21 (12.03.1821), с. 628; № 25 (26.03.1821), с. 777; № 27 (02.04.1821), с. 842—846; № 31 (16.04.1821), с. 859; № 34 (27.04.1821), с. 1020—1021; № 49 (18.06.1821), с. 1421). В Испании революция началась 1 января 1820 г. восстанием Риего. 9 марта Фердинанд VII Испанский присягнул Конституции 1812 г., 7 июня 1821 г. кортесы приняли законопроект об отмене сеньориальных прав. 12 марта 1821 г. «Московские ведомости» (№21, с. 627) сообщили о монархических выступлениях в Мадриде 5 февраля и таком же заговоре в Гранаде. О беспорядках в Испании сообщалось и 26 марта («Московские ведомости», №25, с. 775), после чего на несколько месяцев Испания исчезла из международных обзоров газеты.

[8] *Принц Мекленбургский посетил Москву...* — Принц Павел Фридрих Мекленбург-Шверинский прибыл в Москву между 21 и 25 апреля и выехал в Варшаву между 28 апреля и 2 мая.

[9] *...министру просвещения...* — Кн. А. Н. Голицын.

[10] *Павел, сын мой, определен в Бесарабию.* — 3 мая 1821 г., членом Попечительного комитета о иностранных колонистах Южного края России.

[11] *...узнали о скоропостижной смерти генерала Ильина.* — 7 июня 1821 г.

[12] *...дом мой торгует Александр Павлович Офросимов.* — Попытки продать дом И. М. Д. возобновил в июне 1821 г. Объявления были помещены в №№ 44, 45 и 48 «Московских ведомостей» (1, 4 и 15 июня).

[13] *Серафим из Москвы замещает петербургского покойного Михаила. В Москву Филарет, а в Володимир Парфений на место Ксенофонта, отправленного в Каменец.* — Михаил умер 24 марта 1821 г. Серафим был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским 19 июня 1821 г. Филарет был переведен из Ярославской епархии в Московскую 2 июля 1821 г. Парфений, настоятель Донского монастыря и член Московской синодальной конторы, был в июле 1821 г. назначен, а 21 августа хиротонисан во епископа Владимирского и Суздальского. Ксенофонт был переведен архиепископом в Каменец-Подольский 3 июля 1821 г.

[14] *...сыграли моих «Представителей».* — Так в кругу И. М. Д. называли его пьесу «У семи нянек дитя без глазу», высмеивающую представительный образ правления. См.: 1820 г., примеч. 8.

[15] *Смена там всех начальников.* — В 1820 г. были отставлены два Владимирских губернатора: сперва Иван Иванович Юрлов, а затем пробывший на должности совсем недолго Дмитрий Александрович Кавелин. Больше полугода губернатора в губернии не было, и 15 июля 1821 г. был назначен гр. Петр Иванович Апраксин. В 1821 г. во Владимире также сменились: вице-губернатор (Матвея Матвеевича Муромцева сменил Федор Карлович Гебгардт), председатель Гражданской палаты (Платона Евграфовича Языкова — Иван Алексеевич Горяинов) и совестной судья (Василия Федоровича Кудрявцева — Григорий Петрович Всеволожский). Из всех председателей палат на месте остался только председатель Уголовной палаты А. Р. Зузин, который одно время даже исполнял обязанности губернатора.

[16] *Я получил известие, что посольство наше выбралось благополучно в Одессу из Царьграда.* — В июне 1821 г. в Османской империи проходила резня христиан, о чем «Московские ведомости» писали начиная с 17 августа. 27 августа (№ 69, с. 1991) в очередном сообщении из Константинополя говорилось, что «Российское посольство отправилось в Одессу». Кн. Дмитрий в своем письме из Одессы от 3 августа писал отцу, что посольство покинуло Константинополь еще 29 июля и было в Одессе 1 августа (см. Письма князя Дмитрия Долгорукова к отцу // Русский архив. 1914. Т. 1. № 4. С. 481).

[17] *Сын мой Дмитрий посылан был от посла проводить его графиню в Радзивил, и оттуда он пробрался прямо в Питер.* — Послом в Константинополе был в это время двоюродный брат И. М. Д. бар. Г. А. Строганов, «его графиня» — любовница, будущая вторая жена (от первого брака он овдовел только в 1824 г.) гр. Юлия Петровна да Ега. Радзивил — вероятно, Радзивилов, город в Польше.

[18] *Голицын, князя Сергия Михайловича брат, князь Александр скончался в Париже.* — 31 июля 1821 г.

[19] *Сыну Дмитрию дан орден св. Анны третьей степени.* — 5 ноября 1821 г.

[20] *Землетрясение в Кишиневе.* — 5 ноября в четыре часа дня.

[21] *Одно было заседание нашего литературного общества.* — Последнее в 1821 г. заседание Общества любителей российской словесности состоялось 29 ноября.

1822

[1] *Возобновление моего общества словесности Великим постом.* — См.: 1821 г., примеч. 4. Великий пост в 1822 г. начался 12 февраля.

[2] *Болезнь Анисьи Федоровны.* — Вельяминовой.

[3] *Стихи мои на чистый понедельник.* — «Чистый понедельник» (Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. М., 1822. Ч. 2. Сочинения в прозе и стихах. С. 168—172). *Долгорукий И. М.* Сочинения Долгорукого (князя Ивана Михайловича). Т. 1—2. СПб.: А. Ф. Смирдин, 1849. Т. 1. С. 493—497. Стихи были прочитаны на заседании Общества любителей российской словесности Ф. Ф. Кокошкиным 18 марта 1822 г., И. М. Д. при этом не присутствовал.

[4] *Отставка пасынка моего Алексея.* — С должности Подольского уездного надзирателя питейного сбора, которую он занимал в 1820—1822 гг.

[5] *Новиков получил крестик.* — 22 апреля 1822 г. П. А. Новиков был награжден орденом св. Анны 3 степени.

[6] *Назначение сына моего Дмитрия в Рим.* — 28 июня 1822 г., определение к Российской миссии в Риме канцелярским чиновником.

[7] *Новые стишки...* — Возможно, одно из них — «Глас веры», последнее стихотворение И. М. Д., читавшееся в собрании Общества любителей российской словесности.

[8] *Указ о масонах.* — 1 августа 1822 г. рескриптом на имя управляющего Министерством внутренних дел гр. В. П. Кочубея было повелено все тайные общества закрыть и учреждение их впредь не дозволять; взять от воинских и гражданских чинов подписки, что они не принадлежат к таким обществам. Отказавшихся дать такую подписку предполагалось выключать из службы.

[9] *Труппа французских актеров приехала из Питера* — Французская труппа выступала в помещении Императорского театра на Моховой по субботам, как правило, раз в две недели. Первое выступление (из трех одноактных спектаклей) состоялось 30 сентября.

[10] *Государь отправился на конгресс в Верону.* — Александр I выехал из Петербурга 3 августа 1822 г., 26 августа (7 сентября) прибыл в Вену, а 4 (16) октября — в Верону.

[11] *Я получил два письма от Дмитрия из Турина и Флоренции. Проказы его слуги в Вене.* — Письма из Турина от 15 (27) сентября и из Флоренции от 18 (30) сентября. В туринском письме кн. Дмитрий жаловался на неповиновение, пьянство и бесчинства своего лакея Дмитрия, которого пришлось сдать венской полиции. В позднейших письмах он сообщал об обнаруженном у слуги

помешательстве (см. Письма князя Д. И. Долгорукова к отцу // Русский архив. 1914. Т. 2. № 5. С. 15, 17—19, 27; № 6—7. С. 211, 227).

[12] *Ссылка Лабзина и Катенина.* — 13 сентября 1822 г. на выборах почетных любителей Академии Художеств А. Ф. Лабзин выступил против кандидатуры гр. В. П. Кочубея, а в ответ на возражение президента Академии А. Н. Оленина, что Кочубей — лицо, близкое к государю, сказал, что если близость к государю является достаточным основанием для избрания в почетные любители Академии, то он может предложить не менее близкое лицо — лейб-кучера Илью Байкова. Слух об этом быстро разнесся по городу, и 19 сентября генерал-губернатор Санкт-Петербурга гр. М. А. Милорадович просил А. Н. Оленина письменно уведомить его о происшедшем. 20 октября последовал указ об отставке и высылке А. Ф. Лабзина из столицы в г. Сенгилей Симбирской губ. А. Н. Оленину был объявлен строгий выговор за недонесение о случившемся. 13 ноября 1822 г. А. Ф. Лабзин с женой выехал из Петербурга. В мае 1823 г. ему по ходатайству кн. А. Н. Голицына было разрешено переселиться в Симбирск и пожалована пенсия 2000 руб. в год. П. А. Катенин был выслан на родину в Костромскую губ., по распоряжению генерал-губернатора Санкт-Петербурга гр. М. А. Милорадовича, за шиканье актрисе Е. С. Семеновой и провел в этой ссылке десять лет.

[13] *Французские театры продолжаются, и мы ими пользуемся.* — В декабре 1822 г. состоялось три выступления французской труппы: 2, 16 и 30 декабря (в последний день давалась «Женитьба Фигаро» П. О. К. Бомарше).

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГЕРОЯМИ «ПОВЕСТИ...»

Прилагаемая генеалогическая схема призвана отразить связи родства и свойства между лицами, упомянутыми в тексте книги (как собственно «Повести», так и примечаний). Лица, не упомянутые в книге, вносились в нее только в том случае, если это было необходимо для указания на родство (свойство) между упомянутыми лицами. Из императорской фамилии в схему внесен только Петр Великий с обеими его супругами: этого достаточно, чтобы установить родство (свойство) между любым другим членом дома Романовых и внесенным в схему лицом. Родство (свойство) указывается по состоянию на 1823 год (год смерти кн. И. М. Долгорукова): схема не отражает браков, заключенных позднее.

В схеме не соблюдено правило изображения лиц одного поколения на одной высоте, а старших поколений — непременно выше младших (из-за межпоколенческих браков это было бы и невозможно). Но прямые предки всегда расположены выше прямых потомков.

Лица мужского пола обозначены кружками, лица женского пола — квадратиками. Князь И. М. Долгоруков обозначен крупным овалом с надписью «И. М. Д.». Брак обозначается знаком бесконечности: ∞. «Незаконный» союз обозначается таким же знаком, но пунктирным. От знака ∞ отходит линия к детям от этого брака. К «незаконным» детям ведет пунктирная линия. В случаях, когда супруг (супруга) лица в схему не внесен(а), линия к детям этого лица отходит непосредственно от кружка (квадратика), это лицо обозначающего. Старшинство между братьями и сестрами (в тех случаях, когда оно известно) обозначается расположением слева направо отходящих от родителей к детям линий. При пересечении линий одна из них слегка разрывается.

Схема сопровождается двумя указателями, дающими возможность установить лицо по его номеру в схеме и номер в схеме по фамилии, имени и отчеству лица.

Схема не претендует на полноту отражения всех родственных связей, ограничиваясь лишь наиболее близкими.

ЛИЦА, ВНЕСЕННЫЕ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ

1. Долгоруков Владимир Иванович, кн.
2. Долгоруков Тимофей Владимирович, кн.
3. Долгоруков Семен Владимирович, кн.
4. Долгоруков Иван Тимофеевич Рыжко, кн.
5. Долгоруков Михаил Владимирович Птица, кн.
6. Долгоруков Андрей Семенович, кн.
7. Долгоруков Григорий Иванович Черт, кн.
8. Долгоруков Василий Михайлович, кн.
9. Долгоруков Иван Андреевич Шибановский, кн.
10. Долгоруков Алексей Григорьевич, кн.
11. Долгоруков Борис Васильевич, кн.
12. Долгоруков Федор Иванович, кн.
13. Долгоруков Юрий Алексеевич, кн.
14. Долгоруков Дмитрий Алексеевич, кн.
15. Долгоруков Григорий Борисович Роща, кн.
16. Шереметева Федосья Борисовна, урожд. кж. Долгорукова
17. Шереметев Петр Никитич
18. Долгоруков Федор Федорович, кн.
19. Долгоруков Михаил Юрьевич, кн.
20. Долгоруков Владимир Дмитриевич, кн.
21. Шереметев Василий Петрович старший
22. Долгоруков Яков Федорович, кн.
23. Долгоруков Лука Федорович
24. Долгоруков Григорий Федорович, кн.
25. Долгоруков Петр Михайлович, кн.
26. Долгоруков Михаил Владимирович, кн.
27. Шереметев Петр Васильевич старший
28. Долгоруков Василий Лукич, кн.
29. Долгоруков Александр Лукич, кн.
30. Долгоруков Сергей Григорьевич, кн.
31. Долгоруков Иван Григорьевич, кн.
32. Долгоруков Сергей Петрович, кн.
33. Прозоровский Александр Никитич, кн.
34. Долгоруков Владимир Петрович, кн.
35. Милославская Анна Михайловна, урожд. кж. Долгорукова
36. Долгоруков Сергей Михайлович, кн.
37. Зубов Николай Васильевич
38. Долгоруков Александр Михайлович, кн.
39. Долгоруков-Крымский Василий Михайлович, кн.
40. Долгорукова Анастасия Васильевна, кн., урожд. Волынская
41. Мусин-Пушкин Платон Иванович, гр.
42. Шереметев Василий Петрович младший
43. Хилков Юрий Яковлевич, кн.
44. Хилкова Домна Васильевна, кн., урожд. княжна Касимовская (царевна Сибирская)

45. Долгоруков Василий Сергеевич, кн.
46. Вяземская Мария Сергеевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
47. Вяземский Иван Андреевич, кн.
48. Долгоруков Владимир Сергеевич, кн.
49. Долгоруков Николай Сергеевич, кн.
50. Долгорукова Наталия Сергеевна, кн., урожд. Салтыкова
51. Ланской Дмитрий Артемьевич
52. Долгорукова Анна Сергеевна, кж.
53. Долгоруков Петр Сергеевич, кн.
54. Прозоровская Мария Сергеевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
55. Прозоровский Александр Александрович старший, кн.
56. Прозоровский Александр Александрович младший, кн.
57. Прозоровская Анна Михайловна, кн., урожд. кж. Волконская
58. Мелиссино Иван Иванович
59. Мелиссино Прасковья Владимировна, урожд. кж. Долгорукова
60. Черкасская Федосья Львовна, кн., урожд. Милославская
61. Долгоруков Иван Сергеевич, кн.
62. Юматов Иван Иванович
63. Юматова Евфимия Николаевна, урожд. Зубова
64. Зубов Александр Николаевич, с 1793 г. гр.
65. Зубов Василий Николаевич
66. Голицына Екатерина Александровна, кн., урожд. кж. Долгорукова
67. Тюфякина Мария Александровна, кн., урожд. кж. Долгорукова
68. Тюфякин Иван Петрович, кн.
69. Долгоруков Михаил Васильевич, кн.
70. Мусина-Пушкина Прасковья Васильевна, гр., урожд. кж. Долгорукова
71. Мусин-Пушкин Валентин Платонович, гр.
72. Щербатова Анна Васильевна, кн., урожд. Шереметева
73. Щербатов Николай Петрович, кн.
74. Чаадаева Екатерина Юрьевна, урожд. кж. Хилкова
75. Чаадаев Михаил Васильевич
76. Долгоруков Сергей Васильевич, кн.
77. Вяземский Андрей Иванович, кн.
78. Васильев Иван Васильевич
79. Лачинов Петр Александрович
80. Ланская Прасковья Николаевна, урожд. кж. Долгорукова, по 1-у браку Лачинова
81. Ланской Яков Дмитриевич
82. Ланской Александр Дмитриевич
83. Долгоруков Яков Петрович, кн.
84. Долгоруков Петр Петрович, кн.
85. Прозоровский Дмитрий Александрович, кн.
86. Черкасский Дмитрий Михайлович, кн.
87. Долгоруков Василий Иванович, кн.
88. Долгорукова Евдокия Ивановна, кн., урожд. Юматова
89. Хорват Осип Иванович
90. Хорват Анна Александровна, урожд. Зубова
91. Голицын Михаил Петрович, кн.
92. Щербатов Андрей Николаевич, кн.
93. Щербатова Антонина Воиновна, кн., урожд. Яворская
94. Долгорукова Прасковья Юрьевна, кн., урожд. кж. Хилкова
95. Долгоруков Алексей Григорьевич, кн.
96. Голубцова Анна Ивановна, урожд. Васильева
97. Васильева Варвара Сергеевна, с 1797 г. бар., с 1801 г. гр., урожд. кж. Урусова
98. Васильев Алексей Иванович, с 1797 г. бар., с 1801 г. гр.
99. Васильев Федор Иванович
100. Лачинов Петр Петрович
101. Лачинов
102. Ланской Дмитрий Яковлевич
103. Ланской Владимир Яковлевич
104. Долгоруков Александр Яковлевич, кн.
105. Долгоруков Владимир Петрович, кн.
106. Строганов Семен Аникиевич
107. Зубов Николай Александрович, с 1793 г. гр.
108. Зубов Дмитрий Александрович, с 1793 г. гр.
109. Зубов Платон Александрович, с 1793 г. гр., с мая 1796 г. светл. кн.

110. Зубов Валериан Александрович, с 1793 г. гр.
111. Барятинский Сергей Иванович, кн.
112. Щербатов Александр Андреевич, кн.
113. Блудова Анна Андреевна, с 1842 г. гр., урожд. кж. Щербатова
114. Щербатова Дарья Андреевна, кж.
115. Голубцов Федор Александрович
116. Долгорукова Екатерина Алексеевна, кн., урожд. Васильева
117. Долгоруков Сергей Николаевич, кн.
118. Долгоруков Петр Владимирович, до 1861 г. кн.
119. Барятинская Екатерина Петровна, кн., урожд. гц. Голштейн-Бек
120. Барятинский Иван Сергеевич, кн.
121. Строганов Петр Семенович
122. Долгоруков Николай Алексеевич, кн.
123. Долгоруков Алексей Алексеевич старший, кн.
124. Меншиков Даниил
125. Долгорукова Прасковья Кирилловна, кн., урожд. Матюшкина
126. Долгоруков Александр Алексеевич, кн.
127. Мырнова
128. Барятинский Иван Иванович, кн.
129. Строганов Федор Петрович
130. Барятинский Федор Сергеевич, кн.
131. Долгоруков Алексей Николаевич, кн.
132. Долгоруков Александр Николаевич, кн.
133. Меншикова Дарья Михайловна, до 1727 г. светл. кн., урожд. Арсеньева
134. Меншиков Александр Данилович, в 1705—1727 гг. светл. кн.
135. Девиер Антон Мануилович, с 1726 г. гр.
136. Девиер Анна Даниловна, с 1726 г. гр., урожд. Меншикова
137. Долгоруков Александр Александрович, кн.
138. Долгоруков Михаил Александрович, кн.
139. Долгорукова Мария Александровна, кж.
140. Лопухина Анна Александровна, урожд. кж. Долгорукова
141. Рукин А. А.
142. Рукин Павел Александрович
143. Толстой Петр Петрович, гр.
144. Салтыков Алексей Петрович
145. Салтыкова Екатерина Федоровна, урожд. Строганова
146. Долгорукова Екатерина Федоровна, кн., урожд. кж. Барятинская
147. Долгоруков Василий Васильевич, кн.
148. Щербатов Григорий Алексеевич, кн.
149. Щербатова Анастасия Николаевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
150. Долгорукова Варвара Николаевна, кж.
151. Меншикова Мария Александровна, кж.
152. Бирон Александра Александровна, урожд. кж. Меншикова
153. Меншиков Александр Александрович, кн.
154. Девиер Антон Антонович, с 1726 г. гр.
155. Долгоруков Федор Александрович, кн.
156. Николев Николай Петрович
157. Николева Екатерина Александровна, урожд. кж. Долгорукова
158. Толстой Александр Петрович, гр.
159. Салтыкова Анастасия Петровна, урожд. гр. Толстая
160. Салтыков Иван Алексеевич
161. Долгоруков Иван Алексеевич, кн.
162. Меншикова Екатерина Алексеевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
163. Меншиков Петр Александрович, кн.
164. Грузинская Дарья Александровна, кн., урожд. кж. Меншикова
165. Бальмен Елена Антоновна де, гр., урожд. гр. Девиер
166. Бальмен Антон Богданович де, гр.
167. Долгоруков Алексей Алексеевич средний, кн.
168. Толстая Анна Ивановна, гр., урожд. кж. Барятинская
169. Толстой Николай Александрович, гр.
170. Салтыков Николай Иванович, с 1790 г. гр., с 1814 г. светл. кн.

171. Салтыкова Наталия Владимировна, с 1790 г. гр., урожд. кж. Долгорукова
172. Румянцев Александр Иванович, с 1742 г. гр.
173. Долгоруков Владимир Иванович, кн.
174. Долгоруков Павел Иванович, кн.
175. Кошелева Елизавета Петровна, урожд. кж. Меншикова
176. Неелова Елена Петровна, урожд. кж. Меншикова
177. Грузинский Георгий Александрович, кн.
178. Салтыков Сергей Николаевич, с 1790 г. гр., с 1814 г. светл. кн.
179. Салтыкова Екатерина Васильевна, гр., с 1814 г. светл. кн., урожд. кж. Долгорукова
180. Долгоруков Алексей Владимирович, кн.
181. Долгорукова Жозефина, кн.
182. Долгоруков Владимир Павлович, кн.
183. Долгорукова Александра Петровна, кн., урожд. Степанова
184. Горчакова Елена Ивановна, кн., урожд. Кошелева
185. Чарторижская Екатерина Ивановна, урожд. Кошелева, в 1-м браке Иванова
186. Иванов Федор Федорович
187. Толстая Анна Георгиевна, гр., урожд. кж. Грузинская
188. Брюс Наталия Федоровна, гр., урожд. Колычева
189. Брюс Александр Романович, с 1740 г. гр.
190. Брюс Анастасия Михайловна, с 1740 г. гр., урожд. кж. Долгорукова
191. Брюс Екатерина Алексеевна, гр., урожд. кж. Долгорукова
192. Шереметева Евдокия Алексеевна, урожд. Чирикова
193. Шереметев Борис Петрович, с 1706 г. гр.
194. Шереметева Анна Петровна, гр., урожд. Салтыкова, в 1-м браке Нарышкина
195. Брюс Яков Александрович, с 1740 г. гр.
196. Брюс Прасковья Александровна, гр., урожд. Румянцева, с 1744 г. гр.
197. Шереметев Петр Борисович, гр.
198. Шереметева Варвара Алексеевна, гр., урожд. кж. Черкасская
199. Шереметев Сергей Борисович, гр.
200. Лопухин Федор (Илларион) Авраамович
201. Урусова Екатерина Борисовна, кн., урожд. гр. Шереметева
202. Мусина-Пушкина Анна Ивановна, гр., урожд. Салтыкова
203. Бекетов Афанасий Алексеевич
204. Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович, гр. (до 1797 г. гр. Мусин-Пушкин)
205. Мусина-Пушкина-Брюс Екатерина Александровна, гр., до 1797 г. гр. Мусина-Пушкина, урожд. гр. Брюс
206. Голицын Михаил Андреевич, кн.
207. Шереметев Николай Петрович, гр.
208. Шереметева Прасковья Ивановна, гр., урожд. Ковалева, по позднейшим документам Ковалевская, по сцене Жемчугова
209. Лопухин Авраам Федорович
210. Куракина Ксения Федоровна, кн., урожд. Лопухина
211. Куракин Борис Иванович, кн.
212. Коновницына Наталия Михайловна, урожд. Мусина-Пушкина
213. Мусин-Пушкин Николай Михайлович
214. Бекетов Петр Афанасьевич
215. Дмитриева Екатерина Афанасьевна, урожд. Бекетова
216. Дмитриев Иван Гаврилович
217. Шереметев Дмитрий Николаевич, гр.
218. Лопухина Вера Борисовна, урожд. гр. Шереметева
219. Лопухин Федор-Авраам Авраамович
220. Балашова Наталия Антипатровна, урожд. Коновницына
221. Балашов Александр Дмитриевич
222. Балашова Елена Петровна, урожд. Бекетова
223. Бекетов Иван Петрович
224. Дмитриев Александр Иванович
225. Дмитриев Иван Иванович

226. Голицын Михаил Михайлович старший, кн.
227. Голицына Татьяна Борисовна, кн., урожд. кж. Куракина
228. Бекетов Дмитрий Иванович
229. Дмитриев Михаил Александрович
230. Голицын Александр Михайлович, кн.
231. Голицын Дмитрий Михайлович, кн.
232. Новосильцев Яков Захарович
233. Яньков Даниил Иванович
234. Янькова Анна Ивановна, урожд. Дмитриева
235. Новосильцев Алексей Яковлевич
236. Трубецкой Юрий Петрович, кн.
237. Голицын Андрей Михайлович, кн.
238. Щербатова Мария Федоровна, кн., урожд. кж. Голицына
239. Щербатов Павел Николаевич, кн.
240. Щербатова Анастасия Сергеевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
241. Приклонский Иван Михайлович
242. Приклонская Ольга Даниловна, урожд. Янькова
243. Татищев Иван Федорович
244. Татищева Степанида Алексеевна, урожд. Новосильцева
245. Румянцева-Задунайская Екатерина Михайловна, гр., урожд. кж. Голицына
246. Румянцев-Задунайский Петр Александрович, с 1744 г. гр.
247. Голицын Николай Михайлович, кн.
248. Трубецкой Иван Юрьевич, кн.
249. Поликарпова Елизавета Павловна, урожд. кж. Щербатова
250. Поликарпов Александр Васильевич
251. Приклонский Дмитрий Иванович
252. Яньков Александр Данилович
253. Янькова Анна Ивановна, урожд. Татищева
254. Соковнина Дарья Алексеевна, урожд. Новосильцева
255. Соковнин Петр Алексеевич
256. Строганов Андрей Семенович
257. Румянцев Николай Петрович, гр.
258. Меншиков Сергей Александрович, кн.
259. Меншикова Екатерина Николаевна, кн., урожд. кж. Голицына
260. Мусина-Пушкина Анна Николаевна, гр., урожд. кж. Голицына
261. Мусин-Пушкин Аполлос Аполлосович, гр.
262. Бецкой Иван Иванович
263. Трубецкая Елена Горигорьевна, кн., урожд. кж. Черкасская
264. Трубецкой Юрий Юрьевич, кн.
265. Трубецкая Ольга Ивановна, кн., урожд. Головина
266. Янькова Анна Александровна
267. Яньков Дмитрий Александрович
268. Янькова Елизавета Петровна, урожд. Римская-Корсакова
269. Яньков Николай Александрович
270. Янькова Федосья Андреевна, урожд. Зыбина
271. Соковнин Сергей Петрович
272. Строганов Дмитрий Андреевич
273. Трубецкая Анастасия Гавриловна, кн., урожд. Головина
274. Трубецкой Никита Юрьевич, кн.
275. Трубецкая Анна Даниловна, кн., урожд. кж. Друцкая, в 1-м браке Хераскова
276. Херасков Матвей Андреевич
277. Трубецкой Иван Юрьевич, кн.
278. Мансуров Александр Яковлевич
279. Трубецкой Дмитрий Юрьевич, кн.
280. Янькова Клеопатра Александровна
281. Янькова София Дмитриевна
282. Яньков Александр Николаевич
283. Яньков Андрей Николаевич
284. Яньков Харлампий Николаевич
285. Скавронский Самуил
286. Строганова Мария Яковлевна, урожд. Новосильцева
287. Строганов Григорий Дмитриевич
288. Трубецкой Сергей Никитич, кн.
289. Херасков Михаил Матвеевич
290. Евдокия Федоровна, царица, урожд. Лопухина
291. Петр I
292. Екатерина I, урожд. Марта Скавронская

293. Скавронский Карл Самуилович
294. Трубецкой Петр Никитич, кн.
295. Трубецкая Дарья Александровна, кн., урожд. кж. Грузинская
296. Трубецкой Петр Сергеевич, кн.
297. Ржевский Иван Иванович старший
298. Трубецкой Юрий Никитич, кн.
299. Трубецкая Дарья Александровна, кн., урожд. Румянцева, с 1744 г. гр., в 1-м браке гр. Вальдштейн
300. Трубецкой Николай Никитич, кн.
301. Трубецкая Варвара Александровна, кн., урожд. кж. Черкасская
302. Трубецкой Николай Иванович, кн.
303. Волконский Петр Михайлович, кн.
304. Волконская Агриппина Ивановна, кн., урожд. кж. Трубецкая
305. Трубецкой Алексей Юрьевич, кн.
306. Мансуров Борис Александрович
307. Мансуров Павел Александрович
308. Трубецкая Екатерина Александровна, кн., урожд. Мансурова
309. Трубецкой Иван Дмитриевич, кн.
310. Суворов Василий Иванович
311. Ефимовская Анна Самуиловна, урожд. Скавронская
312. Трубецкой Сергей Петрович, до 1826 г. кн.
313. Ржевский Тимофей Иванович
314. Ржевский Иван Иванович младший
315. Трубецкой Александр Юрьевич, кн.
316. Броглио Анна Петровна, гр., урожд. Левашова, в 1-м браке кн. Трубецкая
317. Кологривова Прасковья Юрьевна, урожд. кж. Трубецкая, в 1-м браке кн. Гагарина
318. Трубецкой Петр Николаевич, кн.
319. Вяземский Александр Алексеевич, кн.
320. Вяземская Елена Никитична, кн., урожд. кж. Трубецкая
321. Муханов Илья Ипатович
322. Измайлова Мария Петровна, урожд. кж. Волконская
323. Уварова Елизавета Петровна, урожд. кж. Волконская
324. Трубецкой Сергей Алексеевич, кн.
325. Лопухина Анна Федоровна, урожд. Лопухина
326. Заборовский Александр
327. Суворов Александр Васильевич, с 1789 г. гр. Рымникский, с 1799 г. кн. Италийский
328. Сапега Петр Янович, гр.
329. Сапега София Карловна, гр., урожд. Скавронская
330. Строганов Сергей Григорьевич, с 1722 г. бар.
331. Ржевский Василий Тимофеевич
332. Чернышева Евдокия Ивановна, с 1742 г. гр., урожд. Ржевская
333. Чернышев Григорий Петрович, с 1742 г. гр.
334. Муханов Иван Ильич
335. Волконский Михаил Петрович, кн.
336. Волконская Варвара Петровна, кж.
337. Лопухин Николай Ардалионович
338. Лопухина София Адриановна, урожд. Лопухина
339. Дурова Вера Александровна, урожд. Заборовская
340. Дуров Дмитрий Петрович
341. Заборовский Иван Александрович
342. Заборовская Елизавета Федоровна, урожд. Лопухина
343. Бутурлина Екатерина Борисовна, с 1760 г. гр., урожд. кж. Куракина
344. Горчакова Анна Васильевна, кн., урожд. Суворова
345. Горчаков Иван Романович, кн.
346. Строганов Александр Сергеевич, бар., с 1761 г. гр.
347. Строганова Екатерина Петровна, гр., урожд. кж. Трубецкая
348. Ржевский Матвей Васильевич
349. Каменский Федот Михайлович
350. Чернышев Петр Григорьевич, с 1742 г. гр.
351. Муханов Алексей Ильич
352. Муханова Варвара Николаевна, урожд. кж. Трубецкая
353. Друцкой Андрей Даниилович, кн.

354. Друцкая Варвара Ивановна, кн., урожд. кж. Трубецкая
355. Салтыков Петр Семенович, с 1733 г. гр.
356. Салтыкова Прасковья Юрьевна, гр., урожд. кж. Трубецкая
357. Хитрово Екатерина Николаевна, урожд. Лопухина
358. Хитрово Никанор Никанорович
359. Бибиков Илья Александрович
360. Ушакова Феодора Федоровна, урожд. Лопухина
361. Ушаков Лука Федорович
362. Долгорукова Екатерина Александровна, кн., урожд. Бутурлина (с 1760 г. гр.)
363. Долгоруков Юрий Владимирович, кн.
364. Бутурлин Иван Самсонович
365. Ржевская Прасковья Григорьевна, урожд. кж. Мещерская
366. Ржевский Павел Матвеевич
367. Ржевская Елена Николаевна, урожд. кж. Долгорукова
368. Брылкина Мария Федотовна, урожд. Каменская
369. Трубецкая Дарья Матвеевна, кн., урожд. Ржевская
370. Трубецкой Александр Никитич, кн.
371. Салтыкова Дарья Петровна, гр., урожд. Чернышева, с 1742 г. гр.
372. Салтыков Иван Петрович, гр.
373. Шувалов Максим Иванович
374. Сафонов
375. Сафонова Надежда Николаевна, урожд. Лопухина
376. Голенищев-Кутузов Иван Логинович
377. Голенищева-Кутузова Евдокия Ильинична, урожд. Бибикова
378. Толстая Наталия Федоровна, урожд. Лопухина
379. Толстой Федор Матвеевич
380. Ушаков Федор Лукич
381. Долгоруков Василий Юрьевич, кн.
382. Хвостов Дмитрий Иванович, с 1799 г. гр.
383. Хвостова Агриппина Ивановна, урожд. кж. Горчакова
384. Строганов Николай Григорьевич, с 1722 г. бар.
385. Строганова Прасковья Ивановна, бар., урожд. Бутурлина
386. Бутурлин Дмитрий Иванович
387. Каменский Михаил Федотович, с 1797 г. гр.
388. Каменская Анна Павловна, с 1797 г. гр., урожд. кж. Щербатова
389. Чернышев Захар Григорьевич, с 1742 г. гр.
390. Чернышева Анна Родионовна, гр., урожд. фон Ведель
391. Чернышев Иван Григорьевич, с 1742 г. гр.
392. Вадковский Федор Иванович
393. Шувалов Иван Максимович старший
394. Шувалов Иван Максимович младший
395. Апраксин Степан Федорович
396. Голенищева-Кутузова Елена Ивановна, урожд. кж. Долгорукова
397. Голенищев-Кутузов Павел Иванович
398. Голенищева-Кутузова Екатерина Ильинична, с 1811 г. гр., с 1812 г. светл. кн. Смоленская, урожд. Бибикова
399. Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович, с 1811 г. гр., с 1812 г. светл. кн. Смоленский
400. Любавская Агриппина Федоровна
401. Панин Иван Васильевич
402. Панина Агриппина Васильевна, урожд. Эверлакова
403. Горчакова Варвара Юрьевна, кн., урожд. кж. Долгорукова
404. Горчаков Алексей Иванович, кн.
405. Дмитриев-Мамонов Василий Афанасьевич
406. Бутурлин Михаил Дмитриевич
407. Строганова София (Наталия) Александровна, гр.
408. Ржевский Григорий Павлович
409. Ржевская Мария Михайловна, урожд. Каменская
410. Каменский Николай Михайлович, с 1797 г. гр.
411. Чернышев Григорий Иванович, гр.

412. Плещеева Анна Ивановна, урожд. гр. Чернышева
413. Плещеев Александр Алексеевич
414. Вадковская Екатерина Ивановна, урожд. гр. Чернышева
415. Вадковский Федор Федорович
416. Шувалов Петр Иванович, с 1746 г. гр.
417. Шувалов Иван Иванович
418. Талызина Мария Степановна, урожд. Апраксина
419. Талызин Александр Федорович
420. Апраксин Степан Степанович
421. Толстая Прасковья Михайловна, урожд. Голенищева-Кутузова
422. Толстой Матвей Федорович
423. Куракин Александр Борисович старший, кн.
424. Куракина Александра Ивановна, кн., урожд. Панина
425. Фонвизин Иван Андреевич
426. Фонвизина Екатерина Васильевна, урожд. Дмитриева-Мамонова
427. Боборыкин Иван Герасимович
428. Бутурлин Петр Михайлович
429. Строганов Павел Александрович, гр.
430. Строганова София Владимировна, гр., урожд. кж. Голицына
431. Загряжский Артемий Григорьевич
432. Каменский Сергей Михайлович, с 1797 г. гр.
433. Мятлева Прасковья Ивановна, урожд. гр. Салтыкова
434. Мятлев Петр Васильевич
435. Орлов Григорий Иванович
436. Салтыков Петр Иванович, гр.
437. Шувалова Екатерина Петровна, гр., урожд. гр. Салтыкова
438. Шувалов Андрей Петрович, с 1746 г. гр.
439. Куракина Елена Степановна, кн., урожд. Апраксина
440. Куракин Борис-Леонтий Александрович, кн.
441. Обрескова Екатерина Александровна, урожд. Талызина
442. Гедеонов Михаил Яковлевич
443. Шишкина Татьяна Александровна, урожд. Талызина, в 1-м браке Гедеонова
444. Лобанова-Ростовская Екатерина Александровна, кн., урожд. кж. Куракина
445. Опочинина Татьяна Федоровна
446. Панин Никита Иванович, с 1767 г. гр.
447. Фонвизин Денис Иванович
448. Боборыкин Петр Иванович
449. Бутурлин Михаил Петрович
450. Бутурлина Анна Петровна, урожд. кж. Щербатова
451. Толстой Павел Львович
452. Толстая Мария Петровна, урожд. Бутурлина
453. Майлевская Александра Петровна, урожд. Бутурлина
454. Дохтурова Наталия Петровна, урожд. Бутурлина
455. Орлов Владимир Григорьевич, с 1762 г. гр.
456. Голицына Прасковья Андреевна, кн., урожд. гр. Шувалова
457. Голицын Михаил Андреевич, кн.
458. Куракин Александр Борисович младший, кн.
459. Куракин Алексей Борисович, кн.
460. Голицына Анна Александровна, кн., урожд. кж. Грузинская, в 1-м браке де-Лицына
461. Голицын Борис Андреевич, кн.
462. Нарышкин Петр Петрович старший
463. Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович, кн.
464. Красно-Милашевичева Елизавета Николаевна, урожд. Опочинина
465. Панин Петр Иванович, с 1767 г. гр.
466. Дмитриев-Мамонов Матвей Васильевич
467. Дмитриева-Мамонова Анна Ивановна, урожд. Боборыкина
468. Строганова Елена Васильевна, бар., урожд. Дмитриева-Мамонова
469. Строганов Александр Григорьевич, с 1722 г. бар.

470. Строганова Мария Артемьевна, бар., урожд. Загряжская, в 1-м браке Исленьева
471. Куракин Борис Алексеевич, кн.
472. Куракина Елизавета Борисовна, кн., урожд. кж. Голицына
473. Куракин Степан Борисович, кн.
474. Куракина Наталия Петровна, кн., урожд. Нарышкина
475. Нарышкин Петр Петрович
476. Нарышкина Екатерина Николаевна, урожд. Опочинина
477. Панин Никита Петрович, гр.
478. Дмитриева-Мамонова Дарья Федоровна, гр., урожд. кж. Щербатова
479. Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич, с 1787 г. гр.
480. Шаховская Варвара Александровна, кн., урожд. бар. Строганова
481. Строганов Григорий Николаевич, бар.
482. Строганова Александра Борисовна, бар., урожд. кж. Голицына
483. Ржевский Степан Матвеевич
484. Ржевская София Николаевна, урожд. бар. Строганова
485. Загряжский Александр Артемьевич
486. Орлов Григорий Григорьевич, с 1762 г. гр., с 1763 г. кн.
487. Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич, с 1762 г. гр.
488. Орлов Иван Григорьевич, с 1762 г. гр.
489. Орлов Федор Григорьевич, с 1762 г. гр.
490. Орлов Григорий Владимирович, гр.
491. Орлова Анна Ивановна, гр., урожд. гр. Салтыкова
492. Нектария, в миру кн. Долгорукова Наталия Борисовна, урожд. гр. Шереметева
493. Долгоруков Иван Алексеевич, кн.
494. Ефимовский Иван Михайлович, с 1742 г. гр.
495. Ягужинский Павел Иванович, с 1731 гр.
496. Скавронский Мартын Карлович, с 1727 г. гр.
497. Скавронская Мария Николаевна, гр., урожд. бар. Строганова
498. Строганова Елизавета Александровна, бар., урожд. Загряжская
499. Строганов Александр (Захар) Николаевич, бар.
500. Голицын Михаил Михайлович младший, кн.
501. Долгоруков Дмитрий Иванович старший, кн.
502. Ефимовская Мария Павловна, гр., урожд. гр. Ягужинская
503. Потемкин Александр Васильевич
504. Белосельский Михаил Андреевич, кн.
505. Нарышкина Екатерина Александровна, урожд. бар. Строганова
506. Нарышкин Иван Александрович
507. Строганова Анна Сергеевна, бар., урожд. кж. Трубецкая
508. Строганов Григорий Александрович, бар., с 1826 г. гр.
509. Строганова Юлия Петровна, гр., урожд. д'Альмейда-Оейнгаузен, в 1-м браке гр. да Ега
510. Демидова Елизавета Александровна, урожд. бар. Строганова
511. Демидов Николай Никитич
512. Ефимовский Андрей Михайлович, с 1742 г. гр.
513. Ефимовская Степанида Никоновна, гр.
514. Нарышкин Алексей Иванович
515. Демидов Павел Николаевич
516. Ермолов Леонтий Петрович
517. Голицына Анна Александровна, кн., урожд. бар. Строганова
518. Голицын Михаил Михайлович, кн.
519. Долгорукова Анна Михайловна, кн., урожд. кж. Голицына
520. Долгоруков Борис Иванович
521. Миних Анна Андреевна, гр., урожд. гр. Ефимовская
522. Ефимовская Екатерина Андреевна, гр.
523. Ефимовская Анна Афанасьевна, гр., урожд. кж. Грузинская
524. Энгельгардт Марфа Александровна, урожд. Потемкина
525. Энгельгардт Василий Андреевич

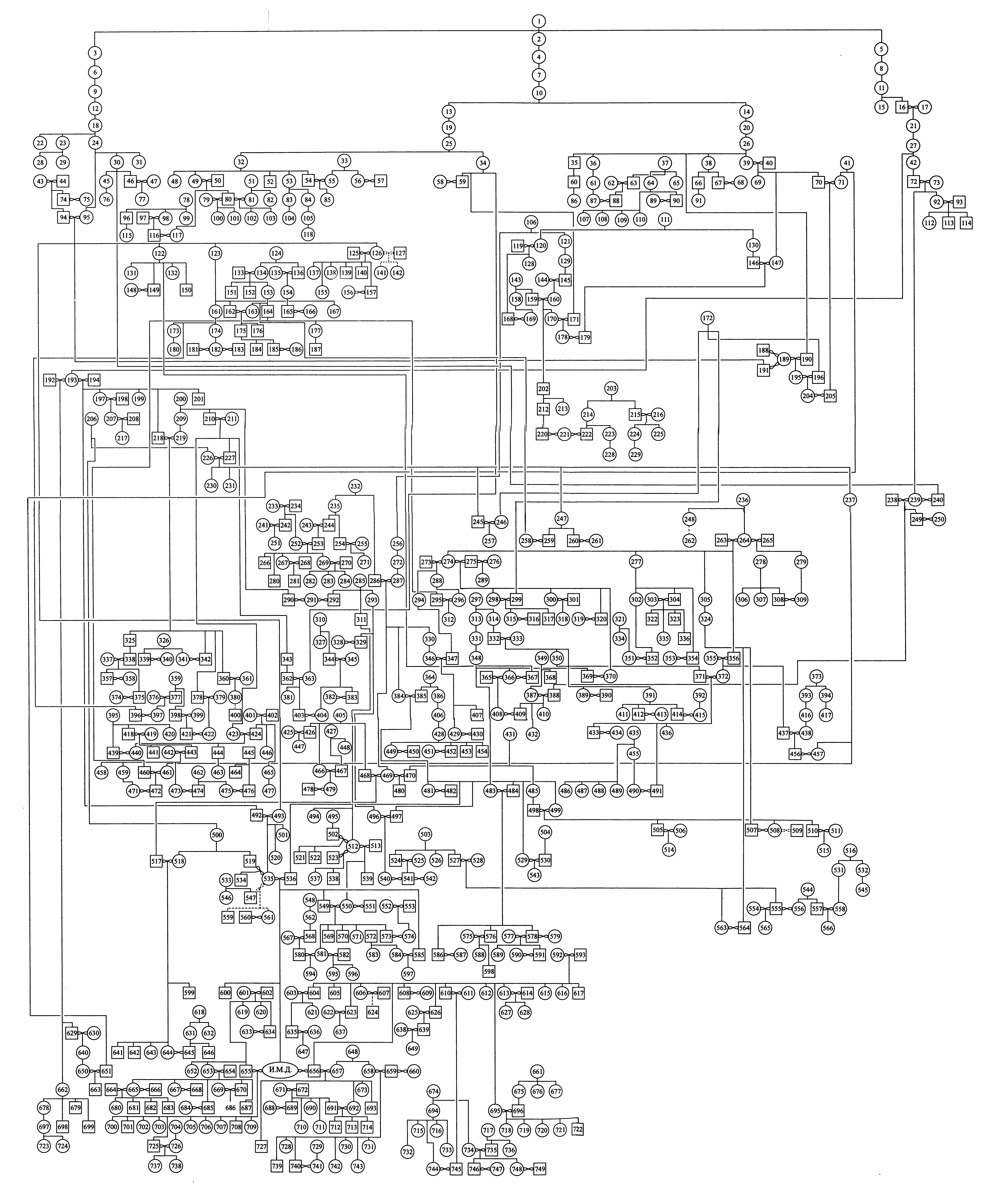
526. Потемкин Григорий Александрович, с 1774 г. гр., с 1776 г. светл. кн., с 1783 г. светл. кн. Таврический
527. Самойлова Мария Александровна, урожд. Потемкина
528. Самойлов Николай Борисович
529. Строганов Сергей Николаевич, бар.
530. Строганова Наталия Михайловна, бар., урожд. кж. Белосельская
531. Ермолов Алексей Леонтьевич
532. Ермолов Петр Леонтьевич
533. Похвиснев Любим
534. Долгорукова Наталия Михайловна, кж.
535. Долгоруков Михаил Иванович старший, кн.
536. Долгорукова Анна Николаевна, кн., урожд. бар. Строганова
537. Ефимовский Павел Андреевич, гр.
538. Черкасская Наталия Андреевна, кн., урожд. гр. Ефимовская
539. Ефимовская Мария (Елизавета) Андреевна, гр.
540. Скавронский Павел Мартынович, гр.
541. Литта (Литт) Екатерина Васильевна, гр., урожд. Энгельгардт, в 1-м браке гр. Скавронская
542. Литта Юлий Помпеевич (Джулио Ренато) де, гр.
543. Строганов Александр Сергеевич, бар.
544. Давыдов Денис Васильевич
545. Ермолов Александр Петрович
546. Похвиснев Михаил Любимович
547. Похвиснева Аксинья (Ксения) Любимовна
548. Бобровский Иван
549. Ефимовская Анна Михайловна, гр., урожд. кж. Долгорукова
550. Ефимовский Петр Андреевич, гр.
551. Ефимовская Агриппина Федоровна, гр., урожд. Скарятина
552. Муравьев Петр Семенович
553. Муравьева Евдокия Андреевна, урожд. кж. Голицына
554. Раевский Николай Семенович
555. Давыдова Екатерина Николаевна, урожд. Самойлова, в 1-м браке Раевская
556. Давыдов Лев Денисович
557. Ермолова Мария Денисовна, урожд. Давыдова, в 1-м браке Каховская
558. Ермолов Петр Алексеевич
559. Богданова Анна Михайловна
560. Богданова Клавдия Гавриловна, в 1-м браке Н.....
561. Богданов Григорий Михайлович
562. Бобровский Гавриил Иванович
563. Самойлов Александр Николаевич, с 1793 г. гр.
564. Самойлова Екатерина Сергеевна, с 1793 г. гр., урожд. кж. Трубецкая
565. Раевский Николай Николаевич
566. Ермолов Алексей Петрович
567. Хитрово Сосипатр Николаевич
568. Хитрово, урожд. Бобровская
569. Ефимовская Анна Петровна, гр.
570. Ефимовская Елизавета Петровна, гр.
571. Ефимовский Михаил Петрович, гр.
572. Селецкая Ульяна Васильевна, урожд. Лизогуб
573. Муравьева Екатерина Петровна, урожд. гр. Ефимовская
574. Муравьев Семен Петрович
575. Татищев Алексей Евграфович
576. Татищева Мария Степановна, урожд. Ржевская
577. Кологривов Иван Сергеевич
578. Урусова Прасковья Степановна, кн., урожд. Ржевская, в 1-м браке Кологривова
579. Урусов Никита Сергеевич, кн.
580. Ефимовская Серафима Сосипатровна, гр., урожд. Хитрово
581. Ефимовский Андрей Петрович, гр.
582. Ефимовская Надежда Петровна, гр., урожд. Палицына
583. Селецкий Петр Лаврентьевич
584. Селецкий Василий Лаврентьевич
585. Селецкая Елизавета Михайловна, урожд. кж. Долгорукова
586. Голицына Феодосия Степановна, кн., урожд. Ржевская
587. Голицын Михаил Николаевич, кн.
588. Татищев Николай Алексеевич

589. Кологривов Степан Иванович
590. Филатьев Владимир Иванович
591. Филатьева София Ивановна, урожд. Кологривова
592. Безобразов Алексей Григорьевич старший
593. Безобразова Мария Яковлевна, урожд. Засецкая
594. Ефимовский Николай Андреевич, гр.
595. Ефимовский Петр Андреевич, гр.
596. Ефимовский Борис Андреевич, гр.
597. Селецкий Михаил Васильевич
598. Арсеньева Анна Алексеевна, урожд. Татищева
599. Голицына Елена Михайловна, кж.
600. Долгорукова Прасковья Михайловна, кж.
601. Смирнов Сергей Максимович
602. Смирнова Евдокия Сергеевна
603. Телегин Петр Сергеевич
604. Телегина Екатерина Алексеевна, урожд. Безобразова
605. Безобразова Анастасия Алексеевна
606. Безобразов Дмитрий Алексеевич
607. Безобразова Любовь Ивановна, в 1-м браке Ваксель
608. Владыкина Евдокия Алексеевна, урожд. Безобразова
609. Владыкин Василий Михайлович
610. Нестерова Надежда Алексеевна, урожд. Безобразова
611. Нестеров Василий Петрович
612. Безобразов Николай Алексеевич
613. Безобразов Сергей Алексеевич
614. Безобразова Устинья Яковлевна
615. Безобразов Иван Алексеевич
616. Безобразов Петр Алексеевич
617. Безобразова Анна Алексеевна
618. Измайлов Михаил Петрович
619. Смирнов Федор Сергеевич
620. Смирнов Артемий Сергеевич
621. Телегин Михаил Петрович
622. Апраксин Федор Матвеевич, гр.
623. Апраксина Елизавета Алексеевна, гр., урожд. Безобразова
624. Ваксель Ольга (Элеонора) Васильевна
625. Кузьмин-Караваев Дмитрий Петрович
626. Кузьмина-Караваева Варвара Алексеевна, урожд. Безобразова
627. Безобразов Петр Сергеевич
628. Безобразов Иван Сергеевич
629. Головина Анна Борисовна, гр., урожд. Шереметева
630. Головин Иван Федорович
631. Измайлов Иван Михайлович
632. Измайлов Михаил Михайлович
633. Алферов Филипп
634. Алферова Надежда Сергеевна, урожд. Смирнова
635. Рахманова Степанида Петровна, урожд. Телегина
636. Рахманов Павел Александрович
637. Апраксин Степан Федорович, гр.
638. Хметевский Андрей Петрович
639. Хметевская Мария Дмитриевна, урожд. Кузьмина-Караваева
640. Головин Федор Иванович, гр.
641. Голицына Екатерина Михайловна, кж.
642. Голицына Анастасия Михайловна, кж.
643. Голицын Александр Михайлович, кн.
644. Голицын Сергей Михайлович, кн.
645. Голицына Евдокия Ивановна, кн., урожд. Измайлова
646. Воронцова Ирина Ивановна, урожд. Измайлова
647. Рахманов Александр Павлович
648. Пожарский Филипп Евдокимович
649. Хметевский
650. Головин Сергей Федорович, гр.
651. Головина Клеопатра Платоновна, гр., урожд. гр. Мусина-Пушкина
652. Смирнов Александр Сергеевич
653. Смирнов Савва Сергеевич
654. Смирнова Мария Петровна, урожд. Леонтьева
655. Долгорукова Евгения Сергеевна, кн., урожд. Смирнова
656. Долгорукова Агриппина Алексеевна, кн., урожд. Безобразова, в 1-м браке Пожарская
657. Пожарский Александр Филиппович
658. Пожарский Иван Филиппович

659. Траубе Анна Васильевна, урожд. Рахманова, в 1-м браке Пожарская
660. Траубе Федор Петрович
661. Прокудин Иван Иванович
662. Шереметев Михаил Борисович, с 1706 г. гр.
663. Шаховская Елизавета Сергеевна, кн., урожд. гр. Головина
664. Смирнова Надежда Сергеевна, урожд. Дубовицкая
665. Смирнов Владимир Саввич
666. Смирнова Елизавета Алексеевна, урожд. кж. Кулунчакова
667. Смирнов Петр Саввич
668. Смирнова Елизавета Яковлевна, урожд. Тихменева
669. Лебле
670. Грен Евгения Саввична, урожд. Смирнова, в 1-м браке Лебле
671. Карякин Николай Сергеевич
672. Карякина Наталия Федоровна (Гавриловна?), урожд. Тюменева
673. Пожарский Филипп Александрович
674. Кашинцев Никанор Перфильевич
675. Прокудин-Горский Михаил Иванович
676. Прокудин Петр Иванович
677. Прокудин Неофит Иванович
678. Шереметев Алексей Михайлович, с 1706 г. гр.
679. Апраксина Александра Михайловна, гр., урожд. гр. Шереметева
680. Смирнов Николай Владимирович
681. Шипова Екатерина Владимировна, урожд. Смирнова
682. Штурм Елизавета Владимировна, урожд. Смирнова
683. Чулкова Анна Владимировна, урожд. Смирнова
684. Зеленецкий Александр Васильевич
685. Зеленецкая Варвара Саввична, урожд. Смирнова
686. Лебле
687. Смирнова Юлия Саввична
688. Купреянов Николай Александрович
689. Купреянова Анна Николаевна, урожд. Карякина
690. Карякин Гавриил Николаевич
691. Пожарская Любовь Николаевна, урожд. Карякина
692. Пожарский Алексей Александрович
693. Пожарская Елена Александровна
694. Кашинцев Сергей Никанорович
695. Безобразов Григорий Алексеевич
696. Безобразова Прасковья Михайловна, урожд. Прокудина-Горская
697. Шереметев Сергей Алексеевич, гр.
698. Долгорукова Марфа Михайловна, кн., урожд. Шереметева (с 1706 г. гр.)
699. Салтыкова Екатерина Михайловна, урожд. гр. Шереметева
700. Долгоруков Павел Иванович, кн.
701. Долгорукова Мария Ивановна, кж.
702. Долгоруков Михаил Иванович младший, кн.
703. Долгоруков Александр Иванович, кн.
704. Новиков Александр Борисович
705. Долгоруков Петр Иванович, кн.
706. Долгоруков Дмитрий Иванович младший, кн.
707. Долгоруков Рафаил Иванович, кн.
708. Долгорукова Наталия (Евгения) Ивановна, кж.
709. Долгоруков Рафаил (Михаил) Иванович, кн.
710. Карякин Никанор Николаевич
711. Карякин Михаил Николаевич
712. Малышева Наталия Алексеевна, урожд. Пожарская
713. Мыльникова Агриппина Алексеевна, урожд. Пожарская
714. Пожарская Варвара Алексеевна
715. Кашинцев Александр Сергеевич
716. Кашинцев Никанор Сергеевич
717. Супонев Николай Авдиевич
718. Безобразов Алексей Григорьевич младший
719. Безобразов Дмитрий Григорьевич
720. Безобразов Михаил Григорьевич
721. Безобразов Иван Григорьевич
722. Безобразова Агриппина (Аграфена) Григорьевна
723. Шереметев Михаил Сергеевич, гр.

724. Шереметев Алексей Сергеевич, гр.
725. Новикова Антонина (Варвара) Ивановна, урожд. кж. Долгорукова
726. Новиков Петр Александрович
727. Пожарская Мария Александровна
728. Пожарский Василий Иванович
729. Феттер Андрей
730. Пожарский Филипп Иванович
731. Пожарский Капитон Иванович
732. Кашинцев Иван Сергеевич
733. Кашинцев Перфилий Сергеевич
734. Кашинцев Андрей Никанорович
735. Кашинцева Наталия Николаевна, урожд. Супонева
736. Супонев Авдий Николаевич
737. Новиков Александр Петрович
738. Новиков Михаил Петрович
739. Щелкан Анастасия Ивановна, урожд. Пожарская
740. Феттер Александра Ивановна, урожд. Пожарская
741. Феттер Иван Андреевич
742. Пожарская Прасковья Ивановна
743. Пожарский Николай Иванович
744. Кашинцев Евлампий Сергеевич
745. Кашинцева Надежда Васильевна, урожд. Нестерова
746. Сонн (Зон) Екатерина Андреевна, урожд. Кашинцева
747. Сонн (Зон) Георгий Карлович
748. Кашинцев Николай Андреевич
749. Кашинцева Евдокия Владимировна, урожд. Бахметева

ЛИЦА, ВНЕСЕННЫЕ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ


И.М.Д.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В указатель внесены все лица, упоминаемые в тексте «Повести...», примечаниях к ней и статьях. Лица, упомянутые только на с. 557—588, в указатель не внесены. В указатель также не внесены литературные, мифологические и библейские персонажи. Духовные лица, члены царствующих и владетельных домов и лица, чьи фамилии не известны, указаны по именам, остальные — по фамилиям. Справки о людях, менявших фамилию, даны при последней фамилии. Объем справки о лице определяется задачами интерпретации текста. Годы рождения или смерти, написанные через косую черту, означают, что по старому стилю событие пришлось на один год, а по новому — на другой. Все прочие даты до 1918 г. даны по старому стилю, если не оговорено иное. Вопросительный знак в скобках после номера страницы означает, что упоминание лица на данной странице предположительно.

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рождения моего...

Научное издание

Князь И. М. ДОЛГОРУКОВ

ПОВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ...

Том 2

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *Н. А. Никитина*
Художник *Л. А. Яценко*
Технические редакторы *Е. И. Егорова, О. В. Новикова*
Корректоры *М. Н. Сенина, Я. Л. Сухова* и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *А. Н. Жогиной*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Сдано в набор 27.07.04.
Подписано к печати 14.06.05. Формат 70×90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура академическая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 54.4. Уч.-изд. л. 52.6.
Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 3975. С 96

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
main@nauka.nw.ru
www.nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

ISBN 5-02-027150-0

9785020271500